

Валентин
Воробьев

ВРАГ НАРОДА

Воспоминания
художника

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

An abstract painting with a green background. On the left, a large, expressive red figure with a crown-like top and a wide, toothy mouth. On the right, a smaller, white figure with a red headpiece and a dark, shadowed face. The style is gestural and expressive, with visible brushstrokes and splatters.

Валентин Воробьев



Враг народа

Воспоминания художника

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2005

УДК 94(47+57)"196/199"
ББК 63.3(2)6-7
В 75

Воробьев В.

В 75 **Враг народа. Воспоминания художника.** — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 816 с., ил.

Мемуары художника Валентина Воробьева, активного участника «второго русского авангарда», охватывают полвека жизни в искусстве. Военное детство в глуши, учение, люди культуры 1950-х, бурная атмосфера московского артистического подполья 1960-х, паломничество богемной публики по мастерским художников-«нонконформистов»: поэты, дипломаты, фарцовщики, диссиденты, «бульдозерная» и «измайловская» выставки. Затем тридцать лет жизни во Франции, где оказались многие известные шестидесятники. Перед читателем воссоздается картина жизни целого поколения, талантливо и увлекательно написанная одним из его героев. Литературный дар Воробьева очевиден, документальное повествование читается как роман о русском Монпарнасе. Книга снабжена многочисленными иллюстрациями.

УДК 94(47+57)"196/199"
ББК 63.3(2)6-7

ISBN 5-86793-345-8

© В. Воробьев, 2005

© Новое литературное обозрение, 2005

От автора

Книгу посвящаю дочери Марфе, внушившей мне писать воспоминания.

Выражаю искреннюю благодарность знатокам русской культуры Льву Нуссбергу, М.Я. Гробману, К.К. Кузьминскому и Л.П. Талочкину, открывшим мне свои драгоценные архивы. Особо признателен я С.Н. Хольмбергу, В.Я. Ситникову, А.Т. Звереву, Л.А. Мастерковой за их красочные устные рассказы о жизни и искусстве, а Э.А. Штейнбергу, В.С. Котлярову-Толстому, Н.И. Павловскому, А.Р. Брусиловскому, Н.А. Шмельковой, Ирине Холиной, Борису Мышкову за содержательные письма. Мне очень дорога помощь родного дяди И.В. Абрамова, брянского краеведа и ветерана второй мировой войны, передавшего мне записки бабушки Варвары Мануйловны и свои собственные публикации.

Благодаря компьютерной помощи Андрея Короткова, которая всегда была своевременной, моральной поддержке моей жены Анны, взявшей на себя труд проверки рукописных материалов, существенным поправкам художественного критика Вадима Алексева и любезному и благожелательному отзыву издателя Ирины Прохоровой, моя литературная авантюра могла появиться в свет.

Часть первая ОККУПАЦИОННАЯ ЗОНА

Худо, когда в дивизии
Недостает провизии.
Козьма Прутков, XIX в.

Бди!
Он же

1. Родной край

Что такое родной край? — понятие растяжимое и сугубо личное. У каждого из нас свой край и свое о нем понятие. У жителя большого города это ненавистная коммуналка и очередь в баню, персональная керосинка и кастрюля на замке. У безродного сироты пространство родины размазано, как слезы по давно не мытым щекам. Особый и неустойчивый континент детства у богатей. Большая территория тяжкого быта у людей земли, у крестьян.

Мой родной край — это оккупационная зона. Плотный клубок постоянного и постороннего насилия длиной не в сто, а в тысячу лет, где, как вчера, будет рождение отца (1905) и Гражданская война (1917), голод и дикая свадьба моих родителей (1927), убийство деда и закрепощение народа (1937), начало мировой войны и вдовство моей матери (1941), немецкие оккупанты и наши тюрьмы (1943), уроки китайского рисования и первый гонорар (1950), ликвидация лесов, лошадей и школьная жизнь (1953). Я натурщик московских художников и сам тайный художник (1958). Все эти части переплетены между собой и необходимы для жизненных соков на сегодня и на завтра.

Мои предки не могли похвастаться чистотой своей породы, цветом крови и высоким общественным положением. Они изъяснялись на русском языке брянского разлива. Их прошлое терялось во тьме веков, где кочевали банды насильников самого эзотерического вида. Брянчане вырубали леса, возводили дворы и частоколы, ковыряли землю, вязали сани и лапти, гнали водку и пили до зеленых соплей.

Жить в вечном мире не удавалось. То и дело по суглинкам и болотам, с запада на восток, и наоборот, шли вояки, неся голод, разрушение и смерть.

В 1919 году в Брянск пришли коммунисты и установили вечную пролетарскую власть. Лишняя скотина и наемный труд были ликвидированы. Введены карточки на хлеб и постоянная прописка населения. Первый пачальник города, беглый каторжник Игнат Фокин, мечтал осушить все болота, выдернуть сорняки лесной флоры и распахать общий картофельный огород до горизонта.

В 1922 году обездоленные родители моей будущей матери получили участок болота, с обязательством осушить его и поставить дом регулярного типа.

Ничего яркого из прошлого родителей мне не известно. Они сошлись на базаре по любви. Их никто не сводил, как исстари было заведено, и, вопреки советам брянских мудрецов жить по воле родителей, они сразу там слюбились. В базарный день 1927 года сидел на телеге голубоглазый блондин и трещал на балалайке. Картуз набекрень, косоворотка навыпуск, яловые сапоги, этакий Иван-Дурак из сказки, и моя будущая мать, Клаша, ширококостная, семнадцатилетняя, работающая девка на выданье, прошла мимо Дурака и подумала: «Вот мне бы такого!»

Ее пытались сватать за лесника тридцати лет, непьющего и с усами кверху, но она рыдала от страха по ночам, и жениху с усами отказали. Блондин с балалайкой из головы не выходит, а тот, не будь дураком, заслал сватов, и сразу ударили по рукам. Свадьбу сыграли на «Болоте», в родительском доме невесты.

В брянском Пролеткульте, грубо расположенном в холмистой и высокой башне «боярина Барятинского», собирались шальные дети пролетарской революции, начитанные обитатели Карпиловки, срезавшие пейсы по указу большевиков, и юные потомки малограмотных частников. Собирище называлось «ликбез», ликвидация безграмотных. Мой отец собраний ликбеза не пропускал по внутреннему влечению всегда быть в гуще народа.

— Сволочи! — орал Всесоюзный Староста Калинин. — Предатели рабочего класса, выродки мировой буржуазии, вам место не в коммунизме, а на Соловках!

— Ты, товарищ Калинин, не пролетарская власть, а жандармская! — перечил мой малограмотный отец.

— Дурак, партия всегда права! — вопил одичавший от враждебной встречи Михаил Иваныч Калинин. — Лев Троцкий предал партию, создал себе культ вождя и повсюду свил осиные гнезда — «ясли Троцкого!», «улицы Троцкого!», «самолеты Троцкого!». Долой подлые, боярские замашки!

Мой отец был глубоко городским человеком.

В нем гулял дух уличного бездельника, ротозея и забияки, всегда готового разбить стакан в кабаке и двинуть собутыльнику по шее. Я не представляю его за прилавком магазина, конторским счетоводом, ответственным лицом вообще.

Не женись так рано на закройщице с косой до пояса, он стал бы знаменитым летчиком, спасал бы гибнущих во льдах Арктики полярников, охотно бы дрался с немцами в воздухе, как его закадычный дружок Пашка Камозин, схвативший за храбрость сразу две золотых звезды и бронзовый бюст в городском сквере.

Ковыряться в земле отец не умел. Мать измывалась над его неуклюжими попытками вскопать грядку под редиску или выкопать куст картошки. В домашнем хозяйстве мать управлялась с помощью наемных пахарей, печников, плотников, пока отец охотился в дальних болотах

на уток. Жизнь пробегала мимо. Друзья отца строили коммунизм, а он бездельничал. Юность отца совпала с новой экономической политикой, нэп. После людоедских лет революции, соввласть пошла на попятную и приоткрыла щель частной инициативе. Мой дед, Сергей Миронович Воробьев, его сыновья, Андрей и Степан, зять Илья Сафронов и свояк Василий Егорович Абрамов возобновили прерванный войной извозный промысел. Брянский базар был их генштабом. Там получали подряд на перевозки. Семь лет промысел их сытно кормил, пока не началось искоренение частного капитала.

Выражения «перебор людишек» и «город запустел» постоянно встречаются на страницах брянских летописей. Не забираясь в далекое прошлое, когда разграбление края было основной игрой победителей, людей кровожадных и темных, обратимся к фактам современности.

Мой отец вляпался на краже казенной мануфактуры по предварительному сговору группы лиц. В марте 29 числа 1929 года появился на свет его первенец, мой старший брат Шурка, а наутро отца взяли с краденым товаром. На самом деле партийный провокатор Гаврила Коростин, всучивший отцу общественное добро, донес в милицию, и два года мой отец вкалывал на принудработках, ломая брянские церкви. Человек общительный и буйный, музыкант и футболист, в брянской тюрьме он организовал струнный оркестр и футбольную команду. Отбарабанив срок, отец прибежал смотреть на двух годовалого сына, крещенного в честь какого-то мученика, посеченного мечом при Максимилиане.

— Совдепия — хвакт, а не теория, — озадачил зятя Василий Егорыч. — Ищи работу в совдепе, наш извоз ликвидирован законом!

В деревянный Брянск пригнали колонну грузовиков московского производства. Автотехника отца очаровала. Автопарк, сиявший зеленым лаком и стеклом, стал местом паломничества брянских ротозеев. Первый ученик гаража, мой отец сел за баранку зеленой полуторки.

— С твоим отцом я намучилась, — не раз вспоминала мать.

4 августа 1931 года родилась Маняша, когда отец гонял полуторку в Карачев, и новорожденную дочку увидел последним.

Мировая революция победным шагом освобождала народы от рабства капитала, а в пролетарском Брянске, затянув ремни, готовились к большому голоду.

Год: 1932.

В забитых амбарах дрались голодные крысы. Падали скот и люди. Тощие буржуи, надрываясь, ломали лес. За кражу булки хлеба бросали в сырые подвалы Свенского монастыря на верную гибель.

Не ловилась рыба в реке и не завязались сады.

— Будто вымерла, — вспоминала моя мать. — Бывало за весь день пескаря не поймаешь.

— Цыц, — ворчали опытные деды, Серега и Василий, — целы будем, не пропадем!

В тот голодный год отец снова попался на воровстве, спасая семью от голода, он подкупил вахтера «Заготзерно» и вывез мешок муки.

Арест и тюрьма не сломали его молодецких привычек, и в тюрьме ему повезло. Он возил на рыбалку комиссара уездного ГПУ.

Вещи живут долго.

Спустя двадцать лет после гибели отца, в 1960 году, мы продали дом и сад вместе с его кожаной фуражкой. Она висела на ржавом гвозде в сарае, уверен, что висит и сейчас.

Я помню черную кожаную куртку отца, засаленный картуз и хромовые сапоги, начищенные пахучей ваксой. Я всегда пытался влезть на них и падал на пол под его раскатистый смех.

2. Царское время

Мать не раз мне говорила: «Хорошо мы жили в царское время!»

По рассказам родни у меня собралось достаточно свидетельств о «царском времени», но кажется, бабушка Варвара Мануйловна и мать лучше других определяют атмосферу русского домостроя на Абрамовом Дворе.

Свое замужество не блиставшая красотой дочка зажиточного кабатчика приняла как дар Божий, как жизненную задачу.

«Жена добра веселит мужа своего и лета его исполнит миром», как говорит составитель «Домостроя».

Ее, обычно одетую в черное, реже в серое, как монастырская игуменья, с длинными, мохлястыми руками и мохнатыми бровями, народ пугался, и дети прекращали игры в ее присутствии. Скупая на ласку, — разве что по головке погладит и сунет леденец, — но справедливая и сильная. В молодости она, по словам матери, выглядела еще строже. На Абрамовом Дворе ее боялись от стара до мала.

Свадьбу играли в «городе» (Брянск) и по всем правилам. Жених был почти незнаком и готов заранее. Тесть Мануйло Ионыч сундук с приданным заготовил давно и битком.

Лес не испугал горожанку. Муж Василий Егорович руководил лесопилкой и тянулся к технике, к железным и паровым механизмам, жену и детей любил, а о лучшей доле она не помышляла.

Прочный быт и сытый дом.

— Основное в семье — справедливая распорядка. Тогда все хорошо! — бывало, поучала бабушка. — А муж всегда прав — вот в чем мудрость жены!

В двадцать два года бабушка освоила лесной «дворик» по-своему. В большом, сосновом доме с крыльцом брянской архитектуры всегда было чисто и пустынно. Ничего игривого и мелочного. Сразу за порогом начиналась просторная поляна, за ней семь старинных дубов Соловья-

Разбойника. За дубовой рощей «дворик» тестя, еще дальше живет лесной царь Полкан и народ с нуждой. Из семи рожденных выжило пять, моя мать шла по счету второй среди выживших.

Рассуждения наших литературных классиков о «темном царстве» необразованных самодуров мне кажутся неубедительными. Суровый и справедливый домострой бабушки вырос из родительского семени здорового и убедительного консерватизма, освещенного вековым опытом. Вихри плотских страстей моя бабушка подчиняла благочестивой духовной жизни.

— Живи не по желанию, а как Богу надо!

Помню, в погожий зимний день приходит к нам бабушка и говорит:

— Варвара ночь урвала!

Бабушка, как и ее святая покровительница Варвара, «урвавшая ночь» у зимы, жила в мире святых и мучеников, леших и знахарей, чертей и колдунов. Одни пострадали за веру, как девственница благородного рода Варвара за веру во Святую Троицу, другие прославились чудесами, третьи пакостили добрым людям. Эти персонажи населяли дом, природу, время. В доме постоянно жил изобретательный Домовой и Великомученица Варвара, Царица Небесная и Василий Капельник, Спас Нерукотворный и Мария Египетская, «Власий у которого борода в масле» и грозная Василиса Премудрая — «езде ходи, на все смотри, только в чулан не заглядывай!». Герасим Грачевник, «что грачей пригоняет» и Мокрое Благовещение, Алексей Божий Человек и «Баба Яга костяная нога, нос в потолок врос», Зосима Пчельник и Красная Шапочка, Кот в сапогах и Евдокия Огуречница, Флор и Лавр, Тоскун и Приемыш, Иван Купальник и Матрена Селунская, Никола Пивовар и Анисья Гадальщица, «Федор Студит, что землю студит» и Царевна Сера Утица, сестрица Аленушка и братец Иванушка, лесные цари Кирбит и Додон, царевна-лягушка и семь Семенов «все молодец молодца лучше».

Общежитие святых, мучеников и прокаженных.

Эти персонажи жили с бабушкой постоянно, сопровождая ее в гости, в лес, в поезде, на базар.

Сокровенные изменения природы один к одному совпадали с ее обширным календарем. Жизнь на «двориках» не замирала ни трескучей зимой, ни жарким летом, ни весенней распутицей, ни в осеннюю непогоду.

Жизнь начиналась с петушиного «кукареку» и первой молитвы «от сна восстав».

Лес пугачей не любит, абрамовцы все худые и мосластые. Очутившись в глуши, среди зверья, святых и комаров, бабушка не растерялась, а стала расчетливой и суровой хозяйкой обширной усадьбы.

Старшего из пяти выживших, Василия (1905), я не помню. Он погиб в сорок пятом, защищая какого-то начальника от немецкой пули. Второй была мать (1910), третьей Нюра (1913), четвертая Саша (1915) и пятый Ваня (1919), будущий писатель.

Мать родилась 20 марта по старому стилю и помнит себя с трех лет.

- Помню, мне подарили куклу с фаянсовой головой, голубыми глазами и черными локонами. Назвала я ее Аленушкой и спрятала в сундук, чтоб не утащил Домовой.

Вскоре ей подарили и братца Иванушку в черных атласных шароварах и русской расписной рубахе.

Мы в 1913 году, когда воюют на Балканах и никому не известный «литератор» Ленин бродит по швейцарским Альпам, Максим Горький загорает на Капри, а террорист Игнат Фокинг гниет в тюрьме, в Киеве судят еврея Бейлиса и дом Романовых справляет свое трехсотлетие.

О Господи, Царица Небесная!

Вот — Она! Плотно укутанная в коричневый армяк (мафорий?) с золотой каймой, голубой хитон с красной оторочкой, восседает на красном как жар троне с Предвечным годовалым Младенцем.

Неопалимая Купина!..

...Великий пост, Герасим Грачевник грачей пригнал. С крыш потекло. Веселая святая Пасха апреля (1913) после длинного сыропуста в пятьдесят дней. Весна — красна!

«Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Поем три раза: Христос воскресе из мертвых, смерть на смерть наступи и гробным живот дарова!

Красивую творожную «пасху» в виде пирамиды, сдобный кулич с миндалем и ярко крашеные яйца в молодом овсе освящали накануне в церкви Святой Троицы в селе Верхополье. Разговлялись рано утром, под пение «Отче наш», обедали с томленной бараниной и сжали на погост.

— У нас было три выездных жеребца, конь коня лучше! — вспоминает мать. — Весь свет изойди, нигде таких не найдешь!

Погост — тризна — «клуб».

На верхопольском погосте собирались абрамовские, леонтьевские семьи, монастырские и пашковские мужики окрестных деревень — Фроловка, Трыковка, Юрасово. Люди год не виделись. Под пышными вязами, у крестов у каждого свой стол и лавка. Водка, поминки, плач, смех, объятия. Горы крашеных, пестрых яиц и сдобных плюшек. Возвращаясь домой, тятя Василий Егорович заезжал в острог и под крики «Воистину воскресе!» раздавал гостинцы арестантам.

Царское время матери — это мир Красной Шапочки, сказочное детство в лесу, ослепительное счастье, до краев залитое природой.

— Дедушка Егор жил в чаще леса, под тремя огромными дубами, а вокруг изгородь из орешника.

Как будто братья Гримм, а не мать жили на Абрамовом Дворе.

Мать не боялась леса, волков и колдунов. Единственный и самый главный колдун и кудесник — дедушка Егор, охранник лесных богатств.

«Не только собаки да ястреба да сокола верой-правдой ему служили, но и лисицы, и зайцы, и всякие звери, и пти-

цы свою дань приносили, кто чем мастерил, тот ему и служил: лисица хитростью, заяц прыткостью, орел крылом, ворон клювом».

Копия, писанная маслом с картины Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы» всегда висела у матери на стене. На мой вопрос: почему именно она, мать отвечала:

— Так это же я с братцем Иванушкой на закорках!

Майский день, первый весенний гром и щедрый ливень. Лес щебечет и наливается густой зеленью. Сильный запах черемухи.

Троицын день — престольный праздник Верхополя.

Церковь во имя Пресвятой Троицы стояла за лесом в семи верстах от «двориков».

Не очень старое и малохудожественное сооружение, но когда там служба и праздник, мать смотрела на расписной купол, где летали крылатые головастики, серафимы и херувимы.

За хронологию я не ручаюсь. Ушедшего, материнского детства я не знал и пишу с ее слов, прихватившей то сказочное время.

До начала покосов ехали в Карачев, где собиралась трехдневная ярмарка мукомолов Орловщины и лесовиков Брянщины. Орловцы предлагали хлеб, брянчане лапти, сани, лыжи и кузовки.

На Иванов день (24 июня) девки пели и хороводы водили, на счастье бросая венки в речку.

На покосы панимали карачевских батраков. Все пессельники и пахальники. Бывало, как затянут — «Хорошо траву косить, когда зеленая, хорошо девку любить, когда веселая»!

Свистит дрозд, извещая ранний рассвет. Страдная и постная пора. Косари жуют тюрю с квасом и за работу. По вечерам костер, уха, песни.

Мать помнит ночное!

Старший братец Вася гонял табун на луга, брал с собой и Клашу. Что может быть вкусней картошки, печен-

ной в костре! Всю короткую ночь водяной бесится, речку трясет, русалки плещутся. Ребята пугали друг друга страшными сказками про заморыша и кобылицу.

«И выходит из морской глубины чудная кобылица, побежала к первому стогу и принялась пожирать сено».

17 августа тятя запрягал пару вороных и семью вез на крестный ход Чудотворной Иконы Царицы Небесной в Свенский монастырь. Икону, не раз спасавшую край от нашествия разбойников, торжественно выносили из собора с пением «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Всесвятая, Пречистая, Всечестная, седалище Царя, сидящего на Херувимах.

Возвращались с возом городских подарков и обновок.

А вот и осень золотая, грибная, разноцветная, веселая.

Багряные леса с сочными пятнами могучих лиственниц, голые косогоры с треугольниками соломенных скирд, сопревшие листья на тропинках, белая изморозь по ночам.

«На Семенов день (1 сентября) ясно — осень прекрасна!»

— Вася, смотри, гуси-лебеди летят!

Осенью дети учились писать, читать и считать.

— Вот, слушай сынок, летело стадо гусей: попадаетеся ему навстречу гусь и говорит: «Здравствуйте, сто гусей!» Они ему отвечают: «Нас не сто гусей, а как бы было еще столько да полстолька, да четверть столька, да ты бы гусь с нами, то и было бы нас сто гусей».

Сколько их летело?

Братец Вася учился туго и туло. Моя мать в семь лет его, двенадцатилетнего, обошла в счете гусей и в родной речи. Учила их ведьмоватая тетка Анисья, сестра тяти, главный педагог Абрамова Двора. Через тридцать лет ту же задачку на пересчет гусей я решал на брянском Болоте.

Осень — время гулянок, засола, охоты.

«Ехал миленький герой на лошадке вороной, на серебряном седле, во суконном сюртуке».

С Феклы Заревницы (24 сентября) молотьба зерновых.

На загон кабана едут брянские господа, почтмейстер Ветров, владелец автомобиля, мировой судья Могилевцев, прокурор Вошинский. Просвещенные любители охоты на зверя. Дед Егор кабана выследил. Птицы в отлет двинулись. Леший в лесу бесится, а господам охотникам все нипочём.

Гордыня и грех неверия!..

После Покрова (1 октября) закрутила метель и ударил морозец. Свадьбы и гулянки. Протоиерей Иоанн Ерофеич Абрамов венчал по шесть пар в день. Музыка и кулачный бой.

Погреба бабушки Варвары ломились от продовольственных запасов. Закатывали бочки квашеной пахучей и сочной капусты, вперемежку с мочеными яблоками. Коптили окорока и солили в кадушках сало. В курятнике квохтали несушки и пел лоснящийся от гордости петух с красным гребешком набекрень. Мычали коровы и хрюкали поросята. Ржали сытые кони в конюшне.

По вечерам тятя читал газету «Орловские Ведомости», потом составляли партию подкидного дурака на шесть человек. Казалось, что такой прочный домострой никогда не кончится.

«Солдатушки бравы ребятушки!»

Где-то в Карпатах начали воевать. Балдак Борисович и Мамай Безбожный дрались за никому не нужное болото.

Знаю — будет зима. Сугробы и мороз.

С 12 ноября начинались филипповки, Рождественский пост.

Корабль веры в брянском лесу.

«Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

— Мама говела по-монастырски, весь Филипповский пост без скоромного, капуста да хлеб, — вспоминает мать.

С молодых лет тятя занимался одним промыслом — обработка древесины: шпалы, доски, дрова, сани, лавки. Сотни саней ползли по первопутку из леса. На лесном барыше жили сотни лесорубов, плотников, столяров, дрово-

секов. Зима и хороший сапный путь — благодать Абрамова Двора.

Усадьба помещика Пашкова отошла в казну по 50 рублей за десятину. Лесопилка Василия Егорыча плешивила древний лес. Любоваться природой люди не умели.

Короткий, едва заметный зимний день, и бесконечная ночь с воем ветра и волков. Мать и зиму любила. Свежий заячий след у крыльца. На ветках бузины краснопузыре снегири. Белоснежка и семь гномов. Тетка Анисья гадает на потрохах, какой быть зиме. Мама вяжет чулок. Запрягают в сани лошадь и заряжают ружья. На пашковской вырубке прыгают зайцы. Катанье с горки на салазках. Говорят, что Христос в хлеву родился. На святой вечер Вася и леонтьевские девки собираются величать под окнами. Веселая ночная Овсень-Коляда суконная борода!

«Кто не даст ветчины, тем расколом чугуны!»

Рожденному в Вифлееме Иудейском, в яслях лежа, поем тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш» и кондак: «Дева днесь Пресущественного рождает, а земля вертеп».

Обычай украшать зеленую елочку на Васильев день (1 января) бабушка не знала, считая его «немецкой модой». Елку заменяли хвойные ветки в доме и служба празднику Обрезания Господня.

«В Лето 7427 от сотворения мира, — пишет брянский летописец, — Государь Император Николай II Александрович марта сего лета отрекся от престола за себя и за сына в пользу брата Михаила Александровича, а 4 марта от престола отрекся и Великий Князь Михаил в пользу Всероссийского Учредительного Собрания».

Летописцы не ходят по тюрьмам и подвалам. Кто знал, что каторжник Игнат Фокин амнистирован Временным правительством России, а «литератор» Ленин сидит на запасном пути в plombированном вагоне. Простой народ с волнением следил, как дерутся русские с австрийцами, что поет Федор Шаляпин и каким будет весенний сев.

Пришло время расплаты.

«Революция 17-го года открыла для меня, в ночь с 1-го на 2-е марта, ворота московских Бутырок», — вспоминает бывшее террорист Игнат Фокин.

«За неодобрительное поведение Фокин в течение девяти лет, до последнего дня заключения, пробыл закованным по ногам и рукам, пока наконец восстанием московского пролетариата не был освобожден наряду с остальными заключенными» (Ал. Бубушкин. Игнат Фокин, Брянск, 1958).

На вокзальной сходке каторжанин Фокин ответил человечеству:

— Живой человек обучен свободе в материнской утробе и не нуждается в надзоре!

Брянский край, не раз переносивший пашествие разбойников и безбожных татар, замер от ужаса.

Вот тебе и «Боже царя храни»!

В отличие от боярыни Феодосьи Прокопьевны Морозовой, пострадавшей за веру «горячими клещами на дыбе» (1667), бабушка читала почтенную книжку «Лимонарь», сиречь Цветник, варила ши с головизной и на рожон не лезла. Ее дар уничтожения был воистину образцовым, и появление самозванца Игната Фокина она приняла как наказание Господне. Время катилось своим чередом. Помещик В.А. Пашков давно разорился и умер за границей. Живописная толпа святых и жуликов по-прежнему сопровождала Абрамов Двор до его полного исчезновения. Смышленная Клаша умножала в уме трехсложные цифры и нянчила младших. А вождя Брянской коммуны Фокина сравнивали с паровозом и пророчили великое будущее. Его влекла не земля, а власть над людьми. Классовых врагов он усмирял пулеметным огнем.

Царское время матери длилось двенадцать лет. По-прежнему, и вовремя, прилетели грачи и скворцы, по-прежнему гремел гром и косили луга, шел дождь и перед Пасхой говели и красили яйца. Тятя пилил дрова и возил на продажу в холодный город. Законы новой власти в глушь при-

возили с большим опозданием. Спас Нерукотворный сурово смотрел со стены.

Царское время кончилось в двадцать втором с «изъятием церковных ценностей». На «дворики» ввалился отряд красноармейцев. Они дружно сбросили соборный колокол с церкви Святой и Живоначальной Троицы, ободрали дорогой Иконостас, расстреляли стенных юношей, гостивших под Мамврийским дубом у Авраама и Сарры, и с ними заодно болтливого попа Иоанна Абрамова.

Господи помилуй!

«Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас!»

Церкви и часовни навечно заколотили гвоздями, пригрозив лесорубам и хлеборобам арестом за малейшее сопротивление.

Новая экономическая политика особого восторга не вызывала, но, пользуясь поблажкой, тятя взялся за извозный промысел.

«Пути Господа неисповедимы и часто выбирают дураков для своего дела», — поучал он близких.

Его напарниками по извозу стали Сергей Мироныч Воробьев с сыновьями, местные брянские уроженцы.

* * *

Род Воробьевых, их родня Хлюпины и Ананьевы — пришлые люди. Их имена стоят в реестре московских бунтовщиков, сосланных царем Петром I Алексеевичем в «пограничный город Брянск нести сторожевую службу пожизненно».

Грозный царь Петр Первый, посетивший Брянский острог в 1709 году, вместо здоровых мятежников обнаружил увечных и тихих стариков, разводивших сады и огороды. Воевать и охранять границу они не могли. Царь великодушно простил им прежнее воровство и перевел в чин

однодворцев. С тех пор однодворцы Воробьевы, Хлопины и Ананьевы жили садами и торговлей.

Из Воробьевых старой закваски оставался мой дед Сергей Миронович, или просто Мироныч. Жил он отдельно и далеко от нас. Разглядел я его лет семи. За ним укрепилась репутация многоженца и пьяницы, хотя пьяным я его не видел. При мне он ослаблял нашего хряка. Дед-коновал жил в подвале собственного дома над глубоким оврагом. Его брат Яшка пропал в Гражданской войне, а две многолетние соломенные снохи жили с семьями наверху. В девятьсот пятом (дед родился в 1878 году) конный завод Великого Князя Михаила Александровича подожгли грабители, но дед, рискуя жизнью, спас породистых рысаков, за что заслужил особую благодарность с повышением жалованья. Несколько лет он лечил лошадей — стержень огромного имения Великого Князя. Жил он в отдельном флигеле с видом на конюшню, там же женился на брасовской девице, оттуда пошел на войну вместе с князем. Князь командовал конной дивизией, и дед присматривал за княжескими Перцовкой и Корешком. Чесотка. Мазь. Табачный отвар. В восемнадцатом дед не смог защитить коней. Балтийские матросы оказались нахальнее брасовских смутьянов, они перестреляли начальство, не брезгуя английским наездником Колей Джонсоном, и весь табун забрали с собой.

Совдепия — факт, а не теория!

«Русскую конницу орловской породы загубили матросы», — говорил дед.

Почему матросы, для меня и сейчас остается загадкой, и моя мать не в состоянии объяснить это. Можно лишь предположить, что в заварухе Гражданской войны матросы пересели с кораблей на лошадей, разобрав по дороге породистых рысаков великокняжеского завода, оставив деда не у дел.

Мой дед честно любил лошадь.

Брянский базар — это открытое и горячее народное собрание со своими секретами, барышниками, чайной, ворами и молочницами.

Не знаю, в какой чайной сошлись свояки, но в начале двадцать третьего возникло трудовое товарищество, «кооп-союз» — Сергей Воробьев, Василий Абрамов, Федор Хлюпин, Илья Сафронов.

Пять лет, если не больше, дед волтузил на извозе. Запрягал лошадей и развозил дрова и поросят, сено и мебель, людей и капусту. Василий Абрамов был выгодный компаньон. Получив надел на Болоте, ему приписали большой луг, где компанейцы выпасали лошадей. Слово «фининспектор» звучало как Армагеддон, страшной германской войны и революционного голода. Страх дошел до того, что рядом с иконой Спаса Нерукотворного дед повесил портрет Карла Маркса с неугасимой лампадой под ним.

Бедовую бабу цыганского рода, с которой жил дед, звали Семениха.

— Тебе что, под хвост вожжа попала?

— Семениха, молчать! — командовал дед. — Самогон и огурец на стол!

Женщине дед предпочитал лошадь. Кнут, хомут, седло, подпруга я слышал от него гораздо чаще, чем картошка, яблоки, сметана.

Кооперация кончилась тем, что свояки оженали беспутного Ваньку на рыжей Клаше Абрамовой.

Дед начал повторяться: «Пришло время присмотреться к советской власти».

В 1928 году кончился нэп и хозяев больших домов стали уплотнять бездомным пролетариатом. К делу явилась кожаная личность на предмет уплотнения жилплощади, но его дед опередил. Чтоб спасти дом от чужаков, он срочно выдал двух дочек, старшую Марфу за казенного лесника из коммуны «Гигант», а Ольгу за компаньона Илью Сафронова. Женились и сыновья. Старшие Андрей и Степан расселились в отцовском доме, а младшие Трофим и Ванька переехали к женам. Дед спас дом от чужаков, но не от разрушения. Две снохи оказались воинственным и коварным народом. Ежедневные драки за керосин, дрова, тазы и

кастрюли. Они возвели новые стенки и переборки. Сад, веками кормивший «однодворцев», одичал и зарос. После ликвидации извозного промысла дед стал бродячим коновалом, холостившим прожорливых и буйных самцов.

В жуткий 1933-й под окнами подвывали нищие:

— Подайте, Христа ради!

Мой отец, живший на Болоте, сел за кражу мешка с мукой.

Но люди выжили и выкрутились.

«И оживает карта пятилетки, начертанная сталинской рукой», — пел известный поэт.

В начале сорок первого мой отец попал под немецкую бомбу. Мать собрала остатки непутевого мужа в мешок, дед сидел на козлах, нервно дергая вожжами. Черный картуз, холщовый дождевик с капюшоном. Мешок бросили в яму, в так называемую братскую могилу, и засыпали землей.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба своего Иоанна, идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная».

Зять Сафронов не вернулся еще с финской, замерз там. Через год (1941) взяли сразу троих, Андрея, Степана и Трофима. С войны вернулся один Трофим. Пара братьев пропала без вести. У Андрея пятеро, у Степана трое сирот.

Исторический эпизод. Говорят, не обошлось без козней Берлина. В Брянск приехал русский князь Алексей Егорыч Львов, двадцать лет гонявший такси в Париже.

«Черного Гитлера подлая власть крутится, вертится, чтобы упасть!»

Таксист доказал, что он первый человек в Брянске, и доверчивые немцы ему поверили. Он завел казино для уставших офицеров вермахта и школу верховой езды для брянских дам. У хорошо одетого парижанина, занявшего квартиру дворянина Ветрова, у ворот дежурила элегантная пролетка на мягких рессорах, а внутри до упаду танцевали под музыку Сандро Вертинского.

«Хорошо в степи скакать, вольным воздухом дышать!»

Вид дачного благополучия и патефонной музыки навел уныние на выдавших виды горожан. Все с нетерпением ждали, когда наступит возмездие, и дождались.

За саботаж пеньковых и дровяных заготовок — единственное сырьевое богатство края! — недовольный Берлин прогнал парижского гуся на передовую, а пост градоначальника занял местный философ Костя Воскобойников, создатель политического движения «Викинги-Витязи», получившего одобрение в генштабе немецкого фронта. Всю зиму Костик гонял на тройке с бубенцами, выколачивая недоимки с каждого двора. Распекал и сек саботажников, пока его не прикончили деревенские эгоисты.

Мой дед Мироныч лично знал вождей Брянского края, и был самого невысокого мнения о них, особенно о третьем, Броне Каминском, служившем на пеньковом заводе техруком.

3. Наши вояки

Братьев звали Абрам и Леонтий. Крепостные рабы генерала Пашкова Алексея Петровича. Авраамий, в народном сокращении Абрам, и от него пошла фамилия матери Абрамова. От Леонтия пошли Леонтьевы, наша родня, живут в Брянске и Карачеве. Работающих и женатых мужиков Пашков отпустил на оброк. На древнем большаке из Московии в Малороссию оброчные мужики построили ямской двор. Дорожное начальство окрестило его Пашковские Дворики. Название закрепилось и попало в подорожные карты империи. Дворики давно сгорели вместе с подорожной книгой, но можно легко представить, как гоголевский собиратель мертвых душ Павел Иваныч Чичиков менял там лошадей и пил чай из закопченного самовара.

Русский постоялый двор — это не европейский отель, а место, где быстро меняют лошадей и дальше отправляются в путь.

«Живяху в лесах, яко же всякий зверь, ядуще все нечисто».

По раскосым глазам абрамовцев и смуглой коже можно опознать, что у них поработали люди, кочевавшие в Диком Поле.

Абрамов Двор стоял на распутье грабежей.

«Абрамов двор на большой дороге у речки Свени, и в нем сам Абрам с детьми, да ямщик Гурко Леонтьев, и гоняют они их великих государей ямскую гоньбу от орловского Болхова и до Севска, и в малороссийские города по гетманским листам».

Абрамовы и Леонтьевы до большого пожара 1861 года ямщицкий промысел разделяли с разбоем. Если верить легенде, то братья Абрам и Леонтий заманили к себе знаменитого разбойника Чернодырова, годами наводившего ужас на проезжий люд, — говорят, он ограбил раз самого князя Потемкина Таврического, — повязали и сдали властям, получив 500 рублей вознаграждения.

Мой прадед Георгий (Егор) Абрамов на всю жизнь сохранил в памяти «день свободы». В село Верхополье сгнали барских мужиков и зачитали царский манифест о даровании воли русским рабам, дворовым и земледельцам огромной России. Мужики вздыхали и крестились. Выли бабы и дети. Военская команда с урядником укатила в Карачев. Манифест произвел обратное движение в народе. Бродячие пророки распускали слухи, что господа помещики взяли верх над царем, никакой воли не жди, а народ будут теперь крепко казнить и загонять в Сибирь.

В Сибирь абрамовцев не погнали, но ямщицкий промысел заглох. По рекрутскому набору младшего Егорку забрали на кавказскую войну в 1857 году.

Ах, этот Кавказ!

Он попал в 18-й Северский драгунский полк. Прошлое полка было казачьим, но по указу Екатерины II от 1784 года о ликвидации малороссийского казачества, полк стал номерной кавалерийской частью русской армии. Рослого но-

вобранца, работавшего с почтовыми лошадьми, в военную кампанию 1853—1859 годов направили на Кавказ, где были очень жаркие бои с турками. В Малой Азии «драгуны ложились костями, чтоб вырвать победу», вспоминал его командир князь З.Г. Чавчавадзе. Русская армия разбила анатолийскую армию противника, обученную по французскому уставу. Награды за героические бои были щедрые. Император Николай, получив донесение о победе под Карсом, сказал: «Князь Чавчавадзе хотел удивить меня победою, а я удивлю его наградою». Командир полка получил Андреевскую ленту в чине генерал-лейтенанта, а знаменосца Абрамова за храбрость в бою наградили крестом Святого Георгия 4-й степени. Простреленного в ногу драгуна отпустили домой, куда он привез орден и песенку:

«Веселитесь, ребята. Веселись, наш командир. Мы разбили супостата. Слава нам на целый мир».

Егор Абрамов женился на карачевской девке Параше Никулиной. Из восьми родившихся детей выжило трое, среди них мой дед Василий Егорович.

Ямщиков наделяли лесом.

Не успел знаменосец жениться, как прошел слух, что братья Губонины в бараний рог скрутили господ Тютчевых, Мартыновых и Безобразовых. Потом добрались до волости и все скупили. Жажда наживы и неукротимая страсть управлять людьми столкнула братьев с могущественным владыкой брянских лесов генералом Пашковым. Нешуточная война за лес закончилась полным разгромом «птенцов гнезда Петрова», как любили себя величать помещики Пашковы. В начале 70-х годов братья Губонины стали владельцами огромной страны, неукротимыми и безжалостными эксплуататорами русского леса.

Весть о появлении «чугунки» не застала Абрамов Двор врасплох. Он начал резать шпалы и продавать Губонину, выдававшему треть русской стали.

На тайном сходбище Абрамовых, Леонтьевых и Никулиных решалось нешуточное дело — лес вырубить и пус-

тить под шпалы, соединив Орловскую губернию с Курляндией, породнить Орел и Ригу. Русское дешевое зерно и древесину перебросить в Германию.

Хлопоты увенчались успехом, но пришлось попотеть.

О потной жизни прадеда мне поведал заслуженный путеец Никита Никулин.

«От этой проклятой чугулки жизнь Абрамовых пошла кувырком».

Знаменитый брянский лес от Карачева до брянской заставы застонал от топора.

Тысячи рабочих подвод. Руководил работами инженер путей сообщения князь Тенишев. В марте 1882 года у лесовика Абрамова родился сын, в святом крещении названный Василием в честь священномученика, «иже в Херсоне епископствовавшего». Сам господин Мануйла Губонин не поленился стать крестным отцом своего подрядчика. На славной пирушке он поджег долговые абрамовские векселя и зачислил новорожденного чернорабочим на лесопильный завод с жалованьем семь рублей в месяц. Мой дед оказался последухом. При родах Параша умерла, оставив вдовца с тремя детьми. Побочный дед Аким пропал без вести на австрийской войне.

От последуха Васи пошли моя мать, старший Вася, Нюра, Саша, Иван.

В мировую войну Абрамов Двор не захирел от поборов, а достиг наивысшего своего благополучия — росли доходы лесного производства. В селе Верхополье на счет Абрамовых выстроили каменную школу. Женатому Васе купили новый дом в Брянске.

Зимой 1919 года лесопилку Абрамовых подожгла бродячая банда анархистов и она сгорела за ночь, как воз сухого хвороста. Табун лошадей угнал атаман Кочерга, а запасы хлеба забрали матросы Красной Гвардии.

О чем думал старик Абрамов, умирая в селе Верхополье? Небось о былом, где, толкаясь как хорошие скакуны, пронеслись тифозные бараки Малой Азии, атака турец-

кой крепости, победа русских знамен, смерть жены, грязные шпалы, разбой революции и нелепая смерть в чужом доме от бандитских пуль.

Подумать только! — сюда заглядывали сам Потемкин-Таврический, гроза Оттоманской Порты, гетман Разумовский, любитель крестьянской песни, охотник за «мертвыми душами» Павел Иванович Чичиков, и, конечно, Николай Васильевич Гоголь, проездом в родной хутор. Здесь служил мой дед Василий Абрамов. Здесь, в безумии быстрого обогащения, валяли корабельный лес на железнодорожные шпалы. Здесь балтийские матросы убили моего прадеда, кавказского героя Егора Абрамова, выжившего под турецкими пулями и пиками восставших горцев.

Поэзия любит смерть.

«Умри же! — поляки герою вскричали, и сабли над старцем, свистя, засверкали», как пел известный Кондрат Рылеев.

Мой дядя упорно выдавал себя за «казака».

Потомственный казак Иван Абрамов!

Лишь раз кавказского героя смутил тесть Семен Никулин, мукомол уездного Карачева. Не обошлось и без уговоров свояка Леонтьева, жившего на «Пашковских двориках».

Помещик Пашков был молодой человек из числа «образованных дворян». Летом, приезжая из Петербурга, он собирал на крыльце дворовых девок и читал им выдержки из Священного Писания, лично им переведенного на крестьянский язык. Девки зевали и так и не поняли, почему «царство Божие подобно закваске». Разочаровавшись в русском народе, помещик заложил имение в банк и сбежал в Лондон.

Железная дорога, «чугунка», внесла существенные поправки в домострой брянских жителей.

За лесом пытело паровозное чудовище, погубившее ямскую гоньбу.

Эй, посторонись, Егор Абрамов берется за топор!

Свояки арендовали у Пашкова клин леса в пятьсот десятин, выкупив банковские иски эмигранта, и взялись за вырубку. Всю зиму 1867 года отборная корабельная сосна без порока падала под ноги чугунного спрута.

Три топорыща у комля, шесть вершков в верхнем срубе!

Лось, барсук, волк бежали в глубь казенных лесов. Посыпались шпалы, горбыли, опилки и деньги. Дальновидный начальник, инженер Владимир Николаевич Тенишев видел будущее России на железных дорогах.

У мистика Пашкова всегда воровали липу на лапти и мох для постройки, но такого истребления лесного богатства край еще не знал. Непоправимый ущерб Егор Абрамов обнаружил весной, когда вместо высокоствольной сосны открылись пни и ольховые заросли. Свояки оплели древний лес и скрылись в губернский Орел, выстроив доходные дома на Кромской площади. Наш хромой ветеран остался и покаялся. Из хищника леса он превратился в его ретивого хранителя, тридцать лет вылавливая вредителей бесценной флоры и фауны.

Расстроенное революцией хозяйство героя поделили сыновья и дочери. Старший унаследовал дом в Верхополе, а младший, мой дед Василий, лесопилку и усадьбу на «Двориках». В 1922 году Абрамов Двор прекратил свое существование. Часть сожгли бандиты, часть разобрали на перевоз. Люди разбрелись кто куда. Бабушка с мужем и семьей, разоренные дотла, перебрались на брянское Болото, где снова расстроились, как только позволяли советские законы.

* * *

В 1902 году «лесоруб» Василий Абрамов послал сватов к девице Варваре Губониной и получил согласие.

— В наше время, — вспоминала моя бабушка, — сходились не по влечению, а по родительскому благословению. Перебирать женихов мне не пришлось.

Судьба обрекла юную горожанку, читавшую книжки, жить на глухом Абрамовом Дворе, со всех сторон окруженном темным лесом и скрипом лесопилки. Лишь изредка лесную тишину нарушал свист убежавшего где-то локомотива. Двадцать лет она провела среди шпал и мата рабочих лесопилки.

«И жизнь твоя пройдет незрима в краю безмолвном, безымянном, на незамеченной земле, как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном в осенней беспредельной тьме», — карандашом бабушки отмечено в сборнике поэта Федора Тютчева.

Один за другим пошли дети.

В июне 1909 года, за год до рождения моей матери, бабушка с тестем Георгием ездил на прославление мощей Благоверной Княгини Анны Кашинской в Тверской губернии.

«Это было дивное соборное торжество!»

На третьей седмице Великого поста, в четверг 20 марта 1910 года родилась моя мать, Клавдия Васильевна Абрамова.

Старший Вася уже бегал с букварем М.А. Тросникова в Верхопольскую школу.

Началась мировая война. Русская армия сражалась босиком. В столицах бесились футуристы. Абрамов Двор снова оказался на перепутье большой смуты.

Скончался тесть. Погорельцы два голодных года ютились у верхопольского родича.

— За время революции мы оборвались и завшивели. В 1922 году всех пустили в Брянск. На заставе нас приняли за бродячих цыган. Я сидела на узлах с маленькими Саней и Ваней, а старшие дети Вася, Клава, Нюра и муж покорно плелись за возом, — вспоминала бабушка Варвара Мануйловна.

Совдеп города Брянска семьи, пострадавшие от Гражданской войны, наделял землей и давал долгосрочную ссуду на постройку жилья. Мой дед Василий получил нежи-

лое, заросшее осокой болото на низменном берегу реки Десны.

Василий Абрамов коммунизм принимал как неизбежное зло и научился ловко лавировать под властью грабежей и расстрелов. Годы нэпа были постоянной и неравной борьбой с ненавистной властью за выживание.

Поселок абрамовцев — брянское Болото — надежный памятник дедовской цивилизации. Дед построил пять домов и осушил гнилое болото. Восемь лет подряд он был частным предпринимателем, собиравшим скотину в окрестных селах для продажи на мясокомбинат.

Бабушка любила деда особой, старомодной любовью. Она его любила и уважала. За год до его кончины дочка Саша вышла замуж. Анатолий был модный и зажиточный жених. В черномазой толпе брянчан Анатолий Булычев выделялся изысканным видом. Шевиотовый костюм от лучшего портного, шелковый галстук, фетровая шляпа, парусиновые туфли, густо смазанные мелом, трость с набалдашником. Молодой счетовод посещал курсы «Полиглот» и там приобщался к немецкому языку. Магазиновая должность открывала ему все двери. По праздникам его видели на стадионе, где сражались футболисты. В Гостеатре он забил место в партере, а в Горсовете имел верную руку.

Саша пошла по торговой части, купалась там, как рыбка в воде. Они сразу нашли друг друга. Анатолий, снимавший угол, сразу перебрался к ней в просторный дом. Варвара Мануйловна любовалась счастьем любимой дочки, но иначе видел дело Василий Егорович. Тесть и зять возненавидели друг друга. Примирить зятя и ненавидевшего его мужа она не умела. Василий Егорович, муж Варвары Мануйловны, скоропостижно умер в тридцать восьмом от разрыва сердца. В сенях висела куртка мужа, как будто он явился домой на обед. Тайна скоропостижной смерти деда Василия Егоровича в 1938 году так никогда и не открылась. Василий Егорыч выпил крепко и задохнулся в по-

душке. Думаю, что Василий не задохнулся, а его задушил подушкой зять!

Я помню, как долго и мучительно умирала бабушка. Два или три года. Всем надоело ждать ее конца, а когда она умерла осенью 1956-го, то родня облегченно вздохнула — слава Богу, отошла!

Ее дом забрал сын Иван Васильевич. Моей матери досталась швейная машинка «Зингер» с изящным, расписным колпаком. Хорошо смазанная машина весело качала челнок до тех пор, пока не сорвалась ножная педаль, и мать выставила инструмент в чулан, навечно прикрыв его мешком.

Тетя Нюра вывезла воз сена. Тетя Саша забрала комод и венские стулья. Золовке Всре Гавриловне, вдове дяди Васи, достались часы «Регулятор» с музыкой. Мой брат Шура забрал топор, пилу и рукомошник, стрелявший по сторонам водой. Мне отдали фанерный чемодан с книжками «Зерцало» и «Кормчая».

Иначе сложилась судьба брата бабушки, Никиты Мануйловича Губонина, постоянно прикрывавшего нашу семью от прямого уничтожения.

* * *

На шершавой бумаге советского производства, с шапкой: «Послужной список на Никиту Мануйловича Губонина», заполненный рукой ответчика, есть любопытные ответы. Например, четвертый пункт — социальное происхождение? — ответ: «Из мещан». Профессия родителей до Октябрьской революции — «мещане» и в настоящее время — прочерк жирным пером!

Родители Никиты, и соответственно моей бабушки, были расстреляны в 1919 году, как опасные заложники и белогвардейцы.

Белый генерал Деникин подходил к Брянску. В городе грязную работу расстрелов выполняли латыши, с чудовищным злодейством будущих победителей.

Юный Никита поверил в революцию и вошел в Красную Армию, повинувшись зову совести. С 1916 года, когда он сбежал воевать с немцами, Никита прирос к армии навсегда.

«Здравствуй, дорогая Варя. Экзамен мой был 8 апреля, а сегодня 11. Он прошел благополучно, то есть я получил “4” и впервые стрелял из пушки».

Легко представить гнилую весну Полесья, батарею русских трехдюймовок в мокром леске и как двадцатилетний фейерверкер Никита Губонин, зажмурив глаза, дергает орудиный шнур.

Потом посыпались бесконечные митинги, фронтовые комитеты, падение царя, повсеместное дезертирство и мятежи.

Несмотря на драку в столицах и незаконный захват власти большевиками, русский фронт держался, храбро отражая атаки неприятеля. Позорное перемирие и смену власти артиллерист Губонин прожил в батарее безвыездно.

Генерал А.А. Сомойло присягнул большевикам. Ему следовал и прапорщик Губонин. Их дивизион перебросили в Брянск. Попав в гущу революции, юный прапорщик не пропускал собраний, впопад и невпопад поднимал руку и учил прописные лозунги коммунизма, понятные безграмотной солдатской массе.

До него дошли вести о казни родителей, но не сломали новых убеждений. Он верой и правдой служил новому начальству.

Седьмой пункт — семейное положение? — «женат на гражданке г. Харькова Софье Алексеевне Прилуцкой. Дочь Татьяна с августа 1924 г.».

В Крыму, на Перекопе, его ранило. Он отлежался в Севастополе и получил награду — орден Красного Знамени. Приказ РВСР за №115 от 5 мая 1922 года

Из послужного списка:

«Вступил в исполнение обязанностей начальника арт-школы в г. Харькове, при Командвойскукр 233».

В 1925 году, летом, Никита Губонин появился в родном Брянске, в новой шинели до пят и офицерской фуражке с красной звездой.

— То ли пристрастился к охоте на уток, то ли отчий корень тянул, — вспоминает его напарник по охоте, мой дядя Иван Абрамов.

Брянское Болото — ненадежный памятник дедовской цивилизации — постепенно расширялось. В 1928 году построили дом и нам, Воробьевым, настоящий, сосновый дом брянской архитектуры. Пятистенка в пять окон, с русской печью и резным крыльцом. Топились дровами и пекли хлеб. Перед домом протоптали дорогу с запахом конского навоза и отцовского бензина. Ее называли улицей Коминтерна.

Несчастные крестьяне, спасаясь от грабительских поборов и реквизиций, копали землянки и балаганы в сырой и вонючей земле.

В голодный 31-й год родилась дочка Мария или, по-брянски, Маня. Мой отец, большой любитель праздников, где-то пропал. Шурка брэнчал на балалайке. Швейный «Зингер» матери спасал семью от голодной смерти. В одежде нуждались фабричные мужики и руководящие дамы партии и комсомола. Мать обшивала всех. Чудодейственный «Зингер» работал как заводной много лет и захирел лет через тридцать.

Отец торопился жить.

Несмотря на принудработы и нищету, его жизненное кредо оставалось неизменным, как тусклое небо над головой. Навеки привинченного к скудной земле и казенному мотору, к миру хлебных карточек и народных судов, его то и дело поводило в драку и воровство. Ранняя женитьба и удушье советских пятилеток загубили его спортивный и артистический дар. Он расцветал в охотничий сезон. По-

являлся комбриг Губонин, и начинались походы и стрельба по перелетной дичи.

До нас доходили слухи о зверствах фашистов в революционной Испании, о еврейских погромах в Германии, но им никто не верил. Какие могут быть зверства в Европе, где создана высочайшая техника быта, где есть Амундсен, Нобеле, Стефан Цвейг и Гершвин.

Модель пролетарского счастья у нас не получалась.

Мой отец презирал пятилетки и труд «на благо родины». Непутевый и буйный, он гонял полуторку до тех пор, пока над Брянском не завизжали немецкие бомбы.

* * *

Красная Армия хорошо кормилась. Там не голодали.

В 1937 году желторотик Ваня Абрамов, младший брат моей матери, решил стать летчиком. Сына частника и нэпмана к летающей технике не допустили. Приписав себе три года, он поступил в кавалерийскую школу в Харькове. Там он встречался с дядей Губониным. Комбриг жил в постоянном ожидании ареста. Советское воинство трясли массовые чистки, выматывавшие души, как половые тряпки.

Курсант Ваня Абрамов, мечтавший о «кубиках», «шпа-лах» и «ромбах», вообще не соображал толком, чего боится комбриг Губонин.

Позднее он вспоминал:

«Я видел полковника Губонина прямо перед собой. Лицо бледное, окаменевшее, незнакомое. И глаза — мутные, тусклые. В ушпильной котельной жгли книги в серых переплетках с заглавием “История гражданской войны”».

Никиту Губонина не убили, а отослали в райвоенкомат готовить маршевые роты призывников. Зимой 1942 года он погиб в перестрелке с немецкими жандармами на улице Харькова. Ему не было пятидесяти, когда его подстрелил ночной дозор.

Курсант Абрамов два года учился рубить лозу с седла, и в 1940-м, получив нашивки лейтенанта, отбыл в пограничный полк, квартировавший в предместье отвоёванного у поляков Львова. Поляки притихли. Шел перебор людишек. Кого к стенке, кого в Сибирь.

Настоящая война свалилась внезапно, как снег на голову. Сверху посыпались немецкие бомбы, а их саблями не отразишь, как хворостину.

«Фронта уже не было, — вспоминает бывшее лейтенант Абрамов, — окруженные дивизии стояли спина к спине из последних сил, последними патронами, гранатами, штыками отбиваясь от бронированных клиньев врага. Это были обреченные дивизии».

«Обезумевшие лошади прыгали с трехметрового берегового обрыва, искалеченные бились на узкой прибрежной косе. Тут же рядом ложились люди. И даже при лунном свете было видно, как дымится от крови побуревший песок» (он же, Иван Абрамов).

Сталин капут!..

4. Шумел сурово брянский лес

Мы были людьми низшей расы.

Мы ничего не умели, не знали и знать не хотели.

Спички и порох придумали не мы. Электричества у нас не было. Телега и сани не менялись тысячу лет. Печь дымилась столько же. Я родился в сосновой избе, освещенной керосиновой лампой. За окном гудела июльская гроза и мычали коровы. К избе подступал высокий сосновый лес, где в древности заблудились монголы, а в сорок третьем замерзли немцы.

Тогда, в июле 1938-го ничего не предвещало близкой войны. Она где-то грохотала с большой выгодой для нас. Жарким летом 1941 года первые бомбы упали на брянское Болото. Загорелись леса и дома. Отец развозил пожарников. Немецкие летчики развернулись еще раз и бросили

бомбы. На сей раз бомба угодила в полуторку. Вечером мать искала останки отца в кровавом человеческом месиве.

Отец погиб под бомбой.

Мне было три года. Я помню его сильные руки, пахнущие бензином, и кожаный картуз набекрень. Я с ужасом смотрю в черное небо в перекрестке прожекторов. Под гул сирен отец тащил меня в убежище.

В наследство отец оставил кожаные сапоги впору старшему брату и канистру с керосином.

Классический квадрат — два деда, две бабки. Они у меня были, но я помню двух. Деда Серегу по отцовской линии и бабушку Варвару с материнской стороны.

Рядом со мной всегда был брат Шура. В тринадцать лет он был ладным, боевым пареньком. Пяти лет он играл на балалайке, пел, рисовал и мастерил велосипеды. Учился он легко и весело. После гибели отца под немецкой бомбой Шура думал лишь об одном — как отомстить немцу. Его постоянный напарник в шахматы Пинька Брин уехал с родителями в Ташкент. От нечего делать Шура скитался по улице Коминтерна. Грыз незрелые яблоки и думал, где раздобыть огнестрельное оружие. Теперь по прошествии многих лет можно объяснить томление подростка. После папаческого бегства городских властей в городе оставался отряд подпольщиков и Шура мечтал с ними работать вместе.

Брянчане привыкли к перемене властей. 25 октября 1941 года в городе работала Городская управа, а в ноябре упразднена вся советская топонимика. Наша грязная улица Коминтерна стала Болотной, к всеобщему недовольству обывателей.

Пара мышиных мундиров появилась в нашем доме.

Бывшие агитаторы коммунизма проклинали советскую власть. Их тщательно проверяли на вшивость и определяли в народную полицию. Собор не вмещал верующих. За стенами слышался гул иноземной техники. Попытки заглянуть за стены, и народ пугливо озирался.

Немцы любили бить и вешать. Под разным предлогом мучили и казнили. Потом оказалось, что в городе погиб каждый четвертый.

* * *

Первые достоверные иностранцы на Брянщине были бродячие татары Крымской Орды и пестрые разбойники Речи Посполитой. Их появление сопровождалось повальным грабежом, насилием и смертью. Брянчане брались за вилы и топоры, не раз били пришельцев, но любители чужого добра являлись в новой силе.

Немцы привезли научное истребление в виде «клиньев» и танковых «клещей».

Я — агент горькой правды. Я не знаю точных причин паннического отступления Красной Армии. Достоверные источники мне недоступны, а умышленные искажения пропаганды и лживые мемуары маршалов вызывают безгливое отношение к воикам вообще, а к советским особенно.

Для любого воина плен — это позор и трагедия. Гибель в неволе и подчинение для покоренного народа, каким бы отсталым он ни был, — настоящая катастрофа. Власть иноземца невыносима и обречена на отступление.

Хорошо моторизованные немецкие оккупанты взяли Брянск без единого выстрела 1 сентября 1941 года. Два с половиной года они перетряхивали наши трущобы с невиданным для русского духа педантизмом. Не стало хлеба, дров, мыла, соли, спичек, но наши люди приспособились жить без них. К немцам притерлись, как притирались к захватчикам былых времен.

На болотах еще квакали лягушки. В речке прыгала рыба, в лесу росли боровики. Люди женились и плодились. Кто-то запорол жену. Кто-то повесился на чердаке. Где-то поймали вора. Кого-то посадили в тюрьму. О таких

понятиях, как правосудие, справедливость, милосердие, подневольный народ давно забыл и жил в постоянном страхе за свою скотскую жизнь.

История «Брянской Народной Республики» — яркая и трагикомическая страница Брянского края.

Не успели немцы отоспаться, как к ним постучались брянские вольнодумцы. Они не верили в астрологические расчеты «сталинских пятилеток» и составили план преобразования советского уезда в Брянскую Народную Республику. Оккупантов, захвативших Брянщину, они называли викингами, а голодающих брянчан витязями.

«Докажите нам, что вы настоящие витязи», — лукаво запросил комендант города.

Назавтра витязи принесли списки брянских евреев. Их повязали тепленькими и перебили из пулемета в овраге под названием Нижний Судок.

Три тысячи неповинных людей!

— Они уйдут, — храбро ворчал мой дед Сергей Мироныч, — Россию нельзя завоевать.

— Не трепись, старый дурак, — противилась сноха, — большевикам крышка. Надо привыкать к новому порядку.

На крыше Городской управы развивался флаг с лапастой свастикой. Портрет Сталина заменили Гитлером, написанным одним и тем же художником. Бежать некуда. Началась пора покосов и базаров. В доме кричат голодные дети. Жизнь продолжается. Это ли не чудо?

Почему немцы, взявшие пол-Европы, выбрали для русской республики самое бедное место на земле?

Почему командующий немецким фронтом вручил ключи отдельного, независимого государства брянским витязям? Причем столицей стал не районный Брянск, а волостное Брасово. Даже не деревня, а конный завод с бараками для обслуги.

В Брасове, как у нас водится, дело началось со скандала. Один местный, начитанный смельчак, бывший пехотный капитан, предложил спустить победоносное германское зна-

мя и водрузить национальный, брянский стяг с изображением пушки с парой ядер на голубом фоне.

«Вон у мадяров свой флаг, а мы что, хуже?»

«Мадьяры — союзники, а не нахлебники, есть, грю, разница, а?»

Нашелся чудак из приبلудных патриотов, предложивший придумать новое знамя, но его подняли на смех, и дело пустили на самотек, ограничившись крестом.

Манифест от 7 ноября 1941 года, расклеенный по всем заборам, обещал ликвидацию коммунизма на Брянщине, полную свободу совести и частной собственности. На базаре распустили слухи, что витязи восстановят магдебургское право и откроют границу с Оттоманской Портой, как бывало когда-то. Вожди новой республики мечтали оттяпать земли до Курска, но немцы выправили республиканские границы по картам XV века в пределах одной волости.

Урожай картошки, бурака и конопли, под военный шумок спрятанный в единоличные закрома, немцы перегрузили в Германию, но, правда, открылась школа верховой дамской езды и крутили заграничные фильмы. Из пленных калмыков сбили вооруженные силы республики до полноценной армейской бригады с приданной артиллерией и танками. Сейчас находятся исследователи, утверждающие, что в годы самоуправления волость стала процветающим краем, что, по-моему, очень далеко от истинного положения дел.

Урочище Брасово и поселки вокруг — это бедная и бесплодная земля. Сплошные болота и перелески с редкими полосками гречихи и конопли. Решительно никакой промышленности, кроме коневодства и депо по ремонту паровозов на станции Локоть. Потом, витязи ввали, как их предшественники — большевики, о военном положении на фронтах.

Газета «Голос народа» сообщала, что Москву сдали немцам, что Сталин и его клика скрылись в Сибири, хотя на самом деле Москва держалась и Сталин ночевал в Кремле.

Обещанные витязями жилые дома, риги, молотилки, мельницы, крупорушки и просушки забыли возвратить их законным владельцам.

«Мы люди темные и беспартийные, — рассуждал брянский базар, — вон раньше жили без особой фортификации, нам новшества ни к чему!»

Под Новый год, когда православный народ пил самогон и гулял, главу республики Костика Воскобойникова пристрелили бродячие террористы. Они убили овчарку, в дом бросили бомбу и скрылись в глухом лесу.

На вакантное место главного витязя начальником назначили командира христолюбивого воинства Броню Каминского, бывшего техрука местного пенькового завода. Новый хозяин оказался круче своего предшественника. Казино и школа верховой езды продолжали существовать, но прогрессивно усилились военная подготовка, аресты и расстрелы врагов народа. Саботажников беспощадно секли и вешали. Здоровых и молодых унтерменшей гнали на культурную обработку в Германию.

Жизнь в европейской перспективе.

В лесах собирались дезертиры и народные мстители.

В ночь на 8 января 1942 года отряд лесных бойцов ворвался в столицу Брасово, поджег пеньковый склад, перерезал охранников и угнал с собой лошадей. Брянская республика оказалась в кольце партизанских отрядов, способных не только развести рельсы, но и атаковать в открытом бою.

Пользуясь новым законом республики, моя мать открыла швейную мастерскую по ремонту одежды. Доход был мизерный. Приходилось тайком гнать самогон и сплавлять вооруженные силы и полицию.

Подневольная жизнь шла своим чередом. Вдовы кормили сирот. Закупали дрова и соль, а завистливые шпионы строчили доносы. Вне всякого сомнения, Брянская Народная республика могла существовать еще тысячу лет, ввести магдебургское право, дать вольность хлебобобам и трудящимся работу, но слабость промышленного потен-

циала «Третьего рейха» и загадочная русская душа испортили лихо начатую цивилизацию.

Весной 1942 года запасы картошки и хлеба власть взяла силой и отправила в голодный фатерланд. Швейное ателье матери обложили таким налогом, что его пришлось прикрыть.

У брянчан был существенный недостаток — они были не люди, а унтерменши. Кто и где так решил — не важно. Важно, что унтерменши озлобились и бросились в бега. На базаре появились подметные листовки большевистского содержания. В пригородном лесу объявился самозванец, выдающий себя за Стеньку Разина. Его логово пытались обезвредить, но осаду сняли и вернулись ни с чем. Особый взрыв народного возмущения вызвал приказ Берлина от 14 июля 1943 года:

«Изъять все пригодное к работе население и отправить в Германию с целью увеличения рабочих рук в Империи».

Полиция повязала лучшую подругу матери, бездетную Таньку Карпову и товарняком отправила в незнакомую империю.

Лето 1943 года открылось ослепительными вспышками смертоносного огня. Каждую ночь в угрюмом небе гудели русские самолеты, и немецкие зенитки огрызались на самолеты, бомбившие город. Забитые обыватели тащились в погреба и там дремали при горящих фитилях, ожидая налеты.

Я любил спать под бомбами.

Я помню запах ячменного кофе и хруст подкованных сапог.

У нас квартировал немец, артиллерист Бруно.

Моя мать, вдова в тридцать три года, томилась по мужской ласке. Чернобровая и белозубая, могучая баба изнывала от распивавшей любви. Природа наделила ее щедрым телом и горячим сердцем.

Но кому дать, в кого вцепиться в оккупационной зоне?

Мать не давала каждому встречному и поперечному, брызгавшему спермой. Слюнявых и пьяных мудаков она не

жалела. Да они и не приставали к могучей женщине, способной придушить одной коленкой. Мать была не красоткой из казино и давала по личному выбору.

Перед тем как завалиться в постель могучей портнихи, артиллерист Бруно честно клялся в любви, мешая польские и немецкие слова:

«Я вернусь, я буду с тобой, пани родная!» — звучало вполне убедительно. Как отказать такому речистому немцу?

Они крепко еблись по ночам. Весну и лето 43-го мать счастливо прожила с немцем Бруно.

«Это был чистый и сильный мужик, не то что наши хлюпики», — вспоминала мать на старости лет.

Интимную связь с квартирантом, осевшим в нашей пятистенке, мать не прятала ни от нас детей, ни от сестер, тоже не терявших времени зря.

Безумие войны и беспросветная нужда не убивали универсальный мистицизм человеческой любви.

На исходе лета 1943 года самолеты Красной Армии все чаще навещали наш город, сбрасывая бомбы на крыши домов. Избы поднимались на воздух, как коробка рассыпанных спичек.

Мать корпела над «Зингером». Брат Шура жил по чужим нормам, гадил немцам и бесшумно скрывался от полиции.

Раз крупный осколок влетел к нам в окно и больно цапнул по моим ногам, сразу в трех местах, разорвав мякоть стопы и задев кость под коленкой. Домашние средства оказались негодными. Завернув истекающего кровью младенца в простыню, Бруно потащил меня в немецкий лазарет, где умелый врач остановил кровотечение, перевязал и сказал, что долго буду жить.

Мясо срослось как на собаке, но из костей еще долго сочилась дрянь. Я долго прыгал на одной ноге и прибавилась малярия. Температура зашла за сорок, но болезнь ушла. Я проснулся живым.

У каждой брянской семьи свое семейное ремесло. Моя жизнь начиналась с ниток, иголок и шигья. С пяти лет я мотал нитки в клубки, засыпая в работе.

Цивилизаторская деятельность отчаянных одиночек вроде моей матери и ее подруг оказалась никчемной на фоне наступающего Апокалипсиса. Поголовное пьянство брянской буржуазии, низкий нравственный уровень полиции и беспечность солдатни разрушили полезный почин.

Берлин приказал закрыть республику, как вульгарную лавочку, а бригаду добровольцев Каминского бросить в Европу, на разгром восставших поляков. Немцы, памятуя, что никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения, перед бегством выгребли дойных коров и город подожгли, как стог сена.

5. Моя несчастная мать

Наступая на пятки убегающим немцам, 17 сентября 1943 года в сожженный город ворвались бойцы 11-й Красной Армии.

Солдат в грязных обмотках сменили палачи.

Суд и расправу чинил генерал Гридин. Безродный мужик из сиротского дома, он неуклонно следовал генеральной линии партии с неограниченной властью душить, бить, расстреливать.

Прохвост Угрюм-Бурчеев, градоначальник города Глупова, — жалкий щенок по сравнению с сатаной Матвеем Гридиным, врагом рода человеческого. В брянском сквере до сих пор стоит чугунный бюст с окаменевшей рожой. Заметен китель военного покроя и отложной воротник с двумя ромбами в петлицах. Чистейший тип идиота с квадратным подбородком и тупым носом.

Первостепенной задачей этого идиота было истребление немецких шпионов, застрявших на русских печках.

Никто не видел, где живет генерал и что он ест. Он проносился на американском джипе как ураган, насаждая в людях страх и патриотизм.

Он все крушил без разбору.

Верным исполнителем его воли стал чахоточный ко-чегар из городской бани Димка Емлютин, знавший в городе всех не только в лицо. Власть доверила этому ублюдку высокий пост начальника «разведотдела».

На казенном самолете По-2 Емлютин летал в Москву с секретными докладами. Бывший банщик отличался завидной памятью. Он помнил наперечет не только членов партии «Витязь», но и всех торговков и воров брянского базара.

Значительную должность начальника отдела кадров — а кадры решают все, сказал тов. Сталин, — занимал Леха Бондаренко, человек отважный, но пустой и властолюбивый, что и погубило его впоследствии. Значительным изъяном его партийной биографии была женитьба на дочке брянского раввина Софке Блантер, лечившей его от раны в лесу.

Еще гремела канонада вдали, а брянчан бросили на расчистку пожарищ.

Душой и жизнью оставался базар, куда тащили все барахло, не конфискованное немцами, — серебро, хрусталь, картины, патефоны, книги, чтобы обменять на драгоценный кусок мыла и горсть гвоздей.

Ларек моей тетки Саши Булычевой походил на музей подержанных вещей. Брянские невесты могли купить у нее немецкий одеколон, беличью шубку на подкладке, шляпу с пером, чернобурку на плечо, фетровые ботики и отрез бостона на костюм.

По вечерам у нее танцевали под патефон, поговаривали, что тетя Саша выйдет замуж за генерала Гридина, не дождавшись мужа с фронта.

Палач Гридин знал, что победа обеспечена и подшита в историю, революционная затравка пущена в мировое болото капитализма. Европа глохнет от русских побед, один за другим отпадают пограничные соседи в пользу мирового коммунизма.

Мой дед Сергей Мироныч, задыхаясь солдатской махоркой, громогласно объявил:

— Брянский базар не умрет!

— Русская пехота непобедима, а русский мороз еще крепче, — добавлял больной грудью Федя Хлюпин.

На улице Коминтерна не досчитались окруженца Ивана Абрамова. Он значился в емлютинских списках, но бесследно исчез до появления советской власти.

Танцевали комики Штепсель и Тарапунька. Найривал джаз-банд Леонида Утесова.

«Брянская улица на Запад нас ведет!»

После бегства немцев мы вернулись на пепелище.

Из остатков сарая мать и брат сколотили балаган с окошком размером в тарелку и стали жить.

Зимовали мы дружно. Было голодно, и спина леденела от мороза, но мы терпели, мечтая о хлебе и горячей русской печке. Дырявый балаган пробивало ветром и снегом, бессменно горевшая «буржуйка» не согревала тела. Мы вчетвером спали на дощатом топчане, не снимая тряпья и шапок. Каждое утро брат Шура брался за лопату, пробивал тропинку к проезжей улице Коминтерна и исчезал. Сестра Маня топила в чугунке снег и варила постный суп из пшеничной картошки. Мать, не снимая полушалка, садилась за швейную машинку «Зингер» и строчила ватники на продажу. Потом Маня и я прилаживали к валенкам коньки и по оледеневшим канавам мчались кататься.

Однажды на дороге запыхтел огромный американский «студебекер», набитый молчавшими людьми. К нашей времянке подошел чахоточный партизан Емлютин с наганом на поясе, сказал одно слово «собирайся», и мать исчезла на полгода.

Без суда и следствия ее наказали за то, что мы два года жили под немцами.

Брат пропадал на вокзале, где у воинских эшелонов толкался народ, воровал что попадется под руки — вещи, консервы, хлеб. Раз у проезжих офицеров он стащил хромовые сапоги и обменял на мешок картошки. Месяц мы пекли картофельные «пляшки» на раскаленной буржуйке, пока мешок не опустел.

До весеннего разлива, истощенных от голода и вшей, сестру Маню и меня подобрала тетка Марфа Сергеевна, старшая сестра отца. На санях она отвезла нас в лесничество «Гигант», где мы отогрелись и отъелись медом. По рассказам двоюродных братьев, я рос расчегливым и кротким ребенком. Меня сажали на грядку, и я наедался морковкой, ловко отнимая ее у сидевших рядом кроликов. Пожилой муж тетки сохранил лес от немецких порубок и был награжден советским орденом. Такие ордена тогда почитали и обходили стороной. В этом теплом лесном гнезде мы, играя с двоюродными братьями, прожили все лето, пока нас не забрала мать.

Вся в лохмотьях, она походила на нищенку. За шесть месяцев принудительных работ ей выдали лес на постройку дома. В разгар лета мы вернулись на Болото. На паях со свояком Матвеем Хлюпиным, закройщиком высшей категории, мать шила стеганые ватники и бурки для босого и раздетого народа. Торговля шла бойко, но до сытой жизни было далеко.

— Главное — торговая детонация! — поучал народ дед Серега. — Вон, Ефим Басихин вышел на базар с кучкой ржавых гвоздей, а сейчас возводит железную крышу!

Знай, наших!

Брянский базар, как и пророчил дед Серега, достиг размаха полувековой давности. Он колыхался от башни князя Бяратинского, где крутили для любителей патристические фильмы «Два бойца» и «Машенька», до ворот сгоревшей швейной фабрики, в добрые три версты.

— Брянский базар вечен! — затягиваясь вонючим самосадом, басил дед Мироныч.

Аресты и грабежи шли своим чередом.

Мой брат Шура устроился на курсы столяров.

Дня за два до первого сентября 1944 года незнакомый китаец подошел к пустующему помещению каменной прачечной, отпер висячий замок, поставил черную доску с мелом и сел курить на ступеньках крыльца. Карманный вор

Чубаркин бросил в китайца камень и скрылся. Китаец не двинулся с места, а дождался первого числа и впустил в прачечную ватагу любопытных детей, изголодавшихся по ученью.

Брянск моего детства походил на большую бурую деревню с выгоном для скота посередине и базарной площадью на берегу Десны. Кое-где на высоких холмах правого берега сохранились дома старинной кладки, развалины Свенского монастыря и желтые заплатки свежих новостроек.

Никто не знал, как китаец Максак попал в город.

Знали, что на лугу кочует цыганский табор и ворует гусей. Пленные немцы возводят здание горсовета, но откуда явился китаец с морщинистой мордочкой и бородкой, где можно было пересчитать все волоски, никто не знал.

Китаец Максак жил в подвале прачечной, охранял школу и торговал на базаре картинками невиданной красоты.

В школу мы пришли вдвоем, сестра пропустила из-за войны три года, а я боялся сидеть один в балагане. Нашему учителю Леониду Алексеевичу стукнуло двадцать пять лет отроду. Одну руку он потерял под Кенигсбергом и преподавал по призванию. Подумать только, в этой заросшей зелеными поганками прачечной, приспособленной под школу, я научился читать и писать, слагать, вычитать и умножать, делить трехзначные числа с дробями.

Здесь я узнал, как две тысячи лет назад рабы под руководством Савмака подняли восстание против угнетателей и захватили власть. Великий художник Илья Ефимович Репин родился в семье солдата и стал знаменитым на весь мир. Шахтер угольных копий Алексей Стаханов, изображенный на деньгах, в одну смену вырубил сто тонн угля, в четырнадцать раз больше нормы. Я выучил наизусть сказку Пушкина «о царе Салтане», десяток басен Ивана Крылова, мог письменно изложить рассказы Чехова, Аксакова и Виктора Гюго. Там я нарисовал солдата среди проволочных заграждений. Он слал проклятие невидимому врагу.

Ни методических таблиц, ни кубиков с азбукой я не помню. Леонид Алексеич заставлял класс выкрикивать буквы хором, как только рисовал одну из них на черной доске. Он сиял от удовольствия, когда мы драли глотки, звуковым методом осваивая родную речь и арифметику. При самостоятельном чтении самые застенчивые ребята чувствовали себя превосходно, и впоследствии многие вышли в офицеры и певцы. Выучил таблицу умножения и сезонные отрывки пушкинских поэм вроде: «и вот уже трещат морозы», «уж небо осенью дышало», «гонимы вешними лучами». О лете ничего не помню, может быть годится «у лукоморья дуб зеленый»? Потом мы добрались до Льва Толстого, отрывки которого Леонид Алексеич читал с упоением:

— Откроем страницу тридцать и прочитаем заглавие «Камень», рассказ Льва Николаевича Толстого, величайшего писателя земли русской. Читаю быль по слогам и объясняю: «один бедный пришел к богатому просить милостыню». — Про кого я здесь читаю, ребята? — Правильно, про бедняка. А как таких бедняков называют? — Нищими. — А к кому пришел нищий? — К богачу просить милостыню. — А что значит милостыня? — Это подаяние.

Это значение мы хорошо знали. По сожженному городу бродило множество нищих беженцев, «Христа ради» просивших все, что дадут, да мы и сами были нищие.

На Брянщине считается, что жить в каменных домах нездорово. Каждый обыватель мечтает о сосновой пятистенке с крыльцом.

Дом брянской архитектуры строится следующим образом. Сосновые бревна, или «лес», плотники скоблят от коры, сушат и рубят сруб в десять—двенадцать венцов около трех метров высотой. Рубят в «лапу» (раньше) и в «угол» (теперь) из пяти стен, хотя пятой стеной считается холодный придел с крыльцом. Пробивают семь окон, четыре по фасаду, два с боку, и одно с тыльной стороны, с видом в сад и огород. Стропильную крышу кроют крупной

щепой или вошедшими в моду квадратными шиферными плитами. Между бревен закладывают сухой мох или паклю, тщательно загоняя ее в пазы. Из сосновых досок, изготовленных на месте пильщиками леса, застилают полы и потолок.

Обязательная принадлежность брянского дома — деревянное, резное крыльцо. Крыльцо пристраивается к холодным сеням размером два на два, с «греческим фронтоном» и двумя парами резных колонн с лавками по сторонам. Двор, огороженный высоким забором из горбыля, имеет два входа, воротный для въезда телег и скота и дверной для людей. Ворота запираются изнутри перекладной, а двери на щеколду.

Крыльцо — это становой хребет брянской цивилизации, очень яркая часть быта. Усевшись с решетом жареных подсолнухов на лавке крыльца, хозяйка и детвора судачат часами с соседями, передавая друг другу новости и узнавая их у прохожих.

Эти сосновые, трехкомнатные, светлые дома на украинский манер называют «хатами».

К сожалению, изобилие клопов и тараканов — вечная принадлежность брянского жилья.

Русская печь — нам мать родная!

Великий печник Трифон Гамов сложил нам большую печь из красного кирпича, с подполом для сушки дров и просторной лежанкой, где я спал десять лет подряд. Вокруг печки строилась жизнь семьи. В печке мы пекли круглые караваи хлеба и сдобные пышки по большим праздникам. Печка долго держит жар и еду в чугунах и горшках.

Суровые зимы. Двойные рамы промерзают насквозь. Образуется непроницаемый ледяной узор на стеклах. Я годами прыгал с печки и протирал ладонью пяточок в стекле, чтоб полюбоваться, что творится за окном.

1945 год — год горячей печки!

И — «выпьем за великий русский народ!»

Наши взяли Берлин 9 мая.

Жить стало теплее, жить стало веселее, но не нам.

Страх шел своим чередом. Не унимался генерал Гридин.

Пропавший без вести Иван Абрамов попал в армию генерала К.К. Рокоссовского (1-й Белорусский фронт) и отличился под Брестом. Его повысили в чине, но, не доходя до Вислы, он наступил на мину и потерял правую ногу. Из рязанского госпиталя его комиссовали домой. Весной 45-го он уже ковылял на костылях, торгуя примусами на брянском базаре.

Запуганный насмерть дядя Ваня заказал себе длинную кавалерийскую шинель до пят и сталинский картуз защитного цвета. Но отпустить усы не решился. Получалось не совсем приличное подражание главному вождю.

Палач Емлютин, зная, что инвалид войны Абрамов не подходит под вышку шпиона, все-таки решил напугать его допросом с пристрастием. Инвалида били палками по спине до тех пор, пока из горла не хлынула кровь. Смешали с дерьмом и выбросили в уличную грязь.

«Подыхай, фашистская сволочь!»

Дядя Ваня дополз до дому, зализал раны и окаменел. Его не трогал плач ребенка, а мимо драчунов проходил, не замечая крови и ножей.

«Палач натрепал харю на казенных харчах, поставит к стенке — рука не дрогнет, желтомордый палач не пожалует. Не тебя первого он отправляет в трибунал», — вспомнил допрос Иван Васильевич.

Повторного ареста ждала мать. Мы дрожали как сурки, ожидая стука в дверь.

Моя мать стала видной портнихой Брянска. На улице Коминтерна она обшивала весь народ. У нее имелся патент фининспекции на кустарное производство женского платья. Заказов хватало ровно настолько, чтоб свести концы с концами, выплатить ссуду за недоделанный дом, закупить на зиму топливо, вскопать большой огород, одеть, обусть и накормить детей и еще отложить на черный день. Очень редко, и в особом случае, она перешивала мужскую одежду брату, мне, родне.

Судя по всему, лейтенант Коля Косой, родом калмык, настоящую фамилию которого я не знал, завернул на потрепанном «виллисе» по наводке Саши Булычевой, искавшей матери жениха.

Калмык желал исправить новый мундир со стоячим воротником и золотыми погонами с парой звездочек, подложить побольше ваты под плечи, укоротить борты и укрепить сияющие пуговицы.

Что их сразу свело — не знаю. Разборчивая мать не кидалась на мужиков. В калмыке выпирала бесшабашная наглость, всегда привлекавшая мать в мужчинах. Говорили, что калмык не раз был разжалован за нарушение дисциплины, но опять поднимался, чтоб свалиться в очередной раз.

Он был ровесником матери. Лет тридцати пяти, но мал ростом. Сухой и плоский как доска, с длинным туловищем паздника и кривыми ногами, запрыганными в темно-синие галифе.

И мать — глыба. Если прижмет, то задохнешься, а если влепит острое словечко, то всегда в цель — «вон, смотри, пара: топор и топорище!».

Смотрю в окно — точно! — идет пара плотников.

Ядреная и ядовитая баба раскисла и сошлась с калмыком.

— Мам, кто это? — спрашиваю.

— Твой отчим, дядя Коля, — говорит смущенно.

Их кровать в дальней комнате постоянно скрипела и вздыхала. Я мал, мне семь лет, но особые звуки я легко отличал от скрипа телеги или ветра в саду.

Мой отчим дядя Коля отожрался на блинах и распоясался. Он учил меня стрелять из револьвера. Если я не попадал в пустую бутылку, то больно давал подзатыльник.

Райсовет погорельцам и новоселам давал ссуду и землю. На Болоте строились все, кому не лень. Возводили хоромы и семьи брянских полицаев Храмченко, Лужецких, Цыбульских, Восяковых, осужденных на 25 лет каторги.

Осушенные болотные квадраты вытягивались от Орловского большака до речки Снежить, не менее пяти квадратных километров. Образовались новые улицы и переулки. На домах повесили номера. Обещали электричество и водопровод вместо древних колодцев с цаплей.

В сосновом бору бригада плотников, где мой брат Шура числился, выстроила круглый помост с высоким, сквозным забором, тотчас же прозванный матерью «сковородой». Три-четыре раза в неделю там раздавался звук хриплой музыки. Кроме народных и заслуженных голосов Утесова, Шульженко, Канделаки, на сковороде крутили автора томных баллад, запрещенного «Лещенко на костях». От его «Моя Марусечка», «Я весь горю», «Татьяна, помнишь дни золотые» хотелось влюбиться или утопиться. Самые последние злодеи и глухонемые инвалиды превращались в послушных овечек.

Моя мать расцветала. Кривоногий калмык сумел ее улажить. Я впервые ее видел в легком, креплешинном платье с бантом на плече. Светлый пыльник до колен, калмык возил ее на своем «виллисе» в артбазу, где крутили трофейные фильмы сентиментального содержания. Брянские вдовы сгорали от зависти — закройщица Клавка нашла свое счастье!

И, правда, у нас в доме появился денщик «дяди Коли». Он колол дрова, чистил сапоги и кормил гусей.

Мне купили меховую кубанку, сапожки и акварельные краски.

Тяжелые драматические обстоятельства не заставили себе ждать.

Наша Маня рано заневестилась.

Она выглядела гораздо старше своих шестнадцати лет. Высокая и грудастая девица, готовая любить и рожать. За ней охотились хулиганы Чубаркины и поймали в кустах. Мать зорким, опытным оком определила, что дочка потеряла невинность до замужества и опозорила клан, на призыв матери: «Маня, не позорься раньше времени» — сест-

ра отвечала независимым кокетством. Ранняя зарплата швеи лишь усугубляла ее вызывающее поведение.

1947 год — год шекспировский в нашем доме.

Мать, Шура и я торжественно и молчаливо поклялись не вспоминать больше нашу Маню, исковеркавшую жизнь матери и всех нас, но «пусть огненным будет все», и страшное предательство сестры необходимо открыть моим близким, не скрывая подробностей.

Я на круглых пятерках перешел в третий класс, и нас отпустили раньше времени на летние каникулы. Я проводил друга Женьку Гудилина, лучше всех рисовавшего в классе, и огородами и лазами вернулся домой со двора. В открытую дверь сарая я услышал любовные вздохи и голос сестры Мани. Сгорая от любопытства, я заглянул в щель и увидел Маню, сидевшую верхом на калмыке. Калмык курил, пуская кольца к потолку, а моя сестра с яростью молодой суки, размахивая гривой густых рыжих волос, сладострастно качалась на его чреслах.

Брат Шура вкалывал в своей столярке и возвращался поздно. Мать в тот солнечный, весенний день торговала шитьем на базаре. Обливаясь слезами, я побежал к бабушке Варваре, жившей неподалеку. Там отсиделся, расхрабрился и вернулся домой. Я несся по улице Коминтерна без передышки, а когда влетел в дом через крыльцо, то там было пусто, ни мундира с золотыми погонами, ни Маньки, ни матери, ни брата. Я выскочил во двор и обомлел. На соломе валялась моя мать с кухонным ножом в руках, она судорожно билась, разрывая блузку в клочья, над ней суетился брат Шура.

— Жива, — мрачно сказал брат, — дай воды.

Я зачерпнул в кадучке кружку воды и, расплескивая через край, протянул ему. Он склонился к материнским губам. Мать отхлебнула, открыла глаза и зарыдала, причитая на весь поселок. Мы перенесли ее в дом и, уложив, легли рядом на половик, прижавшись друг к другу. Всю ночь она глубоко и тяжело вздыхала, а утром встала, тща-

тельно причесалась на прямой пробор, свернув волосы в узел, и села за «Зингер» как ни в чем не бывало.

Слух о том, что кривой калмык увез Маньку, мгновенно разнесся по поселку, Шурка не задирался, мать на вопросы родни отмалчивалась, а я увиливал от вопросов бегством.

* * *

Однажды в базарный день я наткнулся на китайца Максака. Он сидел под брезентовым навесом и продавал живописные картинки. Это были разноцветные букеты и женские лица с кудрявой прической, нарисованные анилиновой краской с оборотной стороны стекла. Я разинул рот от таких живописных чудес, мечтая сделать нечто подобное. Конечно, все лето я продолжал гонять в футбол, воровать у соседей вишни, купаться до посинения в речке, но не проходило базарного дня, чтоб я не заглянул в будку Максака полюбоваться удивительным зрелищем.

В разоренном войной городе не было ни бумаги, ни красок, ни кистей. Все, что изображалось в учебниках, от лягушки-путешественницы до портретов товарища Сталина в три четверти, я срисовал синими чернилами в самодельную тетрадку. Бывало, у красноармейцев, стоявших на артиллерийской базе, я воровал мазут и рисовал на заборах щепкой батальные сцены. Раз солдаты меня поймали и больно побили, но избавиться от наваждения мазать и рисовать где придется и чем угодно я уже не мог.

Заметив мое увлечение, Максак позвал к себе. В подвале прачечной, где он ютился, стояла жуткая вонь анилиновых красок, столярного клея и табаку. Китаец молча показал, как варят краску и по картонному трафарету наносят цвет на стекло. Обводы женского лица он делал черной краской, ловко орудуя колонковою кистью с бамбуковым стволком. Такой кисти у меня не было. На первой пробе я загубил стекло. Трафарет скользил как по льду, краски сливались в бурое месиво вместо букета.

— Еще раз, — буркнул китаец и смыл мазню со стекла.

Я зачастил в подвал к китайцу. Набравшись терпения, мне удалось сделать подходящий букет. Китаец по-немецки сказал «гут», исправил овал лица черным контуром и отложил в товарный ряд.

На базаре к нам подошел дядя Толя Булычев и сказал:

— Ты рисовал? — Я кивнул головой.

— Нарисуй мне пивную кружку, заплачу!

Выполнить заказ мне не составляло труда. Я стащил у красноармейцев стекло. Замазал его черной краской и проскреб силуэт пивной кружки с пушистой пеной. Вокруг написал «свежее жигулевское пиво». Заказчику афиша понравилась, он выдал мне тридцать дореформенных рублей наличными, что составляло стоимость бутылки водки. Деньги матери.

— Где украл? — грозно спросила мать.

— Не украл, а заработал!

В нашем роду умели рисовать, петь, играть, но никто не считал эти увлечения профессией. Настоящая, чистая профессия приносила постоянное жалованье, а баянистов и певцов только угощали водкой.

На семейном совете в присутствии деда Мироныча, бабушки Варвары, брата Шуры и Булычей было решено учить меня на доходного художника, но как это осуществить, никто из них не знал.

Я заканчивал четвертый класс. Надо было искать ремесленное училище, где учили бы рисовать по-настоящему.

* * *

По словам родни, Шурку сбил с толку блатной Жмуркин. Этот известный брянский вор, сгнивавший от нажитой в тюрьмах чахотки, не умел стрелять и бросать бомбы. Он составлял стратегические планы налетов. Он обладал завидным умением объяснять сложное доходчивым слогом.

«Сила воров в единении».

Группу Жмуркина составляли безрукий Понятовский, возвращенец из Германии Келя и могучий Ванек из цыганского рода Чубаркиных. Несовершеннолетние подростки, среди которых очутился мой брат, постоянно оказывали вограм услуги.

Летом 1947 года вагон трофейного барахла, адресованный брянским начальникам, — ковры, картины, диваны, фарфор, стекло, приемники и шубы — оказался на брянском базаре. Начальник города Гридин велел арестовать весь базар, осмотреть все дворы и подвалы.

Мой дед Мироныч завел пегого жеребца. Он часто нас навещал, сидя в повозке с лихо спущенной ногой в яловом сапоге. Он прихрамывал и казался мне древним стариком с серыми усами, висевшими подковой на гладко выбритом подбородке. На самом деле ему стукнуло шестьдесят и поговаривали, что после смерти Семенихи он женится в пятый раз. Вся скотина поселка находилась у него в руках. Он ее холостил, орудуя острым, трофейным ножом, засучив окровавленные по локоть руки.

Следопыты Гридина опечатали ларек Булычей (тетя Саша и дядя Толя). У них нашли австрийский ковер и трофейный приемник. На допросе с пристрастием Булычи показали на Жмуркина, сбывшего товар. Опытный Жмуркин не держал ворованных вещей и к грабежу вагона не был причастен. Его отпустили. Булычи отделались штрафом в 500 рублей и принялись за свое. На исчезнувших Келю и Ванька объявили всесоюзный розыск.

К моему удивлению, в нашем доме появилась картина маслом с изображением альпийских гор, трофейный приемник, глубокое кожаное кресло. Таких вещей Брянск не производил. Я знал, что это не куплено а воровано. Подобные вещи я увидел в домах Храмченко и Лужецкого, друзей моего брата. Жить в таком иностранном декоре нам долго не пришлось. В день ареста Храмченко мать успела отмочить альпийский пейзаж и порезать на фуфайки. Но кресло и приемник обыск раскопал на сеновале.

Мало этого, на чердаке солдаты нашли закопанные в опилки два трофейных автомата и мешок патронов.

Брату грозил суровый приговор за групповщину — хищение государственного имущества на пятнадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества, но учитывая чистосердечное признание и молодость подсудимого, ему дали семь лет заключения с конфискацией ворованного имущества.

Подельники Храмченко и Лужецкий получили те же сроки.

В ночь грабежа трофейного вагона, стоявшего на запасном пути, Понятовский, Кея и Ванек обезоружили охранника, сорвали пломбу и содержимое погрузили на подводу, управляемую моим братом Шуркой. Налетчики в ту же ночь скрылись в лесу, а возчик и пара грузчиков получили сроки.

* * *

Четыре года я учился в «прачке». Мне хочется сложить гимн этой школе одного учителя, Леонида Алексеевича Ушакова. От него я узнал потрясающие вещи географии, истории, арифметики и родной речи.

К летним каникулам 1948 года я, кажется, отличился и получил приз в виде коробки акварельных красок.

Я пытался овладеть техникой акварели, но не смог, и боялся большой воды — основное свойство этой техники, и не имел больших кистей, а маленькая кисть сразу сушила изображение. Пришлось ждть начала школьного сезона.

Новую школу-десятилетку построили на песчаной горке, с видом на Орловский большак. В погожий день, издалека она походила на греческий храм, но вблизи в глаза бросалась неуклюжая работа пленных каменщиков и отвратительная меловая побелка стен, от которой все пачкались, а потом долго отряхивались на пороге.

На крыше здания возвели изваяние из гипса, представляющее рабочего с молотком и колхозницу со снопом

зерновых культур в руках. Во дворе разбили клумбу с глиняной вазой в середине. Пытались вырастить цветы, но они засохли уже летом и никогда не поднялись на моей памяти. Тайные курильщики туда бросали окурки.

Я оказался в одном классе с Пашкой Гудилиным, сыном грозного фининспектора. Мы сразу сошлись на одном увлечении — он рисовал, но лучше меня. Домой мы возвращались вместе и дружили. В ту же осень 1949 года я заболел малярией и чуть не умер от злой лихорадки. Наша малярийная местность всегда кишела ползучими и летучими гадами, но в тот год весь поселок слег от малярийной болезни. Мать и переехавшая к нам бабушка меня выходили, но сами слегли по очереди, сначала мать, а потом и бабушка, уже не вставшая с постели. Топить печку я не умел. Поднимался дым, смрад, удушье. Поленья чернели и гасли. Наши утки одичали от голода и улетели на дальние болота. Куры неслись у соседей, куда меня не пускали. Хозяйство рушилось на глазах, и редкие наезды деда и теток не исправляли положения. Бегать в школу я прекратил, оборвался и обовшивел без ухода.

Учебный год и пятый класс я пропустил. Втроем мы жили на подачках родни. Если в доме были кувшин молока или краюха хлеба, мы ликовали от счастья. Мне пошел двенадцатый год. Едва оправившись от болезни, я походил на цыпленка, вылезшего из яйца, отряхаясь и привыкая к жизни. Под диктовку матери начал писать письма брату Шуре, сидевшему в заключении, и заново учился рисовать.

Женька Гудилин не порвал со мной дружбы. Мы рисовали вместе. Несмотря на видное положение фининспектора, товарищ Гудилин жил по-пролетарски, демонстрируя уходящий в прошлое «революционный стиль» — гимнастерка, картуз, сопля усов под носом. При виде потертого портфеля брянские сапожники, портные и пивные ларьки тряслись от страха. Пятистенку Гудилиным строили пленные немцы, и в ней витал некий загранич-

ный дух внутри и снаружи. Между окнами и потолком, по бордюру парадной стены тянулся ряд крупных плакатов с лицами маршалов Советского Союза. Я помню лысого Тимошенко, усатого Буденного и мордастого Толбухина. Перед суровым иконостасом военачальников, затянутых в мундиры по горло, хотелось подтянуться и пройти строевым шагом.

Женька Гудилин не только лучше меня рисовал по клеткам, но и писал складные стихи. По мнению Женьки, чтоб в рифму сочинять стихи, необходимо изучить всех русских классиков, от Ломоносова до Симонова поочередно. Метод Женьки мне показался забавным, но на первой оде Ломоносова, посвященной императрице Елизавете Петровне, я заснул и прекратил изучение русской поэзии.

Больной бабушке я читал Пушкина и Льва Толстого в разной форме. Близко к сердцу она принимала судьбу Жилина и Костылина, русских офицеров попавших в плен к диким чеченцам. На фразе «Прощай, Динушка, век тебя помнить буду» бабушка прослезилась.

Потом за ней смотрели тетки, тетя Вера, тетя Нюра, тетя Саша, и наконец взял на содержание дядя Ваня Абрамов, ее последний сын, у которого она умерла в жутких страданиях шестидесяти пяти лет от роду.

Хозяева Брянска Бондаренки совсем чокнулись. Они решили раз и навсегда прикрыть брянскую барахолку и скотный рынок. Софка считала, что в горсовете воняет конским навозом.

У деда Сереги конфисковали любимую савраску. Такой интервенции он не мог перенести и решил умереть всем назло. Жизни без лошади он не мыслил. Он прирос к лошадам. Я не помню его идущим по дороге. Спускаясь с крыльца, он прыгал в седло или повозку, не замочив сапог. Большой мастак ослаблять хряков, быков, жеребцов, он жил нарасхват и припеваючи, и сыт, и пьян, и нос в табаке.

Спустя десять лет я увидел фильм С.М. Эйзенштейна «Стачка». Там крупным планом режиссер показал безымянного пролетария в полувоенном картузе с прищуром густых бровей. Фильм был немой, и пролетарий беззвучно кричал, угрожая кому-то кулаком. Я в нем сразу признал моего деда Сергея Мироныча. Люди такого покроя составляли касту мастеровых, а мой дед был великий скотоврач брянской земли.

Родня шепталась, что на похороны деда слет какой-то человек из Москвы.

— Как же, так я и поверила! — скулила тетка Нюра. — Так он тебе и придет!

Я никогда не слышал, что у дедушки есть брат в Москве, и вдруг рано утром он появился на удивление всей родни. Москвич поселился в гостинице «Десна», и начал обход казенных мест и родни. Мои тетки не спускали с него глаз и знали, что москвич живет в отдельной комнате, по утрам пьет чай в столовой, гладит брюки, чистит ботинки и читает газету. Он всех обошел и одарил гостинцами, но недоверчивая родня с нетерпением ждала подвоха, ведь просто так никто гостинцами не бросается.

— Самостоятельный мужчина, — говорил Булыч, — всех обласкал, всех пожалел, и бедных, и богатых.

— Мягко стелет, да жестко будет спать, — сомневались вдовы пропавших без вести Андрея, Степана и Василия. — Выдал крохи, а утащит горшок с золотом!

Этот горшок с золотом не давал мне покоя.

Мой дед Сергей Мироныч жил на правом берегу Десны, на так называемой «Покровской горе» — центре стрелецкой слободы, ставшей «советским районом» Брянска. Дом предков Воробьевых с большим полуподвалом и деревянным мезонином уплотнили в коммуналку. На кухне дымился не один, а пять примусов. На стене висело пять корыт и пять банных веников. Мезонин занимал тапер Остап Козловой. При немцах он играл в казино, а теперь ждал, когда его позовут поднимать брянскую культуру.

Кроме деда и Семенихи, живших отдельно в подвале, чистый этаж занимали две многолетние вдовы дядей Степана и Андрея, пропавших без вести на войне, и тетя Ольга Сергеевна Сафронова, потерявшая мужа на той же войне.

Революция и война перебили здоровых людей. Под столетним дубом сидели белобородые старики, помнившие если не крещение Руси, то крепостной строй наверняка.

Набитый жильцами, не ладившими между собой, без присмотра и хозяина, дом гнил и расползался на глазах. Парадный подъезд давно забили досками. Боковая дверь, куда поминутно входили и выходили люди, висела на одной петле и жалобно стонала, когда ее отпирали злобным пинком.

Фасад дома смотрел на площадь с церковью Покрова Пресвятыя Богородицы, особо чтимой стрельцами и превращенной в склад и клуб. Задний двор с сараем и конюшней, где дед держал жеребца, круто спускался в овраг с густым, одичавшим садом. Забор почернел и покосился, калитка едва держалась.

Горбатую землю, не приспособленную к футбольной игре, я не любил, с братьями и сестрами не дружил и у деда бывал редко.

Однажды в базарный день я заночевал у деда. Не спал, а ждал приключений. Дед приехал поздно, запалил керосиновую лампу с закопченным стеклом, опорожнил свой саквояж, набитый шипцами, ножами и пузырьками. Резать и холостить меня он не стал, чему-то ухмыляясь, завалился на грязный топчан.

Ночью он встал, зажег лампу, из-под подушки достал сверток, замотанный пеньковой веревкой, принялся что-то пересчитывать и перекладывать.

Участие в преступном сообществе!

После смерти деда свертка не нашли.

Что перекладывал Сергей Миронович Воробьев? Ценные бумаги? Валюту?

Помню, аккуратный москвич Яков Миронович заглянул к нам на Болото. Земля глубоко вздыхала после зимней спячки. За оградой крикали довольные утки. От луж валил пар. Играло весеннее солнышко.

— Клавдия Васильевна, — ласково ворковал московский дед, — сын умеет рисовать, но необходим московский диплом для чистого места. Привозите его в Москву, попробуем устроить в ученье.

От брани и ласки мать одинаково бросало в слезы.

Опрятный дед в пиджаке и брюках навывпуск одарил меня пряником, матери сунул деньги и укатил в Москву.

Горшка с червонным золотом не нашли, но легенда продолжала жить в нашем клане. В 1951-м, после похорон деда Мироныча, полы в его подвале были варварски вскрыты. Видно, что искали сокровище, но кто и когда, никто из жильцов не признался.

* * *

На Украине появился хлеб, но не было сарафанов. В Брянске были сарафаны, но не было хлеба. Мать решила уладить дело — обменять сарафаны на хлеб и поставить на ноги гибнущее хозяйство.

Соседняя братская республика со своей заветной крупчаткой, особо ценимой брянчанами пшеничной мукой, начиналась за брянским лесом. За платформой Пятилетка открывались плодородный Конотоп, Бахмач и Нежин, места, навечно вписанные в мое сознание. До большого Киева мы никогда не добирались, и далеко, и незачем. В хлебный Бахмач мы везли шитье — фуфайки, бурки, сарафаны, — а привозили мешки с мукой и молочных поросят. На поездку уходило три базарных дня с ночевкой под открытым небом.

Летом 1950-го наши добытчики взяли меня в райский Бахмач. Дед Мироныч подвез тюки со швейным товаром.

Мы дождались попутный товарняк, побросали тюки в открытую платформу, сели сами и двинулись на Украину.

Дядя Ваня Абрамов солидно сидел на мешке с примусными иголками. Тетя Вера, тетя Нюра и мы с матерью приткнулись друг к другу.

Я знал содержание сказок братьев Гримм в красивых иллюстрациях, «Белоснежка», «Золушка», «Красная Шапочка». Там были диковинные замки, волки, глухие леса, совсем как в Брянске, и никаких полей и просторов. Здесь же с платформы товарняка открывался горизонт без единого дерева. Я с удивлением смотрел на десятки километров свекольных полей с белоснежными развалинами дворцов благородных, греческих пропорций.

Мой начитанный дядя пояснял:

— Это дворец гетмана Мазепы, а это атамана Кочубея, а это графа Разумовского. Все строил итальянский зодчий Джакомо Кваренги.

Ах, каналья, зодчий!

Вот так чудеса — Кваренги в Бахмаче!

На рассвете, как следует навьючившись, мы гуськом ползли на богатый украинский базар. Он ломился от возов с поклажей. Скотина редела и визжала. Шебетала птица всех сортов. Фруктовые и овощные ряды торговали не стаканами, как у нас, а ведрами. Наливные яблоки продавали не поштучно, а мешками.

Примусные иголки дяди хохлы расхватали до полудня. Сарафаны и бурки матери брали без примерки, на глазок. Тетки закупили молочных поросят, мать три мешка муки, я гордо сидел на добре, уплетая пахучие яблоки.

Красивая жизнь — базар в Бахмаче!

По возвращении наш табор атаковала банда железнодорожных воров, забравших кошельки и ценности. Дядя Ваня, знавший толк в войне, огрел одного костылем по горбу — «а ну, брысь, хмыри болотные», — хмыри, матерясь и сплевывая, нехотя отступили в темноту.

Под стук колес я задремал и растолкали меня дома.

Несмотря на изобретательность матери, поднять хозяйство мы не смогли. Все средства поглощала тюрьма брата Шуры. Чтоб вызволить его из заключения или сократить срок, мать нанимала лучших адвокатов. Те что-то писали, обещали и брали деньги. А дело ползло как черепаха. Правда, брата с Колымы перевели в образцовый ИТЛ под Москвой, а на это шло еще больше денег.

К семидесятилетию товарища Сталина (1949) наша власть решила очистить город от военного мусора. Тысячи калек мировой войны, безруких, безногих, слепых и бездомных, бряцая медалями и костылями, воняли, пили и дрались на вокзалах, базарах и скверах, смущая здоровых строителей коммунизма. Орава блатных и нищих героев основательно портила вид лучезарного будущего. Проще всего было загнать героев в овраг и перебить из пулемета, но пролетарский гуманизм соввласти не позволял такой грубости. Было решено горластое племя героев Сталинграда и Берлина переловить ночью и отправить товарняком на Дальний Север молиться соловецким угодникам. Беспомощных инвалидов и военных марух, как дрова, побросали в холодные вагоны и вывезли. Рано утром прогрессивное человечество облегченно вздохнуло. На вокзалах не воняло, на базаре гулял ветер, а в сквере росли ромашки.

В 1975-м я открыл, что красивейший квартал Парижа классической архитектуры — строил Луи Каторз в 1670 году — называется Дворец Инвалидов. Не на шутку, а всерьез здесь жили и умирали инвалиды французской армии и лежит главный воин Наполеон.

Почему бы Московский Кремль не превратить в дом русских инвалидов?

Конечно, послевоенную пятилетку, как обещали товарищу Сталину, мы сдали в четыре года.

6. Иностраный учитель рисования

После вынужденного перерыва я вернулся в пятый класс. На «камчатку» посадили братьев Чубаркиных, сидевших третий год. Один из них двинул мне по шапке, другой выдернул еду из кармана и, хохоча, удрал. Назавтра Чубаркины хныкали в соплях и шишках. Мы их отметили. Мне помогли расправиться с обидчиками верные Женька Гудилин и Пашка Басихин, члены рисовального кружка.

Началась химия, алгебра, морфология, орфография, синтаксис, пунктуация — трудные и скучные предметы. Я их с трудом сдавал на «тройку», списывая ответы в шпаргалке.

Рисование и черчение вел Николай Никодимыч Вошинский. Он же руководил драмкружком, писал декорации для коронных постановок: «Кошкин дом» Самуила Маршака, где я был Петух — «спать ложусь я вместе с вами, а встаю я с петухами», и «Красный галстук» Сергея Михалкова, где Бобик Палкин (я) взывает — «я больше не буду!».

В придачу Н.Н.В. открыл «курсы вечернего рисования», куда сразу записались Женька Гудилин, Пашка Басихин, Мишка Бенцель, братья Двораки и я. Двораки убежали с первого вечера. От рисования гипсовой «розетки» они заснули от скуки. Остальные собирались всю зиму 1950 и 1951 года. Тогда я узнал множество подробностей о жизни нашего учителя.

* * *

Пролетарский Кремль нуждался не в футуристах, не умевших доходчиво рисовать, а в грамотных реалистах пропаганды.

Мастера «вечного реализма», бежавшие от голодной жизни за границу, постепенно возвращались назад. Они

получали постоянные заказы, громадные и бесплатные мастерские и всесоюзную славу.

Совдепии было наплевать на местечкового еврея Хаима Сутина, навсегда ускользнувшего из русской культуры. Победивший пролетариат строил новую жизнь и объявил верные таланты национальным достоянием.

Наш учитель рисования Вошинский, по кличке «француз», приехал в Брянск из Австралии. Что заставило опытного эмигранта с доходной профессией сменить солнечную страну кенгуру на дикий и сожженный Брянск, тогда мы не знали, вопросы такого рода не задавали, если сам учитель не ронял слова иностранного звучания.

Мужик с благородным профилем считал себя уроженцем Брянска. Однажды в весенний пленэр 1951 года он показал на большой барский дом с ветхим, заколоченным крыльцом:

— А вот в этом доме я родился в 1900 году!

Мировая война сорвала брянского гимназиста с насиженного места. Он записался добровольцем в санитарный отряд, и с запасных путей брянского вокзала его отправили на Восток, бить японских интервентов. На Дальнем Востоке, где власти менялись ежедневно, он бросил санитаров и поступил в театр маляром. Год мучился на солдатском пайке, а в 1920-м выехал с театром в Харбин, откуда начинался кратчайший путь в Париж, где все учились искусству.

Вошинский получил художественное образование в Париже и с блеском начал карьеру портретиста и театрального декоратора. Иван Алексеевич Бунин охотно ему попиновал с гордо поднятой головой Нобелевского лауреата (1933). Вошинский отличился и в постановочной части театра и кино, работая в паре с Билинским и Жорой Вакевичем. Новая мировая война (1939) перепутала все планы художника. Он спешно, по вызову близких, выехал в Австралию.

В середине 30-х изгнанники революции составляли костяк русской классики. Репин, Коненков, Коровин, Яков-

лев, Сорин, Малявин, Сомов, Билибин и множество других томились в полном забвении и далеко от горячо любимой России.

Иван Билибин, столп питерского «Мира Искусства», верно выразил муки ушедших на неприветливый Запад.

«Россия меня тянет. Я чувствую, что становлюсь националистом, когда вижу европейские культуры. Только сейчас я понимаю, что мы потеряли».

В нашей стране все одинаково бездомны, от прославленного маршала до безымянного дворника. В огромной и богатой России гражданин с паспортом и пропиской имеет право на десять метров казенной «жилплощади» и клочок земли, где можно посадить морковку и капусту. В случае неприятностей с налогом за помещение и огород, «жилплощадь» конфискуется вместе с морковкой.

Билибина прописали в Ленинграде, Коненкова в Москве, а брянский патриот Вошинский получил комнату в бараке без проточной воды.

Рисовал и читал он при свете керосиновой лампы.

Соседи ненавидели «француза» за барские повадки и всячески гадили и обдирали на чем придется.

Ничего поэтического!

«Блаженство всегда весьма народу вредно, богат быть должен Царь, а государство бедно!»

Я думаю, что комната в Сиднее была гораздо удобней брянской конуры, но Вошинский не подавал виду, что ему плохо от перемен.

Врожденный оптимист без великих амбиций.

Я полюбил спорт.

Хозяйка города Софка Блантер продвигала спорт в своей вотчине.

— Вячеслав Гаврилыч, — укоряла она директора школы поэта Ляшенко, — а не пора ли нам заняться гимнастикой!

Поэт развел руками, но гимнастический зал был сделан в помещении конюшни, с турником, стенкой, брусья-

ми для всевозможных упражнений. Столярный цех завалили новыми лыжами с жестким креплением. Победителем гонок всегда был красавчик Юрка Козлов, впоследствии ставший мастером спорта. Учителем спорта прислали крохотную бабенку в спортивных штанах, с конопатым носом и сильным голосом. Ее муж служил в войсках МВД и, появляясь, увозил конопатую на подержанном американском джипе.

Я хорошо бегал на лыжах, «англичанке» отвечал «азм он дьютитудей», но моей подлинной страстью было внеклассное чтение. За два дня я одолевал книжку в восемьсот страниц типа Филдинга «Джон-найденыш», много и неопределенно мечтал о дальних походах и странах, заглядывая биографии Миклухо-Маклая, Пржевальского, Амундсена, Седова. Книга моего современника В.А. Каверина (имени и отчества писателя я не знал) «Два капитана» стояла в домашней этажерке, как необходимое пособие. Я пробовал спать в снегу, как норвежец Руаль Амундсен, но мать раскопала меня ночью лопатой и привела домой.

По вечерам мы рисовали в классе Вошинского.

Наш учитель рисовал легким, волнистым штрихом, сейчас я бы назвал этот прием «французской манерой», потому что видел лично, как рисуют в академии Жульяна — парижская школа Вошинского, — но тогда, при постановке «Кошкиного дома» на школьной сцене, с задником, изображавшим забор и калитку, покрытые пушистым снегом, таких сравнений не возникало.

Пару фанатиков рисования, меня и Женьку Гудилина, «француз» припимал у себя дома.

Он отлично знал жизнь старых мастеров Возрождения. Любил украсить рассказ анекдотической картинкой о травоедстве Репина, о похмелье Саврасова, о еврействе Левитана. От него я узнал, что настоящая фамилия художника Перова, моего кумира той поры, фон Крюденер.

Опять немец, чего там!

Из потертой папки учитель доставал пачку серо-белых фотографий, снятых в 30-х в Париже. Перед глазами мелькали европейские красоты, а сейчас он сидел в изодранном кошкой кресле серо-бурого барака в обществе двух учеников, одетых в тряпье.

— Эх вы, дурачки! — ласково обращался он к нам. — Я писал самого Бунина Ивана Алексеевича! Великий русский писатель! «При Нобель»!

Такого мы не проходили.

«К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!»

Советский пионер на призыв гениального Ленина отвечает: «Всегда готов!»

Я получу диплом высшей квалификации и буду продолжать дело Ленина как живописец.

По торжественным дням (7 ноября, Новый год) Вошинский готовил спектакли. Он собирал активистов драмкружка, зубрил с ними тексты и сам брал в руки кисть. Среди замеса клеевых красок его кисть танцевала, как балерина. Бумажные декорации с изображением ворот, заборов, карнизов, фризов он воссоздавал по памяти, не обращая за подмогой к эскизам. Этот наивный и хрупкий декор мне казался шедевром художественного творчества.

Теперь, по прошествии полувека, стоя у ворот академии Жульена в Париже, на оживленном перекрестке Латинского квартала, я думаю о таинственной судьбе брянского «француза». Почему он пришел в советскую Россию? Что за тайная сила в далеком 1947 году вырвала его из солнечного Сиднея?

Работы его друга Жоржа Вакевича висят в «луврах» мировой культуры, а декоративные шедевры Николая Никодимовича Вошинского смыли и сожгли в костре брянской школы еще при жизни их создателя.

Н.Н. Вошинский — большой человек!

Его культурный горизонт выделялся шириной интересов и яркостью. Он с одинаковой легкостью и знанием дела говорил об устройстве японского пулемета и шахмат-

ных этюдах Ботвинника, о красоте классического шрифта и ценности нумизматики. Свой летний отпуск он проводил в обществе археологов, ковыряясь в бесчисленных могильниках Брянщины.

Часть вторая ОБЩАГА

Бездельники карабкаются на Парнас.
«Известия», 1960

Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст.
«Крокодил», 1952

1. Натурщик

Крик чеховских сестер — «В Москву, в Москву, в Москву!» — поднимает на ноги всех мечтателей медвежьих углов России. Учиться, работать, творить в огромном городе с международным аэропортом, столице «всего прогрессивного человечества», для каждого начинающего честолюбца означает напряженную, полнокровную и веселую жизнь на виду всего человечества.

Глухой зимой 1952 года мать повезла меня в Москву. С Киевского вокзала до станции «Красные Ворота» мы ехали в метро, похожем на сказочные дворцы братьев Гримм. Недолго плутая, мы нашли дом, где жил Яков Мироныч Воробьев, младший брат моего деда.

Особый дед. Столичная штучка. В 20-е годы «дядя Яша», так его звала мать, так начал и я, бросил брянскую глухомань и квартировал в тихом дворе, занимая в огромной, многонаселенной коммуналке комнату в два окна с красивым видом в сад юсуповской усадьбы, где виднелись засыпанные снегом боги Олимпа и пестрые снегири у Харитонья в Огородниках. В коричневой картонной папке лежали любовно оформленные рисунки и гравюры русских художников. Одна, под стеклом, «Слепой нищий с поводырем» какого-то И.А. Ермина, украшала стенку.

Мой угрюмый дядя спал с открытой форточкой, вставал в шесть утра на утреннюю гимнастику, опасной брит-

вой брил шею, обливался холодной водой, сдувал пыль с фетровой шляпы и уходил, не завтракая. Сначала я не мог понять, где он ест и что. В пустой и холодной комнате съестным и не пахло. Потом оказалось, что он ест и служит в бакалейном магазине с китайским орнаментом. Витрины торгового предприятия ломались от красочных муляжей, перемешанных с пестрыми упаковками чайных и шоколадных изделий. Служащие почтамта на вес покупали дешевые ароматные леденцы. Жильцы доходных домов, где было много художников и педагогов, заказывали пахучие кофейные зерна из Индии и Египта.

План нашей поездки состоял из двух частей: посещение Приемной Президиума Верховного Совета СССР, где принимали прошения на помилование заключенных, посещение исправительно-трудового лагеря в селе Лианозово, где пятый год сидел брат Шура, и вторая часть — определение меня в художники.

Прощение о помиловании мы сдали под расписку, в приемной тов. Шверника на Моховой. На следующее утро добрались до образцового лагеря в Лианозово, померзнув часок в настезь распахнутом вагоне.

В лагерьной приемной, украшенной картинами в золотых рамах и красными коврами по полу, было светло и уютно. Толпились люди со всех углов просторной Совдепии, с мешками, кульками, чемоданами. Часа два мы выждали очередь и дождались свиданки. Появился брат, с коротко стриженной головой бугая, в яркой, клетчатой ковбойке и синих штанах. Говорили о чепухе и плакали. Брат ухмылялся. Забрал гостиницы и раньше времени ушел, махнув рукой ревешей матери.

Я, грешным делом, подумал, что в лагере ему живется гораздо лучше, чем нам на воле.

У «дяди Яши» был большой блат среди художников.

Московская беготня по магазинам закончилась встречей с профессором рисования Владимиром Андреевичем Фаворским, ждавшим нас в Художественном училище на

Садовой-Спасской. Степенный, бородатый старик, в круглых очках и черном вельветовом пиджаке, разгладил упрямый рулон ватмана, прижал его книжками и сказал, внимательно глядя на копию портрета товарища Сталина в три четверти:

— Вам надо не срисовывать чужие изображения, а рисовать с натуры, в натуре вся правда искусства.

Когда мать узнала, что учиться «натуре» надо семь лет, то дернула меня за рукав и потащила вон, извиняясь перед профессором за беспокойство.

— В Москве совсем сдурели, семь лет ждать диплома и чистого места! Дома пойдешь в маляры!

Старый профессор, лукаво улыбаясь, записал мое имя в свою книжку и просил заходить в гости.

Мать сразу уехала в Брянск. Я познакомился и сдружился с внучкой «дяди Яши», Настей Ястржембской. Мы слонялись по улицам большого города. Она повела меня в Театр имени Н.В. Гоголя, где давали утренник для детей. В фойе возвышалась разукрашенная огромная елка до потолка. Нарядные дети пели, водили хороводы и получали подарки.

Столица нашей родины Москва и в ненастное время зимы поражала своим многолюдством и размерами улиц. Мраморные дворцы метрополитена с бегущей толпой, широкие улицы с грохотом трамваев, высокие каменные дома с паровым отоплением, сияющие витрины магазинов, несметные сокровища музеев — все это ослепляло, кружило, завораживало.

И повсюду — знатные люди страны!

— А что ты любишь? — спросила мой верный гид Настя.

— Я люблю рисовать.

— Пойдем, я покажу тебе один музей.

В Музее восточных культур я обалдел.

Свитки, свитки, свитки!

Китаец Цыбайши рисовал на рисовой бумаге, одним ударом кисти изображая бегущую лошадь! Ничего подобного я не видел. В моей хрестоматии о таком не писали.

Насте семнадцать, она сдаст на аттестат зрелости и поступит в Институт восточных языков. Будет дипломатом, как папа. Книжки про любовь я не читал, считая слова пустой болтовней, и Настю обожал молча и скрытно.

— Я живу на Пироговке, а дача у нас в Кратово. Хочешь — приходи. Познакомлю с мамой. Она у меня хорошая.

Конечно, я хотел на Пироговку и в Кратово, но раз «дядя Яша» встал над моим диваном и сурово сказал:

— Есть работенка. Будешь позировать адмиралу!

В глубине двора, где, по словам дяди, когда-то возвышалась бронзовая фигура царя Александра Третьего на могучем коне, в начале века построили высокий плоский дом, где поселились художники, профессора механического института и много прислуги. Адмирал Павлинов жил на шестом этаже, но я никак не мог сообразить, почему в сухопутной Москве художника зовут «адмиралом», а сейчас думаю, что Павлинов мог служить мичманом в Японскую войну 1905 года и с тех пор не расставался с черным двубортным сюртуком морского покроя. Квартира его походила не на корабль, а на зоологический музей. Повсюду стояли пыльные, набитые опилками чучела диких животных — медведь, рысь, волк, лиса с рыжим хвостом, лошадиный череп. На видном месте возвышался человеческий скелет с хорошими, молодыми зубами, но покрытый толстым слоем грязи.

«Адмирал» сунул мне пожевать пряник, задвинул в угол и приказал:

— Рисуя спину, помните о животе.

Две пожилые ученицы, такие же пыльные и заштопанные, как и чучела диких зверей, зачирикали карандашами по бумаге.

— Модуль упругости вельвета дает большие, пологие складки, — пояснял старухам «адмирал», заложив руки за спину.

В перерыве я заглянул в альбомы рисовальщиц.

— Это не для вас, — сказал педагог, — это для тех, кто рисует!

Мне и в голову не приходило сравнивать эти почеркушки простым карандашом с картиной любимого художника Виктора Пузырькова, висевшего на главной стене Третьяковской галереи. Там как живой изображался отряд вооруженной до зубов морской пехоты по колено в воде, непобедимые и могучие богатыри в черных бушлатах и полосатых тельняшках. Перед картиной, оцененной Сталинской премией, постоянно толпился народ с восторженными лицами. Картина Пузырькова оставалась недосягаемой вершиной художественного совершенства, о котором я мечтал в то время.

Однажды к мастеру складок Павлинову зашел дядя в роскошной кожаной куртке с меховым воротником и в картузе с ярким якорем, художник Георгий Григорьевич Нисский.

Сейчас имя Нисского совершенно неизвестно широкой публике. Никто не знает, где его картины и когда он скончался. Но в то время он купался в славе лучшего мариниста, обласканный властью и живший на широкую ногу художник и спортсмен первой величины.

Меня сразу потряс огромный черный «ЗИМ», сверкавший никелем во дворе. Нисский лично пригнал его из города Горького, где директором автозавода был старый заказчик и хороший приятель. Оказалось, что Нисский был не только академиком живописи, но и чемпионом Москвы в парусном спорте, что было невероятной редкостью среди домоседов «вечного реализма», и уникальным водителем автомобиля. Можно без преувеличения сказать, что автомобиль был его походной мастерской, продолжением жилья и жизни. В багажнике лежали холсты, картонки, альбомы, краски в коробках, разбавители, кисти и всевозможные мастихины.

Свой творческий день он начинал с киоска Петровского парка, где зимой и летом подавали коньяк с икрой.

Художник выпивал граненый стакан залпом, зажевывал красной икрой и в приподнятом настроении гнал свой «ЗИМ» в Химки, в Завидово, в Осташков. Изредка он вырубивал на обочину, и не вылезая из хрустевшего кожей сиденья, набрасывал проекты будущих модернистских композиций с опрятными хатами и чистыми шоссе.

В культурной политике страны он занимал высокий пост инспектора высших учебных заведений, подчиненных Академии художеств, и в любой момент мог нагрянуть в деканат и напугать руководство вуза.

Тогда, в феврале 1952-го, «адмирал» Павлинов, учитель Нисского, и пара старушек наотрез отказались «кататься по Москве». Я же, пылая от страстного желания прикоснуться к дарам высокой цивилизации, сразу сказал «хочу», и мы помчались!

«Дядя Жора» жил на Масловке в просторной, современной квартире, где стояла огромная картина с изображением пейзажа, больше напоминающего американский простор с Гари Купером, чем русскую, навозную деревню коммунизма.

Вдруг он бросился к балкону и ткнул пальцем в человека в черной шубе, застрявшего в сугробе:

— Смотри, Иогансон! Наш главный академик, брат, таковский — когда он пьян, то он Сезанн, когда он трезв, то он Маковский!

Теоретик и практик бригадного творчества Борис Владимирович Иогансон в молодости увлекался французскими импрессионистами, а в зрелости стал эпигоном русских реалистов, среди которых Владимир Маковский, автор жанровой сцены «Не пушу», отличался особой серостью.

Позировать Нисскому мне не пришлось, но с ним впервые в жизни я отведал комфорт быстроходной, моторной техники.

Всем беднякам и попрошайкам Нисский рассовывал деньги. Не долго думая, он доставил меня в Новогиреево,

где меня ждали художники. Судя по всему, знаменитый художник страдал от отсутствия детей в семье. Он грустно улыбнулся, когда я сказал, что у меня есть дед в Москве, а в Брянске живет мать. Думаю, он предпочел бы, чтоб я оказался беспризорником.

Поселок Новогиреево располагался на дальней, восточной окраине Москвы. Добирались туда электричкой или трамваем, по бывшему Владимирскому тракту, где в старину прогоняли в Сибирь каторжников. По правую сторону шоссе, в чудосочном садике стоял «дом Фаворского». Безликое здание из красного кирпича, с наглухо забитой парадной дверью.

Адрес Фаворского, заказавшего живую натуру, я получил от «дяди Яши», знавшего его с двадцатых годов.

Дверь с заднего дворика открыл молодой человек с густой черной шевелюрой, оказавшийся зятем хозяина, скульптором Дмитрием Шаховским. Сам Владимир Андреевич, склонив розовый лоб над столом, что-то царапал на деревяшке. Вокруг смиренно корпели за мольбертами сразу четыре женщины, жена художника с сестрой, дочка Маша и свояченица Мила Карташева, жена скульптора, жившего за стеной. Как только меня поставили, обрядив в тяжелые сапоги и длинный армяк, в позу бегущего человека, — позднее В.А.Ф. перевел рисунок в гравюру «Гришка Отрепьев, убегающий в окно», — в кружок присоединилась еще одна художница лет двадцати отроду, студентка Ирина Коровай, чуть не ставшая моей женой.

Никакой суеты! Творческая тишина! Свобода творчества!

Попытку молодого зятя вставить уличную хохму все решительно осудили. При гробовом молчании в конце сеанса я попросил воды. Мне заварили чай с конфетами. Свояченица Фаворского села за развинченное фортепьяно и сыграла скучнейший музыкальный этюд. Уходя, я мельком осмотрел рисунки. Казалось, их рисовал один человек, неловко выводивший объемы и складки армяка.

В семье Фаворского я воочию убедился, что за самое глупое рисование можно получать деньги и припеваючи жить. В этом я постарался убедить мать и родичей по приезде в Брянск.

На Пироговке я побывал, но до Кратова не доехал.

Семья Ястржембских жила в огромном доме номер 40 по Большой Пироговской улице. Высоченный дом без архитектурных излишеств походил на хищного броненосца, плывущего в открытый океан. На кубистическом балконе с видом на монастырь спала сытая овчарка. Здесь жили отдельно и удобно. Сразу поражал сияющий, прекрасно настроенный «Бехштейн», стоявший в просторной гостиной. Вещь была в постоянной работе. На рояле стоял не кувшин с бумажными, вечными цветами, а партитура молного Шостаковича. Хозяйка Татьяна Яковлевна постоянно играла в симфоническом оркестре радиокомитета.

На стенах висела засохшая картина Исаака Левитана с изображением русских далей и десятков китайских свитков.

— Папа привез из Китая, — объяснила Настя. — Он переводит с китайского.

Спальню родителей украшал огромный персидский ковер с кривой, турецкой саблей и кремневым мушкетом. Напротив резное трюмо от пола до потолка, шторы с кистями, фарфор в зеркальном шкафу. В коридоре серебряный горшок для тростей и зонтиков. Светлая кухня без тараканов.

На прощанье Настя подарила мне книжку Н.В. Гоголя «Петербургские повести» с красивыми рисунками Подлясской. «Дядя Яша» вручил коробку масляных красок. Отговарившись дефицитом, сахаром и солью, я вернулся в родное захолустье.

2. Хмырь болотный

К пятнадцати годам я вытянулся и одичал. Босиком ходил по сугробам, ел сырую морковку, и как обезьяна за-

бирался на макушку самых высоких деревьев. Мне предстояло сдать за седьмой класс и определиться в профессии. Я много и запойно читал, рисовал, ходил с Пашкой к Вошинскому, дрался с соседом Чубаркиным.

Я часто заходил к нему. Чубаркины были наши ближайшие соседи. Общая канава с мостиком, общий забор. Их было семь или восемь и от разных отцов. Чумазая, включенная мать, с опухшей от самогона физиономией, постоянно сидела у печки и пекла картофельные пляшки, развешивая их по бокам раскаленной до красна буржуйки. Ее старший сын сидел в тюрьме. С моим ровесником я дружил, прыгая по бревнам и бегая босиком по лужам.

Мой ровесник бесстыдно крал у нас все, что попадалось под руку, мыло, пряник, ножик, потом потерял ноги, попал под поезд, и стал настоящим вокзальным нищим.

Однажды я забежал на крохотный Льговский вокзал нашего поселка и в углу обнаружил калеку с протянутой рукой:

— Подайте, Христа ради, инвалиду войны.

Как нечистая сила крутит и вертит нашими душами!

В облезлом ларьке я купил сто грамм конфет, завернутых в пестрые фантики, и высыпал в картуз Чубаркина. Он меня сразу узнал, но безразличная ухмылка скользнула по его беззубому рту.

За меня мстила судьба.

Весна выдалась жаркой и томной. Все дела валились из рук, но я кое-как сдал экзамены по шпаргалке и получил аттестат «семилетки». Рисовалось из рук вон плохо. Карандашные наброски и робкие акварели я уничтожал, не доводя до конца. Мы собирались в «команды» по двое-трое и слонялись по выгону, сбивая кочки. Днем ловили налимов в прозрачной Снежети, или гоняли тряпичный мяч, а ночью шли к «сковороде» толкаться и щупать девок.

В сумерки, как только заводили «Я сегодня грушу» или «Рио-Рита», я напяливал синие китайские штаны, рубаш-

ку в полоску и плелся на зов молодой и первой похоти. В полночь мы разбирали девиц, грудастых и безгрудых, помоложе и постарше, и до изнеможения терлись и целовались в кустах. К утру я засыпал на сеновале и отсыпался до полудня.

Бедовые брянские ухажеры шли на запах мускулистых сучек с желанной течкой, ютившихся в бараке общежития. Мой первый поход туда закончился полным провалом. Я увязался провожать кобылу в байковых трусах, с тайной надеждой завалить ее в лопухи и отпердолить, но на пути меня встретила пара опытных коблов. Они измолотили меня в котлету и выбросили в грязную лужу, надолго отбив всякую охоту к такого рода похождениям.

Втрескаться по уши, привязаться к любимой навсегда я не умел и боялся, заранее предчувствуя ухабистый и трудный путь, на котором самый дорогой спутник — лишняя помеха.

В старину таких борзых кобелей сразу женили, под присмотром старших и знающих жизнь, но в наше время святые и мерзавцы, тунеядцы и работяги тянут холостяцкую жизнь до тех пор, пока одиночество не превращается в каторгу.

* * *

В то лето (1953) я прочитал всего Гоголя. Я полюбил его «Тараса Бульбу». Естественно, моим героем стал не Андрей Бульба, полюбивший полячку, а его брат Остап, погибший от рук врагов.

«— Батько, где ты? — Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины». От такой картины у меня мурашки прошибали по коже.

Отлично помню летний денек с пушистым, бледным небом. Кусались мухи и мычали коровы на выгоне. Я рисовал портрет Гоголя в профиль, как дверь распахнулась и ввалился сияющий и живой брат Шура.

— Мосаддык убит! — сказал он, прислушиваясь к черной тарелке репродуктора. — Сволочи, убить такого человека!

Я не мог сообразить, почему брат так близко к сердцу принимает смерть какого-то иранца.

— Похоже, продолжай, — сказал он, хлопнув меня по плечу.

Из сада пришла мать. Они неловко обнялись.

Брат превратился в рослого, сильного, белобрысого мужчину с распухшими от мозолей ладонями, похожими на металлические клешни. Матери он приказал «хватит ныть», и на этом кратком разговоре мы возобновили знакомство, прерванное пятилетним расставанием.

С появлением брата мать оживилась, часто выходила на крыльцо с решетом подсолнухов и подолгу смотрела на прохожих.

Отоспавшись, Шура рано вставал, точил опасную бритву, отбивая лезвие на широком ремне, взбивал на шее мыло и ловко втыкал ее туда, очищая щетину со щек и шеи. Мне ужасно нравилось, как он брился по утрам и полоскался у раковины. Обнаженный до пояса, он растирал чудовищные синие рисунки на груди и руках, потом набрасывал на себя голубую шелковую рубашку, красиво оттенявшую его золотистые кудри. Затягивал первую сигарету, ловко скручивая ее из щепоти табаку.

Первое время брат осматривался в городе, возобновлял прерванные знакомства и толкался в поиске работы. Без особого труда его взяли в столярный цех железнодорожного депо, где были предпосылки для получения квартиры и действовал струнный оркестр.

Шура не любил копаться в земле, нехотя дергал сорняк в саду, с лентой окучивал картофельные кусты.

Получив рабочую карточку, он укатил с друзьями в Кустанай поднимать азиатскую целину.

Пашка Басихин, работавший подручным в гостеатре, предложил мне ехать в город Елец, поступать в «Орловский изотехникум».

* * *

Этот полустанок под проливным дождем навеки останется в моей памяти. На полустанке жил стрелочник. У колодца с мутной водой пасся теленок. Пашка и я, с чемоданами в руках, промокли насквозь, пока не затормозил рабочий поезд, битком набитый рабочими в вонючих вагониках, бродягами и ворами, храпевшими на всех полках. Со мной был опытный абитуриент, знавший дорогу как свои пять пальцев.

Не доезжая Карачева, с верхней полки прыгнул оборот в рваных сапогах, ловко сорвал с меня новую кепку и пропал в лесу. На шумном орловском вокзале в карман полез вор, но я больно двинул его по носу. Обидевшись, он отошел в сторонку.

В городе Ельце — цель нашей поездки — на вокзальной площади стояли конные, рессорные коляски, развозившие пассажиров по месту назначения. В моем Брянске такие таксисты перевелись до войны. Мы заказали коляску и с ветерком понеслись к городу.

У моста через реку тянулся песчаный пляж, где купались и загорал народ.

«Изотехникум», или художественное училище, куда мы поступали, называлось Орловским, но располагалось в городе Ельце, двести километров от Орла. Оно застряло там во время военной эвакуации и не вернулось назад.

Ельчане знали, что такое революция и недостатки, но не видели немцев в глаза. Война их обошла стороной. Елец сохранил свой купеческий силуэт XIX века. Огромный, пятикупольный собор, постройки знаменитого К.А. Тона, адепта «византийского стиля», сиял в солнечных лучах. Мещанские слободы с густыми садами, беленые стены домов напоминали о близости черноземных, безлесных просторов.

Училище располагалось в центральной части города, в здании бывшей Судебной палаты. В актовом зале, где ког-

да-то судили людей, стояло множество солдатских кроватей с матрасами не первой свежести. Нас там записали и выдали подушку с одеялом. Кое-где копошились абитуриенты, распаковывая альбомы и краски, юнцов вроде меня совсем не было. Мелькали молодцы под тридцать, в армейской форме с орденскими планками, и опрятно одетые маменькины сынки.

К удивлению земляков Мишки Бенцеля и Пашки Басихина, сдававших третий раз, я все экзамены отбарабанил без запинки, и устные и письменные, где меня спасла известная мне дежурная тема — «образ женщин в поэзии Пушкина». Специальные предметы — рисунок (кубик с натуры), живопись (стакан и бутылка) и композиция (сюжет из двух-трех фигур) я сдал первым номером, на «пятерки».

Знай наших!

Путь домой, в Брянск лежал через Москву или Орел. Возвращаясь с победой, я смотал свои причиндалы в чемодан и вернулся через Москву.

* * *

Я знал, что «дядя Яша» летом в Кратове косит траву, семья Ястржембских на море, в Туапсе, и сразу с вокзала поехал к Фаворским. Летом они выезжали на дачу под Звенигород, но в доме оставался престарелый скульптор Иван Семенович Ефимов с парой древних, умирающих от старости борзых собак. Я пришел с черного хода. В открытой мастерской Ефимова дремали собаки на воюющем коврике, жужжали мухи и в кресле сидел сам скульптор, рассматривая глиняную лошадку. Спустилась и его супруга, «питерская купчиха» Ветрогонская, любившая как следует поддать.

— Вера Петровна, я проездом дня на два. Переночевать можно?

— Ночуй, но выгуливай собак. Мне лень, а Иван Семенович совсем ослаб.

Три дня я выгуливал собак в Измайловском парке, потом закупал для хозяйки водку, собакам толстые батоны вареной колбасы, а поскольку я не грыз по дороге собачий обед, за безупречное поведение получал от «купчихи» рюмку водки и соленый огурец. Старик Ефимов, не скупившийся на похвалу, сказал о моей беспомощной акварели, что мне нечему учиться, чем вызвал неподдельное возмущение Шаховского, лепившего с меня безногого инвалида.

— Иван Семеныч, а кто ему даст заказ?

— Как, кто? Владимир Андреевич! Он главный работодатель!

Тут я схватил, что в «доме Фаворского» не все благополучно.

Согласно учению В.А.Ф., профессия художника ничем не отличается от работы сапожника, портного, кровельщика, штукатура, переплетчика, и, следовательно, рисовать может всякий, следуя определенному правилу. Освоив систему Фаворского, я мог получить место в бригаде рисовальщиков, не проходя годы дурацких дипломов. Попасть сразу из стенгазеты в Гослитиздат! Мой «дядя Яша» вывел меня на прямую дорогу успеха и процветания.

Скульптор И.С. Ефимов оставался непреклонным возмутителем академического спокойствия.

Он родился в семье помещиков и капиталистов и, следовательно, в искусство пришел по призванию, а не по нужде. Его ранние вещи парижской эпохи обещали крупного изобретателя и ваятеля XX века. Однако знакомство с реалистом В.А. Серовым, а потом и родство с ним остудили его природный дар. Его творчество зачало в хлеву советских анималистов, где он высекал из гранита племенных быков и свиноматок, соревнуясь с академиком Ватагиным на этом доходном поприще. Жил он весело и безбедно, но смелые люди считали его придурком в искусстве, не сумевшим высказаться как следует.

На чердаке работал и жил живописец Дмитрий Жилинский с женой Ниной, рядом с ним армянка Лавиния

Бажбеук-Меликян с пьющим мужем Сашкой Сухановым и дальше студентка Коровай.

Все в доме рисовали, лепили, говорили об искусстве.

В рассказе о Фаворском, его окружении, его школе, его взглядах, я не затрагиваю хрестоматийных истин: «Сезанн гравюры», «чародей резца», «создатель школы». Соблюдая дистанцию неверного ученика, пишу о нем, что не принято и стыдливо обходят. Как о феномене советского общества нового образца.

Начну сжато, но издалека.

Знатоки русского искусства в кавычках утверждают, что русская революция 1917 года способствовала расцвету пластических искусств и культуры в целом. Существует устойчивое и ошибочное мнение, что «социалистический реализм» был спущен сверху кремлевской петлей на шею свободного творчества.

На самом деле факты — упрямая вещь.

До 1927 года в русской культуре, а вернее, в «пролетарской культуре» доминировал «левый фронт», предлагавший свои утопические рецепты исцеления старого мира, хотя сущность этого «фронта» была глубоко чужда пролетариату, взявшему власть царей. За границу успели вытолкнуть целый косяк классиков русского реализма, были попытки погрома академий и музеев. Но очень быстро мешане, засевшие в царских палатах Кремля, сообразили, что с бредовыми нахлебниками им не по пути. На пятки безродным авантюристам «авангарда» — Малевич, Татлин, Филонов, Штеренберг — наступали настоящие диалектики русской жизни, традиционалисты типа Корина, Нестерова, Бродского, и, конечно, адепты потомственного ремесла, традиции художественной линии, которую представляли целые кланы со времен Петра I. Родовые корни этой эстетической мафии были так глубоко запущены в русскую культуру, что большевистский сквозняк проносился над ними, не задевая шерсти. Бездомные выскочки авангарда исчезли с доходного горизонта, в то время как

старинные кланы сохранили все привилегии в неприкосновенности.

Внук английского сержанта Шервуда, картежника и спекулянта, выдавшего заговор декабристов в 1825 году, и сын московского адвоката из поповичей, Владимир Андреевич Фаворский, породнившись с семьей известных заводчиков фон Дервизов, грешивших рисованием, в самом начале XX века стал защитником цехового искусства, а еще громче — «совестью московского искусства». Буйные футуристы требуют уничтожения старой культуры, а отставной царский офицер Фаворский изучает свойства торцовой доски и резьбу по дереву. Культура Фаворского и его школы, не сочинявших припадочных манифестов, лежит вне скороспелых «измов». Она запрятана в глубинку, в вечную классику искусства.

В 1924 году, когда появилась книжка «Руфь», украшенная гравюрами мастера, его сравнивали с Паоло Учелло!

Фаворский принял революцию и связанные с нею неудобства, часто очень зловещего свойства, как неизбежное, историческое зло. Поселившись в 1920-е годы в зеленом Загорске (Троице-Сергиева лавра), в приятном соседстве с Флоренским, Олсуфьевым, Машковым, он и его ученики по ВХУТЕМАСу создали тот «универсальный пошиб», где действуют строгие и простые правила построения реалистической картины, фрески, гравюры, книги и мозаики, подходящие для всех времен и народов.

Скульптор Шаховской повез меня на дачу в Луцино, где отдыхал Фаворский.

Старый художник вставал на заре и до завтрака отправлялся в сосновый бор, я прыгал с чердака и плелся за ним. Как всякий сопляк, выросший на сквозняке нигилизма, я старался во всем ему перечить, что бы он ни внушал.

— Рисуйте больше с натуры, — поучал мудрый профессор, — в ней заключена вся радость художника. Надо внимательно наблюдать окружающий мир и рисовать его в пространстве и объеме.

- А как же икона, Владимир Андреич?
- Рисуйте горшки и деревья, потом будет икона.

На пеньках собирались старухи и рисовали с натуры деревья.

Живописец Жилинский, состоявший в дальнем родстве со всеми квартирантами дома, писал в деревянном сарае огромную картину как диплом своего института. Она изображала купанье коней и людей. По кучкам сапог и гимнастерок на берегу можно было предположить, что это солдаты. Для картины он готовил горы этюдов, написанных сухой, невыразительной кистью. Чуть распусться, убить в себе демона пошлости и натурализма, подняться чуть выше над землей он не мог, но, судя по размерам картины, метил переплюнуть знаменитого классика Ал. Иванова, рисовавшего одно и то же 25 лет. С меня он рисовал не Иисуса Христа, а голого солдата. За позировку он платил и кормил. Судьба этой картины мне неизвестна, но с легкой руки дипломника я познакомился с самым выдающимся натурщиком страны Володей Переяславцем, ставшим главным художником Красной Армии!

Свою ослепительную карьеру Володя начал с того, что в 1946-м стал натурщиком Петра Кончаловского. «Полотер в красных штанах» — это он. По рекомендации влиятельного мастера его зачислили в студию военных художников им. Митрофана Грекова, самое денежное место советских живописцев. Свидетельство такого яркого успеха подстегнуло меня на новые авантюры.

Я охотно и все лето позировал Жилинским, Сухановым, Шаховским, Кардашевым. Мое рвение заметила Милочка Дервиз-Кардашева, и раз, подмигнув глазом, втокнула в холдную комнату, где сидела студентка Ирка Коровой.

Куда идем?

Эх, была не была! Где наше не пропадало!

* * *

Мое ученье в Ельце начиналось в сентябре, но до начала учебного года учеников повезли в отстающий воронежский колхоз на уборку яблоневых садов.

Иван Алексеевич Бунин, где вы? Это ваша антоновка!

Нас расселили по гнилым и вонючим кирпичным избам. Кормили жидким, пшениным кулешом и гоняли в сад, где мы отъедались пахучей и сочной антоновкой. Яблоки собирали в мешки, грузили в полуторку, и та везла груз в колхозный амбар. За две недели я ободрался и завшивел. В осенний холод спал на сеновале и сразу засыпал от усталости, не выходя на гулянки с девками и гармошкой.

Физически крепкий и рослый — легко выбрасывал гирю в два пуда, — я пугался темноты и собственного воображения. Оно рисовало самую причудливую и уродливую чертовщину повсюду. От шума в кустах и крика совы у меня сердце падало в пятки. Танцевать и жить впотьмах я боялся.

Хмырь болотный, сдавайся!..

Отоварившись по мешку антоновки, мы вернулись в Елец.

Раньше мне казалось, что отскок в сторону от столбовой дороги в Москву — и на целых пять лет — мой жизненный просчет, неудачная кривая судьбы, но теперь я думаю иначе.

Жизнь в глубокой провинции, в купеческом Ельце, потом в чувашском краю, в Чебоксарах, значительно обогатила мое знание России, совершенно неизвестной столбичному жителю. В Москве я не нашел бы таких наставников искусства, как Берта Арнольдовна Геллер и Абба Максович Кор. Образовательного кружка, как «Икона», основательно повернувшего наши судьбы, в Москве тогда не заводилось.

Степной пейзаж, истоки тихого и чистого Дона, простые и способные люди, пережившие все невзгоды и со-

хранившие совесть, ненависть и любовь, — все это я пережил в глуши.

Уроженец тех мест И. А. Бунин вспоминает город Елец:

«В гимназии пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева в мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались».

Первый год меня пустили в общежитие при училище. Там было десять коек с разных курсов, от новичков до выпускников. После стакана жидкого чая с куском хлеба мы разбегались по классам. Сразу три предмета — рисунок, живопись, композицию — вел Юрий Михалыч Дудченко, очень тихий и добрый, рано облысевший выпускник Харьковского института искусств. Гипсовый конус или куб он ставил очень серьезно, рассматривая его освещение со всех сторон. Наши рисунки поправлял редко, остро чиненным карандашом, воткнутому в нагрудный карман пиджака. Натюрморт он тоже составлял медленно, меняя складки драпировки, переставляя кувшин или муляжные фрукты несчетное количество раз. У него я шел в первых номерах, а вот обязательный общеобразовательный курс с тригонометрией, физикой, психологией выматывал все нервы, но и тут мне везло. Я или списывал или угадывал решение задачи.

Учись у масс, хмырь болотный!

Как бы ни браковали позитивисты мистические явления, но на втором курсе училища я в паре с Пашкой Басихиным снял комнату у гражданки Ростовцевой и, как выяснилось через сорок лет, в том же доме, где нахлебником жил неизвестный мне писатель.

Деревянный, мещанский дом в один этаж на каменном фундаменте углом выпирал в городской сад, где мы танцевали по вечерам. За колченогий диван я платил пять рублей в месяц из тридцати стипендии, питался в дешевой столовой ФЗО и только изредка пил чай на дому и не каждый день. Моя старая хозяйка экономила электричество и

плитку прятала под кровать. Таким образом, я жил и учился на голодном режиме и без удобств. Получив стипендию, я с новыми друзьями просаживал сразу половину за бутылкой перцовки и наваристым гуляшом. В середине месяца клянчил займы. Зимние и особенно летние каникулы все ждали с большим нетерпением — поехать домой, отоспаться и отожраться.

Рисунок второго курса вела беспощадная Берта Арнольдовна Геллер. Она ставила гипсовую голову Гомера и без исключения обходила все мольберты, исправляя наши приблизительные рисунки дверным ключом. Одета в черное, с черной камилавкой на голове, блистая стеклами очков, она садилась на табуретку, цепким взглядом изучала повороты и светотень бюста, а потом точным ударом ключа или огрызком неточенного карандаша определяла грубые ошибки. Бракованный рисунок приходилось переводить на новый лист бумаги и начинать все сначала — размер черепа, глазные впадины, крепление носа и ушей, повороты мышц и напоследок объемная светотень.

Рисовальщиков такого класса я потом уже не встречал.

Одинокая женщина прожила недолго. После развала училища она уехала в Брянск и повесилась на чердаке.

Рисование под руководством загадочной и суровой Берты пошло мне на пользу. Я понял, что такое настоящий рисунок, а не приблизительная растушевка простым карандашом.

Абба Максович Кор в живописи требовал движения цвета, а контур и черноту гнал с палитры, как контролер безбилетника. Мою привязанность к контуру он неумолимо уничтожал в поправках. Меня это страшно злило, но он твердил, что контура в природе нет, а есть цвет и свет, объем и пространство. Это звучало убедительно, со ссылкой на Сезанна и Кончаловского, но в глубине души я считал, что и контур имеет право на существование.

На выставке городских живописцев, осевших в Ельце (1955), А. М. Кор показал свое масло. На фоне кирпичной

стены шагал солдат с ружьем на плече. Это мог быть солдатик былой, царской армии, или нашей доблестной и советской. Поражало, как цензура пропустила сомнительный сюжет, написанный живым и убедительным цветом. Вещь звучала в духе Машкова или Осмеркина, но персональная интонация покрывала недостатки.

Любой куст или забор, написанный с огнем и пониманием, — уже искусство, а небрежно намазанная, бесформенная, самого героического сюжета картина ничего не значит.

Таково кредо А.М. Кора.

По большим советским праздникам к нам шла халтура.

Предприятия и конторы украшались патриотическими лозунгами, зовущими вперед к победе коммунизма. Мой друг Басихин успел отличиться на халтуре в Брянске, и не упускал случая подработать в Ельце. Я увязался за ним с ведром зубного порошка и плоской, шетинной кистью большого размера. В аптеке, где нам выдали текст о медицинских работниках, Пашка, не прибегая к подготовительной разметке шпагатом, развернул кумач и с ходу брусковым шрифтом написал лозунг без единой поправки. В конце рулона он поставил решительным жестом восклицательный знак, на удивление заказчика.

В соседнем учреждении Пашка доверил работу мне. Я отбил шпагатом бордюры лозунга, наметил мелом количество букв, не раз передвигая засечки, и выполнял дрожащей рукой. Кисть не подчинялась и шла косяком, уклоняясь от строгой вертикали и горизонтали, мне пришлось попотеть, подправляя концы и стенки брускового, модного в ту пору шрифта. Восклицательный знак уперся в край кумача, и заказчик небрежно сплюнул в мою сторону, но нехотя заплатил червонец.

За лозунги хорошо платили, и лихие шрифтовики обеспечивали себе жизнь на два-три месяца.

Моя самостоятельная композиция второго курса «Взятие Зимнего дворца» была увеличена в большой фриз и вы-

ставлена в актовом зале училища по просьбе Аббы Кора. И он был доволен, и я сиял от денежной премии в 25 рублей.

Конечно, мой глаз не был поставлен. Сочиняя исторические композиции, играя в графизм и условность, я допускал грубые просчеты в пропорции фигур, путал планы, смазывал объем и не видел цвета.

Это было косноязычное бормотание на ложном пути.

* * *

В летние каникулы второго курса (1955) я снова работал в Москве натурщиком. Там я попал на выставку мексиканской гравюры, привезенной другом нашей страны, умирающим от рака художником Диего Ривера. Гравюры меня ошеломили свободным полетом воображения и лихим резцом. Зрелище было похлеще морской атаки Виктора Пузырькова.

Я сказал об этом Фаворскому.

— Это модный на Западе маньеризм и деформация формы!

Самостоятельные, внекурсовые работы, которые я пригласил на показ, вызвали его резкую критику.

— Все ваши орнаментальные сочинения высосаны из пальца, а не из жизни. Вы начитались русских былин и лепите все подряд черным контуром, не имея понятия, что такое объем в пространстве. Каждая фигура, каждое строение, каждое животное, земля и небо имеют свою массу и форму. Перед тем как браться за серьезную тему, надо увидеть все изображение целиком, потом разобраться в структуре облаков, планов, листьев. Это очень трудная задача, и ее надо решать!

Сказал и увез семью на дачу.

Мой напарник по шашкам Сашка Суханов лег в больницу на излечение от белой горячки. Старик Ефимов спал в кресле с собаками.

На чердаке с покатым потолком сидела одна Ирка Ко-

ровой, совершенно круглая, с крохотной головой, замотанной дырявым платком. На полу лежали свежие оттиски линогравюры.

— Пойдем в кино, — сказал я повелительно.

Я знал, что первый этап знакомства с женщиной начнется с культпохода в кинотеатр. Ирка собралась, и мы пошли в кинотеатр «Слава» на Владимирском шоссе, где крутили музыкальную трагедию «Бродяга» с индусом Раджем Капуром в главной роли. Моя клуша мирно сопела рядом, пуская пузыри с толстой губы. После двух часов тягучих песен индуса — «никто не ждет меня, а-а, бродяга я, а-а-а», мы возвратились домой вдоль забора Измайловского парка. Треп, как водится, велся вокруг посторонних и далеких от действительности предметов. Доверчивость Ирки сбивала меня с панталыку. Меня же методически гвоздила одна мысль — где уложить подругу. На мое горячее предложение посидеть на куче мусора она безоговорочно согласилась и, ловко опрокинувшись навзничь, подтянула к пышной груди.

Сразу скажу, опуская ничтожные подробности эротической возни новичка, что всю операцию я неправильно вычислил от начала до конца. Я и ломился в настезь открытые ворота, обманутым, несчастным хмырем болотным.

В такой женщине, обманувшей мои самые сладкие ожидания первой пробы и любви, я не нуждался.

Легко сказать: женись!

Ночью, шатаясь от любовного угара, мы разошлись по своим углам, а рано утром мой след простыл. Я уехал, с ней не простившись, оскорбленным и злым мужиком.

Это было лето безделья, лени и счастья.

Днем я купался в Десне, прыгая с моста, а вечером работал на «сковороде», где наяривал джазовый оркестр под управлением Льва Гуревича. Лихая молодежь, обливаясь потом, выбивала фокстроты, а глухой ночью, страдая от любовных укусов, задирали девкам юбки в кустах.

Я грезил полюбить девушку священной любовью по-

эта, чтобы навеки связать с ней жизнь, однако ничего из этой затеи не получалось.

После первого выхода на фокстрот начинались дикие рези в лаху и ничем необузданное желание завалить партнершу в кусты и отодрать как следует, каждое провожание со «сковороды» сопровождалось несвязными, лживыми рассказками о прочитанном романе, о новом фильме «Смелые люди» или «Застава в горах», а кончалось самым простым и естественным — я кидался на нее у калитки, а она царапалась и брыкалась, выбиваясь из рук.

Драчун и выпивоха Басихин, хорошо певший в народном хоре, не раз хвастался легкими победами. Его летний роман с моей двоюродной сестрой Алкой закончился аборотом и скандальным разрывом.

Днем ко мне приходил сосед Женька Гудилин. Он писал стихи в рифму. Играл в шахматы. И к моему удивлению стал шрифтовиком в кинотеатре. На этом месте закончились его грезы о мировой славе поэта. Через год он женился, а десять лет спустя я его видел на лестнице колоотившим афишу с названием фильма «Рабочий поселок» с огромной физиономией Людмилы Гурченко.

Учитель Вошинский, глядя на мои этюды с натуры, вспоминал далекий Париж, Китай, Австралию. Он пригласил меня в гостеатр на китайский спектакль, где рисовал декорации. Вместо китайской фанзы он поставил партизанскую землянку из хвороста. Ведущая актриса Комаровская, любовница Лешки Бондаренко, блондинка с густо подкрашенными «китайскими глазами», скулила над трупом убитого командира. Статисты в синих бумажных штанах дружно подвывали. Трафаретный задник с горками вдаль был совсем не китайский, а брянский по силуэту и цвету. Зрители не могли понять, за каким чертом гремит медный таз в лесу и люди размахивают красными флагами с желтыми звездами.

В перерыве зрительный зал жевал в буфете бутерброды с икрой и пил водку. В зал возвращались неохотно и жидко хлопали под грохот кресел.

Драматургия Дюня и украшение Вошинского прова-
лились, и их больше не возобновляли. Брянский зритель
оставался глубоко равнодушен к далекому Китаю, его
могучей и опасной мудрости, высокой эстетике и осо-
бым ритуалам быта, совершенно чуждым нашему проле-
тариату.

В обществе стояло странное затишье, как перед вся-
кой бурей.

Высшее руководство во главе с пузатым Г.М. Мален-
ковым появилось в отстающих колхозах, вылетело за гра-
ницу, чего раньше не водилось. Одновременно со сниже-
нием цен на хлеб власти перебили всех коров и лошадей,
скотину и птицу. Наш знаменитый брянский базар — кор-
милец народа — демонстративно залили вонючим асфаль-
том для стоянки автобусов.

Моя семейная хроника претерпела некоторые измене-
ния. Брат Шура вернулся из Казахстана и женился. Мать
стала гадалкой. Не знаю, где и когда она научилась гадать,
но она ловко раскидывала карты, и пророчества сбыва-
лись. Слух о замечательной гадалке распространился да-
леко за пределы улицы Коминтерна. На крыльце сидели
клиентки с узелками в руках.

3. Стиляги и гранит

Пахучей весной 1930 года на Красной площади разоб-
рали строительные леса, и перед глазами пугливых меш-
очников открылось невиданное гранитное сооружение
(архитектор А.В. Шусев) в виде усеченной мексиканской
пирамиды. На монолитном фризе красного гранита был
ясно и коротко написан псевдоним покойного Вождя —
Ленин. Утром 1 мая на пирамиду поднялось высшее руко-
водство страны. Над плотно упакованными в пролетарс-
кие гимнастерки и картузы двурушниками, британскими
шпионами и сионистами во главе с агентом царской ох-

ранки по кличке Горный Орел возвышалась одна-единственная фетровая шляпа. Спрашивается, каким образом на пирамиду из лучших сортов гранита, порфира и лабрадорита затесался буржуазный выскочка? Кто позволил сионисту (1949) и двурушнику (1957), скрывшему свое дворянское происхождение под псевдоним «Молотов» с факультативным титулом «Чугунный зад», нагло носить фетровую шляпу и повязывать шелковый галстук?

Куда смотрели рабочие и крестьяне? — на пустые витрины ГУМа или на людную трибуну Мавзолея Ленина?

В весенний сезон 1946 года подавляющее большинство вождей повязало галстуки. В оппозиционном меньшинстве из двенадцати оказались трое — британский шпион Клим Ворошилов, двурушник Маленков и двурушник Булганин. Даже убежденные славянофилы партии — Каганович, Шверник и Микоян — купили фетровые шляпы пражского производства.

Кто так нагло разлагал советскую цивилизацию — до сих пор остается загадкой.

Знаток советской культуры сигнализируют, что первый модно одетый рядовой москвич (в Питере, разумеется, «стиляги» зародились раньше, Питер всегда был заводилой крутых перемен) появился в 1952 году. Балбес призывного возраста, похожий на колорадского жука, напевая, сошел с гранитной лестницы Центрального телеграфа, красуясь лихо закрученным «коком» на голове, сел на белобокий мотороллер и укатил, гад, в неизвестном направлении.

Куда смотрели мусора?

Почему вредителя в клетчатом пиджаке не убили сразу?

Люди войны, труда, культуры, спорта не покладая рук насаждали лесозащитные полосы, рыли глубокие каналы, дергали колхозные колоски, а по столице коммунизма разливал пестро одетый враг народа.

По идее, надо было запретить науку, культуру, просвещение, спорт (даже футбол, если на то пошло!), закрыть шумные кабаки, танцплощадки и пляжи и уж потом друж-

но поворачивать реки, дробить камни и собирать колоски до тех пор, пока не станет воды, травы и жизни. Ясное дело, за спиной провокатора прятались поджигатели войны и космополиты, засевшие в древнем Кремле, потому что «гнусавые буги-вуги, топот и визг скотского веселья», как справедливо подметил народный комик Аркадий Райкин, безнаказанно плодились и расплзались по просторам нашей чудесной Родины.

А вызывающе одетому чуваку были до феньки поджигатели войны, колорадский жук и народное мнение. Его кумирами были не свинарка и пастух с бледно-зеленого Валдая, а штатские кинозвезды Джеймс Дин и Лиз Тейлор, не ватага кубанских казаков, а подтянутые ковбои с походкой Генри Фонда, не саратовские страдания Лебелева Кумача, а стильный свинг Элвиса Пресли. А кто нам докажет, что этот дебил на мотороллере не предпочитал реваншиста Микки Мауса нашему горячо любимому Горному Орлу?

Народ был прав, первопроходцев упадочного образа жизни выводили не в пролетарских подвалах, а в гранитных домах Садовой-Кудринской, в поселке Масловка и на Ленинских Горах. У папаш был пост за границей, у мамаш доходное место в Барвихе и Жуковке. На огонек запросто приходили то Семен Царапкин из Вашингтона, то Михаил Ботвинник из Амстердама, то Федор Богородский из Бомбея, то Виктор Чукарин из Хельсинки. Не проходили мимо и настоящие фирмачи. Ведь Поль Робсон и Рэндольф Херст Младший ночевали не в рабочем общежитии?

В душевнобольной Москве лишь на одном пяточке играла (и как лабали!) виртуозы джаза Тумаркин, Мильдер и Саульский. В этот «коктейль-холл» приходили не передовики производства в кирзовых сапогах, а отборный, стильный народ — Ян Рокотов, Лешка Баташев, Вовик Шамберг, Элька Белютин, Олежек Прокофьев, Феликс Збарский, Алекс Быстренин, Вова Мороз, Боря Марушкин, Кока Батак, Рудик Белуга и, конечно, десять племянников са-

мого Микояна. Чуваки отлично знали, что такое «музыка духовной нищеты», модный покрой костюма и содержанные последнего заграничного фильма.

Характерный типаж атаквали сатирики.

Знаменитые карикатуристы Черемных, Соифертис, Ганф (выбирайте по вкусу), как могли, измывались над отрицательным образом советской действительности. Известные комики сцены — Штепсель и Тарапунька — потешали народ до слез, а как подавали мерзкий типаж Милов и Новицкий, лучше не вспоминать, обхохочетесь!

Маститый историк Борис Марушкин вспоминает молодость:

— В Москву я приехал в лаптях обутый. В вузе сидели с иголки одетые студенты отборных советских фамилий. Год я сгорал от стыда за свой подлый вид. На втором курсе, питаюсь впроголодь, я скопил башли на мокасины без дурацких шнурков. На третьем у меня появился штатский пиджак с очаровательным разрезом на заднице. На четвертом я отпустил прическу погуще, а на пятом дочка маршала Батова уже строила мне глазки.

В Институте международных отношений, где понтил сибиряк Марушкин, иначе было нельзя. За партой сидели зять товарища Маленкова, племянники Молотова и Микояна, презиравшие отсталые массы.

Дальновидный завсегдадай «коктейль-холла» стал зятем маршала Батова и сразу взлетел на пятнадцатый этаж со всеми удобствами и гранитным камином в гостиной. Что ни говорите, а приятно, когда быстроходный лифт не тупской, а немецкой работы выносит вас наверх («все выше, и выше, и выше!»), пос к носу с первой скрипкой мира Давидом Ойстрахом, или другой раз с модным писателем Евтушенко, или, подмигивая глазом, с дочкой Горного Орла.

У иных стилияг судьба ломалась, как сгоревшая спичка.

В 1952 году у закройщика Гриши Шамберга оставался один заказчик в древнем Кремле, Георгий Максимилианович Маленков, временщик с коротким воображением.

Тучный мастодонт, впоследствии оказавшийся ренегатом и двурушником, упорно заказывал полувоенные кителя и желтые картузы, над которыми давно потешались товарищи из Политбюро. Карьеру известного мастера кройки и шитья, а заодно и его пасынка, женатого на дочке двурушника, погубили не колорадские жуки и палачи (например, в Кремле окопался Андрей Андреевич Андреев, «палач народов Бухары и Самарканда!»), а эстетическая отсталость свата. Сначала пузача потеснили с гранитной трибуны Мавзолея, чтоб не портил своим допотопным картузом цивилизованный пейзаж, а затем с треском отфутболили на историческую родину в Оренбург, где, по слухам, доживали еще не старые предки, немецкие колонисты по фамилии Маленгофы.

Разоренному закройщику ничего не оставалось, как опуститься в убыточный комбинат «Швейремонтodeжда», влачивший жалкое существование на заплатках к истлевшим кителям героев войны. Пасынок Вовик, женатый по любви на дочке кремлевского мазохиста, потерял блатное место консультанта МИДа и ночи напролет пил коньяк в «коктейль-холле» на Тверском бульваре. Мотор его мотороллера полетел к чертовой матери. И чувихи из Барвихи предпочитали столик Батака и Файбышенко, державших валютную фарцовку в своих руках.

Если коллективное руководство державы демонстрировало явный декадентский уклон от генеральной линии партии, то народные массы с отрядами дружинников и милиции упорно цеплялись за революционные завоевания и лупили стилиг по ногам и рукам невзирая на лица.

В просторную страну, куда не залетали чужеземные мухи, постоянно наезжали любопытные гастролеры западного мира. В 1950 году очень выделялся Поль Робсон («Полюшко-поле»), о всяких там, не ко сну будь сказано, «абелях» и «филби» не говорим, хотя свои чемоданы и они набивали не кирпичами, а фирменными шмотками. В 1951-м заявился физик Жолио-Кюри (нашел где ле-

читься, лопух!), в 1952-м прогрессивный бард Поль Элюар (у них что, лечиться не на что?), в 1953-м немецкая романистка Анна Зегерс (приехала на похороны Сталина), в 1954-м художник Диего Ривера (тоже лечиться!), в 1955-м сам Бертольд Брехт (лишняя премия не помешает!), в 1956-м француз Жерар Филипп (сняться на фоне гранитного Мавзолея). Достоверно известно, что крохоборы Исая Берлин и баронесса Мура Будберг-Закревская дарили избранным поношенные галстуки!

Эти стильно одетые гастролеры попадали в отдельные квартиры с гранитным цоколем, а поношенные галстуки (люди добавляют — и носки!) оседали в гардеробах племянников Микояна, а оттуда в комках для желающих.

Перелицевать пиджак Поля Робсона (а возможно, и Рудольфа Абеля, — тот же рост, та же фирма), укоротить и сузить штаны (по-московски поуже) мог только пролетарский сын Слава Зайцев, звезда которого поднималась над темной Москвой. Слава о безупречной перелицовке докатилась до гранитных лестниц высотных зданий и неприступных этажей. Прожженные эстеты Боря Марушкин, Вовик Шамберг, дочка Горного Орла, не говоря уже о племянниках Микояна, давились в подвальной мастерской большого стилиста.

Модернизм свил надежное гнездо и в искусстве.

Городок советских художников Масловка — местоительство виднейших лауреатов, а не периферийной шелупони! — желтый небоскреб в виде русской буквы «П» прятался в густом зеленом парке. Многочисленное потомство создателей советской культуры стилиаги и туineaдцы, наркоманы и бляды мужского и женского пола, составляли значительную хевру врагов народа.

Известный карикатурист и куплетист Владимир Каневский рассказывает:

— Мой шурин, чемпион мира Виктор Чукарин, привез из Хельсинки фирменную радиолу с четырьмя регистрами на 16, 33, 45 и 78 оборотов. Можешь себе представить,

чувак, что на такой вертушке я мог поставить все диски мира!

Действительно, совершенную вертушку Каневского я видел в 1954 году. Сравнить ее с ручным патефоном «Грампласттрест» со станции Апрелевка и в голову не придет.

* * *

Художественный авангард Совдепии, его подпольные группировки 1950-х годов давно выродились, но их значение до сих пор не определено. Русское искусствоведение топчется в порочном круге официозности, не смея заглянуть за его эфемерные границы, а западной критике не до проблем русской культуры и темных углов «гонимого искусства».

Художественный кружок «Икона», в котором я состоял три года, образовался по моему почину в сентябре 1955 года.

Я перешел на второй курс, когда мой сосед Петр Козьмин, женатый морячок из Клайпеды, предложил в курилке: — Приходи вечером, будет лекция о Сезанне.

Я отлично знал, что такое внешкольные «кружки», они были частью нашей жизни. Мой брат ходил в музыкальный кружок, я в драматический и рисовальный. Кружок ликбеза прошел мой покойный отец. Литкружок посещал мой дядя Абрамов.

— А потом? — спрашиваю.

— Обсуждаем внеклассные работы.

Это было интересно.

В уютной библиотечной комнате, где я постоянно штудировал многотомную «Историю русского искусства» И.Э. Грабаря, собрался любопытный народ. Доклад о творчестве Поля Сезанна читал Абба Кор. Рядом с ним стоял «волшебный фонарь» репродукций в увеличенном виде. Абба Максевич коротко рассказал о жизни французского художника и о русских сезаннистах из «Бубнового

валета»: Машков, Куприн, Фальк, Кончаловский, Осмеркин, — ставших народными художниками.

— Сезанн — кормчий высокого реализма! — сказал Абба Кор.

Смело сказано! Не Репин, а Сезанн!

Весь мир — натюрморт! Опыт Сезанна необходимо изучать советским художникам. Это здоровая тенденция. Цвет. Сдвиг формы. Пересечение плоскостей. Фактура.

Картины Сезанна есть в советских музеях. Их в свое время собирали купцы Морозовы и Щукины.

Дилетантский блуд или урок свободы?

Затем Петька Козьмин показал свои летние этюды с изображением бабочек в кустах. Работы сухие и бесцветные не отличались ни мастерством, ни остротой видения, но сборище и доклад меня очаровали. Я вошел в кружок и вскорости сам читал доклад на тему «русское деревянное творчество» с показом собственных этюдов.

Как водится в такого рода предприятиях, в кружке определилась узкая группа, связанная сходством интересов и профессиональных поисков и дружбой. За мной увязались сокурсники Вася Полсвой, Сашка Аникин, Вовка Серебряный и братья Сорочкины. Мы аккуратно посещали доклады кружка, а потом собирались отдельно, по домам или в городском кафе. Итак, из факультативных докладов мы перешагнули в нежелательную область почина и опасной самодеятельности.

Помню, я читал доклад «Русская икона» и «Мир искусства». Я его составил по омерзительной книжке А.И. Некрасова, где говорилось, что «формализм дворянского общества «Мир искусства» чужд и неприемлем для советского искусства», однако присутствующие, ребята всех курсов, включая дипломников, узнали подробности о творчестве Рериха, Рябушкина, Головина, Врубеля.

С 1955-го я попал в круговорот всевозможных влияний, нигде долго не засиживаясь. Я изучал русскую икону, церковные росписи, народный орнамент, елецкую вышивку,

чувствуя родство с этим миром, но исполнительные приемы были так несовершенны, опыт ничтожен, что все пробы я, не моргнув глазом, бросал в печку и начинал заново. С натуры я неплохо рисовал, но живая природа не влекла меня по-настоящему, я в ней терялся, как щепка в речке. Мое видение искусства определялось через стилизацию и деформацию воображаемой жизни.

Рассчитывать на первые отметки мне не приходилось. Впереди всегда были два-три отличника, выдававшие образцы академической студировки. Их карандашные рисунки с Гомера, Сенеки, Давида Микеланджело, окантованные в стекло, постоянно висели для подражания. Какая-то нечистая сила уводила от обязательных правил и установлений. Штрих в рисунке и мазок в живописи выдавали несовершенный глаз и низкую технику. Тушевка шла косяком, а не равномерным, перекрестным штрихом. То и дело лезли белила в благородный материал акварели.

Общие предметы: тригонометрия — синус, косинус, тангенс — пропади они пропадом! — строевая подготовка и психология марксизма-ленинизма забирали слишком много времени в ущерб необходимому, прикладным дисциплинам, где мы все хромали, как перспектива, анатомия, технология материалов, а ведь готовили из нас художников и педагогов.

— Мы еще не знаем, кто из вас художник, а кто физик, — с ухмылкой бубнил преподаватель тригонометрии. Действительно, два или три человека сменили профессию по окончании училища, но при этом потеряли два лишних года на рисовании.

Наша группа «иконников», занятых исключительно древним русским творчеством, решила приготовить общую выставку внеклассных работ в конце учебной сессии. Мы готовили и отбирали работы сами, без присутствия учителей. В училище пронесся слух, что под видом факультативного, искусствоведческого кружка действует опасная для

советского строя религиозная секта, однако наши встречи не прекращались.

* * *

В январе 1956 года в читальном зале елецкой библиотеки, — теплый зал, обшитый деревянными, резными панелями с лампами по зеленым суконным столам, — я прочитал приложение к журналу «Огонек» с повестью Ивана Бунина, написанной в эмиграции, «Жизнь Арсеньева». Там было много сочных и ярких строк — «я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками». Я представил себе молодого Вошинского, входящего с ящиком пахучих, масляных красок в писательское святилище Бунина.

В предисловии говорилось, что Иван Бунин, «большой мастер русского слова» и «принципиальный противник революции», был «незаслуженно забыт», потому что предал родину, эмигрировав во Францию в 1921 году. В репродукции разместили бородатое, а не безбородое, как у Вошинского, лицо.

Да, мой брянский наставник не сочинял. Бунин писал очень музыкально и на редкость складно. Подобной прозы у советских авторов я не встречал.

С натуры рисовалось плохо. На холоде мерзли краски и пальцы в перчатках. Перед лицом живой природы я терялся в хаосе обозримого, в нагромождении стволов и сучьев, зданий, крыш, фигур, планов. Потом, под кого писать? Под обобщенного Рериха или под конструктивного Савинни?

В начале 1930-х годов в культуре советского общества сложился идеологический шаблон под названием «метод социалистического реализма», как боевой помощник партии и правительства, надолго засевших в резиденции русских царей. Был создан единый творческий колхоз для музыкантов, архитекторов, скульпторов, живописцев, графиков. Кремль заказывал произведения высокого оптимизма, ра-

дость свободного труда и бодрый пафос побед строителей коммунизма. Идолом художественного производства, эстафетой одного поколения к другому, стал русский натурализм преемственного ремесла. Советская школа искусства, поставленная на наследственное ремесло, не нуждалась в новаторском почине, потому что новатор вносит неразбериху в стройные ряды семейного производства, нарушает древние установления и представляет существенную опасность для общества. Вся советская школа — от кружков вечернего рисования до академий и институтов — изучала один шаблон изобразительного счастья — небрежный мазок, пестрая расцветка, приблизительный рисунок, театрализованная композиция, школа доходчивой, пролетарской эстетики.

Иное искусство, византийская мозаика, русская икона, фрески Феофана Грека и Дионисия, да и весь XVIII век с его мифологической сценографией, с иной лепкой фигур и иным источником света нежели «лампочка Ильича», секреты орнаментализма и конструкция книги оставались за пределами наших знаний.

Наша постоянная модель подражания уважаемый Илья Ефимович Репин тоже не умел рисовать. Ни он, ни Верещагин, ни Поленов, ни Серов не знали основ свободного творчества. Их изображения не что иное, как фотографические сколки, сделанные небрежным, ручным способом. Умел писать и рисовать Михаил Врубель, но его никогда не ценили.

Чтоб как-то приблизиться к неведомым знаниям прошлого, я просто копировал восхищавших меня «столпников» Феофана Грека, пытаясь наугад разобраться в мировоззрении и могучих приемах великого художника. Свои пробы я постоянно перемазывал, загружал с трудом добытый кусок холста или картона.

В зимние каникулы я нарисовал маслом картинку под названием «Ярославна» — позднее она попала в коллекцию Г.Д. Костакиса — на фоне мрачного пейзажа с лесом

и речкой на первом плане, в правом углу композиции, стояла, склонившись, тощая, изломанного контура фигура женщины, с иконным лицом и тяжелыми, прикрытыми веками. Ее посмотрели друзья по кружку, и сам Абба Максович предложил спрятать подальше и никому не показывать такого гнетущего пессимизма.

Благому совету я не внял и показал на зачетной выставке в феврале 1956 года с парой подобных, мрачных сочинений. Мне вклеили двойку по композиции и пригрозили исключением.

Ангел бездны Абаддон.

Угроза была нешуточной. Я исправился и весной сдал живопись и композицию на «хорошо».

Я закончу полный курс и буду, как Николай Вошинский, нет — выше, как Виктор Пузырьков, с твердой зарплатой по договору.

* * *

В Брянске, на родном Болоте я обнаружил значительные перемены.

Колода карт и шахматная доска постоянно лежали на столе. Мы сражались с братом в шахматы, обходя всех шахматистов поселка. Над картами колдовала мать. На ее плечах появилась черная шаль с красными букетами, на голове повязка в виде чалмы, а на пальцах перстни с фальшивыми камнями. Превращение портнихи в гадалку произошло для меня незамеченным. В смуглом лице матери появилось нечто цыганское и загадочное.

«А твоего желанного ждет дальняя дорога и казенный дом!»

Обездоленные вдовы и одинокие женщины ехали к ней издалека, прихватив с собой гостинцы для гадалки, то кулек конфет, то кусок сахара, то фунт крупы, а уезжали с горящими от счастья глазами, довольные пророчеством брянской колдуньи.

Брат Шура привез из Казахстана кучу денег, грузовик зерна и жену, смешливую и черноглазую девицу по имени Нина Федоровна Григорович. Наши молодые покачивались и поскрипывали по ночам.

Я с печки ретировался на сеновал, где меня укусила приبلудная гадюка. Пол-лета я лечился у местной знахарки «святой водой» и выжил. Из крокодила я снова превратился в здорового, восемнадцатилетнего парня, ростом метр семьдесят пять, постепенно набравшего вес и мужество.

На семейном совете решили сломать русскую печь и сложить «голландку» с чугунной плитой на два чугушка. Самовар выбросили на задворки, вместо примуса включили электрическую плитку, на которой постоянно пишал чайник. Мой патефон с грудой битых грампластинок пылился в кладовке.

Эротические грезы редко посещают голодных студентов, а отъевшись на материнской малине и морковке, я стал видеть соблазнительные силуэты желанной любви. Вылазки на «сковороду», где всю крутили лещенковскую «Татьяна, помнишь дни золотые», мучительно обжигали нутро, но установить равномерную половую жизнь, покрепче связаться с девушкой я не желал. Удавалось раздва проводить крепкую девку из гомельской деревни, завалить ее в лопухи и отъебать, а затем в три часа ночи бежать домой и отсыпаться на сеновале.

Я прочитал сборник рассказов Бунина, повидался с Вошинским и завернул в Москву.

Москва с ее обязательной Третьяковкой и образцами для подражания, постоянные выставки московских знаменитостей — выставлялся В.А. Фаворский с друзьями, позировка у художников вставали на моем каникулярном пути.

На Масловке я позировал академику Федору Богородскому и во дворе сошелся с одногодком Володей Каневским, сыном известного иллюстратора Н.В. Гоголя и постоянного карикатуриста популярного «Крокодила».

Володя накормил меня борщом, его именитый отец был женат на широколицей славянке с поразительно блаженным лицом. Не успел я очухаться, как она вычистила и выгладила мои штаны, а перед тем как лечь в постель, силой загнала мыться в сверкающую кафелем ванную. Для молчаливого карикатуриста, ученика Павлинова и Фаворского, я изображал сатирический персонаж для очередного номера «Крокодила». Просить деньги за терпение у меня не повернулся язык. Каневские кормили меня борщом со сметаной еще пять лет подряд!

Новый московский друг показал меня братьям Коровиным, Оресту и Ювеналию, позировать которым стало настоящей пыткой.

Старший Орест состоял главным художником издательства «Юность», только что открытого на волне либерализма, младший Ювеналий оформлял книжки и руководил графической секцией МОСХа. Они эксплуатировали меня до тех пор, пока я не засыпал от усталости на подиуме, а платили неохотно, подсчитывая каждый гривенник.

В семье Каневских, где дочка Лена вышла замуж за рекордсмена мира Юрия Чукарина, часто бывавшего за границей, соблюдался модный стиль жизни. Все красиво одевались, в особые штаны и блузки, невиданные в допотопной Москве. Более того, у них гремела настоящая, электрическая радиола, а не ржавый патефон. Слушать заграничные диски было истинным наслаждением, а танцевать буги-вуги с самыми красивыми невестами Масловки перепадало не каждому.

Володя Каневский, толком не знавший, чем заняться, литературой, музыкой, искусством, ввел меня в тесный мирок московских стилист, открыто воевавших с официальной моралью.

У чувака был мотороллер!

В просторную, новую квартиру поднимался удобный лифт. Однажды с нами вошел дядя с пышной гривой седых волос, с иголки одетый в заграничные вещи. Он по-

трепал Володю по загривку и справился о здоровье родителей.

— Представляешь, — шепнул мне приятель, выходя из лифта, — этот человек жал руку Джавахарлалу Неру!

Я сразу представил себе начальника МОСХа Федора Семеновича Богородского, автора прославленной картины «Слава павшим героям», висевшей в Третьяковке, с гирляндой ярких цветов на шее среди восторженных масс Индии. А кто мог знать, что через три года он будет моим покровителем, а я репетитором его нерадивого сынка Митьки, рисовавшего из-под палки.

Сердечный разлад с Ирккой Коровой не прервал моих сношений с доходным «домом Фаворского». Правда, меня уже не приглашали к столу, не оставляли ночевать, но вызывающе аккуратно платили за позировку.

Среди молодых квартирантов чердака веселым нравом выделялся алкоголик Сашка Суханов, муж Лавинии Бажбеук-Меликян. Суханов третий год писал большую заказную картину на тему геологов. В контурном рисунке можно было обнаружить намек на лесную чащу и цепочку людей с лошадьми. Я выстоял для живописца, непрерывно смолившего вонючие папиросы, все позы, а потом решил спросить у творца, чем отличается геолог от партизана. Суханов погладил рыжие усы и торжественно ответил:

— Ружьем! Если ружье за плечом — партизан, замазал — геолог!

Справки и пояснения наивному живописцу изредка подавал Адриан Ефимов, могучий сын скульптора, открывший в Сибири алмазы.

В конце 1960-х мне довелось видеть Суханова в пивном баре совершенно пьяным. Он ничего не рисовал и просил займы. Я напоил его водкой и спросил, как жизнь. Его дочка вышла замуж за испанца и перебралась в Испанию, а Лавиния сбежала от мужа в Армению. Если художник не умер, то его можно обнаружить за границей.

Вообще, в клане Фаворского сильно давили женщины. Семейный реализм — бабье творчество!

4. Грехопадение

После столичной суеты с грохотом трамваев и бесконечными переходами с одного места в другое, елецкая тишина показалась курортом. Сияли купола Вознесенского собора, базар ломился от фруктов, отчаянные спортсмены купались в Сосне.

До начала занятий я сменил квартиру. Без всякого сожаления я покинул экономную старуху Ростовцеву и переехал в большой, мещанский дом Варвары Ивановны, где уже квартировали мой друг Сашка Аникин и Пахомов, бывший фронтовик, женатый на кружевнице.

Мне отвели угол с раскладушкой.

Золотой осенью я писал с натуры этюды, рисовал кроны деревьев в городском саду, глазел на портреты елецких купцов Заусайловых, выставленных в музее.

Руководителем нашего курса назначили Виктора Семеновича Сорокина, живописца чувствительного к духу времени.

Мы возобновили сборища кружка, показали друг другу летние этюды под откровенный обмен мнений.

Возбуждение в обществе, вызванное венгерским восстанием осенью 1956 года и докладом Н.С. Хрущева о «Культуре личности Сталина» так глубоко копнуло содержание наших бесед, что мы решили выступить с открытым забравом.

Как правило, мы не читали газет и не слушали радио, и вдруг советские газеты сообщили о народных манифестациях в Будапеште 6 октября, о политическом кружке Шандора Петефи, об исключении генсека Ракоши из партии, о захвате восставшими центрального радио и оружейных складов. Потрясающие события шли один за другим. 29 октября Москва уламывает восставших сло-

жить оружие. 1 ноября, предательски заманив в ловушку, арестовали главарей бунтовщиков, генералов Ковача и Малетера. После предательства Яноша Кадара танки Красной Армии стреляют по баррикадам повстанцев. Кровавое побоище и усмирение «фашистов».

К большому советскому празднику «7 Ноября» — юбилей большевистской революции 1917 года — страна покрывалась патриотическими лозунгами. Я с ведром белого мезива обходил заказчиков и в столовой ФЗО, размотав кумач по полу, совершенно произвольно и не думая написал после шаблонного «Да здравствует» не «работники советской пищевой промышленности», а «великий венгерский поэт Шандор Петефи!». Завхоз, не прочитав до конца лозунга, вручил мне деньги за работу, и мы прилепили лозунг над входными дверями.

Я каждый день приходил в столовую поесть, и лозунг по-прежнему висел над входом, не привлекая внимания зевак. От дождей и мороза посыпалась краска, лозунг вот-вот собирались отправить в подвал, как вдруг меня вызвали к директору училища товарищу Пронько.

О моем хулиганстве, конечно, знали друзья Сашка Аникин, Вася Полевой, Володя Серебряный, братья Сорочкины и, пожалуй, все в училище, но никому не приходило в голову, что это «политическое хулиганство» и подсудное дело. Конечно, поэт Петефи выходил большими тиражами в СССР, его могли читать все, кому не лень, но в Будапеште шли аресты членов «кружка Петефи», как первых зачинщиков антисоветского восстания, и мой лозунг читался не иначе как политическая провокация.

В кружок наивных искателей истины обязательно затешется негодяй и доносчик. Юрка Неделин высиживал все доклады и обсуждения и сам читал «Сокровища Дрезденской галереи», но только ему в голову пришла мысль донести начальству о хулиганском поступке студента третьего курса Валентина Воробьева.

В кабинете директора сидел незнакомый, мордастый дядька в засаленной гимнастерке «под Феликса Дзержинского». Он осмотрел меня с головы до ног и тихо спросил:

— Кто научил писать?

Я ничего лучше не придумал, как сказать: «Вычитал в газете “Правда”».

— Ты мне мозги не еби, хмырь болотный, — вдруг истерически взвыл дядя, взлетая со стула, — назови, кто тебя научил писать антисоветский лозунг в советском учреждении, наставников и сообщников всех поименно!

По опыту родни я знал, что только чистосердечное признание и посильная помощь могут успокоить следствие. Я тут же на листке школьной тетрадки составил список всех учителей рисования: Максак, Вошинский, Геллер, Дудченко, Кор, Сорокин, Моревский, Пронько, Устинова (парторг и учитель марксизма) и Саркисян. Десять фамилий. Мой куратор, довольный операцией, сунул листок в карман гимнастерки и отпустил меня домой.

Заняться всерьез «делом лозунга» куратору не пришлось. Стремительные события катились друг за другом, еще до зимней сессии в феврале 1957 года весь Елецкий горком, включая моего куратора, был исключен из партии за антипартийную деятельность, способствующую культу личности Сталина, и сослан в Казахстан, однако «дело лозунга» не положили под сукно.

* * *

В середине ноября, прочитав объявление в газете, что в Москве, в Музее изящных искусств открывается выставка Пабло Пикассо, мы решили втроем туда ехать. Старший Вася Полевой, сибиряк из семьи раскулаченных хохлов, опытный калужанин Сашка Аникин и я. Ночью мы сели на крышу транзитного поезда «Ростов-Дон — Москва».

До Ефремова, большой узловой станции в трех часах езды от Ельца, ехали шутя. Сильный ветер не поднимался,

и мы грелись на частых остановках, толкая друг друга плечами и растирая пальцы снегом. Но после Ефремова открылись просторы с воем зимнего ветра, тормозная площадка, где мы ютились, ходила ходуном, казалось, вот-вот вагоны разойдутся и мы замерзнем, отстав от весело бегущего паровоза. Первым взвыл хохол Вася Полевой.

— Ну, братцы, я коченею, ноги примерзли к тендеру. Пойду, заплачу штраф и буду спать в тепле.

Я представил себе вагонное тепло. В вагонах всегда пустовали третьи полки. Пассажиры предпочитали прятать от воров багаж в нижние сундуки и держались за них в полудреме. Верхние полки с отопительными трубами, согревавшими озябшее тело, считались надежным местом для ночевки.

На станции Каганович поезд стоял десять минут, и мы побежали в буфет. Шел второй час ночи, сонная буфетчица собирала по столам стаканы и подозрительно встретила пришельцев в рваных шапках. На ее простецком лице с опытным взглядом, сразу опознавшим в нас летучих воров, поднялись вопросительно брови.

— Налейте нам чайку, пожалуйста, — пробурчал промерзший насквозь Вася Полевой.

Буфетчица потрогала титан с остывающим кипятком, наполнила три стакана и поджелтила чайной заваркой.

— С сахаром или без?

— По два куска на стакан, — за всех ответил Сашка.

Когда мы вытащили по куску хлеба и принялись уплетать, запивая кипятком, буфетчица нехотя спросила:

— Куда это несет вас леший, ребятки? — ее узкие, поросячьи глазки подозрительно прищурились. — Такая морозяка, а вы зайцами.

— Мы командировочные, — ответил я за всех, — посланы народом на совещание в Москву.

После Кагановича пришла настоящая зимняя ночь. До этого мы терпели холод, надеясь, что мороз поутихнет, но, как только состав набрал скорость, страшный ледяной шквал завыл по крышам вагонов, столбы с фонарями куда-

то запропастились, и Вася снова жалобно завыл вместе с ветром. Шутки прекратились сами собой, а бесстрастная черная ночь ничего, кроме гибели в ледяной степи не обещала. Лишь бы дожить до Сталиногорска, где менялась бригада, там поезд стоит пятнадцать минут. Там можно войти в вагон, но стоит ли?

В Сталиногорске Вася Полевой вошел в открытую дверь спального вагона и не вышел. Поезд двинулся. Мы прыгнули на буфера и забрались на крышу, прижимаясь к трубе, изредка выпускавшей теплый дух. В это время на горизонте раздвинулось небо, вернее, в сплошном черном мраке появилось мутно-красное пятно, бросавшее отблеск на обледеневшую землю. В половине шестого начался рассвет, который был необходим как тепло и жизнь. За Коломной, где поезд тормозил у высоких платформ, открывалось безмолвное движение пригородных электричек и по обеим сторонам бегущего поезда возникали черные и понурые силуэты рабочих людей. Ехать до Москвы оставалось недолго, когда распахнулась дверь, и раздался звонкий голос проводницы:

— Эй, вы, командировочные, слезайте с крыши в вагон. Ваш дружок давно спит в тепле, а вы мерзнете на холоде. Так и быть, без билетов доставлю в Москву.

Мы спустились по лестнице и прыгнули в тамбур. Пожилая проводница, до пояса закутанная в шерстяной платок, захлопнула дверь и прижала ее педалью.

Толкая друг друга в одеревеневшие спины, мы кинулись в полумрак душного вагона и мгновенно оказались на верхних полках. Васька давно спал, и, следуя его примеру, мы подложили локти под шапки и задремали.

За полчаса до приезда в столицу добрая проводница нас разбудила и вытолкнула в тамбур:

— Как открою двери, марш из вагона вон! Не мешайте людям выходить с вещами.

Васю Полевого, не бывавшего в Москве, столица потрясала.

Тысячи бегущих по мощеным улицам людей, дома, уходящие концами крыш в облака, подземная дорога с теплыми, сияющими лампами вагонами.

Мы выбрались из метро в «Охотном ряду» и пешком, вдоль кирпичных стен Кремля, запорошенных снегом, подошли к величественному portalу музея, где быстро собиралась очередь хорошо одетых, сытых и веселых граждан. Мы стали в хвост, а через полчаса стояли у входа на выставку.

Главную, мраморную лестницу музея украшал большой фотографический портрет Пикассо с черными, пронзительными глазами. Невиданные картины испанца, ядовитые, дикие и разноликие, крушили и били самые устойчивые принципы. Значение этой выставки оказалось таким глубоким и цепким, крепче колорадского жука, съедавшего наши картофельные поля. Чаще всего я задавался вопросом — как страна победоносного оптимизма и коммунизма, решила показать советскому народу любимца американского капитализма?

Весь день мы слонялись по выставке, пока нас вежливо не попросили выйти.

На Павелецком вокзале мы бросились в буфет. Купили по бутылке кефиру с хлебом, уселись на кафельном полу и поели. Разомлев, я достал из кармана блокнот и принялся набрасывать спящих баб и мужиков и заснул над рисунком.

— Очистить проход для уборки, — уловил я милицкий голос. — Ишь, развалились, тунеядцы! Куда и откуда едем?

Вася и Санька рядом сидели на лавке.

— Пройдемте! — молодежато велел милиционер.

В вокзальном отделении милиции за пустым крашеным столом сидел пожилой лейтенант и раскуривал папиросу.

— Вот, привел командировочных, — отчитался солдат.

— Мы студенты из Ельца, — дружно ответили.

Пожилый офицер встал из-за стола и осмотрел нас кругом, как обходят диковинный экспонат в музее, и сказал:

— Студенты учатся, а не ночуют на вокзалах. Короче — документы?

Офицер полистал наши книжки, проверил подлинность печатей и фотографий и положил под ладонь.

— Зачем в Москве?

— Мы приехали посмотреть выставку Пабло Пикассо.

— Чего? Какой Павло Косой? Где живет?

* * *

На курсовой выставке 1957 года я выставил и учебные, и самостоятельные работы. Мои друзья показали решительно все, на что способно воображение. Вася Полевой разошелся до того, что рядом со своими опусами повесил детские рисунки, собранные на помойке.

Моя картинка с купцом Садко с протянутой рукой, сделанная с оглядкой на Николая Рериха — условный контур толпы на заднем плане и струг с извилистой резьбой, — вызвала единодушное одобрение худсовета.

На выставку пришла уйма народу, от первокурсников до гостей из города, рисовавших по вечерам. Все члены кружка получили высшие отметки, что вызвало форменный мятеж выпускников, работавших по старинке.

Пожилой студент Кузьма Овчинников, здоровенный дядька с фиолетовым носом, кричал по коридорам:

— Чему нас учили пять лет?

Это была зима удивительных перемен вверх дном. Наше руководство выпустило вожжи и растерялось. Дело с моим лозунгом замяли и образовали новое, где за халатность в политическом воспитании студентов отвечали парторг Устинова и директор Пронько. На них посыпались все шишки из министерства просвещения. Все ждали авторитетного решения министерства и оно пришло — за серьезные промахи профессионального обучения и воспитательной работы художественное училище ликвидировать, а студентов разбросать по другим учебным местам!

Парторг Устинова получила строгий выговор с занесением в личное дело, директор Пронько уволен за халатное отношение к службе.

* * *

Не знаю почему, но меня очень заинтересовал Первый съезд советских художников в апреле 1957 года. В городской библиотеке я просматривал с Петькой Козьминым все газеты, попадавшие в Елец. Нам казалось, что этот съезд — продолжение нашего бунта. Лозунг «свобода творчеству», выдвинутый съездом, воспринимался близким и необходимым в жизни художника. Мы читали выступления именитых и начинающих художников от корки до корки.

Выступление В.А. Фаворского, в присутствии членов политбюро тихим баском потребовавшего от властей «доверия к художнику», нас привело в неописуемый восторг. Мы сочинили ему восторженное письмо поддержки, и старый профессор сразу ответил с благодарностью.

Мое будущее состояло из двух частей: первое — начальство решило меня и студента Пахомова перебросить в Москву, в Училище имени 1905 года, для завершения пятого курса, и второе — потом открывалась работа свободного художника или педагога.

Последнюю, летнюю практику наш четвертый курс проводил в Задонске, городке на Дону, заросшем вишневыми садами. Руководитель практики Михаил Иванович Золотов, бывший ученик Татлина, имел там родительский дом и в общагу приходил раз в неделю посмотреть, что мы красим. От ВХУТЕМАСа он вынес самые негативные впечатления. По его рассказам, Татлин привязывал к потолку табуретку и заставлял рисовать ее в постоянном движении. Рисовать табуретку он так и не научился и перешел на перспективу, где если бывал трезвым, то по линейке мог провести правильную линию.

Дипломник Юрка Тимофеев, друживший с кружковцами, написал веселую картину с изображением голых купальщиц. Матерые академики, напоказ рисовавшие вождей коммунизма, плотно затянутых в мундиры и пиджаки, тайком рисовали «ню», но Тимофеев совершенно открыто и всенародно писал сочную, яркую, напоминающую русский лубок картину с голыми женщинами и получил отставку «отлично».

Наступили иные, светлые времена.

Заштатный Задонск, расположенный в верховьях Дона, в цельном виде сохранил аромат «Святой Руси». В знаменитом на всю Россию Задонском скиту с вечной ключевой водой, жили психбольные, но могучие стены монастыря, дубовые ворота на скрипучих замках не переменялись за сорок лет. Казалось, что оттуда вылезет не сопливый психбольной, а сам Тихон Задонский, святой и лекарь русского православия.

Я и Сашка Аникин составляли Тимофееву компанию в работе над обнаженными моделями. Мы писали их на песчаном пляже с нависшими, плакучими вербами над шустрой водой. Там же и купались до изнеможения, там же я и влюбился по-настоящему.

Как следует запрятав грыжу, я подполз с этюдником к паре приезжих девиц, вяло болтавших на солнцепеке. Слышу: «Лена, ты не заплывай далеко, там крутит!» Совершенно коричневая от лба до пяток пловчиха с фигурой утонченных пропорций, покачиваясь, выходила из воды и плюхалась в песок, натянув на кончик породистого носа солнцезащитные очки. Я часами нырял в присутствии красавицы в темных очках, показывая чудеса акробатики на быстроту, выдержку и стиль. Она не вынесла полуденного солнца и кинулась ко мне. Я деликатно, толчком одной ладони по воде окатил красавицу. Недоступная, коричневая богиня как ни в чем не бывало обратилась ко мне:

— Ух ты, как это делается? Научи!

Не менее часу мы резвились и фыркали, хохотали и ржали, прикасаясь голыми телами, а ночью танцевали под радиолу. Эдит Утесова пела «Прощались мы, блеснула из-за туч луна», потом шли мелодии Ив Монтана. А позднее терлись раскаленными солнцем телами, выжимая из себя «внутренний огонь естества». Я не упускал случая и днем и ночью, чтоб не забраться на холеное тело Лены Леваневской, и у ручья святого Тихона Задонского, и во дворе школы, где нас расселили, и в вишневом саду учителя Золотова, и под речным кустом. Весь сияющий, славный июнь Лена охотно отдавалась любовным утехам и то же самое обещала в Москве, однако породниться с семьей знаменитого летчика мне не удалось.

* * *

Летом 1957-го я надолго застрял в Москве в ужасающем положении молодого инвалида, брошенного на произвол судьбы.

Едва выскочив из вагона, я позвонил Лене по телефону, награвированному на этюднике черенком моей кисти, с замиранием сердца назвал себя. «А вы кто?» — спросил незнакомый голос ее тетки и следом за ним любимый и безразличный, как ледяная гора: «Нет, я не могу, мы сегодня едем на дачу. Вы меня случайно застали и будем в конце августа, может быть тогда...» Забегая наперед, скажу, что в конце августа я позвонил. К телефону подошла та же тетя и отрезала, чтоб я забыл номер их телефона, в противном случае она вызовет милицию!

Совершенно убитый и пустой, я осмотрел списки учеников московского училища и обнаружил вместо моей фамилию Неделина.

По дороге в Министерство культуры РСФСР, что на Софийской набережной, со мной случился приступ защемления грыжи. Я ревел, стонал, корчился на тротуаре до тех пор, пока внимательный прохожий не вызвал, «скорую по-

мощь». Я очутился в Басманной больнице, где после удачной операции провалялся две недели на больничной койке.

Международный фестиваль молодежи, куда я собственно и стремился попасть в первую очередь, я наблюдал из окна Басманной больницы.

По нарядно украшенной Басманной улице кочевали толпы восторженной молодежи, с открытых грузовиков наяривал джаз. На виду у пораженных москвичей иностранцы целовались взасос.

Меня посетил брат Шура с чемоданом пива и солевой воблы. Весь день мы просидели в садике, выпили пиво и сыграли партию в шахматы. Совершенно пустой, с кровоточащей раной на боку, я вернулся в Елец, чтоб забрать вещи. Хозяйка считала, что я умер. Мой этюдник с красками исчез. Картинки валялись в мусоре. В Брянск я приехал с пустым чемоданом. На крыльце сидела мать в зеленой чалме и грызла подсолнух. На месте хибарки Чубаркиных строился большой, сосновый дом. Удрученный невзгодами, я сидел дома, маялся и тосковал, изредка посещал клинику и читал книжки.

Наших «великих князей», как Вошинский называл горком, с треском поперли со всех постов. Бондаренко спился, а его Софка чокнулась, когда пришли отбирать казенную «победу». Вошинский в красках написал портрет нового вождя (фамилию забыл!) и прославился. Его приглашали на всякого рода собрания и съезды. Предлагали издать воспоминания.

«Сковорода» с агрессивными коблами и мясистыми девками, облитыми дешевым одеколоном, мне опротивела. Меня потянуло к церковной благодати. На Успенье Пресвятыя Богородицы (28 августа) я отстоял всю службу, но основательно привязаться к православию не мог, меня удручали толчея в церкви, разнобой в молитве, потом никто не мог объяснить, почему женщины стоят в платках, а мужчины вынуждены обнажить голову?

Все на свете — вздор!

Где Бог, с которым стоит познакомиться?

5. Средняя полоса России

Письмо Министерства культуры РСФСР извещало, что вместо Иркутска, от которого мне удалось больным и беспомощным отвертеться на летней встрече, я назначюсь в художественное училище города Чебоксары.

Об этом городе на Верхней Волге, из уроков географии я знал, что он «столица» Автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Об экзотическом народе учебник сообщал:

«После пятилетней войны 1550—1555 годов Казанское ханство покорилось московскому Царю Ивану IV. Трудящиеся массы Поволжья — татары, марийцы, удмурты, чувашаи, мордва оказались под двойным гнетом московских и местных феодалов. Их обложили ясаком — куницами, медом или деньгами».

В чувашском краю без меда, куниц и денег я прожил полтора семестра и сменил три «угла», то и дело попадая к алкоголикам и дебоширам. За исключением трех одноклассников из Ельца, местные студенты считали меня засэжым проходимцем, что, в сущности, и было. Я всецело стремился быстрее разделаться с учеьем, получить диплом и удрать в Москву. Начальник училища Орест Иванович Бургулов, усатый чуваш в сапогах, слезно умолял меня не совращать чувашей в «формализм», а готовить дипломную картину. За мной закрепилась репутация эксперта современной живописи, и посыпались приглашения местных правдоискателей. Заядлым спорщиком оказался горьковчанин Валерка Мазур. Он чаще всех тащил меня на борщ к бабушке и больше всех упирался в своем невежестве. «Прямая перспектива совсем необязательна в живописи», — говорю я. «Как же необязательна, если все линии сходятся в одну точку?» — Мазур мне. Юрка Давыдов

предпочитал, чтоб я лично переделал его живопись, а он посмотрит со стороны. Игорь Майков писал стихи и вечерами просиживал, подыскивая рифмы. «Игорь, ищи не рифму, а образ, — давал я совет, — почитай Велимира Хлебникова: “Граждане города голода,/Когда сам Бог на цепь похож,/Вперед колодники земли./Вперед, добыча голодовки”. Вот он, образ!»

В уютной библиотеке Чебоксар, со всех сторон окруженной старыми деревьями, нашлись книги для упоительного чтения. Когда сгущались зимние сумерки, я забирался в читальный зал и часами копался в творениях Хлебникова, Пастернака, Тынянова. Не знаю почему, но проза Андрея Белого со своим «и пятерней по гитаре: пам-пам-пам» мне казалась значительней Пушкина, Юрий Олеша с «он заведует всем, что касается жранья» — гораздо выше Тургенева, а Юрий Тынянов затмевал Льва Толстого — «одни и те же русские мужики шли по мостовой — взад и вперед».

Любопытство и молодой дух познания уводили меня в глухие дебри распада, где живой мир постепенно теряет свою привлекательность, превращаясь в «формалистического монстра», построенного по законам надземной геометрии. В культуре формализма я блаженствовал, как больной в наркотиках, а в действительной жизни ничего не замечал, кроме пошлости и безобразия.

Так начинался мой затяжной период «формализма», вышедший из книжного мира. Тогда мне казалось, что я знаю тайны высокого творчества и готов выдавать шедевры. На самом деле, как только кисть касалась холста, у меня выходили корявые вещи «под примитив», «под икону», «под витраж». Всю эту пачкотню я смывал керосином и начинал заново. В художественном действии выразить себя я не умел и бесился от неудач.

Мой официальный проект картины под кодовым названием «Конец самодержавия», где в кубистической подворотне жался к стене жандарм и буржуй, потерявший шапку, а по улице гордо шел рабочий люд с красными знаменами, ве-

душий преподаватель О.И. Бургулов посоветовал снять во избежание непредвиденных дебатов в жюри. Второй проект в виде фриза «Дети и кораблики» не вызвал подозрения и был утвержден.

* * *

Зимой 1958 года Масловку потрясло два события сразу. Исчез художник Орест Коровин. Сначала решили, что человек запил и лег на дно московских пивных, но по прошествии двух недель родня получила телеграмму с уральских гор.

«Вышел на малахитовую пещеру.. отдайте долг Офендину.. не поминайте лихом».

Художник, мучивший меня сложной позировкой, бесследно исчез. Какая красавица увлекла его в подземное царство, до сих пор остается неизвестным.

Академик Нисский учудил еще круче. Из глухой Казани он привез гениального сироту по имени Игорь Вулох. Ему ничего не стоило семнадцатилетнего казанца записать в «творческий союз» и повесить картины одаренного юноши на стены неприступного Манежа, послав на фиг протестующих коллег. Мы обнаружили, что казанский гость всю курит табак и пьет как бочка. Теперь они пили вдвоем. Спозаранку катили в Петровский парк, рисовали по дороге и возвращались в дупель пьяные. Алкогольное разрушение сначала коснулось старшего. С прогрессирующей белой горячкой академика отвезли в Белые Столбы, где его не поправили и не вернули в искусство.

Победитель алкогольной гонки молодой Вулох прописался на Масловке, оттеснив несчастную супругу Нисского в темный чулан. Супруга больного художника, страдавшая бесплодием, распустила слух, что ее муж был тайным гомосексуалистом и казанский найденыш служил для особых, противоестественных утех.

* * *

Моя невестка Нина Федоровна родила дочь. Мать невзлюбила невестку сразу. Материнская ревность. Украли сына. Раз ее огрела кочергой. Беременная Нина чуть не скинула от страха. Я познакомился с ней ближе, после рождения дочки.

Небольшая, кругленькая особа, очень спокойная, южный тип. Хохлушка из Трубчевска.

Мать не выносила человеческого спокойствия. Она его приравнивала к лени. Вот попалась сыну лентяйка, уморит с голоду. Придиралась по мелочам, а рождение ребенка еще усугубило острые отношения.

Мать, накинув шаль, гадала на картах, внучка ревела в качалке.

Брат Шура и Нина с годовалым ребенком ушли к Мильману. Генерал Мильман уступил им жилой вагон, и покатали они табором по стране.

Явившись на зимние каникулы, я в комнате брата обнаружил квартирантку. Дальняя родня с «Пашковских Двориков», тоже Абрамова, как и мать. Кассирша Льговского вокзала. Она грела спину у горячей «голландки». Женщина примерного поведения, негулящая. Зовут Татьяной. Несмотря на разницу лет — ей за тридцать, мне двадцать — мы быстро сдружились по-родственному. Я сделал для нее копию картины Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы». Татьяна безропотно сидела в качестве живой модели. Я сделал с нее сотни зарисовок в различных позах.

Однажды у ворот заскрипели сани. Я выглянул в окно: мужик в рыжем армяке подвязал вожжи и постучался в дверь.

— Брат Карпуша, — сказала Татьяна, отпирая крыльцо. Вошел мужик лет сорока, чинно поздоровался и сел в угол на кухне. — Чайку? — спросила Татьяна. Карпуша кивнул головой.

Я десятки раз проезжал орловским поездом мимо «Двориков», но никогда там не был. И незачем, и некогда. Здесь же Карпуша приглашал на охоту, обложить кабана.

Пашковские Дворики! Родина моих предков! Там родилась моя мать!

Я сутки готовился к встрече с ними, пока Карпуша и Татьяна слонялись по магазинам, закупая гвозди, мыло, валенки.

Легко скользя по накатанной орловской дороге мы добрались до полустанка Снежить и повернули направо на глубокий снег. Лошадка пыхтела, но упорно тащила сани по лесной тропинке. Потом с лаем выскочила пара крупных собак и, прыгая от восторга, сопровождала нас до дома.

— Кобель облаял секача, — встретила детей хозяйка, закутанная в тряпье. Мы вошли в дом, я осмотрелся. Пара малолеток глазели с печки. Женщина помоложе накрывала на стол. Меня всем представили как брянскую родню и усадили за стол. Ели и пили степенно, вспоминая прошлое и загадывая будущее. Карпуша Абрамов служил лесником в квадрате «десять на десять», службой был доволен, но судьба детей его беспокоила. Он пытался продумать «как там у вас в Москве», но жена его быстро одернула: «на Москву у нас средств не хватит. Дай Бог, пристроить в Карачеве или Брянске».

Ночная пурга прекратилась на рассвете, кобели лаяли по-особому, предчувствуя выход в лес. Я спустился с печки, напялил ватные штаны, валенки и шапку. Мы вышли со двора, когда проснулась заря и земля засветилась розовым и синим. Было тихо. Изредка пролетали сороки, взмывая хвостом пушистый снег. За дальней копной сена мы пошли гуськом по следу кабана. Впереди шел Карпуша, за ним сосед из Верхополья Спира Никулин. Я замыкал шествие и тряся от волнения, то и дело поправляя ружье на плече.

— Его след, — сказал Карпуша и повернул к Лесным Сараям, где могла быть лежка кабана. Пройдя полкило-

метра по следу зверя, мы уперлись в открытую поляну с заготовкой дров и свежим пометом рядом и залегли на поленьях, вытянув стволы карабинов. Наконец, послышался треск кустов и тяжелый стук копыт. Я сжал цевье ружья до судороги в пальцах. Послышался глухой выстрел никулинского ружья, камыши зашсвелились, и оттуда выскочило сразу штук пять чернобурых секачей с кривыми мордами и малиновой хрюшкой. За стадом неслись собаки, прыгавшие по сторонам. Я ждал, когда начнет стрелять Карпуша, но не выдержал и нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела, секач грохнулся на хрюшку, потом вскочил, но в этот миг раздался меткий выстрел Карпуши, и кабан лег на бок, царапая клыками землю. Собаки набросились на него, терзая густую шерсть, но из леса вышел Никулин и разогнал их. Туша выглядела килограммов на сорок. Ее тут же подвязали на жердь и потащили домой.

— Молодец, браток, — сказал Карпуша и потрепал меня по плечу, — абрамовская хватка, лесовик!

У кабана светился кровавый глаз. Мужики вспороли брюхо кабану, оттуда вместе с горячим паром вывалились внутренности, большой, морщинистый желудок, набитый растительностью, розовые кишки, покрытые салом. Вырезали желчь и опорожнили кишки, выбросив голяшки собакам. Замызганные в крови мужики разрубили топором кабана и разошлись.

Из свежатины женщины приготовили жаренку. К охотничьей добыче добавили бутылку водки, соленые грибы и квашеную капусту. Первый раз в жизни я пировал в лесу с материнской родней и был счастлив, как никогда. Уезжали мы с Татьяной, Карпуша подвез на санях до разъезда Снежеть, где тормозил рейсовый автобус.

* * *

Очень скоро, и на собственной шкуре, я испытал суровые нравы волжан.

Как-то в трескучий мороз, ночью, я провожал девушку из танцевального клуба, и на меня напал вооруженный ножом гражданин. Завязалась драка. Девушка с криком убежала. Я отмахивался как мог, но налетчик воткнул мне в левую ладонь нож. Зажимая окровавленную руку, я дико заорал и убежал. Руку перевязали и спасли, но я до сих пор не знаю, с какой целью нападал человек — грабеж, ревность, баловство?

Весну я просидел над дипломной картиной. Рисовал с натуры детей у ручья, писал этюды утром, днем и вечером. За фриз мне поставили твердое «хорошо», вещь забрали в фонд и в торжественной обстановке выдали диплом учителя рисования и черчения для общеобразовательных школ.

— А что дальше? — спросил у меня Валерка Мазур.

— А дальше мы пойдем своим путем, как сказал Владимир Ильич Ленин.

Я отказался от места в чувашской глуши и взял «свободный диплом», дающий право распоряжаться своим будущим с опасностью остаться без места и заработка.

Двадцатилетних поголовно призывали на военную службу. Я получил повестку явиться в военкомат. Дипломнику вроде меня, читавшему стихи пацифиста Хлебникова и тайком рисовавшему «абстракции», было просто необходимо избежать службы, симулируя любую уважительную причину. Операции на грыжу было недостаточно для отсрочки, оставалась ненадежная хитрость и авось. Диплом учителя не давал права офицерского звания, но за пять лет я научился ходить строевым шагом и заряжать винтовку «на плечо, шагом, марш!». Повторяться в армии не хотелось. Служба в Красной Армии совсем не входила в мои планы, надо было во что бы то ни стало закосить это дело, и вышло так, как я хотел.

Представительный полковник медицинской службы, руководивший отбором новобранцев, оказался надежным союзником. После рядового опроса данных «личного дела» и осмотра по струнке стоящего голого мужика, полковник велел одеться и присесть к столу.

— Как у вас со зрением? — задает вопрос и смотрит мне в глаза.

— Ничего не вижу, — отвечаю, не моргнув глазом.

— Как это?

— Весь мир в разноцветных точках, земля в точках, небо в точках, люди и животные в точках. Марево разноцветных точек.

— Так, — сказал полковник. — Импрессионист! Негоден к строевой службе в мирное время, а в военное только к нестроевой. Слушали — постановили!

После полудня мне выдали военный билет с печатями негодности.

Да здравствует Шандор Петефи и полковник медицинской службы!

Слава Вооруженным Силам Советского Союза!

21 июня 1958 года я получил диплом, а 22-го уже сидел в купе с фанерным чемоданом моей бабушки.

6. Братья изящных искусств

Звезда Фаворского и его последователей поднималась в новом блеске. «Генеральная амнистия всех идей» не застала их врасплох. Он и его школа держали под рукой примерное ремесло.

В Москве я гулял по мастерским известных художников — Богородский, Каневский, Чернышев, Ювеналий Коровин, Нисский, Павел Корин. Туповатого Жилинского я пытался учить «искусству абстракции», он с высокомерной усмешкой соглашался измениться, но продолжал мазать свое.

У памятника В. В. Маяковскому на Садовом кольце собирался московский «хайд-парк», Володя Каневский читал свои вирши, рядом ругались и спорили о политике.

К двадцати годам я вырос в костистого, широкоплечего мужика с отвратительной наружностью. Явные красавицы шарахались от меня в сторону. Приходилось тол-

таться у косолапых и кривобоких интеллектуалок, одетых побогаче.

Скульптор И.С. Ефимов позволил организовать в своей мастерской показ и обсуждение моего короткого и сумбурного творчества. Я разложил свое производство по полу, от рисунков натурщиков до «исторических» композиций типа «Ярославна», «Садко», «Хоровод» и все в том же духе. Мы пригласили множество народу, знавшего меня по позировке, — Бруни мать и сын, Захаровы, Илларион Голицын, Жилинские, Дervизы, киношник Урусевский, приехавший из Питера Коля Ветрогонский и незнакомые мне музыканты Каретников и Брамлей. Приговор профессионалов рисования был суров — «ну вот, еще один декадент!» Я не обиделся. Артельный способ работы я не принимал на дух и знал, что кроме школы Фаворского существует много значительных и духовно мне близких создателей. Мой домашний бунт поддержал один старик Ефимов: «Ты готовый мастер, тебя нечему учить!», а кинооператор Сергей Урусевский, сам отличный живописец фовистского направления, отобрал акварель и вручил мне десять рублей, при гробовом молчании присутствующих профессионалов.

Да, моя техника оставалась кустарной, выдумка хромала, давил орнамент, но вещи выпадали из монотонного ритма семейного ремесла, и это было важным достижением.

* * *

Год или два назад я купил на вокзале роман Иоганна Вольфганга Гете в переводе Бориса Пастернака, в превосходных гравюрах А.Д. Гончарова. Книжка — шедевр артельного содружества. Выразительные, сочные гравюры.

Андрей Дмитриевич Гончаров занимал видное положение в московском искусстве. Любимый ученик Фаворского, он захватил все изобразительные жанры, дозволенные «соцреализмом», от фресок и мозаик в метро до

станковой живописи, мелкой пластики и гравюры, где он особенно прославился. Кроме этого, Гончаров занимал доходный профессорский пост в институте «Полиграф» на Садовой-Спасской.

С рекомендательным письмом сразу четырех заговорщиков — И.С. Ефимова, Сергея Урусевского, Фаворского и Милы Дервиз я постучался к нему в контору в июле 1958 года.

Мой внешний вид — коротко стриженный, круглоголовый, в полосатой рубашке Ефимова, в синих вельветовых штанах, с папкой под мышкой — ничем не выделялся из толпы миллионов, выползавших из метро «Ботанический сад», но, едва переступив порог конторы, я сразу произвел невыгодное впечатление на профессора Гончарова. Он этого не скрывал, но быть хамоватым и безразличным до конца ему мешало письмо, подписанное уважаемыми коллегами.

Никакого родства душ!

Едва взглянув на пару моих работ, повадкой копытной твари, привыкшей топтать траву и деревья, без лишних объяснений, он дал мне под зад копытом:

— Молодой человек, мы рисуем обложки, а не картины. Я — метранпаж, а не декадент!

Ясно, я чужой! Тут я не нужен!

«Каждый сверчок, знай свой шесток!»

Хоть убей, но не помню, кто навел меня на ВГИК?

Да, я позировал Аминадаву Каневскому и что-то слышал от его сына, мечтавшего о кино, но, скорее всего, меня отнес туда казинец Игорь Вулох, как и я, решивший покорить Москву. Влюбленном случае, туда я поплелся с той же папкой, трамваями, на задворки Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и был сразу допущен к экзаменам.

В этот модный институт ехали со всех шестнадцати советских республик по специальным путевкам комсомола. Я не состоял в комсомоле, родители не подавали заветного конверта с подарками, и я не носил громкую

фамилию, как мои друзья Каневский, Коровин, Ромадин, Боим, Пушкин и Бенкендорф.

Мне не раз потом говорили, что сдать экзамены на «отлично» с первого захода и поступить — случай уникальный и, следовательно, необъяснимый.

Принимавший экзамены профессор Ф.С. Богородский, только что посетивший Париж, спросил у меня, где и у кого я учился рисовать.

По протекции инспектора Г.Г. Нисского прошел со мной и Игорь Вулох с отметками «хорошо».

7. Абрамов Двор

В 1958 году, поступив во ВГИК, я вернулся в Брянск. Отоспаться и отстираться.

Там умирал от рака Вощинский. Он лежал в постели, тяжело вздыхая и пытаясь улыбнуться. На тумбочке стоял графин с водой. Он страдал, но продолжал смотреть. У изголовья сидела его любимая женщина, англичанка Ираида Владимировна, одетая в синее, со значком «вуз» на лацкане пиджака.

Хоронили его пять человек. Директор Вячеслав Гаврилович Лященко произнес чувствительное слово. Англичанка обливалась слезами. От брянских художников выступил декоратор гостеатра Аркадий Белкин. Общие слова дурака. Гроб погрузили в открытую полуторку и отвезли под грохот духового оркестра на кладбище за Орловским большаком.

Стоял чудесный, жаркий август.

Я спал на сеновале и отъедался малиной.

Дядя Ваня Абрамов, брат Шурка и я решили пожить на природе и перебрались на пепелище Абрамова Двора. Там ничего, кроме векового дуба и родника, заросшего осокой и захламленного гнилью, не сохранилось. Вместо постоянного двора — поле дикой клюквы, где во все стороны прыгали черные гадюки.

Неужели здесь шумела жизнь?

Соловей-Разбойник — Бог с ним, народное достояние, но здесь родилась моя мать, ее братья и сестры.

Убожество родного погоста было таким удручающим, что я подумал смяться на большак попутного транспорта, если бы не брат Шурка, руками ловивший налимов в речке, и хромой дядя, раздувавший костер на таганке. Намаившись за зиму, он смотрел на дуб своих предков, как на чудотворную икону, не обращая внимания на тучи ядовитых комаров.

А что там за лесом?

Остатки Верхополя навсегда застряли в моей памяти. Развалины некогда богатого села с дырявой, наглухо заколоченной церковью — бездушное сооружение графа Аракчеева с его безумной идеей загнать Россию в солдатскую казарму! — пара сгнивших изб, черный поросенок в луже, хватавший гуся за хвост, и закутанная в лохмотья горбунья на ветхом крыльце. Неловкий стук топора на другом конце деревни.

Разоренная земля ожесточала мое сердце.

Мой дядя «казак» писал военный роман. Мой дядя упорно выдавал себя за «казака». Потомственный казак Иван Абрамов! «1919 года марта 29-го дня по утру в 3-м часу народился сын, в святом крещении наречен Иоанном в честь Преподобного Пустынника того же имени».

В Верхополье гнездились анархисты. В Брянске стояла дивизия латышей. В Карачеве Белая армия генерала Деникина.

Куда податься?

Абрамов Диор подожгли с трех сторон. Вместо жилья — пенелница!

Сын погорельца Иван семь лет протирал штаны за партой «трудовой школы». В 1935-м получая паспорт — «знак сатаны!» — он приписал себе три года. Сын частника бесился, увиливал от привычного домостроя, по ночам жег керосин и сочинял стихи в газету брянских футуристов.

В 1937-м Брянск посетил Лазарь Каганович, расстрелял весь райком за саботаж и загреб Абрамовых. Арестовали комсомольца Васю и забили до полусмерти.

«Я — брат врага народа, и тоже враг», — думал Иван Абрамов, убегая на курсы командиров. Пока он тупой саблей рубил жидкую харьковскую лозу, на родине убили отца.

В романе И. В. Абрамова «Оборона» есть замечательное признание: «Дело в том, что наши люди стали врагами друг другу».

В июне 1941-го лейтенанту Абрамову стукнуло двадцать два года. Красной Армии не существовало. Генералы сбежали в Сибирь. Немцы брали Москву. Он брел на восток. Зеленый картуз с красной звездой он выбросил в овраг, а ножом срезал офицерский чуб. В сгнившей от грязи гимнастерке и в пух и прах разбитых брезентовых сапогах окруженец шел домой, в Брянск.

«Война? Ну и черт с ней! На хлеб он себе всегда зарабатывает. Какое ему дело до того, советская власть в Брянске или немецкая. Лишь бы жить, есть, пить, дышать».

Появление вшивого окруженца никого не удивило. Город кишел дезертирами трех красных армий, попавших в немецкий котел.

Будущий писатель присмотрелся к живописным превращениям родного края и залег на дно. Приятель из брянского пролеткульта Коля Самарин звал «по-волчьи выть», но Иван предпочел сапожный промысел на дому. Немцы пришли и ушли, а сапожник остался.

Кому низ, кому верх.

Абрамову — низ!

Сапожник летом 1943-го стал лесным мстителем. Вернулся в Красную Армию, под Варшавой потерял ногу и домой вернулся инвалидом.

Брянский палач Емлютин, харкавший в пузырек туберкулезник, в безумии мести готовый перебить все человечество, потащил инвалида на пытку.

— Ну что, Иван, отмеривая качествопытки, начал Емлютин, — выкладывай все как было!

«Ему доставляло истинное наслаждение хладнокровно бить по живой ноге велосипедной цепью и смотреть, как я ползал на карачках. Без костылей я барахтался, как годовалый ребенок, истекающий кровью».

Чахоточный палач Емлютин быстро сгнил, а дядя ожесточился.

Присутствие «проходимца Абрамова» на моем горизонте я открыл в 1947 году, в год денежной реформы, разорившей мать и всех нас, нахлебников. Дядя играл непреклонного большевика. Солдатская шинель до пят, полувоенная фуражка, отдаленно напоминающая всех вождей сразу, самодельный протез и тяжелый костыль.

«Мы еще покажем этой сволочи, с кем они имеют дело!»

— Клавдия, не ной, — он матери, — начинай все сначала!

Разливая утренний чай, дядя открывал тетрадку, испи-санную острым и плотным почерком, и спрашивал нас:

— Значит, вы считаете, что сержант Мигалин — преступник?

— Конечно, — прихлебывая чифирь, кивал брат, — он трус и убийца, самый яркий образ в романе.

— «Пальцы Мигалина сомкнулись на горле лейтенанта Славина» — годится?

Единственное живое лицо лукавого романа, сержанта Мигалина, разбирали у походного костра с карандашом в руках.

Довашь ему что-либо идейное, — дал я совет.

«Человек, он рожден для жизни, а не для того, чтобы сидеть в окне и швырять в танк пивные бутылки с бензином». Так пройдет? — спрашивал дядя.

Такой убежденный пацифист мне правился. Такой сержант мне не попадался. Попадались слабаки, сломленные пыткой (у А. Фадеева, у М. Шолохова), но убежденных предателей советская литература не выпускала.

На особой теме советского «литфронта» — «великая патриотическая война 1941—1945 годов» — сидели сотни «инженеров человеческих душ», зарабатывая медали и деньги. Кремлевские читатели утвердили модели «положительных» и «отрицательных» героев, кочующих по советским романам. Писатель Иван Абрамов выбрал щекотливую тему, давно его беспокоившую, — отступление Красной Армии, где обязательно должны быть трусы и шкурники, предатели и враги, «с часу на час ждавшие прихода немцев».

«Какое ему дело до того, советская власть в Севске (сержант Мигалин из Севска) или немецкая. Лишь бы жить, есть, пить, дышать».

Оставить такого гада в живых — значит зарезать книжку. Все были за казнь Мигалина. Несчастного Мигалина убивали при мне. Его судьба решалась у лесного костра, в августе не 1941-го, а 1958-го.

Беглый сержант Красной Армии гибнет от пули положительной санитарки, открывавшей в нем врага народа. Живое лицо романа «Рубежи сорок первого» (1961) гибнет в расцвете лет.

Мой брат Шура, осудивший Мигалина на смерть, играет с дядей в шахматы. Я рисую дерево.

— А где ты был 22 июня, в грозном 1941 году? — спрашиваю писателя, между прочим.

— Там же, где Мигалин, в немецком котле! — отчеканил дядя Ваня и прикрыл разговор.

Сержант Мигалин убит, лейтенант Абрамов жив, прыгает на одной ноге и пишет военный роман.

Выходит, что окруженцу Абрамову крупно повезло.

Сталин — это победа!

Нетрудно представить, как шел лейтенант Абрамов. В украинских степях снился родной дом в густом тумане, высокое крыльцо, сгнившая лодка в камышах. Ему казалось, что жизнь продолжается с вечным урожаем малины в материнском саду приятного очертания.

Враг народа стал постоянным персонажем абрамовских романов. Причем от романа к роману он повышается в чине. В лубочном «Оборона» (1966) это старший лейтенант Павел Семенович Готов — живой персонаж с именем и отчеством.

«Хенде хох! Медленно и неохотно поднял Готов руки».

Тогда Берлин не шутил.

Военнопленный Красной Армии не прячется у бабы под юбкой, а честно служит немцам.

Исторически обреченный герой должен умереть, но писатель так запутал его преступные следы, что невозможно понять, на каком участке фронта он гибнет.

В третьем литературном опусе Ивана Абрамова «Майские ливни» (1976) дело дошло до предательства высших чинов Красной Армии.

«Генерал-от-инфантерии Травин, слышал? Он Ударной армией на Волховском фронте командовал».

Ясно, что автор целит в командарма А.А. Власова, плененного немцами в чине генерал-лейтенанта.

В этом романе полно предателей. И полковники, и лейтенанты, и сержанты.

Инакомыслящий писатель А.И. Солженицын, писавший свой капитальный труд «Архипелаг ГУЛАГ» без доступа к секретным архивам, в описании Брянской Народной республики допускает множество ошибок.

Бытовые и батальные сцены абрамовских романов подаются в примитивно-карикатурном виде, так что хочется лезть на стенку от возмущения, но такой обширной фрески предателей советская литература не выпускала. В годы, когда сочинялись романы (1960, 1966, 1975), военные архивы были скрыты от народа, но Иван Абрамов знал это дело изнутри, по личному опыту.

«Кто он, ваш Каминский? — Бывший технорук Локотского спиртзавода».

Такие подробности о кровавом вожде брянских «витязей» мог знать только сведущий человек.

«Бригада Каминского за полезные фюреру дела была удостоена высшей воинской награды — включена в фашистскую гвардию, в части охранных войск СС. Кто был осужден советской властью, тот удостоился чести быть принятым без дополнительных рекомендаций», — писал в 1967 году Дмитрий Щеглов.

«Мы живем, мы любим, и не за что нас осуждать», — заключает И. В. Абрамов.

8. Институтская общага

Москва. Городская окраина. Ростокинский проезд. Полустанок Маленковская, кратчайший путь от общаги до здания института. Туда ходил автобус, но мы предпочитали бегать пешком, мимо стадиона и гостиницы «Турист» на Мазутную улицу.

Общагу, пятиэтажное здание серого кирпича, неизвестный архитектор построил с дальним прицелом — авось пойдет под школу, авось под казарму, авось под конторы. Здание на цоколе полированного гранита, с пилястрами по фасаду, но без ваннных кабинетов и лифта, сдали ВГИКу под общежитие.

На первом этаже жили комендант и сторожика. Со второго по пятый забили студентами пяти факультетов: сценаристы, киноведы, операторы, режиссеры, актеры, художники. По обеим сторонам длинных коридоров тянулись нумерованные комнаты на три койки. С начала уче- нья люди сходились по профессии, реже землячеством ази- атов, кавказцев, иностранцев, и так держались до конца пятого курса. Опоздавшие к началу занятий теряли при- вычное место и попадали на пустующие койки к чужакам. Так, осенью 1958 года в комнату ко мне пришла пара сим- патичных киноведов, Агишев и Ворошилов, впоследствии ставшие известными людьми. Я занял светлое место у окна, намереваясь красить этюды лесных далей, не выхо- дя из комнаты. На подоконнике лежали замызганный

красками этюдник легендарного Валентина Серова — подарок скульптора И.С. Ефимова, пара альбомов и горсть простых карандашей.

— Значит, художник? Будем знакомы, — начал Андрей Агишев. Представился и я.

Мы сошлись плотнее в конце октября, потому что дня через три несчастных первокурсников повезли убирать картошку в отстающий колхоз. Ничего примечательного и яркого. Студент Андрон Кончаловский сразу заболел отравлением желудка и удрал домой. Будущих актеров Ивашева и Светличную застучали на сеновале голыми. Богатырь Юрченко подрался с руководителем отряда.

В ноябре втроем мы бегали в институт.

Меня страшно забавляло, что в курилке встречаются драматург Дубасов, режиссер Бенкендорф и актер Пушкин. Три исторических персонажа. Не знаю, каково их отношение к знаменитым однофамильцам, кажется, никакого, но смотреть без смеха я не мог и ради хохмы занимал сигареты то у одного, то у другого, пока не отказали.

Привилегия института заключалась в том, что там с утра до вечера крутили ворованные иностранные фильмы, в курилке трепались по-французски с арабами и строевым шагом, под командой генерала, бравшего Берлин, маршировали на практические занятия в киностудию.

Рисовать там не умели. Студенты декфака протирали штаны в библиотеке, копируя из журналов и книжек композиции модернистов, а, поскольку советская власть соприкасается с эпохой абсурда, то объяснить, каким образом в «идеологический» институт попадали свежие книжки швейцарского издательства «Скира», я не берусь. Скорее всего, их присылал издатель бесплатно, а руководитель факультета Федор Семенович Богородский не считал их поддельным материалом.

Нижегородец родом, друг Велимира Хлебникова и, разумеется, футурист, он вовремя спохватился, на острове Капри сошелся с Максимом Горьким и рано добился

высокого положения в советском обществе. Бывший военный летчик, цирковой артист и поэт абсурда стал видным чекистом, депутатом Моссовета, академиком живописи и председателем МОСХа. Постоянно бывал за границей, знал индийских гуру, итальянских издателей и русских неудачников, застрявших в Париже. Оттуда он привозил пестрые галстуки, дареные картинки и крепкий аромат свободы.

Злые языки болтали, что декоративный факультет с постоянной зарплатой он организовал в корыстных целях. В известном «доме Фаворского», где фрonda режиму была исторической традицией, нашего уважаемого профессора обзывали выскочкой и подлецом, конечно, не без тайной зависти. Богородский обладал вкусом к сладкой жизни и прирожденным шармом, постоянно работавшим в его пользу. Высшее, партийное начальство его обожало, жил он легко и беззаботно, и после его преждевременной кончины осенью 1959 года в архиве не нашли ни одного изображения советских вождей, что говорило в пользу его гражданского мужества, а не подлости, лести и невежества. Лично мне он ставил сплошные «пятерки», следовательно, «подлеца» я обожал — для меня он был покровитель, учитель, приятель, попросту Федя-Акробат.

Нечистоплотная личность широкого кругозора. Живое любопытство к авантюрам. Федя-Акробат верой и правдой служил господам и преуспел на этой службе.

Под счастливым покровительством Феде я пропускал скучные уроки черчения и военной подготовки.

Сразу после молодежного фестиваля 1957 года повсюду росли, как грибы после дождя джазовые клубы и квартирные салоны. Я в компании Игоря Ворошилова, отличного музыканта, не пропускал случая, чтоб не пробраться на «джем-сейшн» и послушать молодых музыкантов. На одном сборище в клубе Красной Пресни меня познакомили с юным, но чрезвычайно развитым трубачом Андреем Товмасыном, на долгие годы ставшим моим другом. Он не

только прекрасно дул в трубу, но сочинял стихи и не пропускал картинных выставок, качества редкие для лабуха.

Очень живой человек, собиравший картинки своих современников, был Сашка Васильев, сын знаменитого режиссера Георгия Васильева, автора хрестоматийного «Чапаева», и, естественно, студент ВГИКа.

Я с ним сошелся.

На «маяке» стихи читали самоучки, не попавшие в сборник советских поэтов. Пойти вечерком на «маяк» значило послушать поэтический бред, потрепаться со старыми знакомыми, познакомиться с интересными людьми. Мне запомнился здоровенный, бородатый мужик по фамилии Аполлон Шухт. Он читал стихи, тут же ругался с зеваками и бросался врукопашную, если кто задевал за живое. Группа шизофреников на все лады восхваляла югославский рабочий контроль. Рыжий дядька с высоким орденом на военной шинели, сверкая блеклыми зенками, выкрикивал:

— Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.

Толпа завывала от восхищения.

— Кто это? — спросил я у Сашки.

— Борис Абрамыч Слуцкий, — вдруг ответила мне на ухо хорошо одетая женщина, — гениальный поэт!

— Нет, мадам, — нагло ворвался Сашка, — гениальный Игорь Холин, а Слуцкий всего лишь известный.

«Тихо, тихо спит барак. Лишь будильник: так-тик-так. Лишь жена храпит во сне, спать она мешает мне!»

Интеллигенты переглянулись.

Ну, если вы гений, то приходите в гости. Вот мой телефон.

Представились: Руг Григорьевна и Сергей Иосифович Малец. Служащие.

* * *

Меня всегда поражало дремучее невежество художников, а советских особенно. Десять лет они изучали мастер-

ство и ремесло, проходили обязательные общеобразовательные дисциплины с тригонометрией и иностранными языками, но оставались тупыми и малограмотными пьянчугами. Такие выводы алкашей плодились год от году все больше, наводняя «союзы» и «колхозы» огромной страны и превращая искусство в жалкое и гнилое изделие на потребу блатного режима.

Юродство — национальная гордыня!

Чем больше художник пил водки, закусывая рукавом, чем больше мычал и плевался, тем больше ценили его артистический дар.

Особой темнотой отличались абитуриенты и выпускники «Сурика» — академии художеств, куда попасть было не так просто даже по блату. Туда брали отборных носорогов «репинского мазка». Студенты «Сурика», актеры «Щепкина» и «Гнесина» ютились в бараках Трифоновки, за Рижским вокзалом. Там можно было узнать сплетни сразу трех институтов и заодно подработать на разгрузке вагонов с овощами, стоявших за бараками. Я не раз там потел, получая сразу наличными.

Выпускники «Сурика» получали отдельные кривобокие комнаты, где созидали «дипломные картины». Самым тупым доверяли изображение вождей, главным образом Ленина во всех ипостасях: Ленин — студент, адвокат, эмигрант, кочегар, охотник, трибун, полководец, отдыхающий. Полотно размером два на полтора стояло в углу в легком, угольном наброске, а вокруг веером пестрели этюды и рисунки с натуры, так называемый подготовительный материал. Художник непрерывно смолил вонючие сигареты, бросая окурки в дырявый пол, пытался на пальцах объяснить содержание сюжета, но главным образом с утра до вечера пил водку с кильками и гонялся за актрисами.

Сашка Васильев жил на Солянке (угол Большой Синагоги) в чудной библиотеке на четыре стены. Под солидным стеклом книжных шкафов, среди аккуратных рядков стояла вся литература, исчезнувшая из официального по-

требления. Редкие книжки футуристов, много Волошина, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, рукодельные тетрадки «заумника» Алексея Крученых.

Сашка жил и спал на книгах.

Квартира книжника располагалась в двухэтажном, каменном доме безликой, старинной стройки. Туда вела гнилая, деревянная лестница и покатый коридор, покрытый дешевым линолеумом. Его мать, известная актриса немого кино, изредка выходила из своего затворничества в засаленном, пестром халате.

Высокое положение «народного артиста», автора всемирно-известного фильма, отсутствие соседей спасало библиотеку от непрошенных осмотров и доносов в «органы». В июне 1945 года знаменитый киношник погиб в авиационной катастрофе 55 лет, но семью не тронули.

У Васильевых квартировал «князек» Андрей Волконский, парижский репатриант, не имевший в Москве жилья. Тощий и сутулый очкарик закончил московскую консерваторию и давал концерты старинной музыки, играя на клавесине. К нему приходила в гости дочка писателя К.Г. Паустовского — отличная перспектива перебраться в дом «сталинской архитектуры». Вскоре они поженились, и «князек» переехал в высотный дом на Котельники.

У Сашки был домашний бизнес. На отцовском «Ундервуде», на три-четыре кофирки, он выбивал стихи неизвестных или запрещенных поэтов и продавал любителям поэтической новизны за доступные гроши.

«Все на борьбу с темнотой!»

В углу, в загилок друг другу, стояли иконы. «Доски для обмена» по квалификации Сашки.

Однажды в воскресенье он сказал нам (гостили Игорь Ворошилов и я):

— Сегодня я покажу вам гения!

Мы подошли к огромному, доходному дому, и сразу за аркой открылась деревня под снегом. Во дворе стоял черный, деревянный барак с кривыми окнами. На кухне с

горбатым полом сидел головастый малый с жестким чубом и красил гуашью бумагу.

— Саш, подари мне стол, — так он нас встретил, — знаешь, я люблю столы, много столов, как в столовой. Такая поразительная перспектива столов. Белые столы на черном фоне. Ночной цвет. Ты знаешь, маленьким я был в ночном, в Балашихе. Горит костер, мотыльки, горячая картошка. Ты любишь горячую картошку? Слушай, давай сварим горячей картошки в тулупах, чтоб повесить тулуп на гвоздь.

Владимир Игоревич Яковлев, «старик, ты — гений!»
Первый из первых!

Он рисовал энергичными мазками, не прибегая к дробной технике. На первый взгляд, гуаши Яковлева казались топорными, но чем больше вглядывался в них, тем глубже затягивало очарование. Смелый рисунок, решительная хватка. Московский гений с маху, в один присест, выдавал «цветок в стакане». Не пустой, легкомысленный букет, а вещь, написанная обнаженным сердцем.

Гойя, Ван Гог, Врубель, Яковлев — творцы одной породы человеческого страдания.

Ромашка в стакане, как приговоренный к казни.

Я благодарен судьбе и Сашке Васильеву за то, что они свели меня с художником, приговоренным к мучительным пыткам жизни.

Бывал я и в «доме Фаворского». Обращение матевого гравера к пушкинским трагедиям меня не удивило. Текст выбирал сам художник за много лет гравирования, он был уже безнадежно болен, штихель не слушался, но лучшее в этой серии «Пир во время чумы» — страничный разворот с изображением пирующих молодых людей прямо посреди городской площади — мне очень нравился. Фаворский посадил за стол всех обитателей дома, а чумной Вальгам был не кто иной, как Иван Бруни, постоянный председатель застолий на Перовом Поле.

После смерти горячо любимой жены, художницы и матери троих детей, двое из которых погибли на войне, Фавор-

ский замкнулся и затих. Общение с ним устраивали заранее и только официальным лицам, издателям, иностранным галерейщикам. У постели угасавшего академика постоянно дежурила Ирка Коровай, с записной книжкой, ловившая каждый вздох духовного вождя русского искусства.

9. Сто первый километр

Лет десять подряд Федя-Акробат возил студентов декфака на пленэрную практику в Тарусу — сто километров от Москвы, — где он снимал полдачи с мезонином.

В июне 1959 года, после трех часов ходу под дождем, старый речной катер ткнулся носом в сушу, и профессор Богородский объявил ученикам:

— Город Таруса — русский Барбизон!

Туман постепенно спадал, обнажая убогий пейзаж. Появился искалеченный дебаркадер. На мокром пароме валялся пьяница. В сырой траве квакали лягушки. В грязи застряла телега с сеном. Бородатая коза жевала тряпку. С гнилой лодки какой-то шизофреник в очках пытался поймать пескаря.

И это знаменитый Барбизон?

Юные художники бросили на голый берег мольберты и заскулили, проклиная грязь, дождь и советскую власть.

Вечером профессор пригласил к себе избранных студентов курса для собеседования.

— Повторяю, — встретил он нас в белых, теннисных брюках и соломенной шляпе, — несмотря на отсутствие архитектурных шедевров, Таруса — артистический Барбизон. Турист, рабатованный африканской экзотикой, не найдет здесь пышной растительности с пестрым, пернатым царством. В этом скромном уголке русской природы скрыты очень сложные художественные задачи, решать которые нам, реалистам, необходимо.

Педагог упомянул о прошлом тарусского края, украшая панегирик знаменитостями науки, культуры, литера-

туры, облюбовавшими этот безликий косогор над Окой для плодотворной работы.

— Завтра после полудня нас ждет Константин Георгиевич Паустовский, а послезавтра Василий Алексеевич Ваггин, — закончил встречу Федя-Акробат.

Никто из нас не читал известного писателя, включая вгиковского энциклопедиста Каневского, сочинявшего «в стол» короткие эротические были.

Паустовский был «оракулом» советского романтизма и главой прогрессивной партии. Экскурсии к романтику и прогрессисту считались обязательными для читающего человечества. Чувствительные дамы из средних школ, где он считался несокрушимым кумиром, сочли бы вас неотесанным полсном за плохое к нему отношение.

Не для печати, а для «своих» сообщалось, что Паустовский — прямой потомок Гетмана Сагайдачного и автор бессмертной фразы: «каждому просвещенному человеку, не лишенному воображения, жизнь готовит встречу с Парижем».

Сорок лет подряд романтик из казаков, сочинял чувствительную прозу о русской природе, умудрялся получать Сталинские премии и жить не в лагере за колючей проволокой, а в небоскребе с неприступным, гранитным подъездом. Как наш Федя-Акробат, один сезон он проводил за границей, а другой в гуще народа.

Паустовский лет сорок писал романы и рассказы и вел там разговор на высокой ноте о чудесах русского леса, о героизме простых советских тружеников, принимая не только сердца сельских учителей, но и просвещенного читателя Запада, отсыпавшего ему валютные гонорары. Тарусские дачники всех классов и прослоек, наевшись в столовой творожников, в один голос восклицали: «Товарищ, смотрите, идет Константин Георгиевич, такой обыкновенный, такой душевный мудрец, в китайских штанах и с веслом на плече».

Читатели, склонные к фрейдизму, находили в его сочинениях глубокие эротические корни, на главной площади Тарусы, у статуи облезлого горниста, где неминуемо пересекались потоки анонимных дачников и знаменитостей — кто за хлебом, кто на пляж, — постоянно дежурили приезжавшие издалека поклонницы писателя.

Искусствовед Соня Кузьминская, ответственная за постоянное обновление гарема романтика, придирчиво сортировала припадочных поклонниц.

— Ой, Соня, я не могу! — стонала приезжая дура с могучим корпусом. — Смотри, какой он хороший — рубашка навывпуск, весло на плече! Отдамся или зарежусь!

— Не реви белугой, — одергивала ее Соня, — к вечеру все устрою.

Для любовных встреч «оракул» выстроил легкомысленную беседку на берегу канавы с лягушками. («Обобрали, сволочи, стала дороже дома!» — ворчала вечно хворавшая супруга писателя.) Там он сочинял рассказы, там же убажрал избранных на горбатой, замызганной лежанке.

Менее удачливые поклонницы оставляли в глубоких щелях городского монумента записки с устрашающим содержанием угопиться в речке или стореть. Милиция не раз пыталась пресечь нелегальную переписку, но дело кончилось лишь изгнанием Сони Кузьминской за профессиональную непригодность, и появлением нового, более придирчивого антрепренера Ирины Васич, составившей письменный протокол, перед тем как бросить жертву на знаменитую лежанку.

Назавтра нас встретил подслеповатый, пожилой и медлительный мужчина, похожий на рядового труженика районной сберкассы. Он шел нам навстречу от беседки с дамкой, унакованной в голубые джинсы.

— А вот и Лидия Николаевна Дилекторская, наш гость из Парижа.

Наш сокурсник Коля Двигубский, казавшийся угрюмым эгоистом, вдруг расцвел и как пулемет застрекотал по-французски.

Оказалось, что эта женщина в джинсах — подруга самого Анри Матисса, лет двадцать резавшая разноцветную бумагу для коллажей угасающего гения.

После беглого осмотра грядки с тощей морковкой, начался разговор о навозных червях, немедленно подхваченный Вовой Каневским, знавшим обо всем понемногу, от куплета Пастернака до цен на американские джинсы.

Паустовский толково и любовно говорил об искусстве, но его передовые вкусы ограничивались дозволенным материалом. Кого удивишь, если у тебя висит на стенке этюд Левитана или Ромадина, или литография Матисса? Признать и принять крамольников искусства — Кандинского, Малевича, Филонова он никогда не решался, хотя отлично знал об их существовании.

Что заставляло приезжую француженку раздавать советским музеям дорогостоящие рисунки Матисса, до сих пор остается эзотерической загадкой.

Городок действительно обошла цивилизация.

Над ним не кружил дым заводов и паровозов. В речке купались самые привередливые дачники. В густом полесье собирали крупные боровики. Умогилы утонувшего в 35 лет живописца В.Э. Борисова-Мусатова прятались влюбленные парочки. В погожие дни народ жарился на песчаном пляже. По вечерам молодежь танцевала на брошенной даче профессора И.В. Цветаева, где в свое время танцевал весь «серебряный век» России.

...Скамья пианиста Вульфа... тропинка Поленова... пихта Ракицкого... башня Рихтера... мельница Крымова... омут Паустовского... козел Ватагина...

Наш педагог был прав. Кривые заборы и пыльные кусты, наполненные таинственным содержанием, не так просто было раскрыть неопытному живописцу.

Однажды ярким солнечным утром, отправляясь на этюды, мы обнаружили потрясающую сцену. На дне глубокого оврага, под большим, солнцезащитным зонтом сидел наш Федя-Акробат и жег спички, определяя тональ-

ность природы, погруженной в мутное, меланхолическое марево. О странном методе работы мы допросили педагога.

— Создатель новой живописной концепции Николай Петрович Крымов всегда делал так, — решительно и надменно ответил он.

Возможно, у способного живописца Крымова, вопреки придуманной им схемы видения, получались замечательные картины, но изображения его прилежных эпигонов — Гиневского, Левика, Богородского, сжигавшие кучи спичек по холмам и оврагам, походили на испачканные тряпки, без всякого намека на изящное искусство.

Культоход к Ватагину считался необязательным, и вызвалось трое — Игорь Вулох, Володя Каневский и я, не считая нашего профессора.

Скульптор Ватагин был признанным вождем консервативной партии. С 1902 года жил в оригинальном доме, построенном в стиле древнерусского терема. Происходил он из известной фамилии графов Шереметевых и разбойничий псевдоним усвоил в разгаре Гражданской войны, быстро сообразив, кто побеждает в России. Он много повидал в кругосветных путешествиях, научился рисовать и лепить диковинных животных, а в советское время стал основоположником безопасного, и очень доходного, анималистического жанра. Заполнив общественные места страны неисчислимыми быками, оленями, конями, он жил настоящим феодалом, принимая не всех желающих, а отборное начальство: министров, академиков, генералов. Засыпанный почестями, рабской лестью, подарками, тирусский барин дико ненавидел «левое искусство», а писателя Паустовского считал не потомком гетмана, а одесским босяком, покровителем шайки проходимцев и врагов народа.

Появление в городке Крымова, Заболоцкого, Ариадны Эфрон, Аркадия Штейнберга, Николая Оттена-Поташинского он принимал за личное оскорбление, и всячески измывался, гнул и сек.

Благодаря энергичному вмешательству «одесского босяка», в несчастной Тарусе появилось электричество, что мракобес считал форменной контрреволюцией. «Вон, — не раз размышлял он вслух, — царство ему небесное, Лев Николаич Толстой сочинял при свечах и стал зеркалом русской революции, а приبلудный босяк провел электричество, а пишет неразборчиво!»

За расписной калиткой, опершись на статую рогатого козла, в дорогой монгольской камилавке, придававшей ему вид далекого предка Чингисхана, покорившего мир, стоял Василий Ватагин.

— Федя! — вдруг резанул ухо необычный, фамильярный басок командира. — Ты ренегат! Связаться с дураком Крымовым, это же надо! Раньше ты рисовал занятных морячков, а теперь портишь драгоценные спички! Федя, пощади невинную молодежь!

Пока владыка бушевал и распекал, Федя-Акробат, почтительно склонив седые кудри, рассматривал козла на кирпичном постаменте.

Загнав нас на задний двор, Ватагин плюхнулся на резной трон, продолжая внушать.

— Французы давно разучились рисовать, — порол он попавшего на глаза Вулоха, — свою беспомощность они прячут за беспредметную мазню, как этот проходимец Пикассо. А ты, — уставился он на меня, стоявшего по стойке смирно, — небось, подражаешь жулику Матиссу? Там нет ничего святого, одна вселенская бесовщина. Великую школу ортодоксального реализма сохранили мы, русские художники!

Не успел Володя Каневский протянуть руку к блюду с вишнями, как узловатый палец ткнул ему в грудь.

— А вот что ты читаешь, молодой человек?

«Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех / Позорно, ничего не значит, быть притчей на устах у всех», — выдал он стихи Пастернака, проглотив вишню с косточкой.

— Я так и знал! Узнаю врага народа! — самодовольно поглаживая бороду, начал Ватагин. — Да как ты посмел, шелудивый шенок, в моем присутствии читать стихи литературного белогвардейца! Таких гадов надо сажать в тюрьму, а не высылать за границу! Пошли все вон, вы мне надоели!

Будет заблуждением считать, что партийная вражда носила строго организованный характер. Местные интеллигенты, внештатные сотрудники газеты «Авангард», пастух Иван Бобров, счетовод Гастунский и отставной актер Прохор Аксенов, охотно разносившие добытую информацию из одного клана в другой, успевая выпить у Паустовского, а закусить у Ватагина, давно дежурили у калитки. Спешно покидая суровый двор тарусского мракобеса, мы видели, как трое разносчиков заразы бесшумно шмыгнули на кухню Ватагина, озираясь на приезжих студентов.

Однажды, уже в июле, Вулох, Каневский и я спустились к пристани рисовать лодку с Паустовским на корме. Сзади подкрался чернявый крепыш в болотных сапогах и задел славу французских художников, с чего мы заключили, что за нами незнакомый деятель искусства. Разговорились. Москвич, но живет в Тарусе, поближе к ссыльному отцу. Успел жениться и развестись. Кормится службой истопника и давно рисует.

Вечером, с бутылкой перцовки, мы осмотрели творчество симпатичного истопника. Он снимал у древней старухи конуру два на полтора и упорно писал красками трогательную сценку с темным двором и женщиной, закутанной в черный платок. Живопись в духе «малых голландцев», сказал бы грамотный критик, ничего от современной, декоративной манеры, которой мы все тогда увлекались.

Изда родителей Эдуарда Штейнберга, живших неподалеку, была гораздо шире, с резным крыльцом и заросшим бурьяном садом. Внутри в живописном беспорядке висели рыболовные снасти, китайские свитки, старинные

рамы с лопнувшей позолотой, большое полотно с изображением голой женщины с готическим фонарем в руках, автором которой оказался Борис Свешников, приятель хозяев. Шкафы были забиты книгами. В углу расстроенная фисгармония. На столе возвышался древний «Ундервуд» с листком недописанной поэмы: «И в чащобах, ощерившись, слушают волки аккуратное шелканье тульской двустволки...» Рядом фотография Ивана Бунина, старика с бритыми щеками и неожиданно толстым носом.

— Мой отец поэт и переводчик! — лукаво ухмыляясь, сказал Эдик.

На веранде опрокинулся стул и в комнату вихрем, загоня облако табачного дыма, влетел выразительный мужчина с зычным голосом.

— Я вас приветствую со страшной силой!

Аркадий Акимович Штейнберг, а для близких «Акимыч», родился не в кособоком еврейском местечке, а в Большой Одессе, в каменных хоробах с подъездом в ливрее. Его дед был известный банкир, с Поляковым и Бродским на «ты». Ребенок рос под присмотром французских бонн, с оглядкой на просвещенные страны Европы. Квартиру украшали хрустальные люстры, японские вазы, персидские ковры и фламандские картины. Его малохольный папа предпочитал делать революцию вместо денег. С дипломом венской академии медицины он лечил «красного генерала» Троцкого до его изгнания в 1928 году и закончил карьеру орденоносным директором санатория. Акимыч занимался рисованием в московском ВХУТЕМАСе, где футурист Таубер учил составлять ненужные пролетариату «абстракции», потом увлекся поэзией философского направления, давно вышедшей из моды. В кружке состояли Георгий Шенгелия, Арсений Тарковский, Семен Липкин, Леонид Мартынов. Акимыч стал духовным средоточием кружка, за что поплатился первой тюрьмой.

Еще мальчишкой, усвоив главные европейские языки, он легко овладел и эзотерическими — якутским, молдав-

ским, македонским, ставшими его постоянной переводной кормушкой.

Два лагерных срока, с перерывом на войну, на целых десять лет разрыв с семьей, Москвой, друзьями, не сломали оптимизма Акимыча. На бесчисленных пересылках и лагерях он обрел новый круг знакомств, повязанный небывалыми испытаниями.

В суровом 1948 году, в лагере под Ветлояном, он пламенно балагурил:

«Я вернусь молодым чудодеем, не сегодня, так завтрашним днем./Пусть однажды мы дело затеем, десять раз, если надо, начнем».

В декабре 1954-го в Тарусе появилось еще три зека.

Борис Петрович Свешников еще в лагерях под влиянием Акимыча создал поразительный по тонкости мир человеческих блужданий в безмянном аду. Молчаливый мастер с пронзительным, стальным взглядом отлично знал искусство, но намеренно шел против суетливых и быстротечных направлений, подкармливая персональные опыты иллюстративной работой высокого качества.

В гостеприимный дом «молодого чудодея» приходил и краснойб Лева Кропивницкий, подельник Б.П. Свешникова по «дворянскому кружку», стоившему им по десяти лет лагерей. Поглаживая крутой, наголо бритый затылок, он распускал свое богатое воображение, о чем бы ни заходила речь, о творчестве Пикассо или кладке русских печей, мощи итальянского кино и теории относительности. Меня совершенно сбивало с толку — каким образом ссыльный зек без московской прописки мог выставлять свои личные абстракции в Сан-Франциско!

Верный ученик Акимыча, зек Толя Коновалов, приносил к ужину не только свежих судаков, но и воздушные лирические акварельки.

Акимыч жил открыто и в долг.

К нему тянулись обездоленные мечтатели, страстные рыболовы, начинающие литераторы и растленная богема.

Летом 1959 года в его доме постоянно вертелось человек тридцать, основательно двинутых друзей вперемежку с местными чудаками, вроде Боброва, Гастунского и Аксенова.

Литературные снобы считают, что «чудодей» превосходит все начинал и ничего не доводил до конца. Одаренный, подобно героям Ренессанса, во всех областях человеческого творчества, Акимыч, очевидно, допускал промахи в стихосложении и переводах, в живописи и скульптуре, а современность требовала совершенства в одной, избранной дисциплине.

Нам, дурно просвещенным идиотам советских вузов, казалось, что сущность искусства заложена в легкой, декоративной работе, смысл жизни — в переливании из пустого в порожнее, а храбрость — в молодецкой возне с девками. Такой расклад жизни казался более соблазнительным и доступным, чем высшее знание зеков, находивших авангард в библейских глубинах.

Лето на сто первом километре превратилось в сплошной праздник.

У тарусян постоянно пропадали гуси. То утащит голодный турист, то заклюет коршун, то растерзают бродячие собаки. В то лето пропадали самые жирные, и тарусяне заметно взволновались. Консерваторы распустили слух, что гусей съедают голодные прогрессисты. Какой-то добровольный сыщик открыл гусиные потроха на помойке младшего сына Акимыча, безработного силача Боруха, гнувшего монеты, как бумагу.

Уголовные события развивались стремительно и драматически.

Глухой ночью, по дороге с танцевального вечера, на Боруха скопом напали разбойники, разбили очки и камнем стукнули по голове.

Отчаянного волокиту Игоря Вулоха ревнивые лесорубы избили на пляже и бросили в речку.

Хилому Каневскому бродячие богатыри сломали отцовский мольберт и отобрали болгарские сигареты.

Мне разорвали единственную рубашку и выбили зуб.

Рисовать в «русском Барбизоне» стало небезопасно.

Воевать с богатырями из леспромхоза мы не умели и позорно бежали в Москву, сославшись на проливные дожди и предстоящие хлопоты.

Американская национальная выставка с невиданной «кока-колой», вызывавшей не меньший восторг, чем геодезический купол Билла Фуллера и кляксы Джексона Поллока, собрала нас вместе. Лев Кропивницкий ходил туда, как на работу, с раннего утра до позднего вечера. Студент Лев Нуссберг прыгал через высокий забор, пока не попался в лапы милиции. Там мы познакомились с сибирским модернистом Эдуардом Зелениным, ночевавшим под мостом. Он продавал иностранцам свои произведения и давал интервью в американские журналы. На выставку пришли голодные и гордые Мишка Гробман, Володя Пятницкий, Эдик Курочкин, Димка Плавинский, Андрей Бабиченко, искавшие общения и дружбы.

Праздник крамольной богемы продолжался.

10. Киношники и двурушники

— Говоришь, опоздал по уважительной причине, — сказал комендант общаги, лысый дядька, выдававший подушки и ключи, — иди на пятый этаж, комната 325.

Засаленный фанерный шкаф перегораживал комнату пополам. В темной половине стоял квадратный стол с облезлым алюминиевым чайником посередине. Справа стояла койка со свернутым матрасом, очевидно, предназначенная мне. Я ее и стенку сразу присвоил, прилепив пару картинок. Светлая половина у окна была занята фанерным чемоданом и аккуратно прибранной койкой. На тумбочке возвышался мощный будильник, гроза всех студентов. В шкафу с тараканами я обнаружил давно не мытую кастрюлю, разыскал кухню на этаже и сварил картошку в тулупах. До этого мне попалась килька в натуральном соку и хлеб.

Поздно вечером дверь скрипнула и ввалился сожитель, парень лет тридцати, судя по повадкам, выпускник.

Прорезиненный синий плащ, яловые сапоги и полувоенный картуз. Плоский и жилистый. Цепкое, скрытое недоверие в глубоко сидящих глазах желтой расы.

Колоритный силуэт на фоне столицы.

Ряженный, актер со съемочной площадки?

— А, сосед, художник, привет, привет, — начал знакомство ряженный, лихо сдергивая сапоги. Вместо портянок он оказался в теплых носках, а натянув шлепанцы, выглядел очень комично, Чапаев на отдыхе, что ли? Он затянул дешевую папиросу, завалился в свой угол и, покашливая, прибавил: — Декадент, вижу.

— Откуда вы знаете, что я декадент?

— Я не слепой, вижу. Этюдник в углу, черная мазня на стене. Я с актерского, Василий Шукшин, а вы кто?

Опасаясь подвоха начинающего артиста коммунизма, а возможно, и комсорга сибирского колхоза, я молча доел картошку с килькой, запил жидким чаем и завалился читать роман Эрнеста Хемингуэя. Книжка Хэма в яркой обложке Юрия Боярского — черное с ослепительным росчерком красного по бокам — шла по рукам с большим успехом. Это был первый перевод американского «при Нобель» за 1954 год.

Стилист, авантюрист, личность!

— Ну, точно, и декадент, и читает американских писателей!

Рано утром актер в сапогах исчез с подручным оператором Толей Заболоцким, много лет спустя провожавшим меня в Париж. На его подушке я заметил красное пятно, не то чахотки, не то язвы.

Кто он — полублатной, полуколхозник?

Васю я сразу узнал по фильму «Два Федора», где он играл отставного солдата, но меня поразило, что гимнастерка, сапоги и офицерский, широкий ремень были не театральным реквизитом, а его естественным видом в

толпе вгиковских модников. Я сразу представил Васю, сидящего рядом с Андреем Тарковским, шеголявшим в шведских свитерах и американских джинсах. Контрастная картинка.

На ночь глядя он ел консервы, тресковую печень с черным хлебом. Эти банки продавались в ларьке на полустанке Маленковская. Ел с аппетитом и мякишем вылизывал жир по стенкам консервной банки.

— Вася, — как-то говорю ему, — сварил бы горячей каши, что ты травишь желудок сухомяткой?

— Для нас, колхозников, консерва — мечта, символ городской цивилизации, Днепрогэс, реактивный самолет, а кулеша я наелся в деревне, надолго хватит!

Сельский экстремист?

Думаю, что я первый читатель Шукшина.

Я исключаю редактора Киндера, читавшего его были по долгу службы от корки до корки, но первым читателем из народа был я, это точно.

По ночам, выкуривая по пачке дешевого «Прибоя», он что-то лихорадочно записывал в тетрадку, с яростью рвал листы и бросал под стол. Я подобрал комок и с любопытством прочитал: «под ногами чавкало», «она девка шустрая», «нальем по стакану», «худо было на душе», «явление открыто недавно», «день был славнецкий», «отойди оттудова», и так без конца.

Такой прозы я не принимал. В путеводителе по загадочным душам сибирских колхозников я не нуждался.

Не пизофреник, а ломится.

— Я бы этого гада Киндера в сортир опустил на шелковом галстуке, — шинел недовольный Вася, — сволочь, ему не хватает социального охвата!

Он бил и терзал мучителей московских редакций и опять настырно бежал туда в метель и дождь.

Неугомонный и вспылчивый, сибиряк ломился во все двери — «где-то да откроют, гады!».

Моему дяде Ивану Абрамову, по ночам писавшему о «рекордах пятитонного молота», двери открыл Воениздат. Окрыленный успехом, он настроил десяток фальшивых романов о «Великой Отечественной войне». Шукшин ждал своего часа.

Капитальная проблема простого советского гражданина — «прописка» и «жилплощадь» — не на шутку мучила дипломника. Несмотря на показуху сибирского патриотизма к алтайским хибарам колхозной мудрости, Шукшин во что бы то ни стало страстно желал захватить большую Москву, не ломая мерзких стен и дворцов.

Иногда к нему, едва держась на ногах, поднималась калужская актриса Тамара Семина, рано спившийся гений советского экрана. Я деликатно смывался к друзьям слушать музыку или курить гашиш у кавказцев, живущих своими, живописными кучками.

С серьезным перекосом в мозгах, Вася Шукшин люто ненавидел Москву и москвичей, как степной кочевник каменные твердыни. Ему хотелось сровнять стены с землей и устроить полевой стан кочующих доярок и трактористов.

А жениться ему пришлось на москвичке, кажется, по любви.

Всероссийское соревнование за высокий урожай.

Купаясь в музыкальной прозе И.А. Бунина, — «в гостиной сдавали на трех зеленых столах, за высокими канделябрами, в блеске свечей» или «теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре», — я не ценил сельскую балетристику Васи Шукшина.

И тот и другой писали о деревне, но у Шукшина проза не читается, это несъедобное слово и ложный идеал.

У меня было впечатление, что мой сосед ничего не читал из русской классики, ну, может быть, из четвертого класса помнил стихи воронежского мещанина Алексея Кольцова «Раззудись, плечо, размахнись, рука!», да и то сомнительно.

Потом рассказчик Шукшин постоянно прячет свое «я» за своих героев, как бы И.С. Тургенев спрятался за спину охотника Ермолая.

Издательскую блокаду Вася прорвал. Уже при мне его рассказ напечатал журнал большого тиража.

* * *

«Все дело в Мильмане!»

Мой брат Шура — блондин рыжего оттенка. Поросычьи ресницы. Глаза цвета летнего дождика. Теплая голубизна без зла. Джек Лондон брянского разлива.

Дедовская савраска сильно брыкалась. В 1938-м она обиделась и стукнула Шуру копытом в грудь. С тех пор он бился кашлем неизвестного происхождения. Савраска задела легкое отрока.

Профессия — столяр высшего разряда. Десятник. Авторитет. В лагерях и на целине ставил крыши для комсомола Страны Советов. Школа рабочей молодежи.

Его музыкальные инструменты: балалайка, мандолина, баян, пианино. Руководитель оркестра — «француз» Бию, инженер, трубач. На высший диплом Шура не собирался, и некогда, и семья, и другие заботы.

Начальник строительной бригады, гуманист Яков Михалыч Мильман брата ценил и выдал ему семейный вагон для жилья.

Суровый, цыганский быт на рельсах. Лучшие люди страны, главный инженер Аркадий Лапыгин, инженер Альбер Бию, техник Адольф Карасев.

Строительная бригада Мильмана откочевала к Москве. Дальше полустанка Переделкино их не пустили. Загнали на запасный путь. Я бывал в вагоне брата.

Упорный и задумчивый золотоискатель. Белый Клык. Железная Пята. Всегда на цырлах. Легкая хохма его не трогала.

Я решил усадить их за один общий стол, брата и Шукшина.

9 Мая, в День Победы, в общагу пришел мой брат Шура. Явился с выпивкой и закуской, как положено. Поднимаясь на пятый этаж, я шепнул ему, что вокруг полно иностранцев богатого урожая, а мой сожитель по комнате — мужик из Сибири.

Я подумал, а вдруг сойдутся не разлей водой — дети войны, сироты. Шукшин играл на гармошке, Шура уважал кинематограф.

На какой пересылке Шура свихнулся — не знаю, но он не читал, а поедал книжки одну за другой. Если он читал Виктора Гюго, то все, что перевели, от первой книжки до последней. С крупными прорехами в общем образовании тригонометрии — перерыв на войну с немцами и советская тюрьма на семь лет — и порядочным бзиком в характере. Например, он не читал романы русских авторов, я хочу уточнить — не только советских ударников Семена Бабаевского и Виталия Закруткина, но и классиков прошлого. Из иностранных наречий Шура знал кое-что из «хальт» и «хенде хох».

...Оноре де Бальзак, Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Дос Пассос, Эмиль Золя, Теодор Драйзер, Джон Стейнбек, Ярослав Гашек, Шервуд Андерсен, Джек Лондон, я не говорю о Вашингтоне Ирвинге с его «всемогущим долларом», которого читали по рекомендации педагогов.

Шизофрения особого полета!

Где профессор Даниил Луцц, главный психиатр страны?

Многоуважаемый Даниил Романович, почему советский рабочий читает Дос Пассоса, а не Семена Бабаевского?

Детство в жопе играет, сказал бы доктор Зигмунд Фрейд. «Встреча на Эльбе?» — Не знаю.

Мой сосед Шукшин сразу смекнул, что предстоит нешуточный разговор с народом. Сначала мы расселись. Я молча открыл бутылку и разлил по граненым стаканам. Как и предполагалось, начал Вася Шукшин:

— Ну, как там у вас, волки водятся?

Брат чокнулся, выпил, но хохму районного комсомола пропустил мимо ушей. Он ждал красивый рассказ о кино,

а Шукшин добывал свое. В его пустующем резерве было любопытство к «оккупационной зоне» и подвигам брянских партизан. Вася с карандашом в руке читал «Молодую гвардию» А. Фадеева, но войну не нюхал и проходил по книжкам. Здесь Шура был для него чудесной находкой.

Он никогда не встречал людей «из-под немца».

Волокита партизанской войны и Брянская республика его совершенно расстроили. Сибиряк поджал хвост, присмилел и еще выпил стакан водки.

— Ну, братцы, вы даете! — было его заключение.

«Я, Олег Кошевой, торжественно клянусь», «злодеяния фашистских зверей» («Молодая гвардия»), и вдруг свидетельский рассказ иного склада.

Брат научился теряться в толпе. Жизнь обучила. Одет как все, двубортный, бостоновый костюм. Темно-синий, конечно. Воротник рубашки навывпуск. Кепка. Рабочий парень гуляет Праздник Победы. Шура хотел знать всю подноготную о том, «как делать кино», а компетентный собутыльник качал права неинтересного прошлого.

Тогда я полез спасать встречу:

— Шура, расскажи Васе, как дядя Степа к немцам попал.

Наш дядя Степа, самый старший из Воробьевых, возглавлял танковый батальон под Ржевом и отбил сильную атаку немцев. Его наградили высшим орденом Красного Знамени, а через месяц он отбиться не смог и с орденом попал в плен.

— Как же так, — чесал затылок сибиряк, — герой, а в плен сдался?

На такой дурацкий вопрос ответа не имелось. Мы тоже считали, что настоящие герои не сдаются, ведь с давних пор нам вдолбили бетонный аэродром, где герои всегда приземляются в суровый климат, потом эти стройки века, — посмотрите на карту нашей родины и увидите, вплотную подойдя к берегу, что реки выбегают из-под льдов во влажных уголках страны. А выходит на поверку, что такие герои сдаются, да еще как!

Итак, танковый герой войны сдался в плен и пропал для человечества.

От героев незаконной войны перешли к волкам, где Шукшин знал толк. Его рассказ заинтересовал брата.

Брат, не хохмач отроду, задумался о голубых волках Сибири, возможно, вспомнил волка из басни Ивана Крылова, возможно, вспомнил волков Аляски, где проезжал Джек Лондон, а не он.

Там, где начинался «дикий Запад», особенно Аляска, Шура был непобедим. Ведь он знал все притоки Юкона и все салуны форта Фербенкс поименно, — как Вася колхоз на Алтае.

Туда Шукшин не совался. После партии в шахматы, где Шукшин имел бледный вид с пониженной нормой питания, брат не вынес победы и сказал:

— Слушай, сибиряк, расскажи про кино!

Сибиряк малограмотный в военном деле, тут и дураку видно, вспыхнул и загорелся, и тут же угас, не раздуть.

Мы молча выпили и сползли к людям, лишенным праздника.

Брат любил путевой рассказ на страшилку, и пьяный Шукшин это уловил фуражкой защитного цвета, хотя сибирское наречие колхозного языка далеко от языка золотых приисков, но брат повеселел.

— Где экзотика, лагерь глазами мужика? — спросил Вася.

— А кому это надо?

— А как же Марк Бернес и Крючков?

Опять классовая борьба и сверхурочная работа, мазут и уголь на фоне русской зимы. «Дело Румянцева» все видели, преступления Сталина давно прошли.

— Истина в деревне! — хмелея раньше времени, сказал Вася.

Шура ухмыльнулся от глупости киношника. Задета его рабочая кость, но выше всего он ставил вооруженную силу (сгинь, сатана!) крутого шиза, войну «Алой и Белой розы»

особенно, Великобританию и отчасти военкомат, где в командирских шевронах скончался Никита Губонин, герой Брянского края.

Вася Шукшин тоже ценил военную кость, но как-то вскользь, на макушке безводных пустынь с успехом на будущее.

На подпольном слете юных пионеров Москвы больные быстро поправляются. У ребят открыты сокровища новых знаний, смелые опыты и упорный труд за школьной партией.

У нас за столом, украшенным печенью трески и килькой, мы не поняли друг друга, хотя одногодки и музыканты в душе, а после ухода сибиряка (решил навесить актрису Семинову, страдавшую одышкой) брат мне заметил:

— Нет, это не мужик. Это — ряженный!

Даниил Романович, почему советский рабочий не видит чуда в деревне?

* * *

Политическое значение «деревенщиков» я проморгал. Более десяти лет они латали и муровали дыры русского коммунизма.

Сельские лирики никогда не переводились в барак усиленного режима советской словесности.

...Пришвин, Есенин, Ромадин, Овечкин, Паустовский, Пастернак...

«Деревенщики» 1960-х предложили не лирический пейзаж колхозной деревни, а новое политическое кредо, «русензм» вместо прогоревшего «марксизма». Ох, как далеко ушли товарищи Емельяна Ярославского и рискнули поиграть с палкой о двух концах — на одном «золотое кольцо России» (лига воинствующих безбожников, где вы?), с ремонтом Кижей, а на другом блокнот атеиста — на всякий, пожарный случай.

«Природа всегда права!» — заклинал Валентин Распутин, враг лесозащитных полос, каналов и гидростанций.

«Церковь — ключ умиротворяющего русского пейзажа», — выводил А.И. Солженицын.

«Русь моя великая — мать голубоглазая!» — поет деревенский соловей Егор Полянский.

Публицист Вадим Валерианович Кожинов — отнюдь не лубок колхозной жвачки, как, скажем, Семен Бабаевский со своей «аркой полевых цветов». Главный идеолог «руссизма» — многослойный и ядовитый репейник эпохи застоя. Один из первых, если не первый в докладной андеграунда, он завел на дому литературный салон, с четкой новейших, еще не изданных произведений, показ и обсуждение «абстракций» Льва Кропивницкого, старого зека и убежденного западника. Честь открытия обществу всеми забытого философа «смеховой культуры» Михаила Бахтина принадлежит ему, пропихнувшему «Рабле», капитальный труд вселенского значения, в советскую печать.

Писатели В. Солоухин, М. Лобанов, Юрий Казаков, математик Игорь Шафаревич, священники Регельсон и Краснов-Левитин, художники Илья Глазунов, Вл. Фридынский и В.Я. Ситников — путь к себе!

Культоход во Владимир, в хибарку первого русского монархиста Василия Шульгина, с 1947-го жившего в ссылке, считался обязательным паломничеством.

«Как, вы не виделись с Василием Витальевичем? Ну, как же так? Надо обязательно побывать и послушать мудреца!»

Подпольный романтизм «руссистов» недолго томился по душным салонам Москвы. Жулики высокого положения, главные «инженеры человеческих душ», Сергей Михалков, Николай Грибачев, Алексей Софронов, вычислив игру на выигрыш, открыли двери своих издательств затертым монархистам примерного поведения. Найти манифест богатого урожая не стоило большого труда. Старые обыватели «политбюро» и свой парень — землемер, це-

линник, космонавт Леонид Ильич Брежнев, да чего там трепаться — боярин, а не безбожник — тоже за храм полей, а деревенщикам бурные, продолжительные аплодисменты.

Духовный путь народа найден!

Шукшин добился своего и получил постоянную работу на киностудии генеральной линии.

Я знал его ряженым и безвестным студентом актерского факультета.

С гимнастеркой сибирского вызова ему пришлось расстаться, жена знала правила кремлевского вида и повязала непутевому мужу галстук.

Долголетняя эпопея деревенского ходака оказалась очень доходной.

Я не берусь объяснить историю триумфа и падения «деревенщиков» в эпоху поворота рек и озер. Присягнуть сибиряка к славянофильской партии, возникшей на хождении в народ столичных маклаков антиквариата, как часто делают небрежные критики, считаю невозможным пороком.

Вася Шукшин совсем не понимал «иконы», церковь и православие — коленчатый вал партийной идеологии. К религиозному возрождению подсоветской России он оставался глух и нем. Очень сомнительно, чтоб его допускали в салоны Глазунова, Кожина, Солоухина. Уверен, что наглядное пособие московских фарцовщиков, «Черные доски» Солоухина, он никогда не читал.

Вася Шукшин принадлежал к движению народных заступников с партийным билетом, темных идеалистов захолустья, мечтавших о справедливом коммунизме с трехструнной балалайкой в качестве высокой культуры.

Искренний крик души без состава преступления.

Васю оприходовали кремлевские звездочеты.

В декабре 1974 года я, весь в грязи и славе «бульдозеров», встретил бегущего с водкой декоратора Мишку Ромалина.

— Ты знаешь, старик, Вася Шукшин помер!

Деревенщики продлили жизнь геронтократам советской власти лет на двадцать, а если внимательно присмотреться к мистической цифре Джорджа Оруэлла «1984», то получается точно двадцать со дня свержения курского авантюриста Никиты Хрущева в 1964 году.

«Хрущева — на колбасу!»

* * *

Рязанский пленэр 1960 года пролетел как летний сон. Этюды, купанье в чистой Оке, горячие поцелуи с гудками пароходов и сплошные «пятерки» от ведавшего практикой живописца Васина, тишайшего и блаженного человечка.

В Брянске меня ждал большой волнительный сюрприз. Мать вышла замуж. За вдовца с хорошей пенсией. Илья Петрович Зарубин. Орденоносный железнодорожник. Домовладелец. Адрес я уже знал, писал туда письма, но явился в драматический час продажи родной пятистенки, где каждая шель в потолке была родная и близкая. Потом зеленела стройная груша, обещая богатый урожай к пятилетке в четыре года.

Мать приходила на встречу с капризными покупателями, искавшими дешевизны и быстрой сделки. Но она не спешила и выждала верного хозяина с целинными деньгами молодежных строек.

Получку она добросовестно разделила на три части — Шурке, мне, себе. Этих денег мне хватило бы на три семестра студенческой жизни, если бы не модное пальто. Я купил дорогое, чешское пальто с бордовым отливом, сразу раскошелив кругленькую сумму. А за ним пошло и поехало, — костюм, туфли, шапка, кашне, рубашки, галстуки. В общем, растерзал деньги на шмотки, и остаток в три тысячи мне надо было при самом жестком режиме питания растянуть на три года ученья.

В новых рубашках и сверкающих туфлях я не пропускал «сковороды». Как только начинались позывные «Я помню вечер», я гуталинил туфли, слегка душился материнской «Красной зарей» и плелся на танцевальный вечер. Иногда с сестрой Римкой, студенткой технического вуза, но чаще один.

Первый входной танец с красивой блондинкой благопристойного вида дает хороший шанс дамского танца, когда тебя приглашает девушка, скромно сидящая на лавке. Затем все идет по классической обкатке.

Каюсь, Господи!

«Вам куда? Выходим под руку. Прижалась. Хороший знак, но часто обманка. Знаю, что надо вести до калитки, а там разберемся. У этой не дом с крыльцом, а рабочий барак на окраине поселка. — Посидим? — говорю тихо и ласково прижимая. — Не, мне домой, — и тут же прилипает, не вырывается. У меня давно течет с конца и пухнут яйцы. Сели на гнилую лавку, прижались. Склоняюсь. — А ты не цапай, ишь, герой нашелся! — Засосать в губы позволяет и во рту не воняет. Закрывает глаза, сую руку в байковые трусы. В подпупье жуткий жар, как в печке. Падаем на траву, как подкошенные. Самое трудное в этой деликатной позе сдернуть рейтузы, не выпуская из рук могучих грудей и рта. Сунул руку поглубже. Стонет от желания и счастья. Трусы почти у колен. Резко дернул. Плачет и раздвигает ноги, затем резко и крепко обхватывает спину и отдается целиком со стоном. — Ой, ты меня обманул! А теперь не забудешь?»

Ночь — глаз выколи.

Я выдохся, и она противна, противен барак, лопухи, девка, обля, жизнь.

Убегаю в ночь, не простившись. Несусь на легких крыльях победы к себе на сеновал. Просыпаюсь в полдень. Солнце бьет во все щели. Истлевшее сено сияет золотом.

Мне повезло. Назавтра девка не пришла.

А где тут, извините за прямоту, человеческая подлость?

«Союз юных ленинцев!»

Храм лесов и полей!

Стыдно признаться, но вой «сковороды» гасил во мне все творческие порывы. Они рассыпались по норам, как мыши при появлении кота. Являлся один хозяин положения — человеческая похоть.

Пешком, с рюкзаком за плечами я побывал на пепелище предков. Я пошел не Орловским большаком, а прямым, через густой лес и чуть не заблудился, не доходя до деревни Верхополье, до могильника абрамовцев. Попались грибники с кузовками за плечами. Помахали рукой издали и скрылись в чащобе. Сделав ряд бесполезных кругов, я вышел к Верхополю по лесной речке Ревна, хорошо описанной Паустовским. Там поглазел на ветхую колокольню без креста. Загаженный гусями пруд. Тощая корова и старуха с хворостиной.

Всеобщее разорение и нищета. Всякий раз навещая край предков, я ждал чудесного превращения удручающей безысходности, конца жизни, но вместо чуда опять являлись тишь, гладь, тление.

Возвращаясь большаком, меня подвез мужик в мотоцикле. Я завалился под верстовой столб и дождался рейсового автобуса.

* * *

1960 год — год беспредельной и пустой свободы, как ни крутись.

Всесоюзная оттепель!

Наши ушли из Китая! — ну и что, подумаешь, братья навек!

В Москве, как грибы после дождя, росли «салоны» и «кружки», куда можно было прийти, напиться самогону, послушать крамольные стихи Игоря Холина и там же завалиться спать под рояль. В кружки проникали иностран-

ные эстеты. Их принимали с распростертыми объятиями, и не ошиблись в их верности.

Любители крамольного искусства, выкраивая гроши из студенческих стипендий, скупали картинки московских гениев.

Несмотря на грозные милицейские налеты, мы продолжали молодецкую жизнь богемы, успевая побывать везде, и в кафе «Аэлита», чтоб освистать комсомольских поэтов, и у «маяка», и на джазовых фестивалях, и в пивных барах, чтоб осушить десяток кружек чешского пива «Праздрой» со шпикачками.

Мой сокурсник Игорь Вулох, прописавшись в Москве, бросил институт. Столь решительный шаг многие осуждали, но не я. Я решил последовать его примеру тихой сапой непосещений. За весь осенний триместр 1960 года я заходил туда пять раз, как в гости к знакомым. Поздороваться и уйти. Я решил не скрывать своей преступной сущности и жить на авось. Вместо учебников марксизма я взялся за лопату кочегара. В котельной мы работали втроем — Сашка Васильев, Игорь Ворошилов и я, в три смены.

Будущее невозможно увидеть.

В ту осень кочегар Воробьев и не предполагал, что через полгода будет жить вольным казаком в Тарусе, за сто километров от Москвы.

Кочегар сблизился с Никитой Хубовым. Нас свела «Икона». Он ее понимал. Она грела его душу.

Мы гордились о русском православии, о философии Владимира Соловьева, об итальянском неореализме, о византийском видении мира, о музыке Шостаковича, и где достать американские штаны «Леви Штраус». Кубинские бородатые красавцы, прогнавшие пузатого диктатора, восхищали своим живописным видом.

Володю Яковлева он не понял.

— Это же самоделка и графомания! С кем ты связался, чувак?

Сын знаменитого музыкального критика, красавец кавказского типа, высокий, чернобровый, с изящным профилем, Никита Хубов не рисковал идти до предела. Профессия кинооператора, туго привинченная к громоздкому производству фильмов, не позволяла такой вольности.

Никита, несмотря на свой нюх и дар к искусству, оставался послушным сыном московской традиции, составлявшей сущность вечного реализма, мной отвергнутой как тупик и западня, откуда не выбираются к свету.

В общаге гулянки не прекращались. Всегда кто-то отмечал праздник. Именины, посылка, зачеты. По праздникам комендант открывал двери гостям на танцевальные вечера до утра. Играло очень сильное трио: Серебровский — пианино, Смирнов — контрабас, Гореткин — ударник. Ловко танцевали твист грузин Отар Иоселиани и молдаванин Эмиль Лотяну. Я танцевал с болгаркой Гарановой, актрисой Виткой Духиной, киноведом Галей Маневич, сценаристом Риткой Самсоновой, с художницей Мариной Соколовой. Танцевал до упаду. У меня появился выбор невест. Вместо решительного предложения, я пустил дело на мудрый самотек — кто выскочит первой, с тем и пойдем по жизни. Уловка хитреца и труса. Первой сдалась болгарка. Она ко мне поднималась на этаж, и я к ней спускался в удобное время. Ей на пятки наступала капризная и неверная Ритка Самсонова. Она приносила в судках горячие котлеты с рисовой кашей, что существенно работало в ее пользу. Смешливая и душевная Галя Маневич привлекала мое особое внимание, однако встречного движения с ее стороны я не видел и терпеливо ждал, когда оно объявится.

Никита Хубов зашел так далеко со мной — квартирные показы картин и продажи видным московским деятелям, — что слухи поползли по Москве о покровителе декадента из тайги.

Тертые калачи советского кинематографа получали просторные квартиры на новых московских проспектах. Свои стены они украшали не опостылевшими картинками Ивана

Шишкина, а всяческой подпольной новизной — обязательный «цветок» Яковлева, заказной портрет Анатолия Зверева, композиция Мишки Кулакова, всплывшего на поверхность после погромной статьи «Двурушник у мольберта».

Я много красил быстрые натюрморты в ташистских брызгах, они нравились интеллигентам. Их покупали за тройки и вешали на стенки.

Я сделал два портрета с Никиты Хубова, основательно замусолив живопись.

Родители Ритки, жившие в пригородном, ботаническом саду, меня встретили по-родственному, очевидно наслышавшись рассказней от болтливой дочки.

— Вы любите мармелад? — спросила предполагаемая теща. Мармелад я не любил, но съел, намазывая на хлеб.

Я был поражен, когда ее отец на новом харьковском велосипеде подкатил к подъезду казенной квартиры:

— А что, молодой человек, если мы выпьем по рюмочке наливки?

Я отказался пить, чем основательно повысил свой вес в глазах семьи, однако на решительный разговор не решился.

Я слишком дорожил своей холостяцкой свободой в то время, чтоб кинуться в семейное болото с головой, и тянул, тянул, тянул до тех пор, пока Ритка не сошлась с поэтом Егором Полянским, написавшим хорошие, посвященные ей стихи:

«Среди редиски и укропа заснула баба от усилий, / И как козун видымалась жопа, являя символ изобилий».

После кончины Федя-Акробата на факультет пришел Юрий Иванович Пименов, ученик Фаворского, и сам академик в орденах. Он любил себя и деньги. Приспособленец и трус, раз в месяц приезжал забрать деньги в кассе. Нехотя обходил мастерские, что-то бубнил нечленораздельное и размахивал руками, как мельница крыльями. В руководство, в деканат пролезли никому не известные, темные лица. Там объявился мой дальний родственник

Ленька Хлюпин. Он жил в общежитии в отдельной комнате. И в отсутствие студентов шарил по чемоданам в розыске запрещенных идей. Мой земляк, лишенный собственного мнения, шпионил и доносил куда надо о наших проделках. Он не только доносил, но и воровал. Из моего чемодана исчезли два тома Хэма и репродукция Андрея Рублева «Троица», особо ценимая мною в то время.

В нашем институте иностранные студенты и русские репатрианты с Запада составляли заметную часть общей волокиты.

...Толстые, Кутузовы, Волконские, Муравьевы, Воейковы, Кривошеины, Сосинские, Двигубские, Сеземаны вносили чувствительное оживление в однообразие эстетической казармы. Им, клюнувшим на сталинский клич «братья и сестры» (1941), нелегко приходилось с устройством сносного быта в немытой и подлой Совдепии. Половина из них родилась на Западе и училась там. И чужеродный ветерок парижского шика витал на любом комсомольском собрании. Эти люди «прогрессивных убеждений» из кожи лезли вон, чтоб обустроить свою карьеру на новом месте, сблизиться с нужными людьми, не выползая на первый план.

Мой заботливый друг Хубов, красивый человек с лицом персидского царевича, суетливый, великодушный и щедрый, таскал меня в люди.

Семья репатриантов Карвовских — наглядная картинка материальной удачи парижских чудаков.

Дверь блиставшей новизной квартирki хрущевской новостройки открыл молодой человек в ослепительно белой рубашке, сосредоточенный, опрятно подстриженный и при галстукe. Он показал нам сиявший, без единой пылинки салон, но сели мы на кухне с белой газовой плитой и белым холодильником.

Я впервые видел кухню хрущевского образца.

Листая мемуары современников, я то и дело встречаю фразу «собрались на кухне». Кто знает коммунальные кух-

ни московских бараков, то среди цинковых тазов и персональных керосинок люди не «собираются». Речь идет об отдельной, не коммунальной кухне. Там действительно не только «собираются», но и живут. Это древняя крестьянская традиция, вошедшая в столичный обиход. Салон, или «зал», крестьянского дома всегда неприкасаем. Это постоянный декор счастья с ковриком на стене и салфетками на комод, где передвигать салфетки и коврики не позволяется ни своим, ни чужим. Чаше всего гости снимают галоши и босиком, на цыпочках проходят на кухню, за стол с потертой клеенкой запоздалой весны.

Саша Карвовский стал обладателем однокомнатного рая хрущевского образца. Возможно, была и вторая комната для ребенка, не помню. Мельком осмотрев трюмо грубой работы, бельевой шкаф рижской фабрики и складной диван, служивший ложем супругов, мы безропотно прошли на кухню с низким потолком, где за столом, накрытым на четыре персоны, сразу сели и завели разговор. Саша получил диплом архитектора и предложил Госстрою оригинальный проект сибирского барака, который мы сразу оценили по достоинству. Его супруга, изящная женщина, настоящая парижанка средних лет по имени Франсуаза, в розовом переднике колдовала над кастрюлями.

Сначала подавался так называемый «аперитив», совершенно русского состава, но французской упаковки рюмка водки с крошечным соленым огурцом — «корнишон» по-ихнему. Как только я потянулся к графину за второй рюмкой, он тотчас же исчез в неизвестном направлении.

Мне пришлось сидеть за красиво убранными столами, но такого строгого режима еще не встречал, а Никита, знавший местные правила, только улыбнулся кончиком губ. Хозяин Карвовский по-своему был прав, поскольку традиции русской архитектуры, где мои знания ограничивались книгами Грабаря, и правила ухода за животным миром были мне неизвестны, то выжидательный характер гостя храмов лесов и полей оценили по достоинству.

После водки я получил горячее блюдо «бургиньон», по нашей Брянской области — томленное мясо в горшке с луком, но без вина и морковки, а тут я облинулся на гений французской кухни и молча жевал мясное, без надежды на следующее. Оно-то и явилось в виде кучи зеленого салата, которого мы по дикости прошлого не жуем за обедом, брезгуя испачкать стол. Никита и хозяйка вертели салат вилкой и ножом, инструменты редкие в русском обиходе, и тут я замешкался, с позором запихнув зелень с рук. Когда я вытер пальчики о розовую салфетку и приготовился голодать, хозяйка, ух, бля! собрала совершенно вылизанные тарелки и выставила деревянное «плато» с сырами. А Саша уверенным жестом откупорил бутылку «бордо» с такой неземной музыкой винта, как будто сам Шостакович. От комбинации таких гармонических вещей — я уцепился за кусок рокфора, зеленевший сбоку, как весна, запил глотком вина — мне стало совсем хорошо. Я поплыл в другую страну, было пристал к берегу, но явилось блюдо оранжевых апельсинов.

«О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Пресвятая Владычица Богородица! Илья Пророк!»

К «французам» не ходили всякие. Зная мой счет, Никита провел крупную артиллерийскую подготовку, и все промахи этикета прощались заранее.

За сигаретами обсуждалось два свежих дела: кто заложил вгиковский «Капустник», где студенты невинно подражали голосам исторических вождей мировой революции. Студентов не посадили, но выперли из института за хулиганство.

Потом, и самое свежее — буквально на днях, наш контрабас Алексей Смирнов с советского корабля прыгнул в американский, и тот его не выдал на казнь, а отвез в Штаты.

Чета Карвовских умело помалкивала.

— Что с ним будет, Никита? — спрашиваю я. — Ну, с голоду не умрет, а в Голливуд не пропустят. Чужой он там.

Хорошо сиделось у Хубова, Васильева, Штейнберга.

Из Тарусы в Москву перебрался Эдик Штейнберг, художник и кочегар. Стали собираться у него на улице Карла Маркса.

Заходил знаменитый чуваш Айги (Геннадий Лисин), он читал свое о белом квадрате и красных чертях. Читали вирши Женя Терновский и Мишка Гробман. Пытался читать шофер Витя Сеницын, но оказалось очень длинно и невразумительно. Перенесли читку на другой раз.

С началом ощутимых холодов я прятался в египетском зале Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Волхонка, 12). Наверху висела выставка английской абстракции. Изящный Бен Никольсон. Редкого зверя английской свободы творчества смотрели считанные единицы. Москвичи не привыкли к беспредметному миру. Курили внизу, рядом с раздевалкой, Володя Каневский, Толя Зверев и я. К нам пришел американец, мистер Маршак, вооруженный фотокамерой и записной книжкой. Он внимательно осмотрел московские царь-колокол и царь-пушку, и теперь смотрел наши картинки. Мой холст «Саркофаг» он снимал несколько раз. Каневский объяснял его эзотерическое содержание. Малохольный Зверев за американскую сигару сделал с него портрет за пятнадцать минут и стал мировой известностью.

Александр Маршак в длинной и пустой статье в роскошном журнале «Лайф» с подзаголовком «Искусство России, которое никто не видит!» описал все потуги московских авангардистов встать на свои ноги. Портрет работы А.Т. Зверева украшал журнал.

Наш пождь Никита Сергеевич Хрущев в глубине пролетарской души ненавидел художников, считая их рядовыми мошенниками, нечто вроде блох под рубашкой, но идеологическая диверсия сенатора Маршака, которого он кормил икрой на даче, задела его за живое.

«Ну, братцы, маху дали!»

Пострадал один Толя Зверев. Ему разбили в метро нос и посадили в психушку.

Хорошим прикрытием для меня была квартира Софьи Васильевны Разумовской, эстетки графских кровей, где я раз в неделю репетировал ее бездарного сына Митьку, кудрявого отрока, ненавидевшего рисование больше всего на свете. Я с ним промучился зиму, выучил рисовать гипсового Гомера, и бездарность не помешала ему поступить во ВГИК, где двадцать лет с гаком его папа хозяйничал на факультете. С помощью моей благородной покровительницы я продал кучу внеклассных работ. Они разошлись по квартирам Верхней Масловки.

* * *

В одно зимнее воскресенье мы с Эдиком Штейнбергом поехали в село Лианозово. Там в тесном и гнилом бараке обитал целый кагал артистов под идейным наблюдением старичка Евгения Леонидовича Кропивницкого. Его сын Лева рисовал абстракции в духе Поллока, жена и дочь рисовали цветы и чертей, зять, строительный рабочий Оскар Рабин, попавший в фельетонную обработку газетчиков, использовал детские рисунки и компоновал сюжеты городского быта. Любители поглазеть на барачных чудаков ехали издалека. Деревня Лианозово стала обязательным местом паломничества, как Кремль и дворец Феликса Юсупова в Архангельском.

В барак приезжал поэт Игорь Холин и читал барачные стихи:

«У “Сокола” дочь мать укокала. Причина скандала —
дележ вещей. Теперь это стало в порядке вещей».

Тунеядец, битник, вон из страны!

Модное пальто с накладными карманами. Фетровая шляпа. Кожаные перчатки. Туфли на микропорке. Высокий, сдержанный, и всегда с новой чувихой.

Барак — его Муза.

Что такое русский барак?

Наш коммунизм, здание легкой постройки, дом барачного типа, из временного превратили в постоянное и вечное здание для размещения войск, рабочих, крестьян и заключенных. Советский барак стал символом пролетарского государства, образцовым жильем будущего человечества.

В 1948 году капитан МВД Холин дал обнаглевшему солдату по морде и получил два года тюрьмы. Его не сослали в Сибирь, а разжаловали в вахтеры, где он пристрастился сочинять куплеты.

«Жди и верь и будь верна, счастье будет для тебя».

В избе-читальне лагеря «Долгопрудный», — опять случайное, но мистическое совпадение, там же бывал мой брат Шура! — библиотекарь Ольга Ананьевна Потапова, выдавая Холину книжки, спросила: «Вы поэт?» — «Да, поэт!» — отвечал вахтер. — «Тогда приходите к нам и прочитайте стихи».

Так состоялось историческое вхождение безконвойного зека Холина в мир русской поэзии, в семью барачных интеллигентов.

Где, на каком этаже живет русский поэт?

Тысячу лет Святая Русь, во тьме кромешной мракобесия и юродства, при лучине, распевала славянские псалмы. Царь Петр издал первую газету и, говорят, знал силлабические вирши Семена Полоцкого. Потом были камергер Карамзин, камер-юнкер Пушкин, буревестник Горький и стая сталинских инженеров человеческих душ — Твардовский, Яшин и Маршак (выдернул, не глядя на лица), бойкие перья казенного оклада.

У Игоря Холина, начавшего стихи в тридцать лет, была своя «дамасская дорога из Савла в Павла», из трудового поселка МВД в высшую эстетику русской речи. Его посвящение состоялось не в приемной «политбюро», а в гнилом бараке учителя рисования Евгения Леонидовича Кропивницкого и его супруги О.А. Потаповой.

Учитель родился в девятнадцатом веке, в благородной дворянской семье, где все рисовали, пели, вышивали и му-

зицировали испокон веков. В благоприятных обстоятельствах хорошо подготовленный дворянин стал бы редактором либеральной «Стрекозы», с «Анной на шее» и приличным окладом, но «великая социалистическая революция» перевернула вверх тормашками налаженную жизнь русского аристократа. Вместо накатанной дороги плодотворного творчества началась давка за мылом, пайками и билетами, чад и ад коммунального жития. Пятилетки в четыре года и поражения в правах. Столбовые бояре, «цвет нации», в грязи и тифу грызли каналы и валили тайгу, а культуру растили малограмотные чукчи, шахтеры и безродные космополиты. Дворянский отпрыск, не сумев прорваться в эмиграцию, благоразумно спустился на пролетарское дно и залег в незаметной щели, откуда никогда не выползал.

И не умел, и не хотел, и боялся.

— Я никуда в хорошие места не гожусь, — любил повторять Е.Л. Кропивницкий.

Столбовой дворянин жил, согнувшись в три погибели, на случайных заработках «учителя музыки», «учителя рисования» или «учителя стихосложения».

Местожительство учителя — барак номер 4, комната номер 17, поселок Долгопрудный, Савеловской железной дороги. Отхожее место на огороде, под колючей проволокой исправительно-трудового лагеря.

Отсюда забрали дурачка Леву, ляпнувшего о своем происхождении.

Тихий зять учителя, десятник Оскар Рабин рисовал березки и строил курятник. Зек Холин помогал с доставкой стройматериалов. На таком прочном фундаменте завязались дружба и вечный мир.

В 1951-м Холин вышел на волю с лагерной вахты и быстро нашел место метрдотеля в столичном ресторане.

...Пять модных этажей!.. Английский архитектор!.. Керамика Михаила Врубеля «Принцесса Грезы»!.. Иностранная клиентура!.. Бывал Ильич!.. Оркестр Яна Френкеля!.. Кадры неоднократно проверены!..

«Руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть!»

По воскресеньям с черного хода заходил учитель. Они выпивали по стакану водки и шли на ипподром, где ставили по маленькой на «Бирюзу» или на «Самурая». К ним пристал неизвестно где ночевавший метранпаж талантливых стихов, Генрих Сапгир.

Сладкие беседы о пятистопном ямбе или пиррихии на фоне изнурительного, если можно так выразиться, культа личности тов. Сталина выглядели невинной школой ликбеза, однако учитель преподавал шепотом, — ведь честных людей гнали в Уссурийскую тайгу.

Власть любить мало!

Орденоносный лирик Степан Щипачев, начальник советских поэтов, считал, что «трах-тах-тах» недостаточно для советского профессионала и начинающему Холину закрыл двери в Союз советских поэтов.

Смерть любимого генералиссимуса Сталина (5 марта 1953 г.) подняла вес подмосковного барака. Из далеких краев вернулся Лева, знавший в Москве всю приличную интеллигенцию, от Сони Файнберг до Горчилиной-Раубе.

Год 1958-й — год необычайный со всех сторон.

Студенту Алику Гинзбургу пришла крамольная мысль — распространить стихи Холина машинописным списком, в «самиздате».

«Дело было новое, никто за это еще не сажал, и хорошо пошло», — вспоминает сам Гинзбург.

Студента Гинзбурга за распространение тетрадки на год уперли в тюрьму, а поэт Холин стал так знаменит, особенно после газетного пасквиля 1960 года, «Бездельники карабкаются на Парнас», что его буквально разрывали на части московские салоны.

Московские сборища, где поэты читали стихи, значительно отличались от литературных салонов княгини Волконской или Зинаиды Гиппиус былых времен. Никто не посылал приглашений с лакеем, сигары и ликеры не подавались. К заветному сборищу пробирались пешком

в сугробах, с бутылкой водки в авоське, если водились деньги.

Изнемогая от славы, подражателей и поклонниц, Игорь Холин порвал с примерной семьей — жена Мария Константиновна со своей жалкой получкой, стиркой и патефоном, дочка Людмила пятнадцати лет — и стал бродячим авторитетом нелегальной поэзии, снимая углы и подвалы у нищих покровителей и знакомых.

«Холин, это такая сука, это такая блядь!»

Рядом звучал армянский анекдот и еврейская хохма. Смесь каламбура и юморески.

Часть третья ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

Бьют не по паспорту, а по морде!
Народная поговорка

Нужно ежедневно плевать на алтарь искусства.
Филиппо Маринетти, 1910

1. Тарусская страница

Тогда гремел Анатолий Зверев.

Жалкий бродяга навязал Москве безумную скоропись, подобной которой искусство не знало.

Богемный живописец стал любимцем главного мецената страны, Георгия Дионисовича Костакиса, обрусевшего грека с канадской зарплатой. Влияние Костакиса, собиравшего древние иконы и «Малевичей», было таким мощным, что все официальные средства массовой пропаганды бледнели с его навязчивой, подпольной рекламой.

Г.Д. Костакис ценил самобытное творчество. «Попасть к Костакису» если не «в сынки», как Зверев, а на стенку рядом с Родченко и Татлиным, означало получить титул «гения» и всеобщее признание, когда незнакомые люди угощают пивом, а самые богатые невесты Москвы зазывают на огонек!

Хохмач от искусства, изобретательный Вагрич Бахчанян, не без горькой иронии измываясь над своей карьерой, замечает:

«Костакис у меня не покупал!»

Сейчас это кажется невероятным, но в 1960 году картин не покупали с начала Первой мировой войны.

И никто не предлагал. Люди творчества просто забыли, что когда-то существовала свободная торговля. Молодые художники — Слепян, Быстренин и Титов, рискнувшие продать свои наброски у «маяка», немедленно были арестованы, и сели на излечение от вялотекущей шизофрении.

Рисовали не для людей, а для Кремля!

Грек Костакис возродил рынок.

Убогий рынок «трояков» и «четвертаков» и запрещенная форма естественных отношений живого заказчика и свободного исполнителя были восстановлены именно им. Он платил Звереву или Краснопевцеву «трояк» (бутылка водки!), но это была новая, капиталистическая культура отношений, неизвестная советскому обществу. Художник, уважающий свою профессию, уже не жег свои опыты в печке, а хранил на продажу.

Известный советский актер, сохранивший в доме наследство бабушки, не раз, вздыхая, спрашивал:

— Кому мне продать Явленского?

Костакис был единственным покупателем, способным заплатить за картину всемирно известного художника сто рублей!

В нашем молодом художественном кружке, не составлявшем единой эстетической артели, но повязанном дружбой и нищетой, считалось, что «попасть к Костакису» — это единственный способ выбраться из советского абсурда на свет Божий.

Мы из кожи лезли вон, чтоб придумать «новый стиль», и чаще всего получалось так, что «гениальное» открытие держалось не более недели, а после возникали еще более значительные результаты. Потом, мы творили в невероятной тесноте, по коммунальным углам и общагам, на оберточной бумаге, без красок и кистей.

В начале 1961 года недоучка Володя Каневский, самоучка Эд Штейнберг и я, переучка, решили запастись красками, как следует поработать и попасть к Костакису.

Не хватало светлой мастерской, но спас поэт Акимыч, купивший дом в Тарусе. Он пошарил в карманах широкого реглана, достал старинный ключ с тесемкой и торжественно заявил:

— Володя Каневский, я знаю вашего великого папу и ключ доверяю вам! Топите и творите!

В.А. Каневский, получивший первый гонорар за сочинение стихотворного фарса, за свой счет повез нас в Тарусу. К нашей команде обещали присоединиться самоучка Мишка Гробман, недоучка Лев Нуссберг и Димка Плавинский (увы, тоже недоучка!), уже знавшие туда дорогу.

Зимняя Таруса нас встретила неприветливо.

Древний сруб Акимыча совершенно скрывался в сугробах. Мы храбро пробили к нему траншею и затопили русскую печь, изгоняя мороз и сырость. За водой ходили к заросшей льдом колонке. В дырявой уборной, скрипевшей в глубине сада, сразу отмерзал зад. Смеркалось рано. Я читал Библию при свечах, Каневский — Бориса Пастернака. Рисовать не хотелось.

Первым взбунтовался Каневский.

Неделю он героически переносил русское средневековье, во дворе обтираясь снегом. Раз или два выбирался на центральную площадь в расписном афганском полушубке и приносил бутылку перцовки, но, в конце концов, он поскреб ногтем заросшее абстрактными узорами окно, бросил на пол незаконченный этюд и завопил:

— Я так жить не могу!

Он разнес в пух и прах русскую цивилизацию, проклял грека Костакиса, запихнул в саквояж грязное белье и на санях укатил домой.

Мой опыт самостоятельного творчества был ничтожно мал. Со всех сторон напирали могучие адепты мировой эстетики, создатели целых направлений. Упражнения «под икону», «под Поллока», «под Ван Гога» менялись почти ежедневно. Устоять в этой буйной стихии шедевров стало главной задачей той зимы.

Абстрактное видение мира не размещалось в моем сознании. Я любовался картинами западных абстрактивистов и думал, что такое можно сделать, не вылезая из постели.

Удивительно, но Эдик, орудуя мастихином и мазками, за короткое время заучил все приемы живописи, на которые я потратил десять лет нудной учебы. Конечно, и его мифология реализма тянула крепче, чем все новаторские идеи американцев.

Помимо творческих кризисов, наступил кризис финансовый.

Мы умирали с голоду и тоски.

От неминуемой смерти нас спасали любимые «жены», Людка и Ритка. Они появлялись вовремя. Моя Ритка купила у Эда картинку «Зимнее утро». Эдова Людка купила у меня «Зимний вечер», с одним суровым условием — деньги не пропивать, а экономно, по рублю в день, тянуть до Восьмого марта.

В трескучий мороз они привезли нам горячую курицу и любовь, задолго до Костакиса и знаменитых меценатов.

Мы не клялись основать общество трезвости в Тарусе и перцовку пили за чужой счет, тратили не рубль, а сорок пять копеек в день, обходясь без таких излишеств, как мясо, масло, фрукты.

Компанию нам составлял ссыльный зек Толя Коновалов, шрифтовик городского театра. Он часто подкармливал нас свежей рыбой и армянскими анекдотами. Нас навещал и младший сын Акимыча, Борис, неуч и задавака, соблюдавший столичную моду в глуши. Он рано начал воровать. От суда сбежал в тундру и нажил там тяжелый фурункулез. Вернулся, женился на татарке, сидевшей за кассой промтоваров, и жил вольным тунеядцем, сочиня абстрактные стихи. К нам он приходил с тетрадкой литературных сочинений и банкой вишневого варенья. Из стихов я ничего не запомнил, но отлично помню, как Боря съедал банку варенья, облизывал края и уносил с собой.

Спрашивается: зачем было тащить варенье на люди?

В марте, как только запахло весной, в Тарусу приехал настоящий художник, член МОСХа, Борис Петрович Свешников. Он снимал веранду насупротив и тщательно грунтовал холсты особыми приправами, так, что к ним было страшно прикоснуться.

Он писал большие акварели окрестностей, избегая вносить в композицию кривые телеграфные столбы. Харчился он у нас. Таким образом, состоялась настоящая коммуна художников, с общим котлом, общим выставочным залом и общей говорильней, часто до рассвета и обо всем на свете.

13 апреля в Тарусу докатилось ошеломляющее известие — живой человек, майор Юрий Гагарин вылетел в космос!

На эту тему долго потешались в коммуне.

В поселке обыватели одевались в лохмотья и спали, не умываясь. В очередях давились за калошами, гвоздями, веревками. Пили и дрались. В Москву добирались на санях и подводах. Подлая жизнь без заметных перемен, и вдруг летчик в космосе!

Полет Гагарина вдохновил Свешникова на особую композицию.

Он изобразил беспредельное черное небо с мерцающими звездами и ведьму на помеле. На белой земле сидел мужик, оголив грязную задницу. Он смотрел вдаль и думал о вечности. В снегах затерялись крыши русской деревни, в сугробах торчали кресты погоста.

Картину, исполненную старинными лессировками, повесили для всеобщего обозрения.

Появление гостей, журналистки Фриды Вигдоровой, по прозвищу «Трест Добрых Дел», и Надежды Яковлевны Мандельштам, изменило направление нашей хаотической деятельности, придав ей определенную, практическую цель.

— Фрид, что ты скажешь об этих картинах? — спросила Мандельштамиха подругу.

Фрида Вигдорова рыскала по стране в поисках обиженных и незаконно оскорбленных. Иногда ей удавалось отыскать ссыльного зека и устроить на работу сторожем или землекопом. Искалеченные студенты возвращались на факультет. Бездомные получали жилье и прописку.

Супруга знаменитого поэта, погибшего в сибирской ссылке, Надежда Яковлевна хлопотала о своей прописке в Москве, писала статейки о трактористах Тарусы под псевдонимом «Яковлева», и пророчила близкий конец света.

— Это надо показать народу! — решительно заявила Фрида. — И я пробью это дело!

В хорошую погоду к нам заходил известный писатель Паустовский с домочадцами. Никто из нас, даже Свешников, обязанный ему устройством в МОСХ, не читал его рассказов, но уважали за гражданское мужество.

Говорили, что кого-то он выташил из рук палачей, кому-то дал займы крупные деньги, кого-то вывел в люди. Писатель, несмотря на глухой кашель, смолил вонючие сигареты и одевался, как печатник захоластной газеты.

За пару дней до праздника Первого мая великий писатель, его тучная супруга Татьяна Алексеевна, беспутный сын Лешка, дочка с зятем Волконским и гитарист Окуджава пришли к нам в избу.

Супругу писателя мы усадили в рваное кресло с клопами.

— Сколько тебе дать за эту веточку? — кивнула супруга на мою картинку с изображением большого дуба.

— Дайте мне тридцать рублей! — нагло заявил я любительнице.

— Ну, таких хамов надо еще поискать! — ворчала она, обернувшись к зятю.

— Андрюша, дай ему четвертной и пусть скажет спасибо Татьяне Алексеевне!

Это был коммерческий успех. Круг моих покупателей постепенно расширялся. Надо было видеть, как загорелись от зависти мои дорогие коллеги по веселому ремеслу.

К вечеру появились Ритка и Людка с горячей курицей. На столе возникла перцовка, маринованный перец, баклажанная икра, грудинка. Мы пировали три дня подряд, обмывая пролетарский праздник и коммерческую удачу.

Фрида зря не болтала. В мае, в День Победы, в комму-ну пришел розовый дядя с рыжими бровями, слегка кивнул людям и, не глядя на картины, сказал:

— Мы идем к начальству!

Сменив грязные штаны, под командой бывшего полковника кавалерии Бориса Балтера поплелись Боря Свешников и я, внештатный художник без определенной прописки.

В горсовете нас встретила моложавая, густо подмалеванная и упитанная дама по фамилии Нарышкина. Она усадила маститого и привлекательного Балтера в рижское кресло и, не обращая на нас внимания, выступила с речью о блестящих успехах земледелия в районе, героическом подвиге Гагарина, электрификации города и деревни. Предложение Балтера о выставке столичных художников, толком не сообразив, о чем идет дело, она утвердила сразу, позвонив в дирекцию городского клуба.

— Товарищ Балтер, мероприятие интересное и нужное, — бодро заключила Нарышкина, мельком взглянув на Свешникова, — москвичи давно пользуются нашим гостеприимством и обходят нас стороной, а ведь мы тоже любопытный народ!

Имя Паустовского, оценившего наше творчество, как-то сладко царапнуло сердце ядреной женщины.

— Ах, Константин Георгиевич, как он понимает душу русской женщины! Покажите, покажите народу свои таланты!

Когда-то в помещении, где располагался городской клуб имени Моисея Урицкого, голодные красноармейцы умудрялись ставить пьесы на иностранном материале: «Король Лир», «Черный Тюрбан», «Призраки Эллады». Но позднее по большим советским праздникам подава-

лись патриотические мистерии с незаменимым горнистом в центре мизансцены, а по будням крутили бледные, устаревшие фильмы.

Слухи о предстоящей выставке художников разбежались с удивительной быстротой. К нам ломились незнакомые артисты с жалкими натуралистическими набросками. Опытный Ян Левишштейн, живший в соседней деревне, дал мудрый совет:

— Не надо всесоюзного фестиваля, покажите группу единомышленников.

Живописные успехи юного Мишки Левидова удивляли всех. Он не слонялся по улицам, а с утра до вечера пропадал на пленэре, не выпуская из рук кистей. Легко освободившись от влияния Роберта Фалька, он создавал тончайшие по цвету пейзажи и не менее изысканные натюрморты, свободно komponуя битые горшки и фрукты.

Неистовый Ван Гог крепко держал Эда Штейнберга, но влияние оказалось благотворным, и ему удалось сделать ряд удивительных работ с присутствием дровосеков, пахарей и прачек.

К выставке у меня собралось пять холстов на гнилых самодельных подрамниках и десятков на грунтованных картонках, подарок Каневского. Я облюбовал кирпичный тупик с ветхими домами, где по преданию жил Шамиль, и там красил всю весну.

Ни абстракций, ни ташизма, а портреты домов.

У меня отобрали «Красную корову» и «Лодки».

Приехавший из Калуги Вл. Кобликов и Балтер просили поставить калужанина Льва Курчика заочно, не глядя на картинки.

По совету Тольки Коновалова мы получили превосходно оформленные графические листы Ивана Митурича и Надежды Гумилевской.

Мы грелись на солнышке, когда затрещал рожок автомобиля. Из Москвы приехали наши подпольные соратники, Мишка Гробман и Володя Галацкий.

— Принимайте в компанию! — зычным голосом возвестил Гробман. — Багажник забит шедеврами самого высокого качества!

Появились вещи Галацкого, картина классика Михаила Яковлева, изображавшая Францию, огромная папка монотипий Гробмана, гуаши Володи Яковлева, первые композиции Володи Пятницкого.

Из Ленинграда пешком и автостопом пришли два художника и две художницы под водительством Алексея Хвостенко. Они клятвенно обещали сделать большую мозаику из тарусского мрамора, но лето проспали на сеновале, изредка вылезая за жратвой.

Началось самое нудное и опасное время ожидания с примерным поведением в общественных местах. Это тяжелое испытание художники с честью вынесли, если не считать мелкой стычки, когда нашего друга Хвостенко столкнули с парома в речку.

Точно вовремя на старом биплане из Калуги прилетели журналисты Яков Левита, Володя Кобликов и Лев Курчик. Они ночевали у Балтера, отвечавшего за всех нас перед вечностью.

За день до вернисажа уехали Галацкий, Гробман и Свешников.

Выставку составили следующие лица: 1. Б.П. Свешников. 2. Иван Митурич. 3. Лев Курчик. 4. Анатолий Коновалов. 5. Надя Гумилевская. 6. Михаил Яковлев «дед». 7. Владимир Галацкий. 8. Эдуард Штейнберг. 9. Юрий Фомин. 10. Михаил Левидов. 11. Валентин Воробьев. 12. Михаил Гробман.

В открытой папке в неоформленном виде представлялась графика Вл. Яковлева и Вл. Пятницкого.

Вечером началась развеска картин, и у завклубом отвисла губа от удивления.

— Братцы, так это не картины, а абстракции! Как же так, Коновалов? Ну, если руководство не возражает, вешайте на свою шею! — заматерился и пропал из вида.

В полдень 2 июня шрифтовик Коновалов приколот свежую афишу у входа в клуб, и отборный народ России сгрудился у крыльца.

По словам актера Прохора Аксенова, Таруса не помнила такого оживления лет сорок подряд.

С брички, запряженной в косматую лошадку, сползли писатель Юрий Казаков и его приятель Федор Поленов, внук академика и директор музея.

С дебаркадера, небрежно сплевывая по сторонам, поднялась шайка студентов Академии художеств. Из соседнего Лодыжена, в могучем «ленд-ровере» подрулили Святослав Рихтер, Володя Мороз и Ян Левинштейн. Пешую колонну интеллигентов — Паустовские, Оттепы, Цветаевы, Гольшевы — чужь не придавил черный лимужин, возивший содружество «Кукрыниксы». У крыльца образовалась давка. Скандал вспыхнул до показа и обсуждения. Не успел завклубом что-то сказать, как на сцену, расталкивая народ, ворвался шустрый академик Порфирий Крылов, член содружества «Кукрыниксы», оттер завклубом в сторонку и закричал как оглашенный:

— Да как вы посмели?

Студенты и ткачихи затаили дыхание.

Грамотные тарусяне во главе с Бобровым, Аксеновым и Гастунским вытащили записные книжки.

Академик, задохнувшись от ярости, кому-то погрозил кулаком, кликнул шофера и погнал свой черный »ЗИС« в Поленово.

Подлый выпад приезжего провокатора подхватил владелец трехэтажного дома в Тарусе, автор казенных монументов, А.П. Файдыш-Крандиевский:

— Ясное дело, за спиной незрелых авторов стоят американские силы. Еще вчера мы осудили вражескую вылазку мистера Маршака, расхвалившего мазню некоего Зверева, а сегодня на свет Божий вылезла уже кучка белогвардейских последышей.

— Не морочьте людям головы, товарищ Файдыш, — вдруг вскипела Фрида Вигдорова. — Только перестраховщики с тугими мозгами способны яркое и молодое творчество приравнять к белогвардейщине! Кто сказал, что здесь все ровно и гладко? Тут и сырые, несовершенные работы, и новое видение нашей действительности! Картины надо обсуждать, а не осуждать!

Делегация швейной фабрики забила в ладоши.

— Ну, уж извините, — отбивался Файдыш, — мы летаем в космос, а тут сугробы с крестами, корова на тротуаре, на горбу дрова. Это намеренная критика социалистической действительности.

— Прекратите ругань, — всех успокаивал Борис Балтер. — Право на творческий поиск мы отвоевали в беспощадной борьбе с фашизмом. Будьте внимательнее к молодым талантам, помогите им разобраться, что к чему!

— Станный подход, товарищ Балтер, — кипятился руководитель студенческой группы, — мне разобраться помогает партия, а не американский капитал!

— Товарищи, тихо! — наконец-то крикнул завклубом, влезая на сцену. — Мне не дали сказать слово, пусть выскажутся участники выставки.

На сцену как петух прыгнул Миша Одноралов, одетый в штанишки по колено.

Мы все были отчаянные болтуны, но Миша всех превосходил красноречием и железной диалектикой спора, раскладывая на лопатки любого собеседника хитрыми словесными приемами. Состояние душевного равновесия никогда не покидало художника в коротких шортах. Он знал, как отступить, повернуть противника спиной, потом вцепиться и разорвать.

— Жил в России художник Федор Александрович Васильев, — закрутил Миша издаലെка. — Он работал почтальоном, академий не проходил, но лучше всех рисовал русскую природу. Гений этого самоучки оценил народ. Он висит на главной стене Третьяковской галереи. Федор Васильев — золотой фонд русского искусства!

Миша добавил имена Сезанна, Ван Гога, Модильяни, Сутина. И получилось так, что настоящее искусство создается без указаний академии и партии, а в живом ходе превратности судьбы.

— Смешал Божий дар с яичницей! — прервал Мишу профессор Невежин, руководитель академической практики. — Федор Васильев — русский художник, реалист, передвижник. А эти, формалисты, западная, чуждая нашей традиции школа.

Мишу часто поводило. Он забыл о толпе, прыгнул на Невежина, припер его в темный угол и принялся разбивать.

Начались всеобщий гвалт, крики, давка. Можно было уловить лишь отдельное пустословие и дешевые остроты, вроде «надо им всыпать, а потом похвалить», или «ну, что вы, это же надругательство над русскими святынями», или «вообще-то мрачновато, посмотри на эту голую жопу», или «а это форменная порнография», или «как, по-вашему, они жулики или гении?».

Люди не умели обсуждать по существу. Они заранее все осуждали. Через час-полтора им надоело судачить, они проголодались и разбрелись по домам. Наш вернисаж продолжался пиром на крутом берегу Оки. Мы допоздна пили перцовку в бараке под названием «Голубой Дунай» и горланили частушки под гитары Хвостенко и Окуджавы.

Назавтра в клубе было пусто. Иногда заходили древние старики на костылях, или врывались ошалелые лесорубы с криком «а какое здесь кино дают?». Областные газеты в статьях Балтера и Курчика осветили событие, где одних хвалили, а других ругали.

Выставка простояла неделю и бесшумно закрылась.

Как всегда, я вовремя смылся.

Погром начался позднее. Отдувались люди на виду. За авантюрное мероприятие завклубом Перевошикова сняли со службы и сослали в отдаленную избу-читальню. Уволили с работы шрифтовика Коновалова. Художников, застряв-



Валентин Иванович Воробьев.
Фотография В.А. Сычева. 1985



Наш дом на Болоте. Рисунок В.И. Воробьева. 1957



Клавдия Васильевна
Воробьева с годовалым
сыном Шурой



Илья Сафронов,
Иван Воробьев (стоит)
и Ольга Сергеевна



Тетя Саша и дядя Толя
Булычевы. 1937



Старший брат
А.И. Воробьев, Шура.
Убит в 1964 году 35 лет



Б. Окуджава и К. Паустовский в Тарусс.

Рис. В.И. Воробьева. 1961



В.И. Воробьев. 1965.
Рис. Эдика Штейнберга



Борис Петрович
Свешников.
Рис. В.И. Воробьева. 1961



Я — житель
московского подвала



Художник Зверев
за работой



Художник Эдик Штейнберг за работой.

Рис. В.И. Воробьева. 1965



Эдик Штсейнберг в Тарусе



С Наталией Пархоменко в Тарусе. 1967



Прокурор С.И. Малец



Л.П. Талочкин.
Рис. В.И. Воробьева. 1969



О.А. Серебряная



Портрет Андрея Товмасына.
Работа В.И. Воробьева. 1972



Портрет И.С. Холина.
Работа В.И. Воробьева. 1971.
Гуашь



Портрет Воробьева
на бумажной тарелке.
Работа А.Т. Зверева. 1975



В Брянске с женой Анной
Ренатовной у материнского
крыльца



*Слева направо стоят: Леонов, Арефьев, Крынский,
Мышков, Ян Чжоу. Сидят: Зверев и Антонченко*



Леня Борисов, Валя Воробьев и Саша Леонов. 1974



После бульдозерного перформанса. 1974

ших на лето, ловили поодиночке и беспощадно били. Кто-то поджег дачу Рихтера. В славной избе Аркадия Штейнберга перебили стекла в окнах.

Злополучная выставка 1961 года в опальной Тарусе составляет историческую реальность. Мы рисовали для себя, а попали в историю самобытного и больного искусства России.

* * *

Писатель Владимир Кобликов, ученик Паустовского и неловкий искатель истины, навсегда был обречен куковать в глухой Калуге, где по улицам бегали поросята и на главной площади росла трава. Не знаю, как ему пришла идея с изданием литературного альманаха, но в одно прекрасное время он заявился в Тарусу со своим замыслом.

К делу подключилась столичная интеллигенция, и сразу начались склоки, месть и зависть.

Редколлегия сборника: Кобликов, Оттен, Панченко, Паустовский, А.А. Штейнберг, — собрание тарусских звезд, разных и разобщенных, — о будущей книге думала вразнобой. На сей раз представителей правой партии не пригласили к сотрудничеству, но драка началась среди своих.

Таруса начиналась с зеков.

Двести лет назад там спасался от царского гнева поэт А.П. Сумароков, сочинявший занятные, не потерявшие прелести и сейчас эклоги: «в роще девки гуляли, калина ли моя, калина ли моя». Четыре года там бродил больной А.П. Радницев — «рабства враг» (по Пушкину), — собирая боровики по старой Калужской дороге. От царских гонений там прятались загадочные «хлысты». За тысячи верст от родного Кавказа здесь доживал имам Шамиль.

Зеков нового времени представлял Аркадий Акимович Штейнберг.

У нас нет никаких оснований осуждать качество литературного содержания. Знающие люди, читавшие альма-

нах «Тарусские страницы», оценили превосходную прозу Марины Цветаевой, поэзию Заболоцкого, редкой ценности мемуары Гладкова и Степанова, однако пестрые рассказы Балтера, Казакова, Максимова, Кривенко, Окуджавы вставлены наспех и по протекции Паустовского.

Нужна ли книге красота?

Ответ будет один — да, нужна! Книга удобного размера, с приятной наружностью и конструктивным нутром — непреходящая ценность для читателя и библиофила, вещь, необходимая для истории книжного творчества.

Вопрос о «книге», о ее размере и украшении возник сразу, как только набитый литературой портфель лег на письменный стол Паустовского.

Писатель, питавший особую нежность к творчеству Бориса Свешникова, уже тогда автора превосходных перовых иллюстраций, имел его в виду, как принципиального оформителя альманаха, однако Николай Давидович Оттен-Поташинский, не любивший ни Свешникова, ни Паустовского, имел в виду своего кандидата.

Предполагалось сделать красивую книгу, а не кое-как сброшюрованные, типографские листы.

— Итак, — громогласно объявил Аркадий Штейнберг, врываясь к нам в избу, — макет и обложку делает Петрович, пойдет и его лагерный альбом. Театр и поэзию украшает Валя Воробьев!

Почему альманах в этом составе не состоялся, а вышел тяжелым журналом с уймой никому не нужных фотографий колхозников и замытых, напиханных как попало репродукций?

Летом 1961 года судьбу книги решала не советская цензура, а пять членов редколлегии, не сумевших поладить друг с другом.

Вдобавок кто-то распустил слух, что в доме А.А. Штейнберга действует «нелегальный дом терпимости».

И как ликовали в доме Ватагина, когда прояснилось, что опальному поэту грозит конфискация дома и суровое

наказание художнику Коле Румянцеву, Кушнеру и Таисье Штейнберг, невестке Акимыча.

Из Москвы пригласили опытного адвоката Шуба, однако спасти невестку не удалось. Ее осудили за расхищение государственной собственности на семь лет лагерей.

Но вернусь к альманаху.

Когда до Н. Д. Оттена дошли слухи о краже гусей и борделе, не долго думая, он заявил, что это работа бывшего зека Свешникова.

В разгар «гусяного процесса» драматург Оттен забрал рукопись альманаха и отвез в Калужскую типографию.

— Я спас альманах от разгрома, — любил повторять Николай Давидыч поклонникам независимого творчества.

Он бросил рукопись двум калужским алкоголикам, Каурову и Решектаеву. Они изрисовали карандашом всех передовиков сельского хозяйства, и кое-как и где придется. Вместо обещанной статьи Бориса Балтера о лагерных рисунках Свешникова, в книжку запихнули уйму мутных репродукций картин русских классиков. Обложка, сработанная шпучкой Борисова-Мусатова, как фиговый листок прикрывала срам и бездарность книжки.

Альманах вышел в свет типографским уродцем. Он рассыпался на глазах, при первом листании. Весь тираж в 75 тысяч штук попал на черный рынок и разбежался по рукам спекулянтов. Через месяц альманах стал библиографическим курьезом и найти его почти невозможно.

2. Видные тунеядцы

Сразу после войны образовался большой завал художников. Записывать сотни выпускников художественных школ в состав «Союза советских художников», не входило в расчеты идеологов семейной линии в искусстве. Через родство и блат в «Союз» зачисляли своих, пусть бездарных, но социально близких товарищей. Тысячи никому не известных новичков с дипломами гнали на стройки коммуниз-

ма плакатистами и шрифтовиками. Тысячи более терпеливых пережидали «кандидатский стаж» в придурках так называемых «молодежных выставок», где выдавались тетрадки каталогов, спасавшие начинающих творцов от ареста за тунеядство.

По словам Федора Богородского, идея «молодежных выставок» принадлежит ему и по духу — «не пушать, а гнать!» — вполне соответствует натуре отъявленного провокатора.

В результате хитроумной затеи Феди-Акробата, закрывшего новичкам вход в разбухший «Союз», за бортом казенных заказов оказалось сто тысяч художников с академическим образованием. Среди них росли адепты свободного творчества — Дмитрий Краснопевцев, Николай Вечтомов, Олег Целков, Михаил Шварцман, Илья Кабаков, Эрик Булатов и многие другие.

Я, знавший Федю-Акробата довольно близко, думаю, что бывший футурист предвидел, что молодежный отстойник — это замечательный резерв артистического подполья, самостоятельно набравший силы.

Спасая свой доходный дом от нашествия безымянных хищников, Богородский и его единомышленники, сами того не предполагая, спасали подполье от арестов и психушек.

Через гадюшник «молодежных выставок» прошли Вейсберг, Биргер, Андронов, Попков, Голицын, Рабин, Зверев, Плавинский, Брусиловский, Штейнберг и ваш покорный мемуарист.

Мой покровитель и друг Никита Хубов ошибочно считал, что одной рукой можно рисовать абстракции, а другой портреты космонавтов. То, что мы, Эд и я, делали в тот густо насыщенный делами и людьми год, — пейзаж без парторга, дровосек и корова в интимной обстановке, — не противоречило фундаментальным принципам советского реализма. Враги внутренние и внешние раздвигали и размывали его берега, голосовали за интимность в эстетике.

Все хлопоты с доставкой картин взял на себя Никита Георгиевич Хубов. Он кантовал, стоял в очередях, заполнял анкеты.

Преступный сговор!

Нам предстояла нешуточная встреча с народом. В огромном бараке Центрального парка повесили пару моих картин, «Дровосек» и «Лодки». Рядом вени Эда Штейнберга и Игоря Вулоха.

Не вернисаж, а праздник победы открылся после полудня выступлением какого-то члена выставкома в присутствии огромной толпы красивых людей.

Н.Г. Хубов с гордо поднятой головой дежурил у стенки с картинами. К нам подошла кучка изысканно одетых стилист Красное кашне через плечо — студенты из «Потемкина», Юрий Куперман и Кирилл Дорон. Американский пиджак с разрезом — прозаик «Аниканыч» и пара подкрашенных молодых женщин, Таня Осмеркина и Нелька Аршавская, стилисты Дома моделей.

— Старик, ты, гений, — сказал Дорон, хлопая мне по плечу. — Очень тонкая живопись!

Согласно кивает Куперман. Благожелательные улыбки женщин.

— Приходи к нам в гости. Мы собираемся в мастерской Осмеркина.

Подошел мой профессор Ю.И. Пименов и, молча и крепко, пожал мне руку.

Я снял от триумфа.

Да удивляется Никита Георгиевич Хубов!

Все встает.

Кирилл Дорон с женой и поворожденной дочкой жили в мастерской покойного художника А.А. Осмеркина, «последнего сезанниста» Москвы.

Осмеркин был из чужаков. Приезжий хохол, как братья Бурлюки, Малевич, Татлин. Он учился у Ильи Машкова и застрял в Москве, принял все правила московской игры и получил место преподавателя. Красиво жить он не

научился и жил особняком. В огромной мастерской на Кировской висели его натюрморты. Электропроводка болталась на битых роликах, как рыбацкая сеть. Случайная, базарная мебель и черный «Бехштейн» в углу.

К молодым часто врывалась вдова художника Елена Константиновна Гальперина и густым голосом с очень яркой южной окраской шипела:

— Ой, надоели мне цеи заседания!

У Осмеркиных было гораздо теплее и проще, чем в «доме Фаворского». Меня не посылали за колбасой, а усадили в плюшевое кресло и внимательно слушали. Здесь правила молодежь, а не старики. У Фаворского быт был прочнее. Здесь всерьез говорили о «черной сотне», засевавшей в Кремле, и чувствовались времянка и чемодан вместо музыки. Казалось, вот подует ветер и сдует всех далеко-далеко от Москвы и России вообще.

— Актер — это говорящий объем в движении, а не орнамент на фоне задника, — вещал я прописные истины, неизвестные новым знакомцам. — Театральное пространство это пустота, организованная при помощи звука, света, движения, архитектуры.

Вышла газета с суровой критикой министра культуры Н.А. Михайлова.

«На выставку молодых художников затесались и формалисты — Апрель, Андронов, Воробьев!»

Спрятаться за интимный пейзаж мне не удалось.

Преступника нашли и там.

* * *

Свободный художник — преступник, тунеядец, враг народа.

Трудовая книжка — единственная защита от ареста и ссылки в Сибирь.

Осенью 1961 года я упорно искал издательскую работу.

Мой профессиональный опыт был ничтожно мал, находки случайны и расплывчаты, авторское лицо многолико.

Худреду «Иностранки», Вере Яковлевне Быковой, я показал упражнения к прочитанным книжкам и схитрил, назвавшись учеником Фаворского.

Двери любого издательства открывались настежь, когда узнавали, что ты видел бороду Фаворского, его красный нос и вельветовый пиджак китайского покроя. Я рисовал не хуже Милочки Дервиз, и только тяжело психбольной дурак мог отказаться от издательской работы с хорошим гонораром.

Худред Быкова, вспомнив студенческие годы, сунула мне рукопись какого-то чешского писателя и попросила сделать обложку и пару заставок.

Никто не стоял за спиной и не поправлял. Опьяненный свободой и дрожа от волнения, я бежал с первым заказом, качаясь как ребенок, впервые поставленный на ноги.

Я знал В.А. Фаворского пешеходом в суконной кепке и черном плаще, похожем на рясу священника. Он пользовался трамваем и мылся в перовской бане. Теперь у ворот стоял шофер с казенной «Волгой», в доме врач и кухарка. К нему уже не пробирались, оглядываясь по сторонам, а пробивались сквозь густой строй прихлебателей и секретарей.

Старика засыпали орденами, деньгами, заказами.

Хотел ли я, бездомный и безродный провинциал, погреться у его костра?

Пожалуй, да! Хотелось вернуться назад, в теплый домострой, но гордыня дикаря брала верх и пошла своей дорогой.

Пережить штаны проще, чем перестроить сознание.

* * *

Известно, что в изобразительном искусстве есть два вида рисования — ремесленное и творческое. Первое происходит от просвещенной бездарности, второе от врожденной одаренности к творчеству. На тех и других напирают

мировые авторитеты, ярко выраженные личности, изобретатели новых направлений. Как устоять в этом потоке — вот тяжелейшая задача начинающего артиста.

Абстрактное видение мира — Кандинский, Малевич, Поллок — не размещалось в моем сознании. Я их внимательно рассматривал, как музейные экспонаты, и равнодушно уходил прочь. Любуясь огромными картинами Поллока на американской выставке 1959 года, я честно думал, что такое можно сделать, не вылезая из мастерской. Ослепительный мир жизни — люди, звезды, деревья, реки, птицы, звери, дома наповал сражали все абстрактные концепции, тщательно приготовленные расчетливым воображением. Спасаться от бушующего живого мира за «пятно», «линию», «дыру», «квадрат» я не умел, не желал и не смел.

Круг моих знакомых стремительно расширялся.

Мой тарусский приятель Мика Голышев меня поздравил:

— Старик, главное — работа, а она у тебя есть!

Может быть, я слишком строго перебираю людей подполья, но повторяю, моя задача не развенчать, не утопить их в грязь, а возвеличить и оправдать, разобраться в себе самом и в той среде обитания, что породили мой жизненный опыт, замазанный на страхе неизвестного измерения и происхождения.

Будет глубоким заблуждением считать подполье движением альтруистов и «нонконформистов», как это чаще всего выставляют. С ручья зарождения, с частной академии художеств Васьки-Фонарщика в 1951 году, монстры подполья нацеливались на хороший заработок и прочную славу. Просто они не играли в приспособленцев, продававших свой дар.

В подвале на Смоленской, в двух шагах от небоскреба МИДа, жил и творил черноволосый Димка Плавинский, пьяница и бабник, фабриковавший огромные композиции на сбитых досках. Ползая на четвереньках среди тря-

пок, песка, цемента, клея, малярных красок, он сочинял фактурные абстракции тонкой выделки, густо заселенные мухами и клопами, с жуткими оттисками копытных животных, словно табун пробежал по доскам. Хитрый и хищный по природе, он один из первых сообразил, что на подпольном рынке не может быть гуманизма и филантропии, жалости и дружбы. Взять свое — вот задача художника.

Он близко сошелся с семьей Нины Андреевны Стивенс, советской комсомолки из Оренбурга, в замужестве за американским журналистом. Знакомство с этой «иностранкой», жившей в собственном доме на Зацепе, Димка держал за семью замками, не подпуская к доходному огороду самых близких людей.

С давних лет «Рекламфильма» он дружил с Толей Зверевым, получившим статус «гения» благодаря покровительству Г.Д. Костакиса. Их роднила не только кинореклама, но и страсть к пьянству, придававшая их триумvirату, — третьим собутыльником был душевнобольной Саша Харитонов, живший рядом, в дворницкой, — особый ореол юродства и богемного величия. Они пили до потери сознания и самым запойным способом, недели напролет. Плавинский много пил и еще больше работал в искусстве. Свой богатый, сухой дар без чувства цвета он шлифовал изошренной выдумкой и преуспел в этом направлении.

Его заметил сам Костакис и охотно скупали иностранцы.

В Измайловском парке, в ничем не примечательном кирпичном доме, жил мой сверстник Лев Нуссберг.

Мы с Эдом Штейнбергом поехали смотреть его вещи. В крохотной комнате с балконом в лес поблескивали корешки книг Достоевского, Вл. Соловьева, Вел. Хлебникова, Бердяева, Бергсона, Канта, Фрейда, Ницше. В углу висел ярко окрашенный «объект», сфабрикованный из картонных отбросов и прессованных яичных упаковок. Вместо кистей и тюбиков на полу валялись веревки, ящики, проволока, гвозди, лампочки.

— Все эти раскрашенные ящики и шары должны петь, танцевать и светиться, — весело начал автор в красной рубашке. — На ремесленную работу, правда, уходит уйма времени, а оно в обрез. Мне нужны грамотные и способные помощники.

Эдик закурил и поскреб в макушке. Я ухмыльнулся. Хозяин принес чай и включил радиолу. Над золотыми лесами, где еще мычали коровы, а по ночам бродили пьяные разбойники, полетели звуки волшебной музыки. Финал был такой мощный, что казалось, стенки комнатухи разошлись, и мир застыл в ожидании сказочных событий.

Среди груды запрещенных книг, папок, рулонов, картин, рельефов, скрестив на груди мускулистые руки бойца, стоял создатель новой эстетики и вдохновенно смотрел на мир озорными глазами победителя.

То, что это было настоящее искусство, мы не сомневались, по крайней мере я. Лев Нуссберг превосходно рисовал с натуры, легко и стильно деформировал изображение, обладал особым композиционным нюхом и лихо распоряжался красками. Не смутил меня и его таинственный «кинетизм» — тогда я уже знал, что «измы» меняются по сезонам, а подлинный дар остается невырубаемым, — смущало другое: каким образом искусство, сработанное в подполье, вне официальных заказов, войдет в пространство коммунистической Москвы?

Кто он, чудак? Мошенник? Гений?

Путь, избранный Нуссбергом, был на удивление прост, ясен и уникален, он не бросился как угорелый в прибыльную торговлю с иностранцами, где основательно закреплялись коллеги: Ситников, Рабин, Зверев, Плавинский, Кулаков, а пошел на открытый приступ главной цитадели советской эстетики. Прямолинейный, но опытный и хитрый, вожак шел не один. За ним увязались горячие и юные последователи.

Московские невесты самых известных фамилий не мытьем, так катаньем пробирались в богемный мир.

Эдик сошелся с дочкой академика Берга, Людкой, утверждавшей, что ее муж импотент. Я продолжал мучительную связь с киношницей Риткой Самсоновой, то и дело мне изменявшей, а потом рыдавшей на коленях в покаянии.

От брянской родни я отскочил, как щепка от полена, но, бывало, после пьяных московских ночей уезжал в Брянск и там отсыпался на сеновале.

Мать жила на полустанке Ковшевка, в клинообразном, зеленом поселке на зыбучем песке. Там, в привычной пятистенке с крыльцом, она прожила двадцать лет без особых хлопот. Отчим выстроил баню с раскаленным булыжником и парилкой. По вечерам мы сидели на крыльце, играя в подкидного дурака.

Брат Шура получил от Мильмана квартиру с горячей водой и балконом.

Дядя Ваня писал патриотические романы.

3. Австрийская семья

Мой приятель Борис («Борух») Штейнберг, с годовалым ребенком и женой, Тарусским нарсудом осужденной на семь лет тюремного заключения, жил по московским углам в томительном ожидании пересмотра приговора. В ноябре 1961-го они выли от голода. На глаза мне попался телефон прокурора Сергея Иосифовича Мальца.

— Старик, — расхрабрился я, — поехали к прокурору, там хоть пожрем!

Поездка к прокурору оказалась судьбоносной.

Знакомые интеллигенты жили в доме с гранитным подъездом. Метро «Аэропорт», пятый этаж с сияющим, немецкой работы лифтом. Такого подъезда со свирепой теткой у ворот мы еще не видели. Дверь квартиры открыл малый лет пятнадцати с первыми усиками на губе. В конце коридора замаячил сам прокурор, одетый по-домашнему, без пиджака и галстука. Он дружелюбно махнул нам

рукой. Появилась и Рут Григорьевна в плисовом китайском халате, не перекрывавшем обнаженные ноги.

Мы там не только наелись лапши в томатном соусе, но и получили ключи от жилой дачи — Введенское, Звенигород.

Общага ВГИКа не отвечала моим запросам. Чтоб получить койку, надо было уламывать коменданта, являться вовремя спать, в чемодане всегда кто-то рылся посторонний, а работать в такой тесноте не смог бы и самый неприхотливый Ван Гог.

Дача знакомых прокурора подходила и для работы и для жилья.

В конце ноября я сдал в производство свою первую обложку, собрал чемодан и явился на подмосковную дачу. Борух с семьей занял отдельный домик с печкой и основательно обжился. В печке трещал огонь. Борух стучал на старом «Ундервуде» абстрактные стихи, его молчаливая супруга выгуливала дочку и черного пса.

Присутствие осужденной с безработным мужем и внештатного художника не упрощало, как показалось сначала, а усложняло жизнь на даче. Возможно, власти не знали, где отсиживается осужденная, а скорее всего, смотрели сквозь пальцы, — существовал закон, по которому приговоренная мать с ребенком имела право ждать на воле окончательного пересмотра своего дела верховной инстанцией, но постоянный страх ареста банды преступников, дикая нужда и холод совершенно отравляли существование в зимнем лесу.

Питались мы картошкой из хозяйского погреба, заправляя вонючим, подсолнечным маслом. Раз в месяц, как привидение из фильмов Абея Ганса, появлялась теща Боруха с ведром квашеной капусты. Мой крохотный гононар за иллюстративную работу разошелся раньше времени. Помню, в декабре ударил очень крепкий мороз и вышли дрова. Пришлось ржавой пилой свалить большую сосну, и колоть дрова из промерзших катков.

За несколько дней до Нового года Борух занял у меня последний четвертак и выбрался на поэтический суд к Анне Ахматовой, слывшей тогда за крупнейшего авторитета русской поэзии. Не знаю, что сказала ему знаменитость, но из Ленинграда он вернулся голодным и мрачным. Абстрактные стихи он сжег в печке и сочинил прозаический очерк о красотах Звенигорода, к всеобщему удивлению напечатав его в журнальчике безбожников «Наука и религия».

Мне нравилось в нем отцовское чувство. К дочке Тане он относился с нескрываемой нежностью и воспитывал твердым убедительным тоном. На девочку он не давил, не лупил без толку, а часами высиживал рядом, подмывая и подкармливая с прибауткой. Его туповатой жене было чему поучиться у мужа.

Однажды, работая в большом доме, я услышал шум на чердаке. Поднявшись по крутой лестнице к наглухо забитым дверям чердака, я обнаружил невозмутимого Боруха с охапкой старых книжек.

— Старик, откуда литература? — спросил я у приятеля.

— Из сундука, — ухмыльнулся он. — Там ее груды гниют. Попробую показать Соньке Кузьминской, авось купит по дешевке.

После постной встречи Нового 1962 года мы распрощались. Верховный суд утвердил приговор. Борух сдал жену в тюрьму, упаковал Ундервуд, взвалил дочку на закорки и исчез в зимней пурге.

* * *

«Среда. 15 февраля 1962.

В понедельник заехал к прокурору и остался ночевать. Рут приказала вымыться перед тем, как лечь в чистую постель с белыми простынями. Она: «Я не прохожу мимо ванной!»

Проглотил обиду, и с блаженной улыбкой полез в ванную и вымылся.

Родители Рут между собой говорят по-немецки.

Всеволод Ильич Бродский, хударед “Молодой гвардии” видел мою обложку к чеху и обещал хорошую книжку. От него забрел к Леве Кривенко. Пошли в «полтинник». Там Стеценко, Стацинский и Валька Хлюпин.

Вечером забрел к «Аниканычу». Пришла Нелька и поговорили о чепухе. Нелька говорит, что один белютинец ищет напарника для работы. Работы навалом. У того везде блат.

Мой катух за два дня промерз насквозь. Топил всю ночь».

(Отрывок из дневника).

В семье прокурора меня принимали как родного. Гостеприимством семьи я не злоупотреблял, сокращая визиты до приличного минимума. В отсутствие школьника Вити, я рисовал за его столом картинки. С появлением хозяина убивал вечера, переходя от одного знакомого к другому.

Мистическая дружба, но будем считать, что возились со мной из жалости. Редко, но бывает и так. Жалость тоже мистика.

Моя sentimentalная жизнь оставалась сумбурной и бесшабашной.

Эд Штейнберг свел меня с дочкой генерала, Тамарой Загуменной. В то же время я хороводился с местной, дачной санитаркой Розой Карзухиной, и в январе определился драматический «треугольник» Аршавская, «Аниканыч» и я.

Не зная, где воткнется кривая моей судьбы, предпочтение отдавал московским невестам, хотя любил санитарку Розу.

Пятого марта, в день рождения Рут, на последние гроши я купил букет цветов и вручил сияющей от счастья хозяйке.

В гостиной за празднично накрытым столом сидел косяглазый толстяк, назвавший себя Наум Коржавин, и де-

вица, гладившая кошку. Пришла Рут и прогнала всех на кухню, где сидел прокурор за бутылкой коньяку. Все выпили по рюмке и поэт запел:

Мы рвемся к небу, ползаем в пыли,
Но пусть всегда, везде горит над всеми:
Вы временные жители земли!
И потому цсните, люди, время!

Коржавина я видел мельком в Тарусе, он привозил стихи в альманах, я считал, что «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» — его сочинение, а оказалось, что их написал какой-то Павел Коган.

Я прочитал Холина: «Сегодня суббота, / Сегодня зарплата, / Сегодня напьются / В бараках ребята».

Наум Коржавин обиделся и отвернулся к девушке с кошкой.

...Рассольник с потрохами домашней птицы...Форшмак из сельди... Отбивные зразы...Чебуреки... Компот из персиков...Ватрушки, блины, икра!..

Вот бы мне такой дом и такую родню!
Да здравствует прокурор республики!
Да здравствует Рут Григорьевна Малец!
Ура! Интернационал!

И — бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.

Чтобы понять, что творилось в моей душе, необходимо объясниться издалека.

Я родился на брянском Болоте и жил в балагане без ложек и вилок. В 45-м у нас было три оловянных ложки, отлитые алкоголиком Чубаркиным на наших глазах. Фарфоровые тарелки я видел лишь в трофейных фильмах, конфискованных Красной Армией в Европе. Вчетвером мы хлебали из чугуна, чай пили из консервных банок, а клеенка никогда не менялась на столе. В общаге спартанский быт продолжался. В «доме Фаворского» жили по Домострою и сорокалетние мужики тряслись, как нашкодившие малолетки при появлении главного профессора.

В семье прокурора царили свобода, равенство и братство!

За столом сидели разодетые в пух и прах «Фрау» Эстер и «Херр» Григор Наглер, родители Рут.

Спасаясь от смертельной волны фашизма, венские евреи Наглеры нашли убежище в сталинской Москве. Их хорошо приняли. Георг Наглер получил пост главного счетовода в Госбанке и чудом избежал все чистки троцкистско-фашистских шпионов и безродных космополитов. Эстер вела уроки музыки в спецшколе партийной знати. Смешливая и шаловливая Рут закончила юридический факультет и всю войну вещала по-немецки на радио «Дойчлянд-фрай». Там она сошлась с молодым стажером МВД Сережей Мальцем, пареньком из белорусской глуши. После войны, в освобожденной Вене у них родился сын Витя. После длительной заграничной командировки молодая чета получила хорошую квартиру на Ленинградском проспекте. К ним присоединились тесть и теща.

Сервированный к празднику стол удивил меня невиданным, величественным видом.

Бог есть, был и будет!

«Сталин идет к нам!»

Подобной изысканной простоты и высокого вкуса я нигде раньше не видел. Белая, льняная скатерть с австрийскими вензелями, тройные канделябры, салфетки в серебряных кольцах, парные фарфоровые тарелки с именами приглашенных, хрустальная подставка для ножа, по три бокала мал мала меньше.

Сначала села Эстер, потом товарищ Наглер плюхнулся напротив, посадив по обе стороны женщин. Направо от тещи сел прокурор, налево посадили Коржавина. Стол замыкали Витя и я. Появилась прислуга в белом переднике с повязкой на голове. Говорила она по-немецки, и, как мне пояснила Рут, на языке XVIII столетия, бытующего у русских «фолксдойчей».

После четырех перемен и тостов старуха Эстер подняла народ и пересадила в гостиную половину к камину, где

весело трещали сухие дрова. У камина мужчины пили коньяк и дымили сигарами. Все говорили по-немецки, кроме меня и Вити.

Эстер смутила меня вопросом — люблю ли я Дмитрия Шостаковича. Я нахально распустил кольца душистой сигары и ответил, что песни народного артиста Советского Союза «Бригада нас встретит работой» из фильма Фридриха Эйmlера мы давно прошли, а сейчас изучаем более серьезные вещи, если вы знаете, «бибоп» в интерпретации Андрея Товмасыана.

От такого хамства седая красавица слегка улыbnулась, подседа к роялю и расправила ноты.

— Ну, а теперь Юлия сыграет нам опус Шостаковича в до минор.

За рояль села сонная девица с могучим корпусом, до этого гладившая кошку.

Мое музыкальное воспитание было отрывочным и ничтожным. На уровне отцовской балалайки и баяна Васи Шукшина. Классика меня раздражала, песенный фольклор настенного репродуктора выводил из себя. Я слышал от Никиты Хубова, что Шостакович много пишет, но не воспринимал его ни ухом, ни сердцем.

Бессловесная девица преобразилась. Эстер привычным жестом учителя поворачивала нотную тетрадку, с обожанием вглядываясь в одухотворенное лицо пианистки.

Широко открыв глаза, ее слушал Наум Коржавин.

Я не только отъедался в этой замечательной австрийской семье, пил коньяк и слушал опусы Шостаковича, но и работал, и ночевал. С Витей у меня сложились приятельские отношения. Правда, меня бесила его вкрадчивая, абсолютно профессиональная практика мастурбации под одеялом, очень продолжительная, с тяжкими вздохами и охами.

— Полюбите музыку, — поучала Эстер, отправляясь с мужем на музыкальный вечер в консерваторию. — По-

смотрите Кремль, там такие архитектурные шедевры Фиораванти!

Широкая программа, но у меня нет времени!

В 1920-е годы Ленин изгнал дворян за границу и большевикам велел «учиться, учиться и учиться». В большие советские города хлынули местечковые подростки, веками не выходившие за пределы черты оседлости.

Занятно рассказал о себе писатель Лев Исаевич Славин. Он перебрался из Херсона в Москву, закончил «рабфак» и сочинил роман «Наследник», 1927. Его теща, знавшая зятя с детских лет, очень удивилась: «Лева написал роман? Наверняка списал у Максима Горького! В школе он всегда списывал у соседа!»

Местечковые евреи учились говорить и писать по-русски и в ударные сроки выдали образцы русской прозы, музыки, живописи, шахмат.

Художник Аминадав Моисеевич Каневский, один из лучших рисовальщиков советского времени, женился на москвичке с широкой спиной, великой мастерице печь блины и ватрушки. Их дети уже не знали, где расположен родной край отца, и составляли золотой слой столичной молодежи.

Бездомный сирота Федя Решетников женился на дочке академика Исаака Бродского и стал видным и оборотистым дельцом советской культуры.

Смешанные браки поощрялись высшим руководством страны, где шли такие же превращения.

Рут Малец свела меня с семейством Соломона Лубмана-Косого.

Семья Лубманов, Соломон Давидович, Нина Михайловна и их тучная дочка Юлька, бредившая музыкой и театром, сразу в меня вцепились, как тараканы в краюху хлеба. Обеды у Лубманов были гораздо интимнее приемов прокурора, но фаршированный карп в сметане был всегда превосходный. Какой голодный студент откажется от такого калорийного блюда.

Однако сделать решительный шаг и жениться на Юльке я не спешил.

4. Чердак Поповой Любы

Я исправно выполнял обязанности дачного сторожа. Подолгу выгуливал пса по кличке Рекс, в двух домах топил печи и ловко колол дрова, вызывая восхищение хозяйки Натальи Сергеевны по кличке Стешка. Получив легальный пропуск к чердачной рухляди, я тщательно изучил «чердак Поповой Любы», как это место окрестил хозяин. На чердачном окне, забитом большим кубофутуристическим изображением, висели березовые веники для банной парилки. Между гнилыми венскими стульями и шезлонгами, перекрытыми паутиной, как драгоценные камни в навозной куче, сияли картины невиданной красоты.

Музей имени В.В. Маяковского, где украдкой повесили наброски футуристов, казался жалкой карикатурой на то, что я обнаружил на чердаке.

В темном углу, под стропилами, стоял огромный сундук с кованной медью крышкой. Он доверху был набит потемневшими брошюрами, почтовыми открытками, каталогами, медалями, записками, блокнотами. Запустив руку по плечо, можно было выдернуть открытку с видом Эйфелевой башни 1910 года и письмецом на обороте, или книжку «Мистицизм и лирика» с надписью: «Сердечно уважаемому Павлу Сергеевичу Попову с сердечной преданностью от автора. Н.С. Арсеньев, 1917 год», или разрезать книжку Павла Флоренского «Мнимости в геометрии», 1922 года, с темным, философским содержанием. Попадалось письмецо «Председателя совета трудколлектива Вс. Мейерхольда» следующего содержания:

«Учитывая большое историческое и художественное значение работ Л. Поповой в Театре им. Вс. Мейерхольда, прошу вас не отказать в передаче музею по возможности всех материалов Л. Поповой. От 22 января 1925 года, Москва».

На фотокарточке хорошо освещенного драматурга М.А. Булгакова стояла размашистая подпись: «Милому Пате от чрезвычайно благодарного Михаила Булгакова, Москва, 1935 год». Записка певца эстрады «Сандро» Вертинского, адресованная «Глубокоуважаемой Анне Ильиничне Толстой: когда-то журналисты называли меня Королем Эстрады, а смею утверждать, что теперь на Эстраде одна Королева — Клавдия Шульженко!» Подпись: 1946 год. Советы какого-то Ильи Голенищева-Кутузова, как лучше переводить легенды черногорских племен. Занятные сельскохозяйственные расчеты с обозначением цен на огуречную рассадку, Анны Толстой от 1950 года. Паническая телеграмма какого-то Олега Толстого о краже «строительного леса» в 1952 году.

На дне сундука лежали расшитые, подобно поповским ризам, передники, шарфы, оплечья. Невиданные аллегорические изображения пиратских черепов, колонны в греческом духе, геометрические знаки, кресты, розетки, звезды.

Кому принадлежало это символическое шитье?

В юбилейном издании Льва Толстого — девяносто томов нераспечатанным пакетом пылились в углу! — в романе «Война и мир» сказано: «Не желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменщиков?» и далее: «Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения».

Я задался вопросом: а не был ли членом этого эзотерического братства трудолюбивый Павел Сергеевич Попов, литературными трудами которого был забит чердак?

С упоением изучая чужие письма, записки, печатные труды, я как в трясиину погружался в чужие и чудесные судьбы.

* * *

Моя Москва начиналась с Мики Голышева. Приезжая из Звенигорода, я выходил на Белорусском вокзале и шел на Тишинку, где жил мой друг-инженер, в отдельной, трехкомнатной квартире. Оттуда, пользуясь бесплатным телефоном, я названивал всем подряд — издателям, друзьям и подругам.

Лучшая подруга жены Эда Штейнберга жила в высоком генеральском доме на набережной Москвы-реки. Дом в пятнадцать этажей в виде подковы. Лифт. Пятый этаж и Тамара Загуменная. Большая комната в два окна и опять соседи. Даже в генеральских домах без них не обойдешься.

Энергичная особа без царя в голове. Она с грехом пополам закончила школу и теперь бесилась от безделья, — пойти в актрисы или в продавщицы? Сорвиголова работает под казачка — штаны, сапоги, папаха. Умеренно пьет, но курит как паровоз. Льнет к богеме. Восстание против папы и мамы, служащих на границе.

Потолок с лепным растительным рельефом, но соседка по квартире не женщина, а собака. Цербер. Не говорит, а воеет. Под охраной цербера стратегические места: телефон, туалет, душ. Проще взять Берлин, чем прорваться в туалет. Мой выбор невелик — или воевать, или отступить без боя.

Биться с профессионалом войны за место в туалете бессмысленно, я сразу попадаю в тюрьму от одного года до двух — статья 34, бродяжничество. Остается один выход — отступить из генеральского дома с видом на речку.

Сама Тамара — видимость распутной жизни, бунт в стакане воды. Все равно выйдет замуж за офицера генштаба, а тот знает, как расправляться с церберами.

Тамара храбрится, но не прощает мне любовной связи с санитаркой Розой.

— Нет, вы посмотрите на этого подонка, я еду к нему с любовью, а он встречает меня с бабой.

От Тамары теплый подарок — длинный шерстяной шарф ручной работы. Это знак вербовки, но сердце мое чует, что санитарку она не простит мне никогда.

— Когда ты на мне женишься, засранец?

Засранец — это я.

Дочка Стешки, Варвара Домогацкая по кличке Пончик, вошла в мою жизнь вместе с дачей. Тащил ее чемодан на станцию, и снюхались.

Мои культпоходы с Пончиком кончились тем, что я поставил ее на почетное, третье место «самых перспективных невест», сразу после Тамары и Юльки. Перед тем как предложить ей руку и сердце, я решил основательно разнюхать, кому принадлежит дача на самом деле, чьи картины Любы.

Дабы не вызвать подозрений в подготовке грабежа, я не проявлял особого интереса к волнующей теме, но всякий раз, на диване и под кустом, осторожно ловил нужную информацию.

— Дачу строил тиран Попов, — повторила Варька чужие слова, — с женой Анной Ильиничной Толстой, матерью Хольмберга.

По выходным дням, когда Стешка (моя будущая теща?) и Сергей Николаевич Хольмберг (мой будущий тесть?) привозили рассаду на дачу, я отправлялся в Москву и кувыркался с Пончиком на чужих перинах. Ее интересовала только постель. Я приглядывался к половине «тирана» Попова.

Отца Варька не знала. Ее нагуляла Стешка с проезжим воином, штурмом бравшим Берлин. Жили они в ужасающей тесноте гнилого барака на Божедомке, до того знаменательного дня, когда к цветущей Стешке присватался дальний родственник, овдовевший профессор Попов. За мужество с пожилым богачом оказалось палкой о двух концах. В роскошной, «сталинской квартире» на Арбате, Стешку, вместо ласки и любви, запрягли в постылое рабство, кухонную стирку и беготню по магазинам, с посто-

янным намеком старика и его сестры, что она со своим выблядком им по гроб жизни обязана!

В одно прекрасное время в уютное, пятикомнатное гнездышко на Арбате постучался гражданин в лохматой, сибирской шапке. После пятнадцатилетнего отсутствия на пороге стоял живой и невредимый, давно пропавший без вести Сергей Хольмберг, законный сын покойной Анны Ильиничны Толстой.

С мистическим явлением сибиряка немедленно образовался «кухонный треугольник», где у старого профессора оказался бледный вид. Каждый, как водится на Руси, обзавелся отдельным логовом и персональной кастрюлей на кухне. «Тиран» Попов постепенно завшивел, питался по уличным столовым и со свойственным ему методическим упорством собирал неопровержимые данные, компрометирующие пасынка.

Рассказывать о себе мой хозяин не любил. Из коротких, невразумительных реплик в саду, за самоваром, у телевизора я почерпнул следующие сведения.

Сын обрусевшего шведского инженера и внучки Льва Толстого родился в родовом имении Гринсвка, в 1910 году, и великий прадед прискакал на лошади щекотать пятки первому правнуку. Папа сгинул в вихре гражданской войны, а мама Анна Ильинична вторично вышла замуж за бескорыстного труженика науки Павла Попова, из семейства просвещенных капиталистов. Кое-как закончив техникум, правнук Льва Толстого добровольно завербовался на стройки коммунизма — не ужился с отчимом или искал приключений, не знаю, — откуда иногда поступали скупые, нацарапанные химическим карандашом извещения о своем местопребывании, с очень широким, географическим охватом: Беломорканал, Апшерон, Каракум, Сахалин, Находка. Потом была всеобщая мобилизация — «призвали меня в Белостоке», уточняет С.Н. Хольмберг, бегство из немецкого плена («произдевались над нашим братом, сволочи!»), участие во французском Сопровителе-

нии («я там чуть не женился на француженке!») и возвращение на горячо любимую Родину в столыпинском вагоне, через десять лет исправительно-трудовых лагерей (где «не так страшен черт, как его малюют», утверждает с улыбкой Хольмберг).

Биография хозяина была не совсем рядовой для простого советского гражданина и в то же время прямой и героической, как отрывок численника. Мне все время казалось, что за ладной и солидной брехней советского патриота кроется глубокая тайна, раскрыть которую поможет «тиран» Попов, или Пята для своих.

Уже в мае 1963 года, напивив на себя артистический декор: широкополую черную шляпу, замазанный красками этюдник и незаконченный холст я нагло нажал на звонок Пати Попова.

Из-за тяжелых штор выглянул Пята в подтяжках, с гордо поднятой седой головой в старинном пенсне.

— А, это вы? А я, признаться, и не знал, что вы художник, — неуверенно промычал Пята и видимость улыбки скользнула по его заросшему густой щетиной лицу. — К Варьке ходит одно ворье, бездомные проходимцы и негодяи. Извините, но я причислял вас к этой банде.

Вспомнив картину его сестры Любы, висевшую под дачным корытом, я с восторгом о ней отозвался. Старик расправил плечи, засиял и потуже затянул засаленный галстук.

— Заходите ко мне, я покажу еще!

Мягкий, приветливый интеллигент старой закваски, а не жестокий «тиран» настезь распахнул двери.

Жилье интеллигента было запущено до предела. Три полукруглых окна плотно закрывали коричневые шторы. Толстый слой пыли покрывал застекленные книжные шкафы, диван и груды ящиков, занимавших все комнатное пространство. На почерневших от старости стенах, висело множество дагеротипов бородатых господ в шляпах и роскошных дам в перчатках, огромный письменный стол, за-

валенный журналами, газетами, карандашами, табаком, походил на крепость с высокой стеной. Патя развязал папку работ Любы Поповой, где вперемежку лежали проекты пролетарских костюмов, афиши футуристических выставок и шрифтовые лозунги типа «Ученье — свет, неученье — тьма!», закомпонованные в крестовину.

— Хольмберг меня ограбил, — вдруг доверительно шепнул Патя, — он присвоил себе дачу, картины моей сестры Любы, отбил Стешку и пытается меня добить окончательно. Вы ему не верьте. Он все лжет. Это не герой войны, а нераскаявшийся бандит и заслуженный ээсовец. Он убивал людей. Он дважды пытался утопить меня в Черном море!

Патриотическая, без сучка и задоринки, биография Хольмберга обрела злое содержание.

Летом 1941 года лейтенант Хольмберг добровольно сдался немцам на польской границе. В отличие от неопытных военнопленных, попавших в лагеря смерти, ему удалось обрядиться в немецкую форму дивизии «Березина», укомплектованной отборными головорезами, и попасть на западный фронт, где было тепло и тихо. Год он цементировал «атлантический вал» в Нормандии, где заслужил поощрение начальства. Право на отпуск он проводил в ослепительном, несмотря на военные времена, городе Париже, разгуливая с русскими балеринами. Есть большая разница между кутежами в русских кабаках и «прятался в церковном подzemелье, поджидая своих» по Хольмбергу. Его пушка стреляла не по воронам, а по английским самолетам.

6 июня 1944 года «Атлантический Вал» сдался на милость союзников. Корабли, набитые советскими людьми в немецкой форме, доставили в Америку, в пересыльный Форт-Дикс. Когда же прояснилось, что вместо свободы всех дезертиров сдают в Совдепию, начались поджоги барраков и дикие самоубийства. Американские охранники травили восставших газом и, как бревна, грузили на итальянское судно «Монтичелло», отходившее в Европу.

Мой «будущий тесть» твердил, «я думал только о возвращении на родину», но редко кто возвращался домой в таком неудобном положении.

В своем воображении я рисовал портрет Хольмберга не иначе как в галифе с широкими лампасами и с моноклем в глазу.

Сложнее было с Патей Поповым.

Старик искал союзника или разыгрывал дурака?

Кто он на самом деле — пройдоха, тиран, темнила, сутяга, шизофреник?

Мне пришлось снова лезть на чердак Поповой Любы и наводить справки, перекапывая письма, снимки, записки.

Посудите сами, человек, способный на сочинение с потрясающими подробностями «рапорта» на гражданина Хольмберга в Коллегию Верховного суда СССР, мог составить подобный литературный шедевр и в 1922-м на своего наставника Н.Н. Баженова, или на графа Ю.А. Олсуфьева, или в 1948-м, скажем, на коллегу А.Т. Габричевского?

В неуловимой, как тень, биографии Пати было не меньше темных пятен, чем у пасынка. Ее жизненные узлы плотно переплетались с судьбами известных и неизвестных людей, со сливками русской учености и уголовщины.

Счастлирое буржуазное детство с постоянными наездами в культурную Европу, и в обществе просвещенных родителей, и по-студенчески отдельно. С отличием закончив юридический и философский факультеты Московского университета, Пятя занялся трактовкой текстов Платона, Спинозы, Канта, пользуясь модным по тем временам декадентским стилем с примесью «религиозного мракобесия».

Его волновала педагогика Яна Амоса Коменского.

Обеспеченное положение и широкие связи открывали молодому ученому двери московских салонов, издательств, сект.

В 1913 году, в салоне Маргариты Кирилловны Морозовой на Зубовском бульваре, Пятя читал доклад о средневековой общине «моравских братьев». К этому времени

относится его вступление в эзотерический кружок, «за поручительством» архитектора Федора Шехтеля (известный друг А.П. Чехова), на радениях которого он близко сошелся с сыном хозяйки «Микой» Морозовым (смотрите его замечательный портрет работы В.А. Серова!), и рядом выдающихся лиц, оставивших заметный след в культуре России, как психолог Н.Н. Баженов, художник Сергей Виноградов, писатель Михаил Осоргин, филолог А.Н. Шварц, историк граф Олсуфьев, философ Вал. Свенцицкий, историк С.В. Бахрушин, профессор М.С. Фельдштейн, братья князя Трубецкие и поэт Вячеслав Менжинский, будущий начальник ГПУ!

Коротким пребыванием в «метафизическом сообществе» отметился философ Павел Флоренский, издав на средства М.К. Морозовой свой шедевр «Столп и утверждение истины».

Неясно, на какой кофейной гуще клялись московские любомудры, какой «кодекс чести» их связывал, но решительно все члены и тайной, а позднее, и антисоветской организации проскочили ухабистую русскую революцию без единой царапины и благополучно поумирали в глубокой старости!

Старшая сестра Люба увлекалась пластическими искусствами.

В их родительском особняке на Новинском бульваре (бывший дом боярина Грибоедова!) бушевал молодецкий салон художественного авангарда: братья Веснины, сестры Прудковские, Ал. Грищенко, Вера Пестель, Петр Вильямс, Вера Мухина, Борис Терновец, Иза Бурмейстер, Борис Фонэдинг.

В то время как русские мистики занимались расшифровкой древних откровений, а молодые футуристы спорили о форме и цвете, Московский Кремль заняли приезжие большевики. С ними посыпались обыски, голод и холод.

Великолепный дом Маргариты Морозовой, где мирно собирались оккультисты, захватила банда до зубов воору-

женных красногвардейцев. Обездоленную хозяйку, без картин Ренуара и Гогена, прогнали в темный подвал, где талантливый Мика Морозов замерзшими чернилами написал монографию о Вильяме Шекспире.

В декабре 1918 года настала пора пострадать и Поповым. У них конфисковали текстильную фабрику и уплотнили московский особняк, подселив приبلудных латышей и китайцев.

Передовые футуристы разбежались по деревням.

На советскую Россию надвигались мор, вши и сатана.

Образованный юрист Патя Попов за пайку хлеба и охапку дров отработывал в конторе Международного Красного Креста, где коротко сошелся с сестрами милосердия, спасавшими интеллигенцию в братоубийственной войне, Ксенией Родзянко, Таней Шальфус и особенно Анной Хольмберг, ставшей его женой.

В пропагандной, большевистской брошюре от 1928 года я обнаружил абзац, подчеркнутый синим карандашом:

«Гражданин Попов злобно и бессовестно обманул доверие, оказанное ему как эксперту организации».

За такую характеристику, похожую на приговор ревтрибунала, ставили к стенке, но увертливый «обманщик» Попов как ни в чем не бывало работает консультантом великого режиссера Вс. Мейерхольда.

Уравниловка, пайки, примус, трамвай, террор стали всеобщим достоянием революционной страны.

В начале 1920-х годов мы находим Патю на самом левом фланге русской культуры, в театральном лагере футуристов. Иначе было нельзя. У власти стояли «левые коммунисты». Они раздавали пайки и заказы.

Талантливая Люба с мужем (историк Борис Фонэдинг) и новорожденным сыном весной 1919-го попыталась прорваться в Европу через Новороссийск, где скопилось пол-России желающих. В одном месте поезд московских беженцев забросали бомбами, в другом банда анархистов ограбила всех пассажиров, в третьем у них отобрали паль-

то и сапоги, и московские утописты пришли в буйный Новороссийск больные и босиком.

В «белом стане» творилось нечто невообразимое.

Бывшие помещики штурмовали товарняки. Солдаты кормили вшей. Знаменитые артисты торговали махоркой. Писатели грузили уголь на корабли союзников. И все вместе, с багажом и порожняком, ломались в порт, куда пропуска выдавались по большому благу. Пробриться на броненосцы союзников Любе с мужем не удалось. Бориса Фонэдинга свалил сыпной тиф. Он умер на улице в 35 лет.

От неминуемой гибели в безумном краю Любу и ребенка спас киевский врач Михаил Булгаков. Он лечил «красных» и «белых», сочинял пьесы и мечтал о Москве.

Пробравшись в осажденную столицу поездами и на перекладных, Люба Попова, пожалуй, оказалась первым «возвращенцем» с того света.

Разрушения коммунизма неисчислимы.

Русский гений с необыкновенной силой вылился в «конструктивизме», капитальном явлении мирового искусства, насильственно прекращенном кремлевскими реалистами. Универсальный по охвату жанров — театр, архитектура, живопись, книга, дизайн, текстиль, кино, мелкая пластика — он оказался чуждым советской власти и надолго вымаран из человеческой памяти.

От абстрактной живописи, ненужной кремлевскому пролетариату, Люба Попова бросилась в производственное искусство, создает первый текстильный институт, строит театральные постановки, рисует книжки и плакаты, учит молодежь. Ее преждевременная кончина (1924) от скарлатины, прихваченной от шестилетнего сына, потрясла культурную Москву.

Безграничная любовь коммунистов к Льву Толстому (опять русская мистика!) предохраняла его многочисленных потомков и последователей от суровых репрессий. Его дочке Александре Львовне прощали такие выходки, как «антисоветский центр», объединивший не вегетари-

анцев, а зубров антикоммунизма, не желавших сотрудничать и молиться за советскую власть.

Опасных заговорщиков прогнали гнить за границу. Трижды Георгиевский кавалер, неистовая Александра Толстая покинула Россию последней, в 1928 году.

Жизнь нашего Пати неотделима от Анны Ильиничны, беспокойного пасынка и больных родителей. Сквозь гнет, террор, унижения он пролезает, как фокусник через стенку.

Дальновидный Патя не был вульгарным идеалистом, влюбленным в советскую власть. Он не лез на рожон и не рвался к власти, но из подлой советской действительности выжимал все прелести жизни, не пачкая чести и совести.

Поповы, особенно щепетильная графиня Анна Ильинична, не допускали литературного хулиганства в духе Коли Эрдмана — «Раз ГПУ, зайдя к Эзопу, схватило старика за жопу». Или еще хлеще: «Спят все люди на земле, лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле!»

От подобных шалунов они держались подальше и напоминают мне осторожный «дом Фаворского», с которым у них была связь.

Товарищ Сталин Пате не звонил!

Английский сатирик Бернард Шоу, лауреат Нобелевской премии за 1925 год, в 1931-м навестил Москву и оставил Пате книжку «Мой конфликт с Толстым», с потрясающей надписью: «Дорогой Павел Сергеевич, спасение цивилизации мы ждем от России!» Ответственный секретарь «Общества Толстовского музея», Павел Сергеевич Попов был вторым человеком после Сталина, с благодарностью пожавшим руку знаменитому англичанину.

О непорочном творчестве и безукоризненном гражданском поведении Михаила Булгакова слагают легенды. Великий и неизвестный Патя Попов не менее десяти лет был особо доверенным лицом опального писателя. Патя умел нажать на нужные кнопки, замолвить словечко, и квартирный ордер за подписью товарища Молотова (В.М. Скрябин) лежал на столе.

В 1937 году, после ликвидации эфемерных футуристических музеев, Пятя спас картины сестры, выброшенные на помойку, как мусор, «не имеющий музейного значения и продажной ценности». Кое-что он оставил для украшения московской квартиры, все остальное отправил на дачный чердак, где золотой запас русского авангарда годами томился под замком до варварского нашествия Олега Толстого, отчаянного репатрианта с парижским прошлым.

Отличник соцреализма, постоянно работавший с бутылкой водки в этюднике, раз обнаружил отсутствие «поверхностей», как выражаются живописцы, и полез на чердак на поиски картонок. Не моргнув глазом, он сгреб пачку «абстракций» и лихо закрасил их лирическими мотивами с подмосковной природы. В пьяном раже парижанин испортил не один шедевр, и, как водится у настоящих советских профессионалов, побросал мазню на месте преступления.

Почему же Пятя, эстет, писатель, музыкант, маститый педагог МГУ, пропадавший тогда на даче, не отрубил руки террористу?

Профессор, искренне любивший сестру, в сущности, был далек, а его супруга еще дальше, от беспредметного искусства. Тяжкие годы приспособленчества обкатали безразличие к современному искусству.

В начале 1950-х Попов овдовел. Умерла Анна Ильинична. Ряды верных друзей редели на глазах. Оставались «Ученые записки МГУ», одряхлевшие вдовы Булгакова, Вильямса, Чериковера и черная беда — беспощадный паcынок, как символ преждевременной смерти.

Весной 1962 года я сделал великое открытие — свой первый донос Пятя Попов написал в семьдесят лет!

От него компетентные органы власти знали, что дезертир Хольмберг добровольно перешел к немцам, захватил дачу и незаконно присвоил художественное наследие сестры.

Но старик Попов напрасно старался. Враг народа Хольмберг был амнистирован по всем статьям и отде-

лался легким ушибом. Участковый милиционер попросил его удалиться с арбатской квартиры за нарушение паспортного режима. Оказывается, мой хозяин жил в Москве без прописки, как и я.

* * *

Говнюки вроде меня кишели вокруг благополучных семейств.

Никто из нас, ни порядочные, ни «говнюки», не давали клятвы на верность и любовь до гробовой доски.

Ритка Самсонова вышла замуж за кинооператора Димку Долинина и родила дочку. Красавица Роза не отбивалась от притязаний больничных врачей. Варвара Домогацкая до меня и в мое отсутствие якшалась с театральным электриком Красовским и позднее вышла за него замуж. У Нельки Аршавской был законный муж. Я верил в доблестное поведение Тамары Загуменной и Юльки Лубман, но это мало что меняло.

Одна ночь там, другая тут.

На берегу Москвы-реки я обнаружил брошенную строителями будку, битком набитую теплым ватином. Изнутри будка запиралась на крючок, и я чудно провел ночь, слушая гудки катеров и свист соловья. Однажды без меня туда кто-то забрел и наложил кучу говна посреди войлока. Я решил оставить летнюю дачку непрошеным и конкурентам.

В издательствах Москвы меня считали москвичом. В паспорте сохранялась временная прописка ВГИКа до 1963 года, следовательно, никаких трений с кассой и милицией еще не имелось. Опорной базой оставался Звенигород (дача А.И. Толстой, хибарка сторожа). Там стоял мой чемодан и мольберт, висели пальто и картины, но полем битвы была Москва. С папкой под мышкой, еще не ведая, где преклоню ночью голову, я метался от одного издателя к другому, по квартирам и мастерским приятелей,

походя рисуя иллюстрации, кормившие мои живописные эксперименты.

В Москве оформители книг часто работали парами: Росаль—Громан, Колли—Чураков, Булатов—Васильев, Мечников—Снегур. После смерти Марка Мечникова от скоротечной саркомы Игорь Снегур предложил мне составить ему пару, и я сразу согласился.

Расторопный и легкий на подъем, Снегур умел раздобыть заказ, хотя сам плохо рисовал и часто капризничал по пустякам. Азартный картежник, он часто продувался до последней копейки, занимал деньги направо и налево под будущий гонорар. Человек долга и локтя, но вспыльчивый как порох, завистливый к чужому таланту и храбрый до безумия, размашистый и щедрый, приносил работу и тут же разорял.

— Дай мне пятьсот рублей на дорогу, по возвращении отдам и спасибо скажешь! — клянчил напарник на пароходе Элия Белютина в июле 1962-го.

На перроне Химок красовался знаменитый график Богаткин и учитель Белютин с выводком поклонниц. Снегур плыл с Татьяной Осмеркиной, Нелька Аршавская с Огурцовым. Сразу две корабельные свадьбы. Конечно, я деньги дал взаймы и зубы положил на полку.

Вот гуляки паршивые!

* * *

Теперь Любовь Сергеевну Попову знает весь культурный мир, как самобытного и прекрасного художника двадцатого века. Ее выставляют в лучших музеях и галереях мира, ее ценят, на ней наживаются, а еще вчера о ее существовании знали считанные единицы, листавшие каталоги 1920-х годов. Десяток ее картин, рассыпанных по запасникам советских музеев, не показывали с 1925 года. В коммиссионных магазинах, — единственное легальное место торговых встреч, — продавались рисунки Малявина, этю-

ды Коровина, жанры Соломаткина, но композиции футуристов боялись принимать на комиссию!

Советская власть упразднила частный заказ и свободу творчества. Лучшие мастера авангарда жили впроголодь. Существование профессионалов «соцреализма», рисовавших подвиги мировой революции, походило на дурдом. Там лучшими считались те, у кого больше орденов, грамот и премий, а не картин, скульптур, гравюр.

В конце 1950-х годов возник черный рынок, где первенствовали не слепые фанатики спекуляции, а люди с серьезными иностранными связями.

Грек Георгий Дионисович Костакис служил завхозом в дипкорпусе, — куда, как вы понимаете, не запускали с улицы! — и под влиянием американского знатока Альфреда Барра, отлично знавшего ценность искусства, скупал запрещенные в Совдепии вещи, а не наброски доступных реалистов из комиссионных магазинов.

С позволения «тирана» Попова, и с благословения «эсэсовца» Хольмберга, я твердо решил сласти творчество Любы Поповой от забвения на дачном чердаке.

Почему Георгий Костакис? Что, на нем свет клином сошелся?

Год я ухлопал, убеждая знакомых и состоятельных знакомых: киношников, артистов, юристов, писателей, физиков и музыкантов — приобрести картины Поповой не в розницу, а оптом. Мои дорогие адепты свободной торговли даже не изъявили желания поторговаться, а мой дачный хозяин Хольмберг так жадно присматривался к моим посетителям, покупавшим мои несовершенные картины, авось заглянут к нему.

Драгоценный клад Любы Поповой был недоступен московским эстетам.

Таинственная жизнь Г.Д. Костакиса достойна монографии.

Это был не рядовой собиратель «картинок» и «досок», как Сашка Васильев, Сонька Кузьминская или Рут Ма-

лец, а настоящий айсберг с подводным основанием. Лишь при условии полного и всестороннего освещения «темных сторон» его жизни, без опостылевших общих мест, возможна достоверная книга о крупном дельце, меценате и просветителе.

С Костакисом меня познакомила «пловчиха» Люся Зверева, несчастная жена богомного гения. В феврале 1960 года она купила у меня картину «Египетский саркофаг» за сорок пять рублей — 9 бутылок водки с закуской! — и показала самому Костакису. Грек похвалил картину и велел шпарить в том же духе до тысячи штук, тогда он придет и купит все на корню. С тех пор я изредка набивался к нему в гости, поглазеть на картины Родченко и отведать американского виски.

Иностранный рынок в Москве он монополично держал в своих руках. Вторжение туда щипачей из ресторана «Националь» (дело Яна Рокотова, 1961) всегда кончалось расстрелами главарей и ссылкой подчиненных. В опасных условиях черного рынка выживали проверенные люди под покровительством Кремля. Я лично видел упругий кошелек Костакиса, где в одном отсеке покоились рублевые купюры, а в другом приветливо зеленела твердая валюта.

Много лет квартира грека была единственной подпольной «галереей», где любознательный иностранец мог купить картину запрещенного художника, но постепенно росли смельчаки, успешно выходявшие на прямую связь с человеком с улицы.

Так в 1960 году англичанка Камилла Грей, изучавшая русский балет, совершенно случайно, в курилке публичной библиотеки встретила кульгурного художника и поэта Олега Прокофьева (сын знаменитого композитора!), ставшего ее верным гидом по заповедным чуланам, подвалам и баракам Москвы. В лабиринте подпольной цивилизации англичанка открыла не только барачных поэтов и живописцев, но и нетронутые залежи русского авангарда 1920-х, еще недоступные вездесущему греку. Ее провор-

ный соотечественник Эрик Эсторик сумел без помощи Костакиса пролезть в «дом Фаворского» и увезти оттуда сундук с рисунками ВХУТЕМАСа. Эти адреса, без всякого преувеличения, ценились на вес золота!

Иностранных смельчаков я тогда не знал. Главным меценатом страны для меня оставался Костакис.

На мой первый звонок он просто отшутился — «Валя, да вы, голубчик, ошибаетесь. Художник Веснин мне сказал, что картины Поповой давно пропали!» На второе вторжение летом 62-го он решил навестить Павла Сергеича Попова на Арбате.

Старик затолкнул нас в кабинет и раскрыл знакомую папку с афишами сестры. Костакис брезгливо оглядел пыльное помещение с гигантской люстрой, упакованной в грязную простыню, потом уселся и аккуратно пересчитал афиши, шрифтовые лозунги и модели декоративных тканей.

— Дорогой Павел Сергеевич, от большой любви к вашей талантливой сестре я возьму эти наброски оптом, а вот где же ее «Земля дыбом» и «Великодушный рогоносец»?

«Тиран» Патя развел руками и признался, что театральные эскизы сдал в Музей им. Бахрушина, а картины покоятся на даче, захваченной пасынком, гражданином Хольмбергом.

Костакис побледнел при таких словах, но забрал всю графику и, к величайшему удивлению профессора, приплатил лишних триста рублей.

К этому времени я стал официальным женихом Пончика, передвинув ее на первое место московских невест. С Хольмбергом я перешел на «ты» и быстро уломал на встречу с Костакисом. До последнего момента он не верил, что в Москве есть человек, готовый купить абстрактную картину без позолоченной рамы.

5. Бунт в буфете

Вид Московского Кремля приводил меня в ужас. Ничего теплого и живописного я не видел в его багровых кирпичах. Объявление в газете — «гордость и слава нашей Родины, открыт для публичных посещений» — казалось мне ловушкой для доверчивых туристов. Памятник национальной русской культуры я воспринимал как большое кладбище с колючей проволокой по стенам и часовыми по углам. Чаще всего, если доводилось проезжать мимо, я старался не глядеть на остроконечные башни и купола церквей.

Итак, царь-пушку я не видел!

Гранитное сооружение в виде усеченной приземистой пирамиды, мавзолей вождей я видел издалека, из окон Главного универмага. Пересечь булыжную Красную площадь я страшно боялся. Мне казалось, что я хорошая мишень для стрелков, засевших на колокольне Ивана Великого.

А вот 10 ноября 1962 года мне повезло. Я купил шапку и посмотрел в окно. На монолитном фризе красного гранита было ясно и коротко написано одно слово «ЛЕНИН», и на той неделе, проезжая в такси, я видел два слова «ЛЕНИН» и «СТАЛИН». Значит, Сталина выбросили на помойку!

Кто так нагло разлагает советскую цивилизацию?

С поездкой в Молдавию я допустил большую стратегическую ошибку, не пригласив с собой Пончика. Пока я там рисовал следы былых дел и свершений, Варвару окрутил настырный электрик. В сентябре он уже хозяйничал на Арбате. Стешка отобрала у меня ключи от дачи и перешла на «вы». Арбатские палаты и дача ускользали сквозь пальцы, как вода. 7 ноября молодые играли свадьбу на даче, где я выглядел полным идиотом. Лишь один Хольмберг и собака Рекс пытались меня утешить: «Варька — это пончик ни с чем!»

Собака прогрессивных взглядов.

* * *

Если я приходил в Третьяковку, то спешил наверх, к «Троице» Андрея Рублева. Шедевр изобразительного творчества, само спокойствие и радость. Гробовое молчание и целебная тишина. Святая и каноническая вещь. «Писать как писал Андрей Рублев» (Стоглавый Собор, 1551 год).

А ведь Рублев сделал совершенно новую, революционного содержания икону. Авангард XV века. В композиции нет обязательных Авраама и Сары. Дуб, скала и утварь ушли на задний план. Три фигуры ангелов гармонически укомпанованы в круг.

Мне казалось, что современные попытки художников модернизировать догматические сюжеты не находят поддержки ни у церкви, ни у зрителя. Росписи Матисса, Кокто и современная западная скульптура «арт сакре» вызывают неловкую улыбку у безбожников и верующих, как будто художник посягает на недоступную его пониманию тему.

Осенью 1962-го и зимой 1963 года я пытался «иконообразить» свою живопись в серии «королей и птиц». Очевидно, попытка была механической, выдуманной, но иначе я не мог, и красил в охотку, чаще всего при электрическом освещении.

Настали осенние холода, лес почернел и вымок. Я с удовольствием работал и редко выезжал в Москву, но когда студия Э.М. Белютина показала свои достижения в помещении Дома учителя, я был там. Выставлялись друзья: Снегур, Нелька Аршавская, Танька Осмеркина, Огурцов, Галацкий, Громан и Россаль. Большое кубовидное помещение, от высокого потолка до пола, в несколько рядов было завешено картинками, похожими друг на друга. Выделялся холст «под Пикассо» абстрактной эпохи. Автор, студент «Полиграфа», опрятно одетый, невысокий паренек, стоял рядом, как часовой у будки. Аршавская, знавшая всех по «студии» познакомила — Володя Янкилев-

ский. Он довольно высокомерно держался, будто никто из нас не листал польских журналов и не видел картин Пикассо, кроме него.

В толпе зашептались, в помещение протиснулся иностранец с фотокамерой.

Не завались в Дом учителя «британский шпион» Виктор Луи с англичанкой, весь мир спокойно спал бы на печке и никто не знал бы, кто такой Элий Михайлович Белютин и где расположен московский Манеж.

Манеж — это Белютин.

И Белютина нет без Манежа.

Элий Михайлович родился в семье советских номенклатурщиков, далеких от старой московской мафии. Учился он в известном «Сурике», где академическая подготовка, особенно в эвакуационное время войны и всеобщего голода, была очень слабой. Там учились кое-как и выходили полными неучами. Если его однокашники Семен Богаткин и Давид Дубинский упорным трудом сумели отличиться в искусстве, то ленивый Белютин не работал, а искал кратчайший путь к мировой славе, не пачкая штанов и рук.

В 1948 году его изгнали из бригады альфрейщиков за профессиональную непригодность. Позднее, сочиняя красивую биографию диссидента, Элий объяснял это политическими мотивами — антисемитизмом начальника, хотя руководителем бригады был еврей Виктор Ельконин, получивший Сталинскую премию за роспись Театра Красной Армии.

Элий любил красоваться и поучать. Преподавание оказалось подходящей дорогой, но своего места и там он не нашел. В «Полиграфсе», куда его запихнули по большому благу, он продержался недолго. Мафиозник Андрей Гончаров сделал все возможное, чтоб выжить малохольного теоретика из стен своей цитадели. Белютин оставался чужаком среди адептов семейного ремесла. Его постоянно поводило на эстетические авантюры, совершенно неприемлемые в этой среде, он шел не с той ноги в ровном

строю социалистического реализма. В 1954 году он наконец нашел свой шесток руководителя «курсов повышения квалификации» полиграфистов, текстильщиков, стилистов Дома моделей.

Руководимые Белютиным и его супругой Ниной Молевой курсы или «студия» пользовались огромной популярностью. К ним шли не только вчерашние дипломники, но и графики высокого класса, завоевавшие успех, вроде чрезвычайно одаренного Феликса Збарского.

Честолюбивый и легко ранимый, Элий отлично справлялся с ролью пострадавшего от «культы личности Сталина». Связи с поляками, державшими магазин в Париже, позволили ему первому в Москве показать там свои живописные опыты в 1961 году. Проспект с цветной репродукцией его живописи вся Москва рассматривала как дар небесный, невиданный знак милости заветного, буржуазного мира мечты идиота.

Двадцать лет спустя, в 1981 году, я разыскал в Париже магазин, где выставлялся Э.М. Белютин. Он располагался на старинной улице острова Сен-Луи. За столом сидел приветливый старичок, торговавший русскими и польскими книжками, а между книжными полками висели гуаши Элия Белютина. Их никто не покупал, и запыленные буклеты, от которых Москва сходила с ума, лежали в углу не разрезанными.

За ним давно наблюдали. И внутри и снаружи, и в Союзе и на Западе.

Прогулка на пароходе летом 1962 года стала последней каплей терпения власть имущих. Надо было заклеить позором грязный притон идеологического диверсанта Белютина. Компрометирующих данных было полно. Столичные художники не рисовали виды России, а на казенном судне пили водку, ломали провинциальные музеи и дрались между собой. Способ разборки давно был отточен и разработан. Лагерный «сексот» Виталий Евгеньевич Лифшиц (Виктор Луи), ставший «специалистом по

андеграунду», выполнял роль наводчика. Он широко открыл театральные занавесы и тихо слинял за кулисы.

На заклатие поташили Белютина и его «студию».

После международной шумихи в прессе из «отдела культуры» раздался звонок товарища Д.А. Поликарпова:

— Товарищ Белютин, вас приглашают на официальную выставку в Манеж.

— Это провокация! — завыл струсивший Элий Михайлович.

Несмотря на дерзкий отказ Белютина показать каракули своих подопечных высшему партийному руководству, оккультные провокаторы повысили тон до приказа.

— Да, это был приказ! — заключает партийный белютинец Леонид Рябичев, вызванный в «отдел культуры Москвы» с Н. М. Молевой и Геддой Яновской.

Элий Белютин подчинился и лихорадочно отбирал и сортировал произведения своих учеников. Художник Владимир Янкилевский, участник «Бунта в буфете Манежа», вспоминает:

«К девятке белютинцев в пожарном порядке пристегнули группу — Соостера, Соболева, Неизвестного и меня, показавших свои работы в гостинице «Юность»».

Таким образом сколотили мальчишек для битвы и разместили в буфете выставочного здания Манеж.

«Двенадцать из них были евреи с кривыми носами и зелеными пальцами, — вспоминает скульптор Эрик Неизвестный, — и лишь одна русская по фамилии В.И. Преображенская».

Такой показательной порки не проводилось давно.

Заговорщики Академии художеств, мечтавшие раздавить опасных и неуправляемых конкурентов, немедленно смекнули, что настал час расправы, и явились в Манеж плотной командой.

Опуская хорошо известное собеседование в буфете, где скрестили сабли Н.С. Хрущев и скульптор Неизвестный с криками «Говно! Пидирасы! Расстрелять!» (Хрущев)

и «Нет, я не педераст, а штыковой боец!» (Неизвестный), обратимся к победителям, выигравшим дело.

Для погрома академики подсунули самый слабый пункт московского новаторства — «студию» Белютина, где посредственность и мода, апломб и пустота сразу бросались в глаза. Студия назавтра рассыпалась и никогда не поднялась, но острота конфликта между официозом «соцреализма» и свободой творчества не снизилась, а, наоборот, к нему подключились все новые и новые проблемы идеологического порядка, захватившие всю советскую культуру.

Непрерывные заседания и встречи правительства с представителями советской культуры и литературы длились весь 1963 год. В оборот попали рязанский писатель А.И. Солженицын, написавший правдивую книжку о сталинских лагерях, и бригада живописцев, много тративших казенных денег на никому не нужные монументальные росписи. Наконец, прибавилась таинственная смерть ленинградского вождя Фрола Козлова, обвиненного в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах.

(Закон РСФСР от 25 июля 1962 года, статья 88 — лишение свободы на пятнадцать лет или смертная казнь, с конфискацией имущества!)

Поднатюрившие в закулисных интригах академики смекнули, что зашли слишком далеко. Своенравного учителя рисования со сломанной психикой оставили в покое, монументалистов восстановили в «Союзе».

Несколько слов о «системе Белютина», привлекавшей амбициозную молодежь.

Если у «школы Фаворского» потолком мастерства был «объем в пространстве», у Николая Петровича Крымова — «тон изображения», то изобретательный учитель Белютин всем курсантам, независимо от возраста и образования, предлагал кратчайший путь к вершинам гениальности, логически обоснованный и простой. Им ставилась одна задачка — «добиться напряжения произведения» простей-

шим методом обработки бугристой поверхности при помощи мастихина и краски. Бугристая поверхность в любом классическом жанре — натюрморт, пейзаж, портрет — автоматически создавала высокое напряжение картины.

Курсанты мусолили на палитре фузу и втирали ее на поверхность холста до тех пор, пока не появлялись желанные бугры и напряжение.

«Напряженная вещь!» — была высшая похвала учителя.

Нетрудно догадаться, что такая «система», насквозь фальшивая, держалась в среде невежественного общества, лишенного прямых связей с мировыми экспериментами в искусстве, и, как только общество открылось, «система Белютина» испарилась, как смог под солнцем.

Россия — страна чудес!

* * *

Настал новый 1963 год.

Для молодежных журналов я рисовал картинки, но деньги не держались, пропивал с друзьями по пивным барам и снова клянул работу. В феврале мне повезло. Худред «Молодой гвардии» Всеволод («Севка») Ильич Бродский вручил мне крупный заказ на сотню иллюстраций. Итальянский автор Итало Кальвино. Я прыгал от радости и решил прокатиться в Питер, где никогда еще не был. Сопровождал меня писатель Аниканыч (В.И. Аниканов).

Конечно, я читал фельетоны Мих. Зощенко и знал, что в Ленинграде есть трамвай, люди теряют галоши и воры таскают кошельки, но ведь я был художник, и знаменитый город воображал с птичьего полета — город строгих, панорамных гравюр фон Захгейма и Василия Садовникова, Петербург фешенебельных фасадов, а не грязных дворов.

...«Медный всадник» А.С. Пушкина... Эрмитаж... Шпиц Петропавловской колокольни...державная Нева!..

Наш могучий «ТУ-114» спустился во тьму. Горели фонари и тяжелое, как свинец небо нависло над крышами Ленинграда.

В «Справочнике для туриста» писали: «В Ленинграде трудится большая армия ученых, писателей, артистов, художников».

Осмотреть всю «армию» я не мог, но о встрече с друзьями и однокашниками договорился заранее.

«Здесь жил и работал Ильич» и «шалаш» в Разливе сразу отметались вместе с культпоходом на крейсер «Аврора», выкрашенный в зеленый цвет и стоящий у нашей гостиницы.

К сокровищам Эрмитажа мы шли пешком по сугробам, и города моего воображения я не узнавал. Летний сад с черными стволами деревьев и гробами статуй был не приветлив и пуст. У Зимнего дворца маршировали солдаты. Такого обилия солдат и матросов я нигде не видел. В толпе каждый пятый был в погонах. По громадным колоннам Казанского собора дул ледяной ветер. Возвышалась пара фельдмаршалов с палками в руках.

А.С. Пушкин («Сашка», «сверчок», «егоза», «солнышко») не отличал меди от бронзы.

Памятник благодетелю страны Петру I был совершенно черный, с шапкой снега на бронзовой, а не медной голове.

«Конь в успехе господина».

(А говорят, голову Петра сделала ученица ваятеля Этьена Фальконе, двадцатилетняя Мария Калло, за что получила от Екатерины пожизненную пенсию в 10 тысяч ливров и звание академика.)

У величайшего шедевра Харменса ван Рейна Рембрандта «Возвращение блудного сына», купленного в Париже в 1766-м послом, князем Д.А. Голицыным, за 5400 ливров для царского «Эрмитажа», я стоял как пораженный грозой. Я валился от усталости, как блудный сын в картине голландца, но возвращаться к этим бородатым старикам мне не хотелось.

Иконы Русского музея не уступали по качеству Третьяковке, и совершенный по колориту и пластике «Борис и Глеб» новгородской работы XIV века, кажется, был уникален.

С Васей Полевым мы не виделись пять лет и встретились в кафе «Чайка» (канал А.С. Грибоедова, 14), где собирались все питерские фарцовщики высокого полета. В кафе пили коньяк и заказывали настоящие обеды с отличной солянкой и цыплятами. Вася оценил мои иллюстративные опыты и поздравил с успехом. Он грузил дрова в гавани, чтоб прокормить свою живопись, а я зарабатываю деньги профессией.

— Где собираются люди?

Мы захватили с собой Сашку Аникина, жившего напротив в общежитии, и пошли в гости к Льву Борисовичу Каценельсону, собирателю репродукций. Он жил на улице Антона Рубинштейна, дом 40, во дворе с огромной кучей нечистот. Нас встретил хромой и добродушный мужичок. Из соседней комнаты пришел мой бывший учитель Абба Максович Кор. Он работал в Доме народного творчества учителем рисования, вспомнил Елец и на мой вопрос, что можно посмотреть в Питере, ответил:

— Интересен Евгений Михнов, дайте ему водки, он все вам покажет!

Художник Михнов-Войтенко жил в соседнем подъезде того же двора, с такой же грязной лестницей с дровами по углам. При виде пол-литры он засиял и, не спрашивая имен вошедших, усадил всех за стол.

— Садитесь и смотрите!

В углу, ничем не прикрытый, стоял большой холст, поразивший меня своей оригинальностью. На бледно-зеленом фоне художник дерзко, сочными взмахами давил тюбики краски, варварски отрывая концы.

Получалась вихревая, автоматически сделанная композиция без малейшего намека на реальные вещи. Чистая абстракция, совершенно невиданная в наших краях.

Нож и тубик!

За парнем с крупными чертами лица была отличная школа Ник. Акимова, и дело свое он знал, как никто.

Питерский гений!

Установить разборчивый разговор, я не говорю уже о близости отношений, было совершенно невозможно. Страдающий тяжелой формой алкоголизма художник жил в себе и для себя.

«Русь, куда же ты несешься?» — сказал бы Н.В. Гоголь.

Сплошные казармы и кладбища. Солдаты и снег. Мрак и водка.

Солнце так и не вышло в те питерские дни.

Город — некрополь!

Мой друг Сашка Аникин, колорист от Бога, тянулся к семье и уюту. Стал глумной, что ли? Вася Полевой пыжился и мечтал о Москве, где жили веселее.

* * *

По приезде из Питера Хольмберг вызвал к самовару и сказал:

— Если можно, покажи картину богатому греку.

При виде «контррельефа» Любы Поповой, подправленного Игорем Снегуром, у Костакиса задрожала челюсть.

«Когда я увидел эту вещь, — вспоминает Г.Д.К., — то подумал, я не буду Георгием Дионисовичем, если упущу эту королеву супрематизма!»

За «контррельеф» русского авангарда Костакис заплатил шестьсот рублей, деньги хорошие, половину которых я честно выложил обалдевшему от счастья Хольмбергу, а половину присвоил за хлопоты.

На этом мое посредничество закончилось.

Каталоги Любы Поповой, Малевича, Кандинского, Ларионова, украшавшие мою личную тумбочку, перебрались в костакинский сундук. С большой футуристической композиции мой хозяин снял корыто и протер тряпкой.

От Пончика я знал, что он не раз звонил Костакису с вокзала и посетил его на проспекте Вернадского.

Стоял солнечный, майский день, когда на лесной дороге появился черный американский автомобиль Костакиса, с женой «Зоной» (Зинаида Семеновна) и кругленькой внучкой, одетой с иголки во все иностранное. Мы встретились как старые знакомые. Хольмберг, оценивший гостеприимство грека, семьянина твердых правил, увлек его в прохладную гостиную с мягкими диванами.

В конце 1963 года в Москве тайком продавали увесистую, изданную по-английски, книгу Камиллы Грей «Великий эксперимент». Автор, перечисляя работы Родченко, попавшие в архив Альфреда Барра, упомянула галерейщика Эрика Эсторика, поимевшего рисунки ВХУТЕМАСа от щедрых советских друзей, сердечно отблагодарила 22 консультанта, но ни словом не обмолвилась о коллекции Костакиса, словно ее не существует на белом свете!

— Лакеи Уолл-стрита! Проклятая фарца! Растратчики национальных сокровищ! — возмущался главный меценат Москвы. — Все, что я собираю, надо хранить для России!

Мне было безразлично, где будет находиться Люба Попова, у лакеев Уолл-Стрита, в квартире Костакиса, или в архиве Альфреда Барра, главное — спасти от забвения и разрушения отечественный гений. Для меня Костакис был не проницательным торговцем, а спасителем отечества!

На нашу дачу он приезжал не раз и увозил битком забитый автомобиль.

После пустых фраз о «чудной погоде» Г.Д., сам владелец загородной дачи в Баковке, оценил образцовый порядок в саду, обещавший богатый урожай, расхвалил малиновое варенье Стешки и почти свел на нет предстоящую торговую сделку.

— Дорогой Сергей Николаевич, если не секрет, то скажите, есть ли у вас заветная мечта? — поглаживая круглое, как барабан, пузо, заводил драгоценный гость. — Ну, как же, есть! — потупил взгляд Хольмберг. — Я давно мечтаю

приобрести автомобиль. — Грек Георгий Дионисович слов на ветер не бросает, да вот и Зона не даст соврать, в этом сезоне будет у вас автомобиль!

Заранее обезоружив противника, Костакис принялся за деловой разговор с глазу на глаз.

К вечеру вся великая «геометрия» Любы Поповой, сто пятьдесят работ и семейный архив, очутились в импортных ящиках нового владельца. Обезображенные Олегом Толстым «поверхности» Хольмберг приложил бесплатно, походя очернив родича «подонком» и его отца Владимира Ильича «вором, укравшим с дачи шезлонг».

У Костакиса нашелся племянник, очистивший картины от лирической мазни, и творчество «королевы супрематизма» снова засияло полнокровной живописью.

Так на моих глазах, и при моем посредничестве, у дачного самовара Анны Ильиничны Толстой, свершилась сделка века, в результате которой спасли большого художника от гибели на темном чердаке русской дачи.

Пате Попову не удалось победить «эсэсовца» Хольмберга. В 1964 году он скончался от разрыва сердца. С Хольмберга сняли судимость и поражение в правах. Он быстро купил автомобиль «Запорожец» и дикарем укатил в Крым. Выдающийся меценат нашего времени Г.Д. Костакис начал разбазаривать «национальное богатство», как только уединился.

Грек любил сочно и густо врать, но его часто прорывало на покаяние:

«Две картины уступил канадцам, Колинз купил, Мур купил, Хаузер купил и перепродал музею Модерн-Арт, то ли деньги ему нужны были, что ли?»

Навсегда покидая дачу, я навестил опустевший «чердак Поповой Любы». У печной трубы по-прежнему гнило девяносто томов Льва Толстого. На стропилах пылились банные веники. На полу я подобрал растерзанную «амбарную книжку» с занятным подзаголовком «Книжка записи приходов и расходов дачных сумм», с восхититель-

ными рецептами солений и варений. Автора замечательных записок о вкусной и здоровой пище может определить лишь опытный графолог.

6. Загадочная смерть брата Шуры

Самолет брянского аэропарка, с трудом набиравший десяток пассажиров и дойную козу, хозяина которой я так и не смог определить за полчаса лета, спустился в открытое поле, разогнав стадо гусей.

Город Трубчевск открывался не сразу. Как все русские дыры, он начинался с выгона, где слонялась птица и скот, затем шло кладбище с гнилыми крестами и далее свежие постройки с вечными лужами под окном. Широкий большак соприкасался с булыжной дорогой и городскими домами по сторонам. Не зная точно, где живет брат, я поплелся на почту, где сразу нашелся проводник приятного вида.

По безлюдной и очень зеленой улице мы спустились в овраг, потом поднялись на горку и свернули направо, потом налево, и когда проводник крикнул «дядя Шура, к вам приехали», я очутился у деревянного крыльца с ветхими ступеньками и у почерневшего от солнца брата.

На побывку в Трубчевск я явился не голодным прощельгой, а с деньгами в кармане, заработанными честным трудом художника, и с московскими гостинцами в рюкзаке.

— Угощаю, — сразу выпалил я и опорожнил рюкзак. Брат встряхнул бутылку водки, проверил на свет и сказал:

— Вижу, московская, — и похлопал меня по плечу.

Несмотря на то что я честно зарабатывал деньги, мне всегда казалось, что они слишком легко достаются, и позднее, всякий раз получая их за «мазню», я не мог избавиться от ощущения, что они не заработаны тяжким и честным трудом, а у кого-то украдены.

Ведь рисование это легкомысленная забава, не так ли?

Основательно завязший в московской богеме, разбалованный подпольной славой, я очутился в русской глуши, среди людей, умеющих работать и веселиться от души, много есть и пить в охотку, хором петь песни, слова которых я давно забыл, ловить рыбу бреднем, собирать грибы и крепко храпеть по ночам.

Я оказался беспомощным косарем. Ровно через полчаса грубой косьбы я падал в траву, изнемогая от усталости. Меня приставили сгребать сено в копны, а потом вовсе отправили в лес, кишевший грибами, где я с трудом собрал полкорзины.

Мне было стыдно за подлую жизнь в столице, за дурацкую дачу Хольмберга, где оставался мой творческий багаж, за легкие заработки в издательствах.

Мое путешествие на покосы закончилось большим шашлыком в саду и прогулкой в город. Там мы осмотрели древний Троицкий собор с некрополем князей Трубецких, потом пили бочковое пиво в садике и танцевали под радиолу.

Проснувшись с похмелья на сеновале, я выпил кружку кваса и попросился назад в Москву. Брат Шура и невестка Нина Федоровна проводили меня к навозному полю, где отдыхал самолет. С нами увязалась их дочка Валя, семи лет отроду.

Самолет затрещал, за бортом замелькали леса и голубая Десна, базарная площадь с собором, пепельное небо и хвост самолета, мотавшего белые витки дыма.

Живым я видел брата в последний раз.

Что я о нем знал?

Три года его возил генерал Мильман, гоняя с одной стоянки на другую. В 1962-м он получил казенную квартиру в Брянске, купил пианино для дочки и учил ее играть по нотам.

Дружбы с родней мужа у Нины Федоровны не получалось. Люди жили рядом, две тетки и дядя Трофим Сергеевич Воробьев, но, кроме как «привет» и «как жизнь», у них ничего не клеилось. Вслед за женой, брат потянулся к трубчевс-

кой родне Григоровичей. Там у Нины жила мать, старшая, замужняя сестра, деверь, постоянно изобретавший то самовар, то велосипед. В летние отпуска Шура помогал этим людям, державшим корову, косить траву и ставить копны.

Мой добровольный уход из института родня приняла по-разному. Мать, брат, дядя Иван Абрамов считали, если у человека есть деньги, ему не нужны никакие дипломы. Сестры матери, наоборот, порешили, что виновата во всем мать, плохо воспитавшая сына. В клубке страстей никто не спрашивал, а что думаю я.

Значит, моя задача — деньги и Москва!

По возвращении в Звенигород мой гонорар за 85 иллюстраций на глазах растаял. Рестораны, подарки, долги, материалы. Еще год на даче Хольмберга, где меня терпели за привод Костакиса, обещал быть очень суровым. Картинок никто не покупал. Новую книжку Снегуру обещали лишь в новом году.

* * *

Худред молодежного журнала «Молодая гвардия», еще до захвата его «славянофилами», Ирка Блохина, для которой я рисовал виньетки на редакторском столе, предложила «прокатиться» в Прибалтику. Предложение было неожиданным, и я сразу загорелся, шло лето, цвела сирень, пели птички.

— А вот тебе и напарник, лучший шрифтовик Москвы, Севка Освер! — представила она вошедшего очкарика.

Весельчак, остряк, хохмач. С таким надо подтянуться.

«Студия Белютина», где Севка состоял, набрала пик популярности. Ее руководитель давал интервью в иностранные газеты, приглашался на встречи с правительством. Сияние его славы, казалось, отражалось на каждом шрифтовике.

«А что будет делать шрифтовик Освер в Прибалтике?» — подумал я, но тут же наострил ухо — Освер выступал с яркой и острой речью.

— Чуваки, куда хилием? — Ирка начертила маршрут прогулки — Москва, Рига, Даугавпилс, Зарасай. — Железно, а где качимарить и берлять? — Освер, это творческая командировка на стройки коммунизма, а не джазовый клуб. Бацать и лабать будешь дома. Подъемные возьмете в бухгалтерии. Все билеты на транспорт и кабаки сохранить для отчета.

— Два жлоба схватили кайф, прочитав газету Лайф, — напевал Севка.

Мой напарник затащил к себе. Он жил в комнате с продавленным диваном и до такой степени ободранными стенами, как будто их день и ночь скребли когтями кошки. На них висело два этюда, сделанных под руководством Э.М. Белютина. Они выглядели наглядным пособием пресловутого «напряжения», где виднелся контур окна с частью стены. Профессиональные инструменты Освера находились в пухлом, затертом до безобразия кожаном портфеле.

— Ну, что, сыграем партию в шахматы?

Севка, напевая «анаша, анаша, до чего ж ты хороша», достал из-под дивана шахматные фигуры такого вида, словно их грызли собаки вместо костей. Король и конь с отбитой головой, туры и недостаток пешек заменили монеты. Через десять ходов я, опытный с детства игрок, получил мат.

— Еще? — предложил победитель.

— У тебя грамотное начало. Ходил в клуб что ли?

— Нет, чувак, самоучка.

— А, ну ладно, в поезде поиграем.

Для работы в Прибалтике, я закупил пачку картонок под пастель и альбом для зарисовок. В рижской гостинице я нарисовал Севку, играющего в шахматы с Аниканьчем, примкнувшим к нам в качестве журналиста.

— Ну, прямо Жорж Руо! — не отрываясь от доски, заметил Севка.

Он знал искусство, как свои пять пальцев. Ничего не скроешь. Я вез в чемодане подаренную Костакисом книжку «Руо», изданную Скира, и тайком туда время от време-

ни заглядывал. Этот Руо, оригиналов которого я не видел, меня волновал в то время, да и не он один.

Черной тушью я рисовал рижские церкви, улочки, дворы.

— Чувак, за каким хуем ты мокнешь на улице? — удивлялся Севка. — Щелкни фото, а дома перерисуешь!

Сам Освер так и поступал. Он снял два-три раза химзавод в Даугавпилсе и лег загорать на берегу озера.

— Хиляем в кабак берлять и кадрить чувих.

По вечерам мы чистили ботинки и шли в кабак. Латышская кухня и музыка были на высоте, но чувихи, дежурившие в баре, сразу просили деньги за знакомство, что меня страшно удивило.

Рига — уже Запад!

Сильные доводы Севки Освера сбивали все мои хилые установки на особое творчество.

Всех художников он делил на две категории, «богатых» и «бедных». Сам он не причислялся ни к одной из этих категорий. Он был профессионалом шрифта, полиграфистом, автором обложек знаменитых журналов. Его интересовала лишь «система» в искусстве и технический «прогресс» в полиграфическом производстве, сводившие на нет ремесло создателя. Севка не давил собеседника своими знаниями, а лишь экономно выпускал сильные стрелы, разжигавшие фантазию впечатлительного человека, каким я был в то время.

Встреча с оптимистом Освером была почти случайной, — подумаешь, десять дней командировки и разговоров. Мы договорились встретиться еще раз, но встреча не состоялась.

Пустьяк, возведенный в закон.

Освер оказался прав. Мои рисунки с видами химкомбината Ирка не стала смотреть. Затраты на поездку были списаны и подшиты. Оставалось туманное воспоминание о европейской Риге, зеленых дубравах Литвы и бородатых старовеерах Двинска, говоривших на базаре «битте» и «данке шен».

* * *

Осенние холода спустились ранние. После Покрова так загудела и закрутила метель, что я едва успевал прочищать тропинку к дороге. Возвращаясь из Москвы на дачу, я заставал замерзшую в ведрах воду. Будущее с зимовкой в лесу как никогда казалось неопределенным и темным. После разлада с Пончиком я не знал, как приступить к невестам и надо ли спешить с женитьбой?

В моих живописных розысках настал зимний застой. На дворе так быстро темнело, что притуплялась вся охота красить. Под новый 1964 год ко мне заявила Роза Корзухина. Мы напились горячего чаю и рано завалились спать, а наутро, утопая в сугробах, прибежал почтарь и сунул мне телеграмму, где значилось:

«Шура тяжело болен. Срочно приезжай. Мама».

Взаймы дал прокурор Малец. Железнодорожный билет я купил сразу. Поражала пустота Киевского вокзала и полупустой вагон.

Днем открылся Брянск, брат не болел, а умирал от ран. В ночь под Новый год его нашли на тротуаре, истекающим кровью, с перебитым позвоночником. Он был в полном сознании, когда я навестил его в больнице. Он мало и плохо говорил, но смотрел легко и насмешливо.

— Зачем приехал?

Это все, что я слышал от него в последний раз.

Ночью он умер от кровоизлияния в мозг. Тело забрали домой. Пока родня сводила счета и выясняла причину смерти, я сидел на кухне, перекапывая его прошлое.

Рано утром ввалились друзья и коллеги. Напарник по шахматам, полковник Аркадий Лапыгин, француз Бийю, инженер и руководитель оркестра, друзья детства с Боло-та, Коля Цыбульский и безрукий Понятовский. Гроыхая протезом, не здороваясь с сестрами, поднялся дядя Иван Абрамов с женой.

Рабочие Мильмана, скрутив полотенца, вынесли гроб во двор в открытом виде и поставили на козлы. По дороге

на кладбище пристроился оркестр, где брат в свое время колотил в барабан. Завыли медные трубы. У могильной ямы полковник Лапыгин произнес короткую речь, потом хор запел «зряща мя безгласна и без дыхания предлежаща».

Завыла невестка Нина Федоровна, рыдала мать, плакал и я.

Гроб заколотили под пение молитв и поклоны, спустили в яму, бросили по горсти мерзлой земли и разошлись.

На поминки собралась родня и самые близкие друзья брата. Пили водку, не чокаясь стаканами. Первой рванулась тетка Нюра.

— Эх, Нинка, Нинка, опозорила ты нас всех, перед людьми стыдно!

Моя мать, защищая невестку, стала перечить:

— Замолчи, змея подколодная, прекрати ругань!

— Дорогие товарищи, — встрял Аркадий Лапыгин, — не смейте в день поминок позорить жену покойника.

Дядя Булыч, перекрестившись на всякий случай, сладко запел о высоких достоинствах Шуры, похвалил Нину за хозяйственность, подсластил Нюре и Гришке и вдруг обратился ко мне:

— А что молчит младший? Пусть скажет свое слово!

На таком собрании выступать я не собирался. Сказал по принуждению:

— Брата я любил. Он был честный и работающий мужик. А вдове и дочке мы поможем!

Тот длинный вечер — 5 января 1964 года — замазанный на смерти и поминках, с кучей народу за столом, в прихожей, на кухне, с тлеющей лампадой в «красном углу», шепотом и рыданьем, навсегда врезался в мою память.

К ночи люди устали и разговор погас за неимением материала. Поговорить со всеми не удалось. Храмченко и Лужецкий, ровесники и подельники брата по «делу Жмуркина», отсидели свое, вернулись образцовыми стахановцами. Сам Костя Жмуркин давно умер от чахотки, Ванька Чубар-

кина, отсидевшего пятнадцать лет, видели на вокзале.

Поминали допоздна.

Ушли подельники Шуры, сыновья полицаев Храмченко и Лужецкий. За ними потянулись тетки и дяди. Ушли и мы — отчим Илья Петрович, мать и я. Заночевали трубчевские Григоровичи.

По дороге домой мать опять взорвало:

— Сынок, Шура не сам упал с балкона. Его убили!

* * *

Всю дорогу к Москве, в вагоне, я пытался перебрать короткую жизнь брата и составить свое представление о постигшей его смерти. Слова матери «они его убили» не давали мне покоя.

В 1948 году Шурке вязали «дело Жмуркина» — разбой с целью завладения государственным имуществом по предварительному сговору группы лиц — и судили показательным Народным судом. Я сидел на лавке первого ряда, рядом с бабушкой и теткой Марфой, одетой в черное. За окном нарсуда сияло солнце, а на скамье подсудимых сидел брат Шура, наголо стриженный, в солдатской гимнастерке и суконных брюках. То и дело подскакивал защитник, убеждая нас, что срок будет минимальным. Брат говорил «да» или «нет», к общему удовольствию судьи и заседателей, прокурора и защиты.

Он и подростки Лужецкий и Храмченко, грузившие ворованное барахло, получили по семи лет.

Меня интриговало второе дело Ванька Чубаркина, осужденного на пятнадцать лет.

Чубаркины были хорошо известны на Болоте. Все семеро промышляли воровством и мелкой работой. Мой ровесник Владек одно время ходил в школу, а потом пропал по тюрьмам. Самого старшего из тюрьмы выпустили немцы. Тюрьма образовала в нем проходимца без страха и уп-

река, лишённого семейных связей и гражданских прав. От мобилизации в полицию он скрылся в лесу, а когда Красная Армия вошла в Брянск, из леса не вышел, опоздал или не хотел — не знаю.

В лютовую зиму 1945 года в балаган, где мы ютились, постучались чужие. Я и Маня, караулившие раскаленную буржуйку, было затаились, но в окошко погрозили пальцами, и я сбросил промерзший крючок.

— Вы что, испугались соседей? — сказал дядя в дырявом полушубке. — Не бойтесь — мы погреться и пожрать. Ставь на стол чугунок.

Чужаки съели нашу кашу и засмолили вонючие самокрутки.

— А теперь покажи, где Шурка прячет патроны? Карабин и патроны лежали под топчаном.

Постарше щелкнул затвором, прицелился и выпустил из рук.

— Трофейные, пригодятся!

Бандиты забрали мешок с боеприпасами и скрылись в пургу.

По словам брата, к нам заходили Ванек Чубаркин и Костя Жмуркин.

Герой Сталинградской битвы Анатолий Васильевич Булычев, муж моей тетки Саше, держал на базаре пивную. В запущенных условиях оккупации, пивная стояла без движения, а теперь раскачалась, превратившись в доходное место торговли краденым барахлом.

Маргаз новых горизонтов и орден за успешное поведение на войне.

У него я опять видел Жмуркина, Чубаркина и Понятовского, видных и опасных людей тех времен.

Ян Понятовский — из польских беженцев, без вести пропавших в Сибири, вечный скиталец «детдомов» — попался у немцев на воровстве.

Арестовали троих, Храмченко, Лужецкого и брата Шуру.

Брат был слеплен не из того теста, чтобы сломаться под пыткой каленым железом и выдать товарища, каким бы преступником он ни был. Однако опытному следователю ничего не стоило запутать подростка словесно и вывести показания на следы настоящих злодеев, которых брат знал. Получалось так, что все трое подследственных выдали имена настоящих грабителей, а пострадал один мой брат!

Я легко представил картину преступления на клубном балконе, в ночь на Новый год. Народ пил и бесился, визжала радиола. На балкон вышли Чубаркин и Шурка, а вернулся один Чубаркин. Час сидел за столом, пока Нина не спохватилась мужа. Брата нашли на мостовой с перебитым позвоночником.

Нет, все — шито-крыто, все — железно!

Шурку толкнул с балкона Чубаркин.

Я знал этот клубный балкон с толстопузыми балясинами, покрытыми корками льда. Не дай Бог, попасть в положение прижатого в угол — один легкий толчок в спину, и человек падает вниз, как мешок с песком.

* * *

В Москве меня никто не ждал. Более того, когда я возвращался с похорон брата Шуры (15 января), в вокзальной кутерме у меня вытащили бумажник с остатком денег и паспорт. Мне пришлось идти в Ростокинское отделение милиции и заполнять все нужные анкеты. Тетя с каменной физиономией заявила, что временная прописка ВГИКа просрочена и, перед тем как тиснуть штамп о выписке, спросила, куда я направляю стопы. Я без задней мысли сказал «в Тарусу», как будто меня там ждали. Так с подозрительным направлением «сто первого километра» я еще курсировал полгода.

На очередной свадьбе Эда Штейнберга, длившейся в ритме признаний в любви — «Старик, я женюсь! — Ну,

ты даешь! Это надо обмыть!», Миша Левидов познакомил меня с огненно-рыжей девицей, из тех, кто увлекает меня без уважительной причины. Изысканно одетая, внушительный бюст, огромные бедра, породистый нос, бесстрашный взгляд раскосых глаз.

Зовут — Ася Лapidус!

Я сразу к ней прилип на весь вечер и увязался провожать домой, несмотря на дикий холод.

В стратегическом плане завоевания Москвы мои подруги занимали особое место вечной дружбы и мира. Я старался притереться к их родителям, иногда колючим и недоверчивым, и не спешил с решительным предложением руки, сердца и кошелька.

Санитарка Роза Корзухина свалилась на меня, как сказочная фея в зимнюю метель, в глухую, январскую ночь, когда в печке догорало последнее полено, с сияющим неземным лицом. А летом заползала ночью, как змея, под сладкое пение звенигородского соловья.

Однажды она исчезла среди военных летчиков и не пришла ни зимой, ни летом.

Падчерица Хольмберга Варвара Домогацкая, лояльная к моим экспериментам в искусстве, не вынесла тянучки жениховства и на моих глазах вышла замуж за электрика с регулярной зарплатой.

Дочка генерала Тамара Загуменная трогательно заботилась о моей прическе, но панически боялась соседки и отца, командира какой-то дивизии в Германии.

Галя Маневич, моя давняя сокурсница по институту, воплощение человеческой тишины и добра, могла тащить любого мужа из последних сил. Ее родители знали меня, как облупленного, принимали как родного, но что-то тормозило в наших отношениях. В квартире Маневичей собирались вертухаи киношного мира, постоянный денщик Юрка Тюрин, носивший авоськи Гали, молодые наркоманы с новыми идеями, странная неразбериха и вокзальная толчея.

Не зная, куда присесть и где приклонить голову, я с Асей Лапидус слонялся по московским «салонам» и «квартирным выставкам». Однажды мы забрались в Институт труда и гигиены, где выставлялся Лева Кропивницкий. Помещение без окон. Темно-зеленые стены с гвоздями. Желтая лампа под потолком. Штук двадцать замазанных картонок.

Вся психбольная Москва налицо, пестрое и грустное юродство андеграунда — эротический мистик Мамлеев с ученицами, припадочный Виталий Зюзин с огромным блокнотом в кармане, маклак и лирик Миша Гробман в обнимку со слепцом Володей Яковлевым, Васька-Фонарщик с длинным подростком, оказавшимся его женой Крохиной, поминутно крестивший углы Сашка Харитонов, барачные поэты Холин и Сапгир, Мишка Левидов с парой поклонниц и я с рыжей красавицей Асей Лапидус.

И — хохот пещерных дикарей.

— Я — закоренелый западник, — лихо начал Л.К., склонив наголо бритую башку над ручкой Аси, — я изучил все модные течения Запада, и на сегодня я первый «поп-артист» Москвы. Посмотрите внимательно на этого бычка, или на эту абстракцию, или на этот стилизованный портретик — наглядные образцы моих теоретических исследований!

Мы посмотрели картинки, отогрелись в жарко натопленном помещении и поспешили к выходу.

— Послушай, Воробей, — дернул меня Володя Яковлев, — возьми меня с собой. Я хочу жить в земле и рисовать для тебя цветы!

— Мне нужен счетчик Гейгера, — требовал подскочивший Зюзин, — попроси у Костакиса. В обмен я сделаю гениальный портрет твоей жены!

Ася в енотовой шубе и я в черной шляпе гармонично вписались в толпу московских безумцев.

Ася не из тех, кто говорит намеками. Прямая и предельная ясность в разговоре — вот ее линия поведения.

— Ну и друзья у тебя — сплошь психи и самоучки!

А кто же я?

Часть четвертая МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА

Собака лает, ветер носит,
Борис у Глеба в морду просит.
Иосиф Бродский, 1970

1. Мои первые иностранцы

Два раза в неделю я выбирался к Снегуру.

Он перебрался в новую квартиру на Поклонной горе и предоставил мне «рекламную стенку» для развески картин. Расторопный ученик Белютина плохо рисовал, капризничал, когда я выправлял рисунок, но умел достать заказ и заменял мне толкача.

Ася Лapidус была из тех, кто умеет лепить человеческую судьбу, не задевая самого острого честолюбия. Один намек, один звонок — и дело шло. Ее отец, техред «Юриздата», предложил мне шрифтовые обложки под названием: «Судебная практика в советской правовой системе» или «Сравнительный метод в юридических дисциплинах». Каждая обложка обходилась в 60 рублей, с виньеткой — 70.

Связанные дружбой и едиными интересами, мы слонялись по барам Москвы, игорным домам и подпольным салонам.

Теперь я думаю, что мы оказались в самой гуще артистического подполья, в сердцевине московской богемы, где определялась судьба русской культуры.

Художник Пятницкий, рано сгинувший от наркотиков, пробовал торговать своими странными голубыми картинками на улице. Дело совершенно немыслимое на русской земле. Когда он попадал в милицейский участок или психбольницу, там не могли сообразить, что с ним делать.

Миша Гробман сочинял новый «еврейский стиль», размазывая сапожную ваксу на оконном стекле.

Первый кинетист страны, Лев Нуссберг, работая на балконе, приспособливал электричество к бочке из-под сельдей. Она крутилась смешными спиралями, как танцующая поморская баба.

Эд Штейнберг собирал на дороге камни с дырками и составлял из них абстрактные натюрморты.

Горластый Володя Вейсберг, в своем белом халате похожий на больничного санитаря, создавал теорию хроматического сфумато.

Иностраннный страх имеет в России длинную историю — от общения с нечистым чужаком, когда сажали на кол или отрезали язык, до многочисленных посадок и расстрелов за «измену родине» наших дней. Страх «немца» и дыбы вьелся в душу народа и никогда не испарится, пока жива «Святая Русь».

«Святая Русь» это — страх, и нет страха без «Святой Руси».

Куда идем, товарищи?

Кислым праздником 8 Марта, получив гонорар за «Кота в сапогах», Снегур и я с ветерком понесли в клуб журналистов, где подавали пиво с раками. После выпивки и закуски мы перебрались в бар и заказали кофе с коньяком. Рядом подседа пара заморского вида, блондинка с длинным носом и брюнетка с густыми бровями. Мы их сразу взяли на абордаж. Снегур, отлично справляясь с ролью главного пирата, предложил крепкие напитки — ром, коньяк, ликер, и благородные чувихи, говорившие по-французски, легко сдались. Меня Снегур выдвинул «гением современности» — лучший иллюстратор Москвы, представлен у

Костакиса. Я молча выжидал, ухмыляясь. Носатая Кристина разговор храбро потянула на себя:

— Ну, если гений — поехали, посмотрим!

Брюнетка Рут в испуге осмотрелась, но не возразила.

Иностранки запихнули нас на заднее сиденье крохотного «рено» и понеслись к Филям.

Я держал четыре «стенки» в Москве — у прокурора, у Акимыча, у журналиста Бори Марушкина и у Снегура.

На «стенке» Снегура висел большой холст «Драка, или Око за око».

Свои вещи, сделанные под управлением Белютина, Снегур стеснительно задвинул под диван и не показывал.

— Молоток! Тре-тре жоли! — мешая жаргон с французским, призналась Кристина.

— Да, красиво! — добавила Рут. — Хочу видеть с мужем!

Мы пили коньяк, курили, болтали обо всем на свете и расстались как старые друзья.

Деловые встречи следовали одна за другой. Ровно через три дня я позвонил блондинке и назначил ей свидание у «стенки Акимыча». Она приехала с мужем, красиво одетым американцем Робертом (Бод для своих) Коренгольдом. У меня они сразу отобрали «Лысого короля птиц» за 200 рублей. Я с благодарностью завернул их в конуру Эда, где они сняли у него «Варвару» за 150 рублей. В то время как шел просмотр его творчества, в гостиной появился Акимыч. Хозяин был в ударе и сыпал анекдотами самого высшего полета. Хозяйка заварила чай с баранками. Эд хлебнул виски и обнял Кристину за плечи, гости сияли на седьмом небе. Напоследок Акимыч вытащил из заглашика альманах «Тарусские страницы» и торжественно подписал в подарок.

Шутка ли — сам редактор дает автограф!

Моя операция с иностранной парой увенчалась полным успехом.

Через несколько дней к «стенке Снегура» явилась Рут с мужем. Он отлично говорил по-русски и считал себя по-

томком декабриста Данилова. Оказывается, был и такой заговорщик в царской гвардии.

Даниловы увезли сразу две картины.

На третьем иностранце, журналист ЮПИ Фред Аксельбанк, я сорвался. Этот жадина хотел все знать и ничего не покупал.

Игоря Снегура волновал не торг, а западный шарм — красивые пиджаки и свитера, парижские духи и надежные автомобили. Он готов был возить иностранцев по самым злачным местам Москвы и Подмосковья, и никогда не расставаться с ними. Он перебросил нахала Аксельбанка в подвалы Смоленки — Амальрик, Плавинский, Куклис — и только твердокаменный Андрей Амальрик смог выжать из него «дипломатический чемодан» для переправки запрещенных сочинений.

Много лет спустя Кристина Коренгольд поведала мне семейный секрет. Ее муж неделю не спал, ожидая разбитого стекла или проколотой шины. До личной встречи с Акимычем он считал, что его жену закадрили «советские органы».

Надо сказать, что иностранцы, работавшие в Москве, знали много секретов, шитых белыми нитками. Ведь нашими меценатами были Костакис, Н.А. Стивенс и Виктор Луи, советские люди на хорошем счету.

«Тихо, товарищи! Как известно, главные члены предложения к старости сохнут на корню в период течки, а зимовка скота и летне-лагерное содержание рабочих, крестьян и служащих происходит в красных уголках сезона, — одни ведут дневники за круглым столом, а другие без знака качества пасутся на толчке».

* * *

Илья Ефимович Репин в своих замечательных мемуарах описывает совершенно сказочные вещи.

«Через всю залу ставили огромный стол, уставленный бумагой, красками, карандашами и всякими художествен-

ными принадлежностями. Желаящий выбирал себе по вкусу материал и работал что в голову приходило.

О такой роскоши былого и «проклятого прошлого» мы и не мечтали. Карандаши и бумагу продавали в одном месте и по специальным билетам «Союза советских художников», причем так дорого, что приходилось самим из папок строгать подрамники и натягивать мешковину или бортовку, бывавшую в свободной продаже. На краски очень плохого качества уходили все деньги. И как результат недостатков — убогий вид андеграунда: клочки, бумажки, трещины и гвозди. Большие картины самого претенциозного, претендующего на значительность Олега Целкова походили на вокзальные афиши, а тщательно нарисованные гвозди с тенями лишней раз напоминали о всеобщей нищете и показухе.

В официальном искусстве стояла непролазная сытость и скука.

Мастеровые всех мастей, сызмальства обученные стоять по стойке смирно и холуйствовать, жили с запасом свинины, капусты, жен, потомства.

Художники, порвавшие с фарсом официальной лжи, строили свое будущее на диком сквозняке, очищавшем души и совесть. Мы заранее отвергали земные поклоны, которые отбивали строители «вечного реализма», вымалывая у властей раздвинуть его пошире. Убогая драка футуристов, незаменимых учителей пролетариата, раздражала нас своими дурацкими манифестами и револьверами, с помощью которых они пытались навязать свои ценности.

Образцом вольного творчества, артистической воли и безудержного упрямства нам служили не русские новаторы 20-х годов, а сумасшедший голландец Ван Гог, пьяница Тулуз-Лотрек, наркоман Модильяни, вообще богема старой Европы.

Нас совершенно не волновал выход искусства на стены музеев, церквей, клубов, школ, публичных мест.

Пусть будет вечная нищета и полная независимость.

Только в богеме спасение от растрепания душ, благословенная свобода, от которой гложут слабые и выживают фанатики.

В этом богемном мире были люди неуравновешенные, психически неустойчивые, потерявшие связь с действительностью, подменившие окружающий мир бредовыми выдумками собственной выделки, но не они определяли ход событий. Художественный авангард держался на богатырских натурах, расчетливо и упорно управлявших своим делом, — Миша Шварцман, Лев Нуссберг, Илья Кабаков, Володя Янкилевский, Володя Вейсберг, Эрик Булатов, Иван Чуйков.

* * *

Икона — моя давняя любовь.

Ее духовных и пластических богатств хватало на всех. Ее давно и успешно обирали художники всех направлений. Символисты (Нестеров) забрали настроение, формалисты (Малевич) — цвет, мистики (Шварцман) — поверхность, но множество секретов оставались нераскрытыми.

Изучая русскую икону, я обратил внимание на особое пространство, метафизический слой атмосферы, разделяющий изображение и зрителя. Сначала я думал, что это остатки темной олифы и долголетняя копоть создают таинственный тон, но, осматривая только что очищенные реставраторами шедевры — «Георгий на черном коне», например! — это светоносное пространство было еще яснее. Мягкий, зеленоватый санкир, единое вибрирующее свечение жило само по себе.

В серии «королей» 1962—1963 годов я вводил лессировку частями, как это делал Сезанн в свое время, и лишь в 1964-м, случайно опрокинув лессировочный флакон на изображение, я обнаружил новый тон картины.

Самая яркая киноварь погасла, «присмирела». Оказалось, что непостижимое сфумато иконы создается лес-

сировкой! Нежные оттенки, изысканные приглушенные тона и воздушный слой над ними создает трехслойная лессировка!

Первые вещи с трехслойной лессировкой и киноварные буквы я ввел в конце 1963 года — подготовительные вещи есть в Музее Бар Гера, — а с 1964-го и до 1967-го включительно я работал в приглушенных красках — неяркие умбры и сажи земляного происхождения, с оттенками лиловых, серебристо-зеленых и белых.

Удержать находку у себя в условиях богемной жизни — задача невыполнимая, да и ненужная. На выставке в клубе «Дружба» в 1967 году я обнаружил, что мои коллеги Лида Мастеркова и ее муж Володя Немухин ловко воспользовались моей находкой и выдали за свое. Оборотить беззащитного коллегу считалось не плагиатом, а молодецким присвоением краденого. Я им, людям очень далеким от иконы, уступил первенство и занялся новыми розысками.

Вот вам и самиздат!

А где мои деньги?

2. Вызов Феди Поленова

Я привык к пещерному образу жизни. Ночевки на вокзалах, чердаках и сараях, в куче мусора и под роялем никогда меня не смущали и не пугали. Чувство смерти мне было неизвестно. Я жил, изматывая силы в дурно организованном быту, измываясь над старостью, болезнями, семьей. Весь ритм жизни походил на бег без передышки и молитвы. Черета безумных ночей и дней, пьяные склоки и любовные потехи без привязи и обязательств превращали мир в одну сплошную лажу.

Я — мученик, страстотерпец и преподобный, а если кто возражает, то поднимем на смех и прогоним прочь.

Асю Лапидус я держал при себе. Она делала все возможное, чтобы обезвредить человека с дарованием от гибели в богеме. Она строила кооператив с балкончиком. Мы строи-

ли планы, разглядывая птичек, воспрянувших после зимней спячки. Хольмберг мне дал понять, что дача продается, со Стешкой все кончено, и время собирать манатки.

Конопатая Ася улетела к морю, а я накатал письмо Феде Поленову, директору Музея имени В. Д. Поленова, внуку известного художника.

Знакомство с Федей было шапочным, на ответ я не надеялся, но он пришел через неделю, и с самым оптимистическим содержанием. Федор искал грамотного гида для музея, предлагал жалованье 60 рублей и жилье в новом, еще не отстроенном доме. Предложение Феде мне пришлось по душе. Я быстро упаковал чемодан и свернул в рулоны своих «королей».

С «эсэсовцем» С.Н. Хольмбергом мы расстались дружески, обещая не забывать друг друга. В подарок я оставил ему десяток метрового размера гуашей и уехал в Поленово.

* * *

Несмотря на мудрость академика живописи Василия Дмитриевича Поленова, коммунизм основательно потрепал его благородный клан самых высоких кровей. Светские манеры и просвещение мой Федя Поленов растерял в борьбе за кусок хлеба, но порода давала себя знать, он тянулся к перу сельского лирика: полянки и косогоры, заросшая кустами речка, половодье на Оке, сенокос, местный фольклор. Короткие рассказы о природе он составлял под руководством матерого «деревенщика» Юрки Казакова, жившего у него в отдельном флигеле, и печатал в Туле, которой подчинялся его музей. Потомок родовитых дворян был женат на моей брянской землячке, учившей детей в соседней деревне Бехово. Вера Федоровна благоволила ко мне и два или три раза угощала чаем.

На катер село пять пассажиров. Двое баб с мешками сразу спрятались в каюте, а трое поднялись на палубу, навстречу ветру и солнцу.

— Куда плывем, коллега? — спросил меня тип с наглой мордой.

— В Поленово, куда же еще? — ответил я, нехотя разглядывая мужика в замызганных краской штанах. Он подошел к дремавшей буфетчице, взял у нее горсть баранок, три стакана и вытащил из вещмешка бутылку водки.

— Пей, старик, и давай знакомиться — мой свояк Карлуша Фридман, а я Виктор Попков, оба живописцы.

О таком я слышал. Член комитета по Ленинским и Государственным премиям. Его картина «Строители Братской ГЭС» (1961) была сразу же приобретена Третьяковкой.

Витя Попков пил водку и давил в ладонях электрические лампочки, на удивление баб, сидевших на палубе с набитыми черным хлебом мешками. Его свояк Карлуша Фридман писал этюды волнистых берегов Оки. Я тоже представился живописцем и выпил за их здоровье.

— Чего-то я тебя нигде не видел? На молодежных бываешь? — живописцы уставились на меня в оба.

— Один раз был, на шестой.

— А, тебя ругал Михайлов — Апрель, Андронов, Воробьев! Это ты, что ль, формалист?

— Формалист, это я.

— А посмотреть можно, что ты рисуешь сейчас?

— Можно, — сказал я и дал телефон Поленова. — Приходите через месяц, покажу.

Я спустился в Поленово. Мои попутчики, горланя и прыгая на палубе, поплыли дальше к Велигожу. Оказалось, что они знают меня по картине «Дровосек» (1961) и ждут, когда я выдам подобный живописный шедевр. Такое признание моих способностей приятно удивило в «государственных лауреатах», водка шла в охотку, и адрес я дал с большим удовольствием.

Крапал дождик, по крутой, мокрой лестнице я поднялся к усадьбе и постучался к Феде Поленову. Он меня совсем не ждал и с удивлением воскликнул, словно мы виделись час, а не три года назад:

— Валя, ты же знаешь, работа у нас сезонная, летняя, да и дом не готов к зиме!

Федя ввел меня в заблуждение, но отступать было некуда.

Потомок громкой фамилии не играл из себя «дикого помещика», вел себя естественно, без выпендрежа, но что мне от этого. Близился вечер, а где ночевать? На горке, в голодном Бехове, — деревня без ларька и хлеба, — люди сдавали веранды и катухи, но сезон близился к концу, и туристы разъезжались. Федя мямлил, юлил об оконном стекле, не пришедшем из Тулы, о плотниках, пропивших доски, об отсутствии опытных гидов.

Подошел плотник.

— Федор Митрич, елы-палы, магарыч обещали, обещали.

Федя сунул ему грязный трояк и добавил:

— И так все лето, и каждый день!

Плотник удивился:

— Федор Митрич, дык, после рабочего дня, елы-палы!

Я поднялся в мастерскую академика, сел на табуретку гида и внимательно, и в который раз, осмотрел огромную картину «Христос и грешница», всегда поражавшую меня документальной точностью обстановки и костюмов еврейских типов времен Христа. Настоящее «окно в природу» первого века нашей эры.

— Если хочешь, приходи весной, — сказал мне наутро Федя, облаченный в поношенную тельняшку и с картузом на затылке, — шестьдесят рублей и прописка на три месяца, не больше.

Я простился с лириком и поплелся к тарусскому перевозу.

* * *

Настала снежная зима 1964 года. Трескучий мороз и полусубки. Москва наполнилась слухами о таинственных

«кинетах». Пригласительный билет один, приходят пятеро! Одиннадцатого декабря молодые любители новизны и скандалов: Миша Левидов и Ася Лапидус, Ирка Гробман и автор этих строк вышли из гостеприимного дома Акимыча на Сухаревке и гурьбой поплелись в Марьину рощу — клуб «Диск», улица Марьинская, 23, — на выставку кинетистов-орнаменталистов. У обросшего льдом крыльца толкались люди, пытаясь пролезть первыми и побыстрее. То, что мы увидели, превзошло все наши скептические прогнозы. Это были не орнаменты, а невиданный ранее и небывалый праздник искусства в сермяжной Москве, а теперь, кажется, и в Европе. Все пространство клуба «Диск» Лева Нуссберг с учениками-кинетами превратил в единый художественный и музыкальный лабиринт, от полу до потолка, от стены к стене рассеченный ярким ослепительным светом всевозможной конфигурации. Невиданные геометрические структуры и ажурные конструкции сверкали, крутились и пели, создавая гармонический мир нездешней красоты!

В отсеках запомнились работы Риммы Заневской, «Воло» Акулинина, Паки Инфанте, Вити Степанова, Гены Нейштадта. Сам лидер был представлен полсотней геометрических абстракций, — планы будущих «эстетических структур» и светящийся, поющий «Марс», вращающийся под потолком.

— Кто они такие? — обратился к нам суровый старик с медалью на потертом мундире.

— Это кинетисты, это «Движение»! — отвечал все знавший Левидов.

— Шо цэ такэ кинетисты?

«Движение, это душа и сердце искусства!» — непререкаемо определил Лев Нуссберг.

Знаменитый американский художник Александр Кальдер вышел из абстрактной скульптуры. Его металлические лопасти типа воздушных винтов, с применением цепей и тросов, в пятидесятые годы стали классикой мобильной

конструкции. Венгерский эмигрант Никлас Шоффер, практик и теоретик движения в искусстве, мечтал о трехсотметровой крутящейся башне. Немец Хайнц Макс создал динамические объекты из органических зеркал и синтетических материалов. Поляк Петр Ковальский отлично управлялся с неоновым светом. Функционализм Бакка Фуллера был строго прикладным и отлично вписывался в пространство индустриальной архитектуры. Швейцарец Жан Тингели внес в кинетику абсурд и юмор.

Коллектив Нуссберга «Движение» шел плечо к плечу с мировыми экспериментаторами кинетизма, что было явлением чрезвычайно в твердыне вечного и нерушимого академизма.

Кинеты Нуссберга ворвались в искусство с черного хода, под прикрытием молодежных клубов, и сражались на два фронта: за признание в советской культуре и за законное место в мировом искусстве, используя открытые и конспиративные формы действий.

В пояснительных статьях, манифестах и беседах с учениками Нуссберг тонко и хитро применял различную тактику. Советскому начальству он внушал мысль о прикладном характере нового течения, способного украсить быт трудящихся, а западной прессе «Движение» подавал как авангард новой культуры, как новое мировоззрение, «духовный костер будущих поколений», что для идеологов коммунизма звучало опасным бредом буржуазного утопизма.

В гастрономе на Кутузовском проспекте мы отоварились шампанским, закусками и сладостями. Игорь Снегур щелкнул пальцем, подрулил таксист, и мы понеслись в метель на Таганку.

— Приехал свататься! — с порога сказал он молодой женщине, затянутой в джинсы.

— Лена Лебедева, — представилась женщина и полезла целоваться.

Хозяйка меня потрясла. После первого бокала шампанского она забралась на стол и пустилась в пляс. Мне

казалось, что весь танец живота под гудеж мага целиком обращен ко мне, потому что Снегур гремел сковородой на кухне и пел свое.

Изнуренный бессонницей и мистическими танцами Лебедевой, я задремал на диване и, не помню как, сбежал от наваждения в Тарусу.

Под новый 1965 год я сидел у писателя А.И. Шеметова, в компании Юрия Казакова и его невесты, как вдруг звякнул телефон. В тарусской гостинице меня ждала Лена Лебедева с друзьями. Я позвал их в дом Акимыча, где ночевал. Пока я бежал по темным улицам, они уже стояли у ворот.

При ярком свете пригляделись и представились, расселись и выпили. Часов до трех ночи я читал свои «поэмы в прозе» о погасших свечах. В ладоши хлопала не Лена, обнимавшая спутника, а Наталья Полянская, женщина с певучим голосом.

Набравшись храбрости, я выпалил:

— Лена ложится с Алексеем на диване, а ты со мной на кровать.

Красавица даже бровью не повела, мгновенно разделась и улеглась к стене. Я прижался, сдернул бюстгальтер, она вскрикнула, из груди брызнуло материнское молоко.

— Извини, Валя, — всплакнула красавица, — я — кормящая мать! Моя дочка кукует с бабушкой, а я, сука, развлекаюсь в Тарусе!

Утром явилось солнце, и мы гуляли по улицам снежной Тарусы.

Мужчина оказался прирожденным краснобаем и говорил красиво и без умолку. Наталья не отходила ни на шаг и шептала:

— Валечка, солнышко, ты меня не бросишь?

После отъезда гостей я ходил сам не свой.

3. Кормящая мать Полянская

В начале 60-х за встречу с иностранцами уже не сажали в тюрьму. За ними охотились фарцовщики, художники, авантюристы.

Почему художники?

Московские иностранцы, главным образом дипломаты и журналисты западных стран, к величайшему удовольствию артистов подполья, проявили необъяснимый интерес к их экспериментам. Бум на подпольные работы возник в Москве и сразу был локализован властями в политических целях. Видные пункты встреч — квартира Костакиса, дом Стивенсов, барак Лианозово, дача Виктора Луи, башня Глазунова, студия Белютина, академия Васьки-Фонарщика и, конечно, подвалы и чердаки андеграунда — оказались под колпаком наблюдения всевидящего ока Органов. Множество смешанных браков, особенно с африканскими студентами Института им. Патриса Лумумбы, уже никого не удивляло.

В охоте на иностранца я не принимал участия. Он сам шел на меня. Я к нему притерся еще с вгиковской курилки, не шараялся от страха, а охотно открывал двери, если он желал войти.

Купеческий дом Нины Андреевны Стивенс на Зацепе основательно прибрали к рукам «профессор всех профессоров» Василий Яковлевич Ситников, пожилой самоучка, учивший желающих рисовать сапожной щеткой, и его приятель Владимир Алексеевич Мороз, московский маклак с высокими связями.

Страна чудес и абсурда!

Частную академию в Советской стране — неправдоподобно режет слух, да еще в годы незаконных репрессий и погромов космополитов, — «тяжело психбольной с детства» любитель рисования Вася Ситников, прошедший Казанскую психтюрьму 1941—1944 годов, открывает на дому. Безумную авантюру не задушили налогами, как швейное

ателье моей матери в 1948 году, не прихлопнули уголовным кодексом, а пропустили жить без профессионального диплома. Высокие связи Мороза способствовали популярности этого странного учреждения, не то лечебницы для шизофреников, не то рисовальной школы.

Первые ученики академии, придурки войны и любители рисования, не прятались от властей и людей и рисовали открыто на коммунальной кухне, на лестнице, в проходе, во дворе. Дворники резались в домино. Дворовые сплетницы вязали шапки, полуживая семечки. Участковый милиционер охотно делился своими взглядами на искусство, не зная, как поступить с нарушителем порядка.

К Ваське-Фонарику тянулись обездоленные люди и скучающие вольнослушатели, как Лидия Вертинская, жена знаменитого барда. Поговаривали, что учитель, жестокий деспот и гипнотизер, владел свободой, но был навечно лишен гражданства.

Психиатр Виктор Райков усидчиво рисовал «шар» по воображению и записывал мысли учителя:

«Начинать надо с конца работы не методом академиков, запутывая результат, а быстро располагая планы с передними точками, обращенными к зрителю, а затем отбрасывая все выпуклости форм по порядку сверху донизу, выправляя мелкие детали в различных местах, даже не связанные между собой единым рисунком».

В это вшивое и опасное время, 1950—1953 годы, сложился и выразительный облик, яркая внешность В.Я.С. — густо заросший щетиной, с крупным носом и ястребиным взглядом, с пружинистой походкой физкультурника, в узких, обтягивающих крепкие ноги джинсах. в красной тенниске со множеством дыр, с кучей ключей, бренчавших на шее.

Бывшая ученица Позель Амальрик вспоминает:

«Это было для меня чудо, спущенное с небес, а может быть, из самого ада».

«Искусство — это лечение от поноса!» — любил повторять В.Я.С.

Это была не только школа рисования, а особый институт труда и жизни, терапия для одаренных и бездарных психопатов с манией величия и тяжелыми сексуальными комплексами, курсы практической тренировки, психоанализ на службе искусств, и наоборот. Один прямой, как палка, метод — день и ночь рисовать «волшебную дымку», и никаких книг и рассуждений.

Василий Яковлевич собирал вещи. Профессиональный барахольщик. Он тащил к себе ржавые гвозди и ковры, иконы и обувь, корейский вельвет и японскую чесучу, речные байдарки и вологодские прялки, пустые бутылки и старинные книги, жевательную резинку и ватманскую бумагу.

О Владимире Алексеевиче Морозе, ставшем долголетним опекуном и духовником В.Я.С., следует рассказать отдельно.

Сын выдающихся советских чиновников, он постоянно крутился в верхах столичного общества, среди видных военных, музыкантов, танцоров, журналистов. Обладая очень привлекательной внешностью хорошо ухоженного, голубоглазого барчука, приятными манерами и необходимым набором познаний, чарующих женщин, он везде был нужным и проверенным человеком. И в салоне Генриха Нейгауза, и на даче маршала Тимошенко, и на даче Ванды Василевской, и в ресторане «Националь» он считался своим в доску.

Что привело молодого советского парня в логово шизофреника Ситникова, остается малоизученным, но, пренебрегая фактами, мы рискнем объяснить метафизически.

Когда в казенную мастерскую живописцев солдатских обносков и тряпья не входит, а влетает, как вихорь, молодец в туго обтянутых джинсах, то поневоле залюбуешься «литым, сделанным из бронзы телом йога» (по Гюзель Амальрик), а первокурсник Володя Мороз просто обомлел, как обомлела татарка Гюзель.

Любовь с первого взгляда!

Студент «Сурика», где В.Я. состоял завфонарем профессора Алпатова, не спускал с божественного фонарщика взгляда, копируя повадки, говор, дело. Стоило божеству заикнуться о канадских сапогах, как они стояли в Рыбниковском. Любой каприз, любой приказ кумира выполнялся сразу и беспрекословно. Студент Мороз бросил посещение «Сурика», превратившись в раба деревенского деспота. Дружба перешла в деловое сотрудничество. В голову влюбленного раба пришла еретическая идея — выставить произведения «академии» на публичное обсуждение. Первую выставку они сделали в клубе Института труда и гигиены.

Поглядеть на деятельность способных шизофреников пришли известные ученые, отцы русской психиатрии, академик А.В. Снежневский, врач Цецилия Файнберг, профессор И.Г. Иткин, представитель «Сурика» М.В. Алпатов и вся московская знать под водительством Мороза, где отличилась поэтесса Агния Барто, повсюду повторявшая: «Какой эпический талант! Нет, вы посмотрите — какой эпический талант!»

Врач Виктор Райков, большой поклонник метода Ситникова — «гроша мне не заплативший Иуда» (по Ситникову) — и покровитель московского новаторства — лучшее собрание гуашей В.И. Яковлева у него! — самыми яркими красками описывает появление Васьки-Фонарщика в закрытом клубе:

«Вася не вошел, а ворвался в зал. На нем блистали хромовые голенища сапог, пальто заморского покроя он перевязал пеньковой веревкой, а на голове красовалась черная шляпа времен Пушкина. За ним плелся выводок девиц, похожих на пестрых матрешек. Он как нож рассек толпу начальства и не переставал выкрикивать непристойные ругательства».

(«Это сквернословие, — объясняет В.Я.С., — от счастливой и безумной радости бытия!»)

1955 год стал поворотным в жизни художника и педагога. Посещая сокровища Дрезденской галереи с «бездарным тупым долбоебом Сезанном» и «божественного происхождения Леонардо», он познакомился с любопытной Ниной Андреевной Стивенс.

Знакомство закрутили в озорном духе. Русской иностранке показали академика с иконами и коврами, а затем навеселе покатали на Зацепу, 22, где в старинном деревянном доме жили новая знакомая и ее муж, американец Эдмонд Стивенс, с 34-го года живший в советской России. Он разлил русским гостям виски, о котором Вася слышал, но никогда не пробовал.

Встреча закончилась тем, что подвыпивший Эдмонд, прямо в лоб, без обиняков и по-человечески спросил:

— Вы же русский художник, где же монастыри?

Подобных заявок В.Я.С. никогда не слышал. Профессора «Сурика», где он заряжал фонарь искусствоведения, обычно спрашивали: «Где положительный герой? А где светотень? А где оптимизм? А где блик?»

Позднее Ситников вспоминал этот разговор: «Сам Господь Бог приоткрыл мне занавеску!»

Это был первый иностранный заказ.

Художник обещал американцу «монастырь», но просил не торопить год или два. Он начал с того, что обошел все музеи Москвы, перелистал все книги и каталоги — в стране монастырей монастыри не рисовали! Иногда кусок монастырской стены (Репин), иногда кресты небрежными мазками (Васнецов), иногда погост на горизонте (Левитан).

Американец знал, о чем говорит.

Терзайся, кретин!

Раз ученик Сашка Харитонов, «чернорабочий хам и алкаш Сашка», принес на урок селедку, завернутую в плакат с изображением токарного станка. Засаленное изображение «для меня оказалось дороже мешка алмазов», вспомнил В.Я.С. «Чертежник изображал станок в ортогональной

проекции, с птичьего полета, а на его месте я сразу увидел свой монастырь!»

Яркие купола, оживленная толпа внутри и снаружи, стая ворон и сверху «гладь вышивального, наигустейшего, одуряющей красоты мельчайшего снегопада» (В.Я.С.).

«Мой первый монастырь оказался враз бестселлером!»

В доме Стивенсов, где картину повесили для обозрения, постоянно толпились изумленные иностранцы, послы, бизнесмены, журналисты, туристы, аспиранты.

Ничего подобного русские художники не производили.

Шизофреник без паспорта стал сразу знаменит. О нем говорили больше, чем о Пикассо и Глазунове, выступавших в Москве одновременно.

«Обломилась краюха счастья!»

На ажурные «монастыри» образовалась очередь желающих. За них платили хорошие деньги. Зажиточные иностранцы вносили свои рыночные поправки в товарообмен и торговлю. К Васе в Рыбниковский переулок устремилась «вся Москва», желавшая соприкоснуться и поглазеть на необыкновенного учителя без официального диплома. Ехали со всех концов огромной страны за советом и помощью. Весной 1959 года к нему настойчиво попросились на ночевку. Девушка из Судака, без гроша в кармане, не знала, где прислонить голову. Лида Хованская мечтала стать художницей и прописаться в Москве. Привел психбольной воинственный вор Свет Афанасьев, «чуждая мне ма-нера письма».

С 1951 года В.Я.С. не выбирался из Москвы, и боялся, и не желал. Крымская квартирантка сломала его волю и страх. Оказалось, что у нее дом над голубым морем, и не где-нибудь, а в Коктебеле, и не чей-то, а поэта Макса Волошина. Васю с детства неудержимо манили скалы, корабли и море, как Робинзона Крузо и Лемюзля Гулливера. Упустить такой случай он не смел и согласился на поездку.

Девица Хованская слегка наврала. Дом поэта в поселке Планерское назывался «Дом творчества советских пи-

сателей», и ее мать не отдыхала у моря, а служила поварихой в писательской столовой. Хованская рисовала с натуры, Ситников купался и смотрел на горизонт. Спали в сарае друг на друге. Пока Вася загорал, а сестра Тамара, как нарочно, вылетела в Берлин, московскую квартиру ограбили, причем воры утащили не только ковры, иконы, прялки, но незаконченный, заказной «монастырь».

На квартирной краже напасти не закончились. Едва придя в себя (месяц в клинике Виктора Райкова), он потащился с Позель и Инной Вигоградской на дурацкую выставку в Манеж, где показывали художников соцстран. Появился и «правительственный табун» с министром культуры во главе. «Табун» сделал круг почета и затормозил у абстрактных картин Ксаверия Дуниковского. Следуя либеральной моде той поры, министр Н.А. Михайлов обратился за разъяснением не к советнику, а к человеку из толпы.

— А зачем ослу объяснять искусство, — резко отрезал Васька-Фонарщик, — ведь осел не нуждается в нем!

Вечер досидели в мастерской скульптора Дмитрия Филипповича Цаплина, с восторгом жавшего руку герою, а наутро В.Я.С. получил распоряжение ректора «Сурика» Модорова об отчислении с работы, где он служил 15 лет, заряжая фонарь на кафедре искусствоведения.

Пенсия — 28 рублей, за гибель отца — 15 рублей и фонарь — 40 рублей.

В декабре 59-го его лишили основного жизненного дохода.

Выходка кривой судьбы!

Нелегальный журналист В.Н. Осипов («Бумеранг», 1960), опрашивая В.Я.С., спросил об артистическом кредо художника.

«В степи едет телега, я лежу на спине, задрав ногу на ногу, и горланю веселую песню — вот мое кредо искусства».

Отставного фонарщика спасли иностранцы.

В 60-х годах в Москве образовался уродливый рынок подпольного искусства, главным образом связанный с

иностранным покупателем. Кучка враждующих кружков, обливая друг друга грязью, устремилась на дешевый и запретный торг. Покровительство грека Г.Д. Костакиса, изредка покупавшего акварели Зверева, основательно подстрекало соревнование коллекционеров. Васька-Фонарщик стал многолетним консультантом Стивенсов, собиравших огромное количество трущобных произведений.

С 1963 года у В.Я.С. начался затяжной роман со школьницей Ликой Крохиной, но до этого он сменил квартиру, где образовалась «вторая академия художеств» по адресу Малая Лубянка, дом 10, комната 47.

«Моя академия — это наилучшее лечение от авитаминозного поноса!»

Обеспечив себе «дом на слом», лекарь без диплома и студент Мороз вышли на разведку с запасом сухого пайка.

Пионерский отряд ушел далеко в лес на розыски партизанской землянки, опустевший лагерь охраняли Лика Крохина и пентюх в очках, то и дело пускавший слюни. Днем школьники скребли песком грязные кастрюли, а ночью сладострастно пыхтели в палатке, не собираясь кончать любовной потехи. Не выдавая своего присутствия в лагере, Вася и Мороз вынесли ночную пытку до конца, а на рассвете сели на первый катер и вернулись в Москву с вдребезги разбитой гордостью.

Шкодливая школьница Крохина надолго разделила ложе художника (1963—1970 годы), с «блядством при первом удобном случае» (дневник В.Я.С. от 02.06.1963). Он одевал ее в дорогие меха и, конечно, фирменные шмотки. Ее сумка и карманы были набиты деньгами. В двадцать лет она гоняла на автомобиле в пешеходной Москве. У нее начисто отсутствовало чувство страха, свойственное всем подпольщикам без исключения. В гости к иностранцам она приезжала с такой наглостью, что постовому милиционеру казалось, что явился не проходимец без паспорта, а посол иностранной державы с молодой женой.

Почитатели советской власти чаще всего преувеличивают репрессивное могущество Кремля. Старомодная, многолюдная, неповоротливая разведка грубо опутала андеграунд, коллеги по искусству охотно доносили друг на друга, чтобы удержаться у кормушки «дипарта» подольше и загрести побольше, но промахи дряхлого режима были так велики, что его вождей надо было не награждать, а убивать за разложение пролетарского государства.

Миф о духовном и физическом слабосилии подполья раздули актеры «вечного реализма», академики и бюрократы официального изофронта, на своем брюхе испытывавшие голод равноправия.

Васька-Фонарщик и его опекун В.А. Мороз, не прерывавшие деловых связей, обладали самостоятельной и совершенной сетью сыщиков и стукачей, приносивших самую сверхсекретную информацию московских салонов и тайных дыр, от лодочной станции в Химках и самочувствия Эдмонда Стивенса до последней зарплаты Костакиса и любовных походов Святослава Рихтера.

В 60-е годы приобретение и перепродажа древностей принял размеры циклопические. Не было ни одного «порядочного дома», где бы не возвышалась «иконная стенка». Выход на иностранца с таким товаром обещал хорошую прибыль, и ключевое положение участника «дипарта» подходило для этой цели как нельзя лучше. За короткое время В.Я.С., владевший «пугающих размеров» складом русских древностей, заработал огромные суммы денег, орудуя на черном рынке с помощью подставных маклеров.

Вот тебе и сухая кисть и только ребром щетина!

В январе 1965 года Полянская мне сказала:

— Я иду на урок к Васе-Фонарщику. Если хочешь, пойдем со мной, но захвати картинку, он не любит пустых посетителей.

Кратчайшими дворами мы прошли к старому двухэтажному зданию на Малой Лубянке, окна в окна с генштабом государственной безопасности, и по скрипучей

кривой лестнице поднялись к Ситникову. Наталья села на кухне штукатурить свой урок, а моя картонка немедленно оказалась в руках хозяина.

— Это ваша работа? — спросил В.Я.С., обнюхивая картонку со всех сторон. Я молча кивнул. — Вы гений! Вы пишете лучше Сергея Арамыча Есаяна, а он-то гений всех гениев колорита и тона. Оставьте работу у меня, я хочу у вас поучиться.

Такой неожиданный грабеж среди бела дня мне показался слишком быстрым и наглым, но Наталья и пара ее соседей участливо улыбались, и вещь я нехотя отдал.

— Я вас прославлю на весь мир, — гордо вытянувшись и задрав кверху бороду, сказал Вася. — Мои американские друзья издадут книгу в цветном виде, и там будет помещена ваша репродукция!

В.Я.С. не наврал. Через год появилась книжка Мида и Чеклоши, где разместили и мою картинку, почему-то с подписью «анонимный автор».

* * *

В Тарусе я снял отдельный дом перевозчика Фатова на крутой горе. С крыльца можно было наблюдать, как двинулся ледоход на Оке, кто приехал к Яну Левинштейну и сколько водки выпил хозяин, живший на противоположной стороне улицы.

С дикой, новогодней ночи начался мой роман с кормящей матерью Полянкой. Если я выбирался в Москву, то заходил в издательство, к друзьям и к Полянской, жившей в коммунальном бараке в Кунцево. Невыносимо мерзкая обстановка с соседом-пекарем-слесарем-шофером. От страха трясется ее мать, плачет дочка.

Мне она писала каждый день:

«Валя, солнышко, целую, хочу видеть!»

Мой напарник Снегур появился в Тарусе в мае. Он снял красивый дом с террасой, где некогда работал вели-

кий Н.М. Крымов. На ограде можно было обнаружить куски засохшей масляной краски с палитры Крымова. Встречались мы несколько раз в день, дома располагались на одной горке.

Открыв загадочное сфумато иконы, я с радостью красил маслом.

Приходили Снегур, Эд Штейнберг, Левинштейн, Валетов, Синицын и угрюмо рассматривали мои вещи, полные формальной новизны.

— Так у нас никто не писал, — сквозь зубы признался Снегур.

Несправедливый и своевольный Эдик, ухмыляясь, ревниво откликнулся:

— Ну да, конечно никто!

Жизнь в деревне зимой чрезвычайно монотонна и скучна. Однообразен ритм быта — печка, вода, дрова, магазин, еда. И так до отупения. Чтение и рисование просыпаются весной, с прилетом грачей и цветением садов.

Каждый уикенд приезжала Наталья Полянская с битком набитой продуктами авоськой. Ее узнавали в автобусе, и приветствовал Фатов.

Почему я не выбрал себе невесту с приличным приданым?

Разве Галя Маневич или Ася Лapidус не славились модным гардеробом и почтенными родителями?

Мне хотелось бы держать их у себя, но так не бывает. Как издавна повелось, я пустил жизнь на самотек, где вынырнула кормящая мать с ребенком неизвестного отца.

4. Заметный художник

В Тарусе меня заметили.

Директор городского клуба товарищ Грибов заказал мне пару декоративных панно для украшения стен. Нижний этаж клуба пустовал, и мне отвели большой светлый зал для работы. Здание клуба располагалось рядом с пляжем. Я постоянно рисовал и до одури купался в речке, а потом отсыпался на собачьей подстилке у картин.

Приходили старые и новые друзья. Объявилась и пара учеников, Бугаевский и сын Паустовского. Мы кирили, трепались и плелись на танцы на Песочную (к Марине Цветаевой).

Через месяц из соседнего Велигожа, где окопались на этюды, явились живописцы Попков и Фридман. Опять пили перцовку и хвалили мои картинки. На мои опыты со «свечками» они заметили:

— Продается? — На что я ответил:

— Конечно, здесь все продается!

Витя Попков выбрал «Свечу» в зеленовато-палевом колорите и честно выложил пятьдесят рублей тут же.

Меня всегда удивляли покупки такого рода, когда один коллега покупает произведение другого. Вложить деньги в никому не нужное рисование тогда никому не приходило в голову, а вот тщательно изучить технику и приемы непрошеного конкурента — такое у нас бывало, и тут я не ошибся. В 1966-м Попков, руководивший «выставкомом», протащил пару моих картин в текстильный отдел выставки и сам их купил, что поразило официальных деятелей, не считавших меня за серьезного художника. Несколько лет спустя, на похоронах Попкова, Карлуша Фридман мне шепнул, что моя зеленая картинка постоянно стояла под мольбертом Попкова как образец для изучения.

Отпрыск российской знати Федя Поленов, давно игравший деревенского мужичка в тельняшке, приходил с Юрием Казаковым. Федя сожалел, что я не хочу у него работать, а потом махнул рукой и добавил:

— А может быть, так тебе лучше!

Снегур и я рисовали книжку рассказов Казакова «Проклятый север».

Я набрасывал общую композицию, а Снегур тушевал и чирикал пером.

Романтик Казаков, верный ученик И.А. Бунина, ничего не соображал в искусстве. Слепой беллетрист, на мои

опыты смотрел как баран на новые ворота, только поднимались вопросительные складки на голом лбу.

— Старик, бросай красить, давай выпьем!

Мой помощник Сашка Бугаевский сбегал за портвейном и разлил по стаканам.

Мы сразу опорожнили бутылку и закусили конфетой.

— Слушай, старик, скажи честно, что все это значит твоё рисование? Почему я ни хуя не понимаю?

Я сидел в тупике формализма, жечь сердца не умел, но таким знал, что сказать.

— Юрий Палыч, ишу трудности.

Казаков — грузный, лысый, в коротком и узком пиджаке сверх тельняшки походил на босяка из пьесы Горького. Портвейн он выпивал залпом, не отрываясь от стакана, кричал и сосал конфетку. Федя Поленов ему следовал во всем. На мои рисунки к его рассказам смотрел как медведь на зубную щетку.

— Да, старичок, я все вижу не так! — картавил писатель.

Днем, измучившись под солнцем, я спал часа два, пока не спадала жара, а вечером с инженером Микой Голышевым тащился на танцы в «дом отдыха».

Три года назад мачеха Мики, Лидия Григорьевна, купила у меня большую гуашь за 20 рублей. Гуашь поставили под стекло и повесили на видную стенку. Теперь я решил подарить небольшую, «квартирного размера» вещицу и его матери, Елене Михайловне, жившей в том же доме. Я выбрал «зеленое масло» с изображением пары мерцающих свечей. Мать, известная переводчица сочинений Эрнеста Хемингуэя и женщина передовых вкусов, с радостью приняла подарок и пригласила на ужин.

Здесь необходимо сказать кое-что об этой замечательной семье.

Елена Михайловна Голышева родилась в Бессарабии, в еврейском местечке, и с юных лет вошла в революцию. В 1922 году, в обозе известного анархиста батьки Махно, двадцатилетняя революционерка очутилась в Румынии.

Из пересыльной тюрьмы ей удалось добраться до Гамбурга и с пароходом эмигрантов пробраться за океан. Более десяти лет Елена жила в Америке, вышла замуж за советского патриота и вернулась в советскую Россию. В 1935 году муж Петр Иванович Голышев, имея техническое образование, получил место инженера авиационного завода, а Елена забавлялась переводами с английского на русский. Жили как все добровольные граждане коммунизма, от полочки до полочки, от партсобраний до тюрьмы. Рос сын Виктор (Мика), скончался тиран Сталин. Все облегченно вздохнули. В свои пятьдесят лет Елена Михайловна снова влюбилась, как гимназистка, в друга детства Колю Поташинского, сочинявшего пьесы под псевдонимом Оттен. Либеральный муж не только позволил развод, но и свел всех под одну крышу, женившись на ее приятельнице Лидии Григорьевне. В Тарусе построили дом на две половины, в одной жили Оттены, в другой Голышевы. Две террасы и два входа на общий огород.

Если писатель К.Г. Паустовский служил красивой витриной «прогрессивной партии», то настоящим ее мотором были Оттены и Голышевы.

С моим ровесником Микой я давно дружил и считал его самым замечательным, самым порядочным, самым верным человеком на земле.

Для моей кормящей матери Полянской прием в «доме Оттена» означал общественное признание и светскую победу. Она как следует почистила перышки, подмазала губы и ресницы и встала на городские каблуки, чтоб подтянуться повыше.

Мы вышли на люди под руки. На нас, сидя на лавках, смотрел весь город, от перевозчика Фатова до агентов Паустовского, дежуривших у глиняного горниста. Мы с честью вынесли взгляды и постучались к Оттенам. Нас встретил Мика с сияющей Еленой Михайловной. Чуть дальше вытянулся драматург Оттен-Поташинский.

Мой холст висел на почетной стене рядом с Тышлером.

— Наташа, где вас нашел этот охломон? — весело начала Е.М. после знакомства.

— Не он, а я его нашла.

— Что вы говорите, не может быть?

Через две секунды Полянскую уличили в еврействе, а через десять минут, определив уровень ее интеллигентности, признали своей.

Поскольку встреча тянулась до полуночи, я суммирую разговор пяти участников в сжатом виде.

— Елена, ты болтаешь глупости (Оттен), проза Тарсиса — беллетристика низшего пошиба, хуже Боборыкина. Я ему не раз говорил: Валерий, брось сочинять глупости, не воюй с ними на их территории. Псих не слушает! Шолохов? — антисемит и графоман! Юрка Казаков? — антисемит и пьяница. А «Бабий Яр» вы читали? Почитайте, смелая вещица, а писал тульский писатель, представляете! — Елена Михайловна, ужин готов (прислуга). — Наташа, сегодня у нас сосиски с картошкой, вы любите? (Е.М. — Н.П.) Вам пару или больше? Валь, ты ешь как следует, не чавкай за столом, охломон. — А как вы находите нашего Тышлера? (Оттен — мне.) — Красивая вещь, но Жорж Руо лучше. Там крепкое средиземноморское кредо, а здесь местечковый сон. (Я.) — Сноб несчастный! (Е.М. — мне.) — Где мы живем, в Барбизоне или Тарусе? (Победоносный смех Оттена.) — Мать, кончай базлать, сыграем в покер на башли. — А мне можно? (Н.П. — Мике.) — Наташ, естественно, можно.

Мы возвращались глухой ночью. Наталья голой прыгала в бочку с лягушками, а после визжала на подстилке, как следует выбивая из меня дурь.

— Боже мой, — шептала кормящая мать, разглядывая пятна на потолке, — как приятно жить без дум и денег.

Ко мне приехал Г.Д. Костакис. Точнее, он приехал известить племянника, жившего на даче Рихтера, но решил зайти ко мне.

Мой друг Эд Штейнберг за короткое время значительно продвинулся в живописи, от картинок вне времени в

голландском духе к изящным натюрмортам «камней и тряпок». Костакис пришел к нему и сделал взбучку.

— Вчера вы рисовали «баб» под Врубеля, а сегодня «камни» под Моранди, а что будет завтра — неизвестно! Нет, батюшка, так распылаться нельзя. Надо бить в одну точку, как бьет Анатолий Тимофеевич Зверев. Он уже выставляется в Париже, небось слышали?

На большую картину Бори Свешникова, изображавшую мужика с голой жопой, он меланхолически заметил:

— Борис Петрович — хороший человек, многое пережил, но это не живопись, а подкрашенная иллюстрация!

Досталось и мне.

— Валь, так дело не пойдет! Тебе пора успокоиться. Тебе сколько? Двадцать семь, но вот видишь! При чем здесь иконное сфумато. Я должен узнавать своего художника издалека и без обмана.

Блаженное лето, значит, 1965 года подходило к концу. Мои ученики Сашка Бугаевский и Лешка Паустовский вернулись в Москву. Товарищ Грибов выдал мне 60 рублей за декоративное панно, где я по его просьбе изобразил заокские дали и сенокос, и попросил очистить помещение. Я перебрался к Фатову. Кормящая мать, запустившая учебку в «Полиграфе», надолго застряла в Москве. Наступала осенняя скука и одиночество.

5. Фаршированный карп

В Москве Рут Малец мне сказала:

— Спасай Юльку Лубман! К ней поделяют алкаша!

В качестве спасителя человечества я себя никак не видел, но раз Рут решила, что я способен на такой подвиг, надо было соблюдать предписание.

После музыкального вечера у Мальцов, я проводил Юльку домой и наелся у нее фаршированного карпа в томатном маринаде. Мне разрешили переночевать, а утром 25 октября 1965 года мы пошли в ЗАГС оформлять бракосо-

четание, и нас расписали в присутствии Мальцов, Фрадких и Новицких. Таким образом, я спас Юльку от алкаша и вызвал дикий гнев кормящей матери. Свою месть и ревность она возмещала исторически проверенным способом — измена и разгул при первом удобном случае. Древний метод на мне не срабатывал. Я оказался плохой мавр Отеллю. О ее похождениях в Москве доходили лишь слухи, а появляясь в Тарусе, где я зимовал, она убегала к Мике, к Снегуру, к Эдику и возвращалась растрепанная как дворовая метла, с пустыми, осололевшими глазами.

Мой напарник Снегур достал сразу две книги о войне. Куча иллюстраций и пара цветных обложек.

При встрече Елена Михална Голышева спрашивала:

— Работа есть?

Отвечаю:

— Навалом!

— Главное, это работа! — повторяла она.

Снегур и я записались в тарусскую автошколу. Полили холодные дожди, и грязь держалась до заморозков. Мы рисовали и разбирали мотор тяжелого грузовика. Под руководством инструктора возили картошку с грязных полей под дырявую крышу. Четыре месяца мне платили стипендию и выдали странное «Свидетельство», где значилось: «Автомобиль (устройство, техническое обслуживание и ремонт) — «удовл.». Правила движения автомобильного транспорта — «зачет». Вождение автомобиля — «зачет». Присвоена квалификация шофера 3-го класса и выдано удостоверение шофера-профессионала № 746247 Госавтоинспекцией. Подпись. Документом на право управления автомобилем не служит».

Люди учились четыре часа и получали права на право вождения, а мне, после четырех месяцев изучения, выдали «корки» без права!

Со Снегуром мы работали два года. Когда мы с ним познакомились (1963), он совершенно меня очаровал, живо описывая занятия в студии Белютина. «Представляешь,

сидит пестрый, бабий курятник, а над ним возвышается роскошный петух — Белютин!»

Наш бесконечный треп об искусстве, литературе, политике, гульбища по ресторанам продолжались и в Тарусе, куда он приехал поближе ко мне и подселился в доме с чудным видом на заокские дали.

Он не только рисовал для издательств, но и красил в «экспрессивной манере» под диктовку Э.М. Белютина этакое среднеарифметическое месиво, где невозможно определить прямое заимствование и еще труднее уловить самобытность автора.

Незаконченная картина постоянно стояла на мольберте. Такое украшение нравилось девицам. К нему приходила натурщица, наголо стриженная девушка из швейной фабрики. Говорили, что ее заели вши и пришлось срезать пышную гриву.

Я встретил Полянскую 25 декабря на автостанции. Она явилась одетой не по сезону. Бумажный желтый плащ до колен, резиновые сапоги. Слава Богу, меховая шапка на голове и полная авоська продуктов. Не поднять. Как издавна повелось, мы долго грелись в постели, потом приготовили горячий ужин. Наталья читала Библию, по-своему и очень красочно комментируя Бытие.

Гусь вышел славный, картошка отлично пропеклась в гусяном сале. Ели и запивали московским пивом.

Я сказал ей, что в Тарусе совсем одичал и хочу в Москву.

— Валечка, — лукаво ухмыляясь, сказала она, — ты все устроишь как надо, я тебя знаю.

Вечером обходили друзей. Писатель А.И. Шеметов в присутствии Натальи, которая ему очень нравилась, обвинял меня в барских замашках и снобизме. У Эдика начался роман с Галей Маневич. Витя Синицын ублажал гиганта русской мысли Ирку Васич. Шрифтовик Генка Валетов, сокурсник Полянской, раздувал сапогом самовар. В доме чад, его подруга пряталась под подушкой. Видел Юрку Казакова с невестой, молчаливой и породистой особой.

Он протер толстые очки и долго смотрел на коленки кормящей матери.

Я уже заметил, что мой секрет с «московской пропиской» Снегур выдал Наталье. Сюрпризы начались в ночь под Новый год. Давно влюбленный в нее, он только и думал, как мне насолить. Впустив Наталью на крыльцо, передо мной он захлопнул дверь. Я видел сквозь шторку, что внутри сидели Васич с сыном и Витя Синицын. Полянская вошла и не вышла. Я сразу сообразил, что составлен заговор против меня.

Очевидно, 2 января кормящая мать уехала в Москву, со мной не простившись.

Стриженная ткачиха сказала мне, что Снегур всю ночь тогда выяснял отношения с Полянской. Меня смешали они с грязью, как последнего подонка.

Скверно я живу.

6. Подпольное дно Москвы

В мутной московской богеме парижский эстет Игорь Маркевич откопал героя, — Толя Зверев, тяжелобольной юродивый, ненавидевший здоровых и больных, женщин и детей, бедных и богатых. После выставки в Париже и Женеве культ Зверева в Москве затмил потускневших Глазунова и Рабина. Живописец вошел в моду и нарасхват. С помощью Костакиса и Маркевича образ великого бродячего артиста, народного самородка отшлифовали как золотой червонец.

Попробуй заикнись, что Толя Зверев — обыватель мещанской жизни, скопидом и трус, тебя затопчут копытами и так утопят, откуда никогда не вылезешь.

Семья прокурора не избежала молного поветрия. Зверев срисовывал всех поочередно. Я застал его в сеансе портретирования. В кресле сидела «фрау» Эстер в белоснежной блузке с бантом на шее. Живописец, сидевший напротив, смолил вонючую сигару, сбрасывая пепел в ведро с водой.

После часового перформанса на бумаге возник акварельный, расплывчатый фас, с едва уловимым сходством и жирным красным бантом посередине. Зверев сощурился, кухонным ножом сделал две-три дугообразных черты и расписался большими буквами «А.З.». Все пять портретов анфас, лихо сработанные в один присест, очень отдаленно напоминали живых персонажей, но представляли определенный интерес, как упражнение экспрессивного характера. За ловкую работу Зверев получил триста рублей наличными и предложил мне:

— Давай сложимся?

Я удивился. Человек заработал кучу денег и просил два рубля на водку, но дал. А.З. купил бутылку водки и шесть бутылок пива за свой счет.

— Пойдем к Ваське (В.Я.С.), посидим на кухне, — предложил он.

— Опять вы! Зверев, — сурово встретил нас В.Я.С., — я ведь сказал вам, не приходите в пьяном виде.

— Сегодня у меня получка, Василь Яклич, угощайтесь, — пропустил он мимо ушей угрозы хозяина.

— Воробьев, с кем вы связались? Это же пьянчуга, и в живописи дристун! Зверев, оставьте мне бутылку пива, я сейчас вернусь.

Мы выпили по стакану водки и закусили солеными огурцами. Вернулся Васька-Фонарщик с книжкой в руках. Отпил из горла пивка и показал книжку.

— Василь Яклич, — начал я, разглядывая ее, — что же вы меня поместили в анонимные художники?

— Мои ребята пошли к Егорию Дионисьевичу, а тот им дал мудрый совет — за молодых я боюсь, поставьте их анонимно. Так и порешили.

Васьки-Фонарщика грек боялся, а из нас он лепил великих художников на свой лад и вкус.

Гений невыносим.

Зверева быстро развезло. Со стола посыпались хлебные корки и огурцы. В.Я., сверкая очами, ворвался на кухню и заорал:

— Зверев, немедленно соберите корки и уходите. Вы пьяны и безобразны. Я не желаю вас видеть. Уходите оба!

Зверев как угорелый выскочил на улицу и побежал к стоянке такси.

Таксист доставил нас на Смоленку в подвал Плавинского. Там пили, обсуждая ссылку в Сибирь Андрея Амальрика.

— А я ему говорил, — скрипел Плавинский, — Андрей, бери сертификаты, а не валюту. Мудак, не послушался и получил химию.

— Провокация! — ворчал А.З., разливая по стаканам водку. — Если меня поймают мусора, я выдам всех вас и еще добавлю. Я не люблю, когда меня бьют ногами в живот.

— Толя, некрасиво сдавать друзей, — мычал Куклис.

— Тихо, тетеря! — визжал А.З. — За нами следят! Я сменил три такси, а хвост висит. Посмотри в окна. Видишь, серая «Волга». Они идут за мной от прокурора. Ладно, сейчас главное — выпить и закусить, а потом сыграем в шашки.

Зверев пил взახлеб, через силу. Водка текла по заросшему подбородку, по груди и засаленному пиджаку.

Я рыгаю, Куклис дремлет, Димка корчится на диване. В луже мочи и хлебных корок храпит гений А.З.

Опохмел начинается с пивного ларька. Потом капитальный сбор в подвале. Является Сашка Харитонов с воблой. Крики «ура» и игра в рифмовку, где Зверев непобедим.

«Сталин кристален!.. Чист как чекист!.. Полина — польня!.. Таню в баню!.. Снег — нег!.. Шутя до дождя!.. Враг коньяк!.. Вокзал знал!.. Харакири в квартире!.. Берут Бейрут!.. Оба из гроба!.. Адам, не дам!.. Порог у ног!.. Купался и попался!.. Рак — дурак, а пиво — диво!.. Балдел не у дел!.. Старуха — муха!..»

И так все утро. Я не терялся, но побеждали тренированные в игре.

«Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить», — писал Юрий Казаков.

Маленькая новинка того года. У меня появился персональный квартирный ключ. Ночью или днем, в непогоду или жару, я мог открыть дверь квартиры Лубманов, бесшумно войти в отдельную комнату и завалиться на отдых.

С кухни постоянно тянуло фаршированным карпом.

* * *

В подпольном царстве всегда бродили разноцветные воды, то и дело прорываясь наверх, чтобы обрести долгожданный покой и конформизм. Хранители покоя чванливо принимали непрощенных гостей, требуя отработать барщину. Артисты, сломленные государством, выходя на кормушку и госзаказ, превращались в шутов государственной пропаганды.

Илья Сергеевич Глазунов, несмотря на академическое образование и ортодоксальный реализм, не был клановым живописцем. Близость к И.Г. Эренбургу лишь усугубляла отчужденность коллег. Его первая выставка угольных портретов творческих работников России, от Достоевского до Эренбурга (1957), вызвала зубовой скрежет матерых мафиозинов. Экстремист и буян по характеру, он самостоятельно, по крайней мере без рекомендации Фаворского или Дейнеки, вышел на иностранные заказы, сначала на осевший в Москве дипкорпус, а потом и на известных лиц Запада, политиков, артистов и капиталистов. Он писал жен иностранцев с пучеглазыми лицами.

Пролетарская революция упразднила частный заказ и свободное творчество. Профессионалов «соцреализма», как Веронеза обнаженная женщина, вдохновлял госзаказ. Они лепили и рисовали подвиги вождей революции и ударников коммунизма по фотокарточкам, имея в виду одного ценителя и мецената — Кремль. Нужно было быть тяжелобольным и круглым идиотом, чтобы копить у себя в мастерской портреты стахановцев великих строек. Лучшим ис-

полнителем считался тот, кто пробивал лучший заказ и получал за работу ордена и деньги, не оставляя дома подлых следов халтуры. В мастерских Богородского, Нисского, Лентовича, куда заносила меня судьба, я видел один могучий мольберт с механическим подъемником и одну-единственную картину в окружении необходимых набросков.

Экстремист Глазунов, злой гений Академии художеств и «Союза художников», куда его не принимали, несмотря на просьбы партийных товарищей, много писал самостоятельных произведений исторического содержания и копил их для будущих боев.

В 1964 году, по рассказам ответственных лиц Академии (Дм. Жилинский и Ник. Андронов), дирекция Манежа предложила видным академиком персональную выставку на своей гигантской (6500 кв. м) демонстрационной площади. И лишь один из пяти тысяч московских художников был готов к ней, Илья Глазунов! На открытие выставки собралась огромная толпа, все западные журналисты, работавшие в Москве. Ворота трещали под людским напором. Явился сам виновник события и лично открыл народу двери. Когда люди ворвались на выставку, то увидели, что все стены и стенды Манежа увешаны произведениями художника.

Его единодушно презирали «левые» и «правые», но художник гнул свое и вознесся.

Брань — это успех!

Жуликов и спекулянтов, собиравших российские древности, большое множество, но Глазунов не только собирал древности, но и бойкой кистью в руках доказывал свою принадлежность к «русской идее», ее культуре и религии. Его продуктивный и примитивный китч с изображением князей, святых и мыслителей трогает неискушенные сердца, в то время как изысканные сочинения оставляют толпу безразличной и даже враждебно настроенной.

И.С. Глазунов — воистину народный, популярный художник.

Лев Нуссберг начал свой поход с балкона, собирая на свалке мусор. Он под его руками играл и танцевал перед восхищенным, но безденежным зрителем. За организатором русских кинетистов стояла солидная подпорка — молодежные клубы страны.

— Мы ищем новые средства художественного выражения, мы хотим, чтобы наши пластические находки были использованы в эстетическом решении городских пространств, — твердил Нуссберг людям.

Казалось бы, в предложении кинетиста нет ничего вредного. Но русская Академия считала выступление его группы опасным, разрушительным актом, направленным против русской традиционной культуры.

Опасная игра в кошки-мышки с безжалостной и темной властью продолжалась.

Шаблон советской эстетики обновлялся в прямой зависимости от промышленного прогресса. В 20-е годы пролетарий был на коне, в 30-е пересел на паровоз, в 40-е на танки, в 50-е на строительные краны, в 60-е на космические полеты.

Прикладная кинетика совпадала с политикой официальной параболы равнения на космос, но начальство изофронта, осведомленное о «духовном костре кинетизма» как необходимом стиле человечества, не собиралось с ним сотрудничать, так как радикальная замена идеологии означала бы гибель режима и семейного ремесла.

Нуссберг — чужой! Враг народа! Отказать в заказе!

Завистники распускали слухи о ренегатстве Нуссберга. Охранники академического мракобесия открыли на него уголовное дело.

В годы лихорадочных новостроек в центральной части Москвы освобождалось огромное количество уютных подвалов и чердаков, самой судьбой определенных под жилье бездомных артистов. Ошалевшие от счастья переселенцы бросали в подвалах веками нажитое добро, громоздкую мебель, кованные сундуки, резные иконостасы, устаревшие библиотеки, чтобы отовариться безобразной обста-

новкой рижского производства в отдельном малогабаритном раю.

Подвалы сдавали за взятку. И чем прочнее было помещение и лучше адрес, тем больше брали взнос. В наемных подвалах зашумели «салоны», куда пускали всех желающих поглазеть на каракули художников или послушать барачные стихи.

На Большой Садовой, в незаметной подворотне поселилась славная семья, эстонец Юло Соостер с чернобровой женой и дочкой. Художник с «тюремными университетами» уютился в потном подвале, где по зеленым стенкам, как по заливным лугам, ползали мокрицы и тараканы. Творческое содружество с трезвым графиком Юрием Нолевым-Соболевым, кормившим целую шоблу нештатных авангардистов в журнале «Знание — сила», обеспечивало постоянные заработки.

За самоваром Соостера решались судьбы мира!

Обливаясь потом, приезжие чешские утописты читали доклады о положении русской культуры в мировом контексте, и подвальной группы Соостера в частности.

Казалось, что подвальные теоретики обречены на быстрое забвение, ан нет! — оттуда выбирались в люди практики искусства, Илья Кабаков, Михаил Гробман, Владимир Янкилевский.

Там я попал в списки заграничной выставки, составленной прогрессивным чехом Арсеном Погрибным.

Москва всегда славилась невестами.

Почему украинский художник Толя Брусиловский, красавец с пышными усами, не выбрал себе невесту с приличным приданым?

Разве Ирка Эдельман или Светка Купчик не имели почтенных родителей?

Любой дурак влюбится в красавицу, а если ты храбрец, то полюби и некрасивую!

Харьковчанин Анатолий Брусиловский («Брусилов» — звучит по-генеральски! — для издателей, «Брусок» для сво-

их в доску) полюбил дочку дворника, и она обрекла его на долгое московское подземелье. Он трижды менял подвалы. У него постоянно ночевали безработные и женатые земляки Крынские, Савенко, Бахчаняны. Дальний родич из Белостока присылал польский листок «Пшекруй» и клянчил взамен икону XVII века. Знаменитые алкаши со Сретенки по ночам прыгали в окошко и опустошали запасы вин.

Пьянство в подвале Бруска считалось символом отсталости и невежества, но часто бывало и так, что в подвал проникал грубиян, вроде циника Иодковского («Едем мы, друзья, в дальние края»), и начинался кулачный бой с приводом в отрезвитель.

Подвал славился современным ликбезом.

В подземелье, украшенном вологодскими прялками и картинками из журнала «Пшекруй», усидчиво изучали иностранные языки, корчю ненавистный сорняк в виде буквы «Г», выдававшей захолустное общественное положение.

По зубрежке и чтению газет подвал Бруска мог состязаться лишь с полуподвалом Лошака, Дорона, Купера, где изучение английского языка велось под управлением молодого дирижера Максима Шостаковича.

Без мистики дело не обходилось.

Слоняясь по московским дворам, у подвала Бруска я услышал возгласы сектантов «хаваю, хаваю, хаваю», что на воровском жаргоне означало «ем, ем, ем».

— Игорь Сергеич, — внушал работник ликбеза, — ударение не на первом слоге, а на последнем: «хав-а-Ю», а не хАваю.

На древнерусской лавке сидел барачный поэт И.С. Холлин, вытянув длинную шею в роговых очках, и упорно ликвидировал неграмотность под руководством жены Бруска.

Первого настоящего иностранца, а не прошельгу из Белостока, Брусок снял в мастерской известного ваятеля Неизвестного. Им оказался баловень судьбы Поль Торез. Правда, Поль был сыном знаменитого коммуниста и купался в Артеке, но имел право смотреть на египетскую пи-

рамиду и загорать с Брижит Бардо на одном пляже. Брусок очень быстро дезертировал из марксизма с человеческим лицом в крупный капитализм без лица и принимал исключительно отборный народ с крепкой валютой.

В мои двадцать семь лет (1965) за мной числилась скандальная выставка в Тарусе и Москве (1961), пяток густо иллюстрированных книжек и открытие Любы Поповой на подмосковном чердаке (1963) — весомые доказательства передовых взглядов с почетным прозвищем «формалист». Помню, в ноябре 1965 года у издательской кассы «Малыша» на Бутырке я встретил бывшего сокурсника по ВГИКу Юрку Богородского, матерого алкаша и превосходного рисовальщика детских книжек, холинских включительно: «в реке большая драка, поссорились два рака» или «можно плыть на топоре и купать слона в ведре». Пить водку мы пошли в подвал Лиды Шевчук, собутыльницы художника. Дверь открыл обнаженный до пояса, в солдатских ботинках на босу ногу, знаменитый поэт Игорь Холин. Пили вчетвером и слушали его «космическую поэму», где нечетное количество раз повторялись имена прошлого и настоящего с титулом « Друг земного шара».

В зиму с 1965 на 1966 год я часто виделся с Холиным у него на Кировской, у соседа Толи Брусиловского, у его соратника по перу Генриха Сапгира, в модном подвале Юло Соостера и, естественно, в Сандуновской бане, где собирались друзья и враги в одной воде.

С Холиным и его стихами я познакомился лет пять до этого, в гнилом, по окна вросшем в землю бараке живописца Оскара Рабина. Лобастый Рабин молча показывал картины с изображением барака зимой и летом, днем и ночью, а длинный очкарик Холин, с перчатками в зеленой шляпе, с восторженной чувихой рядом, монотонно чеканил барачные строфы:

«Я в милиции конной служу, / За порядком в столице слежу, / И приятно на площади мне / Красоваться на сытом коне».

Любитель поэзии Алик Гинзбург, возвращавшийся с нами в Москву, — со мной был рыбак из Тарусы Эдик Штейнберг, — убеждал, что Холин — лучший поэт современности, и продал нам за трояк машинописный текст его барачных куплетов, в окружении убогих стихоплетов, таких, как пустомеля Сашка Аронов, бузотер Серега Чудаков и прощелыга Мишка Еремин.

Вот кусок дневниковой записи И.С. Холина с описанием подвального быта:

«Проснулся у себя в комнате и зажег свет. Картина предстала передо мной такая: возле кровати — лужа блевотины. В ней мой костюм и настольная лампа. Простыня и пододеяльник тоже в блевотине. У стены раскладушка, в которой спит Хвостенко. Я встал, убрал блевотину, но и после этого в комнате стояла страшная вонь. Проснулся и Хвостенко. Мы сообразили на четвертинку водки и на шесть бутылок пива. Приехали Сапгир и Ян Сатуновский. Мы выпили все, что купили...»

Подвал — становой хребет русской цивилизации.

В подвальном углу изящной словесности Сапгир, Сатуновский и Алексей Хвостенко представляют видные творческие образцы.

Вспоминает Хвостенко:

«Каждое утро Холин исчезал изучать пожары, мне же выдавал железный рубль с наказом писать стихи, а рубль пропивать по своему усмотрению. В результате этой художественной и дружеской сделки множество стихов, тогда написанных, бесследно пропало. Сохранилось десять штук, с посвящением моему просвещенному другу».

Примеры:

«Я собственный свой боб кладу в сугроб, и всех вас ждет, зевая, гроб», «Покуда жопа не идея, покуда девка хорошея в постель сама еще идет», «Отчасти уд, отчасти пуд» и т.д.

Мы в стране поэтических чудес.

Начиная с пещерного товарообмена, картинка на бутылку виски, торговля постепенно превращалась в до-

ходное, денежное дело. У людей появились значительные деньги.

В цивилизованных странах биография художника состоит из выставок. В стране победившего социализма жизнь артиста, особенно нелегального, всегда складывается из «этапов», и чаще всего зловещего содержания. «Тюремные этапы» в 7—10 лет прошли художники Борис Свешников, Лев Кропивницкий, Юло Соостер, Василий Ситников. Многочисленные приводы психбольниц знали Володя Яковлев, Анатолий Зверев, Володя Пятницкий.

В последнее время перекройщики русской культуры со своим «другим» или «гонимым искусством» выстраивают некую самостоятельную, идеологическую величину подпольного «нонконформизма». Такая схема возникла в официальном искусствоведении и не соответствует действительности. Да, андеграунд был круто замешан на вялотекущей шизофрении, но не каждый шизофреник — художник и не каждый художник — шизофреник. Неприкаянные фанатики рисования были всегда готовы сорвать деньги за свои опыты и шли на любой контакт, приносивший пользу их творчеству.

Один из апостолов подполья, трудолюбивый Оскар Яковлевич Рабин, со своим характерным городским пейзажем кривого барака, расчетливо поднимал цены и откладывал на черный день.

Бедовый британец Эрик Эсторик, миллионер, похожий на поселкового счетовода, первым предложил Рабину выставку за границей. О таком мечтал каждый авангардист, но как обставить дело, чтобы овцы были целы и волки сыты?

Выход нашел московский меценат Виктор Луи.

Его репутация была абсолютно чистой, как у первого чекиста Феликса Дзержинского. Появление Виктора Луи в подвалах и бараках означало, что ты отмечен свыше и обеспечен выставкой за границей или публикацией антисоветского романа. Так было с В.А. Фаворским в 1962 году.

Правда, наивному реалисту пришлось расплатиться за нее сундуком ВХУТЕМАСа, битком набитым шедеврами 20-х годов. Так было с романами Валерия Тарсиса и Эдуарда Кузнецова, Александра Солженицына и Евгении Гинзбург. За пиратскую деятельность Луи получал валюту, а нелегальные авторы — дубовый кукиш!

Изобретательный Луи для пробы направил в «Гросвенор Галлери» в Лондон (все тот же магазин Эсторика!) группу на выбор. Британец обратил внимание на «Бараки» Оскара Рабина.

Оскар Рабин — звучит!

Своими решились на нелегальную персоналку. Операция с выставкой дала самые желательные результаты. Все картины Рабина раскупили друзья галерейщика. Выручку поделили. Луи приобрел новый «мерседес», Рабин купил долгожданную кооперативную квартирку на улице Черкизовской, дом 6, кв. 21.

Вот что значит «еврейский паспорт»! — картина О.Я. Рабина.

Гей, славяне!

Статьи Дженифер Луи (английская супруга В.Л.) в «Ивнинг Ньюс», слависта Жака Катто в журнале «Сюрвей», Поля Тореза в «Комба».

Такой рекламы было достаточно, чтоб образовалась очередь желающих иностранцев и москвичей приобрести творения подпольного светила.

Нас погонял страх.

Не хладнокровная осторожность, а черная тень страха постоянно сопровождала подполье.

Я помню банды опасных преступников, объявленных вне закона. Они не тряслись от страха, как суслики в норках, а продолжали жить от души и грубо дурачиться, не оглядываясь по сторонам.

Раз зимой в Тарусе, глухой ночью, сквозь сон я услышал загадочный треск в стене. Когда я зажег свет, то на полу обнаружил разбитое оконное стекло и огромное по-

лено в окне. И — тишина! Никого! Дикий страх охватил все мое существо. Бревно в окне как символ уничтожения, смерти.

От беспричинного страха тряслись в бараках Лианозова. В постоянном страхе, усугублявшем неполноценность человека, жил живописец Зверев.

— Не бойся, пошли! — раз сказал мне Эд Штейнберг и повел кличному архитектору писателя А.И. Солженицына.

Подполье стояло на «салонах», как земля на слонах. В этих притонах собирались недоноски философской мысли, бездарные и одаренные поэты и неудачники всех мастей, вперемежку с фарцовщиками, лабухами и обыкновенными алкашами без претензий.

В начале 1960-х годов, когда рязанский учитель математики Солженицын стал знаменит как отважный бытописатель ГУЛАГа, — шутка ли, новичка сразу выдвинули на Ленинскую премию за одну повесть! — в салонах трепались только о нем.

Затея с постройкой «храма Солженицына» возникла в революционном салоне архитектора Юрия Титова и Елены Строевой как хитроумная залепуха шизофреников. Ни грамотного проекта, ни денег на постройку не было. Идею «храма» придумали, чтобы распуścić слух о необыкновенном религиозном рвении писателя, а заодно пустить пыль в глаза «всему миру». Ничего, кроме наброска карандашом, сделано не было, но о фантастическом проекте плелись по Москве сплетни, чего и добивались коноводы алкогольного подполья.

Кто привел осторожного провинциала «Исаича» к адептам «Святой Руси» с народным царем во главе и земским собором по бокам, я не знаю, да это и не важно. Православные мыслители вроде Володи Осипова, стихоплета Юрия Галанскова, издателя Алика Гинзбурга, колдовавшие над тетрадка-ми «Самиздата», его быстро заарканили в свои ряды.

Мы завалились к Юрию Титову днем и без предупреждения. Хозяин, невзрачный дядька с колючей бородкой,

провел нас длинным, грязным коридором, освещенным одной желтой лампочкой, к себе в мастерскую.

Там, у картины, изображающей лицо Христа, со всех сторон подоженного кострами, сидела пара известных деревенщиков, если не ошибаюсь, Юрий Куранов и Сапожников, писавших короткие рассказы о целебности деревенской воды. За высокой фанерной стенкой кто-то подозрительно сопел, не обращая внимания на гостей. Мы сели на дырявый диван. Из-за фанеры выползла лохматая баба в грязном халате и стала в наглую позу хозяйки положения.

«Мы русские, какой восторг!»

От Елены Строевой несло тухлой рыбой и невыразимой скукой. Бледное лицо с кудлатой головой и шутовские замашки вызывали непрощеный смех. Я захохотал, деревенщики переглянулись. Строева босиком подошла к картине и хриплым испитым голосом гаркнула:

— Ты что, бля, смеешься над гением? Титов — пророк нового, высшего и священного искусства! Он — святой нашего времени! Он — защитник исторической России, изговняканной и растерзанной безбожными коммунистами!

Деревенщики вооружились пустыми бутылками.

— Ну а как же живопись? — робко выступил Эдик.

Нечесаная баба застыла в изумлении и, выкатив безумные глаза, заорала:

— Бесы! Бесы! Бесы!

— Бей жидов! — вдруг закричал мордастый деревенщик.

Эдик испуганно огляделся. Отступление в коридор отрезали деревенщики, вооруженные бутылками. Не долго думая, я двинул одному по шее, он отскочил. Дверь распахнулась, мы вылетели оттуда, едва унося ноги. Вослед летели бутылки и палки.

— Вот тебе и русские пророки! — отдышавшись, сказал я.

Моя совесть не принимала зловещих заклинаний «Святой Руси» и порочные призывы деревенщиков.

После сумбурного рассказа о встрече со строителями «храма Солженицына» Акимыч, раздувая трубку, лукаво сказал:

— Валя, есть такие случаи в жизни, когда милиция просто необходима!

В начале 70-х Титовы одни из первых эмигрировали на Запад и тотчас же попали в дыру забвения. Люди темные, далекие от современного искусства и просвещения, начитавшись брошюр Сергея Нилуса, активиста «черной сотни», издававшего антисемитские манифесты в начале XX века, «Протоколы сионских мудрецов» в том числе, они оказались никому не нужным мусором московской цивилизации и сразу погибли.

Часть пятая ДОХОДНЫЙ ПОДВАЛ

Я не интеллигент — избави мя Боже!
Максим Горький

1. Наши

Потеряв вероломного напарника Снегура, я начал карьеру рисовальщика с нуля. Набив портфель рисунками, бумагой, перьями и пузырьком с черной тушью, я сел на диван в пятиэтажном здании «Молодой гвардии», поджидая, когда клюнет рыба.

Мне сразу повезло. С дивана снял гравер Боря Доля.

Сын известного дипломата, высокий мужчина с огромными лапами боксера, резал крохотных пташек на кусках линолеума. За каждую птичку журнал «Пионер» платил двадцать рублей. Борьку завалили работой. Рассчитывать на парную упряжку «а-ля Снегур» я не мог. В качестве обольстителя начальства Доля не годился, но мог поделиться халтурой. Я начал с изображения перелетных птиц тундры и заодно узнал от пионерских следопытов, что Чукчи — это Луоравейны — красиво звучавший народ.

И к вещему удобству, Б.Д. жил за углом типографии издательства, Суцевский вал, 23. У него я мог заработать кучу денег, построить кооператив с балконом и жить припеваючи, но меня постоянно поводила нечистая сила.

Как только заиграло весеннее солнце, меня потянуло вдаль. Доля честно выдал мне гонорар. Я заказал стол в ресторане «Будапешт» на четыре персоны и вызвал бывших

супруг Эда Штейнберга, Таньку Федорович и Тамару Загуменную.

В тот вечер 8 марта 1966 года все было празднично. Наши дамы расфуфырились и явились без опоздания. В промежутках обильной жратвы мы бацали под ритмы лабухов, менялись парами и вернулись в подвал Доли, едва волоча ноги. Таньку так развезло, что она густо рыгнула на волосатую грудь атлета и тут же захрапела.

В дальнем углу подвала Тамарка подыхала от хохота и заснула к утру.

* * *

Таруса снова настигла меня в полете.

Я арендовал крохотный чердак над Окой. Светелка старого мешанского дома с лодкой внизу. Из чердачного окна открывался обширный вид на пыльную дорогу с гусями, на близкий причал, и на дальний, самый изысканный берег песчаного пляжа с кривым столбом указателя в имение академика Поленова. Я пошарил под кроватью, отыскал недопитый портвейн и выпил остатки до дна. Напялил на голые плечи плащ и босиком спустился во двор.

Во дворе квохтали куры и свистел соловей. Сын хозяйки сидел на дереве и оттуда швырял в кур камнями. Кот дремал на лавке. День начинался беззаботно и солнечно, но я решил начать его с похмелья.

Мой друг Мика Голышев, физик, уже сидел на пляже.

Он первым приплывал на песок, черноволосый и копченый, как эфиоп, — Пауст (К.Г.П.) не то сравнивал, не то обзывал его израильским офицером. У Мики на причале имелась старая лодка, и как только начинало припекать, он, ловко орудуя веслами, пересекал речку и ложился на горячий песок. Там он лежал до тех пор, пока не начинало смеркаться или солнце скрывалось за черные тучи.

Мы знали друг друга лет семь, с тех пор как я заявился в Тарусу практикантом ВГИКа. Сложилась отноше-

ния не без странностей, но с уважением друг друга. Мика обо мне говорил «это талант, чего там», я о нем «это мужик что надо».

На пароме распоряжался горбун Филька по кличке «Рокфеллер», заставлявший хилых пассажиров крутить трос парома. Под тенистой липой молодой человек делал гимнастику.

— Привет, — улыбаясь, сказал мне длинноногий блондин с ясными глазами, в которых ничего, кроме честности и отваги, не светилось, но я видел, как вчера в речке с ним целовалась Томка и решил уязвить соперника.

— Опять крутишь жопой по утрянке, — не зная, чем больше уесть красавца, промышчал я и, не дожидаясь ответа, соскользнул к воде.

— Валюнчик с цепи сорвался, — сказал он двум загорелым девицам, сидевшим на бревне. — Я мигом соберусь и топаю за вами на пляж.

Они, хохоча, ответили «здрассте» всему сразу — солнцу, реке, деревьям, кучке туристов, сидевших в траве, бабам, полоскавшим белье, грузовику с сеном и, конечно, гимнасту, игравшему бронзовыми бицепсами. «Рокфеллер» стал отчаливать, когда на берегу зычно окликнули и вошли на паром двое именитых коренных дачников, известных всем в округе, от паромщика до горсовета.

— Ага, Андрей Оболенский, половой разбойник! — смакуя свое остроумие, сказал именитый дачник, а его супруга вставила: — И, как всегда, в окружении хорошеньких девиц.

Загорелые девицы захлопали в ладоши и завизжали.

Семен Давыдыч выражался чистейшим петербургским наречием и грассируя «р».

— Доброе утро, — сказал Оболенский, — как ваше самочувствие?

— Здрассте, здрассте, — отвечала за обеих Елена Михална, глухим, прокуренным голосом. — Ты, Андрей великолепен как всегда. Искуситель и баловень жизни.

А супруг добавил более существенное:

— Современному искусству, а русскому особенно, не хватает высокой духовности, страстей Босха и Гойи, — тут он притормозил мысль и снизу вверх оглядел спортсмена от заграничных сандалий до породистой, дворянской головы с прямым взглядом. — Что можно противопоставить этим гигантам духа? Разноцветные коврики московской выделки, которые вы называете абстрактивизмом, или мрачную публицистику Оскара Рабина? Это абсолютно несравнимые вещи, да весь двадцатый век с вашим Кандинским выглядит шелудивым поросенком перед гигантами прошлого.

— Извините, Семен Давыдыч, но меня не интересуют поросята и титаны с большой буквы.

— Что, что он сказал, Елена? — по своему обыкновению переспрашивать и дважды повторять одно и то же, спросил он.

— Ничего, — ответил спортсмен, но С.Д. вдохновенно продолжал:

— Русской культуре не повезло. Ее создавали иностранцы — ваш предок датчанин Рюрик, греческие монахи, армянские каменщики, шотландские поэты, немецкие архитекторы и еврейские музыканты. Русские всегда служили в жандармерии и милиции.

— А Шаляпин? — робко заметили девушки.

— Что вы сказали?

С.Д. Поташинский когда-то написал диссертацию на щекотливую тему «Рождение агитационно-политического театра». Он выбрал объектом изучения творчество Мейерхольда и, притворившись, что пишет искренне и в пользу режиссера, обвинил предмет изучения в формализме, извращении и клевете на советскую действительность. Об этом все знали, но получалось так, что лучшего знатока театра в стране нет, и только он имеет право нещадно громить, казнить, переучивать.

— Говорите — Шаляпин! Это лицо поднялось на гребне русского шовинизма Александра III. Думали, кого двинуть из великороссов, чтоб не провалить идею. Выбор пал на Шаляпина.

— Эгей! — закричали с берега. — «Рокфеллер», побойтесь Бога, возьмите отставших на корабль современности!

— Разумович! — сказала Елена Михална.

— И Пауст! — добавил С.Д.

На пароме замахали руками.

По грейдерной насыпи к причалу спустился старичок лет семидесяти, самый известный человек на пляже, если не солнце советской словесности, то звезда первой величины, К.Г. Паустовский, мыслитель, писатель, профессор, доктор, общественный деятель, орденоносец и прочая, и прочая.

Семен Давыдыч с достоинством выждал, когда Пауст махнет ему бамбуковым удилищем, и снова повернулся к паромной публике.

— Славяне — традиционные жидоеды, а великороссы в особенности. Такова историческая реальность. И вся русская литература направлена против еврея. Вся! От Семена Полоцкого до Солженицына!

— А Пауст? — осторожно спросила загорелая девица.

— Что? Творчество Пауста безукоризненно. Во-первых, он писатель революционной формации, во-вторых, он благородного просвещения, как ваш сосед Оболенский, а главное, благотворное влияние супруги сказывается во всем.

— А я с вами не согласен, — вставил Андрей, — этого недостаточно, чтобы быть гуманистом.

— Какой бред! Елена, скажи молодому человеку, что он шизофреник!

В небе пролетел самолет с белым хвостом.

— Сказано очень резко, но правдиво, — захихикали симпатичные девицы.

«Целовались так нежно, что он перешел допустимое, и Тамара обиделась», — подумал Оболенский.

* * *

«Завтра утром она придет, вымоет ноги у колодца и поднимется по лестнице», — подумал я о Томке.

Начальник отделения милиции майор Каретник, засучив штаны выше колен, ловил у паромы ершей. Я тихо подкрался сзади, зарычал и саданул майора в бок.

— Ты крещеный, Каретник, или нет?

— Сам-то ты крещеный? — отбился рыбак.

— Мой папа, царство ему небесное, презирал культ разных чинов, а я в папу. Брось, Каретник, валять дурака, пойдем выпьем?

Начальник кивнул на поплавок, я безнадежно махнул на него. Не успел я выбраться в тень, как на пыльной дороге появился доктор Разумович с пасынком, поспешая в желанную даль. «Куда их черти понесли?» — мелькнула мысль, но тут же сообразил — предмет их радостного бега, Пауст, стоял на пляжном песке в окружении женщин. Он опрашивал чрезвычайно серьезного художника Неизвестного, никогда не снимавшего черного пиджака и галстука неопределенного тона. Весь тарусский пляж почтительно замолчал, как только он появлялся.

— Детки, быстрее, быстрее, — подгонял своих доктор Разумович, тайный покровитель абстрактной живописи и социализма с человеческим лицом, — я вас приветствую, дорогой Константин Георгиевич! — воскликнул юрист, врываясь в девичий хоровод. — Чудесный нынче выдался денек, не так ли?

— Здравствуйте, — на всякий случай ответил писатель, соображая, где он мог видеть этого шустрого человечка в круглых очках. — Да, погода разгулялась, утром был клев у моста, а сейчас подул ветерок.

— Константин Георгиевич, я профессор Разумович, я был у вас на банкете в честь вашего семидесятилетия, помните? — начал юрист, потому что в мутных глазах великого человека обнаружил безразличие, а этого ему никак

не хотелось, ведь надо было представить Паусту черноусого пасынка и его невесту.

— Да, да, что-то вспоминаю, товарищ Разумович. Вот если бы вы, юристы, помогли мне бороться с карьером. Видите, как эти желтые камни уродуют чудесный русский пейзаж, а потом этот грохот по ночам!

Все вокруг закачали головами в знак согласия, а про себя каждый думал: старый болван забивает голову каким-то карьером, в то время как надо решать важные идейные проблемы.

Наконец светило пожал всем руки, даже пасынку Разумовича, и, размахивая заграничным удилищем, удалился в болото, где у него качалась лодка с кормовым веслом.

Пасынок Разумовича, придурок с усами, писавший диплом филолога, замычал:

— А что вы в нем нашли — вялая проза, обывательский сюжет. Он, наверно, никогда не читал Кафку.

— Старичок-полевичок! — съязвил я.

— Не судите слишком строго, дорогие друзья, — возвысил тон юрист, — Пауст — милейший человек, старомодный, но очень порядочный и влиятельный.

— Халтурщик! — полез я в драку. — Обобрал всю литературу до нитки и выдал за свое. Вообще, все украинские писатели — воры. Они русский учили в Москве, на курсах Евгения Замятина, а потом продали учителя чекистам за постоянную прописку.

Эрик Неизвестный, затянув черный галстук, согласно хмыкнул, а юрист выпучил глаза, огляделся по сторонам и побежал на паром.

Я направился в буфет, расположенный в тесовом барачке над рекой. Там собирались местные рыболовы и пили перцовку, закусывая холодными и твердыми как камни котлетами, от которых начиналось такое волнение в животе, как будто шли мотогонки.

Навстречу мне шел славянофил Левинштейн.

Он давеча оповестил всех дачников, что с этого лета

будет Ивановским, и все сочинения распространять под этим псевдонимом и откликаться только на него.

— Эй, Ивановский, — заслоняя дорогу бредущему славянофилу, сказал я, — пойдем кирять, пить перцовку, за здоровье Хомякова, Федотова и твое.

Ивановский сразу согласился, и потому что не имел денег — раз, и потому что отошел паром — два, и потому что уважал меня — три, хотя и считал беспутным.

— Вы когда-нибудь любили, Валюнчик?

— Только один раз — Бога! После Бога осатанел. «Не лирою влюбленного иду пленять народ — трещотка прокаженного в моей руке поет» — вот так!

Пылкий славянофил набросился.

— Бога променять на сатану — какое кощунство! К Иисусу Христу я пришел через страшные испытания, через душевные и физические страдания. У меня вера в Бога выстрадана!

— Пиздишь ты все, Ивановский. Тебе нет тридцати, ты родился в зажиточной еврейской семье, ты не знал, что такое голод и мор, а в перерывах между лекциями по марксизму читал Хомякова, купленного на черном рынке на отцовские деньги. Твой Бог — книга, полное собрание сочинений Хомякова, а тот Иисус, которого ты вспомнил, — обыкновенный палестинский туineaдец, как и те, кто кормится за его счет.

— У меня такой лирический склад природы, я люблю размышлять в березках, смотреть картины Нестерова, читать святые книги.

— У тебя не склад природы, а склад макулатуры, куча дерьма вместо ума, — сказал я и налил Ивановскому стакан перцовки. — Слушай музыку перцовки!

— Народное самосознание, это ведь главное.

— Цена твоему народу — ломаный пятак! — сказал я, сплевывая каменную котлету в кусты. — Дармоеды, лаптежники, говноеды — вот твой народ! Потом, ты ведь не чувствуешь в себе этого лаптежника, свое кровное родство с

ним! Нет, и не можешь его чувствовать, потому что ты — интеллигент и еврей, а значит, паршивая скотина и тунеядец.

— Краюха черного хлеба, родниковая водичка, этого хватало, чтобы творить чудеса! Максим Грек, Феофан Грек, Андрей Рублев! — размечтался собутыльник.

— Спасибо, что предупредил, а то я не знал, чем запить эту гадость, — ответил я.

Ивановский скис и присел на лавку.

Внизу вдоль берега шла Серафима Павловна Васич, редактор детских передач на радио «Пионерское утро». За ней брел несовершеннолетний сын Севка, ковырявший в носу карандашом. Фима приучала его к рисованию, чтобы со временем вырос таким же гениальным, как Валюнчик и Неизвестный. Сама она, весившая не менее десяти пудов, сочиняла афоризмы, но главным образом записывала слова великих мыслителей.

— Эй, Фима, тебя куда черт несет? — окликнул я ее. — Лезь наверх, я угощу тебя лимонадом!

— Боже мой, Валюнчик, как давно я тебя не видела! Конечно, поднимусь, вот ребенка отправлю на пляж.

— Тащи сюда и ребенка, я тебя целовать при нем не буду, — говорил я, жуя черствую корку.

— Валюнчик, скажи что-нибудь ребенку о его рисунке, а я запишу в блокнот.

— Ничего не пиши, кроме крыловского — «обласкан по уши кумой, пошел без ужина домой», а у ребенка отбери карандаш, он себе ухо и нос раскровянил.

Я выдрал из блокнота ребенка набросок козы с натуре, вытер им потеки на лавке и сказал:

— Садись, Серафима Пална. Угощу тебя теплой перцовкой, а ночью приду к тебе в постель.

— Как можно такое при ребенке, Валюнчик, — расплылась Фима от счастья. Мужа у нее никогда не было, и она считала за великий шанс переспать с великим человеком, а сейчас просто не верила, что это будет сам гениальный Валюнчик.

— Не бесись, твой ребенок, у которого растет борода, давно занимается онанизмом. Посмотри, как стреляет по жопе буфетчицы. Ты поменьше ходи перед ним голая, и юноша станет чище, не так ли, Сева? — обратился я к высокому черноглазому подростку с прыщеватыми щеками. Моя Тамара Забубенная мне изменила. Я буду два дня подряд пить, а ночью приходить к тебе. Плакать на твоём пышном плече. Договорились?

— Валюнчик, о чем ты говоришь? Какие слезы! Я всегда рада тебя видеть, но не могла и подумать, что Тамара окажется такой блядью. Подумать только — бросить великого Валюнчика на произвол судьбы!

— Ладно, допивайте перцовку и уходите. Я буду пить горькую в одиночестве.

С большим трудом Фима поднялась с лавки, помахала мне ручкой, а увидев убежавшего славянофила, бросилась вслед за ним, потому что он спал у нее в эту ночь, а на расвете сбежал от жадной любви редакторши.

«А винный дух все вон нейдет, и с бочкой наконец он принужден расстаться», — рассматривая занятную пару, вспомнил я крыловские строки. — Эй, Таюшка, принеси мне еще стакан перцовки, а эту котлетную гадость выбрось пороссятам. На сердце кирпич, глохну от горя и душевных страданий.

На паром взошли всей хеврой и у будки Фильки Рокфеллера принялись за разработку важнейшей темы дня: незаконное осуждение писателей Синявского и Даниэля, эмиграция Валерия Тарсиса и не менее важная — проблема творчества и трудоустройства. Профессор Разумович с большой твердостью отстаивал ленинские принципы власти и коммунизм с человеческим лицом.

— Друзья мои, — поглядывая, нет ли на пароме стукача, начал он, — конечно, были злоупотребления и репрессии, как, между прочим, и везде, но ленинские принципы вполне осуществимы. Здесь главное — осторожность и терпение.

— Лбом стены не прошибешь, — поправляя юриста Алик Гинзбург, составлявший подробный отчет про невинно осужденных Синявского и Даниэля. — Мне не менее симпатичны эти принципы, но на деле все душат живое в зародыше, цензура свирепствует, тюрьмы забиты политзеками, я очень сомневаюсь, что будут перемены в нашу пользу.

Герой манежной войны Эрик Неизвестный, развивая мысли нелегального журналиста, категорически отрезал:

— Чего там ждать у моря погоды! Мы должны бороться вместе с Западом, иначе нас раздавят и никто не пикнет в защиту!

— Уезжайте в Израиль, и дело с концом, — сказал юрист, на что скульптор парировал:

— Об этом рано думать. Надо выждать, что они придумают еще.

— Вы знаете мое мнение на этот счет, — сказал утомленный солнцем юрист, — я не корабельная крыса покидать страну, где родился, получил образование и пост. От правительства надо добиваться определенных послаблений для поездок за границу.

— Надо крестить все политбюро, и все станет на свои места, — высказался славянофил.

— Хорошая идея, — на всякий случай подтвердила Фима и стала за спиной Ивановского, чтобы не сбежал.

— Это деревенский бред, — гордо подбоченясь, сказал зек Гинзбург, — этих скотин не переделать. Все как на подбор сталинские палачи! Надо добиться такого положения, когда они перережут друг друга!

— Подумайте только, о чем вы говорите! — воскликнул славянофил. — Я верю в Россию, верю в православие и земский собор. У нас три вида оружия — монархия, православие и народность!

— Ах, оставьте ваши бредовые идеи! Каждый волен поступать так, как ему велит совесть, — заметил юрист, нахлобучив соломенную шляпу на седовласую голову.

— Псих, — усмехнулся скульптор, а зек кивнул головой в знак согласия. — Ты оторвался от действительности, старик. Кончай мечтать и подпиши мой протест.

Зек протянул листок с машинописным текстом. Славянофил, юрист и Фима бегло осмотрели текст и дружно заявили:

— Не будем!

— Пожалеете!

Паром ткнулся в причал, где стояла коза и жевала брошенную тряпку.

* * *

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал спортсмен Оболенский загоравшей Томке. Она лежала неподалеку от причала, где был чище песок и меньше людей. Она не ответила и отвернулась. Спортсмен повторил: — Я приду к сараю и буду тебя ждать.

Томка рассеянно улыбнулась.

Андрей Оболенский так мягко говорил, так изысканно держался, так освещал мир пронзительно голубыми глазами, что сказать ему «нет» она не посмела и согласно кивнула головой.

С причала бежал бородатый славянофил Ивановский. Он подскочил к Андрею с блаженным видом, потому что всем существом своим обожал его, завидовал во всем и как мог помогал, потому что считал своим долгом спасти отпрыска легендарного Рюрика от дурных влияний и, возможно, со временем возвести на российский престол.

— Андрюша, здравствуй, князюшка, — трепетно начал он, — а я по тебе соскучился и так много хочу сказать, а это очень важно для меня, понимаешь?

— Понимаю, — отвечал потомок Рюрика, — но сегодня я занят, у меня экскурсия в Поленово.

У Оболенского имелась странная черта, сбивавшая с толку собеседника. Когда он говорил «да» и утвердительно

кивал головой, это означало, что последует «нет» в самом конце, но эти проказы ему прощали.

— Как вода, Мика? — спросила вся хевра.

— Вода — блеск! Теплая, как парное молоко, — сказал сонный физик, переваливаясь на другой, коричневый бок. — Мать, ты что читаешь?

— Дерьмо, но читается как детектив, не оторвешься!

Мика приподнял книжку карманного размера в яркой, оранжевой обложке и с белым пингвином.

— Де Голль в Москве! — шепнула, подползая, Фима с сыном.

— Неужели? Быть не может? — воскликнули Е.М. и С.Д. и с глубоким вздохом добавили: — Наконец-то!

С американской прозы разговор переключился на мудрую и старую Францию. Ах, Франция, нет в мире лучше края! Философия Сартра и творчество Пабло Пикассо. Опять вспомнили грубо и незаконно осужденных писателей Синявского и Даниэля, правда, глупо спрятавшихся за псевдонимы, особо отметили бесстрашно помогавшую писателям Элен Пелетье-Замойскую и замолкли. Поднималось солнце и сильно припекало. Семен Давыдыч надвинул бумажный колпак на совершенно голый череп. Юрист задумался, пересыпая песок из одной ладони в другую.

Разговор продолжался на другом конце пляжа.

Скульптор Неизвестный разоблачился и не сводил глаз с двух симпатичных девиц, залегших за бледным, изъеденным козами, кустом.

— Ты бы ей всунул, — сказал скульптор Мике, — чего она страдает по тебе, как-то нетактично с твоей стороны, чувак.

— Не нравится. Ноги у нее оранжевые, как на обложке «пигвинбук», и тонкая шея, как у цыпленка.

— Мало ли что не нравится, старик, надо идти на некоторые жертвы, — настаивал скульптор.

— Послушайте, Неизвестный, — обернулся к скульптору Семен Давыдыч, — что вы скажете о генерале де Голле?

— Я не политик, а творец, — отвечивал скульптор, укладывая черный пиджак и белую рубашку в виде пирамиды.

— Говнюк он, — сказал Мика.

— Кто, де Голль?

— Нет, Алик, он мне сказал, что Андрей Оболенский стукач!

— Этого быть не может! Мика, ты ослышался! — сказала Е.М.

— Дерьмо собачье, а не демократ! Обыкновенный фарцовщик!

— Алик, идите ко мне, — потребовал С.Д., — мы с профессором будем вас допрашивать. Что вы сказали Мике?

— Оболенский и Ивановский отказались подписать протест, а Оболенский прочитал, сказал «все это липа» и уплыл по речке к карьере. Это же провокация, об этом узнают мусора раньше, чем документ попадет в печать!

— Алик, успокойтесь, это несерьезный молодой человек, баловень судьбы. Он уже забыл о вашей телеге.

— «Из домов умалишенных, из больниц выходили души опочивших лиц».

— Гениально! Кто это сказал? — спросил С.Д.

— Мы, — дружно ответили красавицы.

— Не вы, а Константин Случевский, наш питерский поэт! — поправил девиц С.Д.

— Вы видели сатану, Семен Давыдыч? — робко спросил славянофил.

— Вижу! Вот он!

Князь вылез из воды, бронзовый и задумчивый, С.Д. встретил его словами:

— Оболенский, вы сатана!

— Смелая мысль, Семен Давыдыч.

— Вот видите, Ивановский, сатана это весело и красиво. До завтра, шер ами!

Не успел Семен Давыдыч с супругой покинуть пляж, как к песчаной отмели у перевоза причалил знаменитый

актер Юрий Баков. Он приплывал в полдень на моторной лодке с парой малолеток и брал под козырек летней фуражки, когда его школьный товарищ С.Д. с паромом энергично махал ему рукой.

Красавицы с пляжа не выходили весь день. Они приносили с собой пряники в сумке, быстро съедали и снова лезли в речку, радуясь солнцу, людям, своей собственной красоте. Редактор Фима, растопырив руки, похожие на мельничные желоба, спускала с ладоней воду. Ее усидчивый сын рисовал речку и лодку посередине, в которой должен был сидеть Пауст, по совету матери. Скульптор, зек, князь, юрист, физик, славянофил, лежавшие на песке в виде шестиконечной звезды, хором повернулись к актеру, обладавшему выдающейся внешностью.

Актер Баков прославился тем, что как две капли воды походил на товарища Сталина. Соответствовали не только рост, лоб, нос, затылок, глаза, но и усы. Баков пришел на первый актерский тур в 1937 году, когда готовилась юбилейная серия фильмов, посвященных Октябрьской революции. Комиссию так поразило сходство с вождем, что взяли другого актера, чтобы быть поближе к искусству и подальше от соблазна. Однако Юрка Баков не проиграл, а выиграл. Его под караулом доставили в Кремль, осмотрели по-своему, от удивления покачали головами и решили выставлять его по большим праздникам на Кремлевскую стену, вместо настоящего вождя, не любившего дождей и снегов. В 1953 году Баков потерял денежную работу и стал театральным суфлером. Он заново женился на молодой актрисе, подарившей ему пару симпатичных дочек, выстроил дачу в Тарусе и жил на широкую ногу, приглашая к себе видных людей. Его жена, ненавидевшая среднюю полосу России, кусты, песок, отдыхала на болгарском курорте, а Юрка кадрил чувих на тарусском пляже.

Томка знала, что актер непременно затормозит лодку у ее ног. Несмотря на выдающуюся внешность Юрки, он ей не нравился.

— Томочка, прелесть моя, — заворковал актер, вылезая из лодки и выталкивая двух малолеток с резиновыми поясами, — на кого вы меня покидаете?

— Мы идем с Лерой гулять в луга, Юрий Заурович, — звонко ответила она. — Не хотите ли с нами прошвырнуться?

— Чудная идея, моя радость, но у меня пара наследников на руках. Может быть, завтра, а? Соорудим кир с шашлычком!

Женщины смеются и уходят в кусты. Актер посылает им воздушный поцелуй и плюхается на песок.

— Пора домой, — говорит юрист пасынку, — я облез с ног до головы.

Князь окунулся и накинул на мокрое тело полосатую распашонку, предмет зависти всех модников пляжа.

У распашонки имелась своя драматическая история.

Каменщик тарусского карьера по кличке «китаец», угрожая ножом, решил отобрать распашонку у князя, но тот стукнул «китайца» в челюсть и рубашку не снял. По поселку и окрестностям полетел слух, что приезжий дачник оглушил рабочего кирпичом. На князя готовили существенное, групповое нападение, чтобы отколотить и отобрать пеструю распашонку. Однако князю было наплевать на затеи тарусских каменщиков. Он представлял из себя удивительный образец человеческой породы.

Древним правилом семьи Оболенских, так же как и материнского рода Энгельгардтов, было — жить, не страдая. С тех пор как они научились жить таким образом, никакие политические режимы им не были страшны. Конформизм стал семейной традицией, и род выставлял прекрасные образцы мужской и женской особи, способные неукоснительно следовать традиции. Молодой Андрей Оболенский не знал, что такое грех, считая себя ненаказуемым и безусловно чистым. Человек безудержной храбрости и силы, он тянул к себе слабых и трусливых, как огонь замерзающих от холода.

— Я пошел в Поленово, — решительно сказал скульптор и натянул на себя черный пиджак и галстук.

«Куда это его понесло?» — подумал физик Мика.

— Утром я видел его с Лерой, — вслух размышлял славянофил. — Наверно, снюхались.

— Верно говоришь, Ивановский. Сейчас он нагонит князя, и вернутся они к ночи, когда отойдет последний паром.

— Удивительно сильные эти художники! — удивился славянофил.

— Да нет, сначала они дойдут до сарая, где много свежего сена и дождутся чувих.

— Культпоход в Поленово, дорога, разговоры. Счастливики!

— Да нет, — прервал мечтателя физик, — в Поленово они не пойдут, чудак! Они завалятся в сарай и, не глядя, махнутся чувихами, посек?

— Не-е, не посек, — вздохнул озадаченный славянофил. — В башке не укладывается.

— Скоро уложится. — Физик пристально посмотрел на соседа, представляя его через десять лет, потому что славянофилу с умом подростка было не более двадцати пяти. — Они настоящие мужчины, понимаешь, и очень нравятся женщинам. От них несет спермой, как от племенных быков в эпоху свалки.

— Нет, это вы настоящий мужчина, — влезла в разговор Фима, влюбленно глядя на славянофила.

— Надеемся, что скоро им станет. Это не вредно, — поправил Мика.

— Ну, мы пошли, — растолкав спящего пасынка, сказал юрист, — вон и Пауст выплывает с переката.

— А куда спешить, профессор, — гортанным, хорошо поставленным голосом сказал актер, загоня мокрых детей на песок, — писатель сам по себе, мы сами по себе. Посидим, поговорим.

— Поразительно благородная личность, — собирая вещи, сказал юрист всем одновременно, — за пятьдесят лет не сделать подлости. А сколько было подводных и надводных препятствий, сколько опасного и скользкого на пути. — Юрист закинул голову к небу и с удовольствием пересчитал опасные перекаты. — Культ личности, космополитизм, война, кукурузный Никитка. И сейчас — защищать перевертыша Синявского, издать бесцензурный альманах, не замечать Леонида Ильича! Да, достойно держится мужик. Вот у кого надо учиться жить. — Тут юрист дернул за рукав сонного пасынка и прибавил: — Ну, нам пора!

— Пауст очень спокойная личность, — натягивая белый картуз, начал актер. — Я с ним работал в фильме «Северные люди» с большим удовольствием. Замечательный человек!

Паустовский не сразу стал кумиром читающего обывателя. Удачное соединение свойств характера, выгодный брак и несомненная профессиональная выучка счастливо соединились в его жизни. В черные времена сталинщины созрело эклектическое творчество писателя. Агитаторы и противники коммунистической культуры гибли под топором своей партии, а он, не запятнав писательской чести, простым русским словом воспевал русскую природу. Пророчив сквозь кровавые времена, как ножик через масло, он стал образцом бескорыстного литературного подвижника. Его популярность особенно возросла, когда он выступил в защиту природы от нашествия дикой цивилизации и протестовал против безумных указов и правительственной цензуры гонимых авторов. Молодые прозаики, уцелевшие зеки, деятели с коммерческим нюхом, все удобно группировались вокруг его имени.

— Привет! — простились с пляжем юрист и пасынок.

Профессор Разумович не мог упустить случая, чтобы не повидать еще раз великого гражданина и не представить капризного пасынка, мечтавшего о теплом местечке

в Институте мировой литературы. Удержать его в этом жизненно важном намерении никто не смел, и пляж не упрашивал остаться.

— Жена Блока оказалась невероятной сукой! — выдала Фима.

— Это еще как сказать, — возразил актер, заползая в горячий песок. — Говорят, поэт был импотентом. А ведь живая жена — не снежная маска и не вещая птица, а плоть и страсть! Послушайте — «Ты право, пьяное чудовище, Я знаю: истина в вине», и «Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне все — равно!». Это же горький пьяница, ваш Блок!

— Блоковская Люба — дрянь, а вот Анна Андреевна Ахматова великолепна — «Просто не хочется петь под звон тюремных ключей» — ух, дрожь пробирает!

Все хором — «гениально!».

— А это, — канючила Фима, — «А я товаром редкостным торгую — твою любовь и нежность продаю» — а? А это — «О, как ты красив, проклятый!» — а? А это — «И осуждающие взоры спокойных загорелых баб» — обожаю! Пятого марта я день простояла в морге, чтобы прикоснуться к руке гениальной покойницы.

Славянофил очнулся от гипноза Фимы и выступил с критикой:

— Ахматова — это прошлое дамской поэзии. После были футуристы, конструктивисты, верлибристы. Последние годы она жила, как гоголевская городничиха, выдававшая свою дочку замуж, да и звали ее Анна Андреевна.

* * *

Тамара подошла к сараю, читая затрепанную книжку. В тени сидел скульптор и жевал траву, на лавке лежал голый князь. О нем она не думала по дороге и вообще весь день думала как примириться с Валюнчиком, жалела его, но вернуться к нему сразу не могла, потому что он пьян и дерется.

В отличие от грубияна Валюнчика, не умевшего извиняться, князь не раз обзывал ее блядью — «Тома, ты — блядь, но роскошная блядь» — и с невероятной нежностью ублажал женский каприз, а его мужской шарм и сила заволакивали в паралич, как удав мышь.

Еще на рассвете она решила расстаться с ним навсегда, потому что страдающий гений Валюнчика могла спасти только она, Тамара Загуменная, сильная дочка генерала танковой дивизии, но при виде бронзового Аполлона с торсом безупречной лепки и ногами греческого атлета все планы по спасению страждущего человечества растаяли, как снег под жарким солнцем. Князь умел прикоснуться и зажечь. Ее пробрало от первого поцелуя насквозь. В сердце встал зной и безумная похоть любви. Она не ждала, пока князь скажет ей милое и пустое слово любви. Она была настоящая самка, с чутким и горячим телом.

— Завалимся на сеновал, там будет удобней.

За сараем ворковали Лерка и скульптор.

* * *

Сползая к причалу, я увидел пару Оттенев и юриста с пасынком.

— Валюнчик пьян в стельку, — шепнул Оттен супруге.

— Ленив, но очень талантлив во всем. Подозреваю, что сектант, но человек в доску свой. Плохо влияет на Мику, но сам себе царь и верблюд, — ответила Елена Михайловна.

Я растопырил ноги и, подметая полрой плаща песок и камни, поклонился Оттенам до земли.

— Семен Давыдыч, Елена Михална — сбежала Томка, обидела. Буду пить два-три дня, потом спущусь к речке и поймаю для Пауста леща. В подарок прогрессивному человечеству, пусть кушает на здоровье. Да, ровно два дня, а потом буду трезв, как огурец, а сейчас накатило, пророчествую, способен вылечить любого, спасти вас, и вас, и вас. — Я су-

нул палец в три силуэта, и шлепая босыми ногами, побрел к лодке Пауста.

— Бедный Валюнчик, потерял эту блядь Томку.

— Чокнулся, — решил С.Д., — доктор Лунц взглянул на него прошлым летом и тут же вынес приговор — вялотекущая шизофрения, параноическое развитие личности.

Семен Давыдыч горделиво приподнял петушиную головку в бумажном колпаке, взял под руку жену и скрылся из вида.

— Приехал!

— Знаем!

— Вы все знаете раньше всех, вам ничего нельзя сказать, — тараторил юрист, сбегая по сходням и оглядываясь. — Не ушел ли Пауст?

Писатель в лодке сматывал удочки.

«А это еще что за бочка катится», — подумал я.

Бесшумно спускаясь на тормозах, к перевозу подъехала черная «Волга» последнего выпуска. Оттуда вылезли два гражданина и потянулись, похрустывая костями.

«Да это же Гаврила Шахмагонов!» — удивился я.

Международный журналист Шахмагонов не стал большим линейным кораблем, раздвигающим океанские волны, сам оказался за бортом. Он всегда считался партийным ортодоксом, но в прошлом году на него капнули недруги по «делу авантюриста Хрущева», и он полетел вниз. Он обрабатывал чужие партийные мысли в многотомные сочинения, был женат на дочке маршала Тимошенко, по совету которой перешел в активную оппозицию новому режиму. Семен Давыдыч как старейшина прогрессивной оппозиции тут же принял пострадавшего переметчика в свой лагерь.

— Кого я вижу! — растопыривая лапки, воскликнул Шахмагонов, еще твердо не зная в какой я партии. — Гений русской книги, первый шрифтовик страны! Дай я прижму тебя к сердцу! Да, кстати, познакомьтесь с мистером Виктором Луи, английский журналист и политический радикал.

Я знал Гаврилу Шахмагонова по издательской работе. Я рисовал обложку его «Американского дневника», сопровождавшего Н.С. Хрущева в «кукурузной Америке». Все представились и гурьбой спустились к клодке, где стоял Пауст.

Тарусский пляж особенный. Сюда заносит иностранцев, именитых туристов. Обычно они приезжают к Паусту, но всегда ведут на пляж, чтобы потолкаться в народе. На этот раз иностранца привез Гаврила Шахмагонов, секретарь опального Хрущева, с одной целью — собрать по чердакам и верандам нелегальные романы для переправки на Запад. На одном чердаке туляк Кузнецов писал щекотливый роман о расстреле евреев в оккупированном немцами Киеве, на другом прозаик Максимов сочинял роман о блатном, уголовном мире, на третьем поэт Иосиф Бродский готовил замечательные стихи о Петербурге. Все надо забрать, переснять и отправить на Запад. Переправкой занимался британский журналист Виктор Луи, корреспондент сразу двух британских газет «Ивнинг ньюс» и «Сарвей».

На самом деле Виктор Луи был не британский шпион, а советский гражданин Виталий Евгеньевич Лифшиц, сын видного большевика, репатрианта из Лондона. В 1948 году он сел на пять лет за организацию марксистского кружка в МГУ, а в 1956-м уже служил районным сексотом в Москве. Рвение полиглотта заметило начальство и повысило в должности. Женившись на англичанке с благословения «Органов», он стал куратором андеграунда. Все публикации и выставки на Западе проходили через его руки. Соотечественники его охаживали как английского лорда, поили, кормили, щедро одаривали за мелкие контрабандные услуги.

Ночевали они в доме Файдыша-Крандиевского, главного скульптора Москвы, после завтрака бродили в березовой роще и отправились на пляж. По дороге встретился Семен Давыдыч и сообщил, что их ждет выдающийся диссидент Алик Гинзбург с важным сообщением.

— Наконец-то, — запыхавшись, сказал диссидент, — скоро пять, а вас все нет и нет. За мной давно охотятся «органы». — Тут он кивнул в сторону майора Каретника, по колению в воде ловившего пескарей. — Жандармы царя — шпана по сравнению с этими бандитами!

— Пойдите, Алик. Пресс-конференция потом, а сейчас рукописи и манифест. Они с вами? Отлично! Положите в багажник!

Подплыл актер Баков с детьми и представился иностранцу.

— Прошу ко мне в гости. Дача с удобствами. Восемь комнат. Телефон. Газ. С балкона типично русский пейзаж с березками.

Виктор Луи записал телефон Бакова и с благодарностью принял предложение.

— Обязательно зайдём, если можно, завтра в полдень, — на чистом русском языке сказал британский шпион.

— Кавказская кухня! Обед в полдень. Интеллигентное общество за столом. Жду завтра!

Фима все записывала в блокнот.

Славянофил Ивановский, собираясь с мыслями, начал на ломаном английском:

— Плиз, есть ли в Англии православный пипл?

— Конечно, есть, — ответил Луи. — Потомки старой эмиграции.

Перехватив взгляд иностранца, диссидент подскочил к двум красавицам и зашептался с ними. Они накинули на себя сарафаны и безропотно подошли к автомобилю. Сияющий Гаврила Шахмагонов сорвал поцелуй с ручки красавицы и плюхнулся за баранку. Виктор Луи сразу оценил политическую зрелость диссидента, запихнувшего на заднее сиденье двух красавиц, посветлел и крикнул на весь берег:

— Желаем успеха!

Автомобиль рванулся с места, спугнув козу и поднимая пыль.

Нелегальное дело шло как на мази. Гаврила и журналист оказались своими в доску. Окрыленный успехом Алик Гинзбург вцепился в славянофила.

— Ты мракобес, Ивановский! Мог бы и подписать «Протест». О вас же печемся, о вашей свободе креститься и молиться.

— Алик, заткни фонтан! Нам не по пути! «Маяк» давно кончился! «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах» — знаешь, кто это? Николай Клюев. Никакой контрабанды и демократии! Крестить политбюро изнутри, и это сделаю я, вот увидишь!

Оппозиция расходилась на глазах.

Свою жизнь Алик Гинзбург начал с мелкого бизнеса. На студенческой скамье он собирал стихи молодых поэтов и продавал по тройку за тетрадку, пока его не поймала милиция и не осудила на год за торговлю без патента. Из тюрьмы он вернулся героем сопротивления режиму и принялся за более представительную работу по составлению судебного процесса писателей Синявского и Даниэля, с приложением писем и телеграмм, имеющих отношение к этому шекотливому делу. Кое-как устроенный суд, с обвинительным заключением, построенным на липовой политической основе — «антисоветская деятельность», — с грубейшим нарушением всех процессуальных, социалистических норм, осудил писателей за свободное творчество! Осужденные писатели не признали себя виновными.

Он сел на берегу, поджидая физика Мику.

Мика был старожилом пляжа. Он появился в Тарусе, когда горели керосиновые лампы и первые дачники приезжали на старых катерах. Он спасал от ареста беглого поэта Иосифа Бродского. Сейчас у него ночевал Алик Гинзбург.

Около шести вечера подул сильный ветер и небо закрылось тучами. Последним вернулся Мика.

— Ну, что, старик, Томка не вернулась? — спросил он у меня, заматывая на причале лодку.

— Хуйфсраку, чувак! — отвечаю. — Блядство при первом удобном случае! Завтра начинаю новую жизнь, вот увидишь!

2. Башня знаменитого металлурга

В Госполитиздате, что на Миусской площади, молчаливый худред выдал мне рукопись какой-то Елены Микулиной под названием «Ищу себя» — обложка и десяток рисунков. При этом он добавил, что автор — старая революционерка и хотела бы проследить за работой художника. По опыту я знал, что двойной досмотр всем вымотает нервы и время — худреду надо одно, писателю другое, а художнику третье. Угодить сразу двум очень трудно, но отказываться от работы я не хотел. Это было все, что попало на осень. Я обещал худреду встретиться с революционеркой.

Постылый чердак с видом на пляж я бросил и перебрался на горку, где поселились на лето свояки Фрадкины, Евгения Семеновна, Фаина и Данька, скрипач Моисеевского ансамбля песни и пляски. У них в саду пустовал «домик», заросший диким шиповником, где можно было не только сидеть у окошка, но и делать шедевры живописи. Я начал сразу четыре холста в лессировочной технике, один из них, «Портрет в трех поворотах», попал в хорошие руки в Швейцарии, и остальную пару я продал позднее, лет через пять.

Соблазн мира дул из дубовой роши.

Каждый вечер с грохотом и хрипом радиолы начинались танцы в доме отдыха, расположенном через заросший кустами овраг, выбивая из благодатной творческой тишины. Данька Фрадкин, очень бойкий и практичный малый, и я пересекали овраг и смотрели на знакомых и незнакомых танцующих. Очень красивый, тонкий, античной линии профиль привлек мое внимание. Блондинка танцевала с тарусским шофером С.Д. Оттена. Я прилип к ней и вызвал на танец. Глубокий бархатный голос и довер-

чивая близость горячего тела совершенно меня растоптали. Зовут Галя Бондаренко, лабораторный химик в Москве, к сожалению, читает Евтушенко, «Хотят ли русские войны», но поет «Ой, мороз, мороз, не морозь меня», что уже хорошо. Я отвел античный профиль подальше от шофера и чистосердечно признался в любви.

Капризные мужчины предпочитают длинноногих женщин. Я считаю, что лучше иметь женщину без ног, далеко не убежит и спокойно на душе.

Не доходя до домика, мы завалились в лощине на первое знакомство. Блондинка с античным профилем общалась с большим понятием, напоминая мне сладкие встречи с Розой Карзухиной в Звенигороде. Мы продолжали тереться в саду Фрадких, а на рассвете я ее выпроводил, чтоб отоспаться и встретиться днем. Не затягивая дела в долгий ящик, днем я представился ее маме, брюнетке с густыми бровями и суровым видом, и официально попросил руку ее дочери. Мама скривилась от удивления, но поздравила — «ну, это решает Галя», — угостила меня пирогом домашней выпечки и ушла на пляж.

Мы встречались весь июль. Выпускать такой дар из рук мне не хотелось, но Галя ехала служить отечеству, тем же автобусом уехали и Фрадкины. На август и, возможно, на сентябрь я оставался творить и думать в садовом домике.

В самом начале августа, когда я спускался на зов радиолы, меня окликнул знакомый голос. Ну, конечно, это был голос Натальи Пархоменко, моей великой сокурсницы по институту. Странно, что мы раньше не виделись. Она снимала комнату с верандой напротив моего сада с лощиной. Как водится между сокурсниками, много болтавшими на переменках, мы лишь обнюхали друг друга, как собаки при течке, и, виляя хвостами, побежали к перевозу, где я арендовал лодку для катания по речке. Зная романтический характер Натальи, я медленно греб мимо пригорка с могилой Борисова-Мусатова, утонувшего в Оке в 1905 году, — горбатый художник, не умевший плавать, кинулся спасать то-

нувшего ребенка — и сам утонул, и ребенка не спас, — мимо дачи актера Юрки Бакова и, наконец, приткнулись на правом, лесистом берегу и разожгли костер. У костра Наталья запыхтела, как слониха, зажала меня парой грудных полушарий и велела отрабатывать баршину на могучем и неумном теле. Возвращались под звездами и петухами. Никаких обязательств Наталье я не давал, зная, что она невестится с Микой Голышевым, и все в Тарусе трепались, что у них скоро свадьба. Но судьба работала иначе.

* * *

Лично я был обречен на подвал.

Подвал, если хотите, — сущность русской культуры.

У каждого подвала свой путь и лицо.

На «пятакче» Сухаревки, метро «Ботанический сад» и общественные «букашки» Садового кольца, как точка отправления, я осмотрел пятнадцать подвалов.

1. Громан—Россаль (пара графиков). 2. Вилька Каменский (экскурсовод в «Третьяковке»). 3. Славка Клыков (скульптор). 4. Сашка Завьялов (нештатный живописец). 5. Сашка Адамович (фарцовщик). 6. Коля Попов (график). 7. Вова Янкилевский (подпольный создатель). 8. Толя Крынский (оформитель из Харькова). 9. Юрий Нолев-Соболев (график и теоретик). 10. Володька Фридынский (живописец и фарцовщик). 11. Сергей Есяян (живописец). 12. Генка Курбатов (график). 13. Юрка Герасимов (милиционер и живописец). 14. Коля Струлев (нештатный художник). 15. Эрик Неизвестный (скульптор).

В подвале Громана—Россалья белютинцы дали мудрый совет: «Иди к Николаю Иванычу Меламиду, он все сделает».

Надо признаться, что в свои 28 лет я ни разу не давал взятки!

Один раз я передал чужой подарок художнику Дмитрию Домогацкому, но это было ведро малосолевых огурцов от его родной сестры.

Теперь предстоял серьезный разговор с наличными в конверте.

Без труда получив необходимую справку у всемогущего начальника «Худфонда» товарища Мазура, по совету Гали Бондаренко я напялил черную шляпу, повязал галстук и полпелся в контору Н.И. Меламида, инженера нежилых помещений, расположенную в неприступном небоскребе у ресторана «Рига».

В небольшой, но светлой комнате с ширмой в углу, сквозь дырки которой я обнаружил знакомый натюр-морт — бутылка портвейна, конфеты и край потертого диванчика, — стоял большой конторский стол и за столом человек с газетой.

После короткого приветствия и приветия от Громана и Россая, человек бросил газету под стол и уставился на меня шеничными бровями.

— Молодой человек, чем могу быть полезен?

— Мне нужен подвальчик на «пяточке», — нагло глядя инженеру в бесстыжие брови, начал я разговор.

— Значит, молодой творческий работник нуждается в помещении? Хорошая профессия — инженер человеческих душ! Приличные гонорары, всенародная слава, не то что у нас, несчастных служащих.

— Вы знаете, Николай Иванович, у нас когда густо, а когда и пусто.

— А моя благоверная супруга говорит, что у нас всегда пусто. Зарплата сто двадцать рублей, сын в армии, дочка учится!

— Можно сказать, Николай Иванович, что сегодня у нас густо. Получил гонорар за оформление книжки. Предлагаю по-человечески обмыть его в ресторанчике.

— Хорошая народная традиция, вы правы. Предлагаю подзаправиться в скромном ресторанчике «Рига». Отличные цыплята, армянский коньяк.

Я действовал по сценарию, отработанному опытными Громаном и Россалем, не уклоняясь в авантюрные стороны.

В пустынном ресторане инженер заказал бутылку коньяку, заливного судака и цыпленка. Я следовал его советам. За разговором оказалось, что у нас есть общие знакомые. У портного Гуревича сбежала дочка, которую я встретил в подвале Клыкова в позе купальщицы, и напоследок, без всякого стеснения, я сунул ему вспотевший конверт с деньгами небрежным, дружеским жестом, словно отдавал давний должок.

— Приходите завтра, нет, послезавтра, я дам вам ключи от храма на Троицкой улице и от «Сухаревой башни» на Третьей Мещанской. Помещения требуют большого ремонта, но прораб Толя Шапиро сделает все на совесть и за полцены. Он такой камин отгрохал Вильке Каменскому, как в Версале!

Древнюю церковь, расположенную против подвала Соболева, мы осмотрели с Галей Бондаренко.

У ворот начиналась искалеченная земля в ямах и окопах. Повсюду валялись опрокинутые бочки с мазутом, ржавая колючая проволока и гнилые мостки походили не на церковный дворик, а на город Сталинград после немилосердной бомбежки. Внутри пол был так завален мусором и птичьим пометом, что к алтарю мы прорывались по колено в грязи. В помещении стоял дикий холод и мрак. Под дырявым куполом ворковали голуби. Конечно, я мог бы с помощью прораба Шапиро очистить церковь, но в любой момент меня могли турнуть оттуда более прожорливые клиенты с казенными средствами.

Любопытства ради мы осмотрели многоэтажный дом с «Сухаревой башней» около ста метров в окружности и потолком в семь метров, — отличная мастерская для образцового, советского художника, а не для бродяги без постоянного места работы.

После прогулок по башням и храмам инженер ухмыльнулся и спросил в упор:

— Абстрактивист?

От стыда я покраснел как рак и виновато кивнул головой.

Инженер выдал мне ключи от идеального места, окнами выходящего на улицу Актера Михаила Щепкина, а черным ходом в проходной двор улицы Гиляровского.

Свершилось! Теперь я полноценный преступник!

Формалист. Тунеядец. Фарцовщик. Мошенник.

Через подкуп московского инженера, осенью 1966 года я стал и взяточник и подвальный художник. Оставалось загнать книжку Камиллы Грей о русском авангарде, чтоб стать законченным антисоветчиком, что я вскорости и сделал.

Московские подвалы постоянно грабили в отсутствие хозяев. Мне был необходим верный квартирант для полного счастья.

* * *

В бывшей подгородной деревне Кузьминки (усадьба князей Голицыных с остатками английского парка и заросшим озером) построили высотное здание в пятнадцать этажей, похожее на толстую книжку. В этой четырехугольной башне, на самом верху, жила Галя Бондаренко. Она и ее чернобровая мама с нетерпением меня поджидали. Кастрюля с борщом пытела на просторной кухне с балконом. Моя коротышка на точеных ножках вышла на балкон и так голосисто запела мою любимую песню «Ой, мороз, мороз», что у меня все внутри оборвалось от радости.

Лучший голос мира! Какая там Зыкина со своим «платочком»!

За борщом мы обсудили наши планы в ожидании героя черной металлургии, без которого ничего не решалось.

Будущая теща, ослепленная будущим зятем-художником, срочно улетела в Череповец к мужу. Галя приняла меня как самого близкого и родного человека. Стирала рубашки и трусы, которые раньше я выбрасывал в мусор, раз в неделю варила украинский борщ со сметаной. Чтобы меня развлечь, приглашала знакомую пару певцов. Постель

много значила в ее жизни. Она занимала три четверти жилой площади и скрывалась под тяжелым бордовым балдахином. Любила она степенно, с расстановкой на отдых, качаясь всегда два раза в сутки, «вечером, чтоб заснуть, и утром, чтоб проснуться».

В ее отсутствие я рисовал книжку мемуаров товарища Микулиной, с пестрым содержанием, от базаров в Самарканде до немецких шпионов в Красной Армии. Рисунки я показал революционерке, не лишенной благородных манер. Меня тронула ее ловкость в разговоре, с переходом с одного сюжета на другой без всяких пауз. После скользкой политической темы о падении Хруща, где мадам Микулина вставила свое: «Все меняется, и к лучшему, в 37-м Никита Сергеевич очутился бы на том свете, а не на даче в Барвихе», — она приперла меня вопросом:

— А не могли бы вы свести меня с Ильей Глазуновым?

Я ответил «могу», потому что знал к нему проход. Мне показалось, что кроме ревизии иллюстраций придется тянуть работенку гида.

Художник Глазунов тепло встретил нас у себя в башне Моссельпрома, воспетой Маяковским. Все помещение было увешано иконами и прялками самого высшего сорта. Его картины той поры, вставленные в резные, деревянные наличники деревенских резчиков, были самого дурного вкуса, «Иван Грозный», «Царевич Димитрий» и рядом портреты товарищей Брежнева и Суслова, но старуха с радостью их рассматривала, пытаясь заползти в душу исполнителя.

— Скажите, Илья Сергеевич, где я могла бы приобрести русскую икону?

— В разоренных церквях! — коротко сказал хозяин.

— А в Москве? — наседала Микулина.

— Ну, в Москве у фарцовщиков. Оставьте ваш адрес. Я постараюсь направить их к вам.

Не прошло и недели, как у Микулиных в салоне висела красивая икона «Иоанн Богослов в молчании» и старая

революционерка состояла в обществе «Родина», охранявшем московскую старину в порядке. Возвратившись поздно вечером в башню, я обнаружил, что вещи расставлены на прежние места, Галя преспокойно ест борщ на кухне, а мой мешок лежит на пороге.

Мой почин она не приняла. Попытки подтянуть ее к моим ценностям — визит к Фрадкиным, где долго говорили о немецкой литературе, встречи с подвальные художниками Громаном и Россалем — работали вхолостую. Наконец явился ее отец, знаменитый металлург из Череповца.

Этот жлоб с багровой рожей устроил мне форменный допрос с оргвыводами:

— Значит, вы художник, говорите, а где ваша картина? Я сунул жлобу пачку перовых рисунков и книжки.

— А это что? Ваши наброски? Ну, так и я умею, а Галя рисует еще лучше. Вы нарисуйте мне картину с изображением наших вождей, скажем, Леонид Ильич Брежнев на целине или встреча космонавтов, тогда я поверю, что вы художник. Человек без профессии не может прокормить семью, а вы не готовы к семейной жизни, и думаю, что моя дочь сделает правильный выбор.

Я забрал рисунки, вещмешок и ночевал на вокзале.

В ту же ночь я позвонил Наталье Пархоменко.

— А, Валюнчик, а я давно тебя жду!

Наша встреча началась с оскорблений.

— От тебя несет украинским борщом, иди как следует отмойся!

Я покорно отмылся и завалился спать.

Существенным неудобством дружбы с Пархоменко было отсутствие ключей от ее квартирки. Обнимая с роскошной улыбкой, она говорила:

— А зачем тебе ключи? Приходи, я всегда тебя рада видеть!

Однажды я пришел на ее вызов и обнаружил на кухне Мику Голышева, чистившего морковь, как у себя дома.

Мы вместе поели морковный салат, и Мика ушел. Я остался с душой, избитой, как половая тряпка, не зная, что предпринять. Сердце чуяло, что выйти из рабского положения живой очереди мне не удастся.

Утром мы разбегались. Наталья на киностудию, а я по издательским диванам и подвалам друзей, к прокурору на Сокол, к Холину, к Брусиловскому, к инженеру нежилых помещений.

Мои товарищи по веселому ремеслу снимали подвалы с кафельными ванными и телефонами, но мой подвальчик в шестьдесят квадратных метров с парадным и черным входом сразу мне приглянулся. Жильцы, уезжая, оставили громоздкую мебель, библиотеку с адресной книгой 1928 года, где значились телефоны Сталина и Бухарина, лыжи и посуду. Я заперся на ключ, и неописуемое чувство покоя нахлынуло на меня, и я заснул в огромном кресле с дырами в сиденье.

— Взял пяточок! — сказал напоследок инженер. — Желаю успеха!

3. Поэт Холин земного шара

Игорь Сергеевич Холин писал стихи следующего содержания: «Пригласил ее в гости. Сказал: потанцуем под патефон. Сам дверь на замок. Она к двери, там замок. Хотела кричать, обвинила в подлости. Было слышно мычание и стон — потом завели патефон!»

Пожилой поэт, живший по чужим углам, охотно согласился пожить у меня в подвале. Он привез пишущую машинку немецкого образца и бил одним пальцем по клавишам, сочиняя стихи и прозаические романы под условным названием «Музыкальная команда» и «Кошки-мышки». Подпольный литератор одевался под зека — бушлат, грубые ботинки, рваный свитер. Деньги, заработанные детскими стихами, он экономно копил для кооперативной квартиры.

Мне он предложил строгий, тюремный режим жизни, и я охотно согласился, потому что никогда не испытывал тяги к роскоши и расточительству. Это не значит, что мы обрекли себя на голодную смерть, просто продуктовое меню свели на минимум — крупа, картошка, капуста, кильки, подсолнечное масло. Водку и мясо приносили гости. Подруга поэта Ева Уманская иногда баловала нас пончиками с повидлой.

На старый Новый год, то есть 13 января 1967 года, мы оповестили знакомых о повальном банкете в честь открытия еще одной «нонконформистской» цитадели в Москве, с исключительно лагерным меню — картошка в тулупах, соленая капуста и водка. Стол накрывали Ева Уманская и Ритка Долинина.

Таким образом, мы дали заявку на «иностранный салон» с большой еврейской примесью, или, как говорила влиятельная сплетница Москвы Аида Топешкина (тогда Батуркевич), «Воробей и Холин обвешаны жидами, как булка тараканами».

На банкете собрались: Левка Гуревич с Ирккой Эдельман, Данька Фрадкин с Женькой Жаботинской, Женя Терновский с французенкой, Борис Доля с Танькой Федорович, Борис («Борух») Штейнберг с Галкой Поляковой, прокурор С.И. Малец с супругой и пара американцев, журналист Роберт Коренгольц с женой и «часовые родины стоят!».

Назавтра в подворотне появился незнакомый «топтун», что было для меня большой новинкой, так как до этого, часто меняя местожительство, я ловко избегал таких непрошенных хранителей.

— Валя, — меланхолически сказал Холин, — теперь жди в гости искусствоведа в штатском, ты его заслужил!

Мой купленный на корню участковый милиционер Коля Авдеев на мои приветствия угрюмо отворачивал морду к стенке.

К Холину потянулись его барачные соратники, трезвенники и алкоголики, живописцы, фарцовщики, стука-

чи и диссиденты, старые и молодые, друзья и враги — спорить и занимать деньги, воровать и меняться, читать свое и чужое, играть в шахматы и слушать патефон. Поток гостей был так велик, что я вынужден пропустить все имена, невзирая на лица.

В так называемом «дипарте» Холин, несмотря на ограниченные эстетические познания и полное незнание иностранных языков, принимал самое деятельное участие. Я много слышал о его деловых встречах с Камиллой Грей, англичанкой, составлявшей альбом искусства «Великий эксперимент» с помощью проворного и образованного Олега Прокофьева, о его культпоходах с Дженифер и Виктором Луи в поселок Лианозово, о вечеринках у Ольги Карлейль, составлявшей антологию нелегальных поэтов Москвы. Своим участием в скандальной выставке «12» подпольных художников в клубе «Дружба» 22 января 1967 года в значительной степени я обязан хлопотам Холина и протекции Оскара Рабина, отбирившего у меня картины.

Выставку прикрыли через два часа, и художников развезли по домам на казенном автобусе, что больше всего меня потрясло в этой авантюре. Через день в подвал явился австралийский посол со свитой и купил «Портрет в трех поворотах», «Орла» и «Свечу».

Обычно перед сном часа два мы гуляли по снежным дворам Сухаревки и Божедомки, но в ту ночь из-за сильного мороза решили вернуться с полпути, и каково было мое удивление, когда я обнаружил настежь открытую дверь подвала. Внутри сиял свет. Моя черная шляпа и кепка Холина висели на гвоздях. Исчезли пара моих картин и заграничная авторучка поэта. Большие знатоки таких мистерий, Генрих Худяков и Генрих Сапгир, поэты не менее барачные, чем Холин, без промедления внушили мне, что картины изучаются специалистами эстетики и коммерции.

Прошлое Холина скрывалось в густом тумане.

От моих прямых и наивных вопросов о его «детстве, отрочестве и юности» он отмахивался, как корабельный

врач Лемюэль Гулливер от лилипутов, одним словом, «ничего интересного». Я замечал полное отсутствие регулярного образования и повадки военного человека, но этого было недостаточно, чтобы составить представление о прошлом сорокалетнего поэта.

Сирота? Беспризорник? Зек? Надзиратель?

Прозаический коллаж, названный им «Кошки-мышки», писался при мне. Я был первый слушатель этого бесконечного, густо стилизованного сказа, где проходили слабо законспирированные знакомцы: живописец Дверев (Зверев), вдова Посеева (Асеева), песенник Дымокуров (Винокуров), поэт Волин (Холин) и т. д. На мой взгляд и вкус, этот коллаж комических обстоятельств и персонажей, за исключением ярких заумных вкладышей — «брать вашу тать», «теть вашу меть» или «тить вашу дить» и «нить вашу пыть», — написан небрежно и без «силы, заложенной в словах», о которой говорил Даниил Хармс. Сам Холин не раз повторял, что «с сюжетом у меня нелады, да и слова хромают», однако роман пошел по рукам.

Повесть никому не известного провинциала Венедикта Ерофеева, ходившая в списках параллельно, — бытовые зарисовки с натуры и в движении, — ах, какая находка для киношника! — «Москва—Петушки» значительно превосходила холинский «концептуальный коллаж».

Великий поэт, отлично звучавший в поэзии, в беллетристике оказался беден на выдумку и ограничен в стиле.

Раз в месяц в подвал приходила его дочь Людмила, мясистая и рослая блондинка лет двадцати. Они усаживались в угол и тихо мурлыкали о своем. Она собирала большой узел грязного белья, а он ей запихивал деньги в карман, приговаривая: «Доченька, доченька, возьми», что меня всегда поражало в таком суровом на вид и неприступном дяде.

Люда училась в полиграфическом техникуме на метранпажа и перед уходом аккуратно исправляла синтаксис его сочинений.

Риторический вопрос: что такое «дипарт»?

Решительный ответ — искусство для иностранцев!

Так называемый «иностраннный рынок» Москвы (славные столицы: Ленинград, Киев, Рига, Ереван таким не располагали) возник в конце 50-х годов, при взаимном интересе московского производителя и заграничного потребителя. Потребитель был дипломат, журналист, коммерсант, реже бедный аспирант университетов. Настоящий западный купец к нам не приезжал. «Дипарт» был уродливым детищем советской политической оттепели с приблизительным настоящим и без всякого будущего.

Активная работа в «дипарте» совершенно выбила меня из обыденной колеи советской жизни. Я запустил профсоюзные взносы в издательствах, не платил подоходных налогов, воровал у народа свет, газ, воду и не ждал финансового инспектора, так как творческие работники «дипарта» не облагались налогом, как модные портные или фабриканты матрешек.

Звезд с неба я не хватал. Приходилось пробиваться через бурелом эстетических соблазнов в поисках своей тропки. Я ее нашел, используя трехслойные лессировки и неизвестные у нас коллажи из тряпок и песка, но стоило их показать коллегам, как они мгновенно присваивали находки себе, оставляя менее проворного изобретателя в тени.

Из знаменитых подвалов Смоленки (Харитонов, Плавинский, Куклис, Кулаков) ко мне перебрался самый знаменитый «дипартист» Анатолий Зверев, искавший удобное пристанище для заказных работ.

Реклама его покровителя Костакиса была в одну точку. За бойкой кистью А.З. охотились иностранцы. Слава неподражаемого портретиста, с выставками в Париже и Женеве (1965), достигла своего апогея. Три-четыре раза в неделю в мой подвал наезжали жены дипломатов, а А.З. лихо расправлялся с ними, сдирая по триста рублей за гуашь, рисунок и лошадку фломастером.

Мой круг почитателей значительно расширился за счет А.З.

Мужья предпочитали композиции маслом.

Иногда из школы близоруких на Сретенке в подвал спускался Володя Яковлев, всегда аккуратно одетый и остроумный.

У меня лучший живописец планеты написал потрясающий пейзаж — бездонное небо широким, черным мазком, беспредельную землю зеленью и крохотный белый цветок в правом углу жуткой картины конца света. Итальянец Франко Миеле, наблюдавший за работой гения, тут же вырвал ее не остывшей и увез в Рим.

Игорь Холин не гонялся за каждой юбкой, но старался обновлять свой гарем время от времени. Поэтессу Уманскую сменила Люба Авербах, знаток творчества Пушкина и отличная машинистка, стучавшая всеми пальцами как пулемет.

Холин и любовь.

Его предшественники, футуристы, не считали Эрос предметом, достойным вдохновения. Его заменили паровоз и клозет коммунизма. «Мария — дай!» — это все от Эроса Вл. Маяковского. Стихотворец Юрий Верховский великодушно пыхтел: «Останутся полушки, куплю Маше подушки». Суждения Холина на эротический счет отличались лапидарностью военного приказа: «Полюби меня — сука!» Предсмертные стихи в духе «дзэн» штудируют открытый русский мат: «Как чудесно звучит слово “Хуй”».

Комментарии излишни, не гимны любви, а бюллетень матерщинника.

Я помню горячее увлечение Холина красавицей Варей Филиной, променявшей его на московского богача, долгую связь с Евой Уманской, опять же предавшей его и ушедшей к иностранцу, помню и безуспешные попытки овладеть иностранным капиталом — Камилла Грей, Жанна Болотова, Ольга Карлейль, — но яркой любви я не замечал. О женитьбе Холин говорил часто и охотно, особенно в обществе вечно влюбленного шизофреника Зверева, но всегда с ухмылкой бывалого воробья, мол, на гнилой мякине нас не проведешь!

Богемные встречи шли своим чередом. Раз, завалившись к Эду Штейнбергу на Сокол, я обнаружил у него Кристину Коренгольд с коротко стриженной тихой брюнеткой, снимавшей картины художника. Познакомились. Зовут Анна Давид. Совершенствует русский в Сорбонне. Живет в Париже.

Тогда у Эда мы трепались о пустяках, мне и в голову не приходило, что эта круглолицая брюнетка через восемь лет станет моим Ангелом Хранителем, женой и матерью моей дочки Марфы.

В середине мая 1967 года Холин, уставший от зимней спячки в подвале, позвал меня на «отдых» в Крым.

Из Симферополя разбегались дороги по волшебным уголкам побережья: Алушта, Артек, Гурзуф, Массандра, Ливадия, Гаспра, Симеиз, Мисхор.

На остановке троллейбуса номер 52 начинался кадрж отдыхающих чувих. Кадрить блондинок из Барнаула и брюнеток из Конотопа Холин умел, как никто. От его кобелиного гипноза сдавались самые неприступные кадры. «— Ой, вы поэт! — таяла сибирячка. — А Евтушенку знаете? — Знаю, дуся, живем в одном высотном доме, — деликатно чеканил Холин. — Я вам все расскажу на веранде с калиткой. — Ой, правда?» и плелась за ним, как телка за ведром.

Я его спрашивал, как же так получается — одним взглядом снять бабу, а он, лукаво ухмыляясь, отвечал, что, «глядя на нее, даже палка у забора вставала!».

Будучи внештатными артистами, мы не имели права на заслуженный отдых организованного климата и работали дикарями без печки и воды, в ужасной тесноте татарского сарая, под грохот морского прибора. Пляж на весь день в уютной бухте, а ночью молодецкая ебля на ржавых раскладушках сезонных рабочих.

«Касаемся лепестков и проникаем в глубь этого охуительного царства», — записывал поэт в тетрадку.

Раз в десять дней меня принимала Наталья Пархоменко. Однажды в начале июня она мне объявила:

— Я беру тебя с собой на Кавказ, ты будешь носить мой тяжелый чемодан.

4. Кавказские лики

— Ты записан рабочим этнографической экспедиции Академии наук СССР. Билеты заказаны на завтра. Места в гостинице зарезервированы. Оденься рабочим и возьми с собой зубную щетку.

Сопротивляться и вносить свои предложения я не смел. Если так решила барыня, крепостной не имеет права соваться с советами.

— Ну, завтра так завтра, — послушно ответил я.

В моем воображении Кавказ и Дагестан, куда мы ехали в спальном вагоне, рисовались стихами М.Ю. Лермонтова «В глубокой теснине Дарьяла», былью Льва Толстого «Служил на Кавказе офицером один барин» и одним рисунком из «Родной речи» за четвертый класс, где изображалась переправа горцев через горный поток, кажется гравюра князя Гагарина. На живой, советский Кавказ я ехал впервые и под водительством Натальи Пархоменко.

В институте Наталья всем строила глазки, потом вышла замуж за сына футуриста Лентулова, развелась и служила на «Мосфильме», помогая отцу, главному художнику кино постановок.

Ее монументальный силуэт на фоне заходящего летнего солнца соблазнил меня своей прочностью и знанием жизни. Ее самоуверенное учительство я пропускал мимо ушей — «ну, пусть баба тешится», — чувственное тело просило большого ухода, и в моем убогом бытовом пейзаже она занимала в то время значительное место хозяйки и руководителя.

Впоследствии оказалось, что мои прикидки поставлены на зыбкий песок постельных встреч. Необузданная женщина держала мужской гарем без всяких планов на домострой, самоуверенно считая, что она главный «старик-ты-гений» российского искусства.

На моем пути к ней попался тучный и неповоротливый Володя Коровин, не умевший складно связать пару фраз. С плетеной корзиной фруктов приходил физик Мика Голышев, хотя все говорили, что он женится на дочке драматурга Сухаревича. Незадолго до отъезда на Кавказ к ней прилепился маразматик Зверев. Он засыпал ее цветами, учил играть в шашки и гонял перед ней в футбол, под аплодисменты сияющей от восторга толпы.

Она нажала на две-три кнопки отцовской связи, и сразу появилась командировка Академии наук, гостиница люкс в Махачкале и письма дагестанским вождям.

Мой Кавказ начался с Харькова.

В купе вошел смуглолицый брюнет с портфелем и представился:

— Камил Хаджи-Мурат, журналист!

Я подумал: ничего себе, не хватает графа Воронцова и шейха Шамиля!

Незнакомец оказался очень милым дядькой, мирным и болтливым, ничего от кровожадного предка. Он довольно легко изъяснялся по-русски, вспоминая харьковскую конференцию газетчиков. Потом он внес кое-какие поправки в повесть Льва Толстого, не отрываясь взглядом от царственных коленок Натальи Пархоменко.

«Махачкала — столица советского Дагестана!» — объявило радио.

Поезд незаметно вполз в город, где пахло морем и арбузами. В барском театре Н.П. я исполнял роль носильщика двух тяжелых чемоданов, набитых шмотками.

На перроне газетчика Хаджи-Мурата подобрали свои люди. Он встряхнул портфелем, вежливо шаркнул ножкой восхищенной Наталье и скрылся. Сквозь густой туман и пыль таксист доставил нас в главную гостиницу города.

— Какой красавец, этот Хаджи-Мурат, — пыхла моя повелительница, — какой выразительный мужчина.

— Обыкновенный бюрократ с портфелем, — сопротивлялся я.

— Ну что ты, Валя, это настоящий джигит! Я в восторге от Дагестана!

В гостинице стоял бедлам.

Народный артист Ленинграда с чемоданом, залепленным болгарскими картинками с изображением моря и пляжа, басом возмутился:

— Как это занят люкс? Кем, позвольте узнать?

— Да вот ими, — бурчал сонный администратор.

— Да кто они такие?

Наталья брезгливо оглядела артиста с ног до головы, встряхнула ключами у его носа и жестом велела поднимать чемоданы.

В люксе стоял старый телевизор на амбарном замке, а в огромной, выкрашенной зеленой краской комнате капала ржавая вода. Унылый и пыльный город открывался из окна. Внизу вонял овощной базар, где-то за крышами плескалось море.

Мой Кавказ существовал в двух слоях, книжном и действительном, с четким календарем этнографической экспедиции. У Натальи он слагался иными картинками.

— Ты только посмотри, какой гениальный закат! Какой пронзительный цвет и свет юга! Какой замечательный праздник для глаз!

Закат, действительно, был красив, но внизу воняло навозом и гнилыми арбузами, в ванной не текла вода. Мне выпала честь тащить чемоданы Натальи, я лучший носильщик страны, но где помыться после двух суток вагонного путешествия?

Ночью потекла холодная вода, и я кое-как побрызгался перед сном. С утра предстояла нешуточная встреча с министром культуры и культпоход по городу-герою.

Друг Натальи, товарищ Юсупов, приветливо, без всяких формальностей встретил нас в кабинете с красной дорожкой, бегущей к совершенно голому столу рижского производства. Я не видел, чтобы министр что-то писал. На столе было пусто. Он встал, обнял Наталью крепче, чем принято на людях, и усадил в кресло.

— Наташа, — начал мужик хорошим русским языком московской обработки, — советую посмотреть наш музей с богатой коллекцией оружия и ковров, а покушать можно в ресторане «Дагестан» — отличная национальная кухня.

Музей оказался плохой, и ковры плохие, и ресторан, правда, национальный, но несъедобный. Первое блюдо, хинкал, готовилось из теста и мясной начинки с острыми приправами. Бараний шашлык совсем сырой и жирный. А коньяк под названием «Гуниб» с резким запахом самогона. И — ни одной женщины! Пара подвыпивших джигитов заказали музыкантам лезгинку. Попрыгали, как козлы, и сели допивать, часто чокаясь друг с другом.

Товарищ Ахмет Ислам-Магома, дагестанский начальник местной Академии, был единственным ученым, способным отличить бешмет от бурки. Когда мы появились во дворе Академии, заваленной обломками мусульманского могильника, он вышел навстречу с засученными рукавами белой рубахи и без всякого конфуза воскликнул по-французски:

— Бонжур, бонжур, шер ами, Москва нас не забывает!

В этом дворе, похожем на торговый склад могильных принадлежностей с сильным сквозняком, состоялось первое совещание участников этнографической экспедиции. Явился художник Омар, еврей из Дербента, пара практиканток из Москвы, повариха с сыном и шофер Мишка.

— Ваша задача, — ворковал Ахмет, обращаясь к Наталье, — сделать обмеры мечетей и зарисовать остатки развалин.

Три дня мы прожили в лучшей гостинице города, где не было проточной воды, а в ресторан не пускали женщин. Я пытался перенять у моей барыни мировоззрение восторга, но ничего не получалось. Как только она с радостью визжала: «Ой, смотри, какая прелесть — белеет парус одинокий!», я смотрел на пепельный горизонт Каспийского моря и вместо паруса видел нефтяную вышку и комя мазута на берегу.

Трудовой коллектив из девяти членов двинулся в путь. Я обязан таскать и грузить узлы в грузовик, собирать раскладушки и мыть посуду. Вопрос о положении рабочего класса в команде этнографов не обсуждался, но мне перепало место в кабине, рядом с шофером. У Мишки висел портрет товарища Сталина в форме маршала. Десталинизация его не касалась.

На первой стоянке ни мечети, ни костюмов мы не нашли. На кладбище, заросшем сочной зеленой травой, стояла одна стела с витой арабской надписью, выдолбленной кинжалом.

— Тут лежит Саид-Бек, — сказал древний старик. — Лежит тело без головы, голову забрал имам Шамиль за то, что Саид служил русским гяурам.

Замирен ли Кавказ?

Наш начальник из тех молодых аварцев, кто принял русскую жизнь, полюбил бледнолицых женщин больших городов и французский язык. Стоя за спиной Натальи, рисующей могильный камень, он лопочет:

— Се жоли, неспа?

Она повернула к нему пламенные голубые глаза, заполненные восторгом и благодарностью.

Меня она считает, и, наверное, правильно, куском мокрой глины, из которой можно вылепить все, что угодно, и не замечает моей врожденной гордости, унять которую еще никто не смог.

Аул Цилитли над облаками. По крышам ползут облака. Аул чисто омыт дождями и добела высвечен солнцем. Каменные сакли склонились над бездонным ущельем. У турецкого фонтана спит пес. Под густой чинарой наш лагерь. В команде один рабочий — я. Шофер Мишка не рабочий, он ас. Он водит «ЗИЛ-144» сквозь облака и по таким кручам и бездорожью, что у меня сердце стучит от страха. Наталья всегда сияет, как солнце. Остальным хоть бы что, все нипочем. Бесстрашная команда, даже Омар Рахмилов, тат из Дербента, — храбрец. Единственный трус — я.

Омар мой негласный союзник. Мы вместе слушаем приемник под кустом. В Синайской пустыне евреи разбили арабов.

— Наши у стен Египта! — гордо говорит Омар и смотрит на восток.

Неужели сионист в наших рядах? Я помогаю ему обмерять и рисовать развалины.

После ночевки в Цилитли мы двинулись еще выше, сквозь облака к аулу Игали, где предполагалась длительная стоянка. В фургоне грузовика мы сгрудились, как мешки с картошкой. Наталью греют с двух сторон, аварец и я.

— Смотри, одинокий джигит среди скал!

Я посмотрел. Ничего нет, кроме вылинявших от солнца стен амбара и старика на осле.

Эта женщина любит красиво жить.

Начальник Ислам-Магома смотрит на меня с наглым недоумением. Я знаю, что он полное ничтожество и «селяви» не спасает от серости, но он воплощение кавказской доблести, а я — болотный хмырь, анонимный и ничтожный рабочий. Весь день я слоняюсь по зловонным кручам Игали, отгоняя собак палкой. Утомленный зноем, я спустился к ручью, чтобы освежиться у проточной воды. В янтарных брызгах горного водопада стояла совершенно голая Наталья, белая и пышная, как снеговик. Безукоризненной начинки грудь, длинные, пышные волосы, ноги по щиколотку в ручье. Из-за камней выскокил аварец. Подкрался, снимая на ходу черные штаны. Она обернулась и без удивления, всей тяжестью огромного тела придавила тощего аварца к земле, потом заботливо склонилась над ним и толкнула чреслами, закрыв глаза от сладкой гимнастики. Я не стал их тревожить и мирно высидел всю пытку, пока они мычали и стонали на плоском, как блюдо, камне.

— Не очень ли много для одного татарина? — спросил я Наталью на обмере мечети, похожей на обыкновенный каменный загон для скота.

В пламенеющем взоре ее больших глаз стоял аварец Ислам-Магома в черных штанах и белой рубашке с засученными рукавами.

— Посмотри, как здорово он танцует лезгинку!

— Сукин сын твой танцор!

Она осмотрела мой помятый вид и тихо ответила:

— Вижу, что ты несчастен, но я тебя люблю за послушание!

Она гладит меня как собаку и целует в лоб.

Тяжелая, душная ночь в Игали была моей.

Я основательно изучил ее тело за год встреч, запомнил неподвижные щеки и крупный нос, пару музыкальных ушей, прикрытых локоном. Она всегда требовательна и бесстыдна и лаской гасит мой стыд. Вздохи, объятия, последний шепот и прикус пухлых губ.

Ах, это кавказское небо, теплое, как одеяло!

Ночь на крыше сакли. Снизу, со двора несло гнилью абрикосовых отбросов.

Она родилась царствовать над миром. Среди грязных ведер, гнилых школьных парт и лавок, на замызганном матрасе, она царица.

В ауле Игали взбунтовал русский шофер Мишка:

— Стоп машина, дальше не пойдет!

Мишку уломали продвинуться до большого и старинного аула Алмак, где был ларек с водкой. Там ко мне, рисовавшему с Омаром ореховое дерево, подошла древняя старуха с подолом кавказских сокровищ — кинжал, браслеты, кольца, бусы, ожерелья, мешки в разноцветном бисере. Я забрал все сокровища и расплатился. Мы остались довольны друг другом. Назавтра весь аул ташил в наше стойбище национальное достояние автономной республики, от кремневых ружей турецкой работы до женских украшений, похожих на лошадиную сбрую.

К народу прыгнул аварец и заклокотал по-аварски, пугая стариков Аллахом и Шайтаном. Потом рванулся ко мне, сидевшему на куче кавказского добра.

— Мы не позволим грабить нашу страну приезжим фарцовщикам из Москвы! Наше сокровище остается на месте! Пусть гниет здесь, а не на полках московских снобов!

Я развел руками. Старики ворчливо завязали узлы и разошлись.

— При первой okazji я ухожу из этой банды ублюдков, — сказал я Наталье. Она блаженно улыбнулась и погладила меня по стриженной голове.

— Ну ты меня не бросишь в горах?

После двухдневного запоя Мишка сел за руль и спустил нас на плоские казачьи земли.

— Товарищ начальник, — наглед я, — здесь нет никаких мечетей, пойду ловить рыбу с Мишкой.

Члены нашей команды, две прыщавые стажерки, повара с сыном и художник Омар уселись на жердях загорать. Начальник и Наталья скрылись в кустах. Я просидел весь день на озере, ничего не поймал, но уломал Мишку на предательство. За пол-литру водки он продал государство и потребовал капитальный ремонт в Махачкале. Наталья увязалась за нами.

— Хватит валяться в грязи на крыше сакли, глотать тесто, от которого слипаются кишки, и слушать наставления идиота!

— Да ты ревнив, мон шер! — удивилась Наталья. — На тебя нельзя положиться ни в горах, ни на равнине!

Это были длинные и самые правильные ее слова, и я с благодарностью ее обнял при всех.

Мы возвращались в Махачкалу в пустом грузовике, с чемоданом грязного белья и горстью старинного серебра.

Через день или два мы поехали в Дербент, столицу еврейского царства татов. Нас встретил художник Омар Рахмилов и показал удивительный город, сплошь декорированный звездами царя Давида.

Свой язык, своя газета, свой театр, своя синагога, свой базар, где старики торговали лохмотьями неизвестного применения. Омар мне сказал, что Москва порвала дип-

ломатию с Израилем 10 июня 1967 года, а мы уезжали одиннадцатого. Вечер мы провели в дербентском кабаке, освещенном одной желтой лампочкой. Опять ели хинкал и пили мутный портвейн из давно не мытых стаканов. Омар пил «ла хаим» за «Эрец Израиль». Мы неловко подтягивали и обменялись адресами.

— А я еду к себе! — вдруг сказал художник.

— В дом со звездой? — спросил я.

— Нет, дальше, в Израиль!

В этот вечер я подумал о русских генералах с благодарностью. Слава Богу, что не сумели крестить Дагестан до конца!

В последнюю кавказскую ночь, в люксе без воды, в раскаленном от зноя и вони номере Наталья бросилась на меня, как львица на Мцъри, и потащила в такую даль вообразимой жизни, где не было ни измен, ни подлости, а только любовь на двоих и мир для человечества.

Потом мы сели в загаженный бакинский поезд, и страшные знаки подозрений снова воскресли, заталкивая в преисподнюю светлые мгновения любви. Я уперся в тусклое, засиженное ордой ядовитых мух окно, и новая западня страха охватила мою душу.

* * *

Мой рабочий сезон 1967 года оказался плодотворным. В Тарусе, куда меня привезла Наталья, я сделал шесть замечательных холстов на кавказскую тему. Мое воображение и техника работали в полной гармонии, как рыба с водой. Я рисовал аулы в упор, как иконы, расставляя пятна, полосы, завитушки и точки в благородном сочленении, затем заливал их трехслойной лессировкой.

Это не были откровения, но знатоки говорили, что солидно и красиво сделано.

Даже скупой на похвалы Мика Голышев говорил:

— Чувак, а вот это что надо! Клевая вещь!

Тогда хорошо работалось. Наталья жила рядом, но преодолеть ее сытую душу я не мог.

4 июля 1967 года, вырядившись в полосатый костюм и дурацкую шляпу, привлекавшую внимание прохожих, я храбро перешагнул порог американского посольства, куда меня пригласили праздновать независимость Америки. Г.Д. Костакис, опекавший стадо подпольных баранов, предостерегал:

— Ребятки, это большая победа, но не надо бить посольскую посуду!

Димка Плавинский, напившись вдрызг, наблевал на полковника американской армии и обоссался при людях. Его схватили два дюжих сержанта в парадных мундирах, вывезли на автомобиле и сбросили в родной подвал.

Анатолий Зверев не вынес пытки приличия и ударил стаканом об стенку.

Супруга известного маршала Советского Союза тащила на себе ворованные американские салфетки.

Еле держась на ногах, я пил на брудершафт с женой посла Томпсона, расхваливая ее картины, висевшие на стенах Спасо-Хауза.

Британский шпион Виктор Луи мирно беседовал с диссидентом Оскаром Рабиным. Немухин обсуждал военные дела с маршалом Якубовским.

Служение искусству превращалось в пьяную толкучку, где наши картины смотрелись самоварами на продажу оптом и в розницу. Корявое, глупое и дикое творчество новаторов андеграунда поднималось вонючей пеной над золотом русской культуры, и иного не предвиделось.

Всю осень 1967-го мы были вместе, Наталья, Зверев, Холлин, я. Мы гоняли на лужайках в футбол, играли в шашки, где А.З. бил всех подряд. Наталье нравился этот буйный генний, но влюбленный в журналистку Любу Боровик, он совсем не отвечал на страстные позывы властной женщины.

Родители Натальи, видные деятели советского киноискусства, приняли меня в свой клан, считая нашу связь ре-

шенным делом, однако жизнь не простая линия, а сплошной и неясный зигзаг.

7 ноября мы втроем ездили в Тарусу убить праздничные дни и сменить воздух. А.З. паясничал. Все хохотали, пили зубровку и слонялись по холодным дубравам, нагоняя аппетит. Наталья дернула меня за рукав и холодным тоном объявила, что вытравила мой плод, потому что не желает иметь детей.

Порвал ли я с преступницей?

И да, и нет.

Мы вместе вернулись в Москву и расстались на Курском вокзале, чтобы никогда больше не встречаться.

«Перед Тобою был я скотом!»

Игорь Холин писал роман о войне, «Кошки-мышки».

Толя Зверев спал в сундуке.

И меня ограбило государство. Знатоки говорили, что наконец-то я попал на официальный учет и контроль.

Зима 1968-го казалась особенно угрюмой и темной. Сплошная ночь, сугробы, мороз, фонари. Цепочка иностранных покупателей, особенно дипломатов и туристов Латинской Америки, не прерывалась, но меня осаждали ловкачи, выжидая свой улов.

5. «Дипарт»

При первом знакомстве в курилке Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (1960) мы обнюхали друг друга, как два очень похожих дворовых пса, но сдружились гораздо позднее, в 1967-м, и не расставались до моего отъезда за границу в 1975-м, хотя дружба постоянно сопровождалась кулачными боями и проклятием убить.

Внешняя биография Анатолия Тимофеевича Зверева не сложна. Он родился в Москве (1931), в семье дворника, выходца Тамбовской губернии, искалеченного в Гражданскую войну. Закончив ремесленное училище маляров, он попал в армию, где симулировал шизофрению агрессив-

ного направления и был вскоре комиссован с инвалидностью второй группы. Работал маляром в саду Сокольников, где его красочное оформление заметил учитель танцев А.А. Румнев и потащил тамбовского самородка, расписавшего красочными петухами стены «детского городка», на самую верхотуру московского образованного общества, куда не так просто забраться и с кучей академических дипломов.

Там сразу началась драка между чувствительным, но бедным эстетом Румневым и дальновидным и денежным греком Костакисом. Расчетливый самородок переметнулся к греку и накануне молодежного фестиваля 1957 года стал известен «всей Москве» как портретист мертвой хватки и гений мирового уровня, не более и не менее.

Я встречал Зверева в подвалах Смоленки, но дружбы не искал, а, скорее, держался подальше от неумного алкаша грубых манер. В 1966-м положение изменилось. Я снял доходный подвал на Сухаревке, попал в коллекцию Костакиса, и на сеансе у прокурора А.З. пригласил меня в ресторан обмывать получку, а это означало, что человек ищет дружбы. Проломив череп своей очередной подруге, А.З. сбежал от нее и окопался в моем подвале.

Брюнет с крючковатым носом, одетый во что попало, шастал по Москве, как у себя в огороде, безошибочно определяя, где растут спелые овощи.

После выставки «12» в рабочем клубе «Дружба» (январь 1967 г.) за мной наладили постоянную слежку с побочными неприятностями в жизни. Правда, появились лишние деньги от иностранных покупателей, но подвал день ото дня превращался из уютной мастерской в проходной двор. Шли начинающие художники, алкаши и наркоманы без определенных занятий, платные и бесплатные доносчики, поэты и прозаики, бляди и невесты, вносящие лишние хлопоты и нервотрпку.

Зверев жил одним днем, не заглядывая дальше опохмела. Утро начиналось шампанским, день пиром, а вечер

дракой и милицией. Несмотря на врожденный дар выживания, он начисто отвергал казенный образ жизни с обязательной службой, и всех, кто там пасса, он презирал, казнил и выжимал, как тряпку.

Я не думаю, что ученые с мировым именем или знаменитые киношники и музыканты были сплошные идиоты, не способные логически мыслить, но их поклонение юродству я объяснить не могу. Возможно это традиция необъяснимой «русской души», возможно, сильный характер Зверева с примесью гипноза, возможно, помесь того и другого.

По словам поэтессы Нади Сдельниковой, подруги художника в 1963—1964 годах, дирижер Игорь Маркевич, объехавший весь мир и много повидавший на своем веку, от прихотей Сергея «де» Дягилева до глупостей Екатерины Фурцевой, по приказу Зверева перемывал чистые стаканы до тех пор, пока деспот не говорил «хватит заниматься ерундой, давай выпьем»!

На моих глазах известный киношник Вульфович вытирал за ним плевки на паркетном полу, и чем Зверев больше плевался, тем больше старался киношник. Смирно держался и всемирно известный виолончелист Валентин Берлинский, стоявший за спиной художника с подносом водки, пока тот рисовал его жену и дочку. Ученый переводчик Пинский, знавший всего Шекспира наизусть в оригинале, прислушивался, что скажет Зверев о стихах английского драматурга, никогда не читавший их, даже по-русски. Жена Костакиса, Зинаида Семеновна, варила для него куриный суп, пока он рисовал американского сенатора.

Обладая большой энергией на выживание, Зверев начисто отвергал бюрократическое общество, и люди, причастные к этой древней колеснице, словно чувствуя свою вину, спешили преклониться перед человеком, живущим вне официальной субординации.

Человек деревенской складки, он выглядел стопроцентным горожанином, никогда не выезжавшим из столицы, а если выбирался за город, то обязательно в черном

костюме и дорогих туфлях, которые сразу разваливались от игры в футбольный мяч.

Этот необычный человек, пивший до белой горячки, рычавший, шипевший, визжавший, плевавший в присутствии почтенных людей, всегда был окружен выводком заступников и опекунов, от престарелых вдов до несовершеннолетних девиц, смотревших ему в рот, как на божество. Такой малообразованный, но очень чувствительный к культуре художник прижился в моем подвале и произвел значительные перетасовки в его рабочем ритме.

* * *

Новый 1968 год мы встречали у Алены Басиловой, примерной ученицы Холина и «дамы с сюрпризами», как он меня озадачил. Дама держала модный «салон смогистов» на Садовой-Каретной, в похожем на тонущее корыто строе-нии на снос.

Следует сразу заметить, что в бесконечной поэме «Умер земной шар» (1965) среди 25 особ женского пола лишь одна Басилова не просто «друг», как «поэтесса» Уманская, «художница» О.А. Потапова, или «художник» Дина Мухина, или «знакомая автора» Марина Надробова, или «по просьбе Сапгира» Таня Плугина, а «друг» с многозначительной приставкой «женщина»!

Библейское лицо. Глаза с поволокой. Зовет в бездну.

Накануне праздника к нам в подвал заглянул дежурный фаворит «женщины», дантист Коля Румянцев, три года отсидевший за содержание подпольного борделя на советской земле. Он забрал деньги на шампанское и, сверкая золотым зубом, покатил дальше.

За час до полуночи, в метель и ветер, с ведром кислой капусты мы втроем двинулись на встречу Нового года. У входной двери стоял приземистый живописец Эдуард Зеленин, сибиряк из чугуна и стали. Он прижал нас к стене и разъяснил содержание картин, покрывавших стены длин-

ного коридора. Холин внимательно выслушал лекцию, похвалил сибиряка за смелый мазок и проник в тускло освещенную оранжевым абажуром комнату.

В густом табачном дыму люди провожали минувший год.

Сексуальный мистик Ю. В. Мамлеев шептал в ухо «мамке русской демократии» по кличке Лорик о людоедах Замоскворечья. Матерый реформатор стиха Генрих Сапгир обнимал пышную и вечную невесту Оксану Обрыньбу, искавшую породистого ухажера. Личный архитектор «Исаича» (А. И. Солженицына), Юрий Васильевич Титов, молча чавкал над тарелкой квашеной капусты. Чернобородый сын знаменитого генерала Алексей Быстренин рисовал на столе чертей. Меценат в рыжем парике Сашка Адамович ублажал девиц, Эдельман и Жаботинскую, армянскими анекдотами. Знаток французской лирики чуваш Генка Айги внушал заезжему португальцу Суаресу, что главное в поэзии «белое на белом», а остальное дерьмо собачье. Самовлюбленный Генрих Худяков, переделавший Шекспира на русский верлибр, яростно спорил со стеной.

Вокруг стола с едой, как мухи над навозной кучей, роились «самые молодые гении» с гранеными стаканами в руках. Они прыгали с места на место, втыкали окурки в тарелки соседей, орали, пили и толкали друг друга по бокам. В темном углу, на собачьей подстилке храпела пара самых видных «смогистов» Москвы — Ленька Губанов и Мишка Каплан. На черном троне неизвестной резьбы, вся в сияющих, фальшивых брильянтах, восседала «женщина» Алена Басилова с поклонниками по обе руки. Харьковский закройщик Лимонов чистил ей горячую картошку, а дантист с золотым зубом разливал по стаканам водку.

Мы присели на край истлевшего дивана, где ядовитые пружины кусались, как змеи. За фанерной стенкой кто-то подозрительно громко трахался, не обращая внимания на общество.

Ровно в полночь, под бой Кремлевских курантов, известивших наступление Нового года, из темного угла вы-

полз поэт Леня Губанов, ловко прыгнул на стол с обедками и как оглашенный завыл: «Ой, Полина, Полина, полынья моя!» Его прервал пьяный голос снизу: «А воспеть женщину ты не умеешь!» Смогист затрясся, как припадочный, опрокинул ведро с капустой и с криком «Бей жидов!» прыгнул на обидчика Мишку Каплана. Под звон и гам смогисты покатались по полу, кусая друг друга.

Гей, славяне!

Войну поджигали со всех сторон. Как только верх брал Каплан, все хором кричали «Долой черную сотню!», как только выкручивался Губанов, кричали «Дай, дай ему прикурить!».

Пьяный иностранец выл от восторга русского праздника. Мистик Мамлеев и Лорик закрылись в уборной, сославшись на боль в животе. Сапгир заказал такси и смылся с невестой в другое место.

Диалектика русского барака.

Холин выпрямился, как ружейный штык. Из узких глаз полетели такие острые пули, которых я еще не видел. Командирским голосом он приказал:

— Тихо, дать вашу рать!

Жаль, что вас не было с нами. Народ затих. Драчуны расползлись по углам. Дантист и закройщик разлили шампанское. «Женщина» Баилова тряхнула брильянтами. Холин произнес новогодний тост:

— Не спешите в гроб, господа!

Я подумал, что Холин был не простой солдат, а боевой капитан в настоящей войне.

* * *

Иностранец — бес, шпион, капиталист!

Это заучили все в пролетарской стране, и я в том числе. Репатриантов из Европы, всяких там «прогрессивных князьков» за иностранцев никто не принимал всерьез, студентов Албании и Туниса — тоже, московского грека

Костакиса — вряд ли. Они отлично говорили по-русски, в поте лица трудились на стройках коммунизма, следовательно, до бесов и капитала им было далеко.

Настоящих иностранцев кадрили у входа в гостиницу «Националь» и тащили на посиделки и просмотр картинок. Картинки меняли на свитер, пиджак, бутылку виски.

За встречи с иностранцами власти не преследовали так сурово, как бывало, но если человек сильно зарывался на обмене валюты, как это случилось с начинающим живописцем Колей Недбайло, то мог загреть года на два в Сибирь «на химию».

Поразительно, но статейка Александра Маршака в американском «Лайфе» вызвала гнев негодования серьезной академической мафии. 21 июня 1960 года партийный академик В.А. Серов совершенно серьезно докладывал партии и народу, что «абстрактивистов среди наших художников надо искать с микроскопом», что было абсолютной правдой, но и под микроскопом фарцовка с иностранцами не прекращалась, а расширялась.

Иностранец как частный собиратель искусства, в особенности подпольного, неофициального творчества, появился в это время. На приветливые огоньки московских подвалов потянулись дипломаты и целые косяки московской интеллигенции, поглазеть на запретный товар передовых художников.

Определился «торгово-алкогольно-артистический» кружок в Москве, невежественно обозначенный западной критикой как «новая левая».

Деловой костяк нелегалщины состоял из недоучек и политических хамелеонов, менявших свои взгляды в зависимости от вида клиента, от крайне правых до крайне левых.

Ваську-Фонарщика, стоявшего на макушке нелегальной пирамиды, можно лишь условно считать монархистом и православноверующим христианином. Серия его эротических композиций и голых баб, бегущих в степи, скорее

вольнодумного направления. Если привязать его к «русской традиции» — монастыри, кресты, иконы, то опять тупик с легким следом, перетащить в обоз западных «измов» — фотореализм, натурализм — опять будет грубый просчет, искусствоведам надо попотеть, чтобы по-настоящему определить его уникальный и единственный в своем роде дар.

Что для меня, бойца подпольного изофронта, значил Васька-Фонарщик в 1968 году?

Внешне это был дядька в синих тренировочных штанах, с мускулистой шеей и широкой лапой. Большой, толстый нос. Гладко зачесанная шевелюра. Упругий, кошащий шаг, с резкими выпадами на опасность.

Его логово подробно описал Холин. Лабаз старьевщика. Все тот же скопидом помещик Плюшкин. В отличие от Плюшкина, В.Я.С. мастерил байдарки, намереваясь далеко уплыть и открыть Америку. Значит, и Робинзон Крузо вдобавок. На кухне профессор Робинзон Крузо и кучка «Пятниц» за мольбертами рисуют все, что влезет в голову. Фаворитами той поры были глухонемой Юлий Ведерников, работавший отдельно, в чердачной светелке, «еврейский племянник» Веня Волох, пришибленная пыльным мешком Ирина Ивлева, какой-то спортсмен Чашкин, не более пяти подопечных учеников.

Доходные гости навещали его беспрестанно, не забывали и санитары дурдома.

Застольный разговор вертелся вокруг двух «дураков» из Америки, Игоря Мида и Поля Чеклоши, составивших глупую книжку о «неофициальном искусстве Москвы», хотя «я (Ситников) бился с ними год, пытаюсь растолковать, что к чему, но все как об стенку горох».

На всякий торговый случай книжка американцев лежала рядом с Библией.

Заходя к В.Я.С. по ночам то с Холиным, то с Зверевым, то один, я не предполагал, что буду работать с ним бок о бок, раздвигая торговые операции во все стороны, где главным вопросом всегда был «за сколько ушло?».

Анатолий Зверев от трех рублей за штуку постепенно поднимал гонорар до ста рублей, месячная зарплата врача. В.Я.С. просил за картину пятьсот и получал свое. Сдать покупателю коллеге считалось непростительной глупостью или дальним расчетом, но бывали и гуманисты, на вопрос иностранца «Есть ли в Москве художники кроме вас?» отсылавшие его по адресу. Таким гуманистом оказался и Ситников. Однажды ко мне постучались. На пороге стоял громила в кирзовых сапогах, но с иностранной мордой. «Я к вам от Васи», — говорит Джимми Смит, американец.

Громила не только купил у меня две картины, но и пригласил в гости, что много значило для меня. Знакомство с новыми людьми, расширение клиентуры.

Ко мне приходили люди, искавшие «русский монастырь» или «голую бабу». Я их отсылал к Васе.

Картину среднего размера я продавал за двести рублей, а если за день две-три, то гонорар составлял получку доктора наук.

Другие зарабатывали еще больше.

Уже в Париже кинетист Нуссберг мне сказал, что у него было десять карманов — пиджак, брюки, рубашка, — битком набитых деньгами так плотно, что туда не пролезал палец!

От ареста и ссылки в Сибирь меня спасала работа книжного иллюстратора.

Мой торговый сезон 68-го года был на редкость удачным. В подвал то и дело спускались послы и журналисты западных стран. С легкой руки посла Бразилии, сеньора Кадаша, я отоварил целый косяк южноамериканских республик. С американцами я держал порочную связь через журнал «Ньюсуик», где вся редакция имела мои картинки и старалась пропихнуть мое имя на популярность. Через супругу Джона Дорнберга, баварскую немку Ютту, ко мне потянулись и немцы.

Борис Штейнберг ежедневно приходил ко мне греться в подвал. Он заваливался без предупреждения и дремал в

широком кресле. Он бросил сочинять абстрактные стихи и работал в столярке, по инерции строгаю подрамники для подпольных живописцев. К искусству он тянулся всегда. Он тупо и неумело пытался рисовать карандашом. Раз, сидя у него в столярке, я залюбовался, как он строгают доски. Стружки ловкого столяра, падая со стола, ложились в ритмическом порядке на кучу опилок.

— Старик, говорю я ему, — вот гениальный поп-арт, приклей эту кучу к доске и залей лаком.

Я совсем не собирался кичливого и вздорного парня тащить в искусство, но мне очень хотелось доказать «дому Фаворского», что художником можно стать, не владея академическим рисунком.

И опыт получился!

Борух оказался послушным исполнителем и принес красивый «поп-арт».

— Старик, одной вещи мало, сделай десяток, — говорю ему.

Борух согласился и принес еще пару. И каково же было его удивление, когда все «столярные штуки» купили иностранцы.

Через год-два Борух стал на ноги, разбогател и забыл, где расположен мой подвал. Потом он всем лгал самым бессовестным образом, что к поп-арту пришел самостоятельно, а где выловил первого иностранного покупателя, тщательно скрывал.

Да здравствует Борух!

Аллилуйя!

Зачем ходить на уроки рисования, когда за примитивные поделки дают деньги? Где же место художника, на вавилонской башне советских академий или в богомном мире неподцензурной работы?

* * *

Русские обожают памятники. Нищая страна возводит многотонные и дорогостоящие монументы вождям, воен-

ным, космонавтам, писателям, художникам, героям труда и войны. Памятники Александру Сергеевичу Пушкину, «солнцу русской поэзии», стоят повсюду в бронзе, мраморе, гипсе, глине, дереве.

У Холина были свои счеты с Пушкиным.

Он шел к Пушкину узкой тропой нигилистов — «сбросить Пушкина с корабля» (Давид Бурлюк), но плевал не на «солнце», а в «многопудье» (Вл. Маяковский) казенных почестей.

Значит, по Пушкину, пли!

На православную Пасху (1968) у церковной ограды крестного хода, с торжественным «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ», Холин вдруг ляпнул:

— А вы знаете, что Пушкин был большевик? «К лукавому склонив на грудь главу, вскричала: ах, и пала на траву», разве Царица Небесная падала на траву?

Пушкинист Люба Авербах, новое увлечение поэта, вспыхнула как спичка от возмущения.

— Нет, Игорь Сергеич, Пушкин — свет, цвет и бог России, а вы провокатор и бес!

Со школьной скамьи я, знавший наизусть три сезонных пушкинских куплета, с восхищением смотрел на Любу, разнесившую неуместный и злой выпад Холина.

На совершенно неизвестных и поразивших меня примерах биографии поэта с цитатами: «Вхожу ль во многолюдный храм», «анакорет молился Богу», «Бога глас ко мне воззвал» Люба доказала бесспорное православие и церковность великого поэта.

— Закон Божий и церковные правила Пушкин знал изнутри и с пеленок, не читая книжек религиозно-философских кружков, — расходилась Люба Авербах. — Его поэзия непрестанная молитва подвижника. Нам гениальный «сверчок» пел любовь и, значит, Бога! Вера и любовь, соблазн и раскаяние всегда вместе! И лежит он на Святой Горе! Вперед к Пушкину, Игорь Сергеич!

Однако последнее слово оставалось за Холиным.

— Люба, ставьте памятник Холину, а не Пушкину!

Тут все дружно рассмеялись.

Холин начал новые стихи «Дорога Ворг» — «Дорога Ворг ведет в морг» — музыка абстрактных фраз и барачная заушь в ярком союзе.

Осенью 1968-го, возвратившись из Брянска, куда я возил медикаменты больной матери, на пустующем мольберте я обнаружил машинопись холинской «Эрики», не пробивавшей две буквы, стихи, мне адресованные:

«Вал. Воробьеву: приходи ко мне в гости. Мой адрес: вселенная Фрезер, Галактика 9, Планета 24, и дальше: Берегись автомобиля, Пешеход! Береги себя от пыли, Пешеход! Берегись от болезней, Пешеход! Витамины нам полезны, Пешеход! Вот в киоске авторучка, Пешеход! Вот кафе, зайди с полочки, Пешеход! Выпей водки, съешь сосиски, Пешеход! На заем идет подписка, Пешеход!»

Слово «пешеход» в ритме маршей братьев Покрасс — «загудели, заиграли провода — мы такого не видали никогда» — повторяется восемь раз.

Образец холинского концепта.

Любой герой Холина, где бы он ни обрелся, остается барачным тараканом, недостойным сожаления.

По Холину, барак не выдумка коммунизма, не шестая часть света, а вся планета, вся вселенная — барак, и никакие перестройки сознания не меняют этой сущности.

Игорь Холин съехал, но я недолго страдал от одиночества. Знакомый режиссер Кирилл Богословский, гулявший в подвале после спектаклей, с первым снегом появился с веселой особой в овечьей шапке, скрывающей выразительное лицо.

6. Сухаревка

Поэта Холина сменил прозаик Витя Синицын.

Я познакомился с ним у Аркадия Штейнберга. Шофер московского троллейбуса брал уроки литературного пись-

ма. Прошло пять лет, а рассказ не был закончен. Витя по-прежнему сидел у Акимыча, выправляя ошибки и стиль.

— Пустишь? — спрашивает.

— Пущу, — отвечаю.

С этого многозначительного разговора у Акимыча началось наше годовалое сожительство в доходном подвале. Витя стучал на машинке, выправляя рассказ, я красил в соседней комнате. Рассказ так и не был закончен, но Витя сделал ослепительную карьеру литературного бюрократа, — значит, с подвалами еще рано кончать! — поднимаясь по ступенькам партийной цензуры.

Ах, эти крутые, русские морозы!

Натурщицу Ольгу Серебряную привел режиссер Богословский. Она ворвалась в подвал, разгоняя сумкой с металлическим затвором драгоценных друзей и подруг.

— Кирилл Богословский мне сказал, что вы ищете профессиональную натурщицу. Из меня лепил сам Клыков Зою Космодемьянскую в бронзе, в селе Петрищево!

Судьбу конем не объедешь, как говорил мой дед.

Под новый 1969 год чета Дорнбергов и натурщица Ольга оказались вместе. Ольга, сыпавшая английскими анекдотами, совершенно очаровала иностранцев. Джон и Ютта с сияющими глазами пригласили ее и меня на новогодний банкет в ресторан «Прага». На эстраде выступал Виталий Стесин с большой куклой. Я представил его нашим иностранцам и угостил шампанским. Домой нас доставили в пургу и без приключений. В начале года Дорнберг пригнал ко мне целую ораву покупателей и спросил: «Где же Ольга?» Витя Синицын вызвал ее по телефону. Она быстро явилась и сразу покорила американца Дика Рестона, пригласившего нас на вечеринку.

Куда ни крутись, а Ольга стала таким же естественным инструментом моего существования, как штаны, туалет, вода, картина. Как Синицыну и Фрадкину, я выдал ей ключи от подвала, а это означало полное признание ее прав на его доходы и расходы.

В Тарусе, летом, где она ходила за грибами на высоких каблуках, мне доставили телеграмму от прокурора С.И. Мальца.

«Срочно Москва подвал опечатан».

Как угорелый я помчался в столицу. Действительно, на дверях вместо бортжурнала висела веревка с сургучной печатью, а у прокурора вызов в суд. Мой высокий друг сказал, что «дело пахнет керосином», и вызвал на совещание известного адвоката Марка Новицкого и профессора психиатрии Всеволода Думаниса, руководившего клиникой на улице Кирова, 42.

Вчетвером, все в шляпах и при галстуках, на казенной «Волге» министерства юстиции мы подрулили к Камере предварительного заключения в Спасских Казармах, где за решеткой плакал скрипач.

Дело в том, что, затащив в подвал незнакомую девушку, скрипач не справился со своей задачей. Девушка, совершенно голая и белым днем, выскочила на людную улицу с криком «караул, убивают!». Участковый Авдеев вызвал наряд милиции, и закрутили уголовный процесс. Девушку и возмутителя спокойствия отвезли в тюрьму. По словам прокурора, Фрадкину грозило осуждение на семь лет за изнасилование и публичный скандал, а мне, как содержанию притона, за подделку документов, мошенничество, нелегальные валютные операции, распространение антисоветской литературы и злостное тунеядство грозил срок в пятнадцать лет с конфискацией имущества!

Появление в К.П.З. генерал-лейтенанта юстиции, известного адвоката, спасшего в 52-м поэта Бориса Слуцкого от расстрела, и знаменитого психиатра, выдававшего внештатным артистам справки о вялотекущей шизофрении, сбило с панталыку милицию и охранников. «Психбольного» скрипача профессор В.М. Думанис тут же взял на поруки. Адвокат Новицкий составил акт против ложных показаний задержанной девушки, а мой подвал в присутствии прокурора и участкового откупорили в тот же вечер.

Так очень эффектно закончилась операция по спасению подвала и Фрадкина, чуть не ставших моими смертельными врагами.

Сергей Иосифович Малец пилил мне мозги:

— Не сегодня так завтра тебя посадят, имей в виду. В тайге, понимаешь, наши ребята вкалывают на коммунизм, а ты спишь с бабами до полудня, профсоюзные взносы давно запущены и небось, валютный счет в швейцарском банке!

Мой подвал обложили плотнее.

«Иностранные подвалы», как выражался Зверев, постоянно курировали самозванные «искусствоведы», посредничая между ленивым на подъем артистом и потребителем с твердой валютой. У моих коллег по «дипарту» прочно закрепились Нина Стивенс, Виктор Луи, Андрей Амальрик, Татьяна Колодзей, Саша Глезер, Поль Торез, Ника Щербакова. С большим нетерпением я поджидал такого «искусствоведа» в гости, и он появился.

— Позвольте представиться, — ласково начал незнакомец в белом плаще и выпуклых очках, — потомок дворянских революционеров Виталий Антонович Ястржембский, большой любитель современной живописи. Нагрязнул набум и без предупреждения по адресу, который мне дал ваш коллега Лев Кропивницкий.

Я никак не предполагал, что мой «искусствовед» может быть потомком декабристов и походить на герцога Филиппа Эдинбургского, и со вздохом облегчения впустил его в подвал.

Любитель живописи В.А. Ястржембский появлялся раз в неделю и толково и образно рассказывал, что творится в Москве. Его ясные и полезные советы мне стали просто необходимы в быту, а кроме советов, он привел раз настоящего советского покупателя, мистика Лоллия Замойского, после изнурительной торговли купившего у меня картинку со знаками. За щедрое вознаграждение мой образованный фарцовщик взял на себя все мои бытовые хлопоты. В кратчай-

ший срок он достал мне дефицитную пишущую машинку немецкого производства, отремонтировал туалет и продал кучку русских книг зарубежных изданий, запрещенных в Москве. Для меня было большим шоком, когда я узнал, что все свои заработки мой «дилер» просаживал на ипподроме, играя в тотализатор.

Нешуточный партизанский террор не затихал.

Моя связь с «натурщицей» Ольгой походила на мучительную пытку, захватившую и окружающих людей.

Виталий Антонович не избежал ее нахлобучки и, перед тем как войти, заглядывал в окно, изучая, там ли она. Наш главный нападающий «дипарта», Толя Зверев, трясся от страха, когда в подвал врывалась террористка, все поливая матом.

— Ишь, развалились, сволочи! А это что за шахна расцелась в моем кресле? Заткнись, мудака, или я тебе паяльник на бок сверну!

Если ее самобытное красноречие пугало московских интеллигентов, как зайцы удиравших на улицу, то иностранцы от нее ловили настоящий кайф. Консул США Вильямс возил ее по кабакам «Золотого кольца России», с немцем Штайнером ее видели в Тиберде, на Рижском взморье она купалась со шведами.

Кто же она, Ольга Анатольевна Серебряная?

Дитя московских дворов, родилась в доме купца Корзинкина, зажатого парой Мещанских улиц, 1-й и 2-й, очень рано попала в сеть известной банды валютчиков (Ян Рокотов, Файбышенко, Батак), осужденных на смертную казнь указом 1961 года, пристрастилась пить, курить и легко жить одним днем, не думая, что будет завтра. Вводить такой персонаж в опасный, подпольный спектакль мне совсем не хотелось, однако судьба распорядилась иначе, и свирепая Ольга на целых пять лет застряла в моей жизни.

Такую роскошь, как телефон, имели не все подвальные щики. Говорили, что поставить в Москве телефон сложнее, чем получить помещение. Я употреблял испытанное

средство — записки в «бортовой журнал», висевший у меня на дверях. «Буду в полдень», «пошел к Акимычу», «улетел в Сочи», и в том же духе писались ответы: «Старик, приходи к Клыкову», «сйжу у Крынского», «я в столовой напротив, А.З.».

В коммунальной квартире Ольги висел телефон, куда, по ее словам, звонили только ей. Чем не секретарша, подумал я.

Я решил подтянуть ее в эстетике, где она терялась, как в лесу, путая акмеистов с онанистами. В обществе она чисто ела, ловко орудуя вилкой и ножом, умела поддержать беседу, даже с прожженным Костакисом, и могла увлечь любое общество смешными анекдотами.

* * *

Перебравшись с Разгуляя на Сухаревку, Акимыч представил мне молодого сержанта милиции Колю Авдеева, охранявшего наш квартал. В разговоре я выяснил, что Коля страстный рыболов, как и Акимыч, и решил на этой страсти его подловить. Рыболовные снасти стали большой редкостью в нашей рыбной стране. Их доставали по благу, но сравнение со шведскими они не выдерживали. Както при встрече со шведом, купившим у меня картину, я попросил у него дефицитный товар. Столкнувшись с сержантом Колей в подворотне, я прижал его к стенке и намекнул, что у меня для него есть шведские крючки и моток лески. Он задрожал от волнения и сказал:

— Дай мне, не обижу!

Так сержант Авдеев стал потребителем иностранных рыболовных снастей и в какой-то степени моим подельником черного рынка.

Лиц, подобных сержанту, через пять лет ставшему майором, кормившихся вокруг доходных подвалов, было множество. Все вместе мы составляли банду уголовных преступников, разорявших страну.

У нас давно усвоили истину — от суммы и тюрьмы не зарекайся. Штраф и привод в милицию, арест за пьяный дебош не считались серьезным делом. Такие вещи проходили все граждане, как начальную школу.

Художников сажали редко. Расправа с искусством была плохо разработана Уголовным кодексом.

Через дорогу от меня жил акварелист Свет Афанасьев, изящный брюнет, писавший миниатюры с невероятными сюжетами: «Сон Нефертити», «Сиреневые боги», «Гробница фараона» и все в этом романтическом духе. Одаренный живописец особенно не нуждался в деньгах, но воровал от большой любви к профессии карманного вора. Он считал, что воровство освящено древними, как высшая профессия, как фокусник или картежник. Он добился фантастических успехов в бесшумной краже часов, браслетов, перстней, кошельков. В конце концов умный психиатр Думанис признал его неизлечимым kleptomаном и вместо тюрьмы запер в дурдом и заставил рисовать акварелью.

Виталий Антоныч, посетивший светелку Ольги Серебряной, предложил перекрасить ее в светлый, бежевый цвет и обновить обстановку.

* * *

Весной 1970-го в подвал спустился Джон Дорнберг с месячным щенком в подарок. Вручил его мне и спросил:

— А кто такой проходимец Абрамов?

Я охолпел. Речь шла о моем родном дяде, полавшем в переплет международных интриг.

Корреспондент «Ньюсвика» изучал докладную записку Александра Солженицына, составленную на заседании Союза рязанских писателей. Иван Абрамов упоминался там как «проходимец, два года управлявший союзом командным способом».

Что я мог сказать американцу? Как иностранцу рассказать Россию? Как объяснить годы голода и нужды, разоре-

ния и тюрем, когда шаг вправо или влево — расстрел. Опредил или отстал — тоже смерть. Как объяснить жизнь, где движение запрещено, а в благополучной середине давка за место.

Да, такое надо пережить своей шкурой.

Я полистал машинописные листки «изложения» от 4 ноября 1969 года. Сомнений быть не могло.

«Два года командовал рязанскими писателями и вешал на них политические ярлыки».

— Проходимец Абрамов — мой родной дядя, — сказал я Дорнбергу, пыхтевшему трубкой.

— Это невероятно! Расскажи мне подробнее об этом человеке.

В свои жизненные тайны Абрамов никого не посвящал, и задавать idiotские вопросы никто не решался, кроме меня, игравшего шизофреника.

— Какой-то Евгений Маркин катит на тебя бочки, — сказал я ему при встрече в Рязани.

«Проходимец» Абрамов умеет прощать слабакам.

— Полное говно этот Маркин, стихоплет и подонок, да и ваш Исаич не лучше!

Создается впечатление, что «Союз рязанских писателей» — секта единомышленников, и вот однажды на них свалился никому не известный «проходимец» и стал командовать, драть членские взносы и вешать ярлыки.

Побойтесь Бога, господу рязанцы, а где был ваш политрук? Неужели рыбачил на Оке, когда влез проходимец Абрамов?

Хоровод юродства!

За девять лет Рязань подновили. Кремль, в мой первый заезд (1960) еще заросший бурьяном, починили и подкрасили. Сверкали купола церквей. Мода на русские древности докатилась и сюда. Рязань принимала иностранных туристов.

Дядя Иван Абрамов жил в кирпичном доме, на четвертом этаже, в квартире с современным комфортом. У него

была платная должность. Он руководил «Союзом рязанских писателей» в количестве пятнадцати человек, среди которых числился известный А.И. Солженицын — южанин с размытым прошлым. Солженицын любит покрасоваться на свету. От него идет театральный маскарад: шотландская борода с бритой губой, раскатистый смешок, тяга к спектаклю и «укривищу».

И — «стыдно быть советским»!

Где-то в «укривище» Солженицын собирал отрывочные и малодостоверные сведения о Брянской Народной республике.

«Процветающая область с двумя миллионами населения» (Архипелаг ГУЛАГ. Париж. 1973)

Брянскому сапожнику Ивану Абрамову лучше знать, процветали мы или гнили.

Территория «республики» — это лишенный средств существования уезд, гнилой и болотный, с вечной нехваткой хлеба, и никаких архитектурных излишеств и красот. Русская Народно-освободительная армия (неполная дивизия Брони Каминского) была наскоро сведена из пленных калмыков и чувашей, за месяцы лагерей потерявших человеческий облик. Эта «дивизия» порола, вешала и жгла белорусов и поляков с такой невиданной жестокостью, что выдавшие виды немецкие руководители вынуждены были расстрелять комдива Каминского за превышение полномочий.

Не только лейтенант Плотов — «отрицательный персонаж» военного романа И.В. Абрамова «Оборона» (1966), а вся моя родня так или иначе оказались причастны к кровавой мясорубке оккупационного режима. Решительно все обитатели «процветающей области» советской властью были объявлены врагами народа, изменниками родины.

Строгое подчинение военному бараку с поражением в правах.

Брянские дебри спасти не удалось. Размах немецкой работы был таким напористым, что за две зимы, с 1941-го

на 1943 год, ранее непроходимые леса левобережья Десны светились как решето от Брянска до Севска на сотни с лишним верст. Аборигенам и унтерменшам оставались пни и липовый сорняк для лаптей.

Вот, окаянный Запад!

Дядю Ваню я не видел семь лет. Из Брянска он убежал в Воронеж, оттуда в Среднюю Азию. Я воображал, что это дикие горы с макушками белого снега, плодородные долины, где киргизы пасут огромные табуны, банды бродячих басмачей в живописных лохмотьях и старый акын у кочевого костра, а на самом деле дядя жил в казенном доме без единого признака местного колорита и сидел за столом журнала «Подъем», редактируя корявую прозу национальных меньшинств.

В Рязани мы вышли «на люди». Дядя Ваня одевался в темно-синюю, двубортную пару, сшитую на заказ, тщательно чистил прочные, кожаные туфли, натягивал крахмальную, обязательно белую сорочку, тщательно, с помощью жены, повязывал шелковый галстук, глядя на свое отражение в зеркало платяного шкафа, потом пригонял темную шляпу, чуть скосив ее на бок, в правую руку брал расписной костыль, кажется, единственное произведение искусства, купленное в Ялте, слева вешал на руку жену и шел прямо и не спеша, чтобы зеваки не замечали, что вместо ноги он тащит тяжелый протез, и выглядел пожилым мужчиной без единого изъяна в духе и теле. Он не позволял себе такого легкомыслия, как пиджак в полоску, чтобы не походить на пугало, и осмотру рязанской старины предпочитал прогулку по людному бульвару с облезлыми лавками.

Образ жизни дяди-проходимца восходил в такую глубину русского домостроя, когда каждая мелочь быта имела не декоративное, а духовное содержание, так что весь мой «эпатаж», в общем-то органически росший изнутри, выглядел жалким и ничтожным шелкопером, вызывающе прыгавшим на виду почтенных людей.

Ораву молодых писателей, всплывших на волне «оттепели» и бушевавших в столичных кафе, он считал неисправимыми прощелыгами и провокаторами. Правда, он ценил рассказы Юрия Казакова, но всегда с поправкой — «а все-таки это несерьезная лабуда!».

Артель Ястржембского постаралась. Они выкрасили комнату О.С. в легкий бежевый колор. Появился круглый обеденный стол, широкий, сборный диван, платяной шкаф, и на стену повесили старинной работы портрет дворянина в черном фраке с красным орденом в петлице.

— Он похож на тебя как две капли воды, — сказал я довольной ремонтом Ольге.

Часть шестая НЕПОСЛУШНЫЕ РЕБЯТА

Не так страшен черт, как его малюют.

Русская пословица

В художники записывать незаконнорожденных.

Петр I, император

1. Попытка гнезда

В начале шестидесятых власть разрешила кооперативное строительство. За свой счет можно было приобрести одно-, двух-, трехкомнатную квартиру с отдельной кухней и горячей водой. После десяти лет московской «прописки», то есть к осени 75-го, я имел формальное право на такой кооператив, но думать о персональном жилье я начал гораздо раньше, как только появились лишние деньги.

Летом 1970-го мой ученик Лешка Паустовский дал совет не снимать сарай в Тарусе, а купить поповский дом в селе Ильинское. С представительным В.А. Ястржембским я поехал туда на разведку и был сразу очарован красотой местности и самым старинным домом с высокой террасой и деревянными колоннами.

Вот оно, гнездо моей мечты!

Почерневшие от времени, благородного цвета бревна, четыре колонны с портиком, мезонин, шесть окон на две половины, железная крыша, древний клен под окнами. За одичавшим садом плескалась речка, где постоянно ловилась рыба. За рошей соломенные крыши деревни. Солнечные блики повсюду, запах сирени. Безупречный деревенский рай!

Ключи от дома держал мужик, работавший на тарусской почте. Под свою ответственность он сдал мне дом на три выходных дня. Весь солнечный день мы слонялись по окрестности, посидели у омота, воспетого писателем Паустовским, выпили с почтарем бутылку водки с килькой и завалились спать на полу поповского рая. В середине ночи ударил гром, и с потолка потекло как из ведра. В темноте я расставил пустые бутылки и ржавое ведро, но наводнение утихло лишь к утру.

Днем я обнаружил, что в деревне нет колодца с питьевой водой, и почтарь спускается к речке с ведрами. Мы тоже поплелись к речке, почистили зубы и поплескались в воде. Такая ежедневная гимнастика мне показалась не очень забавной для домовладельца. Продовольственный ларек, кормивший деревню в былые времена, был навечно заколочен. Двум старухам, жившим в деревне, хлеб привозил на мотоцикле наш знакомый почтарь, наверное раз в неделю. Чтобы купить буханку свежего хлеба и бутылку водки, мы месили грязь до калужского большака, потом дожидались автобуса, ходившего два раза в день из Тарусы в Калугу. Такое продовольственное путешествие не располагало к продуктивному творчеству.

Не только поповский рай, но и вся округа нуждалась в дорогостоящем, капитальном ремонте.

Возвратившись в Москву, я отказался от Ильинского и нашел под Москвой сарайчик с прочной крышей, с водой и хлебом по соседству.

По объявлению в газете я встретился с владельцем большого дома под Богородском, с садом и ключевой водой. Мы договорились о цене, причем хозяин пошел на уступку. Я поехал в райсовет, где от меня потребовали обязательной «прописки» в этом месте, а на такой риск пойти я не смел.

А какой красивый мухомор рос на бугре и «звуки нежные» в ручье проточной воды плескались!

Однажды я получил письмо.

«Ув. т. Воробьев. Дом деревянный рубленый крыт железом. Передняя часть 27 кв. м. И задняя 18 кв. м. Отопление водяное. Участок 20 соток без леса и луговины. Газ и водопровод на улице. Добираться с Курского вокзала по Горьковской ж.д. на поездах Петушки, Крутое, до остановки 85 км. Далее автобусом до Дулево остановка Дулевский з-д далее по ходу автобуса за магазин налево к лесу ул. 1905 г. 2 пр. дом 19 минут десять ходьбы».

Сорок два метра! Водяное отопление! Газ на улице!

На сей раз в деревню Дулево я поехал с прокурором Мальцом на казенной «Волге».

В Дулево ждал сюрприз, не обозначенный в письме. Сразу за калиткой возвышался известный завод с классической кирпичной трубой, пыхтевшей черным, вонючим дымом. Мы прошлись вдоль забора, философически осмотрели индустриальный пейзаж и, не заходя в дом, вернулись в Москву.

В 1971-м мой земляк и коллега Вовка Серебряный пригласил к себе в брянскую деревню. Южной части Брянщины я совсем не знал и сразу согласился. Пятьсот километров меня не пугали. Другой пейзаж, иные лица. Я шел туда пешком. Ольга согласилась бродяжничать со мною. Мы продвигались не спеша и зигзагами, ночуя где придется и осматривая исторические развалины.

Советские краседы стыдливо называют сознательное разрушение древних городов и монастырей «неумолимым бегом времени», но доломать окончательно старое и построить «центры социалистического типа» властям не удастся. Когда смотришь на непомерной толщины стены города Боровска со знаменитым монастырем святого Пафнутия, то видишь, что красоту убить невозможно. Конечно, от таких «мелочей», как гробница боярыни Морозовой, нет никаких воспоминаний, фрески знаменитого Дионисия смыты и замазаны известкой, иконостасы ободраны, иконы сожжены.

По дороге из Боровска к Полотняному Заводу попадает множество церквей, заросших сорняком, в дырах и тре-

щинах, от вида которых хочется рыдать. От огромного дома богачей Гончаровых, освященного именами Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкина (1830—1833) остался всего лишь фундамент, регулярный парк истерзан порубками, пруд сгнил и засох. В соседней деревне Гремячево на Оке, на пятикупольном соборе сбиты все пять глав с крестами, и лишь один не упал, а согнулся в поклоне.

На литографии какого-то Бореля (1840) изображен монастырь Оптиная пустынь, обнесенный каменной оградой в виде шестиугольника. Вокруг опрятные скиты, гостиницы, мосты и парки. Здесь молились знаменитые на всю Россию святые «старцы», лечившие русскую культуру от безбожия, а народ от болезней.

Из районного Козельска мы шли в монастырь пешком, как в свое время Лев Толстой, Достоевский и Гоголь, в сильно избитых кедах. Машиннотракторная станция какого-то колхоза и оказалась Оптиной пустынейю.

Где же могилы знаменитых старцев? Где братья Киреевские?

Монастырь так изуродовали, что он походил на город после усиленной бомбежки. На черном бревне сидела пара механизаторов, смоливших вонючий табак, вместо Толстого и Достоевского.

Я вышел из пионерского возраста и не походил на краеведа, но пятисоткилометровый зигзаг обошелся без арестов и задержек бдительными властями.

Были электрички, товарняки, попутки, пешие и конные переходы, ночевки у костра и рыбалка в безымянных речках.

В деревянный Новозыбков — столица брянских староверов (1707) — мы прилетели на кукурузнике прямоком из Брянска. Пригородная деревня Перевоз, где жил мой приятель, располагалась в десяти верстах от города, но попасть туда было не так просто. Надо было дожидаться вечернего поезда «Брянск—Гомель», выпрыгнуть на полустанке «Ипуть» и болотом идти в деревню. Расположенная

на крутом берегу светлой Ипути, деревня сохранила свой древний силуэт в неприкосновенности. Серебряный уступил нам одну половину большого дома, и мы славно зажили. Наши женщины не дрались, а мирно собирали грибы. С местным рыболовом мы бреднем ловили рыбу, купались в речке, парились в бане и рисовали. Я влюбился в деревню и ее приветливых жителей. Бригадир Белашев, возивший нас на мотоцикле, помог найти пустующую избу с баней. И в то же лето я купил ее с лодкой и причалом.

Настоящие хлопоты с гнездом начались во второй заезд. Я решил расширить помещение ввысь, надстроив светлый «фонарь» для мастерской. Архитектор готов был строить, но местная власть, расположенная на станции Ипуть, отказала в перестройке, ссылаясь на то, что деревня теряет свой исторический силуэт. Два года я пытался подъехать к председателю колхоза «Ипуть», но затея с «фонарем» так и не прошла. Позднее бригадир Белашев шепнул мне, что председатель подозревал меня в строительстве доходного дома! Я запер избу на всякий замок и покинул ее навсегда. В 1986 году вся деревня Перевоз попала под ядовитый ливень Чернобыля и погибла навечно.

* * *

В начале октября 1971-го я зашел к Холину. Он мне сказал, что 30 сентября, в четверг, Мишка Гробман с Ирой, сыном Яшкой и дочкой Златкой улетели в Израиль.

Культура в России — упрощенный вид спорта. Художник и поэт Гробман задыхался в Текстильщиках коммунизма, антисемитизма и революционного барака. Он первым упаковал потрепанный чемодан с семьей и легальным путем, с позволения власть имущих пролетариев, вылетел на «историческую родину».

За Гробманом, как за Петром Первым, прорубившим окошко в Европу, потянулись социально близкие туняццы, евреи, поэты, танцоры и шахматисты.

Семейное тепло согревало Мишку Гробмана. Человек без профессии, он многим рисковал, отправляясь на Запад. Но у него была благородная цель — жить и работать среди своих, там, где тебя не будет тыкать жидом «великий русский народ».

Гробман черной ваксой рисовал натюрморты и сочинял стихи мистической интонации: «И лунный свет стучит в оконное стекло...»

Среди барахольщиков Москвы он занимал очень видное место. За годы упорного обмена и безжалостной торговли на износ противника он собрал внушительную коллекцию нелегальных рисунков, сотни редких книг, тысячи икон и грамофонных дисков. Сокровища размещались в кривой дыре с ветхим балконом.

Игорь Холин успел сменить одну «вселенную» на другую. Я его обнаружил в однокомнатном кооперативном логове в Кузьминках.

Важная деталь: у Холина жил негр. Доходный квартирант. Африканский демократ с твердой валютой. Негр занимал главную жилплощадь с видом на дикий лес, а хозяин спал на кухне, под газовой плитой. Зачем знаменитый поэт сдавал единственную комнату негру, показало время. Прямая связь с мировым рынком сбыта шла через чернокожего демократа.

Над газовой плитой я увидел обширный, шитый парчой и золотом фигуративный ковер с названием «Положение во гроб». Церковное украшение в келье свободомыслящего поэта меня удивило.

— Гробман научил меня меняться вещами, — коротко и содержательно сказал Игорь Сергеич.

Коллекция выше революции.

Ни облавы, ни тюрьмы, ни штрафы не смогли победить собирателей почтовых марок, значков, ковров, прялок, самоваров, икон, книжек, картин, шкатулок.

Старьевщик победил большевика.

Художник, поэт и барахольщик Гробман, живший в соседнем барачном квартале Текстильщики — Третья улица, 17, корпус 2, квартира 7, поучал своего друга.

— Видишь ли, Холин, в каком убогом жилье и в какой дикой стране я живу, а все равно буду охотно меняться вещами!

Гробман быстро пристрастил Холина к новой и захватывающей деятельности с постоянными деловыми встречами. К Холину на кухню зачастили нужные люди черного рынка, маклаки с битком набитыми чемоданами, букинисты, старьевщики, фарцовщики, продавцы комков. Приносили иконы, прялки, вазы, картины, кинжалы, стулья, а уносили японские транзисторы, голубые джинсы и фирменные диски.

Преступный сговор!

Значение черного квартиранта иностранной связи росло на глазах.

На первый и поверхностный взгляд, фарцовка, или «незаконный промысел» Уголовного кодекса, — занятие далекое от эстетики, а если копнуть поглубже, то эти человеческие дисциплины поставлены на один и тот же фундамент искусства слова и дела.

Поэты Холин и Гробман не наживались, а играли в торговлю.

* * *

Мой сосед прораб Толя Шапиро не только строил мастерские. Он по субботам дежурил у «большой синагоги» на Солянке. Приносил скабрзные вести. Князек Андрей Волконский ищет еврейскую невесту. Бывший репатриант Никита Кривошеин окрутил француженку в фиктивный брак и вернулся в Париж. Гробман выслал пятнадцать израильских вызовов для кинетов Льва Нуссберга.

Шапиро успел побывать в тюрьме, разрисовал себе грудь голубыми чертями и в погожие дни, раздевшись до

пояса, пугал ими дворовых пацанов. Жил он в деревянном бараке, во дворе многоэтажного дома, без соседей и удобств. Обстановка жилья барахольная. Огромные кресла с дырами, люстра с балясинами, иконы по углам и стенам. В углу жена с Ярославского вокзала, никогда не вставшая с постели.

Все признаки торговой точки! Царствуй, лежачая!

Человек простых нравов, но увлеченный и наблюдательный, Шапиро быстро стал специалистом по эмиграции на Запад, за проценты продавая «израильские вызовы» и «еврейских невест». За умеренный гонорар он приводил и еврейских покупателей. Помню, пришел расфуфыренный Гарри Табачник, журналист с женой комсомольского возраста. Они долго копались в картинах, изображая из себя знатоков, потом выбрали пару самых плохих, и я охотно уступил им.

Россия — побоку!..

2. Моя парижская невеста

В конце октября 1969 года, отправляясь на свидание с бароном Отто фон Штемпелем, в подвальном подъезде я обнаружил вдребезги пьяных Зверева и Плавинского, усидчиво рыгавших под ноги, а в почтовом ящике белоснежный, иностранный конверт с парой синих, французских марок.

Письмо из Франции, из Парижа!..

Оно начиналось «Валя, милый!» и кончалось «Твоя Аня!».

Мои друзья протрезвели. Так никто меня не обзывал ни разу в жизни! Вот идиот, как я мог забыть о существовании Французской республики? А Поль Сезанн не гений мирового класса? А автор письма, мадемуазель Анна Давид, не невеста на выданье? Если Женя Терновский и Лев Нуссберг кадрят француженок, то и я смогу не хуже? Разве дочка уругвайского посланника не моргала мне глазом на сеансе Зверева?

Русская цивилизация разлагалась на глазах.

Немецкому барону я уступил картину, не торгуясь.

Зверева и Плавинского напоил водкой.

Решение атаковать Францию было принято единогласно. Я вспомнил короткие встречи с Анной Давид и засел за письма. Начался затяжной, эпистолярный роман с короткими летними встречами без настоящего и будущего. Мы полюбили друг друга, но как дальше жить, не знали. Анна не желала жить в Москве, меня не пускали в Париж.

Системы иного счета.

Я жил в ожидании ареста, убийства, сожжения и свято верил в планетарный абсурд.

В любой момент у меня могли конфисковать подвал, посадить в Сибирь за встречу с иностранцами. На Запад в это время советских граждан никто не пускал, а к решительной эмиграции я не был готов.

Может быть, я неправильно родился?

В ночь на 1 мая 1970 года в метро зарезали Влада, единственного и любимого сына прокурора Мальца.

Рут Григорьевна за сутки поседела, Сергей Иосифович пил коньяк как воду, стаканами.

Я пытался понять, за что им такое наказание? В сорок пятом, в побежденной Австрии он вылавливал дезертиров Красной Армии и отсылал их в Сибирь. Через четверть века кинжал народного мстителя ударил в самое чувствительное место родителей, по сердцу невинного юноши.

— Всех подряд из пулемета, та-та-та! — уставившись в стенку ледяными, безумными глазами, твердил пьяный прокурор.

И несчастье кончилось разводом. Хорошие люди решили, что так проще вынести наказание.

В моем подвале появились провинциальные фольклористы из Кзыл-Орды, еврейские невесты из Тирасполя и тихие китайцы, нагло выдающие себя за евреев.

Организованная осада и шпионаж, нескончаемые состязания подпольных бардов, убогий базар «дипарта», дом

тайных и любовных свиданий, бездомные сибирские самородки, перекупщики и фарцовщики, труханутые чемпионы гонимого искусства — от этого густопсового сброда меня жгло, испепеляло в прах. Мой опекун В.А. Ястржембский пытался направить меня к истине и дал совет купить дом в Пушкино, где жила его бывшая жена. Я подумал, что это неплохая идея. Сразу оговорюсь, что моей буйной секретарше Ольге Анатольевне в этом плане домоустройства отводилось место постоянного друга свободного искусства.

Еврейско-немецко-китайский дом имени Воробьева!

Посетитель моего клуба, график Толя Брусиловский, часто спрашивал, почему я не появляюсь на заграничных выставках, в свите Лешки Смирнова, или Ситникова, или Рабина, или Гробмана, а я отвечал, что не ищу популярности, а стараюсь освободиться от нее совершенно.

Во как — полный отрыв от масс!

Чтобы убить длинные зимние вечера, я слонялся по московским дворам и подвалам коллег. Их было так много в моем округе, что обойти всех не хватало недели. У Толи Крынского на Самотеке образовалось нечто вроде «справочного бюро по эмиграции в Израиль». Там опытные юристы и правозащитники давали советы, как вывезти на Запад не один, а два харьковских велосипеда, не нарушая советских законов. В огромном подвале Славки Клыкова играли в карты и распределяли академические должности «изофронта». В подвале Фридынского всегда возвышалась роскошная икона музейной ценности и множество фольклорной утвари. У Сашки Завьялова серьезно играли в шахматы и говорили о высокой духовности русской интеллигенции. В магазине Адамовича на Спасской пили виски и продавали иностранцам картины.

* * *

Осенью 1970-го вместо прозаика Синицына ко мне вселился шрифтовик Генка Валетов.

Мой квартирант не был ни злодеем, ни вором, ни гением, а отличным прототипом советского оформителя.

Он вышел из стройных рядов полиграфической школы, издательских работников, где изредка подрабатывал и я, спасаясь от ареста за паразитический образ жизни.

Его симпатичные коллеги, мастера узорной, каллиграфической работы, зачистили в подвал с туго набитыми, словно навечно прикрученными к рукам портфелями.

...Васька Курбатов, Коля Пискун, Севка Освер, Рудик Антонченко, Юрка Сиглов, Осип Клейнгард, Женька Капустин, Славка Кулагин...

Все как на подбор гуляки, бабники, хохмачи.

Беззлобный и тупой, как ночной горшок, Валетов очень удивился, когда в подвал забежал иностранец, выложил за картинку двести рублей и убежал.

Раз заглянув в его рабочий кабинет, заново покрашенный и сияющий неоновыми лампами, я обнаружил Валетова, терзавшего мастихинами груды масляных красок. Он пыхтел, сопел и вертел ими во все стороны, закручивая восьмерки и шестерки, фас и профиль, свет и тьму. Основательно загрузив холст, он выставил его для публичного обозрения.

— Гениально! — воскликнул Зверев, осматривая вещь.

— Гениально, гениально, — ворчал шрифтовик, — а почему никто не покупает? Перед ним прошла вся Латинская Америка, Скандинавия и Австралия, и никто не приценился!

Резонер Зверев высказал общее мнение:

— А ты нарисуй таких картинок штук сто, тогда наверняка купят.

— Ну вот еще, буду я тратить краски на чепуху!

Все расхохотались.

Такой конфуз был не со всеми.

Ко мне повадился ходить молодой дворник Серега Бордачев, малограмотный и глухой на оба уха. Он приходил с ученической тетрадкой, садился в кресло и, глядя на мои

работы, что-то пачкал себе. Я посмотрел и сразу увидел дар. Он не срисовывал, а сочинял свое. Человек, не умеющий держать в руках карандаша, составлял загадочные, ни на кого не похожие, абстрактные композиции.

Не прошло и года, как фанатик перешел на коллажи и объекты, имевшие большой успех в «дипарте». Ему покровительствовала сама Нина Андреевна Стивенс.

Однажды ко мне ввалился высоченный бородатый малый из Ленинграда, Евгений Рухин. Самоучка искусства. Привез продавать пару святых, нарисованных черным контуром. Его работы подняли на смех и просили никому не показывать, чтобы не срамиться. Он пересмотрел все мои картины, переночевал и улетел домой. Каково же было мое удивление, когда я увидел на стенах подвала Немухина «объекты» из рогожи, обрезков мебели и барельефных оттисков, подписанные «Евг. Рухин». В кратчайшие сроки проворный ленинградец сменил технику и стиль, походя воруя у москвичей приемы, и стал модным артистом «дипарта».

В то же время (1970) я подружился с замечательным человеком, сыном автора всемирноизвестных этикеток водки «Столичная» и «Московская», Рудольфом Антонченко, Рудиком для своих. Рыжий и остроносый парень красиво одевался и был опытным деятелем черного рынка. И фарцовщик, и портной, и шрифтовик, и меценат. В торговле джазовых дисков он купался как рыба в воде. Его гипнотизировал Зверев. На зверевских сеансах он прыгал от радости, как ребенок, получивший заветную игрушку. Из каких-то своих соображений Рудик считал Зверева образцом законченного гения живописи. Он терпеливо переносил все нелепые и грубые причуды «гения», опекал и восторгался до смерти художника от белой горячки в 1986 году.

Мы вместе купались в Черном море, собирали грибы под Тарусой, слонялись по московским ресторанам.

* * *

Я беспокоился о здоровье моей собаки. Рыжий песик Чук. Ему необходим был дачный воздух и вечерние прогулки в лесу.

Мой друг Алексей Лобанов, общественный человек высокой пробы, сосватал мне дачу в подмосковном Кратове. Хозяйка дачи Рубина Арутюнян — дочка какого-то видного коммуниста, примкнувшая к богеме. Она встретила нас у себя на улице Горького, в квартире, заваленной мусором, бочками, тазами, ведрами и горами пустых бутылок и консервных банок. Она так тщательно промывала пустые бутылки, заглядывая на дно сосуда, что я сразу убедился, что все бутылочные сокровища Москвы принадлежат ей и стеклотаре. Позднее, на даче, Рубина постоянно с мешком на плече выходила на охоту за бутылками и перемывала их сотнями.

Как только потеплело, я перебрался в Кратово. Пес бесился от простора и воли. Мой сосед внизу, молчаливый чуваш Генка Айги, сочинявший абстрактные вирши «белое на белом», жил с женой и сыном. В лес они не ходили, а постоянно сидели на застекленной веранде, отбиваясь ветками от комариных туч.

В пристройке ночевал очкарик с безумным взглядом, не спускавший глаз с женских коленок. Он изобретал новый вид самогона, способного заменить сильные наркотические средства.

По воскресеньям приезжали мистик Юра Мамлеев и Генка Шиманов с женами. Малограмотный теоретик «Святой Руси» Мамлеев, не снимая толстого пиджака, сидел на солнцепеке и вслух размышлял об эротизме божества. Шиманов, стоя напротив в позе нападающего оппозиционера, цитировал Федора Достоевского: «Близится их царство, полное их царство!»

Жена Шиманова, усатая еврейка из Закарпатья, сурово обрывала его:

— Да заткнись ты со своим царством, дурак! Устройся сначала на работу, а потом трепись!

Мамлеев ехидно хихикал, довольный идеологическим разбродом в чужой семье. Мне было совершенно наплевать, кто правит царством, японский император или еврейский банкир, у кого есть земля под ногами, а у кого ее нет. Вдобавок ко всему, все это было совсем не смешно. Я числился гражданином чудовищного государства под названием Совдепия, а будущее страны если и мерещилось иногда во сне, то в виде «республики искусств», а не пузатый царь Гвидон в расписной телеге.

На даче появлялась Ольга Серебряная, готовая сокрушить любую идейную крепость одним махом:

— Шиманов, ты убирай за собой говно!

Славянофил смущенно вставал из-за стола и мыл грязную кастрюлю.

Однажды майской ночью в пристройке, где гнали самогон, раздался нечеловеческий вопль на весь поселок. Кричала Рубина Арутюнян.

Оказалось, пробуя новый сорт чудодейственного питья, хозяйка отравилась, и начался громогласный припадок. Завыл мой рыжий пес от удивления. Проснулись соседи внизу. Мы побежали с Айги к ближайшей будке с телефоном. Врачи отлично знали дорогу и адрес дачи. Рубина, окруженная постояльцами, вертелась по траве с пеной у рта. Врач успокоил ее уколом и сказал нам, что она давно состоит на учете в психдиспансере.

На даче с комарами и наркоманами я прожил не более двух недель, сделал штук двадцать акварелей, погрузил собаку в такси и от греха подальше смылся в Москву.

* * *

В своем письме от 17 февраля 1972 года Анна Давид писала:

«Я совсем не знаю, смогу ли я, хочу ли я жить с тобой во веки веков».

Рядом с «люблю тебя и целую» работал неуверенный расчет — как быть с анонимным русским типом, не способным служить государству?

В шестидесятые годы браки с иностранцами перестали пугать пролетарскую власть. За них не сажали в тюрьму. Русские блондинки шли нарасхват у стажеров африканских стран. О браке Олега Прокофьева, сына знаменитого композитора, и англичанки Камиллы Грей сочиняли сказки. На иностранке женился пианист Владимир Ашкенази. Нам, в подполье, был ближе творческий союз двух известных смутьянов, русского Высоцкого и француженки Марины Влади. Каждую встречу с женой бард пробивал с таким боем, такими унижительными просьбами, что сам был не рад такой связи. Артист был прочно связан с театром на Таганке и не собирался покидать завоеванное кровью и потом место. Вымотав все нервы, его выпускали на месяц к жене, откуда он возвращался как побитая собака.

Пример патриотического поведения!

5 августа 1972-го я вылетел самолетом в Ленинград, где ждала меня парижская невеста, тянувшая дело с браком.

Ленинград для меня — это вода с островами. Елагин, Крестовский, Каменный и посреди, на вздыбленной лошади «Медный Всадник» Этьена Фальконе. Город с гнилыми дворами и глубокими подвалами, «город Достоевского», заросший мусором и преступлением, я не воспринимал. Я видел воображаемый город дворцов, садов, дач, мостов, каналов, соборов, а из советских достижений корабли и самолеты невиданной красоты.

Вождя питерского подполья Александра Федоровича Арефьева я отметил в Москве, когда он пытался пробиться в «дипарт». Он привез крохотные картинки 50-х годов, его героический период ночного города, с подворотней алкашей и проституток, банщиков и бандитов. Превосходные гуаши по параметрам высшего искусства линии Отто Дикса, условно говоря, совершенно у нас неизвестного реализма.



Игорь Вулох, Анатолий Зверев и Валентин Воробьев у доходного подвала на Сухаревке. *Фото Игоря Пальмина*



Три московских охотника, в центре В.И. Воробьев. 1975



На осеннем салоне в Измайлово. 29 сентября 1974



Выставка в Измайлово. Москва. 1974



Родня на брянском крыльце.
Третья слева К.В. Воробьева-Зару



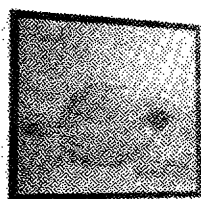
Анна Давид и автор в рязанской деревне. 1975



Л.А. Мастеркова в гостях у Г.Д. Костакиса. Москва. 1970-е



В гостях у Фимы Ройтенберга, художника трех паспортов.



С американским дипломатом Робертом Коренгольдом
на выставке русских художников в Париже



Арест А.Д. Глезера на выставке русских художников
в Париже. 1978



Русские эмигранты в Париже: В. и О. Рабины,
В. Воробьев, М. Шемякин, А. Глезер. Монжерон. 1978



Художники Леонов и Воробьев на выставке Игора.
Париж. 1983



Группа парижских скваторов.
Крайний справа внизу В.И. Воробьев



В.И. Воробьев, В.С. Котляров-Толстый, О.Я. Рабин пьют
за здоровье Армении в магазине Басмаджана. 1986



Васька-Фонаршик,
В.И. Воробьев
и Анатолий Крынский. 1975.



Слева направо:
Ю.В. Мамлеев, Толстый,
М.В. Горячева,
В.И. Воробьев, И.И.
Дудинский. Париж. 1986



Встреча друзей. Слева направо:
В. Воробьев, Вл. Аниканов, Э. Штейнберг, Г. Сапгир

— Арех, это музейные вещи, не разбазаривай случайным иностранцам, — давал я ему совет.

Художник не послушал и все разбазарил безымянным иностранцам, за бутылку виски — шедевр!

Его ученик «Мишуля» Шемякин, отправляясь в Париж (1971), прихватил с собой и вещи Арефьева, обещая прославить его имя, но ничего не сделал. Чемодан с отборными вещами пылился у него в чулане.

Летом 1972-го я гостил у Арефьева в Питере. Светлая квартира с видом на сады и трамвай, бренчавший по мостовой. Жил он с некой Жанной Яценко, рыжеволосой, увядающей красавицей, мечтавшей о загнивающем Западе. Она бредила Парижем, и Арефьев из кожи лез вон, чтобы схлестнуться с властями и выскочить за границу заметным борцом за свободу творчества. В глухом Питере Арех и его друзья, Громов, Васми, Рапопорт, пили водку, рисовали и оставались если не полезными строителями коммунизма, то совершенно безвредными людьми. В исправительных «лагерях» Запада этим пожилым и разбалованным артистам андеграунда отводилась роль придурков без славы и крышки над головой.

Однако в питерском подполье думали иначе.

— Мишуле плохо! — объявил мне при встрече Арех. — Мишулю надо выручать!

Шемякин жил в Париже год, сумел засыпать питерских друзей невиданными в нашем отечестве разноцветными открытками и буклетами своих выставок. По ночам он звонил по телефону и звал всех к себе. Успевающий художник нуждался не в соратниках, а в работниках. Он мечтал сбить артель единомышленников и посадить их на конвейерное производство, как мастера «опарта» той поры. Роль верховного жреца предназначалась ему, а друзьям корпеть над заготовками композиций.

А вот и бронзовый Александр Сергеич! Рядом меня ждала парижская певичка, в обществе опрятно одетого интеллигента с шелковым шейным платком.

Днем мы слонялись по мостам и каналам Питера, а на ночь расходились, Жан-Жак Волинский (интеллигент) к себе в гостиницу, а мы к Ареху, предоставившему нам отдельную комнату с красивым видом.

Это был дар Божий!

— Я буду здесь целый месяц, — сказала невеста.

Великий Праведник и Чудотворец отец Иоанн Кронштадтский, посети и исцели немощи наши и Господи помилуй! Аминь!

Бородатый старичок с пронзительным взором лечил одержимых бесом святой молитвой, одним прикосновением, и «народ любил его». Я постоянно помнил о нем, он был где-то рядом, пока мы бродили по заветным местам вечного города.

Возвратившись в Москву, в темный, дождливый день сентября, у подвального подъезда я увидел кучку расторопных мужиков, таскавших вещи в нежилое помещение напротив. Среди бугаев мелькал силуэт Боруха и двух незнакомцев, разгружавших автомашину. Поздно вечером ко мне грубо постучали в парадную, наглухо забитую дверь. Я попросил нежеланных стукачей войти черным ходом. Пара громил с перекошенными от ножевых ударов шрамами представилась как «живописцы Шварц и Герасим».

— Мы зашли по-соседски! — рявкнул Герасим и вытащил из кармана бутылку водки. — Обмоем мастерские и познакомимся! — Грубиян разлил по стаканам водку, выпил, закусил соленым огурцом и приказал: — Ну а теперь, Борода, тащи бутылку виски, обмоем по-американски! Мы про тебя все знаем. Борух рассказал, и вообще слухи ходят. Нам лучше дружить. Будут иностранцы, загоняй к нам, понял?

Я позеленел от гнева. Виски не выставил, потому что не держал, и собрался запирать помещение.

— Ладно. Ты не бзди! — успокоил меня Шварц. — Герасим грубо шутит. Но ты заходи, если надо, теперь мы твои ближайшие соседи.

Сидя в подвале Фридынского, итальянец Микеле Руджейро Риччи меня огоршил:

— А я бываю у твоих соседей. Раз собрался к тебе, а они затащили к себе и всучили икону!

Все стало на свои места.

Я заглянул к соседям и обомлел. Весь подвал был завален иконами, тульскими самоварами и огромными книгами в тяжелых переплетах. На хромой табуретке с обедками возвышалась батарея пивных бутылок, килька, вареная колбаса, грязные вилки и вонючие окурки.

«Ну, я пропал! Надо уебывать!»

С помощью Виталия Антоновича я снял комнату в Ананьевском переулке, рядом с новой квартирой И.С. Холина, и запер подвал.

Зимний сезон с 1972-го на 1973 год вышел катастрофическим. Мой рынок резко спал. Мои верные покупатели бросали якоря в иных водах.

Мужайся, кретин!

Мой старый и верный опекун прокурор С.И. Малец, предрекавший тюремное заключение с большим сроком, дал мне совет подвал сменить, а искусствоведов и натурщиц в штатском в первую очередь.

Окончательно упразднить «доходный подвал» и удобное секретарство Ольги Серебряной у меня не хватило ни храбрости, ни охоты, и опять жизнь была пущена на авось и самотек.

Из барака советской цивилизации, окантованной душевнобольными доносами бдительных граждан, я решил бежать в эмиграцию.

Сдать «телегу» в ОВИР еще ничего не значит, хотя и эта операция стоила мне большой трепки. Непредвиденные ямы и ловушки подстерегают вас при сборе необходимых справок. Справку о московской прописке вам выдают, если у вас есть справка с места работы. Единственным местом моей работы в ту осень был Географиздат, где давали шрифтовые обложки. Оттуда я выцарапал справку. За

профсоюзную справку надо было оплатить членские взносы за год, с заработка от фонаря. Наконец, самая сложная операция — разрешение родителей, жен и детей. Даже если вы дед, все равно необходимо разрешение ближайших родственников, чтобы достать алиментами в случае бегства. Хорошо, если вы недалеко от «Отдела виз и регистраций», а если родители живут на Камчатке или в Бессарабии, значит, надо туда ехать, уламывать, ставить штамп в райсовете, где очень долго, с большим достоинством держат фиолетовую печать на весу, выбивая у тебя последние нервы. Потом ожидание четыре месяца и связанная с ними бессонница.

Парижанке Анне Давид я сразу заявил о браке, однако стойкая и решительная в жизни девушка призадумалась над решительным предложением.

Ехал я не к жене, а к «знакомой», и шансы попасть к ней равнялись нулю. Поджидая ответ ОВИРА, я решил еще раз попытаться выставить пару картинок на официальной выставке.

Комиссия заседала в Ермолаевском переулке, где молодой академик Дмитрий Дмитриевич Жилинский играл первую скрипку. Надежды попасть на выставку было мало, но я выбрал два холста с изображением козы и коровы, жанр, далекий от политики, но в свободной живописной интерпретации.

Авторов картин, как водится, не допускали на просмотр выставкома. Художники сидели, облепив лестницу двух этажей, дожидаясь, когда выкликнут имя и результат. К моему удивлению, в очереди стоял известный Саша Суханов, муж Лавинии Бажбеук-Меликян. Мы выкурили по сигарете, вспомнили былое, когда я позировал ему в виде геолога, и вдруг дверь выставкома распахнулась и оттуда выскочил покрасневшийся Жилинский, за ним политрук Гелий Коржев и крикнул: «Воробьев, поднимитесь!» Я затоптал окурки и поднялся по узкой лестнице наверх.

— Ты что, сбрендил или считаешь себя умнее всех? — начал Жилинский. — Забирай своих коров и больше не приноси!

— А в чем дело? — спрашиваю.

— А в том, что коров и коз в таком виде мы не выставляем.

Оказалось, по неписаному закону, анималистический жанр запретили. Корову можно было рисовать, но не крупным планом и в полном одиночестве, а на механической дойке с дояркой или вдали за спиной комбайна или трактора. Корову или козу в монументальном виде сочли издержками культа личности и вообще издевательством над советским искусством.

Так убежденные защитники вечного реализма, облаченные властью гнать или брать людей в художники, управлялись выставками.

Я не жалел потерянного на лестнице времени и долго хохотал с друзьями, глядя на мою корову, стоящую по колону в воде.

Сквозь густой туман фантазий и домыслов из Европы доходили и живые, похожие на правду вести.

«Мы с Катей встретились с Куперманом, — писала мне Анна Давид в ноябре 1972 года. — У него бедного украли деньги в парижской гостинице. Испуганный хозяин, не получив своего, задержал его на целый день в полицейском участке».

18 мая 1973 года мне отказали ехать к «знакомой» в Париж.

«Ах, милая Аня, — писал я Анне Давид, — как было бы хорошо, если бы в графе 13 — “степень родства”, стояло бы вместо “знакомая” — “жена”! Случилось то, что и следовало ожидать, 18 мая утром меня вызвали в ОВИР и торжественным тоном, в котором многозначительности было не меньше лицемерия, зачитали отказ. Так и сказали — “в туристической поездке в Париж вам отказано”.

Если ты согласишься выйти за меня замуж, то твой вызов будет иметь более твердые основания для встречи».

* * *

С приходом шрифтовика Генки Валетова подвал преобразился. Он осветил его метровыми вроде палок «лампами дневного света». Его супруга, метранпаж Люся, попыталась навести марафет домашнего уюта, нечто оранжерейное, но после разрушительного визита варвара Зверева, брезгливо плюнувшего в горшок с настурцией, марафет прекратился.

Не смущай людей новизной!

Человек высшего полиграфического образования Валетов совершенно не умел рисовать. Теоретически он знал, как это делается, но, как только брался за карандаш и рисовал обыкновенную букву, она получалась безликой и невыразительной. Даже в шрифтовых обложках мой приятель оставался бездарным.

Мою попытку сработаться вместе, он сразу отклонил, сославшись на сложность артельной работы, а на самом деле, по словам Люси, несмотря на дружбу с всемогущим худредом «Детгиза» Б.А. Дехтеревым, ему не давали сложных, иллюстративных поручений.

К счастью, Генка оказался отличным кулачным бойцом. Раз он засек ломавшего мой почтовый ящик Герасима. Он так основательно встряхнул взломщика, что ему пришлось лечиться в больнице.

Порочные зигзаги «дипарта» вертелись своим чередом.

Мой богатый сосед Сашка Адамович предложил мне выставку в своем особняке. Он искал контакты с иностранцами, и мое согласие посвятить его в мой адресный блокнот его очень тронуло. Он забрал у меня десяток холстов, созвал на вернисаж иностранцев, с преобладанием немцев, хлынувших ко мне в тот 1973 год. Пришел и французский консул Тибо с косоглазой секретаршей, искавшей себе мужа.

Немецкий консул Зигфрид Фурри каждый день, пока висели картины, приезжал завтракать. Сашка готовил для

него яичницу с колбасой и пивом, иногда бифштексы с зеленым горошком и совершенно покори́л чувствительного немца. В знак благодарности Зиги притащил все немецкое посольство — Ютта Рамма, Ридмюллера, Юргена Лоранса с русской подругой, учителя Витмана, купивших картины и одаривших Адамовича. Ведь он дежурил в мое отсутствие и торговался по своему усмотрению.

Майор армии США, мистер Тотман, чья увлеченность подпольной живописью была самой искренней, часами рассматривал вещь, изучал поверхность, как следопыт, — что за краски и лаки употребил художник, почему приклеено гусиное перо в поверхность, почему льняной холст лучше хлопчатобумажного.

На вопросы об устройстве американской армии он отвечал также обстоятельно и со смешными подробностями. Какие в армии порядки, за что и какие получают медали. О своей семье и друзьях, наверное, рассказ был заранее отшлифован, но в сравнении с вечными «совдеповскими» секретами вокруг всякой чепухи майор казался примером откровения и чистой правды.

За ним вели слежку. Раз он вез меня в своей машине и, ткнув пальцем в заднее стекло, спросил, не мешает ли мне хвост и где мне лучше выйти. Я вышел на трамвайной линии Сретенки и двинулся пешком за трамваем. Один из сыщиков выскочил и побежал за мной в подворотню. Там я развернулся и пошел ему навстречу. Растерявшись, он обогнал меня и, прыгнув в свою машину, исчез в неизвестном направлении.

Хороший город Москва, но любить его не за что!

Обложили, бля!

В оживленной переписке с Анной Давид я вычислил, что она собирается ехать в Минск.

«Куда ты — туда и я!» — отвечал я 27 июня 1973 года. Вместо Минска Анна получила место в Париже, и август месяц собиралась провести в Москве — «буду жить в МГУ». На самом деле сначала был Ленинград, куда я не мог при-

ехать, — в Гомеле я не смог достать билета в это направление, и Ленинград не состоялся, а встречи в Москве были короткими и бледными. Мы жили на полу в Ананьевском, изредка выбираясь в гости к Лешке Лобанову в Спасских Казармах. Там собиралось много крикливых и пьяных ленинградцев, пивших и спавших за столом.

Мне было плохо на душе. Я исстрадался и хотел повеситься. Расстались мы дружески, но холодно и печально.

Весь мир под суд!..

3. Уголовное дело Мороза

На Рождество 1973 года со скорого поезда «Варшава—Москва» в наручниках сняли москвича Владимира Алексеевича Мороза.

Казалось бы, а что мне до этого ареста? Я никогда близко не общался с арестованным, но тут, возвращаясь после прогулки с собакой, я обнаружил в почтовом, подвальном ящике официальную повестку явиться в прокуратуру знаменитой Лефортовской тюрьмы.

О происхождении В.А. Мороза мне ничего не известно. По словам его подопечного Васьки-Фонарщика, он родился в обеспеченной советской семье, частным образом учился рисовать у Роберта Фалька и петь у Нины Дорлиак, но прославился не пением и не рисованием, а кражей картин в Музее западного искусства, закрытого по приказу Кремля в 1948 году. Лишь благодаря заступничеству высокопоставленных родственников его спасли от тюремного заключения.

Близкое знакомство с высшей столичной интеллигенцией и иностранным дипкорпусом открывало московскому эстету большие возможности, от коммерческих обменов до флиртовых встреч.

В 1959 году, голосуя попутный транспорт в ближайший Серпухов, где имелась лавка с красками, у моих ног затормозил невиданный по русским дорогам, с высоким

подъемом, британский мотор «лендрровер». За баранкой сидел красавец с пронзительно-голубыми глазами, а в кузове доярка с ведром.

— Рисуем? — спросил водитель в голубых джинсах. Я ответил, что «рисуем» и едем за красками в Серпухов. Приятное совпадение, водитель «ровера» ехал туда же.

В Серпухове доярка побежала на базар, а мы отоварились в ларьке и вместе возвращались в Тарусу. По словесным оборотам «тошнотворная мазня», «не звучит», «пошло и плоско» я смекнул, что мой любезный шофер имеет прямое отношение к живописи или критике в искусстве.

Я что-то ляпнул насчет модного тогда Александра Тышлера, а шофер мне ответил: «А вот Виктор Никитич Лазарев считает, что это местечковая мазня!»

Как часто у нас бывает, мы расстались на тарусской площади, не зная друг друга по именам, часа три обходясь одним «вы», и только на месте, в выездной общаге ВГИКа, Володя Каневский, знавший «всю Москву», воскликнул: «Ну ты даешь, чувак! Тебя катают в машине Святослава Рихтера!»

А кто сидел за рулем, не знал и он. Лишь через год или два, на сей раз в электричке, художник Ян Левинштейн представил мне старого знакомца по имени и отчеству.

Оказалось, что этот таинственный Мороз опекает не только Рихтера, но и Ваську-Фонарщика, хорошо знаком с Ниной и Эдмондом Стивенсами, Вандой Василевской, Назымом Хикметом и Виктором Луи.

Много лет спустя, 4 июля 1969 года я встретил его на приеме в американском посольстве, в обществе жены, известной виолончелистки Натальи Гутман. После плоских любезностей, буквально через день после приема он постучался ко мне в подвал. С повадкой опытного маклака Мороз осмотрел содержимое подвала, от картин до перочинного ножика, ничего не купил, но пожелал мне «большого успеха».

Пару моих шумных соседей, Герасима и Шварца, без особых хлопот занявших подвальное помещение гораздо

шире и светлее моего, с полным отсутствием чувства осторожности, свойственного всем без исключения фарцовщикам, я почему-то связал с именем Мороза. На мое предположение прокурор Малец сказал:

— Голубчик, смывайся как можно быстрее! Тебя ждет валютная статья 88 и восемь лет с конфискацией имущества!

По «делу Мороза» в самом начале 1974 года — речь шла о саботаже советской экономики на пятьсот тысяч долларов! — протащили «всю Москву», шестьсот свидетелей, от Святослава Рихтера до Сашки Барабанщика. Все имена свидетелей значились в записной книжке арестованного саботажника.

Несомненный интеллигент и человек передовых взглядов, В.А. Мороз вел учет подпольного мира и всех деятелей черного рынка от «А» до «Я» в книжке с потертым переплетом, где давались не только адреса и телефоны, но и яркая и образная картотека на каждого клиента.

Например, на букву «В» значилось:

«Валя Воробьев, по кличке “Борода”. Хитрый деревенский самородок с иностранными связями. Рисует абстракции. На обработку послать Шварца и Герасима».

— Кто такие Шварц и Герасим? — спросил меня следователь.

— Возможно, мои соседи по подвалу, но я не уверен, — отвечаю.

Молодые юристы Лефортова не отличались изощренным воображением. Я заранее знал все вопросы и ответы. На топорном конвейере «органов» под девизом «раскол и учет подполья» шли шизофреники живописи, малограмотные наркоманы и развратники Кратова, «фомичи» костромских иконных краев, «голые пришельцы» Льва Нуссберга, мистики глубокой жолы, праведники национального духа, британские и греческие шпионы.

Такого замечательного гражданина, автора литературной, адресной книжки советское правосудие топтать не станет. Накажут за перегиб, но не погубят окончательно.

Следствие интересовалось торговыми возможностями «дипарта», и вокруг этого плелись все вопросы.

Моя память — дыры. Петли и кружево. Густой узор зимнего окна.

Имена всех иностранцев — запись которых вел майор Авдеев, автомобильные номера в особенности! — я не помнил, а случайные визитки, лежавшие в подвальной корзине, я выложил на стол следствия. Кроме визиток, за моим подвалом числились следующие лица: генерал-лейтенант С.И. Малец, карманный вор Свет Афанасьев, член профсоюза Игорь Холин, психбольной Василий Ситников, сионист Анатолий Шапиро, фарцовщик Рудольф Антонченко, китаец Ян Чжоу, комсомолец Александр Глезер, маклак В.А. Ястржембский, живописец Архаров-Фридынский, академик Виктор Попков, трубач Андрей Товмасян, фольксдойч Бауэр, скрипач Даниель Фрадкин, книжник Александр Васильев, переводчик А.А. Штейнберг, домовладелец Сергей Хольмберг и грек Георгий Костакис.

Решительно все прошли допрос по литературному доносу Мороза.

Окармливая любителей русской старины, Мороз организовал широкую доставку икон из русских деревень, где орудовали его взломщики по кличке «фомичи». В момент ареста Мороз имел в своем распоряжении квартиру в Москве, дачу в Переделкино и пару автомобилей иностранных марок. Смешно, но он числился обыкновенным шрифтовиком в том же профсоюзе, где состояли все мы.

За перегиб палки он получил семь лет общих лагерей и отбывал их в пяти верстах от дачи Рихтера в Тарусе. Его подельника Боруха поймали с сундуком золота и упекли в сумасшедший дом. Питерского маклака Сашку Барабанщика, охранявшего его дачу в Переделкино, подстрелили на заборе, при попытке к бегству. Техник Шварц и милиционер Герасим, рисовавшие картину в моем подъезде, исчезли с улицы Щепкина, как будто их сдуло ветром.

Говорили, что в заключении В.А. Мороз жил по-барски. Начальника лагеря он поил американским виски, навещал дачу Рихтера и до конца срока вернулся домой.

Своих долго не держат.

* * *

В разгар лефортовских допросов я получил третий отказ ОВИРа на поездку к парижской «знакомой». Я настырно сдал бумаги на пересмотр, чтобы получить через полгода четвертый отказ.

Мой квартирант Генка Валетов, насмерть перепугавшись Матросской Тишины, сбежал в неизвестном направлении. Вместо него появился студент Ленька Милруд по кличке Чаплин. Он копил деньги на проезд в Израиль, собирая пустые бутылки. В один дождливый день он туда улетел. Из Рима я получил от него открытку.

«Идут дожди, и со своим портфельчиком без места ночью где Бог пошлет. Пить не тянет, отвык, и дорого!»

Итальянские магазины пустые бутылки не принимали. Их бросали на бесплатный бой в мусорные ящики.

Парижский успех Шемякина затмевал все невзгоды эмигрантов. Люди, пакуя чемоданы, думали про себя одно: «Мне будет не хуже!»

Васька-Фонарщик, получивший «израильский вызов», всенародно объявлял:

— Я там буду знаменит, как Шагал!

Престарелый педагог совсем не думал, что придется жить на задворках огромного Нью-Йорка, получать нищенское пособие и вместо икон собирать на свалках старые журналы.

Виктора Ерофеева я принял за разбалованного маменькина сына. Модно одетый малый с восторгом смотрел на проказы Зверева, подчищал за ним пол и стол. Сейчас он пишет эротические романы, а в 1974-м собирал в подвале пустые бутылки и бегал за водкой.

Весной, собираясь к морю, я узнал о гибели Виктора Попкова. Его убили инкассаторы Госбанка, предполагая, что идет вооруженный грабитель, а не знаменитый художник.

Одаренный, ищущий артист глупо погиб от пули охранника, не успев по-настоящему развернуться в искусстве.

Бунтовщики входили в моду.

Распространялись слухи о моем безжалостном и мстительном характере.

В Париже у Анны Давид шли квартирные перемены.

«Мой новый адрес: 11, рю Сервандони, 75006, Париж», — писала мне парижская невеста.

«Приехал Павлик Катаев, а хотелось, чтобы ты, а не он».

В том же письме лежало новое приглашение от нее. Я сдал его в ОВИР и в мае 1974-го получил отказ. Об этом я сообщил приехавшей в Москву Лизе Фонтен, ее школьной подруге. Все отказы я принимал без ропота и сопротивления. Ведь я — хмырь болотный и туняец, нарушитель законов и нечисть рода человеческого. Таким место не в Париже, а на сибирском лесоповале без выхода на волю.

Наша переписка продолжалась. Я держался в ней патристического тона, отлично зная, что наши интимные письма читают в Кремле дряхлые старики.

На похоронах Гаяны Каждан (1973), любимой ученицы Э.М. Белютина, мгновенно сгоревшей от саркомы во цвете лет и творчества, Холин, в модном реглане «шоко», клетчатой шляпе, роговых очках и с дождевым зонтом с резной ручкой, представил мне крепкую девицу с острым языком и сильной рукой.

— Марина Раппопорт. Психолог!

Мы гуляли по московским бульварам, пили кофе с яблочным пирогом, болтали о театре и живописи, об эмиграции и будущем России. Везде эта девушка чувствовала себя в своей тарелке, точность ее суждений меня восхищала.

— А можно посмотреть твои картины? — спросила, и я дал адрес.

4. Бульдозерный перформанс

Бульдозерный перформанс 1974 года остается темным, заросшим нелепыми мифами делом кучки художников.

Подвиг 26 героев-панфиловцев, защищавших Москву в 41-м году, стал хрестоматийным фактом. В их честь названы улицы, школы, больницы, а о художниках, «изменивших лицо общественной жизни», как справедливо замечает участник этого события Виталий Комар, просто толком ничего не известно.

У меня нет возможности восстановить полную картину перформанса, но вспомнить личное, поделиться опытом необходимо. Хотелось бы, чтобы и другие, оставшиеся в живых участники этого удивительного представления на московском пустыре, последовали моему примеру.

План выставки «на открытом воздухе» составили молодые и никому не известные художники, работавшие парой, Комар и Меламид. Летом 1974-го они поделились своими мыслями с математиком Виктором Тупицыным, ювелиром Игорем Мастерковым и Сашей Рабиным, сыном нелегального живописца Оскара Рабина. Математик Тупицын сказал друзьям:

— Молодость — отличная вещь, но нам нужен опытный знаменосец, известный за границей человек!

Все решили, что надо уговорить Оскара Рабина.

В самой затее молодых ребят ничего нового не было.

Годами в погожие дни выставлялись студенты художественных школ, приглашая рабочих и колхозников. Мастера народных промыслов торговали «хохломой» и «палехом» на рынках. В парках культуры и отдыха «на пленэре» проводились конкурсы на лучший детский рисунок. Но это была рутина советских мероприятий, а не праздник свободного творчества. Показать запрещенное, гонимое

искусство всенародно — вот в чем была изюминка, удар с сильным политическим протестом.

Московский андеграунд, составленный из различных групп и кланов, не был ни единой эстетической школы, ни единой «семьей», повязанной клятвой верности. Первые зачинщики предприятия отлично знали, что для такого дела необходимы громкие имена подполья: Лев Кропивницкий, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Лев Нуссберг, но они один за другим уклонялись от идеи, исходившей от молодых авантюристов.

— Неделю мы просидели на телефоне, — вспоминает бывшее питерский художник Юрий Жарких, — но толку не вышло. От корифеев несло «это хитрости Рабина и компашки», «политическая вылазка», «хорошенько обдумайте». Мы плюнули на осторожных знаменитостей и отослали письмо в Моссовет от имени нашей группы.

Собрать мощный кулак андеграунда оказалось невозможно и, как показало будущее, не нужно для грязной работы под осенним дождем. Дело мудро пустили на самотек, всех оповещая о предстоящей выставке.

2 сентября на приеме в бразильском посольстве пришел Оскар Рабин и весело воскликнул:

— Ну, старая гвардия, кто хочет показаться на Красной площади?

Борис Петрович Свешников, опытный художник с лагерным прошлым, сразу отказался от предложения и пожелал всем успеха. Руководитель нелегальной академии искусств Васька-Фонаришник предложение принял с условием, чтобы не возражал его лечащий врач.

Без расспросов и условий согласился я.

Красная площадь меня восхитила. Ежедневно тысячи туристов проходят у могил вождей мировой революции. Зане одно они могли бы поглазеть и наши картинки. Арест за нарушение общественного порядка меня совсем не смущал.

5 сентября на первой сходке участников показа по предложению математика и мецената Виктора Тупицына

Красную площадь сменили, несмотря на мои возражения, на Беляевский пустырь — безликое, окраинное место, где кончалась столица и начинались леса, поля, овраги. Из профессиональной солидарности я подписал соглашение, обязуясь десяток копий раздать иностранцам. Список участников выставки, объявленный в приглашении, никогда не появлялся в печати и звучал следующим образом: 1. Оскар Рабин. 2. Евгений Рухин. 3. Владимир Немухин. 4. Лидия Мастеркова. 5. Надежда Эльская. 6. Юрий Жарких. 7. Александр Рабин. 8. Борис «Борух» Штейнберг. 9. Александр Меламид. 10. Виталий Комар. 11. Анатолий Брусиловский. 12. Василий Ситников. 13. Валентин Воробьев. 14. Игорь Мастерков-Холин.

Для человека, незнакомого с советской культурой субординации и подпольной метафизики, имена, перечисленные в алфавитном беспорядке, означают предварительный набросок, но на самом деле в этом перечне заложена железная логика тоталитаризма.

Команду возглавляет «знаменосец» подполья Оскар Рабин, как компартию возглавляет «беспорный лидер» Леонид Брежнев. За ним следует молодой и амбициозный Евгений Рухин. Это был единственный питерский абстрактивист, вхожий в московский «дипарт», наглухо закрытый для чужаков. За пару лет упорной осады, ловко обходя опасные засады и лукавые советы, этот плодовитый и грамотный самоучка пролез в доходную обойму «лианозовского кружка» и стал надежной подмогой его. На зависть старикам подполья Рухин сумел выставиться за границей и обрести коварных врагов. В августе 1976-го они его сожгли живьем в ленинградском подвале.

В начале 70-х годов в советском искусстве возник естественный кризис, связанный со сменой поколений. Скопились тысячи дипломированных и беспризорных художников. Они безнадежно ломались в казенные «творческие союзы», где крепко сидела мафия, не желавшая делиться доходами с молодым воинственным народом. Они, как

безумные, лезли в узкую щель андеграунда, на лету пере-страивая реализм на абстракцию. Люди, заварившие нелегальную торговлю, подобно их официальным противникам, давно заматерели, отлично кормились профессией и не нуждались в начинающих гениях без места в жизни. Старика Рабина, в отличие от его рано отяжелевших коллег, постоянно тянуло к молодежи. Он сдружился с юной красавицей Надей Эльской (номер 5), рисовавшей под его руководством, и сразу нашел общий язык с молодыми Жарких, Рухиным, Комаром, Меламидом, Виктором Тупицыным, искавшими связи с внешним миром.

Лучше всех я знал Боруха.

С малолетства он сочинял стихи и прозу, но кормился прикладной работой грузчика, землекопа, плотника. Честолюбивый мастеровой, сын узника ГУЛАГа, постоянно вращался в подпольных кружках, не зная толком, куда приложить золотые руки. Событьельники не раз давали ему глупые советы поучиться рисованию с простым карандашом в руках. Он долго не мог себе представить, что в Москве можно жить припеваючи, не владея карандашным рисунком.

Зимой 1968 года я навестил его подвальную мастерскую и научил Боруха делать столярные «объекты».

Когда бразильский дипломат отстегнул ему сто рублей за «Черные стружки», что соответствовало месячному жалованью столяра, Борух стал неузнаваем. Используя хорошо налаженные связи черного рынка, он быстро разбогател, купил квартиру, дачу, автомобиль, сменил жену, но желал еще славы и власти.

В «бульдозерном списке» он был типичным попутчиком, независимым дельцом, презиравшим выскочку Рухина и его покровителей. В среду 11 сентября, потеряв всякую надежду выжить питерского соперника на задворки славы, он хлопнул дверью, обвинил всех в трусости и больше не появился.

Известный златоуст московских салонов, собиратель древностей и автор доходных, эротических коллажей Толя

Брусиловский (номер 11) был «членом трех союзов» и, следовательно, лицом подневольным. Его ввел в заблуждение призыв старика Рабина, но когда на представительном собрании выступил собиратель «нонконформизма» Александр Глезер с лекцией о международном положении, Брусок не выдержал:

— Я с припадочными не играю!

И больше его не видели. За сутки до скандала он известил по телефону, что «товарищ Дудник» (начальник Мосха) не рекомендует своим членам выставляться на пустыре.

Таинственный лечащий врач Васьки-Фонарщика (номер 12) отправил знаменитого пациента собирать грибы до первых заморозков.

Таким образом, пользуясь случайно составленной бандой и личными амбициями художников, власти вносили разлад и смуту еще до выхода на пустырь.

Под номером 13, согласно народному поверью означавшим несчастливое число, вписали меня. На сходках я пытался протестовать, требуя «хороший» номер. Меня подмывало плюнуть на затею и не явиться, но могли истолковать мой поступок как измену и прямую связь с бандой Боруха, о которой самозванный политрук Глезер прожужжал все уши. Я остался на авось и до конца.

Окультурную таблицу замыкал (номер 14) начинающий ювелир и рисовальщик Игорь Мастерков-Холин, мечтавший открыть модное ателье где-нибудь в Вене или Лондоне. Его за уши тащили в люди мать Лидия Алексеевна Мастеркова (номер 4), что подтверждает ее усидчивый фатализм в деле, и бывший отчим Немухин, который и сам был не прочь подогреть к себе угасающий интерес «мировой общественности».

В полемической статье «независимого журналиста» Игоря Дудинского («Независимая газета» 14.09.94) эта выставка на пустыре преподносится как совершенное произведение неких таинственных сил, где всемогущее КГБ,

иностранные банкиры и громкие имена подполья выступают простыми статистами, послушными исполнителями чужой воли. Если оставить в покое занятый сценарий с таинственными силами, о географии которых мне ничего не известно, то игра в поддавки с властями и иностранцами, вносившими прямые и кривые поправки в стратегию перформанса, несомненно, продолжалась две недели подряд.

«Изошренная операция» (по Дудинскому) компоновалась совершенно открыто, гласно и сумбурно в московской хрущобе у Преображенской заставы, где обитала семья Рабиных и часто гостили Рухин и Жарких.

У подъезда постоянно маячил топтун в серой шапке.

В квартирке, выкрашенной в бурый, барачный цвет, висела резная икона с коптящей лампадой. На потрепанном диване дремал тучный Немухин, изредка открывая веки. У телефона, склонив бритую голову, дежурил Рабин-старший. На кухне топтались незнакомые мужики с продуктовыми авоськами, по-хозяйски откупоривая пивные бутылки. Дебютанты подполья — Эльская, Тупицын, Комар и Меламид — беспрерывно смолили вонючие сигареты и гурьбой бросались по узкому коридору, когда в дверях трещал звонок.

На сходках актеров и статистов перформанса своими людьми были фотографы Игорь Пальмин и Леня Талочкин, к философским советам которых почему-то все прислушивались.

За две недели томительного ожидания раз семь я был у Рабиных и всегда видел горького пьяницу Димку Плавинского, именитого и беспощадного «дипартиста», не принимавшего участия ни в деле, ни в разговорах.

Так в крутом замесе абсурда с вокзалом работали наши бульдозерные стратеги.

На последней летучке 13 сентября мы засиделись допоздна, напрасно дожидаясь уполномоченного курьера Моссовета. Шел напряженный треп о ценах на картины Сальвадора Дали, которых мы никогда не видели, о жал-

кой участи Солженицына на Западе, где не читают по-русски. Открывая бутылки, галдели, почему одним израильский вызов задерживают, а другим доставляют на дом? Город Ленинград — провинциальная дыра или передовая столица? Кто на самом деле Андрей Амальрик — стукач или диссидент? Кому дать взятку за кооператив — Каневскому или Дробицкому?

К полуночи явился шведский журналист, прыщеватый молодой человек в замызганном белом плаще. Его встретили на «ура», усадили под резную икону и принялись наперебой излагать диспозицию высадки на пустыре, не забывая американских пацифистов и теорию Льва Толстого о непротивлении злу насиланием.

Эти сборища с бредовыми разговорами, по свидетельству Виталия Комара, не только тщательно прослушивались властями, но и без зазрения совести ими цитировались при случае.

В заветное воскресенье 15 сентября немецкий журналист Арно Майер подобрал меня и пару китайских евреев, пожелавших прикрыть мое творчество на войне, и погнал «мерседес» по адресу.

Всю ночь хлестал дождь, и наш пустырь превратился в грязную лужу с гнилыми кустами посередине. На пригорке дымился почерневший костер. В густом тумане виднелась пара грузовых самосвалов с зелеными саженцами за бортом, хилая землечерпалка и темный силуэт бульдозера. Вокруг тяжелой техники, ошетилившихся лопатами, вилами и граблями, замер грозный враг, землекопы и садоводы великой державы. Отступить было некуда. Позади собирался доходный дипкорпус и желанное телевидение, а впереди стоял вооруженный русский народ. Я с китайцами и мои соседи на правом фланге, Комар, Меламид, с картинами наперевес двинулись на противника. Не успели мы войти в грязную лужу, как грузовики угрожающе заворчали и объемистые землекопы с криком «Бей жидов, спасай Россию!» принялись нас уничтожать поодиночке.

Один свирепый богатырь всадил лопату в мою незащищенную живопись и с отвращением бросил в грязь, как Георгий Победоносец подколодного змия.

Позабыв о тактике Льва Толстого, единогласно принятой на общем собрании, я саданул богатырю в нос. Он взревел, завыл и, вытирая кровавые сопли, кликнул товарищей. Вчетвером они легко меня сбили с ног, вилами проткнули любимую кепку, намяли бока и с прихватом по всем членам лихо бросили в лужу.

Знакомому иностранцу, снимавшему сцену народной расправы, богатыри съездили по зубам и сломали камеру. Пара моих китайских телохранителей разбежалась по домам.

Барахтаясь в гнусной луже, я видел одним глазом, как роскошная картина Мастерковой полетела в кузов самосвала, где ее тотчас же затоптали, как охапку навоза. Большую фанеру Комара и Меламида с изображением собаки Лайки и Солженицына неприятель разломал на дрова и подло бросил в костер. Правый и левый фланги, бросая искусство на милость погромщиков, с боями отступили на безопасный тротуар.

Расчетливый корифей «дипарта» Немухин, не разматывая своего артистического багажа, глазел на побоище издалека.

С опозданием на час в рукопашный бой вступили одетый как на свадьбу Евгений Рухин, красавица Эльская и Рабин-старший, на ходу открывшие картины для показа. Темный бульдозер, молча поджидавший охотников сразиться, приподнял стальное забрало и зарычал. Истериически завизжала Эльская, бросаясь на грозную технику. Храбро, не сгибаясь, шел Рухин, за ним Оскар Рабин с высоко поднятой головой, готовые усмирить бульдозер.

Через час войны бойцы устали и отошли в тыл.

Пестрая толпа зевак, разбившись кучками, толкалась по грязному пустырю, громко обсуждая из ряда вон выходящее происшествие.

Окончательной эвакуацией с поля боя занялись пожарники. За полчаса ледяного душа они сумели разогнать толпу артистов и зевак. Рать садовников и землекопов молча оседлала грузовики и скрылась за дремучим лесом. Остатки любопытных разбежались как крысы, ныряя в метро и по машинам. Мой хитрый немец, внимательно следивший за гражданской войной в России, лихо подогнал автомобиль в луже, где я прижился, подобрал истерзанные народом картины и, как мешок грязных тряпок, запихнул меня на заднее сиденье. Немецкая техника запела и понеслась к Москве.

Так выглядел мой творческий вклад в «бульдозерный перформанс» 15 сентября 1974 года, с двенадцати до двух часов дня.

Назавтра безымянный пустырь стал прибыльным делом.

В мой подвал на улице Актера Щепкина, 4, завалился незнакомый шизофреник по фамилии Бондаренко и похвастал тем, что загнал иностранцу картину с «бульдозерной выставки», где «она» сражалась за свободу творчества! Я тут же смекнул, что поправлять и возражать бесполезно. Теперь этот известный в России авангардист аккуратно отмечает в своей творческой биографии мифическую дату, как известные академики не забывают объявить свои почетные титулы.

«Бульдозеры» растаскивали все, кому не лень.

По приказу властей профсоюз работников культуры, составлявший опись андеграунда, обнаружил, что участников «бульдозеров» было не одиннадцать, как мне известно, и не двадцать четыре, как вычислил архивариус Леонид Талочкин, а более трехсот!

О «бульдозерном перформансе» писали газеты.

Нештатным художникам, к которым пристал и штатный живописец Тяпушкин, получивший звезду героя не за искусство, а за оборону Москвы от нашествия немцев в 1941 году, власти, обеспокоенные шумом мировой прессы, уступили просторную поляну Измайловского парка,

где собралось не менее десяти тысяч зрителей. Художников было очень много, день выдался солнечный и веселый, но власти думали о мести.

Назавтра посыпались аресты, штрафы, приводы в милицию.

В октябре начальник нашего профсоюза Ащеулов сунул мне справку, на редкость быстро заверенную без доказательств «трудовой книжки», и злобно выпалил:

— Надеюсь, на сей раз они тебя выпустят на обетованный Запад! Для меня ты уже не существуешь, выбыл в неизвестном направлении!

По прошествии многих лет люди задаются вопросом: кто выиграл, а кто пострадал от гражданской конфронтации?

Лидия Мастеркова, мастер высокого класса и достойная лучшей судьбы, часто и попусту волнуется:

— За что я страдала?

Платят за искусную игру, а не за страдания.

Потом, кому платить — жертвам или палачам?

Боюсь, что нам долго еще придется ждать, когда московский роддом назовут именем Надежды Эльской, подводную лодку именем Евгения Рухина, а городской тупик именем Владимира Немухина.

Каково же было мое удивление, когда двух зачинщиков «бульдозерного перформанса» я увидел сидящими в сугробе ВДНХ со своими произведениями. Немухин сумел вывести героев из списка московских художников, как «профессионально непригодных абитуриентов».

5. Гонимое искусство

Художник Оскар Рабин всем доверительно сообщал, что у него был профсоюзный начальник, товарищ Ащеулов, и обещал золотые горы.

Что же возглавлял начальник Ащеулов?

Согласно идеологическому шаблону Академии художеств СССР — самой могучей, самой нерушимой и са-

мой живучей твердыни русской культуры — советские шрифтовики и чертежники географических карт, составители пожарных плакатов и промышленных этикеток, исполнители ортогональных проекций и орнаментальных капителей, геральдисты, альфрейщики и граверы денежных знаков относились к низшему разряду работников прикладной графики. У них не было никаких шансов войти в стройные ряды настоящих художников, со строгими правилами золотого сечения, линейной перспективы и корпусного мазка.

Для учета и сбора членских взносов весь этот нештатный сброд согнали в профсоюз работников культуры Москвы и Подмосковья, то и дело менявший свой адрес.

Внушительный контингент этого дикого учреждения составляли выпускники полиграфических училищ и питомцы курсов повышения квалификации, руководимых профессором Э.М. Белютиным.

В профсоюзе попадались по-настоящему достойные творцы, художники любимого дела. Например, Анатолий Антонченко был автором всемирно известных водочных этикеток.

Превосходные плакаты по технике безопасности всю жизнь делал художник Дмитрий Краснопевцев.

Большим мастером ортогонального черчения был Ясек Штейнберг (брат Эда и Боруха Штейнбергов), с особым искусством изображавший токарные станки и автомобильные моторы в цветном разрезе.

В начале 1960-х годов в секту безымянных хищников графики пролезли и приспособленцы андеграунда, повязанные на иностранных интересах. Они хорошо зарабатывали на подпольной торговле, платили ничтожные членские взносы от фонаря, а взамен получали справку с печатью профсоюза, спасавшую от милицейского ареста за тунеядство.

С 1974 года этой уродской конторой руководил коммунист Виктор Михайлович Ащеулов.

Лично я видел начальника дважды и при особых обстоятельствах. Товарищ Ащеулов был обязательной частью «треугольника» — парторг, профорг, комсорг, заверявшего просьбы работников издательской графики, рискнувших выехать за границу.

10 ноября 1974 года на торжественной ассамблее в хрущобе О.Я. Рабина (Черкизовская ул., дом 8, корпус 5, кв.21) собрался цвет русского андеграунда, светила и темнила «ди-парта», нелегальные активисты и добровольные советники. На видном кресле восседала «мамка русской демократии» Лорик Кучерова-Пятницкая. За ее спиной в позе верного пажа стоял организатор многочисленных «квартирных выставок» Оська Киблицкий. В центре активист «левого МОСХа» Миша Одноралов, как грушу, тряс минометчика Красной Армии Алексея Тяпушкина, за свободу творчества сутки отсидевшего в КПЗ. Под иконой, разодетый в пух и прах, сидел сибирский формалист Эдуард Зеленин. Подпольный летописец Ленька Талочкин на спине дремавшего «классика» Немухина составлял списки участников всесоюзного фестиваля. Тихо ворковали старики. С восторгом галдела молодежь. Поклонники не выпускали из рук красавицу Надю Эльскую. Все наперебой обсуждали неслыханные посулы и золотые горы московского профсоюза.

Выставки... Мастерские... Командировки на БАМ... Заграничные поездки... Каталоги. Афиши... Платный вход... Валютный салон!..

Молодой режиссер «пикника в Измайлово» (29 сентября 1974 года) математик Виктор Тупицын обобщил восторженный шум собрания:

— Пусть в профсоюз идут те, кто его знает!

Назвали Немухина, Рабина и меня.

В глухом дворовом подвале на Малой Бронной в одной комнате собирали членские взносы, а в другой сидел на столе головастик с распухшим от пьянства фиолетовым носом.

— А, ты еще здесь? — ткнул он вонючей сигарой в мою сторону.

— Отказали опять! — отрезал я грубияну и расправил плечи.

— Отказали, потому что ты не турист, а корабельная крыса! Зачем советскому туристу велосипед в Париже? А швейная машина, а холодильник, а телевизор, а дерьмовое сверло? Воробьев, ты совсем ожиждовел! Члену нашего профсоюза Вагричу Бахчаняну не отказали, потому что он честно уехал порожняком, а ты считаешь себя умнее всех. Ты не наш, ты чужой человек! Владимир Николаевич, — вдруг дернул он Немухина, — прошу заменить человека!

Мой старый товарищ уставился в облезлый пол. Меня поразили основательные знания профсоюза о сверлах и велосипедах.

Я искоса посмотрел налево. Оскар Рабин молчал.

— Оскар Яковлевич, — вдруг сменил тему головастик, — вы знаете, я обожаю женское белье! Бюстгальтер на женщине — модная эстетика, бюстгальтер на окне — пошлая порнография! Народ оторвет мне голову, если я посажу порнографию в профсоюз. Да вот и ваш друг Владимир Николаевич против порнографии в наших рядах!

Немухин не пикнул.

Наш соратник оцепенел от страха. Я знал его десять лет на перекрестках «дипарта», с Оскаром он дружил двадцать, и они понимали друг друга с полуслова, но такой убогой позы мы в нем не видели.

Поколение вечного страха.

Дверь распахнулась, и в контору вошла пара бойких «белютинцев», Игорь Снегур и Эдик Дробицкий. Они обложили Немухина, как часовые заложника.

Переворот без единого выстрела, без единого возражения.

Пришли настоящие вдохновители и победители свободной торговли, а не безмолвные исполнители чужих указаний.

Доверительное обращение. Тайный сговор.

Заложник профсоюза Немухин вытянулся по стойке смирно.

Комната мне показалась пустыней.

В один миг я превратился из подпольного художника в факультативного гражданина на чемодане. Друзья и знакомые прекратили общение. Самые отчаянные пьяницы со Сретенки не решались просить займы. При встречах нос к носу люди, словно сговорившись, задавали один и тот же вопрос: «А ты еще не уехал?» За полгода до выезда на Запад я превратился в опасного иностранца.

Графики часто работали парами. Я рисовал, Снегур добывал заказы. Несколько лет подряд мы работали вместе, получили премию белорусского комсомола за серию цветных иллюстраций, а в 1967 году разошлись, сохранив приятельские отношения. В 1974 году затухшая дружба заново воспламенилась, когда вспыльчивый, как порох, ревнивый и храбрый Игорь Григорьевич Снегур занимал макушку профсоюзной пирамиды.

Начальник профсоюза не знал и скончался от белой горячки в полном неведении, что его ближайший помощник аккуратно доносил мне о художественной жизни Москвы с пикантными подробностями. Мой друг Снегур, милейшие отношения с которым сохранились до сих пор, в свою очередь, не подозревал, что ночной сторож профсоюза по кличке Боря Цыган пересылал мне в Париж стенограммы и протоколы заседаний, попавшие в мусорную корзину, а не в спецхран.

Апофеоз подпольной шизофрении!

Что вы хотите, если иностранные шпионы, маскируясь под ударников труда, слонялись по стране, как у себя дома. Гнусные клеветники и ядовитые гады, соглашатели и капитулянты, ренегаты и фальсификаторы заседали не только в генштабах и худсоветах, но и за стенами древнего Кремля!

Кажется, положение Оскара Рабина было еще сложнее.

Профсоюзный головастик Ащеулов и не думал посвящать его в свое дело. С известного живописца с иностранными связями можно было вместо взяток нажать одни неприятности. На залепуху с «валютным салоном» и прочие золотые горы клюнуло около трехсот бродячих артистов, среди которых начальник без суеты отбирал самых покорных и доходных работников.

Грязную работу отбора и отсева взял на себя самозванный выставком, состоявший из Немухина, Снегура и Дробецкого.

Товарищ Ащеулов придумал новый метод учета и контроля дикого андеграунда. Перепись и наблюдение осуществляли добровольцы вроде летописца Талочкина, «мамки» Пятницкой и сюрреалиста Отария Кандаурова, без выходящих работавших по подвалам Смоленки, Сретенки, Рогожки. Начальник по опыту знал, что верные пособники верно служат до тех пор, пока висят у него на крючке, и растопчут и продадут, не моргнув глазом, если соскочат. Он предпочитал чужака Немухина, имевшего допуск к иностранному рынку, «своим ребятам», Снегуру и Дробецкому, ковылявшим на обочине казенных заказов.

Молодость Владимира Николаевича Немухина ушла на постоянную подготовку к экзаменам. Абитуриент Немухин годами обивал пороги академических конкурсов и повсюду получал некрасивые двойки.

Двоечник — не значит бездарность !

Просто Володю Немухина тянуло туда, где стояли неприступные стены. Великий Польш Сезанн поступал точно так же. В 35 лет, когда возраст не позволял студенческой жизни, абитуриент стал образцовым шрифтовиком рабочего клуба имени тов. Горбунова.

По свидетельству инженера Алика Русанова, приобщавшего несчастного шрифтовика к высокой эстетике, встреча с иностранцем перевернула судьбу Володи.

Первого иностранца приятели выловили у пивного ларька 1 августа 1957 года. Им оказался польский сту-

дент, после ночной оргии в международном общежитии искавший срочного опохмела. Поляк напился за счет советских друзей и тут же, под хохмы и звон стаканов, нарисовал лирическую абстракцию в модном стиле «дриппинг». Когда обалдевшие москвичи узнали, что в этом произведении заложены форма и содержание, то хмель мгновенно испарился, а шок остался на всю жизнь.

По совету Русанова шрифтовик Немухин намазал свою первую «абстракцию», употребляя не только малярные краски, но и остатки гнилой ветоши и зубного порошка. Смотреть работу собрались знакомые художники и поэты из поселка Лианозово, иногородние абитуриенты и почтенные интеллигенты, помнившие хулиганства футуристов.

Искусствовед Илья Иоганнович Цырлин, живший на противоположной стороне Смоленки, устроил первый квартирный показ работ непризнанных талантов.

Американский турист Александр Маршак накатал страстную статью в американском журнале в защиту московских авангардистов. Академик Серов утверждал, что в стране нет абстрактивистов, и, в сущности, был прав, потому что подобными упражнениями занималась кучка неудачников — Лев Кропивницкий, Владимир Слепян, Михаил Кулаков и жена Немухина, Лидия Мастеркова.

Меценат Г.Д. Костакис, законодатель эстетики тех времен, сразу забраковал «абстракции» начинающих москвичей. Казалось, что по холстам и картонкам пробежала кисть одного автора родом из-под Гамбурга или Мельбурна. Вскоро нештатные авангардисты по настоятельной просьбе Костакиса бросили абстрактное баловство и принялись за розыски собственного, уникального стиля.

Однажды Володя Немухин, сражаясь в подкидного дурака с юродивым борзописцем Анатолием Тимофеевичем Зверевым, почитаемым в Москве за гения всех времен и народов, бросил колоду карт на мокрую абстракцию. Коллаж заиграл, и Зверев одобрил. Подвальная находка имела

успех, или «поиск кайфа для лайфа», как остроумно выразился художник В.П. Пятницкий, раскрывший коммерческую сущность немухинского стиля.

«Подкидная эстетика» бойко расходилась по чемоданам и квартирам иностранцев. Близость к интересам всемогущего Костакиса, одоббившего опыт, поставила нашего бывшего «двоечника» в привилегированное положение художника «дипарта». Его не судили за тунеядство и разложение советского искусства, а красная корочка члена профсоюза спасала от непредвиденных облав.

В России пить не умеют!

В подвале Немухина на Малой Бронной не пили, а нажирались до зеленых соплей, глотая и чавкая всевозможную дрянь под названием «Дух Женевы» или «Сучий потрох», составленную бродячим литератором Веничкой Ерофеевым. Потом злословили над конкурентами. Опрятно одетые гуманисты, рискнувшие спуститься в подвалы Смоленки — Плавинского, Калинина, Немухина, Надьки Вырви-Глаз (подруги Зверева), — выползали оттуда законченными шизофрениками.

Несмотря на дикое пьянство и всеобщую нищету, подвальные богохульники и сатирики втихаря копили деньги, покупая квартиры, дачи, моторы для вполне мещанских жен и детишек.

Куда смотрели угрозыск, сионисты и двурушники, засевавшие на Лубянке?

За годы тяжкого подполья Немухин установил довольно разветвленную сеть знакомств и «удачно клеил фирму» с выходом на Запад, где у него образовались заступники, закупившие слишком много «подкидных дураков». Московскому авангардисту приписали (а на самом деле идею он свистнул у алкоголика Зверева) изобретение бредового каталога — «Таблица самых великих художников мира». Согласно немухинской таблице «самыми великими» были он сам, его жена и шесть человек — рисующих друзей из поселка Лианозово. Событьишники подвалов Смоленки

попадали туда в зависимости от пьяного настроения. Эта табель о рангах без возражений профсоюзного начальника была принята к действию и наломала столько дров, пока головастик Ащеулов «торчал у власти искусства», что до полного его излечения временем пока далеко.

Над Ленинградом висело историческое проклятие.

В 1975 году профсоюзные стратеги начали погром с «ленинградской оппозиции». Торговцы «дипарта» не нуждались в ленинградских конкурентах. Напористые питерские авангардисты, прославленные западной прессой, — Шемякин, Рухин, Жарких, тянувшие за собой хвост охотников поживиться в Москве, стали опасной помехой в торговле с дипкорпусом, аккредитованным в столице. Просьбу, или «заявление ста», составленную ленинградцами при поддержке минометчика Тяпушкина, Рабина и Киблицкого, товарищ Ащеулов демонстративно, под смешки работников профсоюза и гробовое молчание заложника Немухина сжег на столе, а пепел бросил в мусор.

— Доносчикам первый кнут! — определил новую линию поведения профсоюзный головастик. — Все просьбы в устном виде и лично мне!

Под угрозой ареста и штрафа питерским выскочкам было запрещено появляться на московских тусовках без «постоянной прописки», включая дворницкие и вокзалы, где они еще пытались проявить свой твердый характер.

Некоторые из них — Саша Арефьев, Алик Рапопорт, Саша Леонов, протоптавшие тропинку в торговлю «дипарта», многочисленные участники смелых манифестаций, скрылись в эмиграцию, а самый непокорный — Евгений Рухин — сгорел.

Единственному представителю восставшей Сибири, Эдуарду Зеленину, не знавшему толком, где расположен Восток и Запад, в избу принесли «израильский вызов».

В отличие от легендарного магазина Остапа Бендера, не имевшего рогов и копыт, головастик Ащеулов располагал артистическим товаром всех сортов в избытке. Цен-

зурный комитет согласно таблице Немухина расставлял его по «десяткам», «двадцаткам», «тридцаткам». Известную московскую склочницу Лорик Кучерову-Пятницкую и группу нештатных шизофреников, доказавших президенту США, кто истинный вдохновитель «бульдозерного перформанса», В.М. Ащеулов без экзаменов записал в профсоюз. Рапорты шизофреников временно перестали поступать в канцелярии иностранных держав.

Западные журналисты охотно прославляли молодых художников то на фоне мокрого пустыря, то на фоне вечных снегов, то с собакой Лайкой в обнимку, выпячивая Семена Мариенберга, Виталия Комара, Александра Меламида, Надежду Эльскую. Надо было видеть матерых алкашей Смоленки, с каким остервенением они рвали изображения ненавистных конкурентов, мелькавших на страницах иностранных журналов.

Постоянную компанию Немухину составляли ювелирщик Слава Калинин, рисовавший критические картинки из советского быта, и Димка Плавинский, угробивший талант на претенциозные и сухие композиции древнеславянской вязи.

Они часто повторяли: «Только через наш труп!»

Литературная игра с мифическими персонажами вроде Зевса, Александра Македонского, Уильяма Шекспира составляет славу полицейских романов. Сложнее, когда в переплет исторической хохмы попадают современники, живущие, как говаривал футурист Хлебников, в одном полицейском участке.

С моим переездом во Францию (май 1975) ведущие деятели андеграунда, словно проснувшись, наперебой и конфиденциально сообщали о происходящем в Москве, не забывая «по старой дружбе» о парижских подарках.

Чувство дружбы и клана, замечательные качества, свойственные В.Н. Немухину, привели к полной деформации профсоюзной деятельности.

Прыткий головастик сдержал свое слово.

Первый год, транжиря казенные средства, он бесстрашно арендовал выставочные залы для подопечных работников, отправлял «своих ребят» на курорт и за границу, составлял невиданные в стране пестрые афиши и каталоги выставок. Западная пресса постоянно освещала необыкновенные показы «нонконформистов», мистиков и формалистов. Несмотря на постоянные протесты Немухина и его подвальных друзей, навал нештатных тунеядцев и фарцовщиков продолжался, так называемая «живописная секция» была собрана и перебралась на новое место, в просторное помещение по улице Малая Грузинская, 28. За спиной начальства составлялись аппаратные заговоры с целью уничтожения зарвавшихся «стариков». Затяжные бои выматывали нервы. Крепкие подвальные напитки быстро подтачивали богатырское здоровье живописца.

Убытки! Убытки! Убытки!

«Таблица» Немухина не приносила доходов!

Выставочная чехарда профсоюза совпала с катастрофическим провалом коллекции А.Д. Глезера в Европе и Америке. «Самых великих художников» считали политическими агитаторами и никто не покупал. Его Величество Капитал с большим скептицизмом встречал русские выходы под пламенным флагом «нонконформизма». Эмигранты на ходу перестраивали творчество, чтобы приличнее выглядеть в потребительском мире. Перестройка рядов намечалась и в профсоюзе Москвы.

Космические силы зла незримо вошли в русскую культуру.

На пороге нового 1977 года на расширенном собрании профсоюза, где собрались не только «свои ребята», но и чужаки, «мамка» Лорик Кучерова-Пятницкая, представлявшая значительную группу психбольных работников искусства, восседала рядом с начальником Ащеуловым, что походило на дворцовый переворот.

— Плохо работаем, дорогие товарищи, — начал пытку головастик, по обыкновению сев на стол, — гуляем по

заграницам, тайком продаем картины, а в профсоюзной кассе пусто!

С «валютного салона», о котором прожужжали все уши, не капнуло ни одного «гривна». Прожорливые авангардисты из-под полы торговали с иностранцами и заработки тащили домой, подло надувая родной профсоюз. Ставка на «стариков» оказалась порочной и убыточной. С таким положением надо было кончать. В.М. Ащеулов решил сменить работников, помощников и тактику «валютного салона».

Рожи заговорщиков образовали воинственный клин. К «мамке» подтянулась очень тяжелая психартиллерия подполья — Кира Прозоровский, инвалид Кук-Мануйлов и Корюн Нагапетян, автор романтической картины «Несмеяна».

— Я хорошо знаю иностранного потребителя! — вдруг выступила неизвестная блондинка с мощной косой на затылке. — Ничего общего с московским дипкорпусом! Ему нужна русская романтика, а не уродства современного искусства!

Вокруг Лорика хлоппали в ладоши.

— Сердечно благодарим за участие! — заключил посвященный в заговор начальник.

Известный исторический парадокс.

Западный мир с большой неохотой встречал русских «западников», не принимая всерьез старомодные потуги, и, наоборот, отсталым «славянофилам» всегда открывал двери пошире.

Развесистый русский «китч»!

Почему советская власть не держала коммерческих галерей? — идеологическая мистика коммунизма!

Исподтишка, без обложения налогами, торговали расписными матрешками, балтийским янтарем, оренбургскими платками и крашеными яйцами. На этом ассортименте кончалась международная торговля изобразительными искусствами.

Открытие коммерческой галереи на острове Мальта, торгующей запрещенным русским искусством, звучало так же, как появление дома отдыха на планете Марс.

К сожалению, нам пока не удалось установить девичью фамилию блондинки Аси Макмум (здесь фамилия звучит по-африкански), но галерея с красивым названием «Гамаюн», вне всякого сомнения оказалась первой ласточкой коммерческой революции, первой продажей русского искусства на Западе.

Хозяйка магазина на легендарном острове прошла основательную тренировку в славянофильских кружках Ильи Глазунова и Владимира Солоухина, перед тем как перебраться на остров в Средиземном море. Опорой и подругой Аси Макмум была Лорик Кучерова-Пятницкая, полноправный член профсоюза и убежденная сторонница «русской романтики». В их секретные списки «подкидные дураки» Немухина не попадали. Они балдели от творчества «крестов» Виталия Линицкого, «лебедей» Сашы Туманова, «свинок» Сергея Шарова и «монастырей» Пети и Славы Гладких.

«Гей, славяне!»

Новый деловой союз — головастик, Ася, Лорик, двурушник Нагапетян — возник на развалинах культа Смоленки. Наивные попытки мастодонтов подполья перехитрить начальство провалились.

Снега!.. Озера!.. Лебеди!.. Церкви!.. Барышни!..

Картин с такими пошлыми сюжетами настоящие, образцовые живописцы не писали. Профессионалов корпусного мазка привлекал госзаказ на образы тупорылых ударников космоса.

Русский романтический «китч» плотно свил гнездо в андеграунде. В обход таможи битком набитые чемоданы госпожи Аси Макмум улетали на благословенный туристический остров.

В бархатный сезон 1977 года отставные британские полковники и немецкие шоколадники буквально разнесли магазин «Гамаюн» в день вернисажа.

Настоящий славянский шарм!

Имена нештатных производителей Пети Гладкого и Сережи Шарова произносили с таким же почтением, как имена старинных романтиков, недоступных карману зажиточного туриста, потом изумительные картины сказочной России оказались доступны нормальному любознательному гражданину с тысячей долларов в запасе. Доля профсоюза через две-три манипуляции на черном рынке обрела значительный рублевый эквивалент. Головастик и «романтики» основательно нажились за год, а на персональных выставках братьев Петра и Славы Гладких, ставших героями мальтийского пляжа, они отхватили кругленькую сумму, покрывшую кооперативные квартиры и быстроходные «Жигули».

Иной путь в «дипарт»!

«Шизоидная культура», — как теперь выражаются московские мыслители.

Ряд ведущих художников профсоюза без промедления сменили стиль. Картины Корюна Нагапетяна «Несмеяна» (позировала сама Ася Макмум!) и «Разрушение Карфагена» Юрия Симакова стали моделями для подражания. Попытки «самых великих художников» Плавинского, Калинина, Кандаурова примазаться к островному магазину молодые рвачи пресекли в зародыше.

Экстремизм хорош при ловле блох!

Обороты профсоюза с платным доступом на выставки, продажа каталогов и афиш были совершенно нелегальными. Взятки за «персоналки», проценты и подарки с продаж на территории Грузинки, бластной прием в «живописную секцию», нажива на славянском китче бросались в рагам головастика из Академии художеств и угрозыска.

Преступные склоки жожаков, жестокий разброд и азиатчина не брались в расчет. Вольный профсоюзный базар привлекал мыслящих и способных художников своим благополучным видом, с попытками просвещенного кураторства, культурой рекламы, профессиональной развеской и

солидным бюджетом, до того немислимым в советской культуре.

В помещении профсоюза выставлялись видные художники андеграунда — Владимир Яковлев, Александр Харитонов, Эд Штейнберг и Вл. Янкилевский, однако над Грузинкой гсушались тучи.

Весной 1978 года на отчетной выставке профсоюза совершеннолетний альфрейщик Сысоев (40 лет) показал картину в лубочном стиле, изображавшую вождя китайской революции Мао Цзэдуна, идущего в будущее по головам угнетенного народа. О картине пронюхали китайцы. Посол КНР выразил решительный протест. О меткой пощечине великому кормчему заворковала западная пресса. Альфрейщик стал модным художником Москвы. Его лубочные, полные горького юмора пародии тиснули почти все газеты цивилизованного мира. За призыв к истине и справедливости посыпались валютные чеки от издателей.

Москва — город юродивых! Юродивый — национальная гордыня!

Связь с беспощинной средиземноморской торговлей бездарно оборвалась после развода Аси с темнокожим мужем. Неудачный смешанный брак больно ударил по карману русского искусства. Магазин «Гамаюн» закрылся на бурном взлете славянского романтизма. Восемьдесят четыре живописца оказались не у дел. Корюн Григорьевич Нагапетян до лучших времен лег на дно. «Мамка русской демократии» скрылась в глухом подполье. Немухин и гопкомпания «классиков» приподняли головы. Головастик лихорадочно искал выход из тупикового положения. Накануне летних каникул В.М. Ащеулов вызвал альфрейщика на собеседование в контору Грузинки.

— Тебя видели в «Березке» с полной авоськой! — прижал модного альфрейщика начальник. — Нелегальные валютные операции, статья 88 УК РСФСР, лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества!

— Не пойман — не вор! — лихо огрызнулся альфрейщик.

— За систематическую неуплату членских взносов нештатный альфрейщик Сысоев Вячеслав Михайлович отчислен из профсоюза работников культуры Москвы и Подмосковья!

Возмущенный альфрейщик В.М. Сысоев ткнул начальника по большой голове. Со стола посыпались окурки, бутылки, протоколы.

16 ноября 1978 года в квартиру альфрейщика бросили бутылку с зажигательной смесью, потом до полусмерти избили в подвале на Смоленке. Вячеслав Сысоев, отсидев в тюрьме пятнадцать суток, собрал узелок и скрылся в дремучем лесу. Охоту за беглым пародистом заметили газетчики. Имя профсоюзного предпринимателя Ащеулова склоняли рядом.

Вся Москва с нетерпением ждала анонимного доноса и ареста профсоюзного головастика.

Ночной сторож Боря Цыган доносил в Париж: «Пробка одна перегорела — покончил с собой Смирницкий, хударед “Литгазеты” — Зюзин в “Белых столбах” — Борух в психбольнице — валюта довела — Немухин сильно похудел — Герасим пока жив — секцию живописи должны распустить — президиум потребовал покаянное письмо — спроси у Стесина, есть ли у него совесть?»

«Сейчас события в Москве носят кроваво-мрачный цвет: таков уж расклад, — сообщала мне Лорик Кучерова-Пятницкая. — В первых числах ноября Надежду Эльскую схоронили на Ваганьковском кладбище. Смерть ее и по сей день флером тайны покрыта: муженек у Наденьки уж больно гнусен был. Так что Бог ведает и нам многим сдается, что и его побои не последнюю роль сыграли в смерти Надюши. Как ни говори, а селезенка от ничего разорваться не может. А вот 21 ноября художники, друзья, родные и близкие схоронили Владимира Павловича Пятницкого на кладбище в Долгопрудном, а отпевали покойного в церкви Архангела

Михаила в Виноградове... Володя сам выпил мерзостную жижу под названием четыреххлорный углерод (орг. растворитель). Неясно, правда, для какой цели Володя употребил жижу эту, но результат был весьма жуткий, трое суток страдания и смерть без сознания... А 23 ноября Саша Васильев вскрыл себе вены (несмертельно. — *В.В.*)...» (письмо от 26 ноября 1978 года).

Под православный Новый год 1979 года группа членов профсоюза, на досуге рисовавшая чертей в костре, при поддержке независимых артистов без определенной прописки совершила разбойничий набег на профсоюзную твердыню. Мятежники — пианист и нигилист Вадим Столляр-Забусов, несчастный автор картины «Разрушение Карфагена» Юрий Симаков, не получивший деньги с Мальты, и некто Кирилл Миллер (видимо, независимый неудачник) — ворвались на тайную профсоюзную пьянку, опрокинули праздничный стол на головастика, сломали Немухину ногу и под шумок утащили печать профсоюза! Перед бегством они разбросали письменное «обращение», где требовали невозможного: прекращения политических репрессий, законного права на творческий труд, узаконения валютных операций, творческих мастерских и бесплатного проезда в общественном транспорте!

Можно себе представить профсоюзный пейзаж после такой битвы!

Тайный член оппозиционной группы смутьянов, ночной сторож Боря Цыган сообщал по этому поводу следующее: «... Ашеулова сняли — обмен идей не состоялся — аморальное поведение — Киблицкий снимал фильм — выставки идут своим плотным ходом — собираемся у Ники — прибавился шкаф и треугольник — спроси у Стесина, есть ли у него совесть?..» (23.01.79).

В марте 1979 года товарищ Ашеулов был уволен с должности начальника Объединенного комитета профсоюза художников, графиков и живописцев за грубое нарушение профсоюзного устава, злоупотребление доверием коллек-

тива, хищение в особо крупных размерах и распространение ложных измышлений, порочащих советский строй. Осужден народным судом на исправительные работы сроком до одного года и штрафом на сто рублей.

Что называется, начальник отделался легким испугом!

Суровая кара народного правосудия настигла и беглого пародиста Сысоева. Провокатора выловили в землянке дремучего леса Валдайской возвышенности, обложив, как бурого медведя, и 8 февраля 1983 года осудили на два года ИТК за изготовление и распространение порнографических изображений. В качестве вещественных доказательств на суде фигурировал рисунок, изображающий обнаженную женщину, в которую из миномета стреляет мужчина.

В обездоленный профсоюз назначили нового начальника, бывшего профорга рабочих и служащих Ярославского вокзала, «тетку» Галину Борисовну Чудину, женщину, далекую от эстетики и золотых гор коммерции.

У меня нет ни малейшего желания обидеть головастика Ащеулова и его приспешников. Они давно мечтали урвать свое от сладкой жизни, используя подпольную дикость, конкуренцию, валютную нелегальщину и преступные средства. Я далек от бичевания русского искусства, но холодная хронология, подчищенная задним числом, меня совсем не устраивает. Я стараюсь подать факты подлости и мудрости, глупости и чванства, доблесть и ханжество большого русского андеграунда, потому что все без исключения актеры и зрители тех замечательных событий мне дороги и близки.

Часть седьмая
ПАРИЖСКАЯ АВОСЬКА

Брянская улица на Запад нас ведет.

Из советской песни

Не так страшен черт, как его малюют.

Пословица

Бесхозное имущество поступает в колхоз.

Статья 32 УК РСФСР

1. План порабощения Запада

Регистрация нашего брака вершилась в глубокой тайне 3 января 1975 года. Присутствие двух свидетелей жениха, реставратора и фарцовщика Лешки Кравченко и «психбольного с детства» Василия Яковлевича Ситникова только подчеркивало секретность операции.

— Это был самый гнусный день в моей жизни! — почему-то считает торжественный день жена.

Я так не думаю. Регистрация прошла без сучка и задоринки. Красный ковер Дворца бракосочетания на улице Грибоедова, дом 2, обязательная музыка Мендельсона, дешевое шампанское в пузатой бутылке, речь распорядителя бракосочетания.

Знатоки брачных дел дали мне совет не печь горячку и терпеливо ждать разрешения на выезд к жене. В январе я сдал «приглашение жены» и стал ждать.

Как ни в чем не бывало, я продолжал красить, осваивая новые возможности в материалах, посещал подвалы приятелей и совсем не пил, опасаясь провокаций и арестов.

«Медовую неделю» мы прожили в селе Медынском под Москвой, в пустующей квартире моего друга Алексея Федоровича Лобанова, человека высокой морали и разнообразных дарований. После отъезда Анны в Париж я возобновил работу в живописи.

Тактика приручения подполья работала безошибочно. Ради личной выгоды нештатные живописцы готовы были затоптать своего близкого не моргнув глазом. Когда профорг А.М. Ащеулов предложил вывести меня из профсоюза работников культуры и дозволенных выставок, мои влиятельные коллеги и собутыльники единогласно промолчали, набрав в рот воды. Оскар Рабин, взлетевший на макушку популярности благодаря нашим спинам, пытался играть возмущенного гражданина, но в конце концов сдался на милость начальства. Слишком желанными были обещанные выставки, хотя, как он сам вспоминает, «участников отбирали из идеологических соображений, а не на основе художественных достоинств».

Легальные выставки в ЦДРИ и ВДНХ проходили без главных мятежников и заводчиков бульдозерной смуты, без Рухина, Жарких, Комара, Меламида и меня. Наши места заняли никому не известные, но проверенные люди — Дробицкий, Нахапетян, Юликов, Беленок, Снегур.

Я нарочно посетил выставку в здании «Пчеловодства» на ВДНХ. Всемирно известные Комар и Меламид сидели с протестом в сугробе. На шапках развивались красные флажки «отказников». Их окружили журналисты всех стран, шелкавшие камерами. Толпа посетителей, посмеиваясь в кулак над парой чудаков, смиренно продвигалась к картинам, висевшим в дозволенном тепле.

Виновато опустив глаза, прошел Эдик Штейнберг с женой.

— А, ты еще здесь! — воскликнул пьяный Ащеулов. — А мы думали, давно гуляешь по «парижам».

Меня дернул за рукав честный Снегур.

— Ты знаешь, старик, я пытался вступиться за тебя, но сразу зажали рот твои друзья — Немухин, Плавинский. Кандауров, Калинин. — Он хочет сидеть на двух стульях, а ты его защищаешь!

«На выставки все лезли по головам», — вспоминал бывшее Э.А. Штейнберг.

Очевидно, по моей голове пролезли Снегур и Штейнберг.

Весь народ проташить сквозь строй!

Решение властей пересыпать ничтожные доходы дипарта в свой карман вылупилось в наскоро сколоченный валютный салон, но официальный маневр не дал желанных результатов. В валютный барак иностранец не шел. Он предпочитал прямое общение с вонючей богемой, а не с чистоплотными продавцами в штатском. Позднее, уже в Париже, я узнал, что валютный салон прикрыли, как нерентабельное учреждение, а легальные выставки ликвидировали.

Средства массовой советской информации, как по команде, угрюмо молчали, и лишь одна заказная поливка анонимного автора появилась в московской газете под названием «Авангард мешанства». Я красил и копил картины для выставки в Париже. Не продавал каждому встречному и поперечному, покидавшему страну и тратившему деньги на «модные абстракции», а держал для настоящего западного эстета.

4 марта 1975 года, получив положительное уведомление ОВИРа о туристической поездке во Францию, я отправился в Брянск прощаться с родней. В моем отсутствии подвал пытались сломать бульдозером. Мне проломили цокольную стенку. Пришлось закантовать все окна и стены бронированным железом. Участковый майор Авдеев, намереваясь обно-

вить рыболовную снасть, дал совет поставить сигнализацию «как у Давида Ойстраха», но я ограничился тремя амбарными замками, и за дельный совет выдал шведские крючки.

— Говорят, в Париже много художников, — вспомнился мне брянский чиновник, заверявший разрешение матери на выезд за границу.

Тут я ужаснулся!

Как я мог забыть про парижское многолюдство. Наверняка их не пять тысяч, как в снежной и холодной Москве, а пятьдесят, а может и сто пятьдесят! А сколько коммерческих галерей? Хватает ли на всех места ?

Как у подавляющей части советских людей, мои познания Запада ограничивались газетой и кино. Дипкорпус представлял верхний слой иностранных чиновников, далеких от забот артистического мира. Приезжие туристы — Камилла Грей, Эрик Эсторик, Дина Верни, Поль Торез, Мишель Рагон и рассказы советских граждан, посетивших Париж, Лондон или Мадрид, ничего не добавляли к газетным данным.

Из газет и фильмов я знал, что за пределами райской Совдепии живут миллионы соотечественников, так или иначе связанных с культурой предков — родная речь, религия, быт, — расплывчатая масса перемещенных лиц, «поручики Голицыны», нэпманы, власовцы, духоборы, староверы, меньшевики и философы.

...Василий Кандинский рисовал, Сергей Дягилев танцевал. Владимир Набоков, кажется, пишет по-английски, Игорь Стравинский сочиняет музыку, Иван Сикорский строит вертолеты, Василий Леонтьев учит капиталистов умножать деньги...

Русская жизнь не принимает искусства всерьез. Краски, кисти, холсты, гвозди и клей достаются с боем или по блату. Советская власть, опекая «колхоз

советских художников», строила им мастерские и выдавала заказы за примерное послушание. До этого в старой России мастерских вообще не было. По свидетельству Леонида Пастернака, жившего на казенной квартире Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве, лишь Константин Коровин, главный художник Императорских Театров, имел мастерскую в Бутырках.

Самый последний мазила мечтает попасть на Запад, где всего навалом, и художника не сажают в вытрезитель за яркие краски.

Пролетарская революция захлопнула западные удобства, и вдруг через полвека их приоткрыла.

Переместившись на Запад в качестве апатрида, самым авантюрным образом, без контракта с галереей или книжным издательством, художник теряет массу драгоценного времени, эмоций и денег на адаптацию в незнакомом мире. Конечно, жизнь на московском дне обрыдла и коммунизм невыносим, впереди жалкая пенсия или психушка, но всегда есть свои стены и надежда на лучшее будущее, а на Западе сплошная неизвестность без пенсии и родных стен.

Перед отъездом на Запад я встретил людей, живших в полных потемках фальшивых знаний.

Марина Раппопорт, крепко сшитая и сбитая женщина с глазами, как крупные маслины, привела ко мне белокурого парня, похожего на барана и говорившего басом, что меня страшно рассмешило.

Глядя на мои подвальные окна, забитые в броню, он изрек:

— Если бы знать, что в Москве есть такие замечательные подвалы, я бы не поехал в Израиль!

Вот те и на!

Подвал сгнивал на глазах, а Лева Коробицын его холил и любил. Он приходил с утра с бутылкой коньяку и певуньей из Калуги, летевшей с ним на обето-

ванную землю. В России легко стать сионистом, даже мусорщику, каковым он и был. К моему удивлению, у нас нашелся общий знакомый, и не кто иной, как его отец.

Знаменитого агента Коминтерна, долгие годы работавшего в Аргентине, я встретил у писателя Евгения Босняцкого, по кличке «подпольный обком действует». Этот литератор обрабатывал воспоминания и романы малограмотных героев коммунизма. Я чертил рисунки к авантурным рассказам аргентинского шпиона Коробицына Анатолия Павловича в обработке Босняцкого, играл с ними в шахматы, распивал коньяк и мирно расходился в метро.

От «обкома Босняцкого» я узнал, что шпион скончался от грудной жабы, и вот теперь у меня в подвале сидел его сын-сионист, проклинавший советскую власть, Коминтерн и все подчиненные ему народы.

В его малогабаритной квартирке, куда Лева затащил меня знакомиться с мамой Виолеттой Николаевной, я не обнаружил следов большой культуры, кроме полного собрания сочинений Мигеля де Сервантеса на испанском языке, но барскую породу не скроешь и в нищете. Виолетта Николаевна, суровая женщина из рода князей Оболенских, держалась с большим достоинством, несмотря на дырявую шаль, прикрывавшую ее могучие плечи, и не давила на горячего сына.

Краснобай и бабник, не дурак поддать и повалиться на диване, Лева почему-то возненавидел русскую луну и небо, заранее считая, что они ярче и выше светят в Израиле. Уломав свою мать, любившую родное небо и бледную луну, он паковал чемодан по всем правилам «еврейской волны» — грошова иконка, балалайка, самовар, швейная машинка, заячья шапка.

Как все мусорщики его округа, Лева никогда не встречал иностранца за одним столом, и вдруг в мой

бронированный подвал спустился немец, потерявший ногу под Сталинградом, журналист Йозеф Ридмюллер из «Зюддойче цайтунг». Лева так разошелся, потрясая любительской карточкой своего отца, снятого в белой панаме на берегу безымянного океана, так невпопад сыпал немецкие слова «киндер», «клайне», «ферботен», что мой несчастный немец, не соображая что к чему, ляпнул:

— И я очень люблю Россию!

— Он, что, сбрендил, твой инвалид? — атаковал меня Лева после ухода журналиста.

— Да нет, он большой оригинал. Обожает Россию во всех ипостасях. Например, он считает, что советские женщины, особенно пожилые, одеваются лучше всех в мире. Черное, темно-синее, коричневое. В Москве очень чистый воздух и общительный народ. Немцу лучше знать. Он видел мир. Имеет право сравнивать.

Для Левы Коробицына, мечтавшего о джинсах и сигаретах «Мальборо», встреча с живым иностранцем была большим шоком. На московском богемном дне он встретился с миром, куда без оглядки неся на харьковском велосипеде. Его провожали три любимых женщины, мать и я.

Раз, по привычке, я включил транзистор и услышал бас Коробицына, как будто он басил рядом.

«Говорит радио Кол Израэль!»

Московский мусорщик нашел свое место.

Однажды, засидевшись в гостях, я заказал такси. Когда шофер спросил: «А вам эта кута?», мне показалось, что воскрес китаец моего детства Максак, но в профиле водителя с длинным, горбатым носом, с ровно причесанной шевелюрой, ничего азиатского не обнаружилось. Разговорились. Шофер — русский из Китая. Сын полковника царской армии, погибшего в 1930-м году в Маньчжурии. С пеленок попал в семью

китайских мусульман «хуев», где его обрезали и воспитали по-китайски. В пятидесятые годы коммунисты предложили выходцам русской колонии выбор — тюрьма или изгнание. Молодой «хуй» Мишка Куликов открыл в Москве родную мать и вернулся в советскую Россию, не зная ни одного слова по-русски.

Переводчик, преподаватель, таксист.

Давно и тайно мечтает бежать на Запад.

«Ох, мороз, мороз, не морозь меня!»

Таксист жил рядом, в Лаврском переулке, и приходил в подвал, когда ему вздумается. Очень скоро он напоролся на Шапиро, отправлявшего людей в Израиль за скромные проценты.

Мишка Куликов был потрясен, когда через неделю Шапиро доставил ему «израильский вызов» от киббуцного родича. Он заложил драгоценную бумагу в целлофановый пакет и повесил на шею, не дай Бог потеряется, или стащат!

15 сентября 1974-го благодарный «хуй» храбро вышел со мной на беляевский пустырь защищать цивилизацию от варварства, ареста избежал и вскорости улетел на Запад через Рим, где долго ждал визы в Америку. Потом его видели в Нью-Йорке, в квартале «Чайна таун». Возможно его усыновили снова китайцы, или Мишка их усыновил. Во всяком случае, одет был Мишка «очень культурно», как доносил свидетель — американская шляпа, галстук, белый плащ, лакированные туфли, перчатки.

Перед тем как решиться на отчаянный шаг эмиграции, шестидесятилетний В.Я. Ситников, обошел всех «умных людей Москвы», где одни мудрецы давали совет не делать глупостей на старости лет, когда «от добра добра не ищут», а другие, в том числе и я, убеждали бросить годами нажитое имя, иконы и ковры сдать государству и, закрыв глаза, броситься в мир постоянной мечты, пока есть возможность и охота к путешествию.

— Я завалю Америку «монастырями» и стану богатым художником! — утешал себя Васька-Фонаришник.

План порабощения Запада он не составлял заранее, а полагался на мудрые зигзаги судьбы. Игрой в величие пожилой художник подогревал свою стареющую храбрость и наконец решил умереть свободным и бедным на американской помойке, а не сытым рабом в русских цепях.

Как поработить Запад?

В беглом наброске мой план выглядел следующим образом — надо не мелочиться, а работать по-крупному. Никаких парижских теток, а сразу быка за рога — выставка в Лувре. Принимать только крупный капитал, а мелочевку гнать в шею, чтобы не позорила настоящую живопись. Мастерская с верхним светом. Расторопный секретарь-полиглот и шофер на случай ночного пьянства. Дача на греческих островах, подальше от людной толпы и частный причал для яхты. Обосноваться на жительство нужно сразу в трех местах — в Париже, в Кельне и в Нью-Йорке. Особенно не зарываться, а жить как можно скромнее и в тени — короче, взять свое достойное положение творца в современном обществе.

Мне в июле 1975 года — я «Рак» — 9 числа стукнет 37 лет. Возраст критический для карьеры мусорщика, и я не «Сашок» Пушкин, чтобы кончать жизнь на дурацкой дуэли.

Дашь Запад!

Запад всегда ждет чуда. Мы знаем русских кочевников, покоривших мир: Сергей «де Дягилев» со своим балетом и декораторами высочайшего класса, Василий Кандинский со своими картинами, Казимир Малевич со своими «квадратами», но где новая пластика, где абсолютизм новой формы сейчас?

Никто в Москве — ни коммунисты, ни антикоммунисты — не знал, как делается художественная ка-

рьера. Наши познания ограничивались всемирно известными романтическими моделями.

Мы знали, что Пикассо — большой художник, но понятия не имели, где он выставляется и кто покупает его произведения?

До нас доходили слухи о поветрии поп-арта и концептарта, но кто раскручивает эти «измы» и оплачивает опыты создателей, оставалось тайной за семью печатями.

В 1963 году в Москве появились англичанин Эрик Эсторик и француз Игорь Маркевич. Они организовали чемоданные выставки Звереву и Рабину, но далее дело андеграунда не продвинулось.

В 1970 году парижская тетка Дина Верни, ключевшая на каракули нашего авангарда, показала пятерых москвичей в своей парижской галерее (1973), но дальше соседней улицы никто о выставке не знал.

Участники выставки по-прежнему охотились за издательскими заказами, а скульптору Максиму Архангельскому пригрозили тюрьмой за незаконный перевоз бронзы за границу.

Разговор о самобытности русской культуры я слышал не раз, но достойной ее оценки капиталом не замечал.

Дешевый успех ленинградца Шемякина, рисовавшего декоративные завитушки под покровительством той же Дины Верни, меня не удивлял. Он рисовал легкий театр, свойственный легкомысленным вкусам парижан. Высокое положение в искусстве ему было заказано. За труд декоратора он получал свой хлеб и безбедное существование.

Ну а что будет с «абстракцией» московской выделки?

По наивности я думал, что дипарт не просто кучка иностранных потребителей, украшавших свои московские квартиры картинами «нонконформистов», а вли-

ятельный народ западной культуры, которому можно довериться и опереться в трудную минуту.

* * *

К весне 1975-го у меня скопилась сотня картин метрового размера и штук двести гуашей. Фотограф Игорь Пальмин снял эти вещи в трех экземплярах. Один таможене, другой экспертной комиссии в Новодевичьем монастыре, третий мне. Каково же было мое удивление и гнев, когда за мои сочинения, не имеющие эстетической и коммерческой ценности, запросили выкуп по двести рублей за штуку!

Двадцать тысяч — им, и только за масло!

Выкуп превышал в два раза сумму, собранную мной на черный день.

Вместо официального грабежа, я, не думая, решил отдать деньги матери и не прогадал.

Забегая наперед, доложу, что десяток отборных холстов, свернутых в рулоны, и пакет гуашей, мне доставили дипломатическим чемоданом на парижский адрес, и я их продал в хорошие руки. Остальное рассыпалось в Москве по людям, имевшим доступ к моему багажу, а именно: сторож Борис Мышков, натурщица Ольга Серебряная, В.А. Ястржембский, гитарист Панин, график Андрей Карушин. Более восьмидесяти картин и сотни гуашей, не считая коллекции работ моих коллег, до сих пор гуляют в черном и галерейном рынке Москвы.

С наличными деньгами я допустил непростительную промашку. Пять тысяч я смог отвезти матери в Брянск, но номер сберегательной кассы с остатком сбережений доверил Рудольфу Антонченко, клятвенно обещавшему пользоваться вкладом с процентной придачей. Однако деньги пропали в пятилетку демократической «перестройки».

Что там еще?

Зачем художнику карабин? Вместо харьковского велосипеда, — а он числился в перечне допустимых подарков иностранным друзьям! — я купил ружье, бокфлинт ижевского производства, Иж-27, и мешок картечи для промысловой охоты на волков. Мой квартирный хозяин в Ананьевском оказался профессиональным охотником и сделал все возможное, чтобы я в сокращенном виде, после стрельбы по тарелкам, вступил в охотничье общество и получил право на приобретение охотничьих инструментов. С собой я брал рулон чистого холста и пять килограммов масляных, земляных красок ленинградского завода «Черная Речка».

4 марта 1975 года мне разрешили месячное путешествие в Париж по приглашению законной жены. В тот же день я обошел знакомых и объявил о продаже содержимого моего подвала.

Скульптор Славка Клыков выбрал дубовый судейский трон старинной резной работы, с царскими вензелями и барельефами. Трон тащило пять человек рабочих.

Клыков жил открытым образом. Адепт вечного реализма. Бесстрашный тип. Он высчитал, что самый главный скульптор страны СССР — он, и постоянно гнул в этом направлении, повадками хозяина убеждая слабых, бесплановых людей. Вокруг него крутилась уйма народа, как дворовые холопы вокруг помещика.

Он начал свой подъем с вонючего подвала, а через год перебрался в пустующий магазин у Астраханской бани. Прораб Шапиро выстроил ему гигантский камин из гранита и лабрадора, куда можно было загнать машину с дровами. Камин Клыкова стал в Москве известен, как мавзолей Ленина.

«Старик, пойдем к Славке Клыкову! — А зачем? — Вот чудак, посидим у камина, выпьем!»

Я уважал Клыкова. Он родился в курском захолустье, но походил на римского императора. Те же повадки, тот же выразительный профиль. В отличие от пуганных сталинским мешком Сергея Коненкова и Николая Томского, не имевших определенных убеждений, Клыков не скрывал своего монархизма и не давился за партийными пайками, что выгодно отличало его от мусора «изофронта». Чины, медали и заказы ему приносили на подносе убежденные холуи. Он не был базарным расистом «черной сотни», но считал, что ни грузин Церетели, ни еврей Цигаль не смеют занимать его деревню под названием «Святая Русь». Такого крепкого мужика я не встречал на своем пути. Его заказные монументы сельскохозяйственных выставок и метрополитенов — рабочие, крестьяне, святые — отвечали всем правилам вечного реализма. Вещи не тянули на Родена или Майоля, просто их делал курский мужик Вячеслав Михайлович Клыков, монархист с мертвой, хозяйской хваткой.

Он заходил ко мне посидеть и поспорить. Прямо в лицо, при свидетелях, будь рядом Холин, Сеницын или Валетов, он говорил мне, что я на ложном, бездуховном пути и пока не поздно надо рисовать иконы по шаблону великого Рублева.

Я не считал, что монархия — допотопный бред, что СССР надо разбить по частям и всех курян и брянчан отправить в Патагонию на культурную переработку.

— В своем улусе, — говорил Клыков, — я должен быть выше всех «кербелей», «манизеров» и «цыгалей»!

По правде говоря, меня тянуло в открытый и трезвый клыковский мир, где хохотали напропалую, смело смотрели на участкового и не скрывали своих убеждений, но очень не хотелось подчиняться хозяину, бегать за водкой, разжигать костер в камине, брэнчать на гитаре слезливые баллады Есенина, как это

делал с большим воодушевлением Ясек Штейнберг, срочно сменивший фамилию на Палева!

— Смотри, Воробей, сядешь в парижскую лужу! — угрожал Клыков.

Я забрел к нему дня за два до отлета в Париж, сразу после православной Пасхи. Как всегда, во дворе валялись гранитные глыбы будущих монументов, а из окон слышался людской гул. В передней, завешанной масками известных покойников, Попкова, Вучетича, Коненкова, стоял участковый Коля Авдеев, изучавший ваятельную технику. Зеленая фетровая шляпа, синий плащ. Рыболов в культпоходе. За мной он восемь лет следил, Клыкову служил. Клыков — свой, я — чужой! Клыков кормит народ, Воробьев — туняец и спекулянт, неуправляемый и опасный тип.

Сквозь зубы я сказал «здрассте» и поспешно прошмыгнул по каменной лестнице в подzemелье. Оттуда несся грохот гитар и барабанов. За длинным, совершенно голым столом с тяжелыми лавками по бокам пировали люди, где каждое второе лицо казалось давно знакомым. Вот эта в центре, пышная сокурсница по ВГИКу, актриса Федосеева, ей — «здрассте», а вот Володя Фридынский, ставший недавно князем Архаровым, а там дружки Вулох и Борушок, а там основательно поддатые шрифтовик Валетов и киношник Заболоцкий, а там дантист Румянцев с парой красоток, длинный актер Юрченко, всем — «здрассте». А это кто? Максим Шостакович с длинноногой подругой, скульпторы Рукавишниковы, кучка блядей нашего квартала, у бильярдного стола Ясек Палев, наяривает на гитаре «не ходи так часто на дорогу», и с большим подъемом, с широко открытыми, пьяными глазами барабанит милиционер «отец Герасим!».

Платил Славка Клыков. Из кармана потертой, замшевой куртки он выкатывал пачку денег, как

пышную булку, и бросал на стол с обедками. Пара добровольцев бежала в соседний магазин за пивом и водкой. Гул бесшабашного веселья все нарастал, и присутствие участкового, скромно севшего в уголок, совсем не смущало людей. Расчетливый стратег Клыков отлично знал, как и все гости, что место покойного Вучетича, главного распорядителя госзаказов, принадлежит ему по неписаному закону.

Сам командир пил мало. Обходя народ, он справлялся: «Ну, как? Ничего! Пей, ешь, старина!»

Тогда, в апреле 1975-го, Клыков ходил пешком, проходными дворами к метро «Ботанический сад», а через десять лет его возил бронированный «Мерседес» с вооруженным охранником.

Он ловко и вовремя отбил у Максима Шостаковича жену древнего происхождения и, как кинжал, воткнулся в пирамиду московской «коза ностра», согласно давнему плану стал распорядителем госзаказов, депутатом парламента от монархической партии и главным ваятелем русского православия.

По свидетельству Дмитрия Шостаковича-младшего, «всемирно известного скульптора» Неизвестного, решившего выстроить в свободной России монумент, В.М. Клыков встретил словами:

— Только через мой труп!

Таков Клыков в искусстве и жизни.

В новой России с бригадой подручных академиков Клыков лепит не рабочих и колхозников, а жен воров в законе, подобно царским фрейлинам, навечно запечатлевая в мраморе и бронзе. На пятки наступают молодые и голодные волки ваяния, но Клыков еще держится на дубовом троне хозяина госзаказов.

— Не уезжай, пропадешь! — сказал он мне на прощание.

Да, я пропал, но не подчинился, не стал холуем за водкой в магазин.

Ходили слухи, что ресторан «Пекин» — гнездо международного шпионажа, где меняются секретами и вербуют разведчиков. Мои друзья-китайцы, паковавшие чемоданы по «израильским вызовам», уверяли меня, что более верного места и лучшей кухни в Москве не найти. В конце апреля я обратился к мудрому Ли Ши, с которым сдружился и бывал у него дома, что на днях улетаю в Париж, и хотел бы устроить проводы с людьми, помогавшими мне в последнее время. Профессор обещал устроить прием в ресторане «Пекин» с оркестром и танцевальным залом. Я растерялся и попятился. Такая бьющая по глазам показуха мне не подходила, и попросил отдельный кабинет на тридцать кувертов с китайским меню. Китайцы меня поняли и устроили стол самым надлежащим образом, четыре переменных блюда с национальными напитками.

В воскресенье 27 апреля 1975 года приглашенные потянулись к ужину.

Первыми пришли Алексей Федорович Лобанов с супругой Зайкой. Все восемь подвальных лет он был моим верным другом и духовником, деликатно вразумлявшим не забывать Бога. Напоследок он одарил меня чайным сервизом тончайшего, старинного фарфора. Затем пришли женщины из тех «кто коня оставит, в горящую избу войдет» — Марина Раппопорт, Татьяна Головня и Люда Мурашева, прятавшая меня от нашествия варваров.

Знаменитый коллега Анатолий Тимофеевич Зверев бесплатно рисовал мой портрет в трех поворотах. Шрифтовик Генка Валетов ремонтировал подвал.

Питерские вожди и гиды, два Александра, Арефьев и Леонов, с нетерпением ждали «израильского вызова» и нуждались в общении.

Харьковский авангардист Анатолий Трифонович Крынский паковал багаж на Запад. Энергичный и

прямой, человек долга и чести, он привязался ко мне и возился как с бестолковым подростком, оберегая от обмана и тяжких хлопот. Он закупал краски и холсты в неприступных местах, паковал мой багаж и отправлял на досмотр в таможеню. Он постоянно стоял за моей спиной, играя мощными бицепсами тренированного тела.

Матерый фарцовщик и удачливый дипартист Володи Фридынский не собирался за границу, но считал, что Франция охотничья страна, там необходим карабин и картечь. Он посвятил меня в охотники и научил различать настоящую икону от фальшака.

Слесарь Боря Мышков постоянно ставил мне замки на дверях и приобщался к подпольной эстетике.

Иностранные консулы Зигфрид Фурри (Германия), Лен Вильямс (США) и Франсуа Матисс (Канада) имели доступ к дипломатическому чемодану и мне доказали это на практике.

«Натурщица» Ольга Анатольевна Серебряная, несмотря на мелкие женские слабости, своим оперативным секретарством продавая кучу моих картин американцам, и Артур Одум, обещавший выставку в Техасе (1970) и сдержавший свое слово. Фотографы Игорь Пальмин и Виталий Антонович Ястржембский охотно и бесплатно снимали картины и памятный банкет.

Ну, от китайцев не скроешься, их два миллиарда, а у меня за столом сидело пятеро. Профессор Ли Ши привел пару журналистов без гражданства, Ян Чжоу и Ванг Вей, штатных сотрудников радио «Свободный Китай» с ревизионистской базой в Москве, мечтавших о Сан-Франциско и Сингапуре. Из Свердловска прилетела семейная пара Зюпенгов, желавшая выдать себя за евреев.

Поскольку заполнение анкет производилось в моем подвале, то китайцы, не без оснований, считали меня спасителем китайского народа от цепей русско-

го рабства. Прораб Толя Шапиро получал свой гешефт, китайцы, не моргнув глазом, в графе «национальность» ставили «еврей» и получали разрешение на выезд в первый заход.

Наш благопристойный, под ласковую музыку банкет пытались сорвать враги народа. В кабинет ворвался громила, изображавший пьяницу, и закричал: «Валя, не уезжай!» За столом притихли. Я присмотрелся и узнал актера Юрченко, пятнадцать лет назад жившего со мной в институтской общаге.

Мир разбит на квадраты с неприступными границами, и никакие школьные парты и курилки не в силах их преодолеть.

Китайцы, как по команде стали стеной, иностранцы прижались к русским женщинам. Робкие художники склонились над тарелками, но мои силачи, Крынский и Фридынский, приподняли буяна под локотки и выбросили за дверь.

Изысканные блюда подавали молчаливые лакеи в белых пиджаках и черных брюках. Шеф китайской кухни, мадам Чо Мей, в конце ужина выползла как сияющая луна и осведомилась о качестве блюд. Мы клятвенно расстались не забывать друг друга.

Покидая барак советской цивилизации, я забрел к Холину прощаться. Выпить по рюмке, обменяться адресами, всплакнуть и вспомнить былое. Двери, окантованные в броню, открыл старый Холин в пестром халате с китайскими драконами. Квартирка поэта, сверху донизу заваленная «вещами на продажу», походила на склад комиссионного магазина. На столе, прикрытом древним кавказским ковром, — неделю назад я видел его на стене Лидии Мастерковой, улетавшей в эмиграцию! — возвышалась груда величественных фолиантов с медными застежками, впережку с залитыми лазурью крестами и кадилами. Сотни икон не висели в красном углу, а стояли ряда-

ми, как книжки в библиотеке, серебряные оклады метровой высоты, картины в облезлых рамах, колонны грампластинок с яркими надписями: «Величайший в России склад граммофонов», «Я ждал тебя», «Резвился ликующий мир», «Не весь я твой», и сотни названий в том же духе.

Холин сел за стол, раскрыл фолиант и таинственным шепотом произнес: — Крюковое письмо XVII века, двадцать цветных украшений ручной работы, ты понимаешь, старик?

Я понимал, что это ценная вещь, но я уже отлетел, мое сознание сидело в парижском кафе с Кандинским и Пикассо.

Поражал обогащенный словарь барачного авторитета. «Доска», «ковчег», «фуфляк», «оклад», «апокриф», «клеймо», «узор», «лик», «фомич». Иконографию Пресвятой Богородицы от XII до XX века он знал назубок и сходу отличал Прохора из Городца от Мишки Лозина, фальшивый сплав Олега Трипольского от подлинной бронзы Сапожникова. Холин проник в духовные глубины русского народа, как упорный забойщик в угольную шахту.

В бронированную дверь громко постучали. Весь в мыле, бросая гром и молнии, ворвался барахольщик Игорь Санович.

— Холин! — взвыл он, — меня обокрали! Кража со взломом, старик!

Предстоял нешуточный обмен опытом двух маклаков. По чьей наводке пришли грабители? Где могут объявиться вещи? Где найти верного слесаря? Сколько сунуть участковому?

Я допил импортный портвейн и отвалил подальше.

В час отлета меня провожало пять человек: богатыри Крынский и Фридынский, духовник Лобанов, ключник Мышков и Люда Мурашова, соломенная вдова. У Люды текли по щекам крупные

слезы. Мужчины напряженно улыбались, хлопая меня по плечу.

В самолет вошла старуха с заметной свитой. За ней поднялся художник Илья Глазунов с женой Ниной Бенуа. Последним я. Самолет взвыл и оторвался от советской земли.

2. Бежевый французский костюм

Самолет «Аэрофлота» был почти пуст. Я раз пять менял места, пока не подсел к чете Глазуновых, с волнением смотревших на небесный пейзаж. Их очень удивило мое присутствие в международном пространстве, судя по рельефу, где-то над дружественной Польшей.

— Здравия желаю, Илья Сергеич! — сказал я и плюхнулся в пустующее кресло.

— А вы как и куда? — спросила пара, переглянувшись.

— Лечу к очень близкой родне!

— Первый раз?

— Первый и последний.

— Да, ну? — удивилась пара.

— Попробую устроиться, а там видно будет, а у вас что в Париже?

— У нас выставка в штабе ЮНЕСКО, приходите на вернисаж.

— Обязательно приду, а когда?

Глазунов вытащил из кармана пригласительный билет «на два лица с предъявлением у входа». Я поблагодарил опытного человека.

— Вы Парижа не бойтесь, — утешил меня И.С. — везде одно и то же!

Глазунова я знал давно. В 1955 году мастерская моего училища в Ельце получила из Ленинграда образцовый акварельный натюрморт, сделанный отличником

Академии художеств Ильей Глазуновым. В 1957-м я осмотрел выставку его графики. Черным углем сделанные портреты светил русской культуры, от Достоевского до Эренбурга. Это было настоящее, свободное рисование, взволновавшее московское общество. Молодой выпускник Академии, не состоявший в «колхозе советских художников», сразу занял положение «над» всеми конторами, что не помешало ему устроиться в Москве и рисовать портреты кинозвезд во всех концах мира. В 1964-м я с трудом пробился на его персоналку в огромном Манеже, окруженном конной милицией. Листая толстую книгу отзывов, я обнаружил там клятвенные признания в любви и ядовитые укусы врагов его творчества. Начинался его русский «китч» с чередой русских святых, обрамленных заборными досками. Поразительный феномен Глазунова, с живописью, выходящей из австрийской школы XIX века, в советском изложении, до сих пор неверно истолкован. Неудачники всех уклонов злорадно воркуют о профессиональной непригодности художника, забывая при этом, что весь состав Академии Художеств СССР совершенно неизвестен народным массам.

Голословные обвинения западных журналистов в активном сотрудничестве художника с «органами безопасности» лишены доказательств, а если они и существуют, то ничего не значат в фантастической популярности его «китча».

Если исключить китов прошлого — братья Корины, Барановский, Г.Д. Костакис, — Илья Глазунов первым и публично объявил о значимости русской иконы в мировой культуре.

Глазунов — это вечная и народная Россия. Его искусство — прямое продолжение дидактической русской классики в сегодняшний день. Он гораздо значительнее, чем его современники, академики Серов, Уваров, Моисеенко.

Не умеет рисовать! А кто умеет, назовите мне хоть одно имя?

Спускаясь по трапу на французскую землю, я увидел восторженную толпу, приветливо махавшую мне руками и букетами. Я обернулся. Оказалось не мне, а седой старухе в черном платке. Она выразительно вздергивала кулаком как на митинге. У встречавшей жены я спросил, кто это может быть.

— Ты летел с Долорес Ибаррури!

На открытие «фрески» в ЮНЕСКО я не пошел, меня отпугнула надпись в приглашении «предъявить у входа», как пропуск в кремлевские ворота, но в галерею «Мона Лиза», где Глазунов выставялся параллельно, я сразу заглянул.

Галерея располагалась в двухстах метрах от советского посольства. За столом сидел некий продукт европейской цивилизации, читавший югославскую газету «Политика».

Ну, что — обыкновенная комната метров двадцати с видом на тротуар. Неловкое положение вошедшего посетителя. Зачем человек в рубашке навывпуск и потертых штанах зашел в магазин?

— А, пентр! — со славянским акцентом сказал дядя, читавший газету.

«Пентр» оказался лучшей визитной карточкой для посещения галереи. При его появлении — полное равнодушие дядей и тетей, шелестящих газетой или фыркающих носом. Идешь вдоль стен, и они лишь изредка посмотрят, чтобы «пентр» не стащил плакат или каталог выставки. Все «пентры» с тротуара — воры и трепачи, смотрят по стенам, изображают внимательного зрителя, а на самом деле только и думают, как всучить свою мазню. Вот и этот, в рубашке навывпуск, сделает два круга и подсядет к столу, потом вытащит карточки и попросит выставку.

Дядя из «Моны Лизы» точно думал. Я показал снимки работы Игоря Пальмина и спросил о выставке. Читатель «Политики», не отрываясь от новостей, буркнул давно заученную фразу: «Ж экспоз эксклюзивман л эколь югослав!» Я понял все слова и переспросил: «А как же Глазунов?» — «А это особый случай по просьбе советского посольства», — добавил дядя.

Выходит, что не «езде одно и то же», дорогой Илья Сергеич! В Москве вы народный художник государственного Манежа, а в Париже югославский гость на уровне посольского блата!

Запад для вас наглухо закрыт.

Вы югослав русского китча!

Иван Рагузин на одной стенке, Илья Глазунов на другой.

А возьмет ли Париж мою «корову» или «короля»? Не югослав с газетой «Политика», а Ротшильд с хорошими деньгами?

Нахально, но правильно.

Постоянные сюрпризы поджидали меня в парижском культпоходе.

* * *

Если составить каталог моих познаний Запада, то получится «Кот в сапогах» Шарля Перро, Гаврош на баррикадах — в пересказе повести Гюго и пара французских фильмов Жана Ренуара.

Мне стыдно признаться, но мой план порабощения Запада сразу развалился, как только я ступил на французскую территорию. Париж, куда я спустился через четыре часа лету, как марсианин в тарелке, совершенно не совпадал с моим знанием Запада. Ни кота в сапогах, ни Гавроша, ни баррикад на улицах. Вокруг все говорили по-французски, а я успел в са-

молете заучить пару слов «бонжур» и «мерси», вокруг буйство латинских названий и неисчислимое и неизмеримое половодье моторной техники.

Квартира моей суженой располагалась в центральной части Парижа, в шестом округе, насупротив Люксембургского сада. Дом с фасадом без особых фантазий. Шесть этажей. Высокие резные ворота. Штурмом не возьмут и балтийские моряки. Двор в виде каре. Скрипучая, как изношенный рояль, деревянная лестница. Жилье в три больших окна, с видом в тихий двор, и все удобства. Квартирка вроде пассажирского вагона, с длинным коридором и густо обставлена комодами и стульями старинной работы.

В СССР таял снег, в Париже летал густой пух над зелеными каштанами. На площади Сен-Сюльпис журчал фонтан четырех епископов, работы скульптора Висконти. На лавках грелись старики. Надо всем возвышался огромный собор, похожий на бинокль.

Посмотреть на меня пришли тесть и теща. Я одарил их часами «Полет» в золотых корпусах. Начался осмотр зятя и беседа на тему русско-французской дружбы. Тесть силился говорить по-русски, теща вставляла английские фразы, считая их частью русского языка.

После непривычно сытного обеда с вином мы вышли в сад с посыпанными песком дорожками и чудной регулярной рощей, где там и сям были разбросаны памятники поэтам и королевам Франции. Ослепительные цветочные клумбы не охранялись и, что поражало, букетов никто не драл.

В густых ветвях прятался бюст на высоком пьедестале с надписью «Софи де Сегюр, урожденная графиня Ростопчина». Он представлял немолодую женщину в платке с выразительным профилем. В тот же день я открыл, что дочка строптивного «поджигателя» Москвы Федора Васильевича вышла замуж за французского

графы Эжена де Сегюра, поселилась во Франции и написала кучу романов для детей, ставших литературными бестселлерами.

Ее роман «Женераль Дуракин» (1864) не только в XIX веке, но и сейчас читается с большим интересом.

Поражало, что сенатский сад, открытый для народного посещения, — настоящий шедевр озеленения и цветоводства, с совершенным декором подстриженных газонов, изысканным выбором цветочных пород по цвету и арабеску.

Вот тебе и цитадель капитализма, формализма и агрессии!

Через день или два жена всучила мне проездной билет парижского транспорта, так называемый «карт оранж». Я начал осваивать город особым способом. Садился в метро или автобус, вылезал на Монмартре, в Булонском или Венсенском лесу и осматривал дом за домом, подворотню за подворотней, нарываясь на консьержек и собак. Я сразу попал в Париж Вошинского, а не Гюго. Вот он — Монпарнас! Вот улицы и переулки, где мой учитель жил, учился, выставлялся. Вот бульвар Распай, где веселая «Орда» парижских художников, о которых он не раз говорил, — Павлик Челищев, Лазарь Меерсон, Левка Барсак, Жорка Вакевич, Андрюшка Ланской меняли свои картинки на кружку пива. Тут же легендарные кафе, «Дом», «Ротонда», «Селект», «Куполь», дружной кучкой недопустимых цен — литр пива 10 долларов! — попробуй сунься, а за картинки никто не угощает. На месте «Орды» Вошинского развалился наглый клошар без выдумки.

Собор Святого Александра Невского на рю Дарю оказался крохотной церковкой, вроде «моей» Верхнопольской, тот же силуэт, тот же декор. Напротив забегаловка «Петроград», где сидел одинокий чернокожий продавец в красной рубахе.

Потом меня всегда удивляло, на какую выручку живут эти рестораны, если совсем нет клиентов? В соседнем подъезде торговали книжками генерала Краснова по десяти франков за штуку и говорили с сильным английским акцентом. Узнав, что я русский турист, мне сразу предложил хозяин Сияльский временную работу по чистке книжного фонда и регистрации. Я подумал, что о безработице на Западе газеты много сочиняют вранья.

Груды печатной продукции! Я полдня просидел в магазине «Арткюриал» на Елисеевских полях, листая роскошные альбомы мировых знаменитостей искусства. Пикантный «Плейбой», за которым охотилась в Москве молодежь, здесь в свободной продаже и ненужен. Газеты всех политических направлений и партий, от ультралевой «Руж» до ультраправой «Минют». Продавцы зазывают, ублажают, суют в карман рекламу.

Мой Лувр, как людный вокзал. Легендарная «Джоконда» под толстым стеклом, не подступиться, не рассмотреть.

«Не подходить!» «Не прислоняться!» «Не тыкать пальцем!»

Вместо Леонардо да Винчи — идолище современной торговли.

Квадратные километры человеческой плоти Питера Рубенса, богатырская живопись, окантованная колоссальными рамами, похожими на городские ворота, и у них давка.

«Ох» и «ах» у шедевра французского романтизма Теодора Жерико «Плот Медузы» (1819). Пятнадцать мясистых мужиков и баб, совсем непохожих на истощенных голодом людоедов, изображают отчаянный стон и гибель на ветхом плоту в бушующем море.

В Лувре художнику нет места, его затирает турист.

В парке Тюильри повсюду бронзовая Дина Верни. Я не знал, что эта парижская тетка слыла красавицей,

и скульптор Аристид Майоль озолотил ее за хорошее поведение.

Пыльные ящики букинистов на берегу засаленной Сены. Торговля мусором на потребу провинциалов и японских туристов.

Эйфелева башня — чудо железной техники, но какой гвалт и давка, как в ГУМе за польскими шмотками. Вокруг пыль и вонь. Смог и автомобиль душит архитектурный восторг.

В шато де Версаль еще люднее. Туда загоняют сотни автобусов. Разноязыкий гам в залах Большого и Малого Трианона. Народ прогоняют стадо за стадом, в порядке живой очереди. Подстриженные «французские парки», «галери де Глас», фонтаны и арабские пикники на лужайках. И оказалось, что народный художник Франции вовсе не Пикассо, а Жан-Габриэль Домерг, Луи Тоффоли и Пьер Амброджани, совсем мне неизвестные, и еще хлеще — карандаш не грифель для рисования, а имя замечательного рисовальщика Каран д'Аша!

За месяц, отпущенный мне советской властью, я осмотрел все достопримечательности, доступные любому туристу, с прибавкой «русского уголка» — кладбища Сент-Женевьев с могилами казаков, философов, писателей, художников, пару русских ресторанов, где кормили хуже, чем в Чухломе или Карачеве, жидким борщом из банок и тухлые битки с гречневой кашей. Вокзальное меню. На Сергиевом Подворье протоиерей Алексей Князев взялся нас обвенчать, если позволит архиепископ Георгий, бывший военный летчик, застрявший в Европе с 14-го года. Наступал летний, Петровский пост, когда венчание запрещено в православном мире, но владыка Георгий посмотрел на меня в глаза и благословил на венчание в постный день 9 июля.

Владыка Георгий жил в крохотной квартирке Свято-Александро-Невского подворья, с геранью на окошке и иконкой Пресвятой Богородицы в красном углу. По сравнению с захолустными попами СССР обстановка была совсем убогой. Тут же протодиакон Андрей Фортунато взялся обставить встречу ко дню моего рождения. Мы приняли все условия без ропота и поправок.

* * *

Не раз мне приходилось «гулять» на свадьбах, но венчания не помню.

Свадьба брата Шуры, свадьба Мишки Гробмана, три свадьбы Эдика Штейнберга. После расписки в райсовете я сразу попадал на пир. Это были не «комсомольские свадьбы» с образцовым женихом в костюме и невестой в белоснежном нейлоне, с возложением цветов на могилу неизвестного солдата, с платным фотографом и танцами под радиолу, а обыкновенные, богемные пьянки с куревом «травы» и гитарой подпольного барда.

Жена и я желали настоящий, освященный церковью брак с приемом дорогих гостей. Католическая церковь, куда по началу обратилась моя супруга, смущенно отказала в церемонии, сославшись на то, что я из «православной страны с проблемами», но наши начальники парижского православия, выяснив, кто я и что, назначили церемонию. Брат тещи Жак Лаббе предоставил свой двор для праздничного приема. Двор при богатом доме в Сен-Жермен ан Ле, с подстриженной лужайкой, как в Спас-Хауз в Москве.

Меня приодели в бежевый, полотняный костюм с пестрой бабочкой от Сен-Лорана, обули и причесали и надушили особыми, мужскими духами, о существовании которых я и не подозревал. Брянский Растинь-

як. В таком необычном виде меня повезли на рю Крима венчаться. Протоиерей Князев, священник Андрей Фортунато, певчие Сергиева Подворья очаровали выдавших виды французских гостей, посаженных отцов, матерей и сватов. Над нами поднимали царские венцы, водили кругом, целовали и читали молитвы. Моих парижских духовников пригласили на свадебный прием в качестве русских свидетелей. Так что скучать без языка мне не пришлось. Тридцать три приглашенных и шесть детей. Дорогой гость протоиерей Князев, человек удивительно деликатный и чистый, сказал, что это не свадьба, а «вишневы́й чеховский сад».

Июль, август, сентябрь — каникулярное время Франции. Париж пустеет, горожане на самолетах, поездах и автомашинах устремляются на юг, к Лазурному берегу, в Атлантик, в Италию, Испанию, Грецию и дальше за границу, в различные «клубы» отдыха и развлечений. Мои вакансии начались с французского Прованса, где постоянно жили тесть и теща. Если Марсель, куда спустился наш самолет, считался «миром простолюдинов», то расположенный в сорока верстах Экс — уже был «аристократическим миром», где было полно дворцов и вилл, где на старости лет селились всевозможные знаменитости науки, культуры, искусства.

Дом тестя, похожий на камень с дыркой, стоял у подножия залитой солнцем горы Святой Виктории. Вокруг расстилалась оранжевая земля с корявым сосновым лесом, мифической дорогой римского генерала Мариуса, разбившего орды местных обывателей. В речке Байон я купался с детьми местных дачников. Коренные обитатели страны возились с землей, обрабатывая клочки чесноком, подсолнухом, маком. «Искусство пространственных изысканий».

В Провансе все принадлежало ему, Сезанну.

Поль Сезанн, всю жизнь проживший в Эксе, наверняка знал всех в лицо. По воскресеньям он не пропускал мессы в соборе Святого Спасителя, — соседи, однокашники по школе, коммерсанты и адвокаты, — да и наследника банкира и домовладельца, рисовавшего странные картинки, знала каждая собака. Его корявое рисование вызывало непреднамеренный смех почетных граждан города. Никому из земляков не приходила в голову мысль, скажем за год или два до его кончины (1906) присмотреться к его оригинальным композициям с кучами яблок, уродливых кувшинов и кривобоких купальщиц. Человек без академического диплома, без римской премии, без единого заказа — какой же это художник?

Осматривая жаркий Экс, я побывал в мастерской любимого художника. Кубовидный домик на окраине города. Внутри засаленный мольберт и кучка высохших тюбиков. Тюбики обнаружили во дворе после смерти художника. Кувшин нашли на помойке, засохшие кисти тоже.

Это все, что оставил городу Сезанн.

Художник жестоко наказал своих сограждан. Все картины скупил дальнзоркие американцы.

И все равно Экс — это Сезанн. Торговля раскручена на его имени. Отели, фонтаны, улицы, кинотеатры, лицеи названы его именем, и только по количеству звезд можно различить качество бесчисленных гостиниц и ресторанов, названных именем проклятого живописца.

И величественная гора Святой Виктории в почтовой открытке продается не иначе как с припиской «ля монтань шер о пентр Поль Сезанн».

Быстрее купят!

Я открыл и жестокий ветер, мистраль, частый гость горячего Прованса.

Мистраль поднимается неожиданно, когда его никто не ждет, и рвет и мечет с такой силой, что ступля, ведра и зонты летят как щепки под топором.

Архитектурные чудеса Арля, Авиньона, Нима мне, уроженцу «культуры леса», сравнить было не с чем. «Культуру камня» я открывал впервые. Она восходит и держится на зависть всех времен и народов с незапамятных, пещерных времен греков, этрусков, римлян. Она начинается с каменных дорог, несуществующих на русской равнине, переходит в строительскую кладку крепостей, соборов, городов, романского, готического, барочного, классического стилей.

Брянский Свенский монастырь, связанный с именем преподобного иконщика Алимпия Печерского, краса и гордость киевского православия, заложен в XIII веке. Потом прибавились постройки московских завоевателей Ивана Грозного, архитектора русской классики Мичурина, но большевики сгрызли и доломали в нем все до основания. Оставались сводчатые, объемистые подвалы, приспособленные под тюрьму для малолетних преступников, и те засыпали и заровняли бульдозером. В 1975 году в монастыре жил один сторож, чинивший рыболовную снасть.

Древний Арль расположен на быстром и широком Роне, и ничего не предвещает, что вы въезжаете в великий, каменный город. Наш пузырек «Фиат-500» плутал по улицам с неизбежным ремонтом, пока не приткнулся к стене сказочной красоты.

— Катедраль Сен-Трофим! — объявила жена.

Красоты романского творчества обрушились со всех сторон. При виде изящных колонн и диковинных капителей совершенной кладки я забыл, что где-то за углом работал Ван Гог. Римский открытый театр на 16 тысяч мест, триумфальная арка, акведук в 45 километров, катакомбы первых христиан. Некрополь

резных саркофагов, музей провансальского фольклора, арена с боем быков.

Собор посвящен святому Трофиму, ученику апостола Павла. В 1950 году он пришвартовался в устье Рона, поднялся к Арлю и крестил многих граждан в истинную веру.

Мы знаем имена всех фараонов, дебоширов и развратников на престоле власти, малограмотных тиранов, каздивших миллионы невинных людей, но не знаем, где родился Андрей Рублев, как выглядел Леонардо да Винчи, а строители, скажем, собора Святого Трофима остаются безымянными.

Художник не нужен!

Капитализация и демократизация нашего времени привела к эксплуатации не только творчества артиста, но и его личности.

Продается не только картина, но и пиджак, глаза, рука, имя.

Возникла новая дисциплина — имидж создателя.

На Западе разработка имиджа начинается со школьной скамьи. Он немаловажен для каждого — «встречают по одежде!», а для артиста в особенности.

Мой бежевый костюм и пестрая бабочка висели на мне, как вериги на юродивом. Я их сбросил, как только кончились публичные представления. Мой подвальный имидж в Париже не срабатывал, это я сразу засек. Казачья, баранья шапка, полушубок и сапоги годились для лютых морозов, а не для раскаленной от зноя Франции. Я постепенно осваивал вид «лесоруба» — рубашка с коротким рукавом, джинсы и грубые ботинки, американский каскет. Вещи быстро прилипли к душе, обнаружив благодатную основу. Необходим был выход имиджа в коммерцию.

Красная рубаха с пояском — Иван Ребров, Илья Глазунов — уже заняты. Лесоруб один я!

За Провансом открылась Италия. Северная часть с острыми кипарисами Ломбардии и Тоскании, острые пляжи Джилио и Монтекристо. Мы жили у французских друзей Анны. Купались с утра до вечера, меняя пляжи, обедали макаронами и помидорами. Смотрели на синее море, а я рисовал акварелью. Погребки и гулянки. Все говорили по-итальянски, и моя жена тоже. Еще один урок европейской мудрости. А кто из «наших» выучил чеченский или литовский?

Я мечтал давно увидеть Равенну. О ней мне говорил В.А. Фаворский.

В европейском искусстве всегда царил натурализм. Из ребер распятого сочится кровь. Из головы Крестителя хлещет лужа. И сегодня, несмотря на массы эстетических тенденций, ценится фотография с натуральным эффектом — расстрел в упор, стонет ребенок, отрывают ноги и руки, взрывы с автомобилем, жгут живьем.

Фаворский считал, что равеннские мозаики — это апофеоз мирового натурализма. Мне хотелось лично проверить, что он имел ввиду и соответствует ли такое решительное заявление действительности.

Древняя Равенна расположена в вечных дюнах Адриатики, и ничего не предвещает, что вы въезжаете в рай. Наш моторный пузырек крутился по кривым улицам, пока не оказался у базилики V века Святого Аполлинария, с круглой звонницей в девять этажей. В сияющем просторе изящных пропорций открылись стенные мозаики, сплошным ковром закрывавшие стены базилики. Вот шествие девственниц и мучеников. Мозаика «Волхвы» — три персонажа в штанах и сапогах в обтяжку — азиаты что ли? — с приношением. Андрей Первозванный и апостол Петр на рыбной ловле — безукоризненной исторической точности и красоты вещь. Христос «Судья» с парой суровых ар-

хангелов и овцами по сторонам — несказанная прелесть по композиции и колориту. Поражает Христос. Молодой, безбородый юноша в синем хитоне и босиком. Ему лет семнадцать не больше. А какая посадка, какое величие в позе!

Базилика Святого Виталия восьмиугольной формы с мозаиками самого высшего класса. Нетленный шедевр VI века. Величественный силуэт императора Юстиниана со свитой. На другой стене супруга императора Феодора — опять чудо человеческого мастерства и красоты. Ослепительная игра мозаик и оконных витражей более поздней работы захватывают зрителя целиком, поднимают ввысь, поближе к овцам и волхвам, отлично и лично знавших Бога.

Где же натурализм Фаворского? Нет кровавых побоищ, нет кровавых рек. Византийские мозаичисты, работавшие в Равенне, не знали натуральной традиции. Их искусство было воплощением духовной чистоты и высокого символизма.

В начале сентября начинались школьные занятия, и мы вернулись в Париж.

* * *

Советский юрисконсульт Василий Бирюков продлил мне визу на полгода, но предупредил, что я рискую потерять московскую «прописку» и право на жилплощадь.

Звонили из Москвы друзья. Было впечатление, что подпольный мир продолжается, но как быть с незавоеванным Западом?

Западный образ жизни я начал с «кухонного мужика». Кухонные отходы здесь не бросают собакам из окна, а пакуют в хозяйственные мешки «пластик», крепко завязывают махор и собирают во дворовый ящик, рано утром исчезающий в грузовике. Моя по-

варская и кухонная деятельность вызвала неподдельный восторг моей тещи.

— Вот это зять, вот это размах: от эстетики Рембрандта до русского борща!

В магазинах всего навалом, но цены кусаются. Тюбик красного кадмия с мизинец величиной — 60 франков, то есть 10 долларов. А если взять все семь цветов, то получается месячное жалованье московского дворника.

Как заработать на краски, не сдавая позиций?

Опрятная квартирка моей жены не годилась для грязной работы живописца. Надо было искать рабочее место, где можно говнякать ядовитыми красителями, не думая о чистоте.

Уже в Риге (1963) у меня кружилась голова от постоянного «битте», там пуганный народ сразу переходил на «пожалуйста», но в Париже народ не битый и в голове стоит шум от крепкой латинской говорильни и писанины.

Значит, опять учиться.

О музеях, галереях и фондах я кое-что слышал в Москве, но там никто не придавал им значения. В книжках великих биографий эти учреждения просто не упоминались. Нам всем казалось, что денежные мешки скребутся в неприступное логово создателя, в надежде отхватить гениальный опус быстрее других конкурентов.

Оказалось наоборот. Не «мешки», а сотни тысяч гениальных артистов толкаются у подъездов всевозможных «мешков» с толстыми «досье» в руках, набитых слайдами, каталогами, критикой, в надежде получить выгодную выставку в музее или галерее.

Натасканный с детства на прямую торговлю пещерного типа — «товар—деньги» и нос к носу, я был сбит с панталыку невидимками капитала и культуры, работавшими в неизвестном пространстве.

Оказалось, чтобы получить первую выставку в Париже, необходимо подождать, запасшись терпением буддийского монаха.

Мой поход в Министерство культуры Франции основательно надломил мои планы. В приемной, как у зубного фрача, сидели люди с толстыми папками и картинами, связанными веревками. Мой предшественник по очереди, представительный дядя около шестидесяти, с благородной мордой аристократа, понимал по-русски.

Тридцать лет он выставлялся в парижских галереях, но обеспечить себе старость не мог.

— Я продавал картины маршанам и все тратил. Лишь недавно спохватился, что у меня ни гроша за душой!

Мне стало так страшно, что, не дождавшись встречи с бюрократором пенсий, я сбежал.

В октябре я записался на курсы языка в Альянс Франсез и снял мастерскую на площади Нации (плас Насьон), на восточном краю города, с окнами на крыши новостроек и паровозами за забором, «пейзаж вполне московский», как отозвался фотограф Игорь Пальмин.

О жизни русской эмиграции в СССР плелись самые причудливые небылицы. Коммунисты рисовали эмиграцию грозным и коварным врагом советского государства, организованной армией помещиков и капиталистов, бежавших от народного гнева к своим западным покровителям.

Первый «злобный враг народа», которого я встретил в Париже, был торговец книжками Андрей Савин, здоровенный парень с рыжей, кудрявой бородой. Родился он в Париже. Пел в церковном хоре и хорошо знал положение русской общины. Мне он сказал, усмехнувшись:

— Да здесь все на ладан дышит!

Разбитая церковными и политическим расколами, остаревшая эмиграция не превышала тридцати тысяч человек, в то время как маленькая Армения насчитывала триста тысяч, еврейская — семьсот, а алжирская более миллиона!

Русская капля в море!

Одно кладбище. Одна еженедельная газета «Русская мысль», где меня сразу тронули похоронные объявления с «осьмиконечными» крестиками и «со скорбью извещаем», «панихида сорокового дня за упокой его души будет отслужена».

Такой трогательной литературы советский пролетариат не издавал.

А так — все как у людей. В Португалии народное восстание. В Берлине бесятся пацифисты, канадские сектанты предвещают конец света. В Москве давятся за шмотками. Мао Цзедун и Иосиф Броз Тито тяжело больны.

Я держал десяток картин, натянув на парижские подрамники. За лето скопился чемодан акварелей и заготовки будущих картин. Мои парижские советники, теща, тесть, жена решили, что мои опыты нужно показать знатокам галерейного мира, и приложили все старания, чтобы организовать мне встречу с «самым главным» в тот год маршаном, Даниелем Жервисом.

Знакомый тестя Даниель Жервис ворочал миллионами. Он продавал картины Хартунга и обладал высшими связями в мире коммерции, политики и эстетики. В тридцать лет он уже был президентом ярмарки искусств под названием ФИАК, им же и придуманной в 74-м году. Сын знаменитого торговца водкой Константина Жервиса, из семьи, бежавшей из революционной Одессы, и француженки из богатой семьи, он с детства купался в роскоши, кое-как учился и мечтал стать живописцем. Дарование оказалось

скудным, профессия грязной, так что на семейном совете баловство прикрыли и заблудшую овцу поставили в нужное стойло. Самой удачной операцией молодого Жервиса было открытие мастерской всеми забытого русского эмигранта Павла Мансурова. Чую поветрие моды на супрематизм, Жервис через русских эмигрантов разыскал забытого нуждой художника и выгреб у него все до последней картонки еще петербургского производства.

Достаточно было нажать одним пальцем, и Жервис из говна мог сделать конфетку. Таким говном был я, когда встретился с ним в сентябре 1975 года.

Встреча состоялась на просторной квартире тестя Жервиса неподалеку от Американской церкви, в роскошном буржуазном салоне, где картина Ренуара в золотой раме напоминала, что мы в XX, а не в XVII веке.

Отец галерейщика Константин Жервис отлично говорил по-русски, потому что учился в одесской гимназии до эмиграции семьи в Европу. Да и сейчас, в ликероводочной торговле международного объема, знание языка ему значительно упрощало дела с советскими партнерами. Я часто заходил в книжный магазин Каплана и видел там затруханных старичков, позеленевших от книжной плесени и забот. Здесь же стоял гигант финансов, в костюме тончайшей шерсти, шитый на заказ, с ароматной сигарой и худощавой женой, украшенной драгоценностями.

Мой вид «дровосека» несколько охладил общество, упакованное «комильфо», они не знали, что мне хорошо в этой шкуре. Я успел срубить сухостой в Провансе и нарисовать картину, однако я заметил, что одет не так, как надо, и среди своих эпатаж неуместен.

Сервировка стола была высшего класса. Холодная рыба под белым соусом, свежая редиска, томатный салат, сыры, сладкий пирог, ликеры, сигары, кофе.

Даниель и его жена осмотрели мои слайды в фонарь, прихваливая картинки, но хотели бы видеть оригиналы, а это означало, что они ждут у себя в галерее или придут ко мне в гости. Всех смешил Костя и мой тесть, известный хохмач.

Я достойно держался за столом. Не чавкал и не дергал рыбные кости пальцами, пил умеренными глотками и белое и красное бордо, однако чувствовал, что смотрины провалил по всем статьям.

Артист, идущий на славу, обязан уважать деньги и все установления, с ними связанные. Позволять себе «имидж» клошара или лесоруба может только знаменитый художник. Бывает и так, что исправить ошибку уже невозможно, как это случилось со мной в Париже.

Чтобы удостовериться, что я не ошибся, мы встретились с Даниелем Жервисом еще раз, у него в галерее на рю дю Бак. Я принес свои гуаши, для профессионального глаза достаточно, чтобы установить творческие возможности художника. С обворожительной улыбкой он и жена Беатриса осмотрели кучу работ, шелкая языком, отобрали десяток в производство — «вот эти хорошо пойдут сейчас!». Я, ободренный поддержкой, повторял без конца «мерси, мерси боку» и обещал принести десяток холстов на продажу.

— Нет, так я не могу! — вдруг отступил галерейщик.

— Как не могу, мсье Жервис? Вы же битые два часа шелкали языком, отобрали лучшее и вдруг «не могу»?

— Вы знаете, — начал стриженный и бритый красавчик, — у меня особая нежность к русским художникам. Ведь мой отец родился в Одессе, я несколько лет возился с капризным Мансуровым, но с вами так я не могу, это будет непростительной авантюрой с моей стороны!

— Да, водка вкусная вещь, а как же живопись?

Он развел руками и смущенно улыбнулся.

— Не могу, идите к Дине Верни!

В чем дело, неужели неправильно оделся? Да, нет, рубашка «олд ривер», штаны «мальборо классик», вид канадского лесоруба!

Всемогущий свояк отфутболил, но не навредил. Пусть он видный начальник, но на нем свет клином не сошелся! Чувствительный удар по «лесорубу», но Запад велик!

Зубрить язык и работать!

В ту осень я встречал московских клиентов на фоне Парижа, Франсуа Матисса, Зиге Фурри. Жильберт Фрима купил картину и обещал свести с американским галерейщиком. Мне что-то светило в Мюнхене. Там жили Джон Дорнберг, Лилька Бауэр, Йозеф Ридмюллер и совсем давно Фаворский, Кандинский, Явленский.

Настала первая европейская зима без снега.

3. Зима без снега

После отъезда Лильки Бауэр в Германию у нас установилась регулярная, эпистолярная связь. Я знал о ее перемещениях по немецким «общагам», сообщал ей о своих делишках и, конечно, сразу откликнулся из Парижа. Лилька звала в Мюнхен. У меня были дежурные дела в этом городе.

20 декабря мы с женой поездом выехали в Германию.

Свежий снежок появился на немецкой границе. За Страсбургом, на черном Рейне, берега были покрыты легким ледком. Поезд пересек застывший Дунай, похожий на обыкновенную канаву, и к вечеру показался тихий и крохотный Мюнхен.

В общежитии университета мы нашли ключи от комнаты Л.Б., а внутри горячий душ.

Во время последней войны Мюнхен сильно бомбили, но главный собор стоял в неприкосновенности, знаменитая Пинакотекa тоже, и городской музей — архитектура прямых линий с выставкой «Блау Рейтер» — снова возвышался на своем месте.

На катке баварцы в традиционных шляпах с перьями гоняли на коньках. В кино крутили новый фильм Фассбиндера, на площади стояла огромная елка, украшенная шарами и красными гирляндами. Вечером ее освещали сотни лампочек. Никому в голову не приходило выкрутить лампочки и забрать игрушки!

Опись сокровищ Пинакотекы не входит в мое изложение, но Альбрехта Дюрера, его «Автопортрет» (1500) с видом современного хиппи надо смотреть обязательно. Его четыре «Апостола» (1526) выглядят живее живых. Лобастый, с голым черепом святой Иоанн с коротконосым, густобородым апостолом Петром — форменное откровение! Немецкие художники той поры семитов Палестины изображали в виде крупных баб Баварии и с выразительными мордами бургеров вместо исхудавших мучеников Востока.

Одно время тихий Мюнхен стал местом паломничества русского юношества. В начале двадцатого века там образовалась настоящая русская колония студентов, учеников рисовальных школ и ссыльных революционеров. От Фаворского я слышал, как он учился в «школе Калоши» и «школе Ашбе». В деревне Мюрнау, где мы пытались разыскать дом Габриеллы Мюнттер, подруги В.В. Кандинского, русские люди открыли человечеству «абстрактный мир» (1910).

В городском музее вся банда «Голубого Всадника» налицо.

Вл. Бехтеев (так себе), Алексей фон Явленский (очень хорошо!), Марианна фон Веревкина (так себе), Франц Марк (ничего), Август Макк (хорошо), Арнольд Шомберг (так себе), Пауль Клее (очень хоро-

шо!), Василий Кандинский (хорошо), Габриель Мюнттер (так себе).

«Адье, тебе, премудрый берендей!»

Католический Ноэль мы простояли в соборе. Потом нас принял Джон Дорнберг. Он развелся с Ютой, но по-прежнему жил неподалеку, навещая сына. Жил он потертым холостяком. Стены квартиры украшали картины Вали Воробьева, напоминая, что эстетические вкусы хозяина не меняются с переменой государственных границ. Ни галерей, ни художников Мюнхена он не знал. Его занимала биография Леонида Ильича Брежнева и его днепропетровских приятелей. Через год или полтора вышла книжка с его розысками на «днепропетровскую мафию». Новый 1976 год мы встречали в югославском ресторане. Приглашал и платил Джон Дорнберг. Уютное местечко. Слышна русская речь и цыганская гитара. Весь ресторан дружно и по-русски кричал: «С Новым годом!» К нам подсел завсегдатай кабаков Леонид Иванович Барат, отставной полковник американской армии.

Говорливый полковник, несмотря на хорошую американскую пенсию, держался монархических взглядов и считался в Мюнхене знатоком казачьего вопроса. Сам из рода казаков Баратовых, в эмиграции он сократил для благозвучия свою фамилию, Леонид Иваныч читал лекции в кружке мюнхенских друзей, бывал в Брюсселе у своего приятеля капитана Василия Орехова, в Париже у капитана Соловьева, членов салонного объединения «русских националистов», давно потерявших свой политический вес. Не дурак выпить и поболтать, Барат много мне поведал в тот чудный, новогодний вечер.

Казачьими войсками в Европе, совершенно отдельной воинской дивизией, командовал немецкий генерал фон Панвиц, ставший Атаманом казачьего

воинства. В местечке Ленц казаки попали в американский плен, но союзники, верные договору со Сталиным, выдали их Москве. Атамана фон Панвица с рядом видных казачьих офицеров повесили в 1946 году в Москве.

Сам Барат потерял родителей на выдаче, но сумел сбежать к американцам и вступить добровольцем в подсобную часть. Его сразу погнали в Корею, где он храбро сражался с коммунистами, получил повышение в чине и награды. Оттуда его перебросили на охрану панамского канала, с канала опять в Европу, в Брюссель. Четверть века Барат не выходил из боевой службы. Будучи на службе, женился на немке, и осел в Мюнхене, последнем этапе его службы в армии США.

В искусстве он признавал только картины Ильи Глазунова, известного и в Мюнхене. Свои каракули я не стал показывать даже в карточках, зная заранее, что ничего кроме едкой критики с наставлением вернуться к «родным истокам» мне не получить.

О радио «Свобода» он говорил так:

— Да, ожиговела станция! Еще пять лет назад со мной советовались, а как только появились Матусевич и Белоцерковский, я стал не нужен. Прет жидовская волна, сплошь безбожники и русофобы. В храм Божий нельзя зайти, несет жидовщиной. А жид крещеный, как вор прощенный!

Шульгин, Солженицын, Солоухин, Глазунов — вот его интересы, вот его линия.

Я не разделял точку зрения полковника, но и не перечил ему. Уж очень красочно он выступал.

Лилька Бауер говорила мне о казаке Лопатине, живущем на олимпийском стадионе. Я спросил о нем Барата.

— А, этот прохиндей! Раньше в станицах были мирские захребетники, жили за счет подаяний. Этот из них, лодырь и тунеядец, живет за счет туристов!

Мы дружески расстались. Л.И. Барат дал мне адреса своих друзей, живущих в Париже и Брюсселе.

В Новом 1976 году повалил снег с дождем, но второго января непогода утихла и явилось солнце, осветив нарядный Мюнхен. Мы поехали в холодном метро к станции Олимпийского стадиона, где три года назад арабы расстреляли израильскую олимпийскую команду. Стадион был закрыт, но хутор казака Семена Лопатина принимал гостей.

Донской казак попал в немецкое окружение, вернулся в родную станицу, женился на соседке (она чуть-чуть постарела от постоянных бегов на чужбине, но стояла перед нами в пестром сарафане и платке, по-казачьи сжатым брошкой на шее), а в 1943-м вся станица, служившая немцам, села на подводы, и с детьми и скотиной потянулась за отступающими немцами в Германию. Оттуда весь казачий табор двинулся навстречу американцам и попал в лагерь для перемещенных лиц. От выдачи Сталину спасло отсутствие оружия и немецких инструкторов. Малограмотный Семен оказался на редкость прозорливым и сообразительным. Он не просился в Австралию, а спрятался в землянке в десяти верстах от разбитого в пух и прах красавца Мюнхена, пока его с женой не открыл немецкий лесник. Он их не выдал, а доставлял продовольствие и одежду. Католическая община предлагала паре русских беженцев комфортное жилье, но верующие казаки не желали жить по-немецки и своими руками возвели казачий курень, часовню и птичник на баварской земле. Курень Семена Лопатина, расположенный на городской окраине, вызвал целую предвыборную бурю при постройке Олимпийского стадиона. Речь шла — или курень Лопатина, или стадион!

Депутаты уладили дело мирным путем, отгородившись от куреня, унавоженного куриным пометом,

колючей проволокой. Казак и казачка старели и все больше походили на отшельников, занятых духовными проблемами. Когда мы пришли, Лопатин сразу повел нас в часовню, благословил и показал бумажные иконы, тщательно украшенные пестрой бумагой и неугасимой лампадой.

От туристов не было отбоя. Смотреть было абсолютно нечего, кроме щипанных кур и петуха. Хата вросла в землю, завалинка вокруг сыпалась, лавка, грабли, топор, никакой сельскохозяйственной техники я не заметил. За тридцать лет изгнания казаки так и не научились корректно изъясняться по-немецки, как было заметно при появлении любопытных студентов, смотревших на убогое хозяйство русского казака как на цирковой номер, выпучив глаза от удивления. Одевались они по-русски и говорили с отчаянным, южным акцентом, расставляя слова без всякого грамматического лада.

При встрече с полковником Л.И. Баратом в кафе на Мариенплаце, где собирались русские эмигранты, было гораздо уютнее.

В Мюнхене я купил роскошный, шерстяной костюм фирмы «Гирмера». На французской стороне крапал холодный дождь. Я начал красить двумя цветами, черным и белым, большие туши метр на полтора. Такой я видел зиму в Европе.

4. Грабеж

Вначале 1976-го от сторожа моего подвала в Москве пришло любопытное письмо.

«Ты не получишь свои картины до тех пор, пока не станешь добрее и ласковее с нами. Панин просит электрогитару, мне нужны джинсы, Ольге макияж, Пальмину фотоаппарат, Лорику книги...»

Такого шантажа от сторожа я не ждал.

О нападении на подвал не хотелось думать, но 30 мая я получил подробности грабежа от земляка Владимира Львовича Серебряного.

«У тебя сорвали замки и унесли картины. Орудовали Ольга, Герасим и Шварц. Они вместе пьют!»

Сценарий грабежа почти один к одному я составил на основании донесений.

Первым номером шел известный московский вор «отец Герасим», не робевший продавать иностранцам иконы и самовары. Компанию ему составлял «инженер Шварц», год или два сидевший по делу Мороза. Наконец, не последнюю скрипку играл мой бывший ученик Борис Штейнберг, «Борушок», отсидевший в дурдоме свой срок за торговлю золотом. Сразу после моего отъезда они зачастили в гости к Ольге Анатольевне Серебряной.

Великие ученые говорят, что у самых последних дикарей, безбожников и людоедов существует понятие чести, достоинства, милосердия, справедливости, доброты. Ни одного из этих качеств перечисленные деятели черного рынка не имели. Кроме гомерического, сатанинского хохота этот перечень ничего не вызывает. Чем тебе больше, тем им радостнее жить.

Борушок, с моей легкой руки, быстро превратился в оборотистого торговца русскими древностями и своими собственными «объектами», с завидным упорством протаскивая их на международные выставки.

Я встречал «отца Герасима» в подвале Клыкова. Там он покорно бегал за водкой, и никому не приходило в голову прогнать сатану вон, и потому, что бесовщина постоянно соседствует с духовидцами, шизофрениками и гениями.

«Инженера Шварца» я нигде не встречал, но знал его супругу Малиновскую, раз или два ночевавшую у меня в подвале.

Эти безжалостные гангстеры подло крошили, ломали, били всех, кто казался им слишком дерзким, независимым и слабым. Восемь лет я был под осадой этих разбойников, а после моего поспешного отъезда в Париж мой подвал мог удержаться только чудом, чего не произошло.

«Отец Герасим» с бутылкой портвейна заявился к О.А. Серебряной, выпил за мое здоровье, потом спустился в подвал и сорвал замки одним махом.

— О чем ты говоришь, Серебряная, его туристическая виза давно истекла! Теперь он невозвращенец, потерявший право на площадь и имущество. За подвалом смотрит Мышков. Кто это? Это лирика, лишенная юридического основания. Незаконный хранитель! Возьмем все, пока Мышков не распродал сам!

Поздно вечером они спустились в подвал. Силач Герасим так ковырнул замки, что они полетели, как пуговицы с гнилого пиджака.

— Ишь, понавешал, гад!

Мой ключник уже обошел взломщиков. Он успел забрать мой «персональный музей» с работами Зверева, Яковлева, Гробмана, Вулоха, Ворошилова, Краснопевцева, Рабина, Немухина, Плавинского, Курочкина, Бордачева, Румянцева и других «нонконформистов». Грабители забрали громоздкие вещи и картины.

«Посреди комнаты возвышалась куча мусора», — доложил мне питерский художник Юрий Жарких, работавший в подвале месяц перед отъездом на Запад.

Декоративные картины «Альпийский пейзаж» и «Сенокос» немецкой школы грабители продали сразу. Картины разделили на четыре части, причем три части, Боруха, Герасима и Шварца исчезли без следа, а добычу свою Ольга Серебряная продавала постепенно, и часть покупателей мне удалось установить — Аида Сычева, гитарист Панин, Микеле Руджейро, Лен Вильямс, Андрей Карушин.

Сторож Мышков несколько лет щипал меня по-своему. Он постоянно плакался в письмах — платить за свет, за газ, за ремонт толчка и полов, и всякий раз находил причину продать из заветной папки гуашь Зверева или Яковлева, и заодно выцыганить парижский макияж для своей жены.

При одной мысли, что, возвратившись в Москву (а меня то и дело подмывало бежать в аэропорт), мне придется воевать с бандитами, кланчить собственные картины у людей, лишенных чувства чести и юмора, потом, если останусь жив, проситься назад, меня бросало в лихорадочную дрожь.

Шизофренический вояж в СССР был гораздо опаснее, чем парижская неопределенность.

* * *

Поутру я выходил из дому, на площади Сен-Сюльпис здоровался с четырьмя епископами, мирно сидевшими над покоренными львами фонтана, потом сворачивал на улицу Вье-Коломбье с бывшим театром Питоевых и спускался в метро, гнавшего на плас Насьон, место моих художественных преступлений в тупике Бел-Эр. А иначе, в хорошую погоду, от «епископов» нырял в узкую щель Ле Канет, с парой резных уток на фасаде старинного дома, и выходил к статуе философа Дениса Дидро, сидевшего с пером в удобном, бронзовом кресле. От него, в 86-м автобусе, мчался напрямик к себе, глаза на витрины, афиши, людей.

Бывало и поводил сатана. В соборе Сен-Сюльпис великий Эжен Делакруа расписал «шапель Святых Ангелов» — две стены и плафон (1861), прекрасный образец его живописного творчества, с яркими голубыми тенями и буйством красок. Тогда я садился на деревянную лавку и смаковал любимую «Битву Иако-

ва с Адонаем», где два мускулистых молодца схватились под густым дубом и неясно, кто одолеет. Мы знаем, что всемогущий «Некто» повредил Иакову состав бедра, но у Делакура неясно, чья возьмет. У Иакова больше решимости в позе, он сбылчился и напирает, у Адоная же твердый, но несколько потерянный вид. В правом углу погонщики загоняют скотину. В центре композиции огромный, древний дуб, лучший дуб в мире! А на первом плане военный натюрморт с соломенной шляпой наверху. «Эй, господин Ван Гог, где вы?» Да, так и было. Ван Гог не раз сидел на этой лавке, пожирая стену Делакура кусок за куском, насыщая свое богатое воображение.

«Ибо ты боролся с Богом-Элохим».

И когда маршрут смят и рабочий день побоку, я слонялся по заповедным дворам Парижа, открывая сокровенные следы культуры и радости.

Дворы и кладбища, парки и подземелья.

Не добравшись до мольберта, поздно вечером, уставший и голодный как гончий пес, я возвращался домой.

За год туризма меня никто не двинул по шее, не оторвал пуговицы и не пугнул матом.

Я начал поход по парижским галереям, отыскивая «свою».

Хозяева галерей торговали проверенным рынком товаром прошлого, рисунками Пикассо, Модильяни, Вазарели, Дали, и лишь изредка две-три галереи храбро выставляли основательно раскрученных американцев и, следовательно, беспроектных на французском рынке.

За мной стоял не американский банк, а «русская самобытность» на уровне фольклора — тройка, снег, матрешка, церковь. Иной самобытности за русскими не признавалось, и с удивлением смотрели на мои «американские опыты».

Молодежных галерей с авантюрной программой совсем не было. Мне сказали, что последние авантюры закончились в 1960-м году, со смертью Ива Клейна, с его монохромами и перформансами, ставшими подлинными находками в искусстве.

Немец Йозеф Бойс был еще жив и ходил по миру с лопатой на плече. Он играл роль землекопа, защитника зеленой планеты от нашествия ядовитой цивилизации. Обливаясь потом, он копал яму, бросал туда свою шляпу, засыпал и на макушке земляной пирамиды втыкал красный флажок боевой готовности.

Вот, что значит знаменитость в твердой валюте!

Мой сосед, уроженец Тулузы Жанно считал меня карикатуристом, как и Пикассо.

— Где же «ню»? — спросил он недели через две после знакомства.

«Ню» не появилась. Мой сосед разочарованно заметил: «А, понимаю, рисуешь карикатуры, как Пикассо!»

Мы притерлись друг к другу и сходились пить самогогон тулузской выгонки. Сестра носильщика вырастила грушу в пустой, литровой бутылке, и заливала ее спиртом высоких градусов. Мы его не пили стаканами, а добавляли в горячие кофейные чашки. И приятно щекочет душу и улучшает пищеварение.

Мой участковый Коля Авдеев не знал, кто такой Пикассо, и считал меня не карикатуристом, а врагом народа.

Большая политическая разница.

Сосед копил деньги, чтобы выкупить комнату, в которой он жил, и жениться на порядочной женщине. По выходным дням он чистил ботинки и перся в кинотеатр порнографических фильмов. Эротические пикантности какой-то «Эммануэль» скребли его воображение и доставляли удовольствие закоренелому холостяку.

Когда американский адвокат Жильберт Фрима купил у меня картину и гуашь, это обстоятельство так озадачило Жанно, что он проникся особым уважением к моим живописным карикатурам. Если за такую мазню американцы дают деньги, значит, художник не простой мазила, а что-то серьезное.

Сидя в московском подполье, я думал, что стоит выбраться на волю, в парижское кафе, в нью-йоркское Сохо, как артисты всех стран хором закричат: «Здорово, старик, присаживайся». На самом деле ни в кафе Монмартра, где халтурщики торговали жалкими, карандашными портретами с натуры, ни на Монпарнасе, где за кружку пива драли, не моргнув глазом, никаких артистов не было. Наводя справки, я с удивлением открыл, что художники прячутся по своим норам, не вылезая в народ.

Такое удивительное явление так меня поразило, что я попросил хороших друзей свести меня с живым артистом, каким бы он ни был. Подруга жены, прямая и образованная женщина Мари-Эме, принимавшая нас в Италии, после месяца поисков свела меня с местным художником. Звали его Жан-Марк Филипп. Известный и ровесник. Западная версия Игоря Снегура. Быстрый как ветер, грамотный и хитрый, расчетливый и веселый. Человек полезных советов. Встреча за общим столом Мари-Эме означала, что мы люди общей культуры и рафинированных дарований.

Жан-Марк сыпал анекдотами из жизни великих и безымянных людей, пересыпал речь английскими фразами. Я тупым и ломаным французским пытался объяснить свое жизненное и эстетическое кредо.

— Где же собираются художники? — был мой вопрос.

Жан-Марк, вытянув спину, как королевский мушкетер, тряхнул кудрями.

— У каждого свой круг общения.

Образованный мушкетер позвал меня в гости. Ведь я никогда не видел французского артиста в работе!

Мушкетер жил на бульваре Маршала Брюна, в казенном ателье, полученном по большому благу. Ураган американизма здорово ободрал его воображение. До отъезда в Нью-Йорк он рисовал букеты мягкой пастелью, а по возвращении оттуда работал исключительно вонючими бомбами, натянув маску на горбатый нос. Постоянной темой изображения служил автомобильный указатель. Тот же, стоявший в углу и разбитый пополам. Маньериста механических приемов с американской биографией сразу взяла парижская галерея, но после двух пробных выставок с хорошими каталогами, его выставили на тротуар, как бездоходного артиста без перспектив. При мне он искал богатого мецената, чтобы раскрутить свое дарование до мировой славы и больших заработков.

Очевидно, любопытство, а скорее всего, долг перед Мари-Эме привел его в мою мастерскую в тупике Бел-Эр. Француз бесплатно и горячо похвалил меня за энергичный мазок и плотный цвет, дал адрес Дома художников, где покупают картины у новичков, и убежал навсегда.

С болгарской или македонской уроженкой, отлично говорящей по-русски и по-французски Ритой Марианчик, я случайно познакомился в кукольном театре. Оказалось, что мы гуляем в одном и том же сенатском саду и смотрим на одних и тех же королей Франции. Она любезно вызвалась показать секретные места в саду и заодно отвести в «молодежный клуб», заседавший в бывшей мастерской Амедео Модильяни на Монпарнасе.

Парижские дворы и дворики, наглухо скрытые от посторонних, особенно сейчас, когда поставили электронную защиту, прячут множество невиданных кра-

сот и сокровищ. Там можно обнаружить красивый фонтан, статую античного вождя, нимфу в греческом вкусе, беседку с лавочкой.

В таком уютном дворике на Монпарнасе мы и встретились. У мастерской Модильяни, покрытой густым плюшем по стене, жил знаменитый фотограф Вильям Майвальд.

Одетый по-домашнему, в бордовый пиджак с атласным пояском, он открыл дверь и с полным равнодушием усадил нас в салон и куда-то пропал по лестнице. Потом он спустился в бар, приготовил какую-то бурду и предложил нам питье. Рита что-то ему плела насчет заблудшей овцы, «бреби эгаре», он чуть-чуть скривил в улыбке губы и опять пропал. Так мы высидели часок и распрощались. Рита сказала мне, что Майвальд желает познакомиться с моей живописью и предлагает повесить пару холстов на публичный просмотр.

Боже, звучит опять классика: квартирная выставка в Париже!

Вот об этом я совсем не подумал.

Пара моих картин, «Земля-Эдем» и «Янус», весь апрель 1976-го висели над диваном и никто к ним не приценился.

Вечером приходили красивые и модно одетые эстеты, целовались без стеснения, моя знакомая сбивала коктейль, хозяин восседал в облупленном кресле, с лукавой улыбкой выслушивая лесть гостей.

— Нет, вы посмотрите, как освещен Жан Маре, какая редкая греческая линия профиля! А портрет Сен-Лорана — форменный шедевр. Какая выразительная форма носа и губ!

Майвальд снимал знаменитостей театра, кино, моды.

Портреты, окантованные в изысканные металлические рамки, висели длинным рядом по стене салона.

Из Лондона приехал молодой человек по фамилии Родзянко. У него с пальцев что-то капало, изо рта ползли пузыри, он дрожал и лез обниматься «порусски», в губы.

Вместо Лувра квартирная выставка в клубе сексуальных меньшинств!

Какой ложный, географический зигзаг в репейник чуждых мне людей.

Второй год я притирался к Парижу, к жене, к искусству. Жизнь вместе — это не огненные поцелуи на скамейке, а вереница грязных тарелок, медикаментов, магазинов и постоянных бесед о погоде.

В Москве меня помнили. Однажды я получил бумагу с печатью Черемушкинского районного народного суда.

«Гражданину Воробьеву В.И. прож. Париж 6, 11 рю Сервандони. Сообщаем, что Вы утратили право на жилую площадь в Москве...

Признаете ли вы?»

Конечно, не признаю, но что это меняет, если суд решил отобрать жилплощадь и выписать меня из Москвы.

5. В блокнот агитатора

Чем занимался «ветхий» Адам в раю?

Наверняка много спал, пел, прыгал, купался, от безделья рисовал бизонов мазутом. Конечно, от скуки онанировал. Был уличен Яхве в баловстве. Возникла Ева из ребра и опять платонические встречи, болтовня по поводу небесных светил, фауны и флоры, пока не наелись запретных яблок и не совокупились в охотку. Жизнь с потом и кровью.

Думаю, что эта пара не жалела потерянного рая. В семье явились заботы по воспитанию детей и быт в «поте лица своего».

Я побывал в раю, и могу свидетельствовать не хуже Адама, что там жарко и скучно. По ночам воют собаки и мурлыкает музыка в недалеком кемпинге, днем пахнет душистой сосной, прямо под ногами прыгают наглые сороки, тесть строчит письма во все концы мира и теща бренчит на рояле этюды Шопена «а ля минор». Жужжит непоседливая муха, пахнет жареной рыбой и свежим салатом. На стеллаже пылятся бутылки провансальского вина. Через виноградное поле плетется старик с узловатой палкой. Одет как местный батрак. Вельветовые штаны, соломенная шляпа. Я нехотя встал и поплелся ему наперерез. Он перехватил меня в кустах и спросил :

— Ты чей?

— Я зять мосье Давида, — правильно отвечаю.

— А, а, мол, знаю. А я Морис Рипер, артист пентр, вот там живу, на горке.

— Вижу, — говорю.

— И эти дома мои и земли тоже. Я их сдаю дачникам и тем живу. Искусство меня давно не кормит!

Старик забрел на нашу террасу как к себе домой, сказал «бонжур Рене, бонжур Элен», и я понял, что он везде свой и почетный гость.

Я привык с ним гулять по кустам и виноградникам, пересекая дачи и хутора вдоль и поперек.

Художник он был никакой, но с биографией великого авантюриста. Вскорости после Первой мировой войны он бросил семью в Провансе и уплыл в Аргентину, где стал уважаемым декоратором. Сама Анна Павлова считала за честь, если он сделает ей костюмы и декор для спектакля. Когда ты молод, красив и рисуешь костюмы, весь мир открывается с самой изысканной стороны, и в самом соблазнительном ракурсе.

Дочка Мориса, наша соседка по раю, жившая на холме с красивой сосной в виде буквы V, как-то за-

метила тоном заговорщика, что ее отец был «большой авантюрист».

Поражало и то, что баловник лично знал мсье Сезанна. В сущности, от Сезанна и пришло увлечение рисовать. Морису было пятнадцать, когда Сезанн пристроился на дороге рисовать пейзаж со святой Викторией.

Как водится в такого рода жизненной игре, синьор Рипер профуфукал свои гонорары и после очередной революции в Аргентине, окончательно его разорившей, вернулся как побитая собака с аргентинской женой. Ему было далеко за восемьдесят, когда он продал себя вместе с домом и землей. Состоятельный покупатель, надеясь, что старик не сегодня так завтра загнется, глубоко просчитался и безропотно платил еще десять лет на содержание старого хулигана.

Наш душевный сосед скончался в девяносто с лишним лет и остался верен себе до конца.

Легко и весело жил Морис Рипер!

В таком открытом экипаже, как Запад, легко обнаружить несовершенные части, например непомерный индивидуализм.

Советская власть одним указом ликвидировала буржуазный индивидуализм. В коммуналке все знали какого цвета у тебя говно.

Советского человека, какими бы ни были его духовный уровень и общественное положение, возмущает и огорчает западный индивидуализм. Почему сосед по лестничной клетке не только не приходит посидеть у телевизора, но и не отвечает на приветствие? Почему я должен за солью бежать в магазин, а не попросить ее у соседки? Почему на пятом этаже умерла старуха, и никто об этом не знал целую неделю? Почему во дворе нет ни бабушек, ни детей?

Таких изъянов не в пользу Запада множество, а социальное положение художника просто возмути-

тельно. Академик Гелий Коржев, изобразивший рисующего на тротуаре, судя по силуэту, «прогрессивного артиста», в точности представил положение артиста в буржуазном мире.

А я вам не мусор, я — национальное достояние, бля!

Я — уверенная поступь коммунизма!

В райской теплице Прованса я работал не покладая рук, иногда по десятку акварелей в день, большие туши и масло, но представления не имел, кому это надо. Истинный творец творит и в условиях полной блокады, и в среде безбрежной свободы, у меня же, признаться, не было ни плана спасения человечества от духовной гибели, ни силы устоять на собственных ногах среди вихря фальшивых поветрий.

Не прошел я и мимо горы Святой Виктории, воспетой всеми, кто ее видел. Я изобразил ее с крутой стороны поселка Толоне, а не с плоской, где стоит шато Вовенарг и где меня облаяла собака Пикассо.

Первый живой гуманист, клюнувший на мои провансальские опыты, был британский публицист и дачный сосед Джордж Батлер. Его супруга Ксения Михайловна, дочка русского генерала, совсем забыла родную речь. Я был первым за полвека, заговорившим с ней на ее родном и забытом языке.

Батлеры оформили мои картинки в прочные пастортины и повезли в Лондон на показ.

Мистер Батлер преувеличивал мои возможности и свою организаторскую гениальность.

Лондон не оценил мой труд.

* * *

Осенний сезон Парижа начинается в октябре. Вернисажи, ярмарки, дефиле высоких мод, но мы приехали пораньше. Тесть получал в Голландии

высшую премию за вклад в юридические науки, и 16 сентября мы намеревались присутствовать на торжестве.

Держалась необычайно жаркая и для Франции погода. Я нехотя, обливаясь потом, начал красить. Сосед угощал кальвадосом. Писал письма во все стороны мира. Меня посетила критик русской газеты Татьяна Паншина. Хвалила картины, хотя справедливо ждала парижской выставки, чтобы расписаться как следует. С Лидой Мастерковой пил в кафе пиво. Эдик Зеленин с женой и Пашка Радзиевский, мой московский сосед, ищут квартиры. Они мне сказали, что повесилась Елена Строева, а муж и дочка попали в дурдом.

Я открыл богатые отбросы на улицах. Оказалось, что по пятницам сгружается печатная продукция, где можно с увлечением покопаться и собрать библиотеку нужных книг. В первый же день в типичном «французском дворе» я обнаружил собрание сочинений Шолома-Алейхема 1959 года, московское издание. Такую ценную находку я немедленно поставил в свою первую библиотеку. Раз я столкнулся на развале с местной знаменитостью, литературным ученым лингвистом и эстетом Роланом Бартом. Он выбросил роскошный, составленный им же альбом «Эрте» под номером 37. Под этим именем прятался русский декоратор Петр Тыртов, ученик Репина, с 1912 года в Париже по домам моды. Потом, часто встречаясь на помойке, мы дружно копались в бумагах, не представляясь.

16 сентября наш поезд «Париж—Амстердам» летел как пуля на север. Я захватил с собой немецкий костюм, пеструю бабочку Сен-Лорана и чистые кожаные туфли. Мой свояк Массимо Шустер вез бумажный барельеф с изображением раскрашенных средневековых персонажей.

10 сентября газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о награждении профессора Рене Давида «премией Эразма Роттердамского».

Конечно, я не только слышал о гуманисте Эразме из Роттердама (XV век), но и рисовал его с какой-то гравюры, помещенной в академическом издании — высокая шапка, длинные волосы, выразительный профиль. Подробности его жизни почитал в толстом словаре «Пти Робер».

Поезд несется в Амстердам, а что это такое?

Кроме «урядника Петра Михайлова» (1698), строившего корабли для русского флота, для меня это и «Ночной дозор» и «Урок анатомии» Рембрандта ван Рейна, Терборх, Рейсдаль, Гальс, Вермеер Дельфтский, Ван Гог, Мондриан, Ван Дисбург, и самый красивый музей, где собран лучший Малевич.

Господа, прошу помнить, Голландия не республика, а монархия! Страной правит королева Жюлиана, и своего часа ждет принцесса Беатрисса.

Премию вручали в холодном соборе. Главный распорядитель зачитал постановление, мой тесть отвечал с короткой речью, вызвав неподдельные аплодисменты крохотного народа. Громко хлопала принцесса, хлопало дворянство и мы, родня. Сияющая принцесса, круглолицая, с ямками на щеках, как русская матрешка, смотрела на меня с удивлением.

Питеркирка!

На банкете в Лейдене меня посадили за стол с мадам Гиршман, — тут принцесса превзошла саму себя! О Гиршманах я знал почти все, с давних пор, и с первых рук. Отец моей соседки Владимир Осипович (умер в 1936 году в Париже) — первый собиратель русского авангарда, его супругу Генриетту Леопольдовну не раз рисовал наш заботливый и честный академик В.А. Серов (1911). Смотри в Третьяковке. Дочка отлично говорила по-русски и по моей просьбе

заказала булку, потому что хлебать суп без хлеба я не привык. Голландцы — культурный народ, но пожрать как следует не умеют, не то что французы.

Ну, конечно, Ван Гог! Как же Голландия без него?

— Скульптор Иван Семенович Ефимов, друг вашего отца, сказал мне, что вы фабриканты первой гильдии и протестанты.

— Да, было дело, — ответила изысканная дама, — но сейчас муж-голландец перestaшил меня в свою веру.

Ну, конечно, Ван Гог, ну, собрали Малевича в лучшем виде, но кто может сравниться с Вермеером из Дельфта!

Вот где благостная тишина, вот где лечат мятежников, смотри «Читающую женщину» в Королевском музее.

Голландцы хранят старину. Бетон недопустим. Велосипед и мост. Вода и многолюдство.

В Париже я как угорелый кинулся в круговорот осенних выставок, ярмарок и встреч.

«ФИАК» Жервиса собирает в начале октября «весь Париж», лучшие галереи Европы. Удобное сборище, где можно показаться как на променаде, присвататься и блеснуть.

Вот вприпрыжку пробежал мушкетер Жан-Марк Филипп. Лихо закрученные усы, густая шевелюра. Человек ищет мецената.

Вдруг шепот: «Смотрите, идет сам Сезар!»

Известного скульптора узнают издали. Черная блузка, борода до пояса, очки, рваные сандалии. «Лук» индийского гуру.

«Наши» тянутся за ним.

«Мишуля» Шемякин играет мастерового эпохи Возрождения — длинные волосы, подвязанные ремешком, сапоги выше колен. Юрка Куперман работает «под Модильяни» — ресторанный эстет с белым кашне через плечо, потертые джинсы, на пиджаке пятна краски.

Бывший ленинградец Вилька Бруй одет под американского ковбоя — широкополая шляпа с перышком, расписные сапоги, плащ до пят.

На них обращают внимание. У них есть шанс заработать.

Вот идут под ручку Татьяна Паншина и Лида Мастеркова. Они озабочены судьбами мира больше чем профессией.

А куда несет меня?

Часть восьмая ТРЕТЬЯ ВОЛНА ГОВНА

А ялошек мы шапками закидаем.
Русские в 1905 году

Именем Его Императорского Величества,
Государя Императора Петра Первого,
объявляю ревизию сему сумасшедшему дому.
В.М. Гаршин, 1880

1. Первая парижская война

Кому-то из советских вождей приписывают расхожую фразу: «Там они перегрызут друг друга!»

Свершилось — перегрызлись, но и «там» и «здесь». Вожди, падая и рассыпаясь в прах, тащили за собой неповинных и слабонервных людей культуры, готовых служить любому хозяину.

Судьба русской эмиграции, как каторжник к тачке, привязанная к особому развитию России, выделалась азиатской грубостью, помешанной с показухой европеизма.

Любая война начинается, как издавна повелось, с пустяка.

Никто не знал, с чего началась склока питерского художника с парижской галерейщицей, но диалог двух артистов, не поделивших деньги, разгорелась в пламя гражданской войны, затягивая в театр русского абсурда всех подряд, невзирая на лица и положение.

Вот портреты главных действующих лиц.

Опытная торговка искусством Дина Верни в торговом мире Запада считалась дельцом с большими

пробелами в партизанской биографии. Русская натурщица известных французских корифеев, в 30 лет стала владычицей огромного скульптурного наследия Аристиды Майоля. Такой запас прочности позволил ей снять доходный полуподвальчик в Париже и постоянно торчать на базарах современной пластики. Заново открывая Россию (она там родилась в солнечной и пыльной Одессе, но с послаблением нэпа родители вывезли за границу), Дина наткнулась на подземные сокровища.

По подвалам и углам советской цивилизации, бесплатно работавшей на вечность, можно было отобрать отличных артистов по вкусу и качеству.

Список замечательных избранников начинался с вождя питерского андеграунда Михаила Шемякина, молодого и гибкого человека тридцати лет. Он очаровал парижанку и яркой внешностью кавказского князя, и превосходной графикой с прелестными эротическими завитушками.

Первым среди москвичей значился Максим Архангельский, таинственный горбун, душа в душу живший с известной покровительницей подполья, Марией Вячеславной Горчилиной. У нее пили крепкий самогон и пели блатные песни, до которых Дина была большой охотницей. Металлические ваяния Максима, похожие на дырявые тульские самовары, отлично вписывались в обстановку перманентного гульбища.

Работы Володи Янкилевского, Илюши Кабакова, Эрика Булатова тоже пришлось взять — дареному коню в зубы не смотрят. За свой холст Оскар Рабин запросил сто рублей — на тебе сто рублей, тоже мне деньги, бутылка водки на французский пересчет!

17 октября 1971 года, после изнурительных и унижительных собеседований с вождями Ленинграда, ответственных за судьбы советских граждан, —

«эти разговоры мне очень дорого обошлись!», любит подчеркивать Д.В., — художник Шемякин спустился в Париж, где его поджидала семья, собака и выставка.

В информации Председателя Комитета Государственной Безопасности тов. Андропова в ЦК КПСС от 2 марта 1971 года (публикация от 12 января 1994 года, Москва) излагается следующее:

«Изучить вопрос о возможности и условиях реализации создаваемых в нашей стране некоторыми творческими работниками модернистских произведений для зарубежного потребителя».

Министр культуры СССР тов. Фурцева в докладной «записке» в ЦК КПСС от 21 июня 1971 года сообщает:

«В Кельне было показано 146 графических работ модернистов, общая стоимость которых (произведения на выставке продавались) составляла 120 тыс. марок ФРГ».

Где мы жили?

В секретных донесениях высших руководителей страны поражает не дубовый слог пролетарской мысли, а мелочное крохоборство валютчиков! — «реализация модернистских произведений», «зарубежный потребитель», «120 тысяч марок ФРГ»!

В державе с космическим бюджетом они без зазрения совести подсчитывают доходы с чужих графических работ.

Казалось, что в непреступной советской крепости появилась пара верховных валютчиков, тайно и беспощадно разлагавших бесплатные устои социалистического реализма и народного хозяйства.

Даешь чистоган и славу!..

Успех Михаила Шемякина в Париже был и легальным и доходным. Дина Верни не подвела советский Госбанк. Она взбаламутила стоячее болото па-

рижской культуры. По самым скромным подсчетам первая выставка питерского босяка принесла 300 тысяч франков выручки, но денег художник не получил. Уютная и скромная жизнь, организованная Диной, мало прельщала удалых питерских эмигрантов. При беглом знакомстве с богатыми витринами легкомысленного Парижа питерская семья решила, что можно и нужно жить лучше и веселее. Они могли угостить человека пивом за свой счет, но хотелось угостить шампанским, на пол бросить десяток персидских ковров и сидеть не на пластиковых табуретках за десять франков, а в кресле Луи Каторз за сто тысяч. Прошедшая огни и воды Дина умела экономно жить, располагая большими средствами, но делиться с разбалованной питерской семьей она не собиралась. Метафизическая связь художника и галерейщицы портилась день ото дня. Бездушные деньги разводили замечательных людей для затяжной «холодной войны». Воевать с парижанкой было не очень просто, но потомок кабардинского князя, навязавший спесивому Парижу свое искусство, лихо бросился в неравный бой. Как водится на войне, воюющие стороны принялись лихорадочно вербовать союзников, сторонников и двурушников.

В начале 70-х политическая, общественная и культурная жизнь русской эмиграции прекратилась. Исчезли партии, кружки, газеты и масонские ложи. В одном «власовском подвале» собиралась кучка «солидаристов» из малограмотных красноармейцев и беглых колхозниц Курской области. Они дремали на скучных докладах платных активистов, выпивали рюмку водки с грабительской наценкой, и расходились по своим норам с листовками вместо денег. Единственная газета в Европе «Русская мысль» едва держалась на похоронных объявлениях, постоянно взывая к помощи благодетелей.

Известный литературовед Аркадий Белинков, сгорая убежавший на Запад, метко заключает:

«Здесь моя жизнь занята препириательством с людьми, представление которых о России не выходит за пределы калужской средней школы. Разумнее было бы оставаться уважаемым писателем в Москве, чем ничтожным «тичером» в Нью-Йорке».

Боевой учитель из Рязани Александр Исаевич Солженицын с его лагерными романами освежил загнивающую эмиграцию. Один за другим посыпались инакомыслящие танцоры, шахматисты, музыканты, философы, литераторы, живописцы, а с ними платные тусовки, листки, концерты, выставки, склоки, доносы, смерть.

Просторная и больная держава в отлив «третьей волны» бросала не только непокорных корифеев, но и сорняк советской культуры, сотни недозрелых и перезрелых артистов, постоянно воевавших за свободу творчества. В результате однобокого протеста в центре Европы образовался особый и добровольный концлагерь со своими ворами в законе и вне закона, нарядчиками, придурками, кумовьями и шипачами, совершенно несовместимый с ходом мировой культуры и лишенный товарной ценности. Новоявленные гении осаждали галереи, магазины, издательства Запада в несбыточной надежде загнать по дешевке свои изделия вне времени и эстетики.

Миша Шемякин, укрепившись в парижской торговле, вошел в эмигрантский ареопаг на правах нарядчика русских выставок. Эмигрантам, один за другим пребывавшим в Париж и обреченным жить в русском лагере, предстояло пройти весь табель о рангах, принятый в допотопные времена, чтобы попасть в ничтожную экспозицию, скажем «в поддержку детям политических заключенных в СССР и странах народной демократии»!

Тактика Дины Верни, лет сорок державшей торговый промысел в блатном мире искусства, не отличалась новизной. Она знала целебное действие денег и признание современников. На выставке московских художников 1973 года лихой кабардинец не был представлен. Обозленный Шемякин, в бараний рог гнувший нищих диссидентов, за кружку пива готовых продать родную мать, расставил свои сети. Подкупленные шпионы и наблюдатели, как навозные мухи, кишевшие над эмигрантским лагерем, распространяли сплетни, что Дина Верни не только «воровка, укравшая у гениального Шемякина сто тысяч франков», но и «кадровый разведчик КГБ», для чего есть «масса свидетелей».

Московский литератор Алесандр Глезер собирал загибы подпольного искусства, лишенного эстетической ценности.

Голосистый агитатор «литфронта», забубенный комсомолец и фарцовщик в 1967 году стал толкачом «деревни Лианозово», где оказался и я. Окрыленный политическим успехом выставки «12» в клубе «Дружба», где собралось множество иностранцев, приглашенных художниками, Саша так вознесся, что стал строить планы порабощения Запада, и в феврале 1975-го, после изнурительной «беседы» с властями вывез за границу (израильский вызов) сто картин подпольного искусства и еще пятьсот нелегальным путем.

С ним я цапался не раз. Сразу после выставки «12», где я принимал участие, мы не сговорились о ценах и разошлись по своим углам.

Мой ангел хранитель шепнул, что союз с таким агитатором кончится полным провалом. Сашка катил «политику» на «искусство», думая, что таким путем можно пролезть в мировую культуру. Даже его торговля была в корне порочной. Вместо того чтобы выставлять лучшее андеграунда, он выставлял все без

разбору, без всякого понятия о стиле, моде и конкуренции. Он предлагал подпольные картины, как предлагают березовые веники на базаре. Западный капиталист и эстет с удивлением смотрел на такого продавца и шел дальше.

Русская община в лице вездесущего Никиты Алексеевича Струве, француза, привязанного к духовным ценностям России, выделила для А.Д. Глезера помещение в пустовавшем «шато» Монжерон. О появлении Глезера, «поэта, редактора и директора», оповестила вся французская пресса, но вернисаж вышел по-московски буйным и пустым. Люди напились, подрались и разбежались, оставляя горы объедков на «русском столе».

Кооперация Шемякина, крепко стоящего на ногах в Париже, и динамичного новичка Глезера состоялась без особых хлопот. И тот и другой мечтали покорить западный мир.

План выступления «под Дягилева» обдумывали в большом секрете на кухне Шемякина, подальше от провокатора Льва Нуссберга и диких подстрекателей на стороне. Совсем неясны были игравшие в независимость Юрий Куперман, Виктор Кульбак, Александр Злотник, Валентин Воробьев.

Даешь валюту!

Кажется, что советские звездочеты допустили грубейшую ошибку, доверив «зарубежного потребителя» малограмотному просветителю? Отнюдь нет! Известные конкуренты Глезера, собиравшие тех же «творческих работников»: Арутюнян, Нутович, Колодзей, Кузнецова, Михайлов, — годились лишь строиться на бутылку портвейна в темном подъезде, а не ударить по карману Запада!

Как просто и точно выразился художник Эдуард Штейнберг:

«Иного Бог не послал!»

Лозунг момента: иду на Париж!

24 января 1976 года в местечке Монжерон, в старом доме с прогнившей крышей, где в свое время жили русские сироты, открылся «музей подпольного творчества». В давке русского вернисажа с дешевым вином и винегретом толкались фотографы, ожидавшие мордобоя, художники и князя. Над толпой возвышалась породистая морда Виктора Луи, нарочно прилетевшего из Москвы.

— Я не люблю Запад! — энергично повторял Глезер. — Эмигрантский круг для меня совершенно чужой!

И вот ненавистник Запада открывает русские выставки в Париже и в провинции.

Потомок кабардинского князя отлично понимал, что Саша Глезер с его допотопными картинками — плохая лошадка для западных бегов, но Глезер был популярен в прессе и лишний, пусть и ненормальный, единомышленник годился для партизанской войны в Париже.

Шемякин протянул руку помощи, и под вздохи цыганской гитары закипела подрывная работа.

Древние хранители русских святынь, воспитанные на патриотическом реализме Виктора Васнецова, с большим подозрением наблюдали за таинственной суетой «совков», не плативших за свет, газ и телефон. В больных мозгах «Монжерона» — Глезер, Шемякин, Лягачев, Петров, писатель Вл. Максимов — родилась бредовая мысль выступить в Париже под пламенным, диссидентским флагом, показать весь блеск андеграунда с цыганским пением и плясками. В военной операции с ограниченными средствами приняли участие все заключенные исправительно-трудовой колонии города Парижа. На оккультной кухне «Монжерона» решалась судьба русского искусства.

Я не толкался в «шато» Монжерон и не дежурил в лакейской «Мишули». На выставку меня затащил писатель Марамзин, когда-то ночевавший в моем подвале. В Париже он мне сказал с удивлением:

— Старик, да ты что, надо обязательно там выставиться! Ты здесь единственный «бульдозерник». Я сейчас же прикажу Шемяке отвести тебе отдельный зал!

Я подумал, что от моего присутствия выставка не станет лучше, но «Мишуля» снимал просторную, буржуазную квартиру на авеню Женерал Леклер, в благородном 14-м округе. О моем существовании он знал, картины видел у Глезера, но для чистой формальности просил показать снимки картин. Я в свою очередь составил «историческую просьбу» на выставку, которую он тут же лихо подмахнул с припиской: «О кей! Не возражаю против четырех картин».

На подстилке спала белая собака с острым красным носом. По коридору бегала девочка с подушкой на голове. Женщина с острым подбородком издали кивнула головой. В одной комнате пара тружеников мусолили шемякинские заготовки, а в другой на старом диване спал козлобородый автор каталога, Владимир Петров.

— Ты опоздал, — победно ухмыляясь, сказал хозяин. — Отдельные залы разобрали коллеги.

Дул ветерок, под ноги сыпались желтые листья, светило скудное солнце октября.

Выпивка по случаю открытия выставки была широкой и пьяной. Я вырядился в бежевый костюм с пестрой бабочкой. На гитаре брэнчал старый цыган Поляков, рядом, укрывшись цыганской шалью с яркими красными букетами, стояла знаменитая актриса Марина Влади. Какой-то советский атташе требовал выставку прикрыть как антисоветский шабаш. Нусберг выяснял отношения с Шемякиным. Его сурово наказали, повесив в темный угол маленькую гуашь.

Хозяйка помещения, мадам Кристин де Колланж, похожая на куклу с магазинной витрины, разливала водку. Мы строились: Катька Зубченко, «грек» Боря Радовский и я.

Получился не «Серж де Дягилев», а цыган Володя Поляков.

* * *

Лев Вальдемарович Нуссберг был наиболее уважаемым представителем свободного творчества России, создателем передовой бригады «кинетистов», человеком широким, энергичным и грамотным в отличие от своих коллег, не умевших читать латинские буквы. Судьба ему ласково улыбалась, обеспечивая верный шанс прославиться на Западе.

В августе 1976 года он въехал в Париж.

Привередливый западный заказчик день ото дня терял интерес к гремевшему в 60-е годы кинетическому течению, напрямую связанному с промышленным бумом электроники и синтетических заменителей. Поколение «68», поколение цветов, наркотиков, любви и мира бежало в природу, в нирвану, в экологию, в пастухи. Длинноволосые бородачи начисто отвергали потребительский мир капитализма. На модной волне экологизма поднялись акулы концептарта. Один итальянский герой нового «изма» дорого продавал на выставках свое собственное, консервированное в банках, говно. Парижский концептуалист Кристиан Болтанский торговал пробитыми билетиками метрополитена, и быстро прославился. Немецкая знаменитость Йозеф Бойс, бывший летчик Гитлера, приходил в лучшие музеи мира с топором в руках, чтобы на глазах толпы разбить на щепки десяток буржуазных телевизоров. Пара британских нудистов Жильберт и Джорж просто показывали публике голые жопы, разрисованные ромашками.

Эстетическая программа эмигранта Нуссберга с его кинетическими играми, с коллективным творчеством и действием запоздала, и русское присутствие в этом деле главари бизнеса начисто отвергали. К лихорадочным хлопотам устройства в совершенно новом мире прибавилось неприглядное поведение западно-европейских друзей. Влиятельные Виктор Вазарели, Пьер Рестани, Франк Поппер и Понтюс Хюльтен (директор французского артцентра Помпиду), трубившие хвалу русскому новатору, пока он сидел в дерьме советской России, вдруг поджали хвост и ничем не помогли.

Франция, город Париж всем русским снился в лучах солнечного короля Луи Каторз: Версаль, сады, фонтаны! Затем ослепительный блеск изящных искусств, где впереди всех Ван Гог, Сезанн, Пикассо, — какой призыв, какая тайна!

В конце семидесятых, периода скопища советских эмигрантов, Париж был не «городом света», а окраиной артбизнеса. Как всегда хорошо кормились специалисты «вечного реализма»: «жопники», «кошатники», «пейзажники» и т.д. На людей с высокими идеями, да еще приبلудных с Востока, смотрели, как на сбежавших из дурдома сумасбродов.

Парижское жилище Нуссберга, словно в насмешку, заполнялось типично русским декором. На полках стояли не сочинения Бергсона, Сартра, Хайдеггера или Ницше, а зачитанные до дыр книжки Авторханова, Солженицына, Синявского, иконы и самовар.

Отступление в тыл России? Переход из западников в славянофилы?

Интерес иностранцев к России Лев Нуссберг явно преувеличивал. За свои сорок лет он ни разу не бывал за границей — не пускали! В музеях Парижа поражало полное отсутствие русского творчества. Советская Россия оставалась белым пятном отсталости и бес-

культуры. Груды каталогов и словарей со статьями о «Движении» оказались ненужными. Фантастический план русского футуролога об усовершенствовании человечества посредством киберромантической эстетики и коллективного творчества Париж не принял. Крупные фирмы и знаменитые музеи, швырявшие бешеные деньги нудистам с британских островов, экологистам с топорами и говном, с большим подозрением смотрели на грандиозные и наивные замыслы русского утописта.

Робко поддержали итальянцы.

Итальянские еврокоммунисты, заправлявшие культурой в Венеции, охотно шли навстречу советским диссидентам. Лишний раз разворошить мешанское болото руками совков.

ГУЛАГ! Дурдом! Нонконформизм! — Звучит!

И Дина Верни и Лев Нуссберг отлично знали о предстоящей манифестации в Венеции, но такими мелочами, как составление списка участников, необходимый выставочный материал и каталог поручался «Монжерону», претендовавшему на это дело. Итальянцы очень смутно представляли положение нонконформизма в Советском Союзе. Они знали два-три имени, а здесь им предложили досье на сотни имен, причем центральное место занимала совсем неизвестная группа «Санкт-Петербург», где числились сразу три Шемякиных, Михаил, Ревекка и Доротея. Они обратились за справкой к известному им Льву Нуссбергу и Дине Верни, и, естественно, вся несуществующая группа, и в ее числе и Михаил Шемякин, были исключены с венецианской выставки.

Так, сразу, одним ударом и чужими руками, Лев Нуссберг отомстил Шемякину за позор парижской выставки 1976 года в Пале де Конгре, где видная группа кинетистов не была представлена, а Дина Верни расправилась с бывшим и предавшим ее питомцем.

Диссидентское биеннале, или «бздинале», как выражался Васька-Фонарщик, ублюдочно организованное, выявила невиданные склоки и маразм русского лагеря, совершенно немыслимые даже в захолустной Совдепии.

В безвкусно состряпанном черно-белом каталоге, куда не попали неугодные Монжерону художники Кабаков, Шварцман, Инфанте, Чуйков, Рогинский, Куперман, очень четко определились самодельщина и групповщина парижских диссидентов и лицемерие их итальянских покровителей, присвоивших городские деньги. Кинетическая инсталляция, над которой Лев Нуссберг трудился на месте, в день вернисажа, 3 ноября 1977 года, рухнула на глазах обалдевших зевак. По словам Нуссберга, саботаж приготовили Глезер и Шемякин, ночью отвинтившие главные гайки.

Венецианский обман вместо представительной выставки!

Парижский подвал Дины Верни, обитый желтым штакетником, стал вроде фильтрационного пункта, или чистилища, где перемещенных художников отправляли в одно направление, в ад.

— Старик, здорово! Это я, Юра Жарких! Отведи меня к Дине Верни!

Не менее пяти лет цвет русского художества вереницей тянулся в это чистилище.

— Тебя как зовут? — прижимала с порога хозяйка.

— Юрий Жарких, — волнуясь, отвечает проситель.

— Что-то не слышала. А ты чей?

Загнанный в угол Жарких долго соображает, чей он, и наобум отвечает:

— Я друг Шемякина!

— Вали отсюда, пока жив, и не показывайся мне на глаза!

Были встречи иного колорита.

Входит красиво одетая москвичка Лидия Алексеевна Мастеркова с папкой в руках.

— Ты чья?

Лида, гордо вздернув лицо:

— Я сама себе боярыня Морозова!

— Ишь, ты, боярыня с голой жопой. Садись. Тебе чаю или водки?

Храбрых баб Дина ценила. Она не только поселила бездомную художницу у себя над галереей, но сделала выставку и все продала. Но стоило Лиде сделать один грубый, оскорбивший хозяйку шаг, как она лишилась квартиры и заработков.

Л.А. Мастеркова — прямая наследница «амазонок» русского авангарда двадцатых годов. Она начала в глухом подполье пятидесятых, а в 1960-м после квартирного просмотра у Ильи Иоганновича Цырлина ее знала «вся Москва» как мастера живописи первой величины. Ее эстетизм высокого полета и поиски пластической новизны совсем не размещались в практике художников Лианозово.

Очевидно, дружбой ее мужа В.Н. Немухина, работавшего в одном учреждении с Оскаром Рабиным, определялась ее близость к кружку.

Истоки ее творчества следует искать не в опытах русских футуристов, а в общем европейском движении тех лет. На память приходит английский художник Бен Никольсон, его «белые рельефы», известные в Москве по выставке 1958 года. Мастеркова вводит текстуры в поверхность беспредметных композиций, старинные куски ткани, парчу и шитье приглушенных тонов. Параллельно она создает серию графических работ, «туши» круговой композиции. На выставке в Париже (1977) эти вещи имели большой успех. Мы возобновили знакомство. Я старался ей помочь мелкими покупками.

* * *

Александра Дмитриевича Арефьева я узнал и полюбил, когда он завалился в Москву в 1970 году. Он привез превосходные вещи экспрессивного реализма.

— Все отдам Арману Хаммеру и ничего большевикам! — хорохорился он.

Хаммер не купил, но вещи разобрали безымянные иностранцы, шедевр за бутылку виски.

В 1977 году он без всяких глупых комплексов выдал себя за еврея и спустился в Вену, где жена предательски сбежала от сожителя в Германию. Как побитая собака, с чемоданом набросков и язвой желудка, Саша Арефьев прибыл в город своей мечты, в Париж.

Знаменитый Шемякин его не впустил ночевать. В глухом и далеком Ленинграде «Арех» и его друзья, Громов, Васми, Рапопорт, пили водку, забавлялись, как умели, и оставались, если не очень полезными, то совершенно безвредными людьми. В исправительных лагерях зарубежья этим пожилым, больным и разбалованным артистам советского дна отводилась роль придурков без крыши над головой.

Обиженный и бездомный Арех постучался к Дине Верни и получил деньги.

— Заходи, Арех, дам еще!

С наличными деньгами Дина управлялась с удивительной ловкостью. Сперва казалось, что валюта летит на ветер, но потом получалось, что купленный эмигрант правильно рисовал картину парижской жизни и готов был уличить любого противника в извращении неопровержимых фактов.

Однокашник Шемякина по рисовальной школе, сибирский авангардист Эдуард Зеленин тихой сапой пролез в галерею Карпантье и объявил Шемякина своим учеником. На предательский удар в спину Шемякин ответил ударом по славе сибиряка. Выставка

Зеленина в галерее Карпантье была спешно ликвидирована, а картины арестованы в счет ничтожного аванса. Коварный сибиряк приплелся в подвал Дины.

— Ну что, Зеленин, — повис вопрос над грешной головой сибиряка, как дамоклов меч над древним греком, — хочешь всех наебать?

— Да я ничего не знаю, Дина, — робко отбивался художник.

— Вот тебе ручка и карандаш — пиши все, что ты не знаешь, в подробном виде, — в позе хозяйки положения приказала она.

Сибиряк посмотрел на ручку и лист бумаги. По углам сидели заговорщики. Курносый летописец Петров. Пара братьев Лягачевых, обернутых в кожаные штаны. Могучий Нуссберг с мосластым борзым псом.

— Ну, вот и молодец! Вот тебе мой диск за хорошее поведение, — сказала Дина, опуская показания сибиряка в несгораемый ящик.

Зеленин взял диск блатных песен, напетых Диной на русском языке, и присел в свой угол.

Начинающий журналист, сын французского коммуниста, но сам антикоммунист, Поль Торез выдавал себя за покровителя советского инакомыслия, допекая салонной критикой Екатерину Фурцеву и Радугу Аджубей. В обмен за светские сплетни о «белютинцах», показавших свои творения в буфете московского Манежа (1962), он получил известность в журнальном мире.

Родился Поль на советской земле, под ослепительным солнцем сталинской конституции, где папа скрывался от военной мобилизации. После долгожданной амнистии семья Торезов приятно проводила время, то в ярме мирового капитализма (Париж, Ницца, Африка), то на родине мирового коммунизма (Артек, Барвиха, Кремль), и всегда в отборном обществе врагов народа, фарцовщиков и артистов.

Приказ затравить и растоптать выскочку Шемякина он получил сразу после ссоры в 1973 году. Поль Торез и примкнувший к Дине отпрыск русских князей Степа Татищев, занимавший пост культурного советника в Москве, были подходящими лицами для сбора компрометирующих документов.

Летом 1976 года в Париж докатилась скорбная весть. Питерский абстрактивист, организатор «бульдозерного перформанса» Евгений Рухин сгорел в огне собственной мастерской. Разведчик Шемякина, некто Есауленко, благополучно выбрался из огня и спешно выехал на Запад. Предательская логика вела к заключению, что огненная смерть не обошлась без участия «Монжерона», ненавидевшего бесстрашного героя дипарта.

На отпевание Рухина в парижском соборе ни Шемякин, ни Глезер не пришли.

20 ноября видная газета Парижа «Котидьен де Пари» в статье за подписью Поля Тореза, с особым остервенением ошельмовала начальника парижского концлагеря Михаила Шемякина.

Выставка под пламенным диссидентским флагом в Пале де Конгре оказалась уродливой и с позором провалилась. Журналист целил в организатора незадачливой выставки Шемякина, обвиняя его в плагиате московскому затворнику Михаилу Шварцману, создавшему какой-то «мистический синтетизм». Добавляли и аморальную эксплуатацию детского труда, вероятно, имея ввиду творчество малолетней дочери Шемякина, занимавшей центральное место в помещении.

Уязвленный кабардинец потратил уйму денег для фабрикации печатного фолианта под названием «Аполлон-77». Внештатный летописец русского зарубежья Петров, спавший у Шемякина на собачьей подстилке, день и ночь строчил статьи, вымарывая

«пресловутого Нуссберга» и «банду Дины Верни» из истории искусства.

Книжка попала в СССР и была забракована.

В письме ко мне Эдуард Штейнберг писал:

«Какой-то Петров — основной автор этого журнала — всем своим знакомым раздает из окна по гениальности, как будто дело происходит в чайной на станции Чухлома».

Диссидентское биеннале в Венеции, где Нуссберг, друживший с организаторами Энрико Крипольти и Габриелла Монкадо и вымаравший Шемякина и его группу, сблизило его с Диной Верни.

— Диссидентское искусство очень слабое, — выступала Дина в оживленной дискуссии в Венеции, — но надо учитывать, в каких трудных обстоятельствах оно создается.

Лев Нуссберг не считал себя слабым, но на карикатурные шалости Калинина, Калугина, Овчинникова, Рабина большой капитал, разбалованный чудесами модных «измов» совсем не клевал и призыв Дины его не трогал. Подпольная пестрядь призов и славы не получилась.

Неугомонный московский кинетист внес дополнительное напряжение в парижской войне. Его независимая и разрушительная деятельность началась сразу после оскорбления, нанесенного «Монжероном» в 1976 году, когда русские кинетисты намеренно были унижены.

Богато одаренная и сильная натура, чувствительная к современности, он первым в Москве открыл значение русского авангарда 20-х годов и плечо к плечу шел с первыми кинетистами мира, что казалось абсолютным бредом в стране без гвоздей и хлеба. Годами неукротимая энергия «отца русской кинетики» тратилась на бессмысленные диспуты с властями, нерадивыми учениками и неверными женами. При-

зрачный успех, постоянная грызня последователей, милицейские облавы принудили к эмиграции.

У командиров Монжерона он сразу попал в черные списки опасных противников.

Надо было быть последним тухлой-матюхой, а Лев Нуссберг был из породы бойцов, чтобы терпеть за спиной коварных обидчиков, тянувших на себя всю одеялку русского авангарда.

— Я Монжерон сотру в порошок! — выкатив грудь колесом, заявил Нуссберг.

Дина Верни открыла пузатый кошелек. Борзые собаки Гришка и Глашка с восторгом подпрыгнули до потолка. Я блаженно грелся у пламенного костра кинетизма. — Не надо! — брезгливо отвернувшись от кошелька, сказал Лев Вальдемарыч. — Истина дороже денег! Шемяка чирикал карандашом, когда я возводил монументы в его родном городе. А этой коморочной какашке Глезеру я не позволю измываться над современным искусством! За истину я полезу под топор!

Момент дурдома!

В эмигрантской игре я Нуссберга ценил выше всех. Мне не совсем понятен был его «русский выбор», европейца до мозга костей. Мне казалось, что это временное расслабление, чтобы потом ударить по верхотуре мировых величин, и лишь позднее мне открылась правда — Запад Нуссберга отверг!

Нуссберг, как мой любимый Гулливер, очутившись в стране Гордость Вселенной, где ученые долго разглядывали Гулливера в увеличительное стекло и нашли решение, что он не зверь, так как ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью, — сходство есть, но величины разные!

4 января 1978 года художник Оскар Яковлевич Рабин с женой и сыном пересекли государственную границу СССР. В таблице о рангах, составленной про-

светителями Монжерона, у него был чин «безусловного лидера русских нонконформистов».

Иначе — вождь подпольного колхоза.

Как часто бывает у нас, хороший человек был малообразован и малоодарен.

Барак ограниченных возможностей.

Но русский человек — всечеловек, как выражался Федор Достоевский, и семья советских туристов день ото дня балдела от витрин Парижа. Сын Сашка наотрез отказался возвращаться назад. За ним тянулась мать. Оскар размышлял, на какие шиши жить за границей. Верный оруженосец Сашка Глезер доложил, что в русском лагере не все благополучно. Постоянная нехватка денег, неудобство пригородного Монжерона, куда посетителей, не говоря уже о покупателях, надо загонять палкой. Есть пара чудачков, скупавших русские картинки, но на них не проживешь.

Пастораль братской любви.

Сменить Глезера было некем. Мишка Шемякин строил свою карьеру. Дина Верни крутит хвостом и ставит невыполнимые условия — я или Глезер? Как довериться взбалмошной бабенке, прогнавшей Шемякина и Лиду Мастеркову? Завтра выставит на тротуар, а Глезер без лести предан.

С приездом семьи Рабиных монжеронский вояка стал мягче и деликатней.

— Слушай, — звонит он мне, — ты знаешь типографию Березняка? — Ну, вот, рядом уютное кафе с самоваром. Приходи, надо серьезно поговорить. Будет Оскар, Шемякин, Нуссберг и Пашка. Жду!

В кафе с декоративным самоваром, сдвинув пару столов, сидели Глезер, Оскар и Шемякин. Я поздоровался со всеми и сел напротив. С опозданием и грохотом в кафе ввалился Лев Нуссберг с Пашкой Бурдуковым, но без борзых собак.

Я не видел Рабина четыре года. Он постарел и осунулся. Пиджак московского пошива висел на нем, как на вешалке. Из-под свитера выглядывала светлая рубашка не первой свежести. Весь он казался затертым, потеряннным. Мишка Шемякин молча застыл над пивной кружкой.

— Ну вот что, здесь собрались все свои, и я предлагаю вечный мир вместо войны, — начал Глезер. Шемякин, сверкая тусклыми очками, нелепо осклабился. Рабин полез за сигаретами. — За углом типография с готовым журналом. Я закрываю все обвинительные материалы, но такая операция обойдется нам в сорок тысяч франков. Думаю, что в доходном чемодане Левы Нуссберга не убавится, если он оплатит все расходы!

— Нет, вы слышали, что он сказал! — резко вставая, прервал Нуссберг. — Я сплю на чемодане с золотом! Глезер лезет в чужой карман без зазрения совести! Вместо того чтобы трясти богатую Францию, он трясет несчастных эмигрантов! Паш, Валь, Оскар, ты слышал речь этого дурака? Мне плевать на твои документы! Иди, печатай, а от меня ты не получишь ни единого сантима!

Главный кинетист опрокинул гнилую табуретку, кликнул Пашку, завел мотор и со свистом укатил со двора.

Гений без места!

В таком гнусном переплете я видел Оскара Рабина впервые.

Прикрываясь пустыми словами о святом искусстве, эти мелкие мошенники, обижая друг друга, возводили пирамиду дерьма, разгрести которую придется годами.

Моя попытка возобновить человеческий разговор с Оскаром, прерванный в 1974 году, вертелась на холостых оборотах. Художник, под знаменем которого я

десять лет сражался за свободу творчества, угрюмо мычал, дымил, пыхтел, горбился. Мне показалось, что он походит на Царь-пушку, неспособную к стрельбе.

Встреча в кафе с самоваром закончилась полным провалом.

С передвижной выставки по городам Франции кинетисты «Движения» были начисто вымараны. Более того, старейшина питерского нонконформизма Александр Арефьев не был приглашен. Обвинительные материалы, о которых говорил Глезер, рассчитанные на доверчивого читателя города Чухломы, так никогда и не вышли.

Затяжная партизанская война перекинулась в «независимые профсоюзы» Москвы и Ленинграда, где за кормушку дипкорпуса дрались «семерки», «двадцатки» и «сотни», то и дело выпихивая за границу обиженных и гордых.

2. Флорентийская самоделка

Для меня быть значит рисовать.

Живопись для меня — и познание самого себя, и увлекательная работа, и молитва, и средство общения с внешним миром.

За рисование меня часто били: красноармейцы Брянска и отчим, дружинники и участковый, коллеги и выставком, убеждая, что рисование — преступление.

Я — графоман, преступник и враг народа!

Меня удивляет, что находятся люди и платят деньги за мою мазню.

Чтобы избежать пошлости в искусстве, необходимо знать достижения прошлого, постоянно изучать зримый мир и народную мифологию, где ярче всего раскрыта нравственная сторона искусства, где невероятная выдумка воплощена в яркой художественной форме.

В наше время, когда культуры всех племен и народов сошлись вместе, необходима особая безмятежность духа, совершенная техника исполнения и личный ход в искусстве, вопреки буйному росту всевозможных «измов», организованных торговлей и модой.

В начале 1978 года мой благородный тесть Рене Давид, постоянно думавший о будущем русского зятяка, нашел во Флоренции «культурный центр», располагавший выставочным помещением.

Да здравствует Флоренция!

Всем известно, что Италия — музей, а Флоренция — музей всем музеям, со своими церквями, украшенная шедеврами Ренессанса, своим культурным сокровищем Уффици, с самыми изысканными артистами, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Фра Анжелико, от одних имен кружится голова.

И вдруг мне предлагают в прямом соседстве с такими величинами, на пьядца Огнисанти выставить мои каракули.

Год или полтора я ухлопал на «полосатые абстракции», так меня увлекшие, что не представлял иного дела. Главный фокус изображений, часто большого размера, заключался в комбинации трех-четырех колеров, проведенных широкими флейцами без поправок (ах, эти флейцы, свободной, без блата продажи!). Так вот несколько рулонов таких «встреч» в конце февраля я повез на показ итальянскому народу. Я знал, что предстоят столярные и типографские хлопоты, но не в моих правилах было отказаться от светливой самоделки.

По моей просьбе римский профессор Франко Миелле, автор «Истории русского искусства» (1973), накатал такую большую и хвалебную статью, глядя на один мой холст частного собрания, что мне пришлось стыдливо сократить ее на три четверти. Все

столярные и издательские работы провернула жена, прилежно и терпеливо переводившая тексты и забивавшая гвозди в стенку, как заправский столяр.

На вернисаж во дворец Ленци-Кваратези (1450) собрался итальянский народ, изучающий французский язык, человек пятнадцать, не считая тестя, тещи и жены. Выпили несколько бутылок красного вина, заели орехами, разбежались по домам зубрить французский. Осталось два босса местной жизни, знаменитый скульптор Кармасси и президент Европейского Университета, господин Константины. Ревнивый скульптор нес чепуху о моих американских учителях, и лишь один президент задал человеческий вопрос: «А эта сколько стоит?» Конечно, деньги оттяпали в университетском бюджете, но одну «полосатую встречу» купили и повесили на белую стену.

Десять дней, с утра до закрытия я дежурил в пустом зале эпохи высокого Возрождения, а после конца рабочего дня бежал в собор Всех Святых с редким изображением флорентийского гражданина Америго Веспуччи, как известно, присвоившего себе Америку, фреской братьев Гирляндайо (1473) и рядом — «Святой Августин» Сандро Боттичелли со стопой святого самой изысканной и небывалой в мировом искусстве линии.

Конечно, я осмотрел все, что может осмотреть глазастый турист за неделю, но вещи Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» (1481) и часть его работы под руководством Вероккио в «Крещении Христа» — левый ангел и пейзажный фон — подавал урок лучезарного света.

«Красный квадрат» Фра Анжелико — церковь Сан Марко, в «Обрезании Христа» (1438), да и синий фон в «Распятии», — чудо духовной тишины и благородства, превосходит всех «звезд» супрематизма вместе взятых.

Эти трое магов основательно поправляли мое спокойное сознание.

Под занавес ко мне пришел журналист и художник Томмазо Палосия. Он ловко нарисовал мой профиль в духе Каран д'Аша и написал в местную газету похвальную статью.

* * *

Потомок кабардинских джигитов не собирался стареющего и больного наставника «Ареха» содержать за свой счет. И никто не собирался, но было множество коммерческих вариантов, куда можно было, не пачкая рук и совести запихнуть замечательного художника. Простая выставка в доступных Шемякину галереях Харди, Карпантье, Альтмана могла обеспечить Арефьеву полгода сносного существования, однако хрупкие фантазии «Ареха» пылились в чемодане Шемякина.

Да, горячий художник дал письменные показания против него, но так добивать друга юности и учителя нельзя. Такой мстительной бесовщины самого низкого пошиба русский лагерь еще не выдавал.

Арех ходил по домам и пил.

Пятого мая мне позвонил писатель Марамзин и сказал, что Арефьев умер. Его открыли в гнилом гостиничном номере в луже крови. Из рта выползла почерневшая печень. По заключению медиков, распоровших эмигранта в морге, он скончался от цирроза печени и отравления наркотической дрянью. Ленинградский чемодан кто-то успел перебрать. Ни картин, ни гуашей не нашли. Кучка грязного, невытого с Ленинграда белья и горсть цветных карандашей, которые я подобрал на память. 13 мая, в присутствии кучки предателей, среди которых не было ни Шемякина, ни его супруги, знавшей Ареха еще рань-

ше, его сожгли в печке Пер Лашез и запаковали в ящик под номером 19 518.

Приехавшая на похороны Жанна Яценко в чемодане обнаружила записку: «Мне все безразлично... дел никаких нет... скоро конец».

Все клошарские похороны и ящик с номером благородно оплатила Дина Верни.

В особое развитие русской изобразительной культуры А.Д. Арефьев внес свое яркое и оригинальное видение. Еще в 50-е годы, с кучкой безумных друзей, он раскрыл жанр «советского дна», не подозревая, как глубоко копнул. Этот жанр отличался не только тематической новизной, но и особой формой, идущей от Тулуз-Лотрека, но самостоятельность дара и особая питерская интонация бросались в глаза. Цикл «блядей и алкашей» — потрясающий документ высокой живописной культуры.

Человек, заранее знавший о своем близком конце, шел на него добровольно, как избавление от мучений физических и нравственных.

Саша Арефьев умер бродягой и в гнусном окружении. Мне кажется, что записку такого содержания Арефьев не оставил бы в своей ленинградской квартире с видом на лебединое озеро.

«Мне все безразлично... дел никаких нет... скоро конец».

Запад не нуждается в питерских шизофрениках.

Серия жутких смертей — Елена Строева (петля), Евгений Рухин (пожар), Александр Арефьев (отравление), Надя Эльская (убийство), В.П. Пятницкий (отравление), И.В. Морозов (петля) — напрямую связанных с русским андеграундом, в ходе смертельной вражды.

Журналист Поль Торез был посрамлен, а газета оштрафована. Оскорбленный Шемякин получил в суде желанный выигрыш в виде «почетного франка»,

Лев Нуссберг сбежал в Германию, однако выиграть один бой не значит добиться полной победы.

Парижская галерейщица Дина Верни готовилась к возмездию.

В тиши немецких кабинетов Нуссберг готовил новую сенсацию.

После кратковременной, летней передышки началась бохумская война.

3. Мой брянский край

Как попасть в Брянск?

Дурацкий вопрос — садись в самолет, поезд, автомобиль и поезжай, если большой сноб, иди пешком или на велосипеде.

Брянск — мой родной край. Там живет моя мать, отчим Илья Петрович Зарубин, там могилы дедов и пятьсот человек родни с обеих сторон.

Легко сказать, сложнее сделать!

Брянск — закрытая, то есть военная зона, а не просто областной центр. Гражданин без особой прописки не имеет права там жить более трех дней, а иностранец может въехать по специальной командировке, если у него есть образцы польских бюстгальтеров или китайских чайников.

Я и моя жена въехать туда не имели права, но я решил туда попасть, во что бы то ни стало.

Потеряв «прописку», «московский подвал» и «профсоюз», я не потерял надежды увидеть мать. По советским законам я не мог передвигаться за пределы «золотого кольца России», маршрут совершенно мне не нужный. Я хотел видеть мать, живущую в Брянске, показать ей жену Анну и сделать денежный перевод. Мы долго ломали голову как быть и вскорости открыли лазейку, правда шитую белыми нитками, но проверенную и обкатанную до нас.

Ничего героического. Хитрость и расчет.

Город Алэс собирал группу школьников для поездки в Ростов-на-Дону. Туда могли записаться в качестве стажеров и желающие попасть в СССР. 15 июля 1978 года в парижском аэропорту мы встретили бывшую «власовку» Клаву, желавшую попасть в Шахты к родне, и пару армян, спешивших в Ереван.

Решено: едем в Брянск!

Нам предстояла десятидневная поездка с неизвестным содержанием. Мы записались учениками русского языка в Ростов-на-Дону. Самолет спускался в Москве. Пересадка на поезд. На Москву отпущены сутки. Три встречи — с Эдом утром, днем розыски Мышкова и вечером Рудик Антонченко, кристальной души человек, свой в доску.

Встреча с друзьями состоялась на кухне Эда Штейнберга. Он срочно бросил рыбалку на Вытегре, чтобы повидаться с нами. Пришел Генрих Сапгир и Володя Аниканов. Потом с опозданием Кирка Сапгир. Днем пили перцовку и засыпали вопросами, от наивности которых хотелось выть. Например: «Как там наши?»

Наши значит земляки!

Что я знал о земляках? Почти ничего! Слухи, как все. Иосиф Бродский пишет стихи и преподает. Оскар Рабин рисует и учит французский. Сашка Арефьев отравился, Ленка Строева повесилась. Женья Терновский служит в журнале «Континент» и пишет романы. Шемякин дерется с Диной Верни. Лида Мастеркова купила подержанный «Мерседес». Генрих Худяков подметает Нью-Йорк. Лев Нуссберг выбивает из немцев деньги и вернул себе курляндское дворянство.

— Ну а как у вас?

— У нас, старик, прекрасная атмосфера для творчества! — говорит Эд, а Генрих подтверждает кивком головы.

Раздача парижских штучек. Эду — шведские крючки, Гале (она на даче) — духи, Генриху — галстук, Кирке — книжка, Аниканычу — саморучка «Паркер»! Меня обеспечивают русскими деньгами и сажают на поезд Москва — Ростов-на-Дону. Сначала Тмутаракань, оттуда в Брянск. Иного пути нет.

О пыльной столице Всевеликого Войска Донского, городе Ростове, ничего путного сказать не могу. Видел бюст маршала Семена Буденного, развинченный трамвай, мозаику с изображением тов. Брежнева, мусорный пляж с грибком, это все. Изношенный город, пыльный и вонючий, но начальник милиции — прелесть, тоже кристальной души человек.

Россия — самая прозрачная страна в мире. Это всему человечеству доказал немецкий летчик Андреас Руст, в 1987 году посадивший свой самолет на Красной площади без разрешения. Генералы рыбачили. Солдаты спали. Открытые границы и никаких проверок.

А до немца Руста мой друг, англичанин Джон Даусон, сын хорошей фамилии, в 1977 году прошел пешком весь СССР, с запада до востока, от Гродно до Хабаровска без единой задержки. Успел посмотреть на мавзолей Ленина, на Волге грузил арбузы, в сибирском колхозе собирал яблоки и только в Хабаровске сдался на милость властям и британской королеве. Его отмыли в русской бане и отправили в Лондон самолетом.

У нас все возможно, с маленьким условием — не качать права и не лезть на рога.

В Ростове-на-Дону майор милиции, облюбовав парижские духи, задал мне один вопрос: «Ну як там наши казачки? Я в Париже знал племянника атамана Богаевского и сказал правду: «Все перемерли, товарищ майор, а кто живой, то по домам престарелых».

Вот жук, а!

«Тихий Дон у Москвы, как жить не спрашивал».
Подарок правит миром!

Мы расстались на вокзале. «Власовка» Клава рабочим поездом двинулась в Донбасс, а мы сели на пассажирский Ростов—Ленинград. Работа по системе Джона Даусона — улыбка и подарок, «Шанель № 5» для милиции, и сразу заказаны билеты до Брянска.

«Только тихо и возвращайтесь к отлету».

Обойтись без пожара и пережить высокие принципы!

«Мы не мусор, чтобы всех в одну кучу!»

Из окна вагона мелькнуло Азовское море, желтые подсолнечные поля до горизонта. После трехлетнего отсутствия ничего не изменилось. За окном тянулась пустынная, безликая земля с терриконами украинских шахт. На двухминутных остановках поезда выбегали бабы с ведрами горячей картошки. Проводник распределял по полкам безбилетников. Убогие бараки поселков, тощая корова, привязанная к столбу, развинченные вдребезги самосвалы на грязных дорогах.

Утром, очутившись в родном Брянске, мы сразу явились в единственную гостиницу, еще построенную пленными немцами, и потребовали номер с горячей водой. «Валюта» сразу открыла недоступную простому советскому «командировочному» комнату с удобствами и столовой внизу, где подавали гуляш с лапшой на засаленной оранжевой скатерти. Пейзаж города, казавшийся мне вечным, сдался под бульдозером убогой цивилизации — бетонные дома продвигались по болотам в глубь леса.

— Анна, смотри! Это наша Нерушимая Стена! И чудотворная! — Жена впилась в изображение. — Стена нас поведет!

Предание гласит, что Свенский образ Богородицы написал киевский изограф Алимпий Печерский

по заказу ослепшего князя Романа Брянского. Икона пошла по воде и стала в устье речки Свени, впадавшей в широкую Десну. Наш князь прозрел, а чудотворную икону не могли сдвинуть с места. Видя в этом промысел Божий, на месте исцеления князя основали монастырь во имя Успения Пресвятыя Богородицы. День исцеления, 17 августа, стал торжественным праздником брянского народа.

Князья даровали Свенскому мужскому монастырю, где хранилась святая икона, особые права и льготы, присылая из своих таможенных доходов большие суммы на негасимую свечу и устройство крестных ходов. «Посылать на эти ходы стрельцов и пушкарей для чести и охраны чудотворного образа».

От начала всего мира 7165 года и дня воплощения Божьего Слова 1656 года сентября 1-го дня, по благословению Святейшего Патриарха Филарета, икона была облачена в богатую, украшенную драгоценными камнями серебряную ризу.

Более семи веков православный народ почитал чудотворный образ Богородицы с Божественным Младенцем, пока из Москвы не явились вооруженные безбожники.

Местный каторжник Игнат Фокин, управлявший революцией, планировал мировой пожар, но не успел разжечь, сам сгорел от тифа, а древние книги монастыря, серебро и чудотворный иконостас спас верующий граф Юрий Олсуфьев, работавший в Историческом музее Москвы. Успел до расстрела. В 1933 году ему пришили «вооруженный монархический заговор» и забили на Лубянке. Серебряные оклады перелили на ложки, украшения спрятали в Кремле, а чудотворную икону повесили в Третьяковку.

Да здравствует граф Олсуфьев и реставратор И.Э. Габарь!

Они профессиональный долг сравнивали с героизмом.
Рассеянный мрак!

В центре изображена величавая и строгая Богородица на троне. Прямой взгляд в упор, с большими глазами и крупным носом, с годовалым Младенцем на коленках. Иисус-Эммануил сидит прямо, в молитвенной позе, с воздетыми вверх руками. По бокам два предстоящих святых мужа, слева бородач без шапки, преподобный Антоний, первый русский отшельник, основатель Киево-Печерской лавры, справа бородач в шапке, игумен Феодосий Печерский, устроитель монастырского общежития на Руси.

Приземистые мужики с круглыми лицами.

Покой священного одиночества и веры.

Над нимбом Богородицы надпись по-гречески: МР ОУ — Божия Матерь. Энергичная трактовка, грубоватые формы, приглушенный колорит, но вещь монументальна и строга.

Я ей поклоняюсь с 1952 года, с первого захода в Третьяковскую галерею. Теперь поклоняется и Анна. Она видит там Бога.

До войны город насчитывал 50 000 жителей. 6000 успели убежать в Туркестан. 7500 расстреляли свои и чужие. 20 000 угнали в немецкое рабство. 15 000 разбредлось по лесам и весям. В сожженном городе по подвалам и норам обнаружили 3000 беспартийных обывателей, не знавших вины ни перед Богом, ни перед Сталиным. Среди них и мы: мать, брат, тетки, дяди, деды.

Современный город казался совершенно пустым и безлюдным, ни собак, ни кошек, ни людей, лишь горячий, пыльный ветер гонял по главной площади старую газету, напоминая фильмы Бергмана. На бывшем брянском базаре, превращенном в набережный сквер, сидела сонная цыганка в лохмотьях, бравшая деньги за колдовство по ладони.

Мы каждый день смотрели на полуслепую, навеки испуганную мать в зеленой шерстяной фуфайке и вечным узлом седых волос. Совсем слепой отчим Илья Петрович Зарубин, стриженный под гребешок, пытался косить траву. Из дома матери исчез петух с румяной головой и пара несущек. На стене висела моя картинка, изображавшая пару голых баб, увозивших на лодке каторжника. Живописная хватка чувствовалась в этой копии Тинторетто.

Товарищ покойного брата, инженер Аркадий Лапыгин, владелец новой «Лады», показал нам заповедные места в лесу, где росли боровики, а в речке прыгала рыба. Племянница Валя, закончившая музыкальное училище, сыграла нам пьесу Баха на собственном пианино. Золовка Нина Федоровна закатила пир для иноземных гостей с грибной закуской всех сортов и водкой собственного изготовления.

Помню, инженер Лапыгин спросил: «А как там, насчет безработицы, небось наши газеты врут?» — «Безработных навалом, — ответил я к его удовольствию. — Газеты пишут правду».

— Покажи мне, где висела чудотворная икона? — спросила меня Анна.

Мы прошли лесом два или три километра, и вдруг открылась величественная картина. Вдали поднимались крутые холмы, поросшие дубовым лесом, и среди них могучий силуэт монастырских стен, с надвратной церковкой, чудом пережившей разрушения человеческих рук. Чем ближе мы подходили, тем выше поднималась крутая гора над быстрой Десной, бегущей на юг, к теплым морям.

Ах, каналья зодчий! Вот скрепил кирпичи, ни бульдозер не берет, ни кирка!

На нашей стороне у причала стояли лодки косарей, работавших на заливных лугах. Мы сели в одну, пересекли Десну и в том месте, где стоял струг князя

Романа Брянского, причалили и поднялись по крутой тропинке к монастырским стенам. Ворот, как таковых, давно не существовало. На монастырский двор мог войти любой. Меня поразило, что церковь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии стоит в лесах. Ее строил Иван Грозный — хорошее время, ровесник Василия Блаженного в Москве (1555), но леса стояли давно и основательно подгнили, и на дворе ни одной души, кроме сторожа, рыбачившего на Десне.

— Вот он, смотри! Узник совести!

Чудеса исцеления не прекращаются.

Древний дуб, посаженный князем Романом Брянским, по-прежнему рос у развалившихся ворот Свенского монастыря. Металлический указатель совершенно заржавел и прохожий грубиян смял его в треугольный конверт.

— Как здесь тихо и безлюдно, — шепотом сказала жена.

Возвращаясь в гостиницу, в окно автобуса, скакавшего два раза в день по горбтому шоссе, я увидел, как прошел мой друг детства Пашка Басихин. Он почти не изменился, но меня, заросшего бородой, он не узнал и не мог узнать, — мы не виделись пятнадцать лет, и он был пьян в стельку. Он ушел в проливной августовский дождь навсегда, а я его не окликнул.

— Вот уходит самый близкий друг моей юности, — сказал я Анне, показывая на мужчину с лохматыми бровями, промокшего насквозь.

Прогулки в сосновом лесу, куда можно было войти и не выйти, купание в озере, заросшем осокой, охота за грибами и ягодками, кишевшими тучами комаров, заживо съедавших мою непривычную жену, разговоры ни о чем утомляли больше, чем беготня по парижским, забитым автомобилями и людьми улицам.

Моя мать с исковерканной жизнью, с разбитой гордыней совсем ушла в себя. Она хорошо ходила, просила каких-то чудодейственных лекарств, совершенные стекла для очков, то и дело бросалась в слезы по чувствительным пустякам прошлого, но ничего не предвещало, что через год она умрет.

Возвращение в Ростов, суeta в недостроенном аэропорту, купание в «тихом Дону», почерневшем от нечистот, ночь в самолете, возвращение в Париж пронеслись как пуля.

4. Картина московской работы (рассказ)

Живописец Клюев ушел из дому.

Жена Клюева, полная, болезненная женщина, мать троих совершеннолетних сыновей, обзвонив всех знакомых, нигде мужа не обнаружила, и после двух дней отсутствия пошла в милицию и подала заявление на всесоюзный розыск.

На другое утро в застекленной витрине «Не проходите мимо» 18 отделения милиции, Дзержинского района, города Москвы появилось увеличенное фотографическое изображение Клюева с круглой печатью в нижнем углу. Под фотографией довольно крупным шрифтом написали: «Граждане! Разыскивается гражданин Клюев Семен Иванович, 45 лет, блондин, невысокого роста, глаза голубые, лицо круглое, нос длинный. Ушел из дому в синем спортивном костюме. Нашедшего просим сообщить по телеф. 225-20-08 и 225-22-90».

В живописном комбинате, где 15 лет работал Клюев и числился образцовым художником, директриса вытаращила глаза на жену живописца, покачала сочувственно головой, заметила, что та зря тревожится, муж непременно найдется, и выдала под расписку значительный денежный аванс Клюева. Соломенная

вдова живописца залилась слезами при виде денег, обозвала мужа паразитом, села в автомобиль «Жигули», который они недавно купили, и уехала.

В то время как по всему Советскому Союзу искали гражданина Ключева С.И., он сидел в подвале на Таганке и пил водку.

Три дня назад, перед приездом жены, он зашел в новый бар-автомат на Сретенке выпить пивка, как вдруг увидел за стойкой Василия Лимонова, земляка, друга Ваську, которого не видел около двадцати лет и почти забыл.

Через двадцать лет они охнули от удивления, едва узнав друг друга, как водится старым друзьям, похлопали друг друга по плечам, а Ключев двинул Лимонова в бок кулаком. Купили на радостях пол-литра водки и тут же в пивном баре ее «раздавили», то есть распили пополам, не закусывая, но показалось мало, потому что намечался длинный и увлекательный разговор.

Ночью друзья, не успев довести разговор до третьего курса института, осоловело завалились спать прямо на кучу первомайских лозунгов, а утром Ключева словно подменили. Он потребовал опохмела и наотрез отказался идти на работу, как ни уговаривал его приятель. Они вместе пошли в управление треста, где Лимонов получил получку, опять забрели по дороге в магазин, запаслись всем необходимым для разговора и спустились в подвал.

— Знаешь, Вася, — с некоторой тоской, но и с предчувствием дармовой выпивки, сказал Ключев, — жить надоело! Честно говорю. Как посмотришь, что творится вокруг, дрожь пробирает, страшно делается. Во что превратилась великая Россия? Сначала ее растоптали, — тут Ключев плюнул и растер плевков ногой, — потом всевозможная сволочь кинулась ее разрывать на куски, всякие аферисты, коммунисты, садисты и прочие хапуги.

— Да, впали в маразм, — меланхолично сказал Вася, — все в маразм впали. Не знаю как ты, а я как в Сибирь уехал, так и бросил живопись. Околачиваюсь по стройкам. Сегодня здесь, завтра там, так и кочую. Вот завтра надо ехать в Реутово «доску почета» устанавливать.

— Эх, Вася, какое там Реутово! Искусство гибнет, — разливая по первой, «под соленый огурец», воскликнул Клюев.

— Не знаю, я все любовь свою ищу, и не нахожу, — густым басом сообщил свое сокровенное Вася и высыпал пельмени в кипящую воду, — так и живу без любви.

— Коммунизм и жена одно и то же, Вася, а жена всегда сволочь, — заключил Клюев, раскуривая сигарету. — Возьмем к примеру мою жену. Обыкновенная сволочь, раскрути и со всех сторон — сволочь, дети — подонки! Старший уже идет в армию, а подонок редкостный. Вор, пустобрех, плут и бабник. Одно к одному. Остальные не лучше.

— Жена у тебя, кажется, красавица, — ослабив гнилые зубы, ухмыляясь в черную бороду, пробасил Вася Лимонов.

— О чем ты говоришь, Вася! — встав со скамьи и резко жестикулируя руками, закричал Клюев, — это же подонство! Жениться на «московской прописке». Надоело студенту Клюеву вшей кормить, захотелось столичного комфорта! Вот и женился! Посмотри на меня, Вася! — Перед тобою стоит не Семен Клюев, а пройдоха! Обыкновенный мелкий проходимец! А как все начиналось! Мои этюды на молодежных выставках! Вспомни все это, Вася! — Жили в бараке, вода застывала в кранах, жрали один черствый хлеб с водой и работали! И как работали!

— Ты пельмени любишь вареные или поджаренные на сковороде? — спросил приятеля Вася и начал

орудовать тем и другим. — Твоя баба наверное постарела, но порода остается и в старости, — бурчал в густые усы Лимонов, — видная москвичка, мы все облизывались, глядя на нее.

— Брось валять дурака, Вася! Порода! Московская сволочь, а не порода! Обывательница сретенская, да еще в придачу блядь! Каждый день начинается с одного и того же: деньги, Семен, деньги нужны! Нужна квартира, необходим курорт, давай шубу, давай автомобиль!

Клюев прошелся взад-вперед по подвалу, засунув руки в карманы тренировочных брюк, как ходят люди без особенных сомнений в голове, в себе уверенные и всегда сытые.

— Есть еще порох в пороховницах, Вася, друг ты мой старинный! Я тебе докажу, на что способен Клюев!

— Ладно, давай выпьем и закусим, а то на пустой желудок мозги не варят, все в холостую крутятся, — загудел Вася и выставил на обрубок доски кипящие в масле пельмени.

— Ты знаешь, сколько мне лет, Вася? Не знаешь! Смотрю на все это, на этот великолепный студенческий натюрморт, на тебя, черта бородатого, и думаю: я молод и полон сил, я готов своротить горы, я снова живу искусством нашей мечты! Ничего мне не нужно, ни денег, ни квартир, ни жен! Я готов начать все с начала, с нуля. А между прочим, Вася, — закусывая вторую рюмку, продолжал Клюев, — спой! Спой, по старой памяти, согрей душу... ее мать!

«Я милого узнаю по походке, — начал Вася верным, глухим басом, — он носит, носит брюки галифе...» и не успел допеть «мой милый уехал навсегда», как Клюев вскочил, распахнул ворот тренировочной куртки и зарыдал.

— Пой, Вася, пой, душу, душу потроши. Так ее, так!

Лицо Клюева, а в особенности острый, длинный нос покрылись потом, он прыгнул на ящик и обра-

тился с длинной речью не то к стене, не то к портрету Брежнева, наклеенному над столом, а когда Лимонов дошел до слов «в Париж он больше не вернется, оставил фотокарточку свою», тут он саданул кулаком по стене и зарычал:

— Я не титан, ворочать горами не стану, я — Клюев, я не выйду отсюда, пока не создам шедевр мирового значения, это будет великое искусство, это будет настоящая живопись, я — гений! И ты, Семен, гений, ты вдохновил меня на подвиг во имя искусства!

— Успокойся, выпей, — сказал почти трезвый Лимонов, — чего разошелся.

— Я не вылезу из подвала до тех пор, пока не оставлю человечеству шедевра. Принеси мне хлеба и кувшин воды, Вася! Я стану за мольберт и умру с палитрой в руках.

Клюев допил водку, не закусывая, и потребовал немедленно материалы. Лимонов отыскал все для живописи и прислонил к стене большой фанерный щит, обтянутый грунтованным холстом.

— Вот тебе краски, кисти, разбавитель, давай, орудуй, пока есть настроение, я поеду в Реутово, а то главный инженер взбесится.

— Запри меня, Лимонов, запри покрепче в подвале!

Через два дня Вася Лимонов вернулся со стройки, где он оформлял и устанавливал «доску почета», спустился в подвал на Таганке и обнаружил, что дверь мастерской открыта настежь, замок выломан, Клюева нет, но на мольберте стоял щит, прикрытый грязной циновкой. Вася сдернул циновку и увидел картину московской работы, некое изображение Голгофы, совсем не похожее на те яркие, сочные этюды, которые писал Клюев в институте.

Прямо посередине холста, вялыми, невыразительными мазками был нарисован крест, на котором

извивалась голая жена Ключева, а на крестах по соседству висели трое распятых разбойников с длинными волосами и бородами до пояса, должно быть сыновья Ключева. Кроме этих главных персонажей и фона, вокруг крестов стояли некие подобия людей, покрашенные синим контуром, на одном из них была приклеена голова Черчилля и подрисованы кудри, на другом — голова Сталина, но с подрисованной черной краской бородой, третья голова отвалилась и лежала под мольбертом, очевидно Трумэна или Рузвельта, потому что на полу лежали груды старых журналов «Огонек», изрезанных создателем картины. Верхняя часть холста оставалась незакрашенной.

Вася Лимонов принес из подсобки ведро с керосином, намочил тряпку и очистил щит от масляной краски.

В тот же день в витрине 18 отделения милиции, Дзержинского района, прохожие города Москвы не увидели портрета гражданина Ключева С.И.

Говорили, что художник нашелся.

5. Заложники капитала

— Мне на искусство наплевать, мне нужны деньги! — ясно выразался приезжий авангардист Владимир Бугрин.

Вскорости на общественных торгах появились его картинки в «голландском духе», главным образом «марины», и были замечены любителями морских бурь и урагана.

Наивные люди полагают, что хлынувшая «третья волна» состояла из великих людей, не согласных с политикой Кремля. Все — антисоветчики, да, но не все — таланты.

— Я буду рисовать «марины» до тех пор, пока не иссякнет покупатель! — сказал Бугрин.

В своем родном Ленинграде он рисовал пейзажи, не проходившие выставкомы, в Австрии «иконы», потому что нашлись заказчики, а в Париже «марины», чтобы кормиться и жить, как кормится и живет советский художник, скажем, в Туапсе или Салехарде. Политическое диссидентство художника оказалось сплошной липой, участие на «нонконформистских» выставках вопиющей наглостью, — ведь Володя признавал только конформизм в искусстве и жизни, а жизнь на Западе оказалась полной непредвиденных зигзагов.

На первом собрании «Союза русских художников» — такая организация существовала во времена Константина Коровина и воскресла с нашим появлением в Париже — я увидел много знакомых лиц: Игорь Шелковский, Гарри Файф, Коля Дрон, Володя Бугрин, Юрий Жарких, Оскар Рабин, Миша Рогинский, Эдик Зеленин, Адам Самогит, Катя Зубченко, Олег Яковлев, Коля Любушкин, Толя Путилин, и несколько старичков, едва передвигавших ноги.

Мордвин Коля Любушкин смирно жил в ленинградском подвале с пышной женой, мечтавшей о богатой жизни. В 1975 году он попал на выставку неофициальных художников, разрешенную властями. Шум, поднятый прессой, так вскружил ему голову, что он ничего не соображал, когда эмигрантская «еврейская волна» его захватила и понесла как щепку на дикий Запад, где его никто не ждал. Отрезвление пришло сразу после бегства жены с каким-то французом. Коле хотелось есть, а хлеба не было.

Новаторство мордвина оказалось сплошной липой. Он привез в чемодане одну картинку с изображением леса и жены, нарисованную мягкой пастелью. По моему совету он вышел на людную площадь Бобур и показал портрет беглой жены народу. Успех превзошел все ожидания. Туристы завалили его зака-

зами. Любушкин снял квартиру, обедал по ресторанам и о лучшей жизни уже не мечтал.

Иная, но не менее поучительная участь постигла ленинградца Анатолия Путилина, сумевшего сменить пластинку после лихорадочных срывов и размышлений. Участник «газаневщины» считал себя прямым и верным последователем Казимира Малевича, и в тихом Париже, куда занесла его эмиграция, его творчество никто не заметил и не оценил. Гордый супрематист решил подкармливать супрематические розыски побочной работой гитариста русских кабаков, но росла семья, денег не хватало на жизнь и краски. Тогда он решительно повернулся к фотографической манере письма и напал на провинциального торговца картинами, оценившего его мастерство. Появились профессиональные заработки. Путилин двинул по шапке вечную дружбу с Малевичем ради спасения семьи от поколевания голодом.

«Сукин сын, этот Малевич!»

«Новая левая», придуманная газетчиками Запада, — «мощное подпольное движение», существовало только в больном мозгу искателей приключений. С третьей волной плыли люди сомнительной культурной традиции и без всякой самобытности, о которой мы любим говорить.

Лидию Алексеевну Мастеркову я знал давно. В 60-е годы она начинала с «абстракций» невиданного расклада. Картины напоминали древние, изысканной работы плащаницы, но с тем врожденным даром колорита, ритма, рисунка, которые не продаются на базаре. Ее постоянное присутствие в кружке Лианозово мне казалось не пришей кобыле хвост, потому что вдохновитель лианозовцев, старичок Кропивницкий чирикал разноцветными карандашами портретики девчонок и оставался убежденным реалистом и на Лиду вряд ли производил впечатление. Она выставля-

лась по квартирам и сразу вышла на крохотный иностранный рынок Москвы. Ее московская квартира была обставлена разностильными вещами, но в красивом ритме старины и современности, роялем хорошей марки и приبلудными кошками на белых подушках. Непримиимый характер женщины, не выносившей глупости советских выставкомов и мерзопакостный, пролетарский быт страны, вынудили ее искать славы и подходящего места на мировом Олимпе Запада. Парижская галерейщица Дина Верни открыла перед ней двери успеха и денег, но гордая московская боярыня не выносила поучений и мелких придинок «одесской жидовки» без роду и племени. Лида наивно считала, что Дина приставлена к ней в качестве прислуги, но не так думала честолюбивая галерейщица. Она, как это принято в капитале, лепила из приезжей бабенки из дикой России свою беговую лошадку на все доступные ей призы.

Мастеркова, не сознавая своей глупости, попыталась оттянуть у Дины ее покупателей на себя. Те, удивленные таким маневром, сразу же донесли галерейщице. Не долго думая, Дина выставила ее из галереи на тротуар.

Обиженная Л.А. Мастеркова сказала мне при первой встрече, после нешуточного падения вниз:

— Я поспешила уехать из Москвы!

Действительно, в Москве что-то двигалось. Выставкомом новой живописной лавочки руководил ее бывший муж, Владимир Николаевич Немухин. Отшельники, недоучки, бегуны московского подполья, собранные властями в одно стадо, грызлись между собой как собаки, но появились ранее немыслимые выставки В.И. Яковлева, Вл. Пятницкого, Эда Штейнберга, Вл. Янкилевского, Вяч. Калинина. Мастеркову тянуло туда.

— Жидовка Дина погубила мою карьеру!

Осенью 1978 года, составляя выставку «русских авангардистов» для Осеннего салона, я пришел к Дине Верни за картинами Эрика Булатова и слегка намекнул имя Мастерковой.

— Эта московская барыня возомнила о себе невесть что, а теперь пусть пеняет на себя!

После такой дикой конфронтации все двери доходных галерей и центров для Мастерковой закрылись везде. И в Англии, куда она поспешно сбежала, и в Америке ее ждал все тот же холодный отказ. Лида уехала от людей в деревенскую глушь подальше от столичного шума.

Русские художники при дележке мировой славы не получали куска по достоинству.

Скульптор Неизвестный ехал с полной уверенностью, что его ждут на Олимпе. Никто в подполье не имел больше его монографий и каталогов. О герое Манежа знал весь читающий и мыслящий мир, кроме одного ничтожества, Его Величества Капитала. Он почему-то не слышал и слышать не хотел о штыковом бойце московских окраин.

«Какой сукин сын, этот Капитал!»

Внимательно перечитайте сочинение Карла Маркса на эту тему.

— Я гений! — не сомневаясь, повторял Э.Н. — Я буду первым на Западе!

В мировую культуру русские внесли особый и заметный вклад. Москвич Василий Кандинский, сам того не подозревая, открыл миру новое видение, беспредметное искусство. Глубоко копнули декораторы и танцоры С.П. Дягилева. Удивил всех чудесами супрематизма Казимир Малевич. Русских знали. К ним присматривались. От них ждут чуда.

Пожилой советский скульптор Неизвестный привез на Запад не чудо, а беспорядочные отрывки пройденных курсов «ликбеза». О шоке цивилизаций скульп-

птор сам доложил прессе. Мировой капитал за багаж мировой скорби не выложил ни одного цента.

Неизвестный начудил — гром не из тучки, а из навозной кучки!

Живописец Олег Целков говорил, что он жил в аду. Охотно верю. У каждого свой ад и рай. Но своего рая он не получил.

В 1976 году процветающему подпольному живописцу Целкову доставили из Парижа большую, высокоцветной печати афишу с изображением его произведения, с французской надписью «ля пентюр рюс контемпорен».

«Монжерон» постарался. Целков, обалдевший от счастья мирового признания, упаковал тещу и жену в чемодан и вылетел за славой и почетом. Он побывал в Венеции на склочном сборище любителей дешевой популярности, похоронил Сашу Арефьева и стал ждать в гости большие деньги. Они, черт подери, не шли. Они его обходили стороной. Чем больше он выгонял квадратных километров фиолетовых мутантов на кривых гвоздях, тем меньше на него обращали внимания.

Проклятый язык совсем не давался. Спасая тонущее производство, все домашние женщины на заказ русских кабаков лепили по ночам сибирские пельмени (не дай Бог, узнает Москва!), и вместо Бобура, где выставляют всякое говно, самовлюбленный московский «гений» приткнулся к «Монжерону», влачившему жалкое существование.

— Ну это временно, — потягивая водку, рассуждал Целков, — в конце концов я навяжу им свое искусство!

Прошел год, потом десять, а за ними и все тридцать, а Его Величество Капитал проходил мимо засыхающего от возмущения московского самородка.

В пятницу, 22 июня 1978 года, как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение о лишении туриста Оскара Яковлевича Рабина советского гражданства.

Об этом объявил художникам Саша Глезер на каком-то вернисаже.

Коллеги, окружившие пострадавшего, не знали как быть — поздравлять или соболезновать — и решили одним общим бессловесным гулом поддержать товарища.

Шесть месяцев туризма — срок достаточный, я знал по себе, чтобы показаться сильным мира сего, — не принесли желанного результата. Обремененный безработными женой и сыном, пятидесятилетний Рабин не представлял никакого интереса для коммерческих галерей. Титул «Солженицына русской живописи» при встречах с коммерсантами только смешил людей бездушного капитала, а мрачные картины нашего «лидера» подпольных вылазок не производили впечатления.

Город выдал ему мастерскую с видом на Бобур, чтобы человек успокоился и полюбил демократию.

* * *

Я никуда не спешил. В июле (9-го числа) мне стукнуло сорок, предельный срок профессиональной молодости. Я жил в Нормандии, читал Н.А. Некрасова «Опять я в деревне, хожу на охоту...», организовал выставку русских авангардистов в Осеннем Салоне, возился с безработными друзьями — Лев Коробицын, Ленька Милруд, выставлялся во Флоренции, виделся с московскими туристами Борей Алимовым и Пашей Катаевым, катался на лыжах в Альпах и обмывал смерть праведника Пятницкого, покончившего в Москве с собой.

Денег я не искал. Я их брал в тумбочке.

6. Бохумская война

В дождь и ветер, 12 января, в пятницу прибежал почтальон с телеграммой из Брянска. «Умерла мать... Нина... Валя». Юриисконсульт Бирюков работал до шести. В моем распоряжении час. Звоню. Любезно отвечает, что за вычетом «викенда», с понедельника надо ждать десять дней разрешения на поездку в Брянск «по уважительной причине». Значит, если не будет задержки, я получу разрешение 26 января, в пятницу, через 14 дней.

Лететь — не лететь?

Рассудочная мысль — а зачем смотреть на кучу мерзлой земли с крестом и пить с Ильей Петровичем водку?

Гнусное решение — буду пить здесь!..

Помянул и рыдал один в Париже.

* * *

Семьдесят девятый год был особенно пышным на юродство и склоки, с необыкновенным зловонием распространяемые повсюду, где осели советские эмигранты.

Позвонил Нуссберг.

— Старик, помощи с выставкой в Германии.

Директору Музея современного искусства в Бохуме, д-ру Петеру Шпильману, уроженцу Праги, пришла в голову мысль устроить юбилейную выставку «нонконформизма».

Заручившись словом коллекционеров, я обещал для выставки Вейсберга, Немухина и Рухина.

Верный друг истины и свободы, чех Петер Шпильман руководил Музеем современного искусства в городе Бохуме, в Германии и отлично знал русские дела. В 60-е годы молодой пражский искусствовед написал

ряд статей в похвалу московских «кинетистов». После разгрома «Пражской весны» в 1968 году неторопливый и знающий историк культуры перебрался на Запад, то и дело продвигая русских художников в люди.

Составить выставку авангардистов оказалось не легкой задачей, но доктор Шпильман, отлично знавший подводные камни в этом направлении, храбро бросился в авантюру, полагаясь на многолетний опыт возни с русским народом.

Ни частные, ни общественные учреждения не располагали картотекой андеграунда, простым перечнем нелегальных авторов. Например, никто из немецких знатоков не знал, где родился Владимир Яковлев (в Горьком, в Москве, в Балахне, в Балашихе?) и кто такой Владимир Котляров (краснодеревщик, реставратор или общественный деятель, попавший в списки художников).

Д-р Шпильман явно преувеличил могущество немецкой мысли и не учел глубин русского маразма.

Обращение за помощью к «кинетисту» Нуссбергу, жившему в Париже, не было ошибкой «Бохума», как пытаются представить дело деятеля «Монжерона», озабоченные своим табелем о рангах больше, чем здоровьем искусства.

Получив приглашение от «Бохума» 30 октября 1978 года, Лев Нуссберг назначил русским артистам чрезвычайную сходку во «власовском подвале» (Н.Т.С.) в Париже. Не успели мастера русского зарубежья взяться за карандаши для составления домашних адресов, как в подвал спустился бледный комендант из бывших дезертиров Красной Армии и отчетливо произнес:

— Господа художники, собрание прекращается в связи с трагической кончиной Ивана Васильевича Морозова!

Господин Морозов был столпом русской эмиграции, известным богословом, издателем вермонтского

затворника А.И. Солженицына и арендатором подвала. Совершенно лысый, плотно завернутый в поношенный темно-синий костюм и старомодный галстук, г-н Морозов иногда появлялся в подвале, выпивал рюмку водки и молча уходил. Набирая произведения великого писателя, он допустил ряд грамматических ошибок. Начальник «вермонтского лагеря» обвинил издателя в злостном саботаже в пользу советской власти. Г-н Морозов взял бельевую веревку и повесился от обиды и возмущения. Как заметил протопресвитер Алексей Князев на отпевании самоубийцы, у «гениального ума» это был не первый покойник на тернистом пути к мировой славе.

Смерть издателя послужила началом новой гражданской войны, где выступили новые, ранее дремавшие силы.

О тайной сходке в подвале Н.Т.С. немедленно донесли в генштаб «Монжерона».

В директивном «открытом» письме художнику Вячеславу Калинину, автору карикатурных бытовых изображений, живущему в Москве, Александр Глезер не без знания дела пишет:

«За спиной гнусного типа Нуссберга стоят, не знаю точно какие, но достаточно мощные силы и тесные контакты с коммунистами».

Лев Нуссберг честно отослал в «Бохум» парижские адреса с невинной припиской к «Монжерону» («ох, и тип!»), но немецкие переводчики две недели бились над расшифровкой загадочных записок, составленных на русско-французском наречии и с ошибками в каждом слове.

Все музеи работают не спеша. Любая выставка — это хлопоты, время, бюджет. Петер Шпильман сообщил, что выставку необходимо отодвинуть на месяц-два и самому переписать участников по месту жительства.

Руководство «Монжерона», где имелись свой «Солженицын живописи» и «Солженицын графики», воспользовалось замешательством немецкого музея и без промедления открыло стрельбу по несчастному д-ру Шпильману. Не знаю, чем руководствовался доктор, выбирая дату 1959 как начало «нонконформизма», но она вызвала страшное возмущение у части эмигрантов и стала хорошей зацепкой для скандала.

«Почему двадцать лет? С какой даты вы ведете отчет?» — спрашивал Олег Целков, автор театральных личин. «Солженицын графики», Михаил Шемякин, на пяти листах убористого текста выдвигал идею «неподкупного искусства», походя заливая грязью «provokatora Нуссберга», «клеветника и мерзавца Поля Тореза» и галерейщицу Дину Верни, «которая много лет мне мстит за то, что я отказался работать с ней на рабских условиях».

Раздраженный «Монжерон» увлек в битву близкую по духу редколлегию журнала «Континент», повесившую на шею Шпильмана всех собак — Карла Маркса, Антонина Новотного, газету «Руде право» и «пражскую весну». Завоеватели Берлина, Будапешта и Праги шли на открытый шантаж и вымогательство.

«Я не считаю нужным продолжать с Вами какой-либо разговор и прошу Вас более не утруждать себя дальнейшей перепиской», — заклинал редактор «Континента» Вл. Максимов 13 января 1979 года.

Доктор Шпильман обалдел!

«Юбилейная выставка» русских авангардистов вылилась в чудовищное безобразие и маразм, где роль обиженных бездарно разыгрывал «Монжерон» и его временные союзники, а роль хранителей благопристойного единства — «кинетисты» Нуссберга с попутчиками.

В итоге выставка была спасена привозом из Израйля коллекции Михаила Гробмана, там были все

передравшиеся или неучтенные имена. Располагая значительным собранием картин В.И. Яковлева, Гробман первый открыл серию выставок в Израиле и Германии задолго до московского «профсоюза» и парижского «Монжерона», не забывая и прочих первопроходцев «нонконформизма», никому не известных ни на Западе, ни на Востоке. Враждующие лагеря безуспешно пытались перетянуть Гробмана на свою сторону. Приехавший в Бохум М.Я. Гробман употребил все свое влияние и дипломатию, чтобы успокоить возмущенных и примирить их с дирекцией музея.

3 февраля 1979 года на вернисаж явилась банда протестующих. Она пробилась в зал пресс-конференции на удивление официальных лиц. Из толпы выскочил недовольный литовец Адам Самогит и по-немецки с балтийским акцентом зачитал протест. Неуклюжий оратор «Монжерона» разбросал в народ листовки с протестом и бесплатно переночевал в теплом полицейском участке города Бохума. Над очередным русским юродством несколько дней потешалась немецкая пресса, забыв об искусстве в музее, где было представлено четыреста картин.

Растерзанные бедностью и склоками кружки русского зарубежья постоянно пополнялись свежими советскими эмигрантами.

25 марта 1979 года с дежурного самолета «Аэрофлота» сошел диссидент в черном ватном пальто и каракулевой шапке. В тот же час к проходной таможене венского аэропорта подрулил подержанный «Мерседес» с бандой кинетистов на борту.

— Привез? — обрушился главный «кинетист» на вспотевшего эмигранта Котлярова. — Пашка, черт, помоги человеку раздеться!

С пассажира содрали зимнее пальто до пят и пуховые кальсоны.

— Как тебе не стыдно, Толстый (кличка В.С. Котлярова), — продолжали пытку «кинетисты», — в таких кальсонах покорять Европу?

Подчиненный Пашка ловко сорвал нелегальный товар, крепко подвязанный к широкому туловищу наемника, и вытянулся по стойке смирно.

— Чего стал, дай Толстому банку «коки», небось никогда не пил! Теперь, Толстый, ты знаменитый художник, а не «эбенист», — ввернул по-французски Лев Нуссберг. — Распишись за получение каталога бохумской выставки!

Эмигрант Владимир Котляров обнял каталог и замычал в ответ:

— Лева, а как же вознаграждение, шесть тысяч долларов? Я ведь год вкалывал, перенес пытку на шмоне, тряся в самолете! Валюта мне причитается по договору!

— Не волнуйся, старик, здесь шиллинги, учись заново считать! Мы друзья, сочтемся, а попадешь в пансион мадам Беттины, там с тебя не кальсоны, а шкуру снимут и спасибо не скажут!

«Мерседес» вздрогнул, люди и собаки прыгнули по местам и понеслись в дождливые сумерки австрийской республики.

Эмигрант Котляров-Толстый натянул ватное пальто и завыл от безутешного горя.

Лев Нуссберг с бандой «кинетистов» стали смертельными врагами бывшего московского эбениста.

Бездомный и одинокий Толстый размножал самодельную публицистику, где всячески кусал и лягал Нуссберга, Шелковского, Глезера и всех подряд, прыгая от «анархизма» понаслышке к дурацкому «вивризм», за который его не раз шлепали по широкой заднице.

Как на всякой войне возникают неожиданные очаги напряженности, так и в воюющем Париже вдруг

возник давно уснувший Союз русских художников господина П.Н. Богданова, сорок лет хранившего печать этого учреждения. Активисты «Монжерона», «Движения» и «независимые фаталисты» — Катька Зубченко, Стацинский, Виктор Кульбак, Захар Чернышев, Толстый и Шелковский, уцепились за допотопную печать, как за якорь спасения.

Милейший человек старой закваски, инженер Петр Николаевич Богданов (де Богданофф, конечно!), член философского общества Мемфис-Мицраим, издатель оригинального журнала «Коптский Мир», незаметно и деловито, не дожидаясь компенсации, протянул братскую руку помощи безмозглому стаду русских дикарей, с надеждой составить братство русской культуры, внести чин и лад, образумить зарвавшихся вожаков эмиграции. Он снимал для них квартиры, давал займы, лично заполнял анкеты в «дом художника». Увы, установить порядок в кружке озверевших артистов ему не удалось. Большой гуманист, мечтавший посадить русскую общину за один тульский самовар, используя широкие связи с галереями и музеями, привел к новой кровавой драке на парижской площади.

В апреле 1979 года г-н Богданов с помощницей Моник Вивен-Брантом, внучкой сибирского пейзажиста Кузнецова, организовал первое выступление «Союза русских художников» в хорошей галерее «Белен», платившей художникам деньги. Афишу и пригласительный билет делал Виктор Кульбак, сумевший собрать членские взносы, «независимый» художник и спортсмен.

17 апреля после полудня в галерею вошла Дина Верни с охранником и картиной Василия Кандинского, обещанной для выставки. Часовой замер у картины. Дина Верни обнялась с хозяйкой галереи и пригубила бокал шампанского. Участники и гости

рассыпались живописными кучками, шумно обсуждая произведения. Вдруг за широкой витриной возникла фигура террориста с высоко поднятым револьвером. Народ не на шутку струсил. Галерейщица Дина Верни уронила стакан и кинулась под защиту часового. Сорвав «абстракцию» Кандинского со стены, с благим матом они выскочили на площадь и кликнули шофера. Два питерских алкаша, опередив штатного пажа, открыли дверь кареты с на редкость изящным поклоном. Карета завыла и понеслась, как ненормальная, прочь от русских чертей.

Террористом в черном домино оказался Саша Глезер.

Он растолкал почтенных дам, помнивших балы в «Одесском землячестве» Парижа, и завопил :

— Это провокация, это провокация!

Из дальнего угла выскочил мужественный Кульбак и двинул террористу по соплям. Хлынула невинная кровь. Участники и гости высыпали посмотреть на спектакль. К драчунам подлетел молодой богатырь Игорь Шелковский, ловко выбил револьвер из рук Глезера и сдал в полицию. Кулачный бой «Монжерон» позорно проиграл. Кульбак связал агрессора брючным ремнем. Оказав сопротивление представителю закона, г-н Глезер был арестован и судом приговорен к штрафу в пользу пострадавшего от укуса Кульбака, с предупреждением о высылке из Франции.

С совершенной кинокамерой прыгали Лев Нуссберг, Пашка Бурдуков и борзые собаки, Гришка и Глашка. Издатели Крон и Боков тайком торговали эротическим романом Лимонова-Савенко «Это я, Эдичка». Дамы старой закваски разбегались по переулкам, не допив шампанского.

Праздник смыло, как дождик собачье говно.

Первое выступление «Союза русских художников» закончилось мордобоем и коммерческим провалом.

Он рисовал, лепил, строгал. Кудрявый и голубоглазый, высокий, как верблюд, и тихий, как мышь, скульптор Игорь Шелковский осенью 1976 года поселился в парижской мансарде, а весной 1979-го прославился тем, что сдал террориста Глезера в полицию, защищая честь Василия Кандинского и парижскую культуру.

Грандиозную выставку «Париж—Москва 1900—1930» готовили пять лет по обоюдному расчету передового Парижа и отсталой Москвы, государственные чины, увлеченные современным искусством, вроде культуртрегера Александра Халтурина, в свое время пораженного валютными сокровищами Г.Д. Костакиса, многочисленные коллекционеры и торговцы, заинтересованные в подобной манифестации.

Выставку причесали и пригладили согласно древней русской поговорке «Кто старое помянет, тому глаз вон!», но крючкотворы правосудия и справедливости в святом искусстве не остались безработными.

31 мая 1979 года, после полудня, в новом центре им. Помпиду коммунисты Парижа и антикоммунисты Москвы, дипломаты и советники, ренегаты и разведчики, Костакис и Халтурин глушили шампанское за здоровье франко-советской дружбы, а пара крестоносцев чести и мести сквозь сидячий лагерь клошаров и туристов, оседлавших популярную площадь Бобур, пронесла супрематический гроб с издевательским протестом. Членами похоронной процессии были россияне Сергей Есаян и Игорь Шелковский. Вечером русских героев показали по телевизору.

Скромные плевки в спину официального «Бобура» подготовил и «Монжерон», показав последние достижения «инофишл арт», частично осевшего в Париже.

В одну из дыр с дешевым вернисажем пришел могильщик «Бобура» Игорь Шелковский и показал журнал с разноцветной обложкой.

Вокруг сгрудились знатоки русской речи.

— Гм! — ткнул сигаретой Саша Глезер в репродукцию Эрика Булатова с надписью «Опасно». — Обложка красиво выглядит, но представляет одно направление!

Могильщик Шелковский поскоблил бороду.

— Я бы его расширил, но такие вопросы решает Москва.

— Ну если такие вопросы решает Москва, — вдруг разразился гневом Оскар Рабин, — то нам здесь делать нечего!

Предательский удар Москвы пришелся в сердце «Монжерона». Нашего долголетнего подпольного вожака Оскара Яковлевича Рабина безжалостно разжаловали в рядовые солдаты. Корону «Солженицына живописи» водрузили на москвича Эрика Булатова. Подпольное московское «политбюро» произвело грубые перестановки в проверенной годами табели о рангах. Заслуженных подпольщиков Калинина, Калугина, Немухина, Плавинского, Зверева вымарали из искусства, заменив какими-то Косолаповым, Соковым, Гороховским и прочими «Мухоморами».

На призыв провокатора Шелковского купить новый журнал толпа «носорогов» глухо зарычала.

Все попросту, по-обывательски задавались дурацким вопросом: кто дал деньги скромному труженику скульптуры: Рокфеллер? Ротшильд? Родина? Ведь десять тысяч долларов не валяются на улице?

Десять лет спустя, в эпоху гласности (Р.М. 05.12.88), Игорь Шелковский, приукрашивая биографию, просвещал профанов:

«Идея журнала о неофициальном искусстве, издаваемого на Западе, зародилась, как это ни парадоксально, в недрах КГБ».

И партийное задание:

«Построить еще одну потемкинскую деревню», «отделить художников от Глезера», «попытаются нажиться на искусстве».

Очередную программу московского начальства финансировал «швейцарский бизнесмен», имя храброго спонсора, естественно, «разглашению не подлежит», но за бездарным псевдонимом «Алексей Алексеев» спрятался от читателей ювелирщик Алик Сидоров, собиравший с достойных и наивных публицистов Гройса, Пачюкова и других, выступавших с открытым забралом, бесплатные материалы.

Оккультное московское руководство и его толкачи в Москве и в Париже приложили немало усилий, чтобы замолчать «Монжерон», группу Шемякина и движение «кинетистов» Нуссберга. В беспощадной, мистической войне с Шемякиным галерейщица Дина Верни, возбужденная потерей «франка чести», в журнале «А-Я» нашла верного союзника, если не «обосрать Мишку в печати», то не замечать его существования. Вскорости она наложила лапу на журнал, подкармливая издателей, макетчиков, переводчиков.

«Феномен Шелковского» не на шутку взволновал «кинетистов».

Лишь казалось, что попутный ветер дует в паруса Льва Нуссберга. Попытка его пролезть в управление журналом провалилась. Он получал отличную информацию от персональных разведчиков, работавших под видом переводчиков, сблизился с Диной Верни, но на дороге к полному контролю издания стояли твердокаменные ненавистники из Москвы.

Московские поджигатели войны категорически запретили, и за денежные вклады включительно, пропаганду творчества Нуссберга и его группы. Смущенный Шелковский, ответственный за парижский фронт, глупо разводил руками, когда Нуссберг совал деньги, такие желанные, за публикацию великолепных супре-

матических рисунков Ильи Григорьевича Чашника, умершего в 1929 году.

Лев Нуссберг совершил ряд непростительных просчетов.

В кружке русских парижан, куда он, как вихрь, ворвался в 1976 году, ничего не светило, кроме чудовищной нищеты, убожества и склок. Судьба преподнесла ему чудный подарок в виде «Берлинского фонда», но и здесь утомленный бегом торец раздробил остатки своей школы, расстался с исполнительным Пашкой Бурдуковым и заporол немецкий заказ. Здоровяк в сибирской шубе нараспашку не смог убедить спесивый Запад и покатился в быт.

Из Америки, куда он подался с молодой семьей, пришла восторженная открытка: «Готовлюсь к новым боям за переворот в современном «арт»!»

Психическое расстройство русской культуры было налицо!

На сей раз «швейцарский коммерсант» не промахнулся.

«Модернистская продукция, не представляющая ни эстетической, ни коммерческой стоимости», как цинически выразались советские культуртрегеры, тронула кошельки «зарубежного потребителя».

Невероятно, но факт!

«Мухоморов» Москвы заметили шведы, немцы, швейцарцы, французы.

Михаил Шемякин, потерявший корону «Солженицына графики», но сохранивший титул «князя Кабардино-Черкессии», попал в западную фининспекции. Часть семьи отправилась в Грецию, часть застряла в Париже, а сам герой, прихватив собаку и стол, улетел за океан, в Нью-Йорк.

К началу 1980 года задолженность квартирантов «Монжерона», Боковых, Титовых, Глезеров достигла внушительных размеров. Семейных, плохо обеспе-

ченных людей ждала насильственная выгонка. «Директору музея» Саше Глезеру дали дельный совет — смываться в Америку, где еще водились идиоты с бесплатным телефоном.

Вояки, истощенные затяжным конфликтом, разбегались по сторонам, оставляя после себя кучу навоза и мифологию.

На последнем параде «Монжерона», 12 марта 1980 года, в рамках программы «пятницы на Санлисской мельнице» пламенно выступил Глезер, до слез тронув публику. Георгий Дионисович Костакис, осветивший парижан своим вниманием, под гавайскую гитару спел русскую народную песню. Сатанисты Лимонов, Бокков, Крон завывали по-украински. Литовец Адам Самогит сплясал голака. Словно в насмешку, художник Юрий Жарких, бывший моторист из Кронштадта, развернул старую простыню в подозрительных пятнах под названием «Манифест Изгнанников». Страдавшая дикой тоской по родине Валя Шапиро залпом выпила стакан водки и упала под стол. Издатель Шелковский втихаря торговал вторым номером «А-Я».

Новые выдвиженцы Москвы тихой сапой брали города и континенты.

Эпоха крутых перемен!

Генералы русской литературы затеяли грязную полемику о «немецком золоте Ленина» и «носорогах западной культуры»!

Такие мелочи, как война в Ливане, революция в Иране, нашествие Красной Армии в Афганистане, нас совершенно не волновали.

Меценат «де Богданофф» брал исторический реванш. Он призывал опомниться, собраться за круглым столом и заплатить членские взносы.

Хорош гусь!

Русских профанов повезли в Швейцарию, в деревню Обон, где всех ждал козлобородый коммерсант

Марк Шантр. На тощий желудок нам прочитали лекцию «Экуменическая поэзия патриарха коптов Шенуды III». Старик Гриша Мишонц, когда-то друживший с Шагалом «на ты», задремал, приложив ладошку к уху. Произведения парижских модернистов сияли под яркими лампами. Голодные «формалисты» Вова Бугрин, Гарик Файф и я с нетерпением ждали, когда супруга козлобородого философа откроет буфет с водкой и пирожками.

Ни одной покупки! Рюмка водки и пирожок!

Сукин сын мосье Шантр надул всех фаталистов Парижа и прогнал на холод за наш счет.

Известные сплетники русского зарубежья летописец Петров, самозванец Игорь Глиер — не путать с пианистом Рейнгольдом Морицевичем! — и всемогущая Аида Хмелева, переместившая свой «салон» из Москвы в Париж, разносили слухи о финансовом банкротстве «Союза русских художников», о происках «жидомасонов» с «де Богданофф» во главе, что походило на правду.

Остатки разрозненных банд добил Жан-Клод Маркаде.

Этот единственный «друг России», крещеный в православие под кличкой «Ванечка», знал русскую душу «от и до». Долголетний наемник Дины Верни, пропагандист Шемякина и союзник Нуссберга возобновил опостылевшие «квартирные выставки».

На призыв проклятого декадента откликнулись одинокие, брошенные всем миром карьеристы братья Лягачевы, Эдуард Зеленин, Алексей Хвост, Катя Зубченко, закарпатский мастер Сашка Аккерман. Французский эрудит готовил отличную жратву с красным вином и всех хвалил. Пусть человечество знает, что у него есть ученый заступник в городе Париже.

Крупный капитал на «квартирные выставки» не заходил, а мелкий боялся.

Нам сообщили, что на мадридском фронте пал смертью храбрых писатель Андрей Амальрик. Начинаящего водителя раздавил гангстер грузовиком. Сопратники гибли во цвете лет. Сиротела Россия.

Бездарный разброд 1980 года закончился чудовищным преступлением на швейцарской даче «Эсмеральда». Вооруженные бандиты проникли в дом, где любила отдыхать вдова художника Кандинского, престарелая Нина Андреевна. Злодеи убили старуху и забрали шкатулку с драгоценностями. Четыре картины великого мужа, висевшие на стене, убийцы не тронули.

Призрак вечного мира витал над землей!

Ни круглых столов, ни «форумов», ни «пятниц на Санлисской мельнице»!

Вторая, бездарная война закончилась позорным миром. Долгожданный мир спустился на Париж, и всем стало не по себе.

7. Неудачный буддист

Смерть матери 12 января, потом рождение дочки 2 июля того же 1979 года основательно встряхнули мою душу. Я искал успокоение в рисовании и не находил. Пытался поднять угасающее воображение винными напитками — не помогало.

Глубокий духовный кризис, чего там!

В Бохуме я выставял «полосатые абстракции». Их хвалил директор музея Петер Шпильман. Пару картин купили немцы, но живопись не давалась. Я пачкал холсты, потом смывал изображение или загружал до такой степени, что оно походило на несгибаемую броню. Я слонялся по улицам и кафе, набивался в гости и в конце концов напоролся на живописца Мишку Кулакова. Туго затянутый в черное, он сидел в позе буддийского монаха на Мосту Искусств и, ка-

жется, смотрел, если не на вечность, то на плавно текущие воды Сены.

В Москве я редко с ним виделся. Он вечно метался между Питером и Москвой, и вещи, им сделанные, я видел у коллекционеров. Живописец громадного размаха в Совдепии не размещался, и кажется, в 1976 году перебрался в Италию. Оттуда доходили слухи, что Кулаков по-прежнему много рисует и кормится преподаванием восточной борьбы джиу-джитсу.

Одно дело, когда читаешь книжку о буддийской мудрости или смотришь традиционное искусство Востока, — все это пролетает мимо глубин сознания, не задевая сердечной шерсти, — и совсем другое, когда рядом, на парижском мосту сидит живой Будда и смотрит в бездну, и не кто-нибудь, а Мишка Кулаков, знакомый москвич!

— Фу! Фу! — крикнул я на московском языке. — Здесь русским духом пахнет! — Знакомый голос, — не поворачивая головы и без всякого выражения, словно мы виделись вчера, а не семь лет назад, сказал Кулаков. — Присаживайся, Воробей, и смотри на пупок. Нет, лучше пойдем!

— Но, куда? — спросил я.

— В никуда! — твердо сказал он.

— В какую бездну тянет меня Мишка? Мы пошли шататься без плана и цели, и многое открылось заново.

— Видишь эту статую? Генриха Четвертого?

— Вижу!

— Это энергетический центр парижского стойбища. Бронзовый, а не дурак этот Генрих! Если заберешь у него хоть часть энергии, тебе многое откроется без объяснений. Только не дремли! Помнишь, что сказал Мессия (от Матфея 24, 42) на горе Елеонской: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет!» У тебя есть данные. Вижу. Не спи. Двигайся кругами и параллелями, вертикаля-

ми и зигзагами. Забегался, закрой глаза и глубоко вздохни несколько раз. Глубокий вздох снимает усталость.

Римский философ Кулаков уехал, но его уроки глубоко запали мне в душу. Чувствуя мое стремление обрести душевное спокойствие, он тотчас же прислал мне письмо из Рима с массой полезных советов практического характера.

«Да и нет — одно и то же. Мы во времени Калиюга. Слово существует для маскировки, иными словами, через слово мы кричим себе и другим. Лучше сделать, чем сказать. Китайцы через пустяк, через цветок вишни, передавали всю гамму универсальных глубин».

«Миш, я не способен на мистицизм, и жила тонка, и много лени и пустоты. Вообще, бабий характер, заячья жизнь!»

«Валь, мир движется сам по себе, он не хорош и не плох и равнодушен к судьбе живой твари. Ищи в нем равновесия. Бросай в стенку нож!»

«Миш, пробую работать с пустотой. Если раньше я ее панически боялся, оставлять большие пространства холста без определенной формы мне казалось уродством, а теперь вижу, что ошибался. Напряженная пустота не менее значительна по форме, чем изобразительный момент. Пустота и есть форма! Трудно сказать, во что эти опыты выльются. Я раскрашиваю пустоты в разные колера — зеленый, розовый, красный, золотой, черный. Со счета пять не выхожу из композиции. Пятерка остается, несмотря на разницу цветовых пятен.

В Малом Дворце — японцы. Монохромны производят ошеломляющее впечатление. Там есть гипноз. Непостижимо!..»

«Валь, осторожно с японцами! В свое время Христос предупреждал, чтоб не вливать новое вино в старые меха. Гни свое, а не японское. У нас критик Оли-

ва и его группа сделали бизнес через ностальгию по старому. Свобода на старом фундаменте. Используй божественный план, а не японский, или китайский, или русский, Христос был Буддой. Его поведение в пустыне достойно подражания любого буддиста. Выживай из сердца личный бестиальный эгоизм. Бросай свой нож во имя Господа!

Вышла моя статейка в журнале «Бонзай» по тайчи-чуан, но по-итальянски, к сожалению».

* * *

Комнату на плас Насьон я поменял на чердак бульвара Распай, 33, седьмой этаж без лифта. Я выгуливал дочку в саду, красил картинки в «восточном стиле» — так упрощенно можно определить мое увлечение восточной каллиграфией и философией пустоты, где предлагал неизвестное до сих пор решение изобразительного пространства и реже блуждал по музеям.

В начале июня 1979-го я забрел на правой стороне Сены в галерею Одермата и осмотрел последние вещи Юрия Купермана. Теперь он подписывал их «Купер», это звучало именем знаменитого писателя Фенимора и не менее известного актера Гари, но писалось иначе, через русское «К». Роскошные натюрморты, упакованные в прозрачную ткань, меня очаровали. В русской газете появилась заметка Наны Шелия, но что меня удивило, без указания адреса галереи, где выставлялись картины. Я обиделся за коллегу и настрочил поправку:

«Парижский маршан и знаток русского авангарда Жан Шовлен заявил недавно «Арт Пресс 29», что «настоящий созидатель всегда диссидент, и не всегда диссидент — художник».

Еще в Москве Юрий Купер был известен в этом кругу знатоков искусства, как самобытный и тонкий

искатель новых форм живописи, но только на Западе его талант новатора и созидателя развернулся в полную силу.

Жаль, что Нана Шелия в своей толковой статье — Р.М. 3260 — описала лишь «творческую кухню» художника и не заметила, что Юрий Купер выставляется в одной из лучших галерей Европы — Одермат Галери — в приятном соседстве с лучшими мастерами современного искусства, такими, как Дали, Руо, Великович!

Дай Бог каждому художнику из СССР такого успеха на Западе! Париж. Валентин Воробьев. 15.06.79 г.»

После публикации заметки раздался телефонный звонок художника. Он с нетерпением ждал меня в гости. Но встреча сразу не получилась. Второго июля родилась дочка. Мы строили гнездышко для ребенка. И лишь 9 сентября мы встретились в Париже, в его мастерской на рю Виктор Шольшер.

Московский знакомец встретил меня как родного, близкого человека, в мастерской с видом на кладбище Монпарнас. Конечно, мы вспомнили московское прошлое, первую встречу в бараке Центрального Парка (1961), когда студенты Куперман и Дорон провозгласили меня «старик-ты-гений», в 1964-м — «общая баба», в 1967-м — московские развески и выставки, и в 1972-м — его отъезд и хлопоты на квартире Людмилы Николаевны Шапиро, где мы пили последний московский чай — ничего не значащие встречи двух молодых московских чуваков, однако в Париже эти редкие встречи вдруг обрели особую окраску и нас сблизили. Я много и сумбурно говорил о восточной философии, занимавшей меня в тот год, Юра о «бабах» и подлости эмигрантов. К Куперу я зачастил.

Вместо бородатых стариков московской графики он делал огромные натюрморты изысканной пластической музыки, фабрикуя их из ящичков под мутной

сетью, где прятал по углам забытые и принятые в обиходе вещи: коробка спичек, высохшая кисть, замызганная тряпка, птичье перо и обычные, классические поверхности, отшлифованные широким флейцем и акриловой краской. Рисованная от руки тарелка с ложкой, банка с мастихином в непроницаемой глубине сумерек, от которых ломило в мозгах.

— Все это просто делать, старик, — говорил Ю.К., принимая гостей без отрыва от мольберта. — Набросал горшок, положил несколько густых мазков, а потом залил фузой несколько слоев и картина готова.

Автор «простых картин», вдали от грызни «нонконформистов», усилием невероятной силы воли и таланта, навязал строптивому Парижу свое искусство, не изменяя себе ни на йоту.

Что я мог сказать такому молодцу? — «старик-тыгений»!

Купер начал с нуля и строил свою карьеру, как конструктор самолет, по винтикам. У каждого свое дело и работа впрок и на года. Он людей не ссорил, а сводил в одну строительную бригаду. Одни сидели на телефоне, другие грунтовали холсты, третьи подвозили и т.д. По мере увеличения средств, круг полезных людей расширялся. У него был один существенный недостаток — красивый, массивный, высокий, с выразительным лицом. Таким подают меньше. Богачи предпочитают плюгавых, горбатых и косых создателей эстетики, но Юра свой недостаток превратил в достоинство на женской половине человечества, где эмоции преобладают над разумом.

В пасьянсе Купера я был картой вне игры, разве что годился для партии в шахматы. Он любил эту древнюю игру, где анонимная пешка, умей ее передвигать, может стать королевой, не говоря уже конем или офицером. Но озабоченному эмигранту с такой

роскошью как шахматная игра, забирающей уйму времени, играть некогда.

Пусть играет Россия! Там время давно остановилось!

Значит, с меня толку, как с козла молока. Однако, несмотря на видное положение в парижском мире, Купер первым, как аристократ высокой пробы, протягивал руку.

— Валь, ты куда?

Такое воспитание я ценил чрезвычайно.

Со словами многолетнего сотрудника Купера, грунтоовщика В.С. Котлярова-Толстого, — «а этот запрограммирован заранее», — я совсем не согласен. Что может сказать человек, стоящий как провинившийся солдат перед генералом за неловко положенный слой эмульсионного клея.

Купер не сочинял планы, а строил жизнь по частям, переделывая ее на ходу.

* * *

Франция — тщательно упакованный, плодородный кусок земли. Крепко прибрано и запечатано. Лужа с головастиками под охраной государства. А мне душно и тесно. Повсюду бесы и помехи. Заглядывать в себя учит римлянин Кулаков. Пока без особого успеха. Мои ноги, как бревна, не гнутся в кипятке. Спина не стоит, а ломается, как доска. В голове тяжелый ветер. Для позы «лотоса» я не гожусь. Гимнастика дзен не для меня.

Вокруг дома тестя поднимаются лес и гора, где водились динозавры, и до сих пор находят яйца величиной с футбольный мяч.

В сарайчике, обливаясь потом, фабрикую черно-белые коллажи 60 на 80, под руководством римлянина Кулакова.

«Миш, курят ли буддисты?»

Ответ мастера :

«Курят, не курят — не твоя забота! Не впадай в ориентализм! Это скольжение по поверхности сущности, это декор, а не выстрел! Тренируй кисть! Тренируя кисть, ты обретаешь бессмертные души и безмятежное состояние духа. Настоящий китаец — Ван Гог, а не Верещагин! Понял, дурак!»

Нет, Бог не скинут!

Мой «Профиль Лао-цзы» — картина — вещь ориентальная, а не откровение, так и знай, дурак!

«Валь, все уничтожай до ста штук. Сотую оставь на просмотр. Не умеешь смотреть на пупок, смотри на гвоздь или дырку. Надо очищать сознание от мусора!»

* * *

В берлинской галерее современного искусства, с 20 сентября по 25 октября 1980 года, состоялась персональная выставка художника Льва Нуссберга.

Внимание зрителей привлекла пятиметровая панорама, похожая на древний китайский свиток и состоящая из десяти самостоятельных сцен. В этом горизонтальном «свитке» (картон, темпера, коллаж) автор на метафорическом уровне дает структуру «вселенной», используя различные символы восточного происхождения.

В построении композиции «свитка» употреблен метод «рассеянной перспективы», пространственные планы разбиты «супрематическим» орнаментом, сознательно искажена метрика глубины и повсюду монтируются то живописно, то графически трактованные пиктограммы.

Художник до предела насыщает космогоническим смыслом объекты изображения: воду, камни, облака, деревья, пещеры, птиц, здания, людей, цветы. Живо-

пись панорамы полихромна с нарочито «ядовитым» цветом, далеком от лирики. В разных частях картины вкраплены идущие, бегущие, сидящие люди, похожие на механические винты. В пещерах-безднах сидят адепты сакральных учений: Конфуций, Нил Сорский, Заратустра, Жанна д'Арк. Маскарад не выглядит странным, даже когда изображение человека приближается к известной китайской пиктограмме, означающей и дерево: корни, ствол, ветви, а на спине улетающей в космос женщины растет букет мимоз!

Капитальная работа угрожает зрителю «концом света» и походит на публичную авторскую исповедь.

По сути дела, подобных художественных произведений мы еще не получали от современных русских художников. Чтобы объяснить их появление, необходимо обернуться назад и бегло просмотреть творческую жизнь Льва Нуссберга.

Лев Вальдемарович Нуссберг — азиат. Он родился в сердце Азии, в славном городе Бухаре, заросшем вековыми кипарисами, среди древних камней мечетей и жгучего солнца. В азиатском захолустье мирно уживались китайцы, персы, узбеки, турки, евреи, армяне, русские, немцы. Этот яркий сброд племен, их одежда, речь, вера, обычаи навсегда запали в память художника. Потом были большие города: Ташкент, Ленинград, Москва. Юный Нуссберг в 1954 году сочинил свою первую живописную «утопию» и получил «гран-при» из рук президента Индии Неру.

Одним из первых в мире начинающий художник обратился к прерванным традициям «русского конструктивизма» начала XX века, заново открывая творчество Татлина, Габо, Лисицкого, Родченко, Малевича.

На ветхом балконе унылого московского дома в 1960 году он собрал свой первый кинетический объект, запустив в ход испорченный граммофон и лист ржавого железа.

В энциклопедии современного искусства, вышедшей на всех живых языках мира, кроме русского, появилось русское слово «Движение» с короткой справкой, содержание которой сводится к следующему: «В 1962 году русский художник Нуссберг организовал в г. Москве группу “кинетистов” под названием “Движение”». Далее идет перечень многочисленных выставок и манифестаций группы, как в СССР, так и за границей, вплоть до эмиграции части группы на Запад в 1976 году.

В СССР Нуссберг не нашел своей территории. Он не раз пытался убедить соввласть в лояльности своей работы, но государство, запускавшее в космос миллиарды рублей, не находило для него мотка обыкновенной проволоки. Художник с большим творческим размахом, неистощимой выдумкой и талантом превращался в рядового добытчика.

Здесь уместно привести выдержку из статьи французского критика искусства Мишеля Рагона: «Участники выставок не были приняты как “чистые художники”, но как “оформители-орнаменталисты”. Благодаря этой увертке первые русские кинетисты могли публично выступать и с большим успехом».

Призрачный успех и постоянные увертки. В СССР Лев Нуссберг жил как кузнец в пустыне. Ему вечно не хватало гвоздей, клея, картона, красок, электричества, музыки. Однажды советский начальник предложил ему вылепить кинетический объект из снега!

Художник уезжает на Запад, туда, где много гвоздей и беспредельная воля. И сразу же каскад городов, стран, выставок. Вена, Париж, Рим, Флоренция, Кассель, Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, Висбаден, Бохум, Берлин. На Запад Нуссберг пришел как к себе домой.

В академическом центре искусств г. Берлина Лев Нуссберг с помощниками создал «объект», который

он назвал «космической рыбой». Это огромное сооружение размером с транспортный самолет не только образцовая конструкция, состоящая из шести красивых геометрических «отсеков-форм», но и вещь художественная. 25 кубических метров пространства, захваченного «рыбой», находится в постоянном движении, под светом фонарей меняя цвет и поверхность объемов. Объект не пустотел! Чрево каждого отсека остроумно нашпиговано «бионикой», то есть имеет свой сюжетный ход и постоянную телепрограмму, специально снятую автором на местах религиозных мистерий. Достаточно запустить «космическую рыбу» при помощи электричества, как зритель сразу же попадает в крутой замес загадочного мира прошлого, настоящего, будущего.

Ориентализм как термин ничего не выражает в применении к творчеству Нуссберга — художника европейских художественных традиций и, как подчеркивает сам автор, «русского конструктивизма». В его произведениях нет ни азиатской утонченности, ни наперед известных красот, однако у русских кинетистов с середины 60-х годов появилась заметная тяга к культуре Востока, к эзотерическим ценностям Индии, Тибета, Китая, Японии, и к сакральному искусству дзен в частности. Нуссберг и его последователи в «супрематический», традиционный мир чистой пластики, унаследованной от Малевича и Мондриана, решительно вводят главную тему восточного искусства «Небо—Земля», с культом Воды, Огня, Камней, Дерева, Знака, Цветов.

В начале 70-х годов прекращается и дискриминация человеческого образа в искусстве кинетиков. Он появляется в своеобразном символическом преломлении. Социально-этическую значимость Человека кинетисты находят не в живописных образах безымянных современников, а в известных исторических

моделях. Эти Лики изображаются в окружении многозначительных пиктограмм, камней, конкретной музыки и телекамер.

«Утопии» Нуссберга, в особенности раннего периода, не всегда убедительны, потому что слишком навязчиво-дидактично толкование мира, персонажи переигрывают, и очевиден восторг автора перед могуществом техники.

Появление «космической рыбы» — биокинетического произведения высокого класса! — показало, что художник овладел чувством меры в таком сложном жанре искусства, как трагедия.

Рожденный колорист в ранних своих работах, теперь он прибегает к нарочито дисгармонической окраске поверхностей. Выбор оправдан. Художник орудует со «вселенной», а это труд, далекий от любования мотивчиком: лес, пруд, мостик. Зеленый, фиолетовый, желтый, белый, черный — ядовито-яркие цвета повсюду и в самом неожиданном сочетании. Набор космогонических и социальных символов, супрематические разрезы и фотомонтаж, яростная схватка Тьмы и Света, Звука и Движения. Теперь Нуссберг близко подошел к тому пониманию мира, которое образно выразил его любимый поэт Блок: «Так мчится в бешеной истерике все, чем мы живем и в чем видим смысл своей жизни».

Можно подумать, что такую печальную песню затянул изможденный и злой изобретатель, всем миром забитый неудачник и пессимист.

Богатырь в овчинном полушубке выходит на берлинский бульвар. Никому и в голову не придет мысль, что такой удалец верит в безысходность мира.

Художник удачлив и верит в свою звезду.

В компании художников громкий хохот и соленая русская речь. Прохожие оборачиваются с шепотом: «Русские идут!»

8. Загадочный армянский магазин

Кирилла Дорона я знал как убежденного «западника», а его жена Татьяна Осмеркина, дочь знаменитого «сезанниста», прошла все белютинские курсы рисования, от первого до последнего звонка этой школы. Они плавали в мире московских западников как рыбки в воде, и появлению Дорона на парижском горизонте я ничуть не удивился. Дорон бывал за границей и смирно возвращался назад, в уютную и накатанную жизнь Москвы.

В тот день за кухонным столом Купера сидел сын композитора Шостаковича и лепил из хлебного мякиша фигурку. Опустевшая бутылка водки подтверждала, что народ навеселе, но до кайфа не добрал.

— Пошли к Басме, — вдруг сказал Дорон, натягивая кожаные штаны, — допьем у него.

В погожее осеннее утро 1981 года, после обильного завтрака в русском духе — кому водка, кому чай — трое артистов, надрывая глотки и размахивая руками, пересекли знаменитое кладбище Монпарнас и спустились на зеленый бульвар Распай, где портретист Дорон огляделся по сторонам и сказал:

— Должно быть здесь!

Из помещения под названием «Горки Галлери» вышел молодежавый, кругленький левантинец с пушистыми, рыжими усами и обнялся с Дороном прямо на мостовой. В крохотной галерее, куда мы ввалились вслед за усачом, стоял пузатый тульский самовар с дырками, а на стенах красовалась пара пейзажей с изображением горы Арарат, покрытой вечным снегом. Ватага спустилась в подвальчик, где на расписном подносе возвышалась бутылка коньяка «Мартель», окруженная серебряными рюмками. Угостив коньяком, хозяин заведения по имени Гариг Басмаджан рассказал сочный армянский анекдот и показал

запасы изобразительных и прикладных художеств, стоявших на стеллажах.

Замелькала всякая всячина: картинки Айвазовского, Сарьяна, Грицай, Ромадина, Сверчкова, Купермана, Шерстюка и Кабакова, серебряные портсигары, старинная вышивка, иконы и восточные ковры. Конечно более всего поражала огромная картина советского художника Тулина, изображавшая «стройку коммунизма». Кто бы мог предположить, что живопись зрелого соцреализма может представлять какой-то коммерческий интерес в городе Париже!

Уловив удивление гостей, хозяин подвала, блеснув толстыми линзами очков, как топором отрубил:

— Настоящее лицо русской культуры — соцреализм!

Решительное заявление Басмаджана поражало не глупостью, а парадоксом, потому что насупротив стоял модернист Юрий Купер, уже набравший ход известности, модный портретист Кирилл Дорон и я, отвергавший соцреализм как эстетическую модель.

— Нам пришлось повозиться с Басмой, чтоб он решился на магазин в Париже, — сказал у выхода Дорон.

Купер свысока кивнул головой.

Через месяц в магазине появились русские работники: секретарша из «белой волны», беглый «супрематист» из Минска Николай Павловский и бывший московский мебельщик Владимир Котляров, в свободное от работы время ходивший по Парижу обнаженным с протянутой шапкой.

Армянский магазин покровительствовал обездоленным русским изгнанникам, подбрасывая реставрационные работы.

— Надо помогать русскому авангарду, — не раз повторял рыжеусый армянин, выставляя на стол вспотевшую от мороза водку.

К зиме 1981 года Гариг Басмаджан собрал немислимую до сих пор выставку, соединив убежденных «реалистов» и «антиреалистов» в одно культурное пространство, Купера и Шерстюка, Грицай и Немухина, Целкова и Ромадина. Удивляла не пестрота направлений, а некий единый советский «китч», чрезвычайно далекий от дорогостоящих затей буржуазных «измов».

Галерейщик Басмаджан стал своеобразным первопроходцем подобных сборных солянок, странных, но поразительно убедительных сопоставлений «официального» и «неофициального» искусства Совдепии.

К началу 80-х годов в одном Париже скопилось не менее ста бывших артистов Шестой Части Света, в подавляющем большинстве не желающих и не способных сменить культуру Совдепии на культуру Франции. В растерзанное нищетой и невежеством общество протянулась братская рука помощи. На дармовую выпивку и закуску в магазин Басмы потянулись потерявшие направление жизни русские дикари, не способные прочитать название парижской улицы. Не менее пятидесяти бродячих художников оказались в цепких руках начинающего галерейщика.

9 марта 1983 года магазин «Горки Галери» под заманчивой вывеской «Эротика» собрал самые непримиримые кружки русского творчества, чего никому до сих пор не удавалось.

Проповедник «нонконформизма» Александр Глезер мирно болтал с убежденным конформистом Виталием Стацинским. Абстрактивист Вильям Бруй пил водку с академистом Колей Любушкиным. Бывший зек Вадим Делоне обнимался с бывшей «королевой ночной Москвы» Наташей Дюжевой. «Власовец» Иванов кричал «лахаим» сионисту Вайнбергу.

Если первой выставкой галерейщик соединил эстетически несовместимые художественные явления,

то на выставке «Эротика» он свел идейно непримиримых противников в один замкнутый круг.

Жандармы эмигрантской чистоты искоса поглядывали на вызывающие перформансы приبلудного армянина. Моралисты антикоммунизма задавались одним и тем же вопросом — откуда идет деньга? По углам русского рассеяния никто толком не знал, чем кормится Басмаджан и кто содержит магазин в богатом парижском квартале. В конечном счете любители уголовного розыска склонялись к удобной мысли: «Галерейщик — агент Москвы!»

От таких выводов не стало легче. Загадочный армянский магазин обрастал невероятными легендами.

Сознательная жизнь Гарига Басмаджана началась с поэзии. Сначала по-английски в Иерусалиме, где он родился в 1947 году, потом по-армянски в Ереване, где он учился языку предков. Там молодой и одаренный поэт вошел в кружок армянских эстетов, составлявших авангард армянской литературы. Его литературная деятельность совмещалась с собирательством изобразительных искусств, составивших значительную коллекцию. В 1972 году Басмаджан женился на француженке армянского происхождения и перебрался в Париж, где сошелся с начинающим свой звездный путь Юрием Куперманом, отлично рисовавшим и сочинявшим бытовые романы из жизни московской богемы.

В парижском кафе или на берегу озера Севан возникла идея коммерческой галереи не имеет значения, пищи для сплетен и бездоказательных предположений было достаточно, но появилась вывеска «Горки Галлери» на парижской стене.

Сам галерейщик после первой выставки армянских художников 1978 года вспоминал не раз:

— Я понял, что могу покупать и продавать картины.

Связь с московским артистическим подпольем Басмаджан держал через «сретенский кружок», где выделял Илью Кабакова, Кирилла Дорона и Юрия Купермана, переехавшего в Париж.

Несмотря на робкое, самодеятельное начало, начинающий галерейщик храбро снял помещение и осенью 1982 года показал весь спектр русских экспериментов в искусстве. Потом потянулись вереницы выставок и публичных торгов, где Басмаджан занял место первого эксперта.

Согласно сплетням, постоянно бродившим в кружках русской эмиграции, галерея Басмаджана возникла не по воле нищего поэта, а в «недрах КГБ», якобы озачиненного застоём соцреализма в стране победившего коммунизма.

Он вообще-то никогда не скрывал, что торговые сделки с Москвой осуществлял через официальное учреждение под названием «экспортный салон», где все служащие были им подкуплены, от сторожа до начальника. В «недрах КГБ» сидели отпетые бюрократы, располагающие несметными средствами для «дестабилизации» капитализма при помощи динамита, тюрем и психушек. Они упорно отрицали существование современного искусства на территории СССР. Попытка Басмаджана вывезти в большом количестве произведения Кабакова, Янкилевского, Штейнберга закончилась неудачей. В «недрах» советских бюрократов эти замечательные создатели не значились в списках художников, однако терпеливый армянин вывозил тех, кто значился в списках.

Часть девятая «АРТКЛОШИНТЕРН»

Как капитал приобрести и невинность соблюсти.

М.Е. Салтыков-Щедрин, 1877

1. Красивая жизнь парижской богемы

Искать контакты с французами я начал сразу по приезде в Париж. В первую очередь я искал профессиональную среду, не забывая и о «народе». В городе сплошных кафе и забегаловок я не находил ни одной, где собирались бы вершители судеб искусства. Чем больше я слонялся по Парижу, просиживая часы то в одном знаменитом кафе, то в другом, тем все больше меня удивляло отсутствие художественной атмосферы в мифическом городе, ее создавшем. В известное и дорогое «Клозри де лили» на бульваре Монпарнас иногда забегали матерые знаменитости театра, литературы, телевидения, искусства, чтобы отведать рыбное блюдо с очередной поклонницей или поклонником.

Любители и туристы занимали стратегические места пивного бара с вызывающе блестящими медными этикетками на столиках — «Ленин», «Троцкий», «Пикассо» и шептались: «Смотри, смотри, прошел Леотар с бабой!», «Эй, смотри, Эдерн-Алье вырядился как петух!», «Смотри, Питер Классен совсем поседел!».

Можно было заказать кружку пива и сидеть в углу за «столиком Ленина» час-два, пока не появлялся тапер и заглушал весь разговор, стучая по клавишам старого пианино.

Иногда, изображая из себя богему — шаровары в краске, сандалии на босу ногу, свитер с дыркой на локтях, — в бар заходила пара знаменитых карикатуристов: Плантю и Виллем, живших в дорогих ателье Кампань-Премьер напротив. Они выкуривали по сигарете, выпивали по кружке пива и убегали к себе, где холодильники ломались от питья и жратвы. У них это называлось «выйти в люди».

В правом углу пивного бара постоянно заседал с потертым портфелем Ваня Коновалов, пожилой дядя, сын последнего царского министра просвещения. Он кадрил девиц, предлагая им граммофонные «сорокопятки» с большой скидкой — песенки Брассенса, Трене, Монтана. Зажиточный дядя не упускал случая нажиться на торговле грампластинками в случае решительного отказа.

Я обошел все знаменитые кафе, и везде был пустой номер.

Встречи с британским предпринимателем Джорджем Батлером, меланхоликом, рисовавшим акварели с натуры, с артистом современности, минималистом Жан-Марком Филиппом, увлекательно рассказывавшим о своей жизни в Нью-Йорке, где обкатывал свой талант по галереям Манхэттена, и с корректоршей из издательства «Фламарион» Ритой Мариянчик, приведшей меня в ателье известного фотографа Вильяма Майвальда, ни к чему не привели.

Ко мне приходили именитые профессора Мишель Родд и Пьер Берж, расписавший потолок оперного театра по эскизам Шагала. Со свойственной французам любезной улыбкой они расхвалили мои картины, пригласили на ответный обед с дорогим ви-

ном, но дальше обмена любезностями дело не пошло. Как только раз я заикнулся на вернисаже мосье Родда о знакомстве с галерейщиком, он панически сжался, перешел на шепот и прекратил разговор.

Встречи с этими профессионалами от искусства были совершенно пустыми и лишенными смысла. Они тряслись за свои завоеванные в битвах места, как огня опасаясь непрошенных конкурентов. Их совершенно бесплатные похвалы, советы и тосты «а-ля вотр» ничего мне не давали.

Несколько лет подряд (1977, 1978, 1979, 1980) я встречался с итальянкой Жиллой Давид и ничего, кроме глупых советов, не получил.

Лишь один художник, старый президент парижских салонов Эдвард Макковой (1978), пригласил банду русских абстрактивистов (12 человек), для чего мне пришлось уговаривать русских знакомцев, слетевших на сборище как по команде, — но каково было разочарование, когда мы собрались на развеску и с трудом нашли свои произведения, застрявшие в общей куче экспонентов. Никто не побеспокоился их собрать в одно место, а работы Архангельского, Булатова мы так и не нашли, хотя они числились в моем списке.

С «народом» я не сходил. Он сам ко мне пришел. Я не успел поставить мольберт в тупике на рю Бельэр, у плас Насьон, как ко мне постучался сосед с приветом: «Бонжур, Пикассо!»

Крепкий мужик с явственным южным акцентом сразу пригласил на выпивку. Носильщик Лионского вокзала артистов разделял на две категории, те, кто рисует «ню», — настоящие художники, а те, кто сочиняет «композиции», — халтурщики. Я, к его сожалению, приходился на вторую категорию. Отчаянный болтун, он беспрестанно говорил только о невестах и изготовке крепкого самогона с грушей внутри бутыл-

ки. Он искал достойную жену, владеющую этой техникой, но так и не нашел при мне. Это был хороший профессор французского языка. Он сразу хватал смысл моей речи и уверенно поправлял произношение.

В 80-м я весь был в пеленках годовалой дочки. Она постоянно страдала простудой, врачи не знали, чем и как ее лечить. Анна и я, как очумелые, сменяли друг друга на дежурстве, а в свободные «окна» я слонялся по Парижу без всякого определенного плана, наобум, куда вынесет ветер. В то время парижские дворы, ворота и подъезды хранили первозданный вид, видеофоны, портокоды и двойные запоры появились позднее. Я слонялся по дворам, заглядывал в дома с консержами и без них. Попадались таинственные дворы с роскошными фонтанами и скульптурами, фаянсовые стенки и уютные дворики с лавками, где можно было расположиться с книжкой, вдали от грохота парижских бульваров и толчеи.

Весной, когда цветет черемуха и сирень, парижские дворы и сады благоухают и тянут на подвиги. Я побывал в Швейцарии, на дурацкой выставке «Четверть века русского искусства в Париже», с Бугриным, Гарри Файфом и Гришей Мишонцем. Ночевал у свояка и вернулся основательно потрепанным от делового туризма в деревню Обон. Какая-то мадемуазель Блондин от имени французских интеллектуалов заказала мне большой транспарант с протестом против Олимпийских игр в Москве, я показал им эскиз — пять колец в виде зажигательных бомб и два поджигателя по сторонам, Картер слева и Брежнев справа с факелами.

С кладбища Монпарнас, где легко дышится среди покойников, я поперся по зеленой улице рю де Планта и напротив скверика обнаружил расписные ворота брошенного завода. Дверь не закрывалась, и в щель я увидел странное зрелище, удивившее меня.

На колченогом столе стоял нарядный жонглер и бросал палки с огнем. Вокруг собрались испачканные краской люди в вызывающе живописном тряпье. Таких сборищ я еще не видел в Париже.

«Артистический скват» — полный абсурд и как понятие, и как сообщество. Я заранее отвергал такого рода «общины», где творцы слоняются по помещению, мешая друг другу работать. Присутствие Риты Марианчик меня подстегнуло на авантюру. Мы проникли во двор с большим деревом посередине. Не надо было объяснений, чтобы опознать перед нами живописцев, скульпторов, инсталляторов и комедиантов.

Необходимый набор французских фраз я давно заучил — «экзиле», «политик», «контакт», «артист», «пентр», «диссидент», «Руси», в общем, достаточно для общения на пальцах. В свои 42 года я уже не рассчитывал попасть дуриком в обойму известности, славы и денег, но жажда общения не покидала меня. Весь этот сброд напоминал чем-то русские сборища по подвалам и чердакам, возможно, так жили Шагал и Архипенко в 1910 году. Через полвека бывшие скваторы обзавелись собственными «дворами», обществом отнюдь не коллег по ремеслу, а лиц посторонних, но необходимых в хозяйстве преуспевающего профессионала, кормильца и поильца: секретарь, шофер, любовница, приживальщики и советчики всех родов. Здесь же царила полная свобода общения цыганского табора и общаги. Не успели мы приблизиться, как подлетела пушистая блондинка в красном колпаке и в белом салопете, замазанном яркими красками, и потащила нас в свое логово.

Берта Брелингар, плотная бабенка лет сорока, работала в помещении с разбитыми окнами, посреди стояло изодранное в клочья кресло, на полу банки и склянки с красками. Она рисовала геометрические

абстракции мелкими мазками, вещи, так сказать, вне времени и пространства. Активный участник революции 1968 года, она постоянно искала общения с людьми творческого направления, и скваты были идеальным клубом для такой потребности. Она грубо оттеснила моего гида Риту и занялась моим воспитанием, припирая бесчисленными вопросами. Мое имя она тут же забрала, заменив на ей известное Владимир. Все русские для нее были «владимирами», как известный Ленин, и я попал в этот список без особого протеста.

Я стал постоянным посетителем этого отстойника неудачников и правдоискателей всех мастей. Там я обнаружил настоящую солидарность и бескорыстную поддержку. Берта привела ко мне пару просвещенных покупателей, ею основательно обработанных. Они купили у меня картинку маслом за тысячу франков в «китайском стиле».

Летом я исчез из Парижа, а осенью Берта повела меня по парижским скватам, где все ее знали. На рю д'Аркей, у парка Монсури, жили «крысолов» Анри Шурдер, философ Пьер Родье и постоянный сторож «колонель Помпон», державший пару кур и петуха. Они изредка проводили фестивали искусств, приглашая артистов со стороны. Со второго я стал постоянным участником этих диких сборищ.

2. Невозвращенец Павловский

В 1920-е годы русская речь обогатилась новым, советским словом «невозвращенец», по содержанию походившим на смертный приговор, — «лицо, не вернувшееся на родину из-за границы и изменчески перешедшее в лагерь врагов СССР».

Однако невозвращенцы появились задолго до суровой советской эпохи.

Царь Борис Годунов (XVI век) решился послать своих «робят» за границу для изучения «науки разных языков и грамоты». Годуновские «робята», как утверждает легенда, пропили командировочные деньги и домой не вернулись, предали родину и перешли в лагерь врагов СССР.

— Русская жизнь не принимает искусства всерьез.

Мы не знаем толком, где доставали краски Айвазовский, Верещагин, Левитан, но хорошо известно, что прославленному Карлу Брюллову так обрыдла светская жизнь Петербурга, что он ушел в Европу голяком, подарив таможене костюм и белье русского производства.

Звезда XIX века Орест Адамович Кипренский влюбился в сумасбродную итальянку и последние двадцать лет доживал за границей, не сожалея о русской славе.

У маститых невозвращенцев, облаканных царем и светскими заказами, была возможность вернуться назад и творить на русском морозе. Художники Василий Кандинский, Николай Рерих, Александр Бенуа, Марк Шагал, Павел Мансуров, Иван Пуни, командированные за границу, предпочли творить на теплом Западе.

Наши современники краски, карандаши, бумагу, славу, заказы, белье достают по спискам и по благу. Самый последний русский мазила, уставший от векового мазохизма властолюбивой черни, мечтает попасть на тесный, гнилой и спесивый Запад, где всего, бля, почему-то навалом. Из социалистического рая бегут воры и политики, танцоры и фарцовщики, футболисты и военные, шахматисты и музыканты, и художники здесь не исключение, а правило.

Художник Николай Павловский был не первым и не последним, когда летом 1979 года покинул группу белорусских туристов и стал невозвращенцем. Из-

менник родины, партии и правительства прошел курсы коммунизма и модернизма, а в московском «салоне» Льва Кропивницкого, художника и коллекционера, получил благословение на подвижничество в искусстве. Нутряная мысль «Я — гений, я буду первым на Западе!» была мощным мотором для решительных поступков.

Художник переметнулся с прицелом развернуть вовсю свой гений, покрыть Запад пестротой белорусских идей, в общем, переплюнуть Вазарели и Кристо, уставших от мирового успеха.

Высокие мысли белорусского самородка не соответствовали ритму пошлой действительности.

Год новатор вкалывал подручным у «Солженицына графики» Мишули Шемякина, начальника русского искусства в Париже и потомственного князя Адыгеи и Кабарды. Он снимал угол у португальского революционера, не забывая о предстоящей славе.

По словам Павловского:

«...Мы, португалец Мануэль Родригес и я, работали на Шемякина, раскрашивая его рисунки. После отъезда Шемякина в Америку легкий заработок исчез. Я вспомнил, что Сутин и Шагал жили в Париже, не отвлекаясь от живописи. 10 мая 1981 года мы пришли к железным воротам с номером шесть по рю д'Аркей. Совсем незнакомые люди дали мне угол с матрасом и бесплатно. Питался ворованным молоком и кашей в «суп популер». Аристократы выдавали поношенные вещи высоких марок. К зиме я нашел пустую комнату на третьем этаже и перебрался туда. В конце 1981 года, выпивая у «живого артиста» Тритона, решили организовать выставку под названием «Клошарт». Через год оказалось, что название режет слух французам как «клошар» и сменили на «артклош». Я сделал афишу. Мария Васильевна Синявская ее отпечатала в своей типографии, левой рукой ме-

шая борщ, а правой рукой нажимая на кнопки шрифта. Ее бородатый супруг, похожий на школьника, играющего в Деда Мороза, одобрил работу».

Расторопный «славянин» с опытом партийной работы с массами, взялся за преобразование парижского дома в культурное общежитие. Вскорости там поселились португалец Мануэль Родригес, перешедший из марксизма в буддизм, русский фотограф Валька Тиль и ученик великого Дюбуффе, «живой артист» Жан Старк. Каждый тащил за собой подруг и знакомых. За лето 1981 года бывшее бомбовое депо заселили бездомные художники, клошары, наркоманы и педерасты.

Творческий союз в Париже! Дурдом двадцатого века!

Трудолюбивые неудачники сошлись в один братский круг, чтобы не потеряться в сердитом мире.

Жилистый белорус с крупным носом, большой поклонник технического прогресса в искусстве, «не отвлекаясь от живописи», фабриковал огромные, оптические композиции, скорее похожие на белорусские вышивки, чем на индустриальные чертежи современности, необходимые богатым заказчикам. Павловский стал инициатором артистических фестивалей под названием «артклошинтерн», вошедших в историю парижского андеграунда.

Первый фестиваль от 20 января 1982 года с театром, музыкой, живописью, танцами и пьянкой получился почти домашним мероприятием.

«Начало было скромным, — вспоминает Н.П., — шесть артистов и десяток раскрашенных известью крыс Анри Шурдера, но вскорости о нашем сквате знали все в Париже, от мэра города до отдаленных русских углов».

О героических делах Павловского первой узнала Аида.

На острове русской культуры, в салоне Аиды, без изменений переставленном из Замоскворечья в Париж, о Павловском говорили с нескрываемым восторгом, как о полярнике на дрейфующей льдине.

— Привести Павловского ко мне! — приказала Аида адъютанту из беглых матросов Андрееву. — Хочу видеть русского героя!

Хозяйка парижского салона Любовь Моисеевна Тапешкина, по кличке «Аида», сменила пять мужей, пока не успокоилась на оборотистом фотографе Владимире Сычеве, устоявшем на ураганном ветре капиталистической конкуренции. Бывший инженер Сычев, бойко болтавший по-английски в Совдепии, за полгода выучил французский и заработал первый миллион, чем потряс не только русскую эмиграцию, но и любопытных аборигенов, не знавших, где расположен Смоленск. К толстопузому тульскому самовару тянулись земляки, нищие, проходимцы, фарцовщики, иностранцы. Рожденная ногами на земле, реалистка Аида милостиво пригревала нигилистов и славянофилов, чтобы стравить их на потеху гостей. Вожаки этих течений, страдавшие непомерной манией величия и невежества, также как писатель Юрий Мамлеев и поэт Эдуард Лимонов, приходили в салон, когда им вздумается.

В честь героя Павловского был устроен особый банкет с мясным борщом и привозной самогонкой. Биографический формуляр героя оказался невыразительным. Общих знакомых не находили. Павловский молча съел кастрюлю борща, облизнулся и окаменел. Аида пыталась без всякого успеха направить знаменитого гостя на философскую беседу, обращаясь за поддержкой то к Мамлееву, то к Лимонову, но, потеряв терпение, выбрала самый решительный вариант.

— Павловский, очисти мне икону шестнадцатого века.

Гость молча кивнул головой.

Дворовый реставратор Владимир Котляров, сидевший рядом с фарцовщицей Козлихой, подпрыгнул и завопил:

— Не позволим! Это моя работа!

Разговор оживился. Мертвой хваткой вцепившись в старинную доску, Павловский не собирался сдаваться. Тучный реставратор, прыгая петушком, пытался вырвать заказ из рук противника.

— Котляров! — повысила голос Аида. — За безобразное поведение я тебя отлучаю от дома.

Славянофилы и нигилисты одобрительно зашумели.

3. Беглый матрос Игоря

У художника Коли Любушкина сбежала жена. Он искал собутыльника в пору запоя, и я пришел его поддержать. У него сидел рыжий лысеющий парень, похожий на солдата в отгуле. Он представился Игорем Андреевым, а Коля уточнил:

— Это гений из Канады!

Чтобы не ударить в грязь лицом, рыжий парень, затянутый в кожаные штаны, включил песни Высоцкого и стал подпевать.

— Егорыч, покажи свои шедевры Воробьеву, — уламывал Коля, — он тебя плохому не научит!

Рыжий стал огрызаться, но наконец смирился и повел в свою чердачную конуру.

«Канадец» рисовал цветными карандашами в ярких тонах утрированные персонажи, напоминающие маски древних мексиканцев. Я почувствовал, что передо мной настоящий художник, еще не знающий себе цены и плохо обученный технике рисования.

— Не прячь талант на чердаке, — сказал я ему, — ты настоящий художник, но надо талант обработать

до совершенства. Приходи, помогу, чем располагаю.

Я никогда не заводил школы, но судьба заносила ко мне натуры, одаренные к искусству: Коля Румянцев, Эдик Штейнберг, Сергей Бордачев. Таким же случайным учеником оказался и Игорь Андреев, или «Игора», как он подписывал картинки.

На чердак Распай, 33, он притащил двухметровый лист бумаги и начал рисовать по воображению. Успехи его были потрясающе быстрыми. Работал он беспрерывно, с редкими выходами в кафе. Я вручил ему ключи от чердака, куда он приходил по своему усмотрению. Он предлагал свои услуги в качестве сиделки моей малолетней дочке, но играть в куклы ему пришлось с дочкой Аиды, Дуней.

* * *

В искусство приходят по-разному, часто очень окольным путем.

Из тюрем и психушек, из дворников и кочегаров, через эмиграцию и бульдозеры, мимо академических правил, но всегда через опасность потеряться.

Этот Игора пришел через побег, вынырнув из океана.

В пересказе быль художника звучала так:

«Я сам потомственный ленинградец, морская косточка. Отец — моряк, мать — кассирша. Был удобно прописан на улице Марата. Жил во дворе и фарцевал с 15 лет жвачкой. Потом забрали в армию. Не любил подчиняться и сидел на губе. Там меня научили водить грузовик, и в будущем пригодились эти права. Вернулся в Питер и пошел наниматься в балет, не прошел, и грузил ящики на Ленфильме. Надорвался, и меня уволили. Иду по солнечному городу и вдруг вижу объявление — в «Ленрыбу» требуются моряки.

Во мне что-то екнуло, но думаю, вот это мне и надо. Я сказал себе, за свободу надо драться! Летом 1971 года, облачившись в отцовский пиджак, я пришел в порт на вербовку рабочих. Меня взяли с поддельной характеристикой на кухню чистить картошку. Промысловое судно месяцами рыбачит в открытом океане, по так называемой “второй визе”, без права захода в иностранный порт, и наш “Смольный 67” вышел на шесть месяцев в Атлантику. У нас отобрали паспорта, напоили водкой и выпустили в море. Члены нашей команды отличались исключительной отсталостью в политическом смысле, все скандалисты и трепачи. Не успели миновать Балтийское море, как заболела буфетчица Клава. Меня из картошки перевели в буфет, и лечил я буфетчицу водкой. Чем больше лью, тем больше просит. Уходя от непогоды, “Смольный” взял курс на юг и шел почти месяц, то и дело черпая рыбу.

Вместо календаря наступает беспросветная тоска и пьянство. Люди, потеряв чувство времени, превращаются в дикарей, потому что жить по-человечески нужда отпадает, нет женщин, пьют и грызутся по пустыкам, а капитан со своей бандой читает лекции о стратегии жатвы на целине и прочей чуши. В начале сентября мы очутились в северной Атлантике, за кормой носились акулы и чайки, постоянно приписанные к траулеру. Буфетчица свалилась от запоя, и ее перевели в санитарное отделение под надзор лекаря. Я не курил и не пил. На трезвую голову мне пришла отчаянная мысль, о которой поведал врачу. Говорю, что у Клавы не белая горячка, а заворот кишок и надо оперировать. При подходе к суровым канадским берегам капитан решил и запросил “Ленрыбу”, и та разрешила зайти в порт и выставить больную буфетчицу на берег. Навстречу дул свирепый норд-ост, летели арктические тучи, ледяные волны захлестывали палубу.

Рабочие корчились от качки. На рассвете 20 сентября мы вошли в канадский порт, доверху набитые рыбой. Красивая бухта Святого Джонса, как картинка, с разноцветными парусами, стройными рядами кранов и опрятным причалом, освещенным холодным солнцем.

У причала дежурил грузовик с красным крестом. Большую буфетчицу положили на носилки и спустили по трапу.

Мой план был простой — сойти на берег и не вернуться.

За мной давно присматривал матрос с выбитым в драке глазом. В клубе начали крутить фильм, палуба пустовала. Экипаж отсыпался по каютам. Начальство совещалось у капитана. Я заперся в уборной, намазался салом, открыл иллюминатор и незаметно скользнул в воду. Я хорошо плавал с детства, но короткая, ледяная бухта казалась бесконечной, а когда я коснулся берега, где стояли и хохотали рабочие, я объяснился фразами, что бегу на волю с корабля. Меня поняли и отвезли в тюрьму.

Утром пришли двое в штатском с переводчиком-хохлом. Потом появился хроникер из газеты. Меня посадили в автомобиль и повезли к причалу, где стоял «Смольный». Я с места не двинулся. Они развернулись и в тот же день доставили в город».

* * *

Мы учимся друг у друга.

У соседа, у современника.

Великие образцы прошлого, как красиво упакованные египетские саркофаги, стоят за пределами живой конкуренции.

Музейный мир Франции, с его историческим Лувром во главе, с давних пор хранил махровую стратегию консерватизма.



Автор с Юрием Купером.
1985



Портрет В.И. Воробьева.
Рис. Кости Бокова. 1991



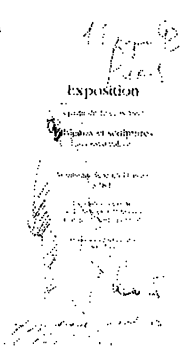
В.С. Котляров-Толстый, В.И. Воробьев и Н.И.
Павловский в «Артклубинтерн»



Валька Тиль, Воробьев, Павловский
в парижском сквате «Арткюшинтерн»



На открытии Мемориальной доски В.В. Маяковского
в Париже. 1993



Рене Давид. Акварель
В.И. Воробьева. 1976

Пригласительный билет на
выставку Хвоста и Бруя
с их авторским автографом



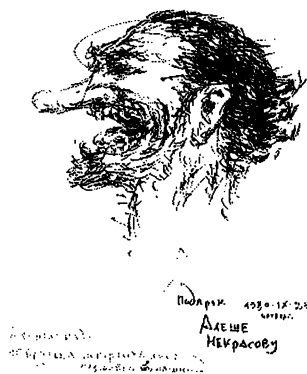
В парижской мастерской. 2000



В.Я. Ситников
дома на Лубянке



Галя Евтушенко, Аида
Хмелева, Эдик Лимонов и
Леночка Щапова



Автопортрет В.Я. Ситникова.
1980



Шарж на К. Кузьминского.
В.Я. Ситников. 1986



Рыжий матрос Игоря в
обучении живописи.
Париж. 1984



С дочкой на даче. 1992



Парижские игры с поэтессой
Медведевой под лавкой
Люксембургского сада



В гостях у Михаила
Гробмана в Израиле



Эксвайр Вильям Бруй в
своем кафе Chez Francis.
Париж. 2004



Вечный скватор
В.-М. Тиль-Самарин



Хвост респетирует пьесу из
жизни зверей.
Париж. Июнь 2004



С Олегом Прокофьевым в
парижской мастерской. 1992



С Вадимом Алексеевым на даче
у горы Сен-Виктуар в Провансе. Май 2004



В.И. Воробьев у себя в мастерской. Париж. 2004



Валентин Воробьев. 2004. *Фотография В.Б. Алексеева*

Я внимательно следил (1976) за скандальной покупкой двух фальшивых картин Пита Мондриана (умер в 1944 г.) с сертификатом его друга и соратника по движению Сифора. Поразила не покупка фальшакков, а запоздавшая политика «Бобура»!

Голландец Мондриан двадцать лет жил и творил в Париже, выставлялся в кружке близких соратников, короче, был на виду, но ни один парижский музей не купил у него картину, по тем временам ничего не стоившую.

Мне открылось, что у Пикассо, всемирно известного «величайшего художника XX века», приобрели лишь в 1944 году одну вещь и за большие деньги, а человек всю жизнь прожил в Париже, редко выбираясь за границу. Музеи покупают с большим опозданием и за огромные государственные деньги. Такова их политика, по крайней мере во Франции.

Галерейщики Парижа давным-давно утратили способность к авантюрам, и такие, как папаша Танги, не говоря об Амбруазе Волларе, поднявшем никому не известного испанца Пикассо, Марка Шагала и другие звезды, оставались далекой легендой.

Самые передовые и решительные — не больше десяти из пятисот! — выставляют проверенный американским рынком товар, и, на моей памяти, я видел лишь «звезды» поп-арта и его парижских подражателей. Одна галерея Дениз Рене стойко держалась геометрического искусства с начала до конца, но это отдельная статья личного увлечения просвещенной и решительной хозяйки.

На гребне восьмидесятых годов из соседней Германии, потом из Италии подул ветер нового «изма», обеспеченного солидной подпоркой немецкого капитала, удачно обозначенного итальянцем Бенито Олива, как «трансавангард». С небольшим разрывом и опозданием французы принялись сколачивать «наци-

ональную группу», чтобы попасть в последний вагон уходящего поезда.

По Парижу, по парижским скватам пополз слух, что появилась блуждающая галерея с названием «Бо-Лезар» («Красивый ящер») с неограниченным капиталом для раскрутки молодых и передовых художников.

На бульваре Сен-Жермен, 208, на втором этаже с низкими потолками сидели с модно подстриженными затылками молодые воротилы «Красивого ящера». Они, засучив рукава, следили за экранами редких по тем временам «компьютеров» и жали на «мышонка», не отрываясь от экранов, где мелькали разноцветные картинки и тексты.

На закрытый вернисаж Давида Шамбара, молодца лет двадцати пяти, рисовавшего пеликанов крупным и дальним планом, привела нас Берта Брелингар, лично знавшая артиста «как облупленного». У буфета, щедро набитого виски, водкой и соками, толкались молодые «ящеры», отлично одетые буржуа, с сигарами во рту. Было нечто подпольное в сборище, трогавшее честолюбие решительно всех гостей, ожидание облавы или землетрясения.

Пока я скрывался с семьей в Провансе, мой беглый матрос Игоря сделал серию превосходных композиций, ярких, красочных и смешных — чайники качались как пьяные, прыгали стаканы и букеты, кривились людские лица и рыбы. Как никто, он подходил по стилю городского гротеска новой галерее «Бо-Лезар», собиравшей групповую выставку. Художник Шамбар краем глаза взглянул на фотографии его работ, кинулся в бюро и привел невысокую брюнетку с широко открытыми глазами, директрису галереи. Она впиалась в фотографии Игоря, посыпались комплименты и улыбки. Мы разговорились. Игоря бойко говорил по-английски, чем совсем очаровал галерейщицу.

— Это то, что нам надо! — заключила брюнетка и обещала отобрать работы для групповой выставки «ящеров» в Лувре на дефиле последних мод.

Да, мы не ослышались — руководители молодой галереи при поддержке фабрикантов текстиля и знаменитых «стилистов» принимали участие в показе парижских мод во «дворе Наполеона».

— Старик, — сказал я Игоря, — это тот самый шанс, о котором мечтает каждый художник. Ты прорвался на славу!

Весь день мы ждали прихода брюнетки, а когда она меланхолично известила, что кто-то уже отобрал художников и каталог составлен, я чуть не разбил стакан со злости.

Французский фольклор в чистом виде!

Такой разворот событий мне встречался впервые, и мой подопечный Игоря впал в меланхолию и год или два не появлялся на вернисажах.

Вместо дефиле в Лувре он попал в артистический скват.

Кто отбирал художников для выставки в Лувре, а их было 15, я не знаю, их снимал для фирмы «Сигма» фотограф Влад. Сычев, а несчастный Игоря тащил за ним осветительный прибор.

Позднее и 15 счастливых, в свою очередь, перетрусили. Наш знакомый Давид Шамбар исчез с горизонта почестей. Остались Франсуа Буарон, Роберт Комбас, братья Ди Роза, Реми Бланшар, еще какие-то уроженцы солнечного Прованса.

Группу засыпали заказами и деньгами.

Боевая группа «трансавангарда» в эпоху «социализма», свободы, равенства и братства народов составлена исключительно из коренных французов провинциальной глубинки.

Галерея «Бо-Лезар» сменила адрес и через год или два исчезла с художественного горизонта. Такое впе-

чатление, что ее держали исключительно для подбора банды молодых новаторов, этакое компьютерное бюро для составления каталога, списков и связей.

Итак, в свои сорок пять лет я открыл как далеко-видно и продуманно, а не на авось создается современный «изм» больших доходов.

У «Артклошинтерна» не было ни порядочных заступников, ни национальной поддержки. Над общиной постоянно висела угроза изгнания. Подвиг Павловского стал бородатым, бесплатным мифом. На фестивалях по-прежнему толкались безымянные и нищие фанатики рисования, канадцы, турки, сербы, американцы, евреи, русские, немцы, обреченные на тяжкий труд без вознаграждения.

Единственный меценат «артклоша» Гариг Басмаджан так и не понял, как создается мода доходного искусства.

* * *

Под Новый год и на Пасху Аида сзывала гостей.

За огромным столом, украшенным самоваром, тесно прижимаясь друг к другу, сидели гости, разношерстный народ, незнакомый друг с другом. В жизненный план Аиды входило загребать все, что попадалось по дороге, и потом расставлять полезные фигуры по своим местам, как на шахматной доске.

Под Новый 1983 год я привел к ней Игоря. Вскороности он стал ее личным шофером. Беспутный парень, не пропускавший ни одной доходной юбки, к обоюдной выгоде хозяйки стал приводить в «салон» влиятельных людей Парижа.

Картинная галерея Аиды состояла из кучи ничтожных по качеству художественных произведений, с преобладанием «церквей» и «русских зим», но в этом

мусоре попадались и форменные шедевры Зверева, Яковлева, Ситникова.

Стоп, шаг назад, а лучше два, по-ленински, разобратся!

Советская власть из-под полы торговала матрешками.

Искусство, причисляемое к тайникам бесклассовой души, пытались обуздать арестами и налогами.

В начале 70-х на западном базаре появились робкие коммерческие попытки верных друзей советской страны. Возникли галереи Бар Гера в Кельне, «Гамаян» на Мальте, Басмаджан в Париже, галерея «Октябрь» в Сан-Франциско с «владимирскими перелесками».

Парижский магазин был записан на французов армянского происхождения, а за столом сидел кругленький, с пушистыми усами поэт Гариг Басмаджан, ученик советского университета. На пороге галереи брэнчал на гитаре Толя Путилин, работавший художником и вышибалой. В подвале на реставрационном конвейере трудились Коля Павловский и Владимир Котляров-Толстый.

Неважно, кто дал подъемные деньги, важно, что инициатива создания магазина исходила от просвещенных московских друзей, художников Кирилла Дорона, Юрия Купера и Ильи Кабакова, мечтавших о пропаганде русского авангарда на Западе. «Идею» московского подполья очень быстро освоили «культурные советники» советского посольства и «выездные академики», далекие от прямолинейной политики западных маршанов.

Пять лет подряд я глупо и беспокожно вешал картины в больших салонах и выставлялся в бездоходных галереях.

Если советский зритель смотрит на современную живопись как на опасное моровое поветрие, как на

нашествие чумы или колорадского жука, которого надо убивать на лету, то западная публика поражает своим равнодушием к вывертам артистов, дожидаясь сигнала присяжных критиков и директоров музеев для атаки и закупки.

В 1982 году армянин Басмаджан купил у меня акварель за 500 франков, а у ленинградца Леонова сразу две картины. Бродячему фотографу Тилю вставил новые зубы. Толстому купил модный и совершенный фотоаппарат. Путилину оплатил курсы вождения и автомобиль. Однажды при мне он сказал: «Павловский, скажи сколько нужно денег, — дам!»

Настоящий меценат!

Советский дидактический «изофронт» вообще не предусматривал торговой отрасли, а интерес к нелегальному феномену был чисто любительский и подчинен политической разведке, а не коммерции.

В Париже, после позорных провалов А.Д. Глезера (1975—1980), открылся магазин Басмаджана. На одной стене висел вид армянских гор, на другой огромное полотно живописца Тулина «Гудровка шоссе», а в углу папка с рисунками Кабакова и Вейсберга.

В торговой практике бутика преобладали армянские картины, но видное место занимала и «сретенская группа» Кабакова, через которую шла связь и закупка нелегального товара в Москве.

О Басме возьмем пошире: у меня с ним крепкая связь.

Почему торговец с коммерческими интересами советской России вставлял зубы парижским клошарам и оплачивал убыточные издания русским графоманам?

Потом — парижские скваты!

Новаторы? Центр созидания или жалкий вертеп?

После ожесточенных дебатов в парламенте (ноябрь 1980 г.), когда левые депутаты потребовали от-

ставки министра культуры за враждебное отношение к скватерам Монпарнаса, подобные скваты стали необходимой пешкой в предвыборной борьбе левых и правых за власть. Правда, последнее слово оставалось за владельцами помещений — частная собственность, слава Богу, остается неприкосновенной при всех политических режимах! — но рядовой скватер, художник и музыкант часто и не подозревает, что за его спиной работает оккультная логика власти и гражданского сопротивления, где замешаны министры, комиссары парижских аукционов и меценаты.

Известный комиссар парижских торгов Пьер Корнетт де Сен-Сир был крупным дельцом артбизнеса и процветающим коллекционером передовых течений. Почему он рискнул связаться с кучкой клошаров и бездомных художников?

Риск? Показуха? Дурь?

Здесь была иная логика. Торговцы всегда шли впереди политиков. Акцент живой продажи был смещен в маргинальную географию скватов, совершенно неизвестную торговому миру и ценителям. Была официальная версия: скваты это явление дикое и лишенное эстетической торговой ценности, но широкая публика не знала, о чем идет речь в парламенте, и появление скватских художников на аукционах вызвало живой интерес парижан. Цены поставили смехотворные, но залы были забиты битком и весь скватский мусор распродан по дешевке.

Скваты по-прежнему оставались за бортом официального «Титаника» с музыкой и черной икрой, но в один торговый день клошары стали эстетами с коммерческими ценами!

Канадский богач купил сразу сто картин израильянина Саши Путова. Картина Одетт Сабан попала в официальную коллекцию «Ассистанс Публик», в музей сумасшедших. Продали свои вещи Тиль, Шурдер,

Старк, Павловский, Лолошка. В этой комбинации Басмаджан, презиравший крыс Шурдера и мазню Путова, выигрывал как покровитель обездоленных, папаша Танги XX века, что походило на правду, хотя нам не хватало своих сезаннов и ван гогов для полного счастья.

На второй фестиваль «Артклошинтерна» я поехал с Игоря на машине Аиды. Его красочная, двухметровая, карандашная вещь сразу выделилась на стенке постоянных скваторов, и 15 марта 1983 года трудолюбивые неудачники Парижа сошлись в один братский круг вернисажа, чтобы полюбоваться шедевром.

У меня была репутация московского скватера и «бульдозерника» 1974 года с рядом выставок на Западе, не приносящих дохода. Конечно, я не отказался бы посидеть в удобном кресле «английского клуба», но, разуверившись в успехе выставок, пустил жизнь на самотек, «куда кривая вывезет» (по Ситникову), и встреча со скватами не была случайной.

Даже нью-йоркский опыт «черноморца» Соханевича, порвавшего все связи с официальным Нью-Йорком и ставшего грузчиком, не казался мне абсурдным.

Я повесил на фестивале «артклош» здоровенный холст с изображением коровы.

Мы слонялись по дворам Парижа с малохольным Чаплиным и Игоря. На вернисаже Берта Брелингара влюбилась в Чаплина, окрестив его сразу «Владимиром», и пригласила на бесплатную ночевку. Чаплин был в восторге от парижанок. Подобные учреждения Нью-Йорк уже не терпел.

— Сын свободы никогда не будет рабом тленья! — кричал Чаплин.

Гражданин трудовой Америки Олег Соханевич, сочинивший стихи в древнем стиле Гомера, пробасил:

— Содержательно сказано!

* * *

Оскара Рабина я не узнавал в Париже, как трудно опознать генерала, несправедливо разжалованного в солдаты. Он присмирел, поник и затих. От «Солженицына русской живописи» ничего не оставалось. Журналистские титулы висели на нем, как на лошади путы. В 1978-м, когда его лишили совгражданства, тормозившего его общественную деятельность, он с облегчением вздохнул и выпустил книжку, обработанную мадам Клод Дей, «Художник и бульдозеры». Ее заметили. Гонимый художник получил от города мастерскую, и на этом западная ласка прекратилась.

Настоящий художник всегда бунтовщик.

Нищета шлифует его пророческий дар. За русским андеграундом закрепилась репутация пророческой среды, хотя духовидное творчество, скажем уровня Малевича или Филонова, еще не стало традиционной культурой и торговым оборотом.

Я знал Оскара Рабина с 1960 года. Мы не очень часто встречались и совсем не дружили.

Он терся среди своих в Лианозово, я где придется, а когда встречались, то составляли одну банду клубных или квартирных выставок. Я со своим расплывчатым эстетизмом и шизофренией никак не мог принять скучную и рассудочную живопись барачного авторитета, человека со скудным запасом ничтожных культурных или политических тем.

Появление Рабина на выставках «артклоша» меня совсем не удивило. В быту московской и парижской богемы было много сходных моментов. Присутствие Оскара Яковлевича, упакованного в измятый костюм и обязательный галстучек в крапинку, лишь украшало скватские фестивали, подчеркивая весь маразм и абсурд выставочной деятельности. А когда рядом появлялся Игоря, вызывающе пестро одетый в розовое,

голубое, красное, то вернисаж превращался в настоящий театр.

Моряка с трудным характером и большим талантом я ввел в клуб фотографа Майвальда, где сразу оценили его петушиный облик. Его заметила пара богатых теток, мадам Мишель, владелица прогулочных катеров на Сене и сама художница, и мадам Клейн, мать покойного авангардиста Ива Клейна. Неразлучные старухи нашли ему новую службу дежурного шофера. Бывало так, что старухи слонялись по магазину «Бон Марше» в поисках одеколona, а шофер их забирал через два часа в условленном месте. Ему не только платили, но постоянно приглашали на обеды в дом Мишель на набережной Сены. Там он сошелся с галерейщиком, купившим у него ряд работ, что было делом невиданным по парижскому мелководью.

Уродливый характер моряка, обкатанный потребительским Западом, вскорости сказался на наших отношениях.

Летом 1985 года, в мое отсутствие, Игоря перевез все свои творения, сделанные под моим наблюдением, в квартиру Аиды, оставив на столе записку наглого содержания, что за свет, газ и телефон он заплатит позднее!

Гений ограниченных возможностей!

Ничтожество сугубого закала!

В сентябре я встретил наглеца у Аиды в пестром шейном платке и спросил его, что случилось. Беглый гений заявил, что он отработал свой постой, таская мои бездарные картины с места на место.

Аида, фотограф и гости ехидно умилились над одураченным Воробьевым.

— А совесть у тебя есть, Игорь? — спросил я еще раз.

— Совесть — понятие не физическое, а метафизическое! — отвечал мне обнаглевший моряк.

С тех пор наши отношения скисли до такой степени, что при встрече мы не замечаем друг друга, но Сычевы пострадали от него в свою очередь. В 1987 году он грубо напакостил Аиде, утащив из квартиры поэтессы Одоевцевой ценные книги 20-х годов, оболюбованные Аидой заранее, но Аида оказалась гораздо хитрее меня. Картины Игоря она предусмотрительно спрятала и выставила квартиранта на тротуар порожняком.

Ну, вы даете, господа!

На своих местах в выжидательных позах сидели потемневшие Мамлей и Лимон.

Платки и штаны морячка стали еще ярче.

На такой ноте закончилась моя авантюра с парижским учеником, одаренным хамом, беглым матросом «Ленрыбы», Игорем Егоровичем Андреевым, — ничего, кроме дерьма не принеся на мою доверчивую голову.

4. Жалобная книга

Семейный альбом «Мулета» слагался как голос русских неудачников, беспартийных скваторов диаспоры и амбициозных шизофреников, на безлошадные идеи Владимира Толстого, сказавшего мне при первой встрече в Париже в 1979 году:

— А может быть, я творец, а не пупок!

Эмигрант Котляров Владимир Соломонович на московском горизонте смотрелся отдельной, неразборчивой фигурой. Шел слух, что начальник реставрационной артели, «пупок» Котляров, пригревает обездоленных артистов. Мой старый друг Володя Серебряный — земля ему пухом, рано спился и талант загубил! — раз в неделю доносил о повадках начальника Котлярова и склочной жизни артельщиков. Работу Серебряный получил на склейке стульев и та-

буреток лишь после того, как сдал начальнику любимую Наталью Пауль на растление. В 1979 году Котляров выкинул фортель, удививший официальную Москву. Он сдал партийный билет и медали властям и совершенно голым, по «израильскому вызову» ушел на Запад.

В Париже он начинал все сначала в сорок лет.

Что было до этого?

На посиделках у Аиды он говорил о прошлом: «Я уезжал в тайгу и пил горькую».

Очевидно, пил и горькую. На нелегальных квартирах Ники Щербаковой и Кибло-Киблицкого его не видели. Он не дрался за свободу творчества под дождем, не торговал с иностранцами, а лез в советские начальники, расталкивая конкурентов и завистников.

Редкий фрукт эмиграции.

Советский чиновник без «инострannого досье» мыл посуду в парижских кабаках, долбил язык аборигенов и присматривался, с какой стороны прославиться. Крупный мужчина с богатырским аппетитом пытался голяком показаться сытому Западу, но ничего, кроме приводов в полицию, перформанс не приносил. Реставрация икон и стульев кормила впроголодь. Способных эбенистов было больше, чем мебели.

Благодаря рекомендации невозвращенца Павловского «живой артист» Толстый вошел в общину «арт-клошинтерна» и обессмертил свое имя рядом красочных провокаций.

«Мой сокурсник по французскому языку, — вспоминает Н.П., — зачастил в наш скват, то один, а то и с друзьями: Лимонов, Эйдельман. Однажды привел Оскара Рабина с неразлучной супругой. Мы отгородили ему “жизненное пространство”. В конце 1982-го он в нем обжился».

На фестивалях Толстый изображал сцену библейского Онана, опередив московских новаторов Брене-

ра и Кулика на десять лет совершенством мастурбации, вызывавшей восторг посвященных лиц.

С несением «Святого Креста» он не прославился, а осрамился. Безвкусный плагиат, — Толстый себя не распял, как распинают себя верующие малайцы, а туго привязался к бревну веревками и ничего, кроме конфуза, не произвел. Ясновидящие и влиятельные банкиры на дурно сделанную сцену не пришли.

Беспокоил и безбожный конкурент, крысолов Анри Шурдер.

Если Толстый честно носил на горбу «крест», едва сводя концы с концами, то хитрый канадец ловил на помойке жирных крыс и живьем распинал их на крестах. Однажды он распял на парижских воротах сразу тысячу измазанных дегтем и гашеной известью крыс. Такого богохульства человечество не знало. А самое ужасное, на распятую погань Шурдера находились бульварная пресса и заказчики.

Демократизм скватских фестивалей, организованных на карманную мелочь нищих участников, заключался в том, что туда лез всяк, кому не лень, от неудачников искусства до уличных музыкантов и психбольных наркоманов. Парижская критика показы и перформансы «неизвестных личностей», как выразился мэр Жак Ширак, освещала мало, социальное положение не улучшалось, несмотря на победу социально близких, «левых сил» во Франции.

Журналистика — большое дерьмо нашего времени.

Армянский магазин не сыпал, а подбрасывал жалкие средства на «вивристские игры» Толстого. Галерейщик считал себя филантропом артистического сквата на рю д'Аркей. Распятые крысы Шурдера красовались рядом с маринами Айвазовского и тульскими самоварами. При посредстве осевшего в Париже «британского подданного» Юрия Купермана в мага-

зин пришли Целков, Заборов, Стацинский, Рабин, Мастеркова, Зеленин.

— Вы перегрызлись друг с другом, — внушал собутыльникам Басма, раздавая сигару под коньяк, — Нуссберг с Глезером, Шелковский с Толстым, Максимов с Синявским, Куперман с Бурджеляном, а я вас всех сведу под одну крышу.

И сдержал свое слово!

Под разными предложениями общих выставок он собрал представителей всех кланов и течений, стоявших на вернисажах спиной к спине, не чокаясь и не болтая.

Подвальный «эмигрант» Миша Славинский и «светлейший князь» Борис Голицын, беглый матрос Игорь Андреев и знаменитый Юрий Купер, диссидент Андрей Синявский и фотограф Вл. Сычев, артист Толстый и упаковщик газет Виталий Стацинский, мистик П.Н. Богданов и издатель Глезер, скульптор Игорь Шелковский и уличный портретист Коля Любушкин, «лидер нонконформистов» Оскар Рабин и реалист Борис Заборов — вот неполная картинка постоянных тусовок у Басмы.

— Теперь, когда нас всех собрали вместе, надо подумать о настоящем печатном органе русского авангарда!

Задумку Толстого встретили на «ура». Даже завистники Глезер и Шелковский, издававшие свои идеи, поджали хвост от удивления.

В логове парижского сквата пять бродячих артистов — Эдельман, Павловский, Лимонов, Савельева, Щапова — потели над первым номером альманаха «Мулета», «семейным чтением», выражавшим капризы его издателя. Журнал получался как крик русской богемы, скватеров неизвестной культуры, самовыражение амбициозных шизофреников, часто наделенных пророческим даром. Общее содержание остава-

лось винегретом юродства, невежества и порнографии. Все священные понятия поворачивались вверх дном, как кавардак в детской комнате. Издание славило «человека вселенной» Толстого и не соблюдало табели о рангах, столь чтимой интернационалом сестры и сердечной бездарности.

Надо было видеть морды русского начальства, ренегатов и переметчиков, когда на прилавке появился увесистый кирпич «Мулеты».

Несмотря на полную блокаду, журнал держался. Для него писали «плебей, не сумевший понять» (по Щаповой) Эдичка Лимонов, «великие учителя искусств» Комар и Меламид, встающая звезда мирового рынка Юрий Купер, уважаемые пасквилянты Костя Кузьминский и Вагрич Бахчанян, московский «сексуальный мистик» Игорь Дудинский и множество поэтов, мечтавших печататься, где Бог пошлет.

Игру в жмурки и бессмысленную работу морализатора поддерживал армянский магазин. Армянин действовал по старинке, а артисты второй половины XX века нуждались не только в красках, а в развлечениях подороже, поездках в Тунис или Грецию, в Альпы или за океан. Дрожать на голодном пайке люди давно отвыкли.

Потом случилось непредвиденное — Толстого изгнали из сквата.

— Толстый, скажи откровенно, — бубнил Володя Бугрин, опрокидывая стакан водки, — почему ты ушел из сквата, ведь ты был гвоздем фестивалей?

— Я не ушел, а меня отчислили за пропуска занятия, — лукаво отвечал Толстый, уплетая куриные пупки.

На самом деле Толстый благородно уступил помещение «вивристского пространства», построенного руками Лимонова и Щаповой, земляку с Валдая, фотографу Вальке Тилю. Человек отроду обществен-

ный, он все-таки родился повелевать и хвастать, а в сквате безобразничали наркоманы и бездельники, не умевшие повиноваться.

Несмотря на огромное пузо и хороший аппетит, в Толстом играло детство разбалованного мальчишки. В игру взрослых его не пускали, а детство не вечно.

А при чем здесь расчетливый и знаменитый Куперман?

Поясняю. Юрий Михалыч — не только прекрасный художник, но и замечательный писатель. Он написал очень хорошие мемуары, «Московский натюр-морт» (1974), пишет пьесы и короткие, выразительные эссе.

Я рисую и пишу не хуже его.

Художников Репина и Бенуа, владевших русским словом, лучшие русские издатели разрывали по частям, а где печататься нам? В советском журнале «Огонек»?

Конечно, в «Мулете» Толстого!

* * *

6 ноября 1984 года в выставочном помещении «артклоша» я повесил большой холст под названием «Верхом на корове». Народ пил, пел, веселился, и вдруг один чужак из Лондона предложил мне показать картину в Англии. Предложение в неловком положении. Рядом стояли фотограф Сычев и Аида, пригласившие лондонского гостя на вернисаж. У них были свои планы с лондонской выставкой. Точнее, они предлагали Зверева и Яковлева без меня. Моя «Корова» перепутала их планы. Опуская скучные и утомительные переговоры и сборы картин, заинтересованные стороны сошлись на «трех экспрессионистах».

Квартира супругов Сычевых после бегства за океан Шемякина, Глезера и Нуссберга составляла суще-

ственный участок русской цивилизации на Западе. Там плелись особые разговоры на цены сибирских собак, первого и второго русского авангарда. Там сводили пробивных женихов с богатыми невестами, и наоборот. Там знали, кто погубил Россию и что будет дальше с Западом.

Через салон Аиды прошел весь цвет русского художества, известные переводчики и неизвестные портные, актеры и разведчики всех подчинений, туристы и упаковщики чемоданов, издатели и домовладельцы, пол-Москвы и пол-Парижа.

Уроженка глухой смоленской деревни, близкой к раскольникам, после сельской школы перебралась в Москву. Год училась в университете, вышла замуж за сокурсника Владимира Осипова, родила дочку, потом сына и занялась выживанием семьи, как курица своими цыплятами. Непутевый муж, увлеченный подрывными идеями, попал в тюрьму и надолго. На свет явилась еще одна дочка от заезжего японца. Жили тесно, но дружно и весело. Аида, с первых шагов на столичной земле оказалась в эпицентре подпольной цивилизации, с ее уродливой игрой в искусстве, политике, поэзии. В 1969 году на горизонте Аиды появился казанский инженер, искавший московскую «прописку». Сначала он ночевал по подвалам художников, в моем в том числе, а очарованный красотой и решительным характером Аиды, надолго сошелся с ней. От него родился сын Никита. Сычев подрабатывал фотографией и главным образом обширной фарцовкой, кормившей многодетную семью. В конце 70-х Сычевы держали подпольную галерею, выставя звезд «еврейского искусства» и эмигранта Михаила Шемякина, жившего в Париже.

Сумбурные студенческие увлечения «коммунизмом с человеческим лицом» сдуло, как ветром майский пух с деревьев.

— Я лучший этнограф Европы! — любила говорить Аида. — Я по форме носа и разрезу глаз могу определить племенную принадлежность человека!

Открытая, прямая, бесстрашная, с выразительным, иконописным лицом.

— У нас, у Кривичей, все такие носатые, иконописные и умные, как я!

Хорошо подготовленный к эмиграции Владимир Сычев, «славянин с татарской кровью», привез в Европу пять тысяч уникальных фотографий России и сразу издал альбом «Русские», обогативший его на несколько лет. В Париже «салон Аиды» стал стойбищем «махрового расизма», как и в Москве.

В Москве фотограф Сычев собрал огромный фильмный резерв, достойный любого фотомастера, но московские издатели, забитые цензурой и страхом, не замечали его содержательной деятельности. Перебравшись с Плющихи на Сретенку, Сычевы усилили свое дело «квартирных выставок» и товарообмена, на котором жил и первый зятек Аиды, книжный маклак Сухорук.

Спустившись на Запад по «еврейскому вызову», Сычевы сразу атаковали издателей высоким качеством фотографий. Журнал «Пари-Матч», пораженный свежестью материала, где советская жизнь выставлялась как есть без всяких прикрас, тиснул репортаж, ставший бестселлером. Вышла и толстая книга, собравшая лучшее из обширного архива фотографа.

Заняв место видного и модного фотографа, Владимир Сычев не ограничился достигнутым, а с налету кинулся в дело, в работу, доставляя из самых горячих мест планеты репортажи высокого качества, — Ливан, Израиль, Белфаст, Панама, Ирландия.

Аида возобновила посиделки.

Сняв квартиру в лучшей части Парижа, в тихом квартале посольств и Национальной ассамблеи, Сы-

чевы сохранили московский уклад с самоваром и постоянной толкучкой разномастных посетителей.

Дочку Дуню, родившуюся в Париже, крестили писатель-монархист В.Н. Волков и чеченка Инна из «советских резидентов» 60-х годов. В таком контрастном сопоставлении весь характер Аиды и Сычева.

Постоянными и почетными гостями стали писатели Мамлеев и Лимонов, приехавшие из Америки.

— Главное — печататься, — сказал закройщик Лимон, потирая очки, — а где, не имеет значения.

Конечно, это взгляд «жлоба и хама», но кто вам запрещает делать литературную карьеру таким образом. Главное слава!

Эдуард Лимонов шел по камням популярности, как циркач, прыгая с кипятка на лед и обратно.

А пошло то, что пошло!

Человек, умеющий шить вельветовые штаны, нигде не пропадет, но кто даст ему Нобелевскую премию?

Прославиться во что бы то ни стало, неважно где и чем, — сжечь храм, убить президента, утопить жену, бросить бомбу, — слава на века! Разницы никакой. Люди забудут преступление, а имя сохранится в памяти навсегда. Закройщик Лимонов усиленно пробивался в газету Жана-Эдерна Алье, салонного смутьяна, грозившего стереть президента республики в порошок. И тот его заметил. «Казачок» из Харькова стал его постоянным сотрудником.

Появление Лимонова в парижских скватах тоже было не случайным. Он строил мастерскую Толстому, готовил товарища к перформансам и сочинял для журнала «Мулета» статейки в обидчивом тоне подростка.

Мамлеев держался благоразумного нейтралитета, хихикая над «левыми» и «правыми», отлично зная, что и те и другие страдают запорами и пьют с блядьми.

Грамотные эмигранты, читавшие Оруэлла и Амальрика, с нетерпением поджидали «апокалипсиса», хотя

бы местного, земного значения — скажем, украшения коммунизма в отдельно взятой стране. Там же один руководящий старец сменял другого. В таком игровом ритуале царила мрачная умеренность эмоций вперемежку с солдатской казармой Афганистана.

Богатая Германия, не запуская русских глубоко в корыто, изредка подбрасывала крошки.

* * *

1983 год вышел немецким. Я прекратил толкаться на вернисажах, выгуливал дочку в саду и допоздна красил картины в «размахайском стиле» (по Ситникову) — так упрощенно можно объяснить увлечение восточной каллиграфией, где предлагается решение пространства, до сих пор мной не освоенное и не осознанное изнутри, вперемежку с фигуративными деталями. Потехи ради, я выставлял эти картины без подрамников в витринах соседних магазинов, чтобы посмотреть самому издали и обнаружить грубые промахи. Через неделю-две я их сворачивал в рулоны и бросал в угол. Картин с тротуара никто не замечал.

Немцы, чрезвычайно чувствительные к бандитскому прошлому своих отцов, заливших кровью всю Европу, охотно выставляли и покупали советских художников, перекрывая все рекорды культурных связей с Москвой. Немецкие «земли», соревнуясь друг с другом, приглашали к себе советских академиков и бедолаг от искусства, живущих за границей.

В начале 1983 года за культурное мероприятие с русскими артистами взялась «земля» Северная Германия, с двумя музеями (Люнебург и Стаде) и двумя культурными центрами (Брауншвейг и Форсведе). Без интриг не обошлось при образовании «парижской команды». Лидия Мастеркова, стоявшая в списке приглашенных, по неизвестным мне причинам

выбыла, и никто из оставшихся четырех за нее не обиделся. Список «парижан» — Леонов, Зеленин, Шелковский, Воробьев — был утвержден «главным специалистом русских дел» доктором Шпильманом и закрутился как по писаному.

Погожим маем в Париже завалилась немецкая делегация в количестве семи человек. Этот внушительный выставком отбирал картины с учетом «ретроспекции» на десять мест каждому участнику, что сразу поставило меня в тупиковое положение. Я с большим трудом разыскал пару картин московского периода, а остальное отобрали на месте.

Забегая наперед, добавлю, что советский инженер из Гамбурга, внимательно следивший за развитием событий, как-то проговорился: «А советские отказались от выставки!»

Меня страшно заинтересовало, почему «советские» отказались от выставки за границей. Инженер уточнил отказ советской стороны: «Немцы зажали деньги!»

Оказывается, советская сторона охотно приняла приглашение Северной Германии и, как водится среди опытных бюрократов, потребовала от немцев полной бумажной отчетности с точным указанием затрат на выставку и гостей, тем паче что собирались ехать не наши товарищи, а академик Шмаринов с женой, детьми и внуками. Немцы на советский запрос не пошли, а значительные деньги необходимо было списать к новому 1984 году, чтобы получить новые дотации. Остаток в сто тысяч марок решено было пропить между собой, пригласив в качестве статистов культуры кучку неприхотливых и беззащитных русских беженцев из Парижа.

Банкир Дирк Вилке, посвященный в операцию, ловко справился с делом. Помогал ему Эдик Зеленин, «инженер» Леван Кацешвили, курировавший

диссидентов со времен «бульдозерного перформанса», и директор Бохумского музея, д-р Петер Шпильман, отлично знавший всех художников андеграунда. После путаницы с каталогом и дорогими «слайдами», сделанными приятелем Зеленина, нас и писателя Виктора Некрасова, ничего не понимающего в искусстве, пригласили на вернисаж 17 сентября 1983 года, в музей города Люнебурга. Городская пресса не дала сообщения о выставке, нерасклеенные афиши гнили нераспечатанными в подвале, и на открытие никто не явился, кроме организаторов с семьями. Отчет ДПА сделал приятель Шелковского и ничего не прибавил к нашей артистической биографии, кроме набивших оскомину «бульдозерных фактов».

Для дирекции «Дома художника» в г. Ворпсведе было большим сюрпризом, когда на роскошный банкет с шампанским заявились два художника, Зеленин и я. Обитатели курортного городка ничего не знали о выставке и на вернисаж не пришли. В приглажительных билетах, которых нам не выслали, не был указан адрес и телефон Дома художника, и никто из любознательных дядей, за исключением товарища Кацешвили, так и не узнал о существовании выставки «четыре из Парижа».

С выставкой в музее г. Стаде было еще наглее. После короткой речи директора музея выставку прикрыли и отправились обедать и пить в роскошный ресторан с сияющими люстрами и охотничьей добычей по стенам. Примерно из 50 присутствующих на обеде лишь четверо имели отношение к выставке.

Начальник огромной «Галереи Брауншвейга» — здание с колоннами и греческим портиком — пригласил нас на жидкий чай, где я пытался в присутствии Шпильмана и администратора выставки Дирка Вилке «выяснить отношения». Нам вежливо обещали исправить ошибки в будущем, но время было безнадеж-

но упущено, а в тот же вечер директор организовал танцы вместо вернисажа.

Возникает вопрос: это был сознательный бойкот устроителей или некомпетентность в работе, заранее рассчитанный обман четырех русских или тупое невежество?

Я думаю, что опытные администраторы Северной Германии умышленно поставили нас в унижительное положение попрошаек, совершенно сознательно утаили финансы предприятия, скрыли все возможности музеев и галерей, внесли неразбериху с рекламой, чтобы немецкая общественность, правая или левая, — не помню, кто был в оппозиции, — не пронюхала об их махинациях.

Выставка «Воробьев—Зеленин—Леонов—Шелковский», организованная президентом Брауншвейга, потерявшим глаз под Сталинградом, была из рук вон никудышной. Отцы городов, убежденные демократы, поставили галки в культурной работе «земли», накормили художников обедом и выпроводили.

Выставку и поездку в Германию освещала Кира Сапгир, острая, как ножик, и ядовитая, как гадюка, журналистка «Русской мысли». Она знала всех русских художников, поэтов от А до Я и пополняла недостаток специальных познаний по ходу дела, без отрыва от производства.

— Валь, а что такое гопарт? — спрашивает, глядя на картины Александра Леонова.

— Это скажи гоп, когда перепрыгнешь.

— А, я так и думала, что Леонов не совсем гопник, еще не перепрыгнул!

Немцы ничего от нас не ждали, ни возрождения Святой Руси, ни, тем паче, новых открытий. Такой подход к делу мне уже был знаком.

Соблазнительная концепция «патриотического треугольника» — «традиционалисты — новаторы —

эмигранты» — была навеяна романтизмом «Святой Руси», но шла вразрез со здравым смыслом.

Лично я до развала Союза придавал большое значение «разумной государственной политике», которой не было и быть не могло в стране, где иностранцам дарят малевичей и продают иконы, чтобы построить тракторный завод! Кроме того, сидевшие у госкормушки братья вечного реализма не собирались делиться с приبلудными новаторами подозрительного направления, ну а эмигранты, черт бы их побрал, проживут без кремлевских пайков!

Потом опять — стговор врагов народа!

Уезжая из великолепно очищенного от копоти Люнебурга, вдребезги пьяный писатель Некрасов пыхтел:

— А я, ребятки, с ними воевал в окопах Сталинграда!

— И правильно делал, Виктор Платоныч, — сказал я ему, — сукины сыны эти немцы! И Петер Шпильман — несчастный лакей, а художники — беззащитные трусы и попрошайки!

И начались вычисления и счета.

Все дружно на меня накинулись и заткнули рот.

Игорь Шелковский мычал: «Скажи спасибо, что повесили картины!»

Я лишний раз убедился, что беззащитным русским бедолагам за границей жить не так просто, как кажется.

Еще один урок прямого лицемерия.

* * *

Я забыл спросить Аиду, каким образом московский фарцовщик Саня Шпайзман очутился в Лондоне. В Москве он работал продавцом в валютном салоне, отсидел свои пять лет за незаконные валютные

операции и смылся за границу. Поскольку он научился отличать картину от скульптуры, то быстро нашел место консультанта у английского маршала Жоржа Миро. Вернее, сам Миро был опытным международным адвокатом, а его жена Виктория от безделья держала галерею, чтобы общаться с артистическим миром и писать людям письма красивым почерком.

Аида во что бы то ни стало желала избавиться от больших запасов зверевых и яковлевых, и выставочный треугольник «Три экспрессиониста» пришелся очень кстати. Медведь еще не был убит, а на дележке непроданных корифеев галерея «Миро» просила половину, четверть Сане Шлайзману, и остальную четверть получали Аида и я.

Конечно, без русской мистики не обошлось и тут.

К подготовке выставки подключились критик Жан-Клод Маркаде, художник и архивариус Мишка Гробман и собиратель малевичей Георгий Дионисович Костакис, переехавший из Москвы в Афины. В салоне Аиды появилась пара владелиц «зверят» и «яковлят» Римуля Городинская (жена поэта Хвостенко) и пианистка Ирина Ермакова. Им тоже хотелось всучить англичанам свои вещи.

Осенью 1984 года квартира Сычевых превратилась в склад. Появились гуаши В.И. Яковлева конца 50-х и лучшие масла, лесные пейзажи А.Т. Зверева конца 60-х.

Аида сияла от счастья.

— Вот это мой любимый Толечка лежит на полу, а это лучший Володенька стоит в углу!

* * *

Под ногами Запада драгоценные камни Греции и прочная демократия. В моем воображении Греция

оставалась родиной трех архитектурных ордера: дорический, ионический, коринфский — и слепого Гомера, сочинившего «Илиаду» и «Одиссею», где все рассказано о богах и героях. Меня тянуло посмотреть эти ордера не в гравюрах, а в живом виде. Теща, объездившая весь свет, дала совет ехать не в Грецию, где время и люди переломали древние храмы, а в Сицилию, где все греческие ордера представлены в полном великолепии.

То, что я увидел в Сежесте, Селинонте, Агрижен-те, Сиракузах, Таормине, Кефалу, превзошло все мои архитектурные грезы, потому что на каждом шагу были новые открытия, и не только живые дорические храмы, пронизанные горячим солнечным теплом, но и совершенные мозаики III века с гимнастами в бикини, катакомбы, гробница Архимеда и греческие театры. Там я обнаружил цивилизацию абсолютной наготы, о существовании которой я просто не подозревал в нашем мире, задрапированном бронированными фиговыми листками христианского целомудрия. Открылся новый мир в своем восхитительном совершенстве.

Вот тебе и сицилийская мафия!

«Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю», — сказал Архимед, мудрец из Сиракуз.

Так остров Сицилия со своей Сциллой и Харибдой и предстал в моем рисовании совершенно голым.

Руки опережают идеи и сами делают, что надо.

Для выставки в Лондоне я нарисовал десяток холстов с голым, бегущим куда-то Архимедом с криком «Эврика! Нашел!».

* * *

Лондон называют торговым, морским и буйным. Вероятно, так и есть. Я же попал в роскошный квар-

тал Кенсингтон и видел только садик под окнами, подъезд с парой белых колонн и чуть дальше Гайд-парк с гусями и собаками, гулявшими под дождем. В киоске сидел бородатый сикх в чалме и менял деньги.

Русская газета писала:

«Главное событие января — открытие в Лондоне галереи Миро-Шпайзман. На ее первой выставке, которая продлится до середины февраля и, как нам сообщили, проходит с большим успехом, принимают участие три художника: москвичи Анатолий Зверев и Владимир Яковлев и парижанин Валентин Воробьев» (Стрелец. Янв. 1985 г.).

На самом деле «большого успеха» не было. На вернисаж собрались русская колония Лондона, издатели, слависты, журналисты Би-би-си, художник Олег Прокофьев с женой. Явился и Георгий Дионисович Костакис. Он облез и постарел. Лечился облучением. Он дал пресс-конференцию, захваливал «молодого художника Зверева», хотя Звереву стукнуло пятьдесят, не упомянув ни о Яковлеве, ни о присутствующем Воробьеве. В придачу в галерею ввалился пьяный Гариг Басмаджан, его секретарша Ольга Симонова и виврист Толстый, облаченный в черную фракную пару, высокий цилиндр и дурацкий монокль на щетинистой щеке.

Столкнувшись с хозяйкой галереи Викторией Миро и русским столяром Сашкой Шпайзманом, служившим по совместительству и «культурным советником», я сразу понял, что выставка не получится. Располагая значительными средствами все устроить «как надо», хозяева просто не умели распоряжаться деньгами, скупались на гвозди и веревки, трижды переправляли пригласительный билет, то искажая фамилии участников, то пропуская даты открытия, то меняя формат, не говоря уже о толково организованной газетной рекламе, почти полностью отсутствовавшей в специальной прессе.

Для спасения гибнущего предприятия я связал галерею с Г.Д. Костакисом, но приехавший в Лондон грек выставку превратил в любительский спектакль с мемуарами о «Толечке» Звереве. На вернисаже его слушали, зевая в кулак, и сразу кинулись в буфет — единственное отрадное достижение галереи с шампанским и лакеем в белых перчатках. Совершенно убитый провалом, я выпил как следует и чуть не побил знаменитого собирателя сначала в его гостинице, а потом в доме Роберта Коренгольда, где состоялся небольшой прием.

Я спросил о причине его эмиграции.

Свой конфликт с соввластью Костакис объяснил так: «Я перестал спать по ночам».

В 1976 году, по его словам, дачу в Баковке ограбил и поджег «один советский гражданин, женатый на англичанке».

«Все ваши картины, Валя, и картины Толечки Зверева и Димочки Краснопевцева сгорели в пожаре».

Так меня обрадовал больной грек.

В середине 60-х он прекратил покупки своих современников. «Охладел» или «дерут ребята» — я так и не понял. Последним, всучившим ему пару своих лучших композиций, был проворный ленинградец Женя Рухин. В 1969-м он проник в дом Костакиса, прислонил картины к дверям его квартиры и скрылся. Костакису ничего не оставалось, как подобрать подброшенных сирот и отвезти на дачу. И Рухин, и дача сгорели в один год.

Пять лет Костакис жил на Западе, его удивительное собрание русского авангарда 20-х кочевало от одного музея в другой, интерес к нему возрастал вместе с фантастическими ценами. Пожар — пожаром, но Костакис сумел вывезти чемодан «зверят». Я задавал себе вопрос — когда же будет выставлен и продан этот чемодан? Мы надеялись и ждали «широкого же-

ста». Обладая «баснословными суммами», как писали газетчики, обширными связями в мире культуры, политики и финансов, Костакис пальцем не двинул, чтобы прославить своих любимчиков, «Толечку» или «Димочку». Он прожил еще десять лет, но выставки так и не сделал. Он считал себя православным верующим, крестился на все углы, но Зверева не прославил и не поднял.

Страх или расчет?

Заложник «баснословных сумм». Ни дерзновения, ни чуда!

Вот прохвост!

В коротких мемуарах, выпущенных в 1994 году, Костакис постарался все перевернуть и запутать.

С выставки в Лондоне (1985) был продан один «Лесной пейзаж» А.Т. Зверева за хорошие деньги — 6 тысяч фунтов. Чек на полторы тысячи получила Аида.

Издатель Толстый, пламенный защитник замордованной эмиграции, пытался свести счеты с Аидой, но владелица «Лесного пейзажа» Римуля Городинская и ее муж поэт Хвостенко пошли на попятную, отказавшись от показаний на «воровку» выручки. Ведь могло быть и так, что деньги Аида «забрала за многочисленные долги Римули и ее мужа-бездельника», как она заявила.

Бард Хвостенко образно выражался об Аиде: «Не баба, а поганка», но смирился, в скандал не полез.

Не получила своих великолепных «яковлят» и пианистка Ирина Ермакова. Они навсегда застряли в кладовке Сычевых.

На Новый год (1985) Аида, встречая избранный, приглашенный народ, возмушалась:

— Я не раз говорила, что Амальрик не пророк, а клептоман! Стащил у меня книжку про варягов, взбаламутил людей своими дурацкими прогнозами и глупо погиб за рулем!

Супруга покойного мыслителя Гюзель Мукидинова, терпеливо сосавшая цыпленка в чесночной подливке, яростно бросила кость на стол:

— А ты, Аида, кликуша и провокаторша! Сводишь людей, а потом обманываешь!

Андрей Амальрик, сочинивший дискуссионное эссе под названием «Доживет ли СССР до 1984 года», ошибся всего на год.

11 марта 1985 года в Москве состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС, единодушно избравший Генеральным Секретарем Михаила Сергеевича Горбачева, по мнению народа, «британского шлиона» и «разрушителя великой России».

* * *

Летом того же 1985-го мне захотелось побывать в лесном русском лагере, основанном «витязями» в 30-е годы. Лагерь «Орел» располагался на берегу Атлантики, в песчаных Ландах. Надо было ехать до Бордо, оттуда до станции Дакс, где безлошадных отдыхающих подбирал шофер лагеря Николай Николаевич, молчаливый тип из осевших на юге «власовцев». Все мои попытки выбить из него связный разговор разлетались как об стенку горох. Эти навсегда испуганные дезертиры Красной Армии всех подозревали в шпионаже. Вероятно, свою подругу повариху Клаву шофер считал советской разведчицей. Он мог быть моим земляком, служить в бригаде Брони Каминского, но все прошлое для него было сплошной паникой и бегством от самого себя.

До войны «Орел» был процветающим молодежным центром со своей часовней, расписанной знаменитым И.Я. Билибиным, административным зданием, где жили основатели и владельцы лагеря семья Лебедевых, и рядом деревянных бараков в густом со-

сновом лесу, напомнивших мне пионерский лагерь в брянском Брасове.

Сначала лагерь был исключительно русским по составу, с ежедневным богослужением, подъемом «триколора» и песнями казачьих станиц, но в мое время он стал интернациональным «домом отдыха», густо перемешанным молодыми немцами, приезжавшими парами на могучих мотоциклах, и в меньшей степени французами, учившими русский язык.

Шоссейной дороги к океану не было, и купальщики с сумками на плече по колено в песке километра два-три шли по лесу, пока не открывалась величественная и грозная Атлантика. У кого был могучий «катр-катр», то можно было пробраться автомобилем напрямиком к океанской волне. Во время прилива океан выбрасывал на песчаный пляж кучи всевозможного мусора, и смотреть на черные коряги, украшенные пестрыми целлофановыми пакетами, было не очень приятно, но пляж потрясающей широты и пустоты — десять километров налево и десять направо без единого строения — был раем для дикарей и нудистов. Любители дикой жизни могли спокойно разгуливать весь день голяком, прятаться от ветра в дюнах, купаться и загорать.

Жаркий и влажный климат. Загар ровный, золотистого тона без ожогов. Бойтесь коварной океанской волны. В отлив она уносит самых сильных пловцов без возврата, но в прилив могут купаться грудные дети.

Директор «Орла» Володя Лебедев выдал нам ключи от барака и занялся своим хозяйством. Жена Анна, шестилетняя дочка Марфа и я обошли бараки, встретили знакомых из Германии, чету Лешки Махровых из Гренобля, одинокого киношника Женьку Лунгина, «цветовода» Глиера. Мы сразу составили общую компанию и за обеденным столом, и на прогулках к океану. Вскорости к нам присоединился француз Жак, иг-

равший на баяне и певший русские частушки. Я научил его одной: «Полюбила я пилота, а он взял и улетел, яйца свесил с самолета, разбомбить меня хотел».

Готовила «власовка» Клава, говорившая с ужасным украинским акцентом донбасского разлива. С ней работала пара добровольных помощниц из Германии, здоровенных девиц, приехавших на мотоциклах. Мне было смешно смотреть на эту троицу, потому что в «Третьем рейхе» расположение было иным — Клава чистила картошку, а кухней управляли немки. Николай Николаевич сидел на ступеньках своего жилья, прицепного вагончика с удобствами, единственной металлической вещи в деревянном лагере. Он скручивал вонючие сигареты из черного табака и внимательно рассматривал чистивших картошку грудастых и жопастых немок.

В день моего рождения, 9 июля, я попросил Клаву приготовить мне праздничный ужин и охладить водку на вечер. Праздник получился славный, все перепились и обожрались, баянист Жак упал на баян, русские начали драться. Глиер стукнул по уху Лунгину, отбившему у него немку, их растащили по кустам, где они заснули. После утреннего похмелья начальник лагеря сказал мне, что такой пьянки у него давно не было.

Дочка и жена загорели до черноты, их можно было легко принять за эфиопов. У загоревшей Марфы с особым блеском выделялись голубые глаза.

Мы прожили в этом лагере десять дней, потом сели на поезд в сторону Прованса.

5. Разгром первого сквата

Я верил в вечность сквата, знал, что богема бессмертна, но скват «Артклош» доживал последние деньки.

Весной 1985-го кто-то пустил утку, что главные деятели А.К.И. подкуплены строительной компанией и получают бесплатные квартиры в центре Парижа. На запись в «Артклошинтерн» сразу образовалась давка. В бывшем гараже тяжелых грузовиков, густо политом мазутом, сибирский формалист Эдуард Зеленин с рослым и женатым сыном возвел керамическую печь на ворованном электричестве.

Прочно устроился питерский академик, вечно голодное дитя ленинградской блокады Вова Бугрин. Все думали, что он получил крупный эротический заказ от Басмаджана и нуждается в большом светлом помещении для экзекуции. С помощью двух дезертиров Красной Армии, прилетевших из Кабула, он отгрохал на чердаке с дырявой крышей огромное пространство, не заплатив членского взноса сторожу Помпону. После тщательных розысков Аида установила, что никакого эротического заказа не предвидится, а просто подруга академика, подданная королевы Великобритании и суровая мать троих малолетних детей, выставила бездоходного сожителя на улицу.

Помещение В.А. Бугрина, рисовавшего сцены из греческой мифологии, выглядело вызывающим пугалом по соседству с каморкой бродячих, высыхающих от СПИДа Пьеро и Жанно. Когда же в отсутствие академика кто-то проник в неприступное городище русского задаваки и заметно нагадил посередине, Бугрин понял, что живая действительность несовместима с прочным домостроем.

Американский рабочий Олег Соханевич, или «Сах», поставил брезентовый ночлег для бесплатных ночевок на французской территории. Давний обитатель советских общаг, Сах легко вписался в общую композицию парижского сквата. Проблем с языком у него не было. Главари сквата изъяснялись по-английски и ценили американского скульптора, гнувшего галсту-

ки из железнодорожных рельсов. Я с ним дружил. Социально близкий товарищ. Когда Жан Старк, ученик Жана Дюбюффе, попросил меня поддержать гбнущий скват выставкой, я без долгих размышлений согласился повесить сто картин. Мне предложили три этажа. Собрать выставку мне помогли Коля Павловский, взявший на себя составление буклета, молодой художник из Питера Захар Чернышев, безукоризненно точный и деловой парень, помогавший в развеске и транспортировке картин, и, конечно, Анри Шурдер, обеспечивший буфет.

— Пусть знает Ширак, что мы не только курим травку, но и работаем в искусстве, пусть и неизвестными личностями!

По ночам бомбовое депо запиралось, но внутри нашпигованный людьми скват таил непредвиденные сюрпризы. Могли возникнуть драка и пьянка, взлом и кража. Днем же любой посетитель мог войти, снять пару картин и унести с собой. В сквате я не ночевал, следовательно, с самого начала шел на определенный риск во имя профессиональной солидарности и спасения чести и достоинства искусства.

Николай Павловский настроил «предисловие» к буклету:

«Угроза выгонки “артклош” в марте 1986 года усиливает нашу деятельность. В серии больших персональных выставок, которые мы планировали на конец 1985-го — начало 1986 года, первым представляется Валя Воробьев, член нашего сообщества с 1982 года, художник неукротимой энергии и искрометного таланта в живописи. Его часто называют «патриархом» русского современного искусства, потому что в начале 60-х начинал с кучкой своих единомышленников тот странный и самобытный эксперимент в СССР, результаты которого до сих пор по-настоящему не оценены.

Легче всего Воробьева запихнуть в одну из школ современного “экспрессионизма” с красочным, неожиданным анекдотом, однако картины, которые он производит в впечатляющем количестве, гораздо сложнее по содержанию и замыслу, и пусть публика, которой мы рады представить художника, оценит его живописные достижения последних лет. Президент “артклош” Николай Павловский».

18 декабря 1985 года я привез ящик лампочек, вставил в патроны ворованного электричества, открыл бочонок красного вина для гостей. Бродячий джаз-банд, приглашенный меценатом сквата Галей Миловской, наяривал абстрактные мелодии, руководящая верхушка А.К.И. о чем-то таинственно шепталась в углу. Постоянный сторож дома «колонель» Понпон угощал людей вареными куриными яйцами. Академик Бугрин в сверкающих, хромовых сапогах загонял женщин в свою неприступную крепость с изображением обнаженного Аполлона, керамист Зеленин выжидал появления богатого филантропа. Американец Олег Соханевич, уцепившись за бочку с вином, любовался своими бицепсами. Фотограф Валька Тиль раздавал пришедшим свой телефонный номер.

Три русских издателя, Стацинский, Толстый и Шелковский, не здороваясь друг с другом, вертели магические зигзаги в толпе приглашенных.

— Я говорю вам, — собирая вокруг себя доверчивых женщин, шептала Аида, — идет Армагеддон!

— Сорок лет живу, а русских понять не могу, — неразборчиво бубнил пьяный Басмаджан.

— Если бы ты понимал, то столицей Шестой Части Света был бы Ереван, а не Москва, — внушала ему Сильва Бруй, крупная барыня русской диаспоры.

На вернисаж пришел депутат и бывший адмирал. Кто-то приценился к одной вещице.

Глухой ночью незнакомые террористы ворвались в депо, выкрутили все лампочки и порезали пару картин.

И поделом — не лезь на рожон!

Так скорбно и на минорной ноте закончился 1985 год, ставший высшим взлетом богемного сквата, концом его апостольской эпохи.

Трогательные и пустые статейки в популярных газетах, протест партийной оппозиции, приезд в скват знаменитого комика Колюша, выдвигавшего себя в президенты республики, не спасли от неминуемой гибели занятое учреждение.

Строительной компании, купившей землю и дом, было наплевать на газеты и комиков.

Артистов у ворот поджидали не успех и деньги, а острые ножи бульдозеров, готовых по первой команде десятника расправиться с эфемерным сходбищем неизвестных личностей.

Часть десятая
ЛИДЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМОТРОВ

Я думал, что гипотенуза —
Река Советского Союза.
Самуил Маршак, 1953

1. Входа нет

Игорь Сергеевич Шелковский жил и учился рисовать в Москве, однако в известных пунктах подполья: «студия Белютина», «академия Васьки-Фонарщика», «поселок Лианозово», «тарусская коммуна», «движение Нуссберга», «сретенский чердак» — не был замечен. На выставках господствующего вкуса его также не видели.

Созидатель — фантом!

В Москве со времен нэпа существовал Изотехникум имени 1905 года, выпускавший учителей рисования общеобразовательных школ. Туда шли детишки московской бедноты и городского мещанства без средств и связей. Этот техникум прошел Игорь Шелковский. Очевидно, он пытался пролезть в художественный институт высшего калибра, но не проходил конкурс. Сведений о времени его ученичества у меня нет, но в короткой «автобиографии», частично опубликованной в «Русской мысли», есть сообщение об исторической и, надо считать, судьбоносной встрече студента изотехникума с американским гражданином Давидом

Бурлюком в 1957 году. Если верить этому рассказу, то решительный молодой человек тайно проник в закрытую гостиницу «Москва», где разыскал «отца русского футуризма», тридцать лет не выдавшего простых советских людей, и показал ему свои художественные опыты.

Конечно, умеючи можно пройти мимо суровой стражи, обменяться валютой с приезжим иностранцем, но спрашивается, зачем лезть на рожон? Ведь за такие встречи давали срок. Старый Давид Бурлюк мог отделаться легким испугом и допивать с друзьями юности, Асеевым, Шкловским, Кирсановым, а бедный студент париться в сибирской тайге!

Хотя никаких данных о встрече Бурлюка с Шелковским у нас нет, будем считать легендарный факт первым посвящением молодого начинающего авангардиста в подлинное искусство.

После знаменательного посвящения в гостинице «Москва» следы мужественного артиста теряются в российской глубинке на десять, если не все пятнадцать лет. Человек пропадал на заработках и тайком творил для себя.

Таким же таинственным и независимым он появился в Париже в 1976 году. О нем не писали в газетах ни Вася Карлинский, ни Николь Занд, он не выступал в венском кунстхаузе и не состоял в списках главного счетовода эмиграции Александра Глезера. А поскольку «третья волна» эмиграции составляла легко обозримую каплю, одну коммунальную банду, единый неофициальный лагерь, то высокого голубоглазого красавца сразу заметили. Мой ровесник совсем не походил на безрассудного шизофреника, бросавшего на ветер деньги. Года три он творил, недоедая и в горделивом одиночестве, и вдруг осенью 1979 года всем объявил, что намерен издавать художественный журнал под названием «А—Я», журнал на мелован-

ной бумаге, «отражающий многообразие тенденций и течений в Советском Союзе и в зарубежье», как значилось в рекламной афишке с картинкой Эрика Булатова «Входа нет».

Люди получили афишу и стали ждать журнала.

Почему скульптор-практик, работяга и бессребреник взялся за добровольный и бездоходный подряд, за хлопотливое издательское дело, связанное с дополнительными трудностями персональных контактов?

Увлечение? Честолюбие? Приказ?

Или все вместе взятое?

И самый примитивный вопрос — откуда средства на издание?

Ответил сам И.С. Шелковский (1986, Р.М.): «Идея рекламного журнала зародилась в недрах КГБ — построить еще одну потемкинскую деревню о свободе творчества в СССР и нажиться на художниках, продавая их за твердую валюту!»

Такая редакторская задача оказалась не по плечу силачу Шелковскому.

«Пришел иностранный бизнесмен, часто ездящий в Москву, который предложил деньги на издание журнала», — говорил И.С.Ш.

Но что рекламировать?

«Русская самобытность в искусстве», «своеобразное преломление художественных экспериментов», «пропаганда нового и яркого в отечественном искусстве», «отразить многообразие тенденций и течений».

Шоколадные короли Запада давно все просчитали. Они не верили в существование современного искусства в Союзе. Допускались отдельные лица, способные понять правила международной игры в искусстве, но теория и концепция, которую пытались протолкнуть какие-то «Мухоморы» о «фаворском свете» и «русской самобытности», отменялись без рассуждений, как бред допотопных существ.

Как все мы, Шелковский и его друзья ошибались в главном — Россия не выдавала своеобразие со времен Казимира Малевича и Павла Филонова. Разрыв с западными собратьями был так велик, общественная инфраструктура разбита вдребезги, и на установление прочных мостов уйдет не менее 50 лет усиленной перестройки.

Первый номер журнала с обложкой Эрика Булатова «Входа нет» и выставки, организованные в пригороде Парижа, в Эланкуре, никого не привлекли. Участники первого номера «А—Я» подверглись вызовам в КГБ и допросам с угрозами, а эмигрантам, попавшим в журнал, никто не позвонил и не прицелился.

Деловой и творческий мост?!

Я пришел и на первое собрание журнала, когда он предлагался парижскому читателю, и на вторую эмигрантскую сходку, 27 октября 1979 года.

— Предлагаю собрать по тысяче франков с каждого, и никто не будет забыт и пропущен.

— Но позвольте, — встрял самостийник Антон Соломуха, — на первый номер вы нашли деньги, не обращаясь за поддержкой к эмигрантам!

Неловкое молчание разрядил ренегат Толя Путилин:

— Если человек просит деньги на издание рекламного журнала, почему не дать? Если все 50 эмигрантов дадут по тысяче, то можно делать журнал независимо от анонимных меценатов!

Поправку его пронесло мимо. После водки, поданной на подносе потомком Михайлы Ломоносова, русские парижане погудели часок и разбежались, пожелав коллеге большого успеха на издательском поприще.

Скрывать руководящую роль Москвы Шелковский не пытался. Оскар Рабин, смиренно сидевший

на сходке, и конкурент Саша Глезер, шептавший соседям, что Шелковский служил в «Союзе художников», когда Рабин боролся с бульдозером на пустыре, скептически смотрели на новую затею. В ней соблюдались интересы парижской тетки Дины Верни, а значение «лианозовской группы» вымарывалось из истории чьим-то московским приказом.

Журнал, освещавший весь «русский косяк», независимо от места проживания артиста, был большим стратегическим просчетом. С любительских выставок, где организатор и художники запряжены в чуждые им и утомительные хлопоты с транспортом, таможней, каталогом, рекламой, непредвиденными расходами из собственного кармана, покупали очень мало.

И поделом — не лезь с мякиной в калашный ряд!

Концепция журнала оказалась ложной, не соответствующей западным меркам и образцам.

Запад не верил в существование эстетов в советской России и в жизненность торговой конкуренции.

Благие намерения Шелковского рассыпались как горох об стенку на первом номере. Париж и Москва не поняли друг друга. «Мухоморам» с московского двора казалось, что они шагают по Луне, а на самом деле их жалкие опыты знали школьники парижских лицеев.

Журнал издавался на русском языке, но специалиста, освещающего западный мир, уровня Бенуа или Кандинского, не было. А разглагольствования московских авангардистов о «нездешнем свете» надо было переводить, спотыкаясь на каждом вычурном слове.

Журнал нерегулярного издания робко освещал потуги храбрых одиночек, изобретавших велосипед, нищих и одиноких старателей, не выходивших за пределы московского двора. Огромная страна остава-

лась глухой к экспериментам подражателей. Прошло 20 лет открытых дверей, а музеи по-прежнему томятся в сталинской пыли, меценатов нет, в галереях торгуют матрешками. Государство и клика «отечественного изофронта» по-старому держат лапу на кормушке, и чужим входа туда нет.

С появлением «Мухоморов» на Западе журнал прекратил свое существование.

Партийная философия Шелковского в иллюстрациях «Мухоморов» была убогой и серой, как гнилой забор под дождем. Например, он не мог себе представить, что мастер «вечного реализма» может стать знаменитостью на Западе, и коммерческий успех Ивана Лубенникова, рисующего голых женщин, его ошеломил.

2. Тетка московского чердака

В письме от 7 ноября 1985 года Эдик Штейнберг писал мне: «Посетил меня легендарный Бернар, наговорил кучу комплиментов, но, увы, для их реализации нужны разные организации, где я не состою».

О парижском маршане в Москве знали. Он выставял Купера, Заборова и считался своим, вполне «русским другом». Я заходил в его магазин в Латинском квартале (рю де Бозар, 7). Он выставял известных и малоизвестных артистов, издавал каталоги, хорошо кормил свою «конюшню», но дальше этого не двигался. Допуска к славе у него не было. Его участие в культурной жизни страны проходило незамеченным. Амбициозные, жаждущие славы артисты уходили от него к другим, более проворным толкачам.

Да и честь открытия России принадлежала не ему, а женщине, галерейщице Дине Верни.

Торговля искусством, веками служившая предметом развлечения и наживы сильного пола, обрела но-

вый, ослепительный блеск с появлением Дины Верни, женщины библейской красоты, невиданной храбрости и пронизательного ума.

20 января 1995 года, в чрезвычайно торжественной обстановке, в присутствии президента Франции и «всего Парижа» состоялся ее триумф, связанный с открытием Музея изобразительных искусств имени Аристиды Майоля, созданию которого посвятила всю свою жизнь парижская галерейщица.

Дина родилась в Одессе в 1917 году в семье музыканта Якова Эйнбиндера, симпатизировавшего меньшевикам.

Одесса 20-х годов походила на большой вшивый рынок, где вчерашние победители Антанты и Белой армии скупали валютные ценности, торговали фальшивыми паспортами и создавали эфемерные тресты типа «Рога и копыта» вперемежку с постоянными облагами, судами, расстрелами и высылкой за границу.

В семейном архиве Дины Верни нет телеграммы, подписанной товарищем Лениным, но красочная легенда об освобождении Якова Эйнбиндера из тюрьмы, очевидно, возникла на основании Указа СНК от 6 февраля 1922 года с пометкой Первого вождя — «произвести серьезные умягчения».

Ленинские «умягчения» коснулись и многих одесских социалистов, вместо Сибири высланных за границу. Вождей русского социализма — Юлия Мартова (основателя РСДРП и с Лениным на «ты»), Михаила Скобелева, Ираклия Церетели — выпроводили осенью 1922 года.

Семья Эйнбиндеров прошла классический путь политических беженцев того времени — Одесса, Варшава, Берлин, Париж. Париж 30-х годов принимал сотни тысяч эмигрантов всех мастей и оттенков. Молодая и совершенно нищая семья сразу сообразила, что надо вкалывать, учить язык, а не толкаться на

сходках Одесского землячества, где точили ножи крестового похода на советскую Россию.

Юная Дина росла в квартале международной богемы, изучала химию, пела цыганские песни и слонялась по букинистам, собирая занятные вещицы, навсегда схватив вирус коллекционирования.

В 1934 году прекрасно сложенную артистку увидел художник Дудель и отвез ее в мастерскую всемирно известного скульптора Аристиды Майоля. Старый мастер был поражен красотой натурщицы. Она стала его последним идеалом, вдохновившим его на ряд блестящих ваяний и цикл живописных полотен.

О своей партийной принадлежности Дина Верни предпочитает не вспоминать, но ее крепкая дружба с бунтарями и мятежниками «левого лагеря», такими, как высланный из России Виктор Серж, организатор IV Интернационала Давид Руссэ, Фред Зеллер, Лев Седов, говорит о близости к позиции Льва Троцкого.

Люди, знающие Дину Верни, отмечают ее бесстрашие и смелость. Близкая связь с Аристидом Майолом, имевшим дачу на испанской границе, в морском поселке Баниульс, позволяла ей переправлять в осажденную фашистами Испанию сотни добровольцев, готовых умереть за республику.

Пожалуй, русский кабацк тридцатых годов был единственным перекрестком, где сходились несовместимые пути великих бояр, анархистов и сионистов, художников и проституток. Владелец ресторана на Монпарнасе, питерский эмигрант Лев Адольфович Аронсон (Доминик) не раз рассказывал: Дина пела у него русские песни с такой удалью, что разношерстные посетители кабака стоя аплодировали девчонке с гривой черных, рассыпанных по плечам кудрей.

Мужчины в ее жизни многое значили.

Авантюра с первым мужем русского происхождения быстро кончилась. Муж не вынес бешеного тем-

па жизни, взятого его супругой. Из «испанской авантюры» 1936—1939 годов Дина вынесла закаленную в кровавых боях дружбу с людьми, никогда не оставившими ее своей поддержкой в трудное время.

Расправа над сторонниками Троцкого была чудовищным, планетарным наступлением владык Кремля. Агенты Москвы убили в Париже Льва Седова, сына Льва Троцкого, а в 1940-м от топора наемного убийцы погиб и сам вождь Октябрьской революции в России. Дина уцелела от репрессий.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Яков Эйнбиндер добровольцем ушел на фронт, попал в немецкий плен и не вернулся. Дина оставалась у Аристиды Майоля, лепившего с нее лучшее свое произведение под названием «Гармония». Дружба с великим скульптором и одновременно — подпольная работа в отрядах Сопротивления на юге Франции. Одно дело позировать художнику или с огоньком спеть цыганский романс, другое — под дулом оккупантов переправить в Испанию беженцев; а если при аресте обнаружат фальшивые документы и родство с одесским раввином, то не миновать расстрела, которого Дина избежала дважды.

В 1943 году она попала в лапы гестапо. Ее засадили в известную тюрьму Френ в одну камеру с Женевьев де Голль, племянницей мятежного генерала. И здесь чудо спасло ее от гибели в печах Освенцима — ученик Майоля, известный немецкий скульптор Арно Брекер лично вмешался в щекотливое дело и вытащил храбрую разведчицу из фашистского застенка.

В 1944 году умирающий Майоль завещал Дине свое творческое наследие. Дина по-своему отметила день освобождения Парижа от немецких оккупантов, положив букет цветов к монументу покойного покровителя, установленному в Тюильри.

Художник Сергей Поляков родился в Москве, но жил в Париже, зарабатывая на жизнь гитарой и пением в русских кабаке. Несомненный дар этого художника-авангардиста заметила проницательная Дина Верни и предложила Полякову первую выставку в своей галерее, открытой в 1946 году в Латинском квартале на улице Жакоб, 36.

Если не считать галереи Пегги Гугенхейм, год или два работавшей в Лондоне, это была первая галерея в Европе, руководимая женщиной; и этой женщине было всего 29 лет!

Сергей Поляков получил премию Кандинского в 1947 году и прекратил играть в кабаках, развернув широкую международную деятельность художника высокого класса.

Культурная политика галереи отличалась ясно выраженным эклектизмом. Дина не выставляла и не продвигала определенную «школу» или «изм», а, работая с разными авторами, собирала одну духовную семью — от наивного примитивизма Вивена до сюрреализма Зитмана, абстрактивизма Полякова и романтизма Шемякина. Финансовый гений Дины Верни обеспечивал достойное существование избранным мастерам.

В конце 50-х годов отношения с советской Россией стали улучшаться. Обмен студентами привел к тому, что племянник Дины, славист Саша Звигильский, ныне директор музея И.С. Тургенева в Буживале, привез из Москвы жену, филолога Тамару Бродскую. В эпоху «холодной войны» было не до России. Теперь парижская галерейщица с возрастающим интересом следила за переменами на незабываемой родине, где она собирала разноцветные стекляшки на одесском пляже и влюбилась в пять лет. Сначала племянник, потом такой знаток русской культуры, как Жан-Клод Маркаде, установили нужные контакты с влиятельны-

ми людьми России, не забывая спускаться в артистический андеграунд пролетарского государства.

В 1963 году сбылась заветная мечта Дины. Французское правительство, и в первую очередь министр культуры Андре Мальро, приняв драгоценный дар — ряд бронзовых скульптур работы Аристиды Майоля, — установило их на лужайке Луврской площади.

Дорога от натурщицы в преуспевающие бизнесмены не была усеяна розами. Дина дважды выходила замуж и разводилась с большим треском и мучительной дележкой семейного имущества.

Мужчины, традиционно заправлявшие рынком искусства, сочиняли небылицы о сексуальной жизни прелестной галерейщицы, но постепенно сдавались, уступая место бесстрашной женщине выдающихся способностей. Дина стала постоянным участником знаменитых ярмарок искусства в Европе, Америке, Японии.

Открывая для себя Россию в 1969 году, Дина мгновенно схватила сущность режима. Вожди одевались, как все культурные люди Запада. В модных ресторанах танцевали твист. Процветал черный рынок. Художники рисовали не только рабочих и колхозников, но и занятные абстрактные каракули. В модных «салонах» на стенах висели картины Малевича, Шагала, Зверева. Деловая и храбрая Дина посетила сотни подвалов и чердаков нелегальных и таинственных творцов, бесплатно работавших на вечность.

Вейсберг, Ситников, Краснопевцев, Рабин, Архангельский, Неизвестный, Белютин, Соостер, Кабаков, Нуссберг.

В фрондирующем и глухом Ленинграде, где несомненным вождем подпольного творчества был Евгений Рухин, лепивший по десятку абстракций в день, Дина выбрала одного молодца, Мишу Шемякина, рисовавшего занятные завитушки древнего

Петербурга, очень упорного и свободомыслящего художника. Молодому человеку с обликом кавказского героя самой судьбой было предназначено атаковать спесивый Запад.

После изнурительной торговли с властями, бумажной волокиты и неотразимых финансовых средств парижанки молодой авангардист 17 октября 1971 года приземлился в Париже.

Союз Дины с гордым питерским авангардистом закончился разрывом. Житель захолустного Питера просил больше и больше. Скромная и сытая жизнь под боком у хозяйки его не устраивала. Михаил Шемякин прочно стоял на ногах. Через год они с боем расстались.

Московские избранники оказались сговорчивей. Они не рвались в Европу и на совесть трудились по домам. В 1973 году галерейщица устроила Архангельскому, Кабакову, Булатову, Янкилевскому, Рабину выставку с ярким каталогом. Благодаря отлично налаженной экономической машине Дины Верни началось триумфальное шествие так называемого «Сретенского чердака».

В самостийных затеях эмигрантов, нахлынувших в Париж в семидесятые годы, Дина Верни не принимала участия. Лишь изредка она давала взаймы одну-две картины из своей коллекции для выставок «нон-конформистов». Вся энергия галерейщицы уходила на строительство музея, начатое в 1977 году на старинной улице Гренель. Постепенно, комната за комнатой, квартира за квартирой, Дина скупала старинное здание монастыря с фонтанами питьевой воды.

После кончины сына скульптора Майоля коллекция стала еще больше. Сын доверил Дине не только работы отца, но и свои произведения.

В 1979 году скульптор Игорь Шелковский затеял издавать журнал по искусству, пропагандируя новые

веяния под названием «советский концептуализм», где основное место занимал «Сретенский чердак». Дина Верни охотно помогала ему деньгами. Вышло всего шесть номеров журнала «А—Я», но он сыграл свою роль в русской культуре.

В 1985 году, словно чувствуя решительные перемены в советской России, Дина Верни организовала первую выставку Илье Кабакову, замечательному художнику-концептуалисту, работавшему с материалом бытового абсурда Москвы. Пожалуй, в первый раз французская, а затем и европейская пресса всерьез обратила внимание на художественные достоинства русского художника, а не на политическое инакомыслие. Через два года, уже с помощью официальных организаций СССР, выставка Кабакова с большим успехом прошла в парижском Доме художника. Главная часть произведений поступила из собрания Дины Верни.

Еще в 60-е годы лондонский галерейщик Эрик Эсторик скупал произведения советского запрещенного искусства. После провальных выставок 1964—1965 годов картины Оскара Рабина, Дмитрия Плавинского, Эрика Неизвестного гнили у Эсторика в запаснике. Дина Верни их выкупила и перевезла в парижский музей. Составляя персональную выставку в Русском музее Ленинграда, Оскар Рабин, сейчас проживающий в Париже, воспользовался собранием Дины, где были лучшие его вещи 60-х годов.

Концептуальная конструкция Владимира Янкилевского, выставленная сейчас в музее, имеет не менее замечательную историю.

Сын известного французского коммуниста Поль Торез был одним из первых пропагандистов и покровителей советского «нонконформизма», верным другом творцов подпольного искусства, защитником их интересов в западной прессе. Дина Верни сразу заме-

тила Янкилевского, и в 1978 году в наемном грузовике Поль Торез вывез на Запад его огромную инсталляцию, разобрал ее по частям как ненужный хлам. Ленинградская таможня, удивленная странным багажом француза, пропустила его, не взяв ни одного рубля!

Произведение собрали в Париже. Теперь оно украшает отдельный зал фонда Дины Верни.

Москвич Эрик Булатов — автор сатирических композиций, где реальное изображение пересекается со шрифтовыми лозунгами типа «Опасно», «Входа нет» и т. д. Используя известную картину Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», Эрик Булатов сделал свою смешную и благородную композицию большого размера с русскими буквами, что совершенно меняет смысл картины французского художника.

Собрание работ уроженцев России первой половины XX века — Кандинского, Пуни, Шаршуна, Полякова — следует считать лучшим в Париже. Галерейщица покупала большое количество работ эмигрантов «третьей волны», и, очевидно, на стенах музея появятся новые имена, неизвестные широкой публике.

Двадцать семь залов дворца вмещают не только картины, скульптуры, инсталляции, графику, но и отдел старинных кукол, и каретный сарай, где собраны резные и пестро раскрашенные экипажи домоторной эпохи.

В детстве Дина мечтала стать химиком, потом актрисой кинематографа, но стала первой галерейщицей Парижа, а возможно, и всей послевоенной Европы.

Ее маленькая галерея в Латинском квартале не менялась с 1946 года. В ней по-прежнему сидит постоянный служащий и постоянно проходят выставки.

В свои восемьдесят лет Дина Верни полна энергии и замыслов. Ей помогают взрослые сыновья, Оливье и Бертран, посвятившие жизнь искусству и торговле.

Дочка русских евреев, собиравшая стекляшки в Одессе, стала выдающимся культурным деятелем Франции, организатором и строителем Музея изобразительных искусств в Париже.

Слава Дине Верни!

3. Вечерний звон

О бродячем писателе Мамлееве Юрии Витальевиче я услышал от моего соратника по секте «Икона» Василия Полевого в 1963 году.

— Ты что читаешь? — спросил Вася, взглянув на обложку книжки. — Юрий Олеша, ничего, ничего, но советую читать Мамлея. Вот настоящий писатель! Иеронимус Босх московского колорита!

Прочитать «московского Босха» оказалось не так просто. Писатель имел всего одну тетрадку в клеенчатом переплете и читал ее сам, не распространяя ее по спискам. Прошло четыре года, когда кто-то поскребся в дверь, я резко распахнул ее и обнаружил не крысу, а мужика в лохматой шапке и калошах, которых давно не носили в Москве. Вид районного конторщика. С первых фраз я схватил, что передо мной не форма, а содержание и надо не листать, а внимательно слушать до конца, как роман Достоевского.

Да здравствует Иеронимус Босх!

Посетитель захихикал, снял шапку и пальто и оказался в засаленном сером костюме, старомодно подстриженный под бокс, с черным галстучком на пухлой шее, ну вылитый комиссар похоронного бюро.

Старинный москвич Мамлей, обитатель многонаселенной коммуналки, описывал жизнь ее обитателей и «скрытую сторону их реальности», как сам он выразился.

Пока я докрашивал холст, Мамлей читал роман монотонным, сильным голосом. Проза была неуклю-

жей и длинной, построение фразы безграмотное, с наборами серого, ничего не значащего словесного сорняка, слова вместо литературного стиля. Перевернуть такую прозу я не мог и отделался фразой, заготовленной для всех посетителей подвала: «Ну, старик, ты гений!»

Где же Иеронимус Босх? «Муж даже строго схватил женщину за рукав» — какая же это литература? Разбавленный керосином Чернышевский!

Никакой сексуальной мистики я не обнаружил. «Квартиранты заперлись в клозете для соития» — старые дела, уроки порнографии, упраздненные еще три тысячи лет назад, как реакционные и неугодные Богу.

«И полил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и прирастания земли».

Потом мне казалось глупым, что обитатели московской коммуналки все без исключения говорят суконным языком вечерней школы рабочей молодежи. Я никогда не слышал, чтобы дворник кричал: «Смотрите, Мессия во дворе!», а техник: «Предоставьте мертвым оживать своих мертвецов», а отставной военный «думал о трансцендентальном сладострастии Всевышнего».

От такой галиматьи несло явной безвкусицей, и я, не признав в учителе Мамлееве великого Босха, на ночь глядя дочитывал прозу Юрия Карловича Олеси.

В начале 60-х Мамлей был так знаменит на Москве, что прикоснуться к его засаленному пиджаку считалось большой удачей для каждой сексуально озабоченной дурочки.

Юрий Виталич приходил ко мне и на групповые читки, когда собирались подпольные корифеи: Жора Балл, Венька Ерофеев, Игорь Холин. Его сопровождала кучка падшей молодежи, курившей анашу и не-

разборчивой в любви. Зимой они сидели в «яме» на Пушкинской и пили пиво, а летом выезжали на дачу в Кратово, где гнали самогон и обсуждали будущее нашей планеты.

Такие, как Мамлеев, не выезжают дальше дачного Кратова. Бросалось в глаза вопиющее убожество собраний, полное отсутствие качества быта, скажем, в сравнении с бытом «белютинцев», или подвалом Брусиловского, или квартирой Ситникова. И таким пришибленным пыльным мешком мистик Мамлеев вылетел на покорение Америки в 1974 году.

Кто будет читать Мамлеева в Вашингтоне?

Мамлеев выучил английский, получил место «тичера» в американской глуши, где к тебе приходят две прыщеватые чудачки и надо им читать «Ваньку» А.П. Чехова по слогам.

Пять лет чета Мамлеевых смотрела на молчаливый телефон и чуть не чокнулась. Америка словно заткнулась. Кучи неизданных романов. Ни издателя, ни читателя. Получив американские паспорта, Мамлеевы вернулись в старую Европу, где легче дышится и чаще справляются о здоровье.

В Париже кто главный? Аида Сычева! Она глупостям не научит. Ее муж заработал миллион, а ведь считали все дураком. Салон Аиды был широко открыт всем желающим, а знаменитости вроде Мамлеева получали подобающее им место оракулов. Мария Мамлеева, перешедшая из ислама в православие, нашла себе модный приход для торжественных, воскресных выходов в люди, в Свято-Александро-Невском соборе на рю Дарю, 12.

— Вот дура! — сразила ее выбор крестная мать Аида. — Сколько у твоего Дарю дивизий?

— Полторы!

— А у моего московского патриарха Пимена сто миллионов армия православных!

Мария быстро исправила ошибку, и на воскресной службе на рю Петель стояла в первом ряду, молитвенно припадая к чудотворной иконе московского подчинения.

Я навещал салон Аиды и по старой дружбе, и поражаясь мудрости этой хрупкой носатой женщины из славянского племени кривичей.

Русский мат и брань у Аиды запрещались. Женщина без образования черпала свои знания из газет и разговоров многочисленных подруг, сидевших у нее часами и разносивших слухи по самым отдаленным углам эмиграции. Непревзойденная глава семьи, она не позволяла мужу никаких глупостей на стороне и в доме. Бразды правления большим семейным кланом находились у нее в руках, от закупки продуктов питания до раздела жилплощадей и имущества. Деревенская плаксивость уживалась в ней с безжалостным отношением к людям. Она могла напоить человека чаем, а потом разорить его дотла.

Ее коронной темой был «расовый вопрос». Она считала, что русский народ обездолен, замордован и унижен по приказу всемирного, тайного правительства, руководимого «жидомасонами». За малейшую поправку или критику ее мнения собеседник получал кличку «русофоб». Пожалуй, самым замечательным ее качеством было гостеприимство. И люди, знавшие ее с первых шагов в Москве, утверждают, что так было всегда, несмотря на суровый советский быт. Она кормила гостей последним куском хлеба, укладывала спать и давала деньги на опохмел. Русские славятся гостеприимством, но у Аиды оно было особенно значительным и показательным. Казалось бы, европейский быт не вынесет такой нагрузки, но нет, Аида стала еще более хлебосольной и приветливой в Париже.

Мало этого, она завела сибирских лаек, постоянно стрывавших шахматные фигуры, кормила шофера,

жившего на чердачной «шамбр де бон», троих детей в Москве и троих в Париже.

У Аиды ко мне подошел мистик Мамлей и шепнул:

— Дорогой Валя, мне сообщили, что летом ты отсутствуешь в Париже и можно воспользоваться твоей мастерской для уединенной работы!

— Можно, — сказал я ему. — Пользуйся!

У меня год скрытно ночевал беглый матрос Андреев, пока на глаза не попала его зубная щетка. Чемодан с грязным бельем он хоронил в застрехе наверху, куда пробирался по ветхой стремянке.

— Знаешь, Игоря, а об этом мы не договаривались!

Теперь просился Юра Мамлеев. Я не заглядывал в тайные замыслы Аиды и Мамлеева и запустил писателя без условий, зная, что забираться на седьмой этаж пожилому, с отекающими ногами мужчине будет нелегко.

В 1986 году в Париже бросали бомбы. Ливанские и армянские террористы. У меня под окнами разбирали убитых и раненых. Ума не приложу, как трусливый Мамлей обходил бомбы и побоище, но писал он упорно и ежедневно поднимался на седьмой этаж с тяжелым портфелем.

В сентябре на полу лежала машинописная копия романа и на ней бумажная иконка Богоматери американской фабрикации иезуитов из монастыря Святого Георгия.

Я знал, что роман оставлен нарочно для читки. Роман начинался так: «Он жив? — истерически спросила мужа красивая, вычурная женщина в ободранном платье...» Что же касается содержания, то было оно таким: красивая женщина Лиза, ее муж Костя, кот Аврелий и еще 25 жильцов «видели образ кота, чугунонаполненный мыслью», что это значит? «Квази-видневшийся взор, исходящий из стали, в котором появился скованный разум», ха, ха, ха! Скованный Мамлей!

«Никакому Всевышнему с таких рыл не кончить», да, Мамлею чердак не пошел на пользу, но зубную щетку он не забыл.

* * *

Почему рядом с прозаиком Мамлеевым оказался поэт Лимонов? Это не прихоть сочинителя, я так их вижу, разные и всегда рядом, учитель Мамлей и закройщик Лимон.

В начале 60-х по тропинке, протоптанной харьковским графиком Толей Брусилевским, потянулись на завоевание столицы и семейные харьковчане: Бахчаняны, Крынские, Лимоновы.

Эдуард Вениаминович Савенко, или «Лимонов» в стихах, появился в Москве с харьковской подругой, курившей гашиш. Они легко прижились к подпольной богеме, слоняясь без позорной «прописки» из одного угла в другой, из мастерской Бачурина, где мы впервые познакомились (1966), в квартиру Кушнера или подвал Бруска.

Он говорил, что страсть к рифмам у него проснулась на школьной скамье. Модно одетый харьковчанин, на заказ шивший мужские брюки, наглед на глазах. Не прошло и года мытарств, как он отбил жену у знаменитого плакатиста Вити Шапова, долговязую красавицу восемнадцати лет отроду по кличке «Козлик». Не знаю, чем покорила ее закройщик, но лысеющий плакатист не смог вернуть ее домой.

...Позднее Лимон вывез ее на Запад, где Козлик его оставила, променяв на какого-то графа де Карли из Италии, и пропала в европейском тумане без следа...

Я слышал, как звучат стихи закройщика.

«Кто лежит так на диване — чего он желает? Ничего он не желает, а только моргает. — Что моргает он, что надо — чего он желает? — Ничего он не желает — только он дремает» и т.д.

Стихи мне напоминали старичка Евгения Леонидовича Кропивницкого, и оказалось, что правда, закройщик навещает его в бараке Лианозово и ждет указаний, как верный ученик мастера.

Мне Лимон не шил вельветовых штанов, как Мишке Гробману, но его заказчики замечали существенные перемены в приезде провинциале.

«Жлоб и хам» — так отозвался о нем М.Я. Гробман перед отлетом в Израиль, осенью 1971 года.

И, на мой вкус, его ровесники, ленивый Хвост (А.Л. Хвостенко) — «два жлоба схватили кайф, прочитав газету Лайф» и трудолюбивый Оська (И.А. Бродский) — «колючей проволокой лира маячит позади сортира», писали ярче и острее.

Совершенно естественным образом, как переезд из харьковской мовы в московский говорок, закройщик Лимон улетел из России в Америку. Каменный Нью-Йорк оказался черной западней для закройщика. Голодный поэт снимал койку у моего подручного Леньки Милруда, жившего мелкой торговлей.

Не свобода, а камень в красочной упаковке!

Учительский консерватизм и осторожность Мамлея не позволяли бравировать американскими порядками и посещать сборища американских большевиков, недовольных отсутствием равноправия, но у Лимонова были приводы в полицию и выяснение личности. Советские эмигранты на сборища американских коммунистов не ходили, это полный нонсенс, но Лимон мечтал о славе любым способом.

Получив американский паспорт, русский поэт почти одновременно с Мамлеем перебрался в Европу, в Париж, «поближе к Москве».

И вдруг — Париж прозрел!

У того и другого заметили литературные достоинства. Вышли повесть Лимонова «Эдичка» и «Шатуны» Мамлеева.

Скабрзные сочинения перевели один за другим.
Да здравствует Париж!

Мы, русские, какой восторг!

В феврале 1984 года в салон Аиды пришли Лимон и живой артист Толстый. Три всемогущих женщины — Аида, Сильва Бруй и Саша Свечина уставились на голубую книжку.

— А это что такое? — сурово спросила хозяйка.

— Аидушка, это вам в подарок первый номер журнала «Мулета». Мы его издатели.

— А где мои стихи? — листая толстую книжку, говорила Аида. — Без моих стихов альбом не может быть семейным. Это партийный альбом, Толстый! И ты, Лимонов, здесь пишешь?

— Аида, я пишу везде, где меня берут! — отвечал Лимон.

— Ну, ладно, садитесь и расскажите все по порядку.

Харьковский язык — не русский и не украинский. Он харьковский. Харьковчане говорят «ой, ты, птичко желтобоко» и «твири насичены викривальным пафосом». Харьковский язык постоянно дежурит в прозе Лимонова.

Лимон что-то читал без начала и конца. Меня поразило изобилие военного снаряжения и оружия в тексте, как будто писатель собирался на войну, — «товарищ Маузер», «сабля с темняком», «голубые галифе», «длинный нож», «крупнокалиберный пулемет», хотя оказалось, что статья в защиту поэта Велимира Хлебникова. И напоследок он совсем распустился:

«За Хлебникова я бы многих перекошил из пулемета».

Шофер Аиды, матрос Андреев, заметно побледнел.

Женщины поехали от угроз очкарика, но пулемет вынесли.

По фактуре и образу жизни Лимон принадлежал к «левой партии», но у него всегда имелся запасной проход в «правую», и он постоянно им пользовался

назло покровителям, не имевшим такой возможности. Новая жена его, поэтесса Наталья, хлестала водку гранеными стаканами, и Аида, не любившая пьяниц, всерьез думала заменить ее более трезвой женщиной.

— Лимон, не буди во мне зверя! — мычала подруга поэта.

В чтении меня влечет словесная ткань или захватывающий сюжет, ни того, ни другого я не находил у знакомых земляков и бросил на второй странице.

Наш общий издатель Вовик Толстый дорожил харьковчанином, называя его «большой русский писатель», и наоборот, считал Мамлеева «прощелыгой и халявщиком».

В значительной степени зашифрованные мемуары Н.И. Павловского о «начале артклуба» (2000) вскользь упоминают о появлении Лимонова в Париже.

«Толстый» появился не один, а с друзьями. Они сколотили ему ателье. Они привели на вернисаж журналистов и гомосексуалистов».

Толстый хранит благодарность Лимонову и его друзьям за поддержку в строительстве ателье.

Голодная и бесхозная оппозиция.

В метрополии творилось что-то невообразимое. Как грибы после дождя росли капиталисты: «Эрмитаж» — Бажанова, «Вернисаж» — Киселева, «Очко» — Ткаченко, «Грузинка» — Дробицкого, «Мухоморы» — Алексева.

И первый платный аукцион: вход — рубль!

В поисках славы любой ценой Лимон готов был не только стать раком, но и лечь костями на любой телевизионной площадке с фотографом. Он вернулся в Россию не тащить страну из говна, а сниматься на фоне развалин в позе победителя.

— Я первый буду в Москве! — заявил Лимон.

Новый вождь, стоявший за штурвалом коммунизма, попался на самогоне. Приезжие совки взахлеб говорили о небывалой гласности и потрясающих переменах в обществе.

Там поняли, что «нельзя скрывать и замалчивать целое направление в искусстве» (Илья Кабаков // «Литгазета». 1987. 19 авг.).

Русское зарубежье сдуло, как ветром пыль.

Читая статейку Лимонова в листке графомана Толстого «Вечерний звон» под названием «Толстый, Майоль и Ко», понимаешь, что автор нуждается в медицинском присмотре.

«Зачем скрывать героев, как Герострата, спалившего священный для греков храм Артемиды Эфесской!» — говорит Лимонов.

Ебанутый закройщик приравнивает государственное преступление к высшему образцу творческого эпатажа.

Шапки долой!

Взорвать Мавзолей Ленина!

«Цель артиста — самовозвеличение!»

Любым путем, вплоть до преступления.

* * *

9 декабря 1986 года в Москве от кровоизлияния в мозг на 55-м году жизни скончался живописец Анатолий Тимофеевич Зверев. Ушел из неуютной жизни человек высокого дара, мастер живописи.

Живописца, смолившего вонючие папиросы, мне представил сокурсник Вова Каневский, знавший в Москве всех, в курилке Музея изящных искусств имени А.С. Пушкина, в феврале 1960 года. Знаменитый портретист курил, звучно сплевывая в песочный ящик с окурками. Этот охламон в дырявом пальто до колен на фестивальном сборище 1957 года замазал

огромный холст быстрее американца Шнайдера и схватил первые международные аплодисменты.

Я плавал в расплывчатом декоративном мире, где живопись располагалась в благородном кокетливом уголке, лишенная земных соков. Увлечение театром, постоянное копирование чужих шедевров, музейный восторг основательно расслабляли волю, не выходявшую за пределы модных «измов». Рисунки Зверева, сделанные в один присест, «а-ля прима», своим примитивизмом, как в детской считалке — «ротик, носик, вот и вышел оборотик», меня сместили. Он их раздавал всем желающим позировать десять минут.

Самоделка. Не серьезно все это!

Смушал «серьезный» Г.Д. Костакис, собиравший его почеркушки.

Я присматривался к нему. Пять лет он жил у меня, не вылезая из сундука. Пещера Преподобного Антония не для него. Зверев ближе к Василию Блаженному, юродство без креста. Особая форма дерзости, не подвиг смирения, а бунт гонимого народным гневом. Абсолютный индивидуализм и духовный подвиг на свой лад. Его парадоксальная жизнь имела скрытый смысл, но что в ней великого и философского, я не знаю.

Бродячего живописца не раз хоронили, а он являлся как с гуся вода. Скоропостижную смерть я проверял через «верных людей». «Да, Толя умер, отпет и погребен в Москве!» — говорил Леня Талочкин. «Да, на поминках была водка и брусника», — кричал из Москвы Рудик Антонченко.

13 декабря я написал короткий некролог в «Русскую мысль».

После публикации позвонил Толстый и сказал, что некролог написан в сокращенном виде и он собирается писать сам отдельным документом. Вскорости появился «финансово-артистический отчет о помин-

ках по Анатолию Звереву в Париже», где Толстый использовал мои данные в обличительную форму.

Мир твоему праху, раб Божий Анатолий!

* * *

Плотная творческая связь Аиды Сычевой с «первой волной» совпала с материнской опекой знаменитой старухи Ирины Одоевцевой, автора декадентских стихов и толстых мемуаров в двух томах «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Поэтесса Серебряного века давно собиралась умирать и под занавес нуждалась в толковой прислуге. Гуманистка Аида предложила хозяйке просторной трехкомнатной квартиры, купленной на сбережения таксиста Якова Горлова, последнего, давно усопшего мужа поэтессы, сразу трех денщиков на выбор — декламатора Льва Круглого, альфрейщика Женю Горюнова и беглого матроса Игоря Андреева. Придирчивая эстетка взяла троих: Круглый читал на ночь стихи Пушкина, Горюнов подметал квартиру, а рыжий, как огонь, матрос водил ее по скверу дышать воздухом.

Игорь Андреев перебрался к больной поэтессе, варил ей манную кашу, питерской скороговоркой рассказывал о своих похождениях в открытых океанах и спал за стенкой, готовый явиться по первому зову. Время шло, богатую библиотеку растащили все четверо, но, к всеобщему удивлению русского зарубежья, девяностолетняя женщина не собиралась умирать. Мало этого, она сумела тайком продать квартиру и улетела умирать в любимый город на Неве! Такой сильной пощечины Париж не знал со времен Гражданской войны.

Денщика Андреева Аида отстранила от дома «за дурь», под улюлюканье Мамлея и Лимона, отфутболив в парижский скват.

Дворник Женя Горюнов решил последовать примеру поэтессы и вернулся в Ленинград.

Ни профессиональный лектор Круглый, ни прозорливая Аида не смогли облапошить старую женщину с опытом двух мировых войн и присвоить большую квартиру.

— Не старуха, а форменный Чернобыль! — ворчала Аида, недовольная выходкой Одоевцевой.

Мамлей и Лимон тихо сдвинули стулья. Забренчал дверной звонок. Из прихожей, затягивая дорогой галстук в крапинку, вышел красавец с пышными бакенбардами, в двубортном полосатом костюме и с легким поклоном представился:

— Брусиловский Анатолий Рафаилович!

Завсегдатаи салона сжались от страха. У Саши Свечиной задрожал тяжелый зад. Сильва Бруй скрестила руки, готовая кинуться в бой. Мамлей и Лимон затихли, как мыши в лапах коварного кота.

Пришел не самозванец Саша Хлестаков, знавший Пушкина — «ну, что, брат Пушкин?», — а настоящий московский ревизор, куратор всей советской культуры сверху донизу.

Хозяйка крепко, по-мужски сжала руку гостю.

— Анатолий Рафаилович, располагайтесь, будьте как дома!

Последний вождь советской культуры плотно сел в кресло почетных гостей. Опрокинув стопку водки и закрутив кверху усы, важный гость спросил:

— Ну, что здесь происходит?

— Ничего особенного, Анатолий Рафаилович, — в России выживание, в Европе доживание.

* * *

Феномен «возвращения» снова вошел в жизнь русского рассеяния. Его круги повторялись неоднократно.

ратно. В 30-е годы, когда Россия строила идеальное общество, туда повернули беженцы царских времен, поэты и художники, военные и политики — Перец Маркиш и Марина Цветаева, князь Петр Кропоткин и граф Игнатъев, Иван Билибин и Роберт Фальк... В 40-е, после победоносной войны с фашизмом, в сталинскую Совдепию с лампасами и звездами потянулись целые выводки русских дворян и прогрессивно настроенной интеллигенции.

Перестройка взметнула новую волну репатриантов. Вернулась сумасбродная дочка Сталина, Светлана Аллилуева-Петерсон, бежавшая из страны в 1967 году. Ее не расстреляли, не осудили, а назначили директором музея ее отца в Грузии. Ленинградский диссидент, «политрук» нелегальных выставок Игорь Синявин, десять лет тщетно воевавший с бездуховным американским обществом, стал под знамена М.С. Горбачева и вернулся в родной Питер. «Грешный сын», как он представился журналистам, ходит по столице, выступает по телевидению, получает жилье на Невском проспекте и беспрепятственно возвращается в неприступный Нью-Йорк, где его с нетерпением поджидает семья.

Такого в России еще не заводилось. Возвращенцев не убивали, не ссылали в сибирские рудники, а встречали с колокольным звоном.

Согласно сообщениям газет, тысячи эмигрантских заявлений разбираются на возврат.

У непримиримых врагов русской жизни, авантюристов и законников, будущая Россия рисовалась бабой, бегущей в степи, с размытыми туманом боками. Законники посягали на святую святых русского быта, на ликвидацию взятки и справедливое распределение денег, а что будет потом, их уже не трогало. Это были не голоса свободы, как пытались корявым языком представиться недовольные эмигранты, а голоса подзаборных собак, —

тявкать на все, авось кто и услышит. В нестройный собачий лай пристроился и парижский листок «Вечерний звон», где его постоянный сотрудник, закройщик Лимонов, выразил план компании: «Бумагу — мне!»

За ним последовали беспородные псы Москвы во главе с барбосом Дудой (бульварный журналист Игорь Дудинский), самоварщик Басмаджан, кликуша Татьяна Горячева, способная в короткой статье перечислить всех святых мира, не сказав своего мнения, пес с грязным хвостом, мистик Мамлеев и автор пустейших манифестов Толстый.

Ох, этот Вовик Толстый!

Он выдавал себя за прямого потомка князя Рюрика и царя Соломона, но не надо быть физиономистом и психиатром, чтобы определить беспородного, дворового полкана с одним зубом.

«Нет, Левчик, ты глянь!»

Если расположить время геометрически, кончина А.Т. Зверева (1986), затем Васьки-Фонарщика (1987) и кончина И.А. Ворошилова (1988), то оно опирается на дорогих покойниках.

Игорь Ворошилов, мой первый ученик в Москве, естественно, спился.

От него шел свет и очарование юмора.

Его так замотала московская богема, что от мальчика с Урала, игравшего Баха, ничего не осталось.

Известием о смерти Ворошилова меня удивил Мамлей, по обычаю обнюхивая собеседника.

Мы встретились в кафе Латинского квартала.

— Ну как там, Валь, в Индии?

Я вернулся из Индии, где справил свое пятидесятилетие.

— Очень, очень жарко, Юра!

— Я так и думал! — скривил рот довольный Мамлей. — А ты знаешь, Игоряша Ворошилов, папаська, умер?

Тут я, в свою очередь, скривился и заказал большой бокал пива.

Мамлей тянулся к большим тиражам и тихой сапой вползал в Москву. Его хорошо встретили. Он видел Ворошилова за три дня до смерти.

Там не жлобские, пиратские тиражи и питание одной овсянкой без гонораров, — мы забыли, что они существуют, — а миллионные тиражи и мировая слава, читка не в салоне Аиды, единственном в Париже, а на стадионе Ленина, народу!

Несмотря на потертый пиджак и засохшую лапшу на груди, издали напоминающую почетный орден, в походке бывшего учителя арифметики явилась особая статья тиражного писателя.

Внутренний огонь естества!

4. Васька-Фонарщик

С Василием Яковлевичем Ситниковым меня свел Ксаверий Дуниковский, польский абстракционист, показанный в московском Манеже, осенью 1959 года. Как всякие высокомерные и дурно воспитанные идиоты, я с пеной у рта защищал скульптуры и картины поляка, отбиваясь от яркой критики мужика в черной шляпе, окруженного красивыми девицами. Затем подошел министр культуры Н.А. Михайлов, и вдруг незнакомец стал в мою защиту и обличил министра в тупости.

Такой крутой поворот нас и сблизил. Мы вышли из Манежа вместе и пошли к скульптору Цаплину, жившему во дворе ЦУМа.

Затем мы пересекались на разного рода «квартирных выставках», куда В.Я. Ситников приходил смотреть картинки, обмениваясь ничего не значащими фразами — «ну, вы все учитесь», а по-настоящему сдружились лишь в 1967-м, когда стали соседями по

кварталу — он на Лубянке, я на Сухаревке. Моим учителем искусства он так и не стал, но наставником в жизни несомненно. Общие интересы в «дипарте» повязали нас навсегда. Короткое знакомство не прерывалось и в эмиграции, где возникла регулярная переписка. Из Америки, куда В.Я. Ситников перебрался в 1980 году, письма приходили реже, но я за ним присматривал издали. Его кончина в декабре 1987 года окончательно меня убедила, что я потерял драгоценного человека и необходимо сохранить о нем прочную память. Творческой биографии художника я не составлял, у меня нет под рукой его произведений, но данных собралось достаточно, чтобы выстроить портрет.

* * *

Василий Яковлевич начинал первым.

Он родился за два года до русской революции. Вот его автобиографическое начало: «Отец мой, Яков Данилович, взял мою мать за 25 верст от родной деревни Новые Ракиты, что на верхнем Дону. Пять лет не было детей. После несложного вмешательства деревенской колдуньи по прозвищу Ведениха моя мама забрюхатела мною, а когда я явился на белый свет, 18 августа 1915 года, об этом знала вся округа до Лебедяни».

Так видит свое начало сам Василий Яковлевич Ситников.

Папа (1889—1949) из села Новые Ракиты (360 дворов), 3 километра от Лебедяни Тамбовской губернии, призван в ряды Русской армии, три года воевал в 9-й роте 148-го пехотного черноморского полка, демобилизован ефрейтором в 1918 году.

Мама, Дарья Семеновна, в девичестве Богословская (ум. 1951 г.), из села Зуева, дочка мельника.

Крестьяне разных сел.

Ох, эта Лебедянь! Ох, этот Ситников!

В 1843 году молодой охотник Иван Тургенев сразу попадает к «известному барышнику Ситникову». Позднее в читальне имени И.С. Тургенева (1930) московский школьник Вася Ситников зачитался.

«На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова» («Записки охотника», «Лебедянь»). Писатель не перепутал и не стал придумывать. Лебедянские торговцы лошадьми почти все были Ситниковы, и художник сохранил породу предков. «Ситников заломил цену небывалую» (И.Т.) — навсегда остается его торговой политикой. «Сколько? — спросил князь. — Для Вашего Сиятельства пять тысяч. — Три. — Нельзя-с, Ваше Сиятельство, помилуйте...»

Голод. Мякина. Тиф. Людоеды шалили дальше, не на Дону, а на Волге. Крестьяне разбежались кто куда.

Отставной ефрейтор Яков Ситников атаковал Москву, столицу первого в мире пролетарского государства, осенью, на исходе 1920 года. Работа нашлась сразу. Завхоз «детдома» в конфискованном дворце князя Юсупова. Жилье в подвале. Там ефрейтор не ужился. В 1921-м сменил потертую шинель на мундир швейцара при гостинице «Гельсингфорс», что на Сретенке, Рыбниковский переулок, 3/13, подвал.

Базар. Больница. Школа. Учись. Торгуй. Живи.

В 1922 году Васю определили в школу общеобразовательных наук в Большом Козловском, где учился спустя рукава, а точнее, «в школе учился плохо» (брат Николай Яковлевич, со слов матери). Это значит, что дважды сидел. В пятом — «я прогуливал ебанскую коммунистическую школу весь 1927 год, шляясь по колоссальным рынкам Москвы», в седьмом (1930) — «я имел представление наиболее полное о вашей рыночной системе предпринимательства на практике» (В.Я. американцу Игорю Миду, 1978 г.).

В пролетарской стране не было гвоздей и мыла. В очередях давились за пестрым ситцем. В кинематографах спорили футуристы. В музеях выставляли кубистов. У Сухаревой башни, где когда-то жил колдун Яков Брюс, постоянно кочевала огромная толпа старьевщиков, воров, беспризорников, бродяг. Воспрянувшая духом буржуазия торговала офицерскими сапогами и картинами мировых классиков. Школьник Ситников, как замороженный, простаивал перед лавками антиквариетов, рассматривая холсты Архипа Куинджи, Тропинина и Фердинанда Бракера.

У московских старьевщиков он приобрел завидную способность собирать интересные вещи.

«Мои карманы той поры были переполнены множеством замечательных вещей, от конфетной оберточной бумаги, пуговиц, дамских брошек до обыкновенной проволоки и разноцветных камешек. Я сейчас не в силах перечислить эти мальчишеские сокровища, которые я рассматривал как материал, из которого можно преинтереснейшее построить!..»

Еще хуже и дальше. В десять лет он сам взялся за краски. В 1925-м, летом, в Лебедяни, он нарисовал картину «Луна в облаках», краем глаза посматривая на Архипа Куинджи.

В 1928-м гостиницу «Гельсингфорс» ликвидировали. Швейцар Яков Ситников «коморку под лестницей» сменил на комнату третьего этажа, разделив ее на две части, детям и родителям. Комната под номером четыре (4), «в которой раньше жила хозяйка гостиницы, а за ней управляющий, уже присланный советской властью», — уточняет Николай Яковлевич.

Швейцар Яков стал кондуктором курьерских поездов.

Моряки нас чуть не обокрали.

Робинзон Крузо! Армянин Анастас Спендиаров!

«Он увлек Василия мечтой о море, и оба решили поступить в Ленинградское мореходное училище, но без “минимального стажа плавания матросом” не вышло, и молодой человек за два года закончил Московский сухомеханический техникум, Большая Ордынка, 19, освоив всю программу по навигации, лоции, судовождению и парусному делу», — не без гордости за брата вспоминает Н.Я.

(По другим, не менее серьезным сведениям, юный любитель моря прошел сокращенный курс мотористов «Красный Водник», ФЗУ в 1933 году и уже весной 1934-го получил катер номер 63 с окладом 100 рублей в месяц и закончил карьеру моряка, окончательно уволившись 15 сентября 1934 года, на что есть точное указание Управления московского пригородного сообщения в семейном архиве.)

Сам Василий Ситников говорит о суровом предупреждении ГПУ летом 1934-го, не называя точной причины допроса на Лубянке. Брат же Н.Я. связывает этот опасный разговор с немецким эмигрантом Геккером, обвиняемым в шпионаже в пользу иностранной державы.

«Уже в 1934-м меня вызвал такой же жирный разьебай, как эта харя (речь идет о «харе» 1974 года) с двумя шпалами, тютелька в тютельку вот именно такая харя», — вспоминает В.Я., не объясняя, зачем его вызывала «харя с двумя шпалами».

Дружба с немецким шпионом и его сестрами Марселлой и Ирмой, — «кобыла невероятной красоты» (В.Я., 1987 г.), которую окрутил более удачливый соперник, «полукарлик из-под Калуги, “Ванька” по имени и по характеру тоже, а по сути уголовник-аферист» (В.Я.), продолжалась, несмотря на суровое предупреждение прекратить.

О поездке в Питер осенью 1934 года можно только гадать. Академический опыт молодого москвича рав-

нялся нулю. В бастионе русского реализма под руководством Исаака Бродского людей с колючим темпераментом не разводили. В это учреждение принимали людей с основательной подготовкой, отсутствующей в опыте московского туриста. Очарованный «Эрмитажем» — какие сокровенные голландцы: Яков ван Рейсдаль, Адриан ван Остаде, Герард Терборх и главный чудотворец Рембрандт, «мой учитель Рембрандт» («Даная!»), москвич покинул квартиру знакомого инженера Блумберга, не простившись.

Сестра художника Тамара Яковлевна рассказывает, что ее брат по возвращении из Питера «впадал в черную меланхолию и всю зиму не выходил из дома».

Рисунки того времени носят вспомогательный вид чертежного типа. Технические тетради Леонардо чаще всего приходят на память при виде этих сухих, бесцветных набросков простым карандашом.

Весной 1935 года неудачник рисования круто меняет маршрут и свой графический дар вручает мастеру трюковых съемок, киношнику А.Л. Птушко, руководителю пятой киностудии.

Муляжи. Макет. Обманки. Сценический обман. Человек кино. Курсы кукловодов. Там он себя находит очень быстро и создает удивительные вещи.

«Отличительной чертой его характера в это время стало упрямство в достижении поставленной себе цели. Увлеченный чем-либо, готов был на все, лишь бы добиться результата», — замечает Н.Я.

«Дети капитана Гранта», «Сказки А.С. Пушкина», «Путешествия Гулливера», потом легковесная байдарка и «рыба», которой посвящены восторженные строки брата Н.Я.: «Биологи МГУ попросили Василия изготовить модель головы рыбы, по которой студенты могли бы усвоить последовательность движений ее челюстей и жаберных крышек. Прежде всего Василий прочитал учебник по ихтиологии и просмотр-

рел в библиотеке МГУ все соответствующие альбомы, затем купил в рыбном магазине большого карпа, отчленил и полностью разварил его голову, очистил от мякоти и тканей все кости и, отобрав самые главные, по которым было видно, как последовательно двигаются они, стал вырезать из березовых чурок их увеличенные в размерах аналоги. Когда же вся модель была собрана на подставке и соединена с помощью проволочных тяг и кривошипным механизмом, при вращении ручки все ее детали начинали двигаться в полном соответствии с тем, как это происходит в природе».

Весь в чрезвычайном ремесле, весь в прелести совершенной, ручной работы!

Казалось, что беспокойный молодой человек нашел себя в эфемерной работе «кукловода», но в 1936-м опять, и с благословения отца, мечтавшего о его карьере живописца, В.Я. пытается сдать экзамены в Академию художеств. Он провалил все обязательные предметы — рисунок, живопись, композиция — и, как побитая собака, вернулся из Ленинграда домой.

Почему неудачи, почему провалы?

Освоение академических дисциплин — прямая перспектива, анатомия, моделировка объема, компоновка на плоскости глубины, расцветка планов — требует внимательного и безупречного подчинения установленным правилам.

Опытные профессора Академии брались выучить не только бездарного студента, но и послушную собаку!

Бесчисленные тренировки, повторение пройденного, строгое подражание раз и навсегда принятого шаблона дают желанный результат.

После десятилетий разброда и кратковременного владычества футуристов образцом для подражания стал художник XIX века, реалист Илья Ефимович Репин.

Всякая модификация утвержденной модели считалась если не преступлением, то ничем не объяснимой глупостью. Такой реформатор терял доверие власть имущих, прекращались заказы, выставки, награды, всероссийская слава. Послушный и толковый получал путевку в жизнь и право на искусство.

Василий Ситников прошел все официальные «курсы подготовки» под руководством заслуженных академиков, куда, по его словам, «приходило более ста человек, люди всех возрастов и разных профессий, обоюго пола. Все старательно рисовали, работая по принципу тяп-ляп. Я из кожи лез, чтоб не отставать от соседей».

С такой подготовкой любая бездарность проходила в искусство, но срывы и провалы Ситникова особого свойства. Он чужой! Он чужой, психологически несовместимый с «сотней», и лезет туда, где ему нет места. Его постоянно поводит туда, где возможен скандал, неизвестность, нищета. В его неуклюжих, корявых рисунках и акварелях таится бунт. Его «Шар» (осень 1939 г.), выполненный сапожной щеткой при помощи черного гуталина, это не ученическое упражнение. Опытный реалист сразу определит, что этот «объем в пространстве» — особое видение мира, особая метафизика непослушного и одинокого художника.

В этом же 1939-м академические мытарства В.Я. раз и навсегда прекратились невероятным конфузом, основательно надломившим психику. Его по ошибке приняли в Московский художественный институт и тотчас же отчислили в разряд вечных вольнослушателей.

Отдав должное «кукловодам» кинематографа, изобретателям речных байдарок и неприступному Ленинграду, В.Я. надолго связал свою судьбу с ненавистным московским институтом.

«В это время испытывал беспредельные муки зависти и отверженность от официального искусства» (В.Я.).

Положение вечного студента, а затем ассистента на кафедре искусствоведения с окладом в 70 рублей лишь усугубляло «муки зависти и отверженность», в то время как деградация учебного дела, о которой В.Я. отлично знал, привела к полному разложению и упадку русской культуры.

Двадцать лет спустя (1958) мне довелось побывать на выпускном балу этого института, с 1946 года ставшего имени В.И. Сурикова. Выпускники института по-прежнему рисовали картины с оглядкой на творчество И.Е. Репина, но походили не на студентов высшего учебного заведения, а на стойбище пещерных дикарей, темных, грязных и спесивых. Коммунисты и методисты Академии художеств добились своего, вырастив два или три поколения идиотов, послушных указке заказчика.

Василий Ситников, студент без будущего, по словам его брата, «чувствовал себя большим талантом, старательно создавая свой особый стиль».

Его творческий багаж той поры набит работами учебного склада. Это бесконечное изучение техники старых мастеров. Попадаются копии работ Рембрандта, Дюрера, Брейгеля. Все они не закончены, на середине. Страстное увлечение стариной вперемежку с робкими натурными опытами — сельский пейзаж, вид реки, городской дворик, портрет. Вещь за вещью, исполненные на обрывках оберточной бумаги, картонах и фанерках, ложатся в сундук до «лучших времен». Редкостная бережливость основателя «восхитительной дымки». Трудодни фонарщика искусствоведения в своем монотонном беге не предвещали решительных перемен в его жизни.

В Париже пировали немцы, а больная Москва убеждала своих придурков, что войны никогда не бу-

дет. Слухи о финских «кукушках» и паническом бегстве поляков сурово пресекались. Потом на Москву посыпались бомбы, и опомнились — немцы в Царском Селе, немцы на Волге, немцы в Химках. Ректор института И.Э. Грабарь всех погнал на земляные работы, спасая убогий мир коммунизма.

Арест В.Я. Ситникова, вольнослушателя окопных работ, окутан мраком неизвестности.

Кто донес? И был ли донос вообще?

Брат художника, уже задним числом и со слов покойной мамы, утверждает, что был донос бдительного гостя. Неубедительная версия о немецких листовках и идейном «подонке из института иностранных языков». Доносчик жив, имя его, естественно, не оглашается, но при встрече Н.Я. «выложит всю правду в глаза». Сам художник, слегка преувеличивая, пишет: «Один энкаведешник нес мешок оружия, а другой — приемник и связку антисоветской печати». Здесь уже подходящий материал для ареста и расстрела в военное время, но несчастного хранителя оружия не расстреляли, а просто «списали как психа» в далекую Казань.

Проповедник безыдейного искусства, ничтожный фонарщик без кафедры, очутился на нарах Лубянки, где «облизывал тарелки арестантов», затем с января 1942 года на нарах Таганской тюрьмы, где главным образом читал книжки: поэмы Гомера, «Князь» Макиавелли, «Торговля» Гвинчардини, и читал их семь месяцев подряд, пока длилось следствие. Психов с вялотекущей шизофренией, дебилов с манией величия и политических шутников отправляли в Казань, где они тихо умирали от голода на четвереньках, кто «царем», кто «чертом», кто «пауком». Психбольной Ситников рисовал, выдавая себя за художника «ради смеха».

«Моя работа пользуется большим успехом, — пишет заключенный родителям, — доктора видели мои работы, они имеют успех».

Осенью 1942 года В.Я. получил первый и единственный в своей жизни официальный заказ на украшение стен военного госпиталя. Шесть художников психбольницы особого типа взялись за работу.

«Ни красок, ни кистей, ни холстов нам не выдали, — с горечью вспоминает В.Я. — Я начал гигантскую работу как первобытный неандерталец. Из дохлой собаки я сварил клей и тщательно загрунтовал стены. Пару кирпичей затер на моче, и получился отличный «сурик», как у древних греков на вазах, красновато-золотистого тона. Им я раскрашивал оптимистические знамена первого плана. Весь пейзаж степей и купола церквей на горизонте пришлось тонировать мазутом и мелом, употребляя сапожные щетки. Глубокий бархатистый тон фона, весь в снегопаде, и передний план с людьми хорошо связались между собой. Между прочим, многие пожилые солдаты, отправляясь на фронт, крестились на эти огромные панно, как на святые иконы».

На стенах военного госпиталя города Казани шизофреник Ситников оставил работу без поправок заказчика, огромные стенные фрески, содержание которых трогало утомленных войной людей, «десять изображений по 4, по 6, по 2 и 3 квадратных метра — ото всей души и здорово я их сделал» (письмо В.Я., 1975 г.). Живопись, единодушно утвержденная начальством, открыла художнику двери «больницы специального типа» (тюрьма!). Ему милостиво позволили бродить по городу без охранника и питаться за свой счет. Он ловил лягушек, собак, кошек и варил суп. Явилась шальная мысль бежать в заволжские леса и жить пустынным, вдали от людей. Бегство не состоялось. «Я бежал ночью из колонии за 60 км от Казани и заблудился в лесах» (В.Я.).

Грузчик. Кухонный мужик. Портретист. Лесоруб.

Красная Армия стояла на Висле, обстреливая Варшаву. Отважные немецкие летчики еще прорывались к Москве и бомбили, но их уже не боялись. Летом 1944 года «тяжело-психбольного» Ситникова выписали в Москву, под надзор и уход родителей.

«Тогда я качался от ветра и поноса. Медсестра Екатерина Михална, ведьмоватая старушенция, привезла меня из Казани и сдала под расписку маме, как телка» (В.С., 1980 г.).

«...Из Казани он привез нанизанных на шнурок множество собачьих зубов и, демонстрируя их, без всякого смущения говорил, что это то, что осталось от съеденных им Жучек и Шариков», — вспоминает Н.Я. (1995 г.).

Кроме собачьих зубов на шнурке, в дорожном мешке голодного шизофреника лежало потрясающее открытие — художественный снегопад на синей клеенке!

Вскорости он обрел тягу к рисованию и монотонным занятиям у профессора искусствоведения М.В. Алпатова.

Опытный живописец Фальк Роберт Рафаилович перенес все искусства современности. Он знал в лицо основателей импрессионизма и футуризма. Он внедрил кубизм в русское искусство. Он десять лет рисовал Францию, пытаясь выдвинуться в Европе, а в 1938 году вернулся в Россию, где его никто не ждал. Ни жилья, ни заказов, ни кубизма. Могущество Рембрандта накрыло его творчество на склоне лет. Престарелый авантюрист кормился преподаванием запрещенным образом. К нему приходили Марселла Геккер, Майя Левидова и Нина Завадь, увлеченные мистикой подлинного творчества.

«Я ученик Рембрандта», — сказал Фальк вошедшему «телку» из Казани. — «Дегельдера я ценю выше Рембрандта», — отбил «телок», расстилая синие клеенки на пол, — «он скрость стакан с зеленым чаем!» —

«Мне нечему вас учить», — добавил ученик Рембрандта, внимательно осмотрев работы Ситникова, — «сапожной щеткой и черной ваксой вы сделали то, к чему я стремился всю жизнь».

Знакомство равных.

Биография русского художника составлена не из выставок, а из этапов. У одного это — коммуналка, у другого — тюрьма, у третьего — психушка. Творчество художника не выходит за пределы этих учреждений, оно обращено к одному лицу, автору, когда он и соиздатель, и зритель, и хранитель.

Дегельдер оказался моложе и проворней Рембрандта. Молодой «телок», обраставший жирком бычка, увел к себе цыганку Нину Завадьё, положив начало особой академии в Рыбниковском переулке, 3/13, 3-й этаж, комната 4. Профессор всех профессоров Васька-Фонарщик! Первая ученица Нина Завадьё и послушно училась, и «любила меня по-настоящему» (В.Я., 1977 г.).

В 1945 году Ситников написал (сделал!) картину «Жена». В ней представлена обнаженная женщина в поле, на воздухе (цыганка Завадьё?) по колена. Никаких живописных или графических качеств. Такое впечатление, что вещь сделана гвоздем по штукатурке. «Жена» в дырках, пятнах и буграх, но производит впечатление могучего шедевра.

Любовь цыганки. Песни Сандро Вертинского. Величие православного Бога. Необычные мечты о счастье.

Психбольной В.Я. Ситников не имел права жениться.

Несовершенство человеческой природы.

Потом, как пишет социально близкий критик Зана Плавинская (1996 г.), «Васина муза не знала рабского клейма!».

На пятки авантюристу Фальку наступал лукавый, но нищий акварелист Артур Фонвизин. Он жил и

творил в коммуналке «на Мясницкой» (улица Кирова, 19) и там же принимал учеников.

Профессиональная деятельность А.В. Фонвизина (1880—1973) по всем параметрам совпадала с ритмом двадцатого века. Он с молодых лет, с 1901 года, состоял членом всех артистических кружков и объединений, изъездил весь мир, говорил на всех европейских языках, а выбрал русский, русскую кашу и русский беспредел. Жил он частными заказами. В комнате, где спали, ели, болели, по настоянию чувствительной супруги тяжелый творческий труд был сокращен до изысканной акварельной техники. Фонвизин писал с натуры, усаживая модель в яркий угол, по воображению летающих гимнастов, и по фотографии знаменитостей балета безликого времени. Разбалованные заказчики платили мало и неохотно. Акварелист хитрил, переманивая полезных учеников у Роберта Фалька.

Встреча Васьки-Фонарщика с акварелистом закончилась катастрофой.

Верный ученик Фонвизина, талантливый и независимый Володя Мороз, невразумительно рассказывая, дал неопределенную характеристику своего нового приятеля. Фонвизин и его чуткая супруга решили, что к ним идет герой французского Сопротивления, вроде Олега Толстого, а не душевнобольной художник.

По рассказу Тамары Васильевны, принимавшей участие в беседе, их ждал хорошо сервированный стол. Фонвизины стерли пыль с фамильного серебра, выставили хрустальный графин с водкой и не поспешили на вазу с диковинными фруктами. Видавшие виды Фонвизины с порога смекнули, что к ним привели не героя цивилизованных манер, а сумасшедшего, постоянно голодного пролетария без царя в голове.

От водки Вася отказался, но когда принесли суп, он поинтересовался, что последует за этим блюдом. Узнав о котлетке и пирожном, попросил кастрюлю и

сложил туда все три составляющие обеда. Пораженная Фонвизина исполнила пожелание, а Вася так прокомментировал: «В желудке ведь все равно все перемелется!»

В середине 50-х годов о «школе Васьки-Фонарищика» уже слагали легенды. Сочиняли небылицы о его несметных богатствах, о содомских оргиях, даже о шинели полковника КГБ, которую Ситников примерял по ночам. На самом деле он работал до первых петухов, годами не выезжая за пределы Москвы.

Общение с иностранцами стало существенной частью его необычной жизни.

По свидетельству Нины Андреевны Стивенс, в декабре 1956 года на светском вернисаже в честь Пабло Пикассо ее друг, красочно одетый Ситников, в окружении пары очаровательных девиц, с отвращением повторял: «Дутое говно, хуже дрисни Зверева!»

Георгий Костакис, большой поклонник «русского авангарда 20-х годов» и покровитель московских новаторов, остроумно и ярко рассказывал о появлении Ситникова в его доме. Ему показалось, что воскрес сам Гриша Распутин.

С собирателем «авангарда» Ситников не поладил. Он забраковал всю коллекцию грека, а тот не понял живописи Ситникова.

Особенность художника и ему подобных «русских феноменов» тонко подметил критик Игорь Голомшток: «Ядро этого движения, его нерв, его авангард составляют не новаторы форм и новых творческих концепций, а новаторы нового видения мира».

В 1959 году никому не известный художник резко одернул самого министра культуры Михайлова, о чем лично свидетельствую. Этот министр, следуя либеральному течению той поры, обратился к человеку из толпы, чрезвычайно похожему на шаблон богемного арти-

ста, за разъяснением абстрактной картины польского автора. Василий Яковлевич, сам не поклонник абстрактных опусов, лихо повернулся на скрипучих каблуках, взял министра за локоть и громогласно объявил: «Зачем ослу объяснять искусство, ведь осел не нуждается в живописи?!»

Крылатая фраза облетела всю Москву.

Его квартира в старом доме «на снос» стала своеобразным клубом свободомыслящей интеллигенции. К нему шли решительно все, кто хотел соприкоснуться, взглянуть на храброго «профессора всех профессоров» без казенного диплома в кармане.

Впервые его заметили не на родине, в России, а за океаном, в Америке. Картины художника покупали не советские музеи, а иностранцы. Бесконечные поиски новых «измов» не задевали его воображения. Диктатуру «соцреализма» он определял следующим образом: «К примеру, висит в музее картина Рембрандта, и хуйвенбины не ацетоном, не серной кислотой поливали, а положили ее наземь и все по очереди, в течение недели, обоссали и затоптали».

И не дар вольного педагога, гипнотизера и врача-вателя, и не знаменитое собрание русских редкостей составляли главное очарование его личности. Он оставался замечательным выдумщиком и практиком живописи. В 60-е годы он создал свои лучшие картины особой техникой сфумато, известной лишь посвященным ученикам.

«...Глянь не в пределы тысячелетий, а в миллиарды!.. Каково? Пожалуй, следует строить жисть не так, как строят ее «мудрецы», и многие человеческие ценности следует переоценить, и то, что казалось ненужным, выйдет ценным, а то, что казалось ценным, выйдет обман, грезы, блеф и мишура!.. Я стал понимать это еще до войны (то есть в 1937 году) и постепенно имел случай из года в год убеждаться в своей правоте...»

Так записал В.Я. 3.11.1959 года.

Ни разу в жизни он не свернул с избранного пути.

Ему не позволялось завести семью. Он не имел права выехать за пределы Москвы без «опекуна». С давних пор он томился мечтой увидеть живой, открытый мир. В начале 1973 года ученик прислал ему «израильский вызов», над которым Ситников, уроженец глубокой, русской Лебедяни, долго потешался, а потом бросился в открытый мир, как в омут, без оглядки, босиком и порожняком.

Третья особая академия, 1969—1975, началась с решительной чистки сотрудников и жен. Юлий Ведерников был освобожден от рабского подчинения. После чудовищного скандала с битьем посуды уехала и Лика Крохина, прихватив с собой часть имущества. Сначала ученица, а затем жена Ирина Ивлева принесла суровый монастырский уклад в быт художника. Прямая и сухая, как тростинка, молчаливая, как сфинкс, на самом деле пылкая и вредная особа, пять лет портившая кровь своему сожителю. Она лично вербовала учеников и готовила пищу, совершенно несъедобную и страшную на вид. В подъезде постоянно дежурил «топтун», вскорости ставший учеником «академии». По ночам к нему приходил американский шпион «балда Смит», страдавший бессонницей. Они обсуждали все мировые проблемы до тех пор, пока Смита не выдворили в Америку.

Подлинным шедевром 1970 года была картина «Земля и небо», год семейной работы в тридцать слов точками!

В дневнике В.Я. от 2 ноября 1971 года записано: «Я отдаю свои знания. Добыл я их тяжким 25-летним трудом проб и переделок бесчисленных и закрепительных упражнений без руководителей... “на ощупь”. Взамен все работы руководимых мною учеников принадлежат мне! Это абсолютно и кате-гори-чески!!!»

Многотысячная армия «инженеров человеческих душ» оставила после себя кучу навоза вместо духовных ценностей, а шизофреник русского андеграунда Васька-Фонарщик оказался нам «нужным и ценным».

Рабов, выполнявших ответственный заказ, следует перечислить поименно: Ивлева, Каплин, Глытнева, Кислицын, Титов, Чон, Шибанова, Мышков, Абрамов, Старчик.

«...Абсолютное сходство с забросом спиннинга с инерционной катушкой и плетеной фильдеперсовой леской», — довольный, повторял руководитель работ В.Я.

Еврейское возрождение в Москве начиналось под новым, ранее неизвестным знаком — эмиграция на историческую родину, в Израиль, причем в этот неудержимый поток вливались обыкновенные русские советские граждане — вещь, немыслимая ранее, — граждане без определенных политических взглядов, с одним страстным желанием посмотреть недоступный Запад, пощупать западный мир, испробовать свои силы. Заключалось огромное количество смешанных браков, часто фиктивных, только до Вены, а там разбегались кто куда.

У Васьки-Фонарщика часами просиживал в углу учитель геометрии Веня Волох. По субботам он толкался у главной синагоги и приносил последние новости. «Князь Андрей Волконский ищет еврейскую невесту». «Художник Олег Кудряшев женился на рижской еврейке и уже в Лондоне». «Эдик Кузнецов угнал самолет».

В октябре 1971 года Москву покинул «почти свой» Мишка Гробман по кличке «Меняла». Десять лет постоянного товарообмена, ругани и любовного соглашения, и вдруг улетает в Израиль!

Патриотка Ивлева, замечавшая мечтательный вид супруга, подолгу смотревшего с балкона вдаль, за

леса Измайловского парка, запрягла его в тяжкое, изнурительное и неблагодарное строительство дачи, да еще «финской», на своей родовой земле под Димитровом. Рабочие пили с утра по-черному, растаскивали гвозди, доски, оконные стекла, кирпичи, окончательно разрушая психику. Сезоны меняли друг друга, а дача номер 259 так и стояла без крыши. «Пути Господа неисповедимы и часто выбирают дураков для своего дела» (В.Я.).

Художник быстро сошелся с итальянцем Франко Миеле, учителем рисования и критиком искусства. Тот попытался примирить его с конкурентом Белютиным, незаслуженно потерявшим место преподавателя. В.Я. сводил диссидентов с иностранными журналистами («дело» осужденного В.Н. Осипова), устроил курсы иврита на дому, больно ударил Ирину Ивлеву, «слишком быстро рисовавшую снегопад», и незаконно прописал цыгана в Москве.

Власти решили как следует напугать непокорного идиота.

В начале 1973 года таможня конфисковала покупки и подарки слависта Поля Секлоши. После унижительного допроса с угрозами американца отпустили, но вызвали Ситникова. С повесткой показался у лечащего врача (В.М. Думанис, психдиспансер № 5, ул. Кирова, 42). Владимир Михалыч сказал, как приказал: «Не валяй дурака, уезжай!»

Где-то решили, что Васька-Фонарщик больше не нужен.

И началось время на износ, пытка родного и ненавистного отечества, «среди березок ебаной матери России».

Философия «куда кривая вывезет», обычно работавшая в два конца, сорвалась. В мае, пока он колготился в Ялте, в пустом и дорогом пансионате, куда его затащила «инокиня» Ивлева, был арестован уче-

ник Иван Ушаков и заключен в дурдом. Основательный шмон у Аси Муратовой, русской супруги итальянца Миеле, и, наконец, осязаемый удар — арест В.А. Мороза с жутким обвинением в саботаже советской экономики. Следствие по делу Мороза протащило сотни свидетелей. В разгар допросов В.Я. получил беспрепятственно приглашение «двоюродного брата» Вени Волоха воссоединиться в Израиле.

— Я хохотал и обоссался, когда прочитал вызов моего родственника!

Пылкая Ивлева, объевшись дикой травой, бросилась с 12-го этажа, и лишь ловкий сосед с 11-го, куривший трубку, спас падающее тело. Бунт Ивлевой закончился ее позорным изгнанием.

На стол В.М. Думаниса лег «израильский вызов».

— Как быть, — спросил В.Я., — ибо я не личность?

— Нет, вы личность, — сказал довольный психиатр, — ваша недееспособность не установлена судом, а это означает, что вы еще дееспособны! У вас будет паспорт без проблем.

Последняя бесполезная ученица рисовала портрет несуществующей личности. Гибкий состав «академии» позволял учителю работать в одном направлении. Раньше не замечал ее упорства. Теперь привык и влюбился.

«...Если бы ты видел ее добрую, простую улыбку согласия...»

Анатолий Крынский (художник, график) «был при мне это время нянькой» (письмо от 1975 года).

Эмиграция для советского человека, политическая эмиграция 70-х годов, означала полный и окончательный разрыв с отечеством, с детством, зрелостью, языком, близкими, культурой, работой, бытом. В свои 60 лет В.Я. не был подготовлен к такой радикальной перемене. Он никогда всерьез не учил языки. Его отношения с иностранцами носили сугубо

декоративный характер — торговая сделка, застольный треп, хиханьки, хаханьки. Россия его выталкивала на верную гибель на чужбине. В начале 1974 года он вдруг попятился, передумал и просрочил «израильский вызов». Снова появились ученики и ученицы. Видимость спокойствия и новая любовь. Выдворение писателя А.И. Солженицына с лишением гражданства 13 февраля 1974 года играло свою роль.

В «бульдозерном перформансе» (15 сентября 1974) Ситников благоразумно не участвовал (строил «финскую дачу!»), но позорная расправа с беззащитными художниками снова подстегнула на решительный разрыв с преступным обществом. Он сдал в музей им. Рублева византийский шедевр XIII века и 600 икон XVII. Роздал все свои денежные сбережения и порожняком, с пустой авоськой, 30 октября 1975 года сел в самолет, окончательно отряхнув прах людоедской жизни.

«Я совершенно охуел от Европы, — писал мне В.Я. в начале 1976 года из Вены (пансионат «Беттина», Хардигассе, 32), — представь себе ласточку, родившуюся и выросшую в тесной комнатухе, и вот ее выпустили, а куда, не просто на волю, а в рай!»

Стать австрийцем или американцем он не мог. Работал и доживал иностранцем, русским эмигрантом.

Исторически «богатый художник» не существует.

Трудно представить богачом безымянного гения Средневековья. Где бы он ни трудился, в Китае, России, Греции, Италии, художника приравнивали к трудовым людям особого ремесла. Современность разбила некогда единый цех на зажиточных и нищих. Одних засыпали почестями, других травили и топили в дерьме. Русское искусство при дележе мировой славы не получило своего куска по достоинству. Оно уходит незамеченным огромным косяком, от Ореста

Кипренского в XIX веке до Казимира Малевича в XX. Запоздалая слава последнего ничего не меняет в негативном отношении к русскому искусству.

Всякий знает, как живет европеец. Удобно, скучно и благопристойно. В 1976 году Васька-Фонарщик заключил контракт с австрийским фабрикантом мебели Фердинандом Майером и выехал в курортную деревню Китцбюль, что в тирольских горах. Получив от храброго австрийца сарай, матрас и «солдатскую пищу», он принялся за строительство новой жизни. В сердце Европы он строит «необитаемый остров», логово в полном соответствии со своими вкусами и привычками. Неумную страсть к выдумкам, созидательный пыл и талант русский художник притащил в скучный Китцбюль. Он огораживает сарай колючей проволокой и тащит на отвоеванную территорию все, что содержит европейская помойка, — ящики, доски, ведра, журналы, тряпье. Обалдевшие обитатели курорта идут поглазеть на русского художника. Желающих купить картину он выстраивает в очередь, по записи.

«Связи возникли как погода» (В.Я.).

Безымянный сарай Европы превращается в процветающее хозяйство. Необычная мастерская с огромной картиной «Снегопад для Майера» посредине посещают пронырливые репортеры и знатоки живописи. География жизни расширяется. Он посещает музеи Мюнхена, Венеции, Вены. Художник писал самую большую (6 кв. метров) и самую лучшую картину в жизни.

Мы знаем картину, бьющую по человеческому сердцу, это Босх, Рембрандт, Гойя и, очевидно, пресловутая «Герника» Пикассо. Это иной мир, сочиненный на куске холста и гением его создателя превращенный в неотъемлемую часть человеческой культуры, продолжение жизни во времени и пространстве. В.Я. Ситников называет себя не живописцем, а «картинщиком».

Что такое «картинщик»?

В 1944 году в казанском дурдоме Васька-Фонарщик изобрел необычный изобразительный метод «снегопада», отработанный мелкими кистями, и геометрически четкие снежинки оптического разнообразия. К многофигурной композиции он шел не спеша. Она появилась в конце 50-х годов, робко сочиненная по сюжету, но стойкая по исполнению. Художник не рисует картину, а строит, как спектакль. В ней нет совершенного, лихого рисунка, рафинированного колорита и классической компоновки в золотом равновесии. В лучшем случае в композиции присутствуют вечные статисты искусства: земля, небо, толпа, здания, животные, птицы. Картина строится за кулисами, от которой взбесится любитель строгой античности. От русской жизни В.Я.С. отжимает этнографию кривых зеркал, в смешном виде «мопсов и бульдогов» и церковную архитектуру, опрокинутую к небу «в три четверти». Вторая кулиса — «снегопад», ажурная ткань снежинок, наброшенная на изображение, как вуаль на лицо. Третья кулиса, первый план. Он кочует почти неизменным из картины в картину, постоянный герой — мускулистый персонаж с кистью в руке, как две капли воды похожий на веселого Ваську-Фонарщика с деньгами. Он страшно доволен сделанной работой и ставит точку над «и».

Набегая друг на друга, эти механические планы создают неповторимый оптический и живописный эффект, напоминая старый персидский ковер.

Большая картина, выполненная кистью в один волосок, где каждое прикосновение драгоценно, через три года стояла перед европейским зрителем. Врожденный эстет в недоумении разводит руками, недалекий авангардист скулит от зависти к изобретателю, подражатели неловко ухмыляются, но все разом удивлены. Равнодушных нет!

«Я эмигрировал с целью доказать хамам советской власти, что я не последний психбольной, а хороший дорогой художник» (В.Я.С.).

Владелец заказной картины Фердинанд Майер оценил картину в 240 000 австрийских шиллингов, цена немислимая для современного, никому не известного русского художника.

Московский искусствовед Зана Плавинская — редчайший случай интереса к авангарду — очень точно и справедливо заметила (очерк «В.Я. Ситников», 1995, в рукописи): «Его письма — особая творческая система кверулянтных идей».

Сестра художника Тамара Яковлевна сохранила потрясающие документы террора, письма В.Я.С. из Казани 1942—1944 годов. Он любил и умел их писать, с необычайными оборотами просторечия, меткими сравнениями и крылатыми популярными словами. С августа 1975-го по ноябрь 1985 года я получил от него в общей сложности сто двадцать (120) страниц произведений высокого эпистолярного и, если хотите, «кверулянтного» творчества.

В 1977 году, глубокой осенью мне удалось побывать у него в Китцбюле. Мой старый друг похудел, осунулся за два года эмиграции, но по-прежнему горел желанием написать самую большую, самую лучшую картину в мире. Мы проговорили всю ночь напролет. Говорил он, не прекращая, жалуясь на предательство любимой женщины, застрявшей в Москве, скупость хозяина и глупость соседей.

Давняя мечта — «плавать по необъятному миру, как рыба в океанах и в реках тоже» — сбылась!

В середине 1980 года В.Я. покинул гостеприимный и доходный курорт, чтобы в Вене попасть в тупиковое положение «устроенного человека», а не нищего беженца. Америка, куда устремился он со страстным желанием «прославиться» («если я Ро-

бинзон Крузо, то создам нечто на пустом месте»), охотнее впускала эмигрантов без «бумаг», чем эмигрантов с «бумагами», полученными ими под названием «хрендепас».

Венские бюрократы благотворительного фонда им. Л.Н. Толстого полагали, и не без оснований, — контракт с галереей Майера, очередь на заказы, выставки в кунстхаузе, — что эмигрант Василий Ситников хорошо устроен, и дали понять своему «генштабу» в США, что он не нуждается в материальной и административной поддержке с официальным «хрендепасом».

Иначе думал сам художник. Не вдаваясь в подробности лицемерных пассажей красиво написанных писем, В.Я. попросту, по-крестьянски хитрил, намереваясь сохранить заработанные в Австрии деньги, — остается неясным, выдал ли он обещанный фонду дар в 5 тысяч долларов! — и бесплатно проехаться на Америке. В конце концов после полугода бесконечных хлопот во все стороны — американским поклонникам, князю Багратиону-Мухранскому в «генштаб», правозащитникам — трюк сработал. Он получил визу в Америку, в славный город Нью-Йорк («как я говорил, первому сообщу вам о моем переезде с пересадкой во Франкфурте... Леня встретил... шас у него в плохих условиях...»), но сообщил мне через месяц, 1980.05.17, суб., 23.55, а открытку в два цвета: красное и голубое — опустил 17 июня; с сугубо перечеркнутым адресом Леньки Милруда и своим новым жильем Е 12 ст., дом 410, кв. 14, где он и умер через семь лет в «дурацкой формы квартире» за 150 долларов в месяц.

Ленька Милруд был нашим общим московским знакомым. В Нью-Йорке снимал комнату и, в свою очередь, сдавал квартирантам нары по 100 долларов с рыла. «Кочники» — Лимонов, Стукман и Ситников.

Нары напоминали Таганскую тюрьму, но там плохо, но кормили. «Чаплин» не кормил, а только брал.

Озорство духа и прием грубого насилия!

У меня сохранились письма русских эмигрантов, осевших в Нью-Йорке и принимавших деятельное участие в судьбе «коечника» Ситникова.

«Вася живет заброшенным и никому не нужным в Нью-Йорке», — пишет ночной таксист и журналист Николай Гридин 12 ноября 1981 года.

Поэт Эдуард Лимонов, бывший «коечник» Милруда и сам нищий, говорит, что «Вася ничего не рисует, а только собирается».

Остается неразрешимой загадкой жадное, страстное, неудержимое желание художника, в общем-то не склонного к перемене мест («от счастья счастья не ищут»), попасть в Америку, хотя был выбор — роскошное предложение кожевника Иосифа Ботмана «поработать в Мюнхене», где и музеи, и помойки, и тихо, и заказчики. Тирольский затворник более года употребил, добываясь «американского приглашения», а когда его получил от слависта из Калифорнии Игоря Мида, то застрял в Нью-Йорке, где «все как на Сретенке в 1927 году, — толкучка, и помойка, и школа высшего мастерства».

Город Нью-Йорк стал центром современного искусства и торговли, но В.Я. не принимал участия «в гонке», он, если хотите, вообще не художник, а рисующий инвалид с пособием в 350 долларов и талонами на проезд. Большая русская колония. Есть заказчики. Мясники. Кожевники. Мебельщики. Могильщики.

Торговец похоронными принадлежностями Владимир Смертенко, пораженный талантом Васьки-Фонарщика, — В.Я. привез с собой один-единственный «второстепенный пустячок», все пятнадцать картин (фотосъемка Ботмана, 1980 г.) были проданы в Авст-

рии! — заказал мастеру большую картину «Пышные современные похороны а ля Репин». Картина создавалась на заднем грязном дворе, среди памятников могильного зодчества, и художник быстро затосковал.

«У меня сорвано настроение!.. Вообразите себе Пушкина, сидящего в деревне за сараем и пишущего стихотворение «для берегов отчизны дальней он покидал сей край чужой», а бешеная собака, пробегая мимо него по грядкам моркови без разбора, на глазах у Александра Сергеевича с пеной у рта молча набросилась на соседского подростка, и тот визжа извивается, лежа на спине и отбиваясь от нее ногами и руками» (В.Я.).

Исполнитель устал. Неизвестно, какая бешеная собака его отвлекла от дела, но картина осталась незаконченной.

В Советской России, начиная с 1934 года, с первой пытки в «органах» художник прошел все круги ада, от психтюрьмы в Казани до унижительного подпольного образа жизни с приводами в милицию и остракизмом всемогущих академиков реализма. Его новые педагогические приемы изучали не в Академии художеств, а на семинарах по труду и гигиене душевнобольных людей. Официальная, консервативная, академическая гильдия, выжившая при всех политических режимах, считала его не художником, а проходимцем от искусства и валютным спекулянтом. В Москве, в тех же академических кружках, связанных родством и ремеслом, распространяли слухи, что В.Я. плохо приняли в Европе, — как будто они хорошо принимали! — и не выставляют в Америке! Выставочную деятельность, о которой так ретиво хлопчут академики, Васька-Фонарщик считал занятием пустым, нудным и ненужным настоящему художнику, публичный успех — опасной для творчества химерой и ядовитым вирусом на халтуру. Соот-

ветственно своим взглядам, которые можно оспаривать и уважать, он лениво, спустя рукава трудился в Нью-Йорке.

После похоронного эпизода («Василий проклял Смертенко, — утверждает Николай Яковлевич, — и отринул от себя») «жертву американской помойки» подобрал сибиряк Некрасов, художник и домовладелец.

Владимир Гаврилович Некрасов закончил архитектурный факультет Академии художеств, но, не найдя себе применения в России, в 1976 году с семьей круглолицых голубоглазых «славян» по «израильскому вызову» эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке, сколотив артель оформителей, быстро нажился, купил доходный дом в мрачном, но перспективном квартале, запустив туда бездомных земляков. Возник русский «остров» в американском городе, населенный поэтами, художниками, журналистами, ворами, проститутками.

В конце 1983 года В.Я., «в которого я влюбился в Вене» (В.Н.), начал рисовать для домовладельца В.Г. Некрасова картину «Столбы в степи».

«Любовью и усердием священного старания превратить в эпический гимн» (В.Я.).

Не глядя на грядущее увядание (68 лет), художник влюбился в квартирантку «некрасовки» Лерку Сусанину, намереваясь сделать из нее художницу и жену.

Картину он написал (год работы!), но с хозяином не ужился.

«Рисовал он с прохладцей, — вспоминает В.Н., — но с большим воодушевлением учил мою жену варить кашу, что выводило ее из терпения до белого каления».

Получив отставку придворного художника, В.Я. не порвал с обитателями «некрасовки». Питерский локомотив андеграунда, поэт и журналист высокой пробы Константин Кузьминский, снимавший нижнюю квартиру, возобновил квартирные показы с тор-

говыми оборотами, как бывало в питерском подвале. В нью-йоркском «подвале» Васька-Фонарщик занял место главного праздника, и ехидный Генрих Худяков, квартирант с «крыши», не смог его заменить ни по внешнему виду, ни по заслуженному авторитету самого старого шизофреника России. Благодаря неумной энергии К.К. в его подвале (осень, 85 г.) состоялся «фестиваль» В.Я. с показом его произведений и читкой абстрактной поэзии.

Холст «Телега» и рисунок «Жена», рисунки Лерки Сусаниной, подписанные учителем, и, конечно, коронный номер «Столбы в степи», собственность Некрасова, были с треском изъяты из воровской коллекции Александра Глезера (Нью-Джерси). Генрих Худяков показал расписные бисером мужские пиджаки и прочитал стихи по-английски, чем вызвал восхищение фарцовщика Вовы Каплунова, мечтавшего о больших деньгах. Постоянный посетитель «фестивалей» Белла Езерская высказалась лучше всех: «А с блаженного какой спрос?» («Русская мысль». 1985. 15 июня). Арендатор «подвала» Кузьминский, автор антологии русской поэзии в десяти томах, с весны по октябрь 1985 года делал с В.Я. «монографию» в шестьсот страниц, появление которой мы с нетерпением ожидаем.

Политические перемены в России, восхождение в Кремль «молодого» (55 лет) заслуженного тракториста М.С. Горбачева, объявившего народу алкогольную войну, основательно всколыхнули надежды на быстрое возвращение в свободную страну. Появились кружки поддержки, говорили об амнистии невинно осужденных. На жалких эмигрантских праздниках показались советские культтрегеры, ранее не замечавшие их существования. Часть людей, не нашедших себе места на чужбине, паковала багаж назад. Письма младшего брата Коли были полны оптимизма и фантастических

планов на будущее, в то время как В.Я. жаловался: «Периодически меня изнуряют невыносимые судороги ляжек от подколенки до дырки жопы, то одной, то обоих, пошел поссать ночью, схватила судорога, я взвился как ужаленный» (22 июля 1985 г.).

К зазывам Горбачева и брата Коли обитатель нью-йоркской «восточной деревни» (ист вилледж), трущобный эмигрант относился чрезвычайно скептически.

«Допустим, я вернусь в Новую Ракитню!.. Но ведь это можно было во времена земной жизни Иисуса Христа, да и то пришел бы кто-нибудь и спросил: “А ты откуда взялся?” А теперь? Поселиться на кладбище в палатке, но явится участковый милиционер, сын отпрыска Сереги Митюхина ай Петьки Офчуха, я сразу их узнаю по бандитским рожам, и полный допрос “часа на три” обеспечен».

«А свобода творчества — сидеть спиной к картине!»

«Я лентяй в случае немилой мне работы» (1987 г.).

Он умер, как заснул, 27 или 30 ноября 1987 года. «Его нашли в постели, лежащим навзничь и уже с явными следами тления, — освещает кончину своего соседа Нона Каток, — медики, приехавшие с полицией, определили, что смерть наступила от сердечного приступа во время сна».

Легальный приступ и несостоятельный маршрут.

Россия и ухом не повела.

Кто ты такой? Где золотая медаль? Где Нобель? Где валюта?

Патриотически настроенная Зана Плавинская с десятилетним опозданием (январь 1997 г.) в небрежной акварельной манере вымысла и кокетства поведала о «печальной кончине художника на чужбине».

«Дай Бог так умереть многим, — протестует Кузьминский, — после празднества с друзьями, у себя в артистической норе, от мгновенного сердечного приступа».

Дело не обошлось без глубокой мистики.

В 1992 году верный хранитель «американского архива» В.Я., тот же Кузьминский, предложил в свойственной ему торжественной форме, с пухлым досье подробнейших комментариев, в безвозмездный дар и на вечное хранение двадцать (20) картин «незаконченных» и восемьдесят (80) «второстепенных пустячков». Русский народ (Третьяковка, Русский музей, отдел частных коллекций) с брезгливой небрежностью дар отклонил!

Ситников — никто!

Не богач и никому не нужен!

Подумаешь, висит или лежит в американском музее! Запад нам не указ!

Отпрыски «Сереги Митюхина», «майора Васи», «рожи с парой шпал», «распределитель Пушкиреву» прочно сидели на своих исторических местах. У В.Я. Ситникова нет места в культуре. Он вне модных «измов», в антикультуре, в астральном пространстве, за кадром современной эстетики и полиции, со своим неподражаемым уникальным искусством. Как ветер, он рассыпал и разбросал по миру свое творчество, по квартирам анонимных частных, часто очень далеких от артистических кругов, в запасниках психбольниц, в западных музеях, а в России их считанные единицы.

Русское общественное сознание, несмотря на множество либеральных указов, остается глубоко реакционным, академическим и отсталым. Люди ненавидят западное искусство и презирают эмиграцию. Защитников дела В.Я. Ситникова и его замечательной школы «волшебной дымки» и «снегопада» просто нет, но они придут в большой силе и поставят все на свои места.

5. Выдвиженцы мистера Сотбиса

Русское искусство не знало мировой конкуренции.

Смелые опыты и упорный труд за школьной партией капитализм не принимал всерьез. Участие самых знаменитых, орденоносных академиков на так называемых «международных салонах» обходились без комментариев.

Корифеи русского реализма, подолгу жившие в Европе, В.В. Верещагин, Константин Маковский, Александр Иванов, Алексей Боголюбов, творили для «великой России», пользуясь приятным европейским комфортом.

Двадцатый век с его «пролетарской революцией» (1917) и «колхозом советских художников» (1934) закрыл дорогу в салоны и на западный курорт.

Рисовали тайком, под кровать.

Отличники советских академий, такие, как Дмитрий Жилинский, одной рукой рисовали монументальное «Купанье Красной армии», а другой обнаженных Адама и Еву. Им это сходило с рук. Они были у власти.

В начале мая 1987 года — ландыши, солнце, праздники! — мне позвонил академик Д.Д. Жилинский, «Димка» моей юности, рисовавший с меня в далеком 1957 году обнаженных солдат Красной Армии. Он привез мне письмо от Эдика Штейнберга.

Он — лидер международных смотров!

Димка, суетливо, под надзором своей дочки, в галерее Клода Бернара, где по стенам висели его «лобки» и «попки», — вот что тронуло парижского маршала в творчестве москвича: чистенький пенис (Адам), подстриженная пиписька (Ева), обнаженный солдат с крупными яйцами, — уверял:

— Валь, мы делаем все, чтоб Эдика выпустили за границу!

Вожак «семейного реализма» глазел на витрины буржуазных магазинов.

— Боже мой, какое убожество! Да они не умеют рисовать!

Тренированная дочка дергала отца за рукав:

— Папа, успокойся, ты не дома!

Русские братья изящных искусств умели рисовать «как бывало», передавая твердые правила мастерства от отца к сыну и внуку по традиции, давно прерванной на Западе.

В советской стране людей, рисующих для себя, называют «самодеятельными живописцами». Настоящий профессионал, член Союза советских художников, ничего не рисовал для себя. Он жил от заказа к заказу. На крепком мольберте возвышался холст с легким наброском углем, откуда просматривался заказной сюжет — «Перекур в колхозе», «Укладка железных дорог», «Тракторист на пахоте». Заказная работа с поездкой «на натуру», в колхоз (сливки и свежие девочки), во флот (пляж и пансионат), на завод (автомобиль вне очереди) и чаще всего с женой и детьми «подышать свежим воздухом». Затем ловкая кисть профессионала закрашивала холст, живописец получал немалый гонорар и ждал следующий заказ.

Нация, отлученная от красоты!

Давний «лидер международных смотров», поставивший на выставки тщательно упакованных спортсменов и космонавтов, в годы перестройки осмелел и выставил в Париже тайный труд многих лет — «ню» (обнаженка) в изысканных позах, с присутствием легендарного, библейского яблока.

Реализм вел художника по жизни, как звезда евангельских волхвов, но советские эксперты находили в невинных «ню» академика «порнографию чистой воды».

— В России полная свобода творчества, — горячился в Париже Жилинский.

— Папа, — дергала его за рукав дочка, — ты опять разболтался!

В гонке идей реализм Жилинского оттерли на задворки провинциальной культуры. Защищая свободу творчества, художник копал себе и себе подобным глубокую могилу. Опасные и безжалостные маргиналы подполья не знали, что такое приличие, а Жилинский был из «приличных», как в свое время его родич В.А. Серов, защищавший футуристов от казенной клеветы.

Придворного портретиста Серова считают, не думая о бессмыслице, «совестью русского искусства», хотя никто больше его не зарабатывал на портретах царской фамилии, богатых купцов и знаменитых балерин. Академик живописи, профессор всевозможных рисовальных школ, человек с солидными связями в обществе, проповедовал культ клана и семьи.

В течение десяти лет то же положение занимал Д.Д. Жилинский.

Большой академический словарь (1982) посвящает ему четырнадцать строк, столько же, сколько самым великим — Кипренскому, Мокрицкому, Венецианову. Он «автор портретов и композиционных картин».

«Пишу и рисую то, что меня окружает и что я хорошо знаю», — общими словами выражает свое кредо Жилинский.

Родился он в Сочи (1927) в семье столичных беженцев, не успевших улизнуть за границу. Происхождения самого высокого. Дед — генерал царской армии, бабушка — дочка знаменитой композиторши Серовой.

За него не давали взятки. Он с пеленок знал, в какие двери войти без звонка. Родня, Ольга Александровна Серова («Воспоминания», 1947) приютила

его в Москве. Главные профессора «изофронта» — А.А. Дейнека, Юрий Пименов, Андрей Гончаров — верные ученики В.А. Фаворского. Многочисленная родня за границей.

Его клан правил Москвой.

В 1957 году, когда я впервые увидел никому не известного молодого живописца, он жил на чердаке «дома Фаворского». Жена. Дочка. Пост в «Сурике». Ассистент Дейнеки по рисунку.

В его облике — бушлат, шлемофон пилота, лыжные штаны — было нечто ребячливое и показное. Он искал себя. Писал он круглыми, шетинными кистями портреты знаменитой родни, в духе Павла Корина, мастодонта монументального вида и строгой позы, но любил повторять, что обожает классиков былых времен. Это считалось благонадежным прикрытием. Я пытался вести содержательные беседы об искусстве, литературе, музыке, но всякий раз разговор срывался на ухмылки и мычание.

Вскоре я обнаружил, что не только Димка Жилинский, но и его близкие приятели скульптор Дмитрий Шаховской, женатый на дочке Фаворского, Иван Бруни, Илларион Голицын, Май Митурич тоже мычали вместо «родной речи».

Невежество советского «изофронта» основательно помяло им мозги. Наследники Шервуда, Серова, Фаворского иностранных языков не знали, чтение книг презирали и пили водку гранеными стаканами, закухивая рукавом, как рядовой деревенский мужик.

Эти дикари искусства, артисты ограниченных возможностей, были призваны заправлять сложной машиной семейного ремесла.

Жилинский писал огромную картину, размером с «Явление Христа народу», семь на три. На картине изображались голые солдаты, гнавшие в речку лоша-

дей. Центрального солдата он рисовал с меня, а его супруга Нина лепила из глины статуэтку. Их сосед, скуластый и копченый, как цыган, Шаховской, с угрюмым видом лепил из глины и тряпок инвалида без ног. Инвалид сидел на доске, упираясь руками в пол. И сейчас я не могу понять, зачем он лепил это чучело с таким остервенением.

В «дом Фаворского», как на богомолье, шли любопытствующие иностранцы и выпускники из школ. Часто хворавший художник всем одинаково говорил одно и то же: «Больше рисуйте с натуры». Студенты пытались высказать наболевшее, сбивались от смущения и быстро смывались не солоно хлебавши.

Дмитрий Жилинский успел побывать за границей в кругосветном путешествии. Видел дядьку в Бейруте и тетку в Париже. Рассказать, что такое за граница, он не мог и не хотел.

Западный бизнес искусством, заправили ярмарок и месс, в чьих руках слава и деньги, открывая либеральную Россию «Горби», продвигались там на ощупь, как в африканских джунглях. Знающие гиды очень ценились иностранцами, не знавшими, куда сунуться.

Открывая секретную Россию, иностранец сразу попал в кабинет Дмитрия Жилинского. Неписаное адресное бюро не перешагнуть. Его не избежал и парижанин Клод Бернар. В отличие от бюрократов былых времен, Жилинский знал все подполье поименно, от Бориса Свешникова до «Мухоморов» Никиты Алексева. Он не говорил, как бывало, «такой в художниках не числится», а направлял любопытного иностранца по верному адресу. Эта мудрая предупредительность лепила из него защитника гонимых и несчастных. Он знал, что Эдик Штейнберг — чужой, но интересный художник. Он листал не только газету «Правда», но и журнал И.С. Шелковского «А-Я», изданный в Париже.

Гуманист Жилинский спасал оригинальные таланты от забвения, как когда-то от тюрем и голода спасал людей Максим Горький.

* * *

Юрий Купер был прав, в Москве прятались артисты высокого полета. Парижский маршан Бернар раскрутил московские связи до предела. Академик Жилинский представлял известный интерес тонкой разработкой мужской натуры. Клиенты Бернара ценили такие эстетические опыты, но главным открытием был никому не известный затворник Эдик Штейнберг, рисовавший геометрические картины не хуже Казимира Малевича.

Эдик был мой старинный друг. Мы сошлись на берегу Оки, летом 1959 года. Я рисовал с лодки расцвет, а он рыбачил рядом. Рыбак изрек: «Ну, прямо Матисс!» Вечером, в тот же день, мы пили перцовку в его конуре.

Рыбак рисовал и знал наш словарь. Его картинка «Дворик» стояла на мольберте в углу, как алтарь в часовне. Весь в чрезвычайном ремесле, весь в прелести совершенной, ручной работы.

Мы (Каневский, Вулох, я) покачали головой и выпили за будущее рыбака в болотных сапогах.

Эдик шел вторым по счету сыном литератора и художника Аркадия Акимовича Штейнберга, оттянувшего два срока по политической статье, пока в 1955-м не осел в Тарусе на жительство. Однажды навестив отца, Эдик сошелся с местной девицей и надолго застрял в Тарусе. Тарусянка родила дочку Женю. Эдик кормил семью на скудное жалованье кочегара и рабочего рыболовной артели.

От отца, общительного, как публичный фонтан, Эдик унаследовал знакомства, поражавшие меня

своим демократизмом. В отличие от «дома Фаворского», где жизнь текла по древнему расписанию, в его мире царил веселый анекдот и бесшабашный быт богемы. Я храню вечную благодарность за знакомство с «китайцем» Ленькой Харитоновым, доктором Александровым, лечившим нас от триппера, инженером Микой Голышевым, приютившим меня в зимнюю стужу, за дом Н.Д. Оттена, где я был не безмолвный натурщик, а равноправный краснобай, как все, за помощь К.Г. Паустовского, устроившего выставку в 1961 году и множество выпивонов, где мелкие склоки пролетали, как тополиный пух, в ореоле перцовки и пельменей.

Я пригнал к Эдику целый косяк «вгиковцев» и устроил первую продажу картин в 1964 году, пригласив американца Роберта Коренгольда с женой. После ряда молодецких браков Эдик бросил якорь в уютном, однокомнатном райке Гали Маневич, моей сокурсницы по ВГИКу.

Мы часто виделись и пытались вместе работать в книжном деле. Зимой 1967 года выставлялись в рабочем клубе «Дружба». Потом сломали его родительский барак на улице Гиляровского и годы жили своими заботами, изредка встречаясь в людных и шумных местах, где не посидишь и не потреплешься.

В 1975 году я улетел на Запад, а Эду было нелегко. Он не лез в грязь «дипарта», а, по словам его верной подруги Гали Маневич, «жуликов мы гнали в шею». Парижская тетка Дина Верни не заметила его поразительно колоритного «диалога с Малевичем», пепельные деликатные композиции совершенного мастерства.

Казимир Малевич в моем сознании размещался на полке русского футуризма, там, где стояли Хлебников, Филонов, Крученых. Все футуристическое хозяйство в три-четыре ряда, от потолка до полу малога-

баритной квартиры-хрущобы, охотно показывал грек Костакис. Мне и в голову не приходило, что оттуда можно что-то стащить и выдать за свое, тем паче с примесью недоступной мне «космической мистики». Лично я оглядывался на повадки западных современников — Де Кунинга, Руо, Явленского, — известная линия «красильщиков» и «мазил», идущая из пещер неандертальцев без особого прогресса.

Урок прямого действия.

В конце 1975 года мне позвонил писатель Марамзин и сказал, что у него есть письмо от Эдика Штейнберга. В письме был новый московский адрес, где я никогда не был.

«Марамзин притащил твои чудные деревенские фотографии — сытая собака под столом, артист в халате, мужик на крыльце, старые бревна», — подтверждал я получение памятных фотографий.

Наша переписка, с непонятными провалами на год или два, тянулась более десяти лет. Я из кожи лез вон, чтобы написать толково и красиво. Иногда это получалось.

— Мы читали твои письма, как Библию, — сказал мне Илья Кабаков при встрече в Париже. Эдик носил мои письма на читку «Сретенского чердака», где собирался актив подполья.

Перестройка прекратила эпистолярный жанр скользкой информации. На разведку в «мир зла» кинулись десятки галерейщиков и банкиров. На хороший счет попал десяток московских новаторов, среди них оказался и Эдик Штейнберг.

Парижанин Бернар забрал картины Э.А. Штейнберга.

У нищего друга появились выставки и деньги.

Нищий фанатик рисования стал богачом.

* * *

Высылая на Запад целый косяк русских уродств, ни озверевший Кремль, ни малохольный А.Д. Глезер ничего не заработали, ни валюты, ни премий. Коренник диссидентской операции, «Лианозово», как старая кляча, воз не тащила. Его Величество Капитал с большим подозрением встречал дикие выходы эмигрантов, таскавших по улицам «гроб Малевича». Нищим эмигрантам, носившим на спине все свое имущество, ворчавший «дядя Жора» Костакис твердил: «Голубчики, Сережа (Есяян) и Игорь (Шелковский), лучше рисуйте, а не таскайте чужие гробы!»

Парижская тетка Дина Верни скромничала, считая выставку Ильи Кабакова — 14 июня 1985 года — «убыточной для кармана». Типография московского новатора была ослепительной для любого рынка сбыта, и будущее показало, что галерейщица победила по всем фронтам.

Пришло время черных цыплят!

В программной статье «чердака» (Литгазета, 1987. 19 авг.), а по существу, манифесте «черных цыплят» автор И.И. Кабаков боязливо прячется за «мы» — «мы посмотрим», «от имени всех», «мы еще должны осознать», «мы дети одной эпохи» — хотя между строк читается — мавзолей на вилы, бля! Конспиративный ликбез кончился.

Советский мусор выше Лувра! — так храбро решил Илья Кабаков.

На пробу взяли двух корифеев подпольной эстетики, Эрика Булатова и Илью Кабакова, «черных цыплят» советского изофронта. И тот и другой экзамен выдержали. Их выставки пошли по музеям Европы.

Сговор врагов народа!

В генштабе коммунизма, где крохоборство мирно уживалось с космической показухой, решили прикарманить цыплят валютного рода. Игра стоила свеч.

Правоверные лакеи «соцреализма» оказались убыточной лавочкой в 22 тысячи ртов, не считая жен и детей. Конечно, все эти «Мухоморы» подполья — порядочное говно, на отстрел пуль жалко, но валюта идет к ним, и надо умело направить ее в нужный карман. Оборонительная позиция Академии художеств предполагала публичную дискуссию о размывании берегов «вечного реализма», а маргиналы валютного подполья просились за границу.

«Смеховая культура черных цыплят» (Кабаков) держала в руках настоящие деньги.

Пораженная эмиграция молчала, набравши в рот воды.

Закройщик Лимонов воевал со славой Бродского, а не с парижскими бульдозерами. Издатель Толстый вел огонь по своим. Учитель Мамлеев мечтал о больших тиражах. Расчетливый и жадный Запад ничего не обещал, хоть разбейся в лепешку, а в России он пролез на славу. Прославился и соблюдавший сезонные литературные моды Лимонов, лихо предававший своих покровителей.

Заново перекрещенный Ленинград впустил художника Шемякина. Его ободрали как липку, но выдали гвардейский вымпел за упорство.

Главное — обессмертить свое имя.

Слава любым путем!

«Главное — удивить, чтобы меня запомнили», — вещает Лимонов.

Эти герои нуждаются в медицинском присмотре. Ведь воздушные пираты нашего времени (11 сентября 2001 г.) — не преступники, а мученики Ислама. Их имена не запретишь, как запретили Герострата. «Мы живем в честное время, — долдонит Лимонов, — и невозможно скрыть героев потрясающих перформансов!»

Свалить пару небоскребов не каждому «нацболу» по плечу, но об этом можно помечтать.

Часть одиннадцатая ДРУГОЕ ИСКУССТВО

Прости меня, моя страна,
За то, что я кусок говна.
Михаил Каплан, 1965

1. Личное дело дурака

1988 год — год круглый и особенный.

Тысячу лет назад нас крестили, приобщив к новой цивилизации. Протоптали «Путь из Варяг в Греки». Сильнее и пышнее Царьграда стран не было в 988 году. «Несть бо на земле такова вида, ни красоты такая», — доносили русскому князю послы.

Роскошь византийского двора. Торжество обряда и чиновничества. Вид и красота городов и церквей. Святая София невиданных украшений.

Отстающий, равняйся на передовика!

Сначала крестились князья и знать. Потом загнали в речку народ и крестили силой во имя Святой Троицы.

Советская перестройка внесла заметное оживление в тихое болото эмиграции. Готовиться к торжествам «Тысячелетия» начали года за два до означенной даты. Архиепископ Владимир Ростовский, иерарх московского подчинения, принял делегацию деятелей культуры, предлагавших устроить совместный фестиваль, посвященный знаменательной дате.

Не знаю, за какие заслуги, но меня князь Борис Голицын включил в состав делегации. Он знал, что мне хотелось вложиться в дело картиной и побывать в новой России на торжественном Поместном Соборе.

Русская патриархия объявила конкурс на участие мирян на Поместном Соборе в Загорске. Я заполнил вопросник и через два-три месяца увидел объявление в газете, что получил вторую премию и бесплатный проезд в Загорск. Вторая премия означала лучший показатель специальных знаний, но ни приглашения, ни билета мне не прислали.

Приехавший в апреле журналист Дудинский сказал мне:

— Старик, ты их прости!

Дунь, плюнь, на сатану!

Библейское созидание мира в шесть дней всегда поражало мое воображение. Какая сила и артистизм Создателя Вселенной, какое мастерство одним махом вылепить из грязи красавца Адама, без переделки и поправок.

И «увидел Бог, что это хорошо!».

Дар Божий по наследству получил сам Адам и Ева-Хайка?

Грязный, вшивый и сильный Адам рисовал в пещере бизона, а Ева лепила из глины горшки. Несмотря на гнев Всемогущего Архитектора Вселенной, они долго жили в трудах и поту. В 130 лет стареющий Адам умудрился родить еще одного сына Сета, передав ему страсть к рисованию углем.

Рисовать древесным углем я начал с шести лет, как только пошел в школу.

Мое видение мира образовалось, претерпевая всевозможные преграды в виде «школ», «институтов» и «измов». К имитации божественного опыта я тянулся постепенно и с увлечением. Любую вещь я старался сделать сразу, в один присест, словно за мной шел по-

топ. Я хорошо видел, когда вещь получается или гибнет в переделках и далеко от совершенства. Я ценил мнение достойных коллег, но и знал, что настоящую ценность расставляет время, когда вещь обкатана в эстетике эпохи, а все прочее испаряется как утренний туман.

Икона северных писем с всадником на вороном коне из собрания писателя А.Д. Синявского мне снилась по ночам. Я решил сделать всадника по-своему и назвать его «Победоносцем». Удивленный «светлейший» князь Борис Голицын, поглазев на моего вояку, сказал:

— Нет, это не Егорий! Где же пика? Почему он замахнулся топором?

— А пика уже пошла в дело, — отвечаю, — он воткнул ее в пасть идолища.

Несмотря на живописные качества и черного коня, моего «Егория» Москва не приняла, считая композицию не канонической, а возможно, и еретической.

В июне настало время парижского фестиваля, но богатая советская Патриархия и не чухнулась, чтобы связаться с парижскими прихожанами. «Републик франсез», давно отделенная от религиозных конфессий, и особенно от малопонятного православия, не выдала обыкновенного камня для гравировки юбилейной даты.

Да, обидно и за державу, и за патриарха, и за республику!

— Как уехать из провинции? — спросила меня художница Лида Мастеркова.

— Не уедем, пока не сменим «кириллицу» на «латынь».

Может быть, нас неправильно крестили князя?

Я не занимался изнурением плоти, не ломал казенных стульев, отдавал долги и давал займы, но почему мне тоскливо?

Да, Россия в говне, но я тут при чем? Я не качал права и не выл на перестройку, но я хотел попасть на Поместный Собор.

«Контрреволюционный комплекс у душевнобольных», о котором говорили большевики? Травля реакционных кругов, что ли?

Меня успокоила Галя Маневич, приехавшая в 1988 году в Париж.

— Валь, ты разучился жить по-русски!

Действительно, часто забываю, что «все русское — дым», как сто лет назад предупреждал всечеловек Иван Сергеевич Тургенев.

«Психбольной инвалид с детства», но я не прошу медикаменты в Политбюро!

Опять наебли, сволочи! Я посмотрел на себя со стороны, как учил буддист Кулаков. Все правильно — нужны деньги, и немалые!

Раньше было быть — значит рисовать, а теперь быть — значит иметь!

Живопись — познание самого себя, и гимнастика, и медитация, и средство общения с внешним миром.

Я научился думать картиной. Решительно все живое и мертвое, прошлое и настоящее, мое и чужое слагаются в картину.

26 марта 1988 года мне позвонили из парижского отеля. У телефона стоял «черный цыпленок» искусства, Эдик Штейнберг.

Мой друг в Париже!

Благородный квартал шмоток и антикваров. Отель «Ленокс» был мне знаком. Я пил там чай с Купером. Три звезды. Сто долларов в сутки. Оплачивал Клод Бернар, вызвавший Эдика в Париж. Десять лет спустя «привет, старик» и крепкое объятие. Такой же весельчак и курильщик. Его жена, Галя Маневич, чуть устала от переездов и впечатлений, но та же блажен-

ная улыбка. На широкой постели возвышалась валютная пирамида. Вокруг суетился добровольный помощник с протертыми локтями. По дырам дорогого пиджака я определил, что этот полиглот из семьи немецких богачей, служивших еще в «Третьем рейхе».

Интересное капиталистическое начало.

Явился молчаливый лакей с подносом ледяной водки и закуской. Хлопнув стаканчик, Эдик шепнул мне доверительно в ухо:

— Я черный цыпленок, а живу в отеле с тремя звездами, а ты живешь в центре Парижа, а в 1959-м, «бородка», ты мог себе это представить?

Пришел друг Женя Терновский.

Мы рассмеялись и выпили за встречу.

Моя сокурсница Галя, дочка профессора Жози Маневича, отлично знала московское подполье, но по объективным причинам — прочное семейное положение, достатки во всем — никогда не спускалась на дно. 20 лет она кормила бездоходного мужа, и политические перемены играли в их сторону. Коммерческая связь с парижским маршаном казалась прочной и обещающей. После первых встреч в Москве Штейнберги решили работать с ним, а не рваться на большую славу в постановке Ильи Кабакова, вызывающей дурацкий смех.

Наш земляк Василий Кандинский не дотянул пяти лет до своего коммерческого триумфа. Он скончался никому не известным эмигрантом в 1944 году, за тарелкой постного супа.

На наших глазах Капитал украл искусство у народа.

Современный артист в погоне за быстрым успехом работает под руководством Капитала, а не с безымянным зрителем из толпы. Его творчество строится по отношению к рынку сбыта. Базар международных воротил, законодателей новой моды — единственный зритель, покупатель и содержатель.

Невиданные блага «сладкой жизни» ломают психику слабонервным созидателям. Рекорды цен стали всеобщим шаблоном для начинающих и одаренных к искусству людей. Выдвижение артиста к потолку мировой славы осуществляется без спроса виновника, в салонах нефтяных королей Америки, немецких шоколадников и японских банкиров.

Русский успех — подвиг на выживание и изнурительную пытку конкуренции. «Да, — говорит Его Величество Капитал, — мы знаем русских, покоровших мир, — Дягилев, Шагал, Малевич, Кандинский, но где новая пластика, где новые чудеса?»

Живописные чудеса Эдика Штейнберга назывались — «диалог с Малевичем»! Ясно?

Штейнберг не живописец, а «картинщик».

Что это значит у него?

С тех пор как он вошел в «диалог с Малевичем» (начало 70-х), кстати, один на всю Россию, если не считать пару геометристов скорее западной выучки — Леонида Борисова и Юрия Желтова, — художник не рисует, а строит картину как театр. В ней нет случайной игры мазка и потеков, трехмерной глубины и планов. Вечные статисты искусства — земля, небо — присутствуют в условном, линейном виде. Врожденный дар к цветному разнообразию позволяет варьировать композицию до бесконечности, передвигая два-три геометрических элемента классических очертаний — крест, круг, овал.

Творчество «картинщика» геометрического направления обнаружил парижанин Клод Бернар и поставил на постоянный, доходный «конвейер». С 1988 года Эдик Штейнберг не знал, что такое бедность.

В детстве я любил материнские деньги, распрямлял их, нюхал, собирал в пачки по размеру и качеству. Позднее этот бумажный мусор потерял притягатель-

ную силу, я охладел и не мурлыкал даже над зелеными долларами с портретами отцов Америки.

Таких наличных денег у меня никогда не заводилось, и волшебная пирамида замызганных франков меня совсем не тронула. Эдик и Галя опоздали удивить меня на 25 лет. Разделить восторг моих друзей я не мог и лишь неловко ухмыльнулся, вместо восторженной пляски.

Раньше я поклонялся Маммоне, а теперь только Богу.

Я говорил с Богом, а не с Малевичем.

— А как там с Крещением Руси? — напомнил я друзьям, не забывая, что здесь церковь отделена от государства.

— Примерно то же самое, — сказал Эдик. — Праздник сожгли в крематории в присутствии горстки удивленных иностранцев!

Эдик рассказал о смелой советской женщине.

На седьмой съезд СХ СССР, или «высший форум советского искусства», как его величают официальные обозреватели, пришло письмо анонимной гражданки с вопросом «Где купить абстрактную картину?». Обалдевшие защитники «вечного реализма» завопили на съезде: «Нас отправляют на панель Арбата!»

Устав Академии художеств не предусматривал плюрализма в искусстве. Академики считали, что пестрота в семье приводит к чудовищной конфронтации.

Советские дельцы цены на академический товар ставили «от фонаря», по настроению дежурного свояка. Получалось, что «братья Васнецовы», «братья Ткачевы», «братья Никоновы», «братья Тоидзе» давно жили при коммунизме в Риме и Пицунде, не обращая внимания на суровые законы мирового бизнеса. И вот элита убежденных приспособленцев и отчаянных тунеядцев в 1988 году с треском развалилась.

Мировой капитал бессердечен. Ему наплевать на язву Иллариона Голицына и цирроз печени Дмитрия Шаховского.

Артистическое подполье, возникшее на рубеже 50-х годов, никогда не составляло единой секты заговорщиков, а скорее было сбродом противоборствующих кружков. Миф о духовной и физической слабости андеграунда раздували платные агенты «вечного реализма», академики и бюрократы официального «изофронта». Подполье обладало самостоятельной связью с Западом, сыгравшей немалую роль при перестройке рядов.

Еще в 1985 году мой друг Эдик Штейнберг плакался.

Он был никто, потому что не состоял в «организации».

Через два года Э.Ш. уже состоял в ней и выставился в Париже, в той же галерее, где и академик Дмитрий Жилинский, не считавший его за художника еще два года назад.

Я научился ржать над собой и дразнить других.

Дорогим московским друзьям я показал самое ценное в Париже — артистические скваты Рене Струбеля и Майредека.

Парижский андеграунд хладнокровно приглядывался к советским переменам.

— Мы люди дна, а истина на дне! — сказал анархист Струбель, разливая по стаканам лиссабонский портвейн.

Покровитель скватов Гариг Басмаджан выдохся. «Совки», хлынувшие на Запад, разрушали привычную систему связей, торговые устои, проверенные временем. Он пил по-черному и проклинал непонятный «русский народ», умом который понять совсем невозможно.

Вечером я и жена простились со Штейнбергами и улетели в Тунис, где нас давно ждали.

2. Дети разных народов

О, Индия, страна слона и поноса!

Об Индии я мечтал давно, со времен тверского купца Афанасия Никитина, написавшего: «А обезьяны там ходят ночью и крадут кур, и молятся каменным болванам, а Христа не знают, да еще яства у них плохие».

Да, там Бог леса не сравнивал. Один с круглым пузом спит, а другой, качаясь от голода, стоит под дождем. Черные поросята и святые коровы. Подлое поведение Великобритании — наворотели и смылись.

Жена устроила мне поездку в честь пятидесятилетия. Еще вчера я не мыслил, что сяду на слона 9 июля 1988 года.

* * *

Мой союз с Басмой держался на выпивке. Мы вместе пили дорогой коньяк «Наполеон», дымили кубинскими сигарами, оставаясь чуждыми друг другу. Басма постоянно выжидал, как индийская кобра, чтобы прыгнуть и куснуть. Я приносил ему картины для выставок, свои и чужие. Он их спускал в подвал на случай ближайшей выставки в Германии, Англии, Америке, и вещи навсегда исчезали с ответом: «Старик, все о'кей!»

Басмаджан постоянно покупал картины москвича Вейсберга. Как бутылку водки к банке протухших клек. Один Вейсберг и десять академиков. Не надо было быть «инженером человеческих душ», чтобы видеть, как армянин бьется как рыба об лед, вылавливая с парижского тротуара случайных покупателей.

Он никогда не выходил на большой капитал.

Пожилого и полулегального Вейсберга в Париж не пустили. За час до открытия (1984) выставку посетил советский консул Сакович, он заглотив рюмку водки и смылся до наплыва посетителей. На вернисаже давились русские и армянские алкаши. Анри Шурдер пугал гостей крысой, распятой на кресте. Уличный портретист Любушкин без позволения галереи торговал разноцветными портретами.

Несмотря на представительный каталог и афишу, парижская пресса обошла гробовым молчанием столь редкое событие. Белоснежный мир геометрии спустили в подвал. Владимир Вейсберг скончался 2 января 1985 года, накануне его выставки на лондонской ярмарке. Басмаджан поставил очень низкие цены, что опять вызвало рассуждения о профессиональной непригодности галерейщика. Эта версия стала догмой в московских кружках, и один за другим видные деятели «нонконформизма» отказались от встреч с парижским армянином.

Не менее эзотерическим было его покровительство международной богемы парижских скватов, заранее обреченных на нищету и небытие. Кажется, в этой благотворительной акции богемное сердце армянского поэта брало верх над холодными расчетами торговца антиквариатом. Многочисленные скептики, в их числе и великая галерейщица Дина Верни, не раз пророчили быстрое крушение магазина, но он продолжал держаться и богатеть. В таких случаях завистники и баламуты распространяли слухи, что «агент Кремля» вновь получил оккультные суммы для безнадёжного бизнеса. Ядовитые сплетни, обрастая «армянскими анекдотами», доставляли Басме и его близким довольно неприятные моменты.

В 1988 году большая выставка, приготовленная для Москвы и Ленинграда и представлявшая главные

сбережения галереи: Боровиковский, Айвазовский, Левитан, современная шушера, — закончилась катастрофой. Нонконформистский товар был уже известен русским столицам по легальным выставкам «профсоюза» и кооперативных ларьков, а последние опыты эмигрантов совершенно не интересовали амбициозную и завистливую элиту России. Либеральные перемены в стране внесли сокрушительную разруху в хорошо отлаженную торговлю русскими древностями. Появление на западных аукционах множества дешевых икон, «фуфляков», бесчисленных изображений «русских церквей» и «обнаженки», находивших сбыт в достаточно зажиточном и консервативном слое общества, повергли левантийца в смятение. Он не сводил счеты с выскочками дешевой торговли, а много пил, как накануне Армагеддона.

Еще в Лондоне, зимой 1985 года, Басма, ослепленный моими связями, — Костакис, Коренгольд, Виктория Миро, — предложил мне составить компанию в галерейном бизнесе. Вложиться в дело и получать десять процентов барыша. По моим подсчетам, я мог таким образом подкармливать свое бездоходное искусство. Посоветовавшись с компетентными людьми, я принял рискованное предложение. За первый вклад в 20 тысяч франков я буквально через сутки получил 22 тысячи, а когда он попросил задержать деньги на срочную нелегальную покупку, я охотно оставил деньги.

Весь 1987 год, за вычетом летних каникул, я аккуратно получал от него мелкие наличные деньги, но наступил 1988-й, и я напомнил ему о процентах. Мешая русские и армянские слова, Басма нагло заявил: «Какие деньги, женжурук, я тебе все выплатил!»

Я чуть не поперхнулся от наглости напарника. У меня и задней мысли не появилось, что так грубо и хладнокровно можно меня надуть. Циничный и хит-

рый собутыльник распоряжался моими деньгами, как своими, думая о своем благополучии. Басма просто и подло обвел меня вокруг пальца, как самого последнего дурачка, но поправить положение я не мог. Слава Богу, я получил свои деньги частями. Он возвратил их мне как проценты с бизнеса. К счастью, у него не хватило духа вообще отказать мне в должке. Присутствие видных лиц за моей спиной несколько охлаждало пыл мелкого жулика.

— Не я, а ты мне должен! — бурчал Басма. — Бутылка коньяку стоит пятьсот франков, а ты их сколько выпил?

Мы жили не очень дружно с самого начала. Постоянно цапались, потом он содержал секретаршу, гитариста Путилина, реставратора Павловского и уборщика Зарэ, а если прибавить аренду роскошной квартиры, то на содержание штата уходила кругленькая сумма.

Грубо порывать с ним, хлопнув дверь, не было никакого смысла — в подвале стояли мои картины, графика Лидии Мастерковой, картины Немухина и Кулакова из моих сбережений, но встречи я сократил до официальных приглашений, когда отсутствие рассматривалось как разрыв отношений или оскорбление.

Аукцион «Сотбис-88», ловко организованный для обеспечения горбачевской перестройки из карманов звезд поп-музыки, Басма проспал с московскими блядьми. Его заключение было однозначным: «Это не торги, а политика!»

Известная коммерческая операция, организованная торговым домом «Сотбис», внесла невообразимую смуту в ряды советских художников. Впервые за двести лет на отборку произведений не позвали Академию художеств, что означало открытое вмешательство иностранного капитала во внутренние дела суверенного государства.

Знаменитых братьев изящных искусств туда не пустили. Товарную обойму составляли никому не известные прощелыги без роду и племени, годами работавшие под кровать: Бела Левикова, Сергей Волков, Евгений Захаров, Евгений Дыбский, Николай Филатов, Аркадий Петров, Юрий Дышленко, Гришка Брускин, Илья Кабаков, Эдик Штейнберг и подобная им нечисть андеграунда.

Это не перестройка, а катастрофка!

В декабре 1988 года любимую Армению больно ударило землетрясение. Соединяя сердечное с полезным, Басма в кратчайший срок организовал большой аукцион в пользу пострадавшего народа. Знаменитый бард Шарль Азнавур, представлявший благотворительную акцию, собрал пять миллионов франков, но куда попали эти средства, в руки пострадавших армян или в карман Московского Кремля, я не знаю.

В тяжелые дни траура Басма не просыхал. Он легко выпивал две бутылки водки и никогда не хмелел, хотя раздражение и обиды то и дело давали себя знать.

20 мая 1989 года на вернисаже великого армянского ваятеля Эдварда Кочара он больно двинул по уху пожилому изгнаннику Стацинскому, рискнувшему предложить «руку и сердце» его сестре Вортух, приехавшей на стажировку из Америки.

— Посмотри на себя в зеркало, — всплыл галерейщик, — ты не жених, а бородатый козел!

В Шестой Части Света всегда пропадали люди, без суда и следствия, тихо и навсегда. На сей раз новым было то, что об исчезновении «французского гражданина Басмаджана» сообщили советские газеты. Я не верил своим глазам, читая ответы ответственных генералов на вопросы уголовной хроники. Митингующая Совдепия спешила вступить в Интерпол. 31 июля 1989 года, по истечении визы, Басмаджан не вернулся в Париж. Бригады сыщиков, предвкушая

красоты «европ», сочиняли самые фантастические сценарии преступления.

Виднейший создатель «барачной поэзии», человек, посвященный в торговлю древностями, великий поэт Игорь Холин, посетивший город Париж, не моргнув глазом, решил судьбу армянского галерейщика:

— Басмаджана убили и сожгли в котельной!

Это был глас знатока.

— Больницы и морги мы контролируем, — заявил генерал Трушин, руководящий розысками парижского бизнесмена.

До контроля московских котелен и глубоких колодцев дело еще не дошло.

3. Смерть дорогого тестя

В Брянске мне снились египетские пирамиды.

В школьных учебниках попадались бледные рисунки с изображением Древнего Египта — лицо в профиль, а плечи в фас.

Кое-что я вычитал в Библии:

«И поставили над сынами Израиля начальников работ, чтобы изнурять его тяжкими работами, и народ построил фараону Пифон и Рамзес».

О могуществе современного Египта у меня было невысокое мнение, особенно после его разгрома в Синайской пустыне 1967 года. Боеспособность потомков фараонов оказалась не на высоте перед многочисленными евреями. Значит, Египет — это пирамиды, построенные еврейскими рабочими.

25 октября 1989 года, в каникулы Всех Святых, я и моя жена вылетели в воображаемый Египет, основательно подкрашенный чтением туристических буклетов.

О таком раскаленном от зноя красном небе нигде не сообщалось, ни в Библии, ни в проспектах. В гус-

той пыли стоял тощий солдатик с берданкой в руках. Да, с таким не повоюешь. Значит, несчастные евреи пятьсот лет месили глину и таскали камни. Теперь никто не месит, и дома стоят недостроенные. Внизу живут, а наверху пасется коза. Для туристов есть все — отели с горячей водой, танец живота, освещенные развалины долины Царей, парусники на Ниле, царица Нефертити с длинной шеей, пирамида Хеопса и Сфинкс с отбитым носом.

О коптах, исповедующих Христа, прямых потомках фараонов, я ничего не знал. Я их смешивал с греками, застрявшими в Александрии. Их фаюмские портреты, предназначенные для покойников, были форменным откровением, очень плохо представленным в Европе.

Русские дикари не верили в воскресение душ. Их культура захоронения покойников близка индусам. Покойника сжигали на дровах, а пепел бросали на удобрение. Никаких исторических некрополей!

Египтяне уже пять тысяч лет назад похороны превратили в искусство и культ. В подземном царстве жизнь ничем не отличалась от земной. С необыкновенным совершенством их хирурги потрошили мертвых от мозга до последней кишки и отправляли в «дом вечности» в красиво разрисованном саркофаге. Фаюмские портреты не что иное, как изображение покойных египтян с достоверной точностью. Рассматривая великолепные лица египтян, я заметил много бородачей в безбородой цивилизации Египта. Не знаю толком, что это за люди — греки, римляне, евреи? — но черты их лиц значительно отличаются от лиц коптов или черных африканцев.

Фас человеческой красоты. Крокодилополис!

А вот и рожи земляков, брянчан!

«Того же лета (1309) окаянные татарове ворвались в беззащитный Брянск, устроили повальный грабеж, потом подожгли его, а пленных увели с собой».

Я выяснил, что «мамлюки» (вояки), правившие Египтом пятьсот лет, это русские мужики, проданные монголами в рабство. Они отличились в Турции, Сирии, Египте, Ливии. Если бы в рабство попал брянчанин Александр Пересвет (1350), то стал бы не монахом, а султаном.

В моем послужном списке появился и Египет.

Теперь и «мамлюки» мне родня.

Из Египта я вывез сильный созидательный заряд, хвативший мне на год, если не больше.

* * *

Тесть высыхал на глазах. Высыхал и умирал. Я его поднимал с постели без всякой натуги, как обыкновенную табуретку. Отец двух замужних дочерей и двух женатых сыновей. Счастливый дед шести внуков. Философ и садовник. Становой хребет мировой юстиции. Кормилец и поилец. Профессор Рене Давид.

Я к нему привык и притерся.

Солнечный Прованс и поселок Толоне. Буйство сосновых лесов, камни Святой Виктории и свирепый ветер мистраль.

Как всякий нигилист, выросший на перекрестках утопий и разрушений, зараженный захолустной гордыней, я не подгонял события, а ждал, что получится с моей жизнью. Такое правило вполне отвечало внутреннему ритму кривой жизни.

В Провансе, в доме тестя с большим, нетесаным камнем посредине жилья, я красил никому не нужные вещи. Большие, средние, маленькие. Тесть делал все возможное, чтобы свести меня с нужными людьми, протолкнуть на выставки. В декабре, под Ноэль, мы вместе сажали деревья. Посадку обставляли как детский спектакль. В питомнике закупали саженцы,

затем долбили ямы в каменистой земле и в присутствии детей ставили деревья, поливая их водой.

В дикую летнюю жару мы многолюдно поднимались в горы, в Южные Альпы, к высокогорному поселку Бриансон. Название звучало как Брянск, и такое совпадение меня сместило, потому что ничего общего между ними не было, кроме пяти букв. В горном тупике, в крестьянском доме «мосье» Жана Паскале, сдававшего по дешевке комнаты, мы ночевали, а днем прыгали по горным вершинам до полного истощения.

Отчаянный ходок, тесть не пропускал лета, чтобы не забраться на гору Гран Ареа в три тысячи метров высотой. До восьмидесяти лет он купался в ледяной воде и спал на земле, положив под голову камень. В еду ему хватало краюхи хлеба и кружки воды.

Белоголовый, ясноглазый, вихрастый, как подросток, он в моем представлении в точности походил на модель ученого, искателя и полиглота, живого и любознательного, общительного и открытого самым новейшим идеям.

Что я о нем знал?

Рене Давид родился в Париже в 1906 году, в семье юриста. Школа с отличием и юридический факультет Сорбонны (1922—1929), когда образуется кружок верных друзей: братья Жорж и Роже Дернисы, сын Александра Мильерана Жак, единомышленники по «сервис милитер» — Феликс Ролле, Шарль Бо. В полезных «стажах» — Австрия, Англия, Италия, он овладел в совершенстве языками этих стран и обзавелся новыми знакомствами. Получив место профессора правоведения в Гренобле, в 1937 году он женился на Элен Лаббе, внучке знаменитого хирурга и не менее известного префекта Парижа Луи Лепина. Венчались они в деревне Корде, в Нормандии, в родовом поместье невесты, а 25 апреля 1938 года в Гренобле родилась первая дочка Анна, моя будущая жена.

Чувство свободы и патриотизм тестя были исключительно высокого накала, на грани смертельной опасности. Убежав из немецкого плена (1941), он не застрял в униженной Франции, а, рискуя жизнью, пробрался в Алжир, где формировались силы сопротивления фашизму. В составе «Ударного батальона» при высадке на Корсике в 1943 году капитан Давид был тяжело ранен в спину. Под присмотром любимой жены он выжил и в 1947-м уже вел курс «сравнительного права» в Сорбонне, откуда началось его восхождение как знатока юридических систем всех стран и народов. Превозмогая постоянные боли, профессор писал книги, обессмертившие его имя, вел оживленную переписку со всем миром и держал открытый дом, где кормились африканские, иранские, мексиканские, итальянские студенты.

Дело не обошлось без встреч с советскими коллегами из «школы Вышинского» — Денисов, Крутоголов, Туманов. Его «Основные правовые системы современности» переводились на русский язык, которым он свободно владел.

В 1976 году за особые заслуги в развитии правоведения профессор Рене Давид получил премию имени Эразма Роттердамского, основанную в Голландии для людей свободных профессий.

В своих «мемуарах», изданных в 1982 году, тесть описал занятный случай. К нему в гости приехал в Альпы известный японский коллега Китагава. Он встретил его без показухи и как мог, но тот удивился: «Какой стыд для Франции, когда ее знаменитый юрист живет в такой нищете!»

До настоящей нищеты было далеко, но скромная жизнь ученого-правоведа, пожалуй, не соответствовала его заслугам, но мне, знавшему, что такое фанерный балаган на трескучем морозе, и провинциальный «домик» с природным камнем внутри дома, и

крестьянский дом в Альпах — верх французской архитектуры. Потом, все вокруг было моим — гора, воспетая художниками, виноградники на горячей, красной земле. В сумерках фыркали лошади, по ночам тявкали собаки, где-то пел петух.

Был солнечный май 26-го числа, когда больной тесть не проснулся.

Я спустился в гараж и сделал картинку в честь покойного ученого. Библейский пастух Давид сражался с могучим Голиафом, бросая камни.

Вечная память седому и мудрому подростку!

* * *

О кончине Г.Д. Костакиса я узнал из газет. Некрологи во всех газетах мира, кроме русских. Известная фигура. Собиратель и пропагандист русского авангарда 20-х годов.

Мы хорошо знали друг друга — точнее, он обо мне все, а я о нем ничего! В начале 60-х нас свели особые обстоятельства «охоты за малевичами», затем были встречи в Париже и Лондоне, где он проверял качество моего быта и цены на русских художников. У него обнаружили рак. От пышной шевелюры «дяди Жоры» оставался пучок волос на загривке, лицо потемнело и осунулось. Он с достоинством переносил сеансы химии и писал мемуары.

За десять лет эмиграции и «абсолютной свободы» богач Костакис понял, что соваться с подпольным искусством на Запад — провальная затея, однако, зная о тяжелом материальном положении своих давних подопечных, он не скупился на валюту, давал всем, кто просил. С особой благодарностью его вспоминает Лида Мастеркова.

Он мне позвонил под Новый 1990 год с поразившей меня просьбой: «Валь, скажи, пожалуйста, как

звали человека, у которого я купил картины Любы Поповой?»

Забить такое!

Я ему напомнил о Сергее Николаевиче Хольмберге со всеми подробностями.

Мемуары вышли тонкой брошюрой в московском издательстве, стараниями эксперта икон Савелия Ямщикова, давно наблюдавшего за деятельностью Костакиса. Брошюру я достал, заранее зная, что без подкраски и лабуды дело не обойдется, но такого отчаянного вранья я от него не ожидал.

О становлении вкусов собирателя самые скупые и невыразительные сведения. Имя своего благодетеля Хольмберга, за бесценнок продавшего ему все картины и архив Любы Поповой, он упоминает вскользь и как анонимного «хозяина дачи».

Своего зятя Костю Стремина, сбежавшего с англичанкой, он без всяких доказательств обвиняет в поджоге дачи в Баковке, где сгорели современные картины и часть древних икон. Он пальцем не двинул, чтобы прославить своего «любимого Толечку Зверева», как будто его никогда не существовало в его жизни. О нас, нелюбимых и сгоревших, вообще не упоминается.

Сочиняя мемуары, Костакис оставался человеком эпохи лжи, таких, как он, не выпрямляет ни свобода, ни демократия.

Его книжонка — пустая и бесполезная белиберда на совести сочинителя и его советников.

А теперь, Бог ему судья и земля пухом!

4. Презерватив мира над Парижем

За грамматические ошибки не сажали в тюрьму. В Кремле выступил ненормальный коммунист с крестом на шее. Появился наследник Престола, Великий

Князь Владимир Кириллович — еще один «владимир» на нашу шею! Главный кассир коммунизма украл деньги и скрылся в Австралию. Откуда-то вылезли нищие и бродяги. Берлинскую стену растащили на сувениры. Прибалты опять сбежали к немцам. Нелегальный бизнес скис. Вселенский барак покачнулся, но устоял.

В кооперативном ларьке Сашки Адамовича с вызывающим названием «Гном», где торговали запретным самогоном и матрешками, великого И.С. Холина встретила бурными, продолжительными аплодисментами кучка пузатых чуваков и слинявших от долголетнего подполья чувих.

Ликбез барака выбрался на волю.

— Смотрите, живой Холин! — орали любители барачной литературы.

Холин выправил офицерскую спину и зачитал сверхпоэму «Умер Земной Шар», по ходу дела добавляя в текст имена визжавших от восторга поклонниц и поклонников — Сорокина, Седакову и Рубинштейна. По просьбе М.Я. Гробмана, позвонившего из Тель-Авива, в поэму вписали художника Шмуеля Аккермана и поэта Кузьминского, по просьбе В.И. Воробьева в поэму добавили черноморца Олега Соханевича, кинетиста фон Нуссберга и поэтессу Кароль К.

Триумфальное путешествие «по европам» (1989) я наблюдал издалека, с вершин Альпийских гор.

В Златой Праге поэта встречал старожил города и давний «друг земного шара» Виктор Дмитриевич Пивоваров. Художник, издатель, журналист.

Праздрой со шпикачками!

В вишневом саду русской эмиграции, в захолустном Париже, «среди дерев неизвестной породы», как зло ковырнул бард Хвост, на подворье Казимирыча, где есть отдельный сортир с водосливом, Игорь Холин опять во весь голос читал «Умер Земной Шар».

— Нет, Казимирыч, — уверял Холин старого товарища, — твоё подворье не барак, а парижское кладбище Пер-Лашез, а барак — это я!

В давнем споре с Пушкиным, — сатирическая новелла «Памятник печке», где мишенью глумления служит сборная эмиграции, Холин и, следовательно, Пушкин предлагают мудрое и гуманное решение — памятник ставить не им, а согревающей пищу и человечество железной буржуйке нищеты, горячей печке, за что я искренне аплодирую обоим поэтам.

«Теть твою меть!»

К старому поэту пришел настоящий издатель глянцевого книг. Демократ и частник. До солидных денег еще далеко, но храбрецы дают тираж читателю.

В прозаической новелле «Иерусалимский пересказ» — речь идет о барачном маскараде с участием чертей, солдат и Сталина — вдруг явились знаки особого, восточного зарева. В 77 лет поэт додумался, что составители библейского свода, допотопные герои человечества, жили на грешной земле неспроста, у них был свет и, возможно, цвет.

Однако в отряд валютного авангарда, как ряд его учеников, Холин не попал, — и стар, и не нужен.

В загадочной поэме «Великий праздник» он заканчивает: «Среди непришедших Холин, среди умерших Соостер».

Да здравствует Холин!

* * *

В табели о рангах Эрик Булатов и Олег Васильев с их школой «фотореализма» занимают первенствующие места в мировом искусстве. На тернистой беговой к мировой славе им пришлось много потеть и прятаться. Они идут вместе с давних пор, дублируя друг друга, как космонавты одной бригады. Небывалая редкость в наш атомный век.

Они отлично знают, что такое совершенная техника классицизма и современные эксперименты.

Доступная мне газета «Либерасьон» оценила выставку русского чужака Булатова (ноябрь 1988 г., Бобур), как «вот это настоящий художник!» — высшая похвала в наше время.

В 1959 году в салоне Сашки Васильева у Большой Синагоги на Солянке картинки Эрика Булатова «под Фалька» — бутылка, стакан, вилка — меня совсем не тронули. Такое баловство позволялось всем членам «изофронта», но в начале 60-х Булатов и его напарник Олег Васильев начали играть с огнем. Одной рукой они рисовали иллюстрации для детей, а другой «чистые абстракции». Мы листали иностранные журналы и видели подобные изображения у американцев, но в таежной Москве эти художники смотрелись опасными смутьянами. На просмотр жестких, черно-белых изображений тянулся любопытный народ. Работяги и тихони, они держали определенную дистанцию с «дипартом» андеграунда. В 1970 году их вещи попались на глаза «парижской тетке» Дине Верни. Тогда парижанка предпочла Эрика Булатова. Возможно, «лицо кавказской национальности» (осетин? чечен? ингуш?) Булатов приглянулся ей больше чем суровый викинг Васильев, хотя их работы можно выставить в один ряд и под одним именем без ошибки. Абстрактные работы Булатова, попавшие в руки Дины Верни, я выставлял в Гран Пале в 1978 году в рамках «русской абстракции». Потом художники ввели изобразительный, банальный мотив в комбинации шрифтового лозунга — «Входа нет», «Слава КПСС» и т.д. Областная самобытность по теме — «Россия во мгле».

Благоразумно уклоняясь от «чемоданных выставок» за границей, где особо усердствовали наши чешские друзья, и «бульдозерных пустырей», где беззащитные картинка кромсали пролетарскими лопатами, они

усидчиво рисовали свой мир, дожидаясь своего часа, прозвеневшего с нагрянувшей перестройкой. В один миг пятидесятилетние затворники взлетели наверх, в музейный ряд по рекомендации знаменитых банков.

Какой враг народа подложил свинью под могучее здание «изофронта»? От одного удара молотка «мистера Сотбиса» 7 июля 1988 года посыпались щепки и гайки ядерной державы.

Никому не известный босяк Гришка Брускин принес стране 400 тысяч «гринов», доход невиданный за 70 лет существования державы. К счастью, государственная кража была первой и последней в XX веке. Уже через год разобранные Западом доходные художники показали Кремлю большой кукиш.

Коммерческая победа маргиналов и самоучек свидетельствовала об их полном и несомненном превосходстве над маломощной бандой дармоедов «колхоза советских художников». Искусство, замаскированное под детскую графику, оказалось не кружком «ликбеза», а столбовым движением мирового искусства. «Черные цыплята» подполья мгновенно выросли в орлят. Олега Васильева забрал Нью-Йорк. Эрик Булатов предпочел тихий Париж. И Москва рядом, и жена боится самолетов.

К приезду М.С. Горбачева (1991) Париж готовил эстетический сюрприз. Для долгожданных гостей надули дирижабль с надписью «перестройка». Автором шрифтовой композиции стал Эрик Булатов, а декор поручили молодой американской «суперзвезде» Кейту Харингу. Появление советских гостей совпало с массовой демонстрацией больных СПИДом. Демонстранты решили, что в небо заброшен рекламный презерватив как эффективное средство борьбы с моровым поветрием.

Избранник перестройки Юрий Желтов, мастер высокого, геометрического напряжения, глядя в небо сказал:

— А вот и русский цыпленок над Парижем!

Русские «цыплята международных смотров» появились на Западе в подозрительные пятьдесят лет, но за десять лет западных удобств они смогли многое сделать в искусстве, не изменяя своим принципам, разработанным в глубоком подполье.

Вот, черт побери, куда ведет гонка вооружений!

* * *

Все знают, что я гуманист. Не иду по трупам, а спасаю людей от гибели в аду, но настроение и тут часто портится:

От благородного творчества меня то и дело отвлекали озабоченные земляки.

Например, весной 1991-го раздается телефонный звонок: «Валь, накорми, бля!»

Голос далекого прошлого. Пара совков с претензией на древнюю дружбу. Художники-экологи — Толя Лепин и Слава Соковнин.

— Валь, да кому ты говоришь, мне, Толе Лепину!

В 1967 году, скрываясь от ареста за кражу античной камеи в самом Эрмитаже, Лепин прятался у меня в подвале. Социально близкий тунеядец, друг моего друга Васи Полевого.

Недельный заговор обреченных.

В голову лез всякий вздор. Рано утром я смотрел на опасного квартиранта, помятого ночным бдением, и дал совет сдать в отделение милиции, не допуская всесоюзного розыска. При этом я сказал одно слово: «Лепа, убывай!»

Лепин сдал камео государству и сел в тюрьму на полгода. С тех пор по отработанной в подполье легенде считалось, что я не выручил Лепина, а посадил в тюрьму, присвоив эрмитажную камео. Лепин знал, что это грубая ложь, но часто дергал меня за нервы.

И тут, на парижском тротуаре стоят двое в лохмотьях, пара краеведов России. Посольство русских недостатков с классическим: «Валь, накорми!»

Такого я от Лепы не ждал. В мой московский подвал он приносил буженину на закуску, а тут вдруг оголодал. Куда его поставить? — рядом со Штейнбергом, Желтовым, Булатовым или с парижским клошаром?

В Париже голодных в кабак не водят. Есть «суп популер» и рабочие столовые по талонам — ешь от пуза хоть лопни. В парижских кабаках выставляют на показ новые прически и галстуки, а не голодные желудки. Для «Максима» и «Распутина» мы не годились. Показать нечего. Ни перстней, ни галстуков, ни денег. Оставался — скват! Вершина парижской обжорки. Там не капает, там жрут чесноковую колбасу и пьют дешевое вино в охотку. У меня пять верных адресов. Там я известен. У «Ябона» сегодня «день открытых дверей».

Мои земляки — знаменитые экологисты державы. Там они первые, но здесь их подло надули. Обещали славу и деньги, а заточили в нормандский замок, где, как известно, висят портреты королей и баронов, но нет пивного ларька. В аристократическом окружении москвичи чуть не околели от жажды и голода. Последний сухарь отобрали у цепного пса. Пешком сбежали от кабалы, бросив экологическое творчество эксплуататору.

Комендант сквата «Ториньи» Ябон-Гильдебрант выставил большое круглое корыто с красной бурдой, по-местному «пунш», а по классификации знатока спиртных напитков Венечки Ерофеева «солнцедар». Красиво сделано с лимонными корками, и хоть упейся. Берешь половник и черпаешь красный кайф. Горы чесноковой колбасы. Мои голодные земляки засияли.

— А нам можно?

— Лепа, — говорю, — все сделано для вас нарочно.

— Иди ты?

Первый раз за месяц голодовки Лепин и Соковнин напились и наблевали по-человечески. Колбасу не ели, а глотали. Моя репутация гуманиста заметно росла в Москве. Самый главный клуб экологов, где Толя Лепин главный художник, предложил мне персональную выставку в красивом помещении размером с Лувр. Я с благодарностью принял предложение, но дальше красивых слов наш план не продвинулся. Мы думали по-разному, и практической стыковки не получилось. Московские экологи так и не увидели моей живописи.

Над Парижем летал презерватив с надписью «перестройка».

Мы осмотрели остатки тюрьмы Бастилии, лежавшие в цветной клумбе, выпили по стакану портвейна и разлетелись.

Кому вниз, кому наверх!

5. Черноморец Сах

Мой парижский чердак Олег Викторович Соханевич, или попросту «Сах», считал частью своих территориальных завоеваний.

Помещение запиралось и охранялось буржуазным сторожем. Во дворе имелся угол для стоянки велосипедов.

Велосипед стал камнем преткновения в нашей дружбе.

Держать у себя под боком такой транспорт, да еще в большом количестве, я не собирался.

Мой приятель Толстый, не страдающий комплексом мифологии, говорил мне: «Старик, гони в шею!»

В русском просторечии незваных гостей называют наглецами, но приложимо ли это к герою, переплывшему Черное море на подушке?

Жизнь, пущенная на самотек, сама выправляла острые углы.

* * *

Сын почтенных панов, колесивших по Шестой Части Света в поисках длинного рубля, Олег Соханевич родился в захолустном Тульчине глухой январской ночью 1935 года.

Косяки нечистой силы кинулись в плясовую. Тяжелые, зимние тучи, склонившись над пригорками и болотами, низвергая град и гнев, ломали стройки коммунизма, унося скотину, птицу, урожай. К утру природа стихла. Старинные знаки просторной страны — нищета, убожество и бесправие — снова подняли смущенные хвосты. Туземцы нехотя принялись за строительство лучезарного будущего.

Враги народа, шпионы, диверсанты, двурушники, маскируясь под ударников социалистического труда, шастали по стране, как у себя дома. Гнусные изменники, соглашатели и капитулянты, клеветники и оппортунисты, ренегаты и фальсификаторы шли по улицам советских городов, ехали в трамваях и метро, сидели в конторах и школах, колхозах и больницах. Они заседали в Кремле и на пограничной заставе. Если на то пошло, то каждый строитель коммунизма был фашистским бандитом и британским шпионом.

Чего там греха таить, на священной для всех пролетариев мира Красной площади лежал немецкий шпион в plombированном вагоне.

Космические силы зла незримо вошли в русскую жизнь, в то время как новорожденный гений сосал лапку в родном Тульчине. Играть и рисовать он начал с пеленок и, естественно, был определен в артистическую профессию.

Первый этап гения — Киев, «мать городов русских». Школа называлась именем Тараса Шевченко, но Саха влекло все допотопное, доисторическое. Не проспекты украинской столицы, а все, что было задолго до них — каменные «бабы» степей, курганы скифских царей, мифический Днепр, где купался его пращур Геракл. Студент не фрондирует академические дисциплины, наоборот, он всех однокурсников превосходит в их освоении. Он читал не Тараса Шевченко, а Гомера, где все и давно сказано, и рисовал дорические колонны.

В 1955-м отличник киевской школы метит в единственное, достойное атаки место — Академия художеств имени И.Е. Репина в Ленинграде. На втором заходе он там. Питерское время Саха шло под знаком общаги, где были свои вожди и преступники. Шестивие возглавляли отборные живописцы сибирских школ. Рекордсмены академических дисциплин под звон медалей продвигались к заветным высотам ленинских премий, демонстрируя солидарность родному правительству. За ним шли группы усидчивых украинцев, украшавших социалистическое содержание картин фольклорной пестрядью.

Тулчинский богатырь побил сибиряков на их законной территории картиной «Поморы» (Диплом, 1962), а украинцы выдали ему место трудовой деятельности в солнечном Туапсе.

Сах уверяет, что он прямой потомок Геракла и хохлушки. Якобы грек дезертировал с корабля «Арго» и лето кантовался на русском пляже, предаваясь любовным утехам. Очень похоже на правду, те же повадки, та же психология странствий, но греческий герой совсем меня не убеждал. Я его считал скорее уголовным преступником, чем полезным членом общества.

То, что он придушил пару ядовитых змей, простительно ребенку, но зачем убивать учителя музыки

гитарой по голове? Молодой преступник (18 лет) в порыве ярости убил юную жену с ребенком, что не лезет ни в какие ворота. Он пытался загладить свою вину бесплатной работой на благо обществу — двенадцать деяний с чисткой конюшни у молодого короля Авгия (пятая работа) ничего не прибавляет к отвратительному поведению грека. Он женился еще раз, но жену бросил и покончил самосожжением на горе Хета. Взлетев на Олимп, он опять женился на красавице божественного происхождения и никогда не вернулся на землю.

Академист Соханевич — пасынок питерской культуры. Его пятилетняя общага не совпадала с тусовками подпольного авангарда — Гаврильчик, Голявкин, Михнов, Арефьев, а в «приличные дома» его не пускали — Иогансон, Ветрогонский, потому что там подавались фамильный фарфор и серебро, а Сах не владел этими инструментами, загребая пищу горстью, как и его дикий предшественник Геракл.

Кровь древних греков звала его на подвиги.

Но где бесстрашные аргонавты?

Я бывал в Ленинграде. В этом забытом Богом городе на воде, смехотворно хранившем имперский вид, по крысиным углам ютились великие артисты, не зная о существовании друг друга. На улице Рубинштейна, где я был в феврале 1963-го, в одном доме творили Евгений Михнов-Войтенко и Сергей Довлатов и никогда не встречались. Иностранной кормушки в Питере не заводилось. Местные эстеты вроде Льва Борисовича Каценельсона или Вали Новожилова не имели средств скупать картинку подпольных гениев, а иностранец туда заглядывал за дешевой водкой. С большими трудностями питерские новаторы — Рухин, Шемякин, Леонов — пристроились к базару московского «дипарта». В полярном Питере пили по углам, творили на вечность и под кровать.

Город призраков и нечистой силы Сах определил по-своему — «никаких перспектив!».

«Я хотел быть самым сильным, самым ловким благородным рыцарем — здесь значительное расхождение с программой бесшабашного Геракла, угробившего законную супругу! — и неустрашимым путешественником, личностью с железной волей, которую сама смерть не в силах остановить» (Мемуары. 1970. «Посев»).

С такой программой, превосходящей в благородстве самого Геракла, человеку нечего делать в советском искусстве.

Какой нечистый его попутал?

В Питере нашелся один аргонавт, студент театрального факультета Генка Гаврилов.

В августе 1967 года, спустив с рейсового парохода «Ялта—Сухуми» надувную лодку, скорее похожую на подушку, чем на плавучее морское судно, два аргонанта отчалили в открытое море, не за Золотым рунном в Колхиду, где есть отделение милиции, а подальше от него. Семь дней их надувная «Арго», как черепаха, гребла к турецким берегам. Триста километров морской, соленой воды, палящий зной днем и холод ночью.

«Мы и лодка — кажется, ничего больше нет в мире. Наш мир — круг зеленой воды, накрытый куполом неба, солнце, звезды, неумный шум волн» (Мемуары. О.С.)

Лишь на восьмой день советские аргонанты увидели землю и людей.

Что такое аргонавт для американского капитала?

Иностранец черноморского заплыва с подозрительным прошлым!

Коммунизм, колхоз, ботинки Никиты Хрущева.

Комсомолец со стальной мускулатурой. Америка предпочитает своих плюгавых и горбатых, а не мускулистых иностранцев.

Шестидесятые годы выбросили из своего чрева, как лягушка головастика, множество эстетических «измов», совершенно невозможных в колхозной России.

Например, «концептуализм»!

Советский беженец Сах, «балдея от мании величия», как заметил историограф русского авангарда Константин Кузьминский, стал американским гражданином, но не американским художником. Большая Америка оказалась узкой для его размаха. Американское общественное сознание, несмотря на примеры отчаянных одиночек, оставалось глубоко реакционным и отсталым. Сах, используя древние рычаги Архимеда, укрощал железо, из железнодорожных рельс завязывая английские галстуки. Попутно он раскрашивал чрезвычайно экономные геометрические композиции, оценить которые по достоинству никто не решался, а мнение просвещенных и завистливых коллег, как известно, в расчет не бралось. Сах превзошел всех нью-йоркских новаторов, но зарабатывать на денежных кладбищенских бюстах он считал ниже своего достоинства. В начале 70-х, при первой встрече с нью-йоркскими заправилами он сразу их забраковал как существа, недостойные внимания. Полгода он заколачивал деньги благородным трудом сварщика, а полгода бродяжничал по миру, отдавая предпочтение европейскому ландшафту. Из бесцельных походов по материкам и архипелагам нашей несчастной планеты Сах привозил поэмы, слог которых напоминал самого Гомера.

Моя первая встреча с героем Черного моря вышла очень славной посиделкой в сквате «Артклошинтерн» в 1983 году. Он там разбил свой кочевой шатер, осваивая соседние страны — Грецию, Италию, Испанию, Германию. Эти цивилизованные страны он изучал очень тщательно, и самым извилистым маршрутом допотопных пещер и долменов, пользуясь быстроходным велосипедом в передвижении.

За столом сидели Саша Леонов, Вова Бугрин — однокашники Саха по питерской академии, Толя Путилин, Коля Павловский, беглый матрос Игоря. Мы мало походили на героев Олимпа, но Сах так разошелся после первой бутылки вина, выступая за всех сразу, что все признали в нем достойного потомка греческих ораторов.

Гул отдаленный,
шум непонятный —
потянут ушами
чуткие кони
мерных ударов
гром неустанный —
долгое эхо
битвы незримой.

Опытный стиховед обнаружит и музыку славянских виршей.

Почему создатель такого полета не закрепился в мировой славе? Если задать такой же вопрос покойному Гераклу, долгое время служившему трусливому Еврисфену, то можно понять и Саха. Он бросался в море и чистил американские конюшни бесплатно, подавая пример нерадивому человечеству.

На Американском континенте его выставял Франк Марино в Нью-Йорке, о нем писали лучшие критики искусства, но играть с ними и мелочиться он не стал. Потомок Геракла решил завоевать Старую Европу, где американцев до сих пор считают дикарями.

В питерской общаге Сах ходил по стенам. На Западе он кочует в шатре, пренебрегая светскими салонами, где вилки, ложки и манеры обращены в культ вместо костра.

Вечная, непреходящая общага — вот его мир!

Стойбище кочевников — вот жизнь гения и — велосипед на шее друга.

6. Три моста искусств

Итак, о мостах. Один мост — Михаил Яковлевич Гробман (Израиль), другой — Леонид Прохорович Талочкин (Москва), третий — Константин Константинович Кузьминский (Нью-Йорк).

Несмотря на осень, в октябре 1995 года было солнечно и пыльно.

Я долго хохотал, увидев Гробмана после длительного перерыва, после его ряда всевозможных превращений. Ни бороды до пояса, ни черной шапки, ни штанов с ногами слона, как в 1979-м, в Бохуме. Перед мной стоял Мишка Гробман шестидесятого года, когда я впервые увидел его на нелегальной литературной читке. Коротко стриженный и гладко бритый паренек со вздернутым носом. Эта перемена позволила мне вернуться в то время, когда я рисовал для госиздательств, а Мишка лишь мечтал напечататься.

С виду Тель-Авив вроде Новороссийска. Пыльный торговый порт с кранами и лебедками на фоне, но за фасадом схожести стоит большая разница. Новороссийск — просто пыльный порт на Черном море, а Тель-Авив — загадочный, библейский мир. Это древний Яффа, где солдаты Наполеона вымерли от чумы, и теперь музейный заповедник. Цены жилого квартала доступны только богачам. Полно туристов. Эфиопы жарят лепешки. Большая собака понимает по-русски. Гробман знает все закоулки библейского города. Он здесь живет. Это его дом.

— Гробман, ты хуже Сталина! — сказал я мосту на берегу Средиземного моря. — В одном номере журнала пять культовых автопортретов!

— Нет, я лучше Сталина, — перечит мне мост, — он везде смазан, а я хорошо освещен!

Нет, человек не разоружился.

Нет, Бог не скинут!

Дурдом — часть русской культуры. Там многие посидели, от Петра Чаадаева до Мишки Гробмана.

Человек на виду всегда попадетсЯ, а туняец и туфтач — классовые враги.

Чуть отвлекусь в сторону.

Не знаю, на каком перекрестке подпольной Москвы Гробман повстречал помещика Степана Плюшкина. Хороший знакомый Николая Васильевича Гоголя. Он научил Гробмана копить вещи. В клуб учеников Плюшкина позднее вошли барачный поэт Игорь Холлин и украинский график Илья Кабаков.

До сих пор я не могу понять, почему Н.В. Гоголь такого великого человека оставил без отчества? Его школьный приятель, «франкмасон» Иван Григорьевич, подается полностью, а богач и коллекционер вещей Плюшкин без отчества. Я в обиде на писателя, но Гробман давно простил ему литературный промах. Пусть помещик Плюшкин будет Степаном Яковлевичем. Пусть это будет подарок коллекционеру вещей М.Я. Гробману.

Так и порешили. Плюшкин отходит к Гробману. Илья Кабаков присвоил его с большим опозданием.

Против рожна не попрешь!

В так называемом «дипарте» Гробман участия не принимал. «Чемоданные выставки» за границей его занимали больше, чем случайные заработки с иностранцами.

Встречи с чехами всегда кончались выставкой в Люцерне или Бохуме. Высокое положение в подпольном мире ставило его в сердцевину артистической элиты. Достаточно полистать его солидный «Дневник 1963—1971», изданный в Москве, чтобы определить, где находилась душа элитарного кружка.

Гробман любил командовать и меняться, учить и творить. Преуспевающий владелец не мертвых, а живых душ и вещей купался в славе первого менялы

страны. В результате многолетнего и постоянного обмена М.Г. собрал замечательный мусор современной пластики и лучшие в мире работы Владимира Иго-ревича Яковлева. Стены и углы его кривуши в Тек-стильщиках украшали произведения безымянных гени-ев в небрежном соседстве с древнерусской пестрядью и знаками пролетарской нищеты. Открытый днем и но-чью «дом Гробмана», где много пили и мало ели, не обходился без драматических сцен. Литературный ху-лиган из Харькова Эдик Лимонов там впервые читал свои вирши. В разгар беседы и читки обязательно врывался необузданный хам и кричал:

— Бей жидов, спасай Россию!

В начале 70-х Гробман и его лучезарная супруга Ирка Врубель-Голубкина стали эпицентром репат-риации в Израиль. Попадая в кособокое жильё зна-менитого барахольщика, поэта рискованных сравне-ний и меткого рисовальщика, посетитель смущенно ставил ключевой вопрос: а как и где жить дальше?

«Я задумался на проводах Мишки Гробмана в 1971 году, — вспоминает бывшее художник и бара-хольщик В.К. Стацинский. — На Запад меня вынес-ла «волна Гробмана»».

И таких было много.

Рапортует кинетист Лев Нуссберг:

«О вызовах мишко-израильских. По гроб ему бла-годарен. Их было тринадцать, если не четырнадцать... 1. Нуссбергу — три (от разных людей из Израиля). 2. Гале Битт — один, хотя она русско-мордовских кро-вей. 3. Пашке Бурдукову — два (уж больно все было русское, и родня вся русская, на Волге, жива и здо-рова). 4. Нат. Прокуратовой — один (обманула на 800 руб. и не уехала). 5. Матери моей — один (татар-ка христианская, а выехала). 6. Гале Головейке — один (стала Мрс. Нуссберг). 7. Семье Фрейдиных — два, а может быть, и три (выезжали с трудом из зак-

рытого Свердловска). 8. Подонку грязному Толстому-Котлярову, хотя и еврей. Меня сагитировали, разжалобили Битт и Пашка. Я его не знал и впервые встретил в 1978-м в Вене, и сразу охуел от его пакостности. Ему же я лично привез в Вену “вызов” официальный во Францию — укатил Мари-Клод Баселье».

«А у меня в Текстильщиках!»

Подпольный очаг русской культуры, собранный Гробманом, тунейдцем по крошкам, перекочевал в Израиль.

Так возник прочный мост — «Левиафан»!

Изображая марку своего мира — Левиафан (Идолице Поганое?), — Гробман постарался. Черное (цвет вселенского могущества) на красном (символ огня и жизни) — безукоризненно по пластике. Иначе я Идолица и не вижу. Рисунок стал фирменным знаком не только Гробмана, а авангарда целиком. Теперь он гуляет по всем учебникам человеческой цивилизации.

В Израиле Михаил Гробман оказался в положении возмутителя спокойствия. Заводилы литературной «алии» держались консервативного классицизма и ремесла. Песни Евгения Евтушенко считались последним криком русского слова, в то время как Гробман предлагал культуре иной, авангардный путь Велимира Хлебникова, «обэриутов» Хармса, барачные абстракции Холина, Айги, Салгира. В изобразительных искусствах Израиль совсем отставал от ведущих стран Запада. И здесь Гробман поучал народ авангардной доблести. Ведь Эль Лисицкий и Илья Чашник работали в русских условиях, а не в Хайфе.

В мировую культуру русские внесли особый и заметный вклад. Московский юрист Василий Кандинский, сам того не подозревая, открыл миру новые пластические возможности «абстрактной живописи».

Казимир Малевич и его школа создали мощный заряд «супрематизма», секрет которого до сих пор поражает мыслящих зрителей.

Декораторы балетов С.П. Дягилева покорили Европу.

М.Я. Гробман, несмотря на полное небрежение, толкал своих современников — Яковлев, Пятницкий, Курочкин, Ворошилов, Кабаков, Янкилевский, Штейнберг. И протолкнул! Сейчас никто не сомневается в «коммерческой ценности» Кабакова, например. Придет очередь и других. Гробман в этом убежден.

Рукописный журнал М.Я. Гробмана «Левиафан» (70-е годы), и это в эпоху дешевых и доступных печатных станков! — настоящий литературный и полиграфический памятник своему автору и его подзащитным. В нем Гробман писал от руки все эссе, манифесты и объявления.

В 1987 году Гробман нарисовал остроумную картинку «Москва — евреям!», повесив на кремлевские башни звезду Давида.

Абсурд с глубокой начинкой.

Город на Неве строил Петр Великий, а не Ульянов-Ленин, но и московское метро провел не Пушкин, а Лазарь Каганович. Где же его имя сейчас?

Если хотите жить «как все», то почему бы метро не отдать Кагановичу, а кремлевские пентакли сменить на звезды о шести концах?

Конечно, это не сдобные булки, но будет больше концов.

7 ноября 1995 года Израиль хоронил предательски убитого провокатором популярного героя, премьер-министра Ицхака Рабина.

Страна стала в минутном молчании.

Я смотрел на великий город Иерусалим с русских высот.

Над городом стоял молодой Бог. Не бородатый старик, а могучий малый с гладким лицом и густыми кудрями. Как в картине Делакруа в соборе Сен-Сюльпис в Париже. Такой не раз бил меня по уху и ставил подножки.

Отомстить за обиду, это двинуть ближнего по шее, а не подраться с Богом.

Я с Мишкой Гробманом не дрался и не позорил на стороне.

Я им живу. Он мой мост.

* * *

Знаменательная для России выставка «Другое искусство» (1990) и двухтомный каталог к ней — детище моего друга Леонида Прохоровича Талочкина. Он не сделал, а выстрадал ее тридцатилетним, каторжным трудом собирателя, документалиста, фотографа и рабочего.

С этим удивительным человеком я познакомился в 1964 году, в Москве, в клубе «Диск», где выставались кинеты Льва Нуссберга. Мне показалось, что этот широкоплечий, плотно стоящий на земле инженер трубного завода очень близок к кинетам, но понять, каким образом, я сначала не мог. Он не принимал участия в экспозиции, а руководил установкой кинетических объектов всей группы «Движение». Его рослая и хлопотливая супруга Татьяна Колодзей, казалась, навечно прикручена к неофициальной суете.

Супружеская пара старалась показать людям в частных квартирах или «комсомольских клубах» произведения молодых талантов или совсем забытых художников. Кинетов Нуссберга они протолкнули в клуб «Диск». Советские люди, десятками лет запертые под замок коммунизма, не выдавшие и не знавшие, что творится в ином мире, как замороженные, часами глазели на образцы свободного творчества и с жаром, до рукоприкладства спорили на тему «что есть истина».

Почему дипломированный инженер спустился на дно подпольной безумщины, художественной ши-

зофрении и бытового маразма, с его беспробудным пьянством, наркотой и вечным борделем по подвальному мастерским? Потому что на дне было ярче и чище, чем на лакированном, но подлом верху. На дне зрело будущее новой России.

До меня дошли слухи, что Талочкин развелся. Бросил свой завод и снимает картины любимых художников.

Фотограф Талочкин брал все, что давали художники. Вертеж-крутеж и мигалки кинетов Нуссберга, натюрморты Рабина и Рухина, рисунки и монотипии Гробмана и детские картинки Булатова и Васильева, объекты Боруха и Бордачева, абстракции Штейнберга и Ковенчука.

Я очень рано попал в лавочку «дипарта» и жадничал дарить картинку верным друзьям. Леня Талочкин меня охаживал, особенно после однодневной и очень скандальной выставки «12» в клубе «Дружба», и выпросил сделанный с него портрет гуашью. Перед отъездом в Париж (1975) я обещал ему аккуратно писать и сообщать, что творится в искусстве, и честно делал это более двадцати лет, собрав большой эпистолярный архив.

Перелиска Талочкина со всем миром была чрезвычайно обширной. Невольно он стал единственным координатором «русской зоны», как Гробман израильской, а Кузьминский американской.

Весь успех «профсоюзных выставок» 70—80-х плотно связан с именем Талочкина. Он не только составитель каталогов, но и душа всех квартирных и клубных выставок последних лет, наделавших много шума во всем мире, начиная с грандиозной выставки в Измайловском парке в сентябре 1974 года до выставки «Другое искусство» в новой, либеральной России 1990 года.

В 1976 году ему удалось зарегистрировать свою личную коллекцию через Минкультуры, навязав ее в «бездомный дар советскому народу».

Он сходил и расходился с женами и продолжал жить на жалованье, а затем на пенсию ночного сторожа.

1987 — «жену выдал замуж за ирландца» — было и такое!

Его эпистолярное наследие огромно. Я храню ящик, набитый его письмами, написанными ярким, сочным, содержательным слогом.

Леня Талочкин охотно брал подарки и взамен делал фотографии на память, что ли?

Футурист Давид Бурлюк сотрудничал в Америке в русской газете советского пошиба и жил, забытый всем миром, на деньги зажиточной супруги. Каково же было мое удивление, когда Анатолий Копейко, художник «Отчизны», где я в 1965-м работал приходившим рисовальщиком, шепнул, что с минуты на минуту редакция ждет Бурлюка.

Я застрял поглазеть на легендарного футуриста и революционера.

Вскорости он появился в сопровождении старика Никанорова, земляка из Тамбова, собиравшего его творчество. В актовом зале издательства поставили микрофон и усадили президиум. «Отец русского футуризма», одетый в твидовый пиджак и затянутый вполне буржуазный галстук, что-то мычал о величии русской культуры, породившей Пушкина и Маяковского.

В первом ряду, как замороженные, сидели московские знаменитости, поэты Семен Кирсанов, Генка Айги, Николай Иванович Харджиев, два или три неизвестных мне пузача. Для меня оставалось тайной, что могло связывать этих людей с зевавшими издательскими работниками. Тогда, осенью, я навсегда забраковал футуризм с его вождями и современными адептами.

В первом ряду сидел Леня Талочкин.

Он что-то совал Бурлюку на памятную подпись. Мы вышли вместе к метро.

В Советском Союзе, как и во времена Петра Первого, ношение бороды категорически запрещалось. Это был неписанный закон, но ему следовали все беспрекословно, как солдаты уставу Красной Армии. Среди высшего начальства в моде были усы «а ля Сталин», «а ля Гитлер», и лишь престарелые академики могли позволить себе вольность носить бороду.

С появлением кубинских бородачей на священной кремлевской стене, Фиделя Кастро и прочих (1960), бороды объявились и в Москве. К ним относились снисходительно, с насмешками в общественных местах. Бывало и так, что совсем чужие тетя или дядя подходили к бородатому молодому человеку и говорили: «Сбрей бороду, не позорься!»

Леня Талочкин отрастил густую, черную бороду на удивление блюстителей советской чистоты. Его импозантный вид среди стриженных «кинетов» производил сильное впечатление. Его супруга Татьяна Колодзей, высокая, стройная женщина, тоже не соответствовала партийным стандартам славянок с большим лицом и круглой жопой.

Сторожа и кочегарам низкого жалованья бороды прощались, а в 1965-м Талочкин уже служил сторожем в историческом музее.

Я не понимал Талочку. Раскусил, но не принимал.

Мой дух был развращен бесами, а суета чернорабочего сторожа казалась слишком мелочной и бесплатной.

Умение уживаться с людьми «невозможного характера», где каждый — невыносимый гений, воплощение зла, подлости и коварства, превратили Талочку в информационный штаб искусства. Всегда в гуще событий, он составил полную картотеку московского андеграунда, собирателей и критиков. Он принимал

и имена мимолетной моды, и неизвестных и мелких. И те и другие получали полное информационное обеспечение.

Информационное бюро — Талочка! Других нет.

Хлопоты о выставке он начал в советское время. «Назвали выставку “Другое искусство” — правда, мне название не нравится, два года назад это еще звучало, а сейчас уже нет, не то время», — писал мне Л.Т. в 1991 году.

Конечно, название было спущено сверху начальством «изофронта», испуганным переменами, и Талочкин принял его, потому что любая брешь на волю была для него победой.

Почему «другое», а не «дегенеративное»?

Хитрожопые устроители постеснялись назвать ненавистное рисование своим именем, как их более прямые, немецкие единомышленники, но напоследок решили лягнуть андеграунд, смешав его с мусором московских мафиозников.

Уверяю вас, мы не «другие», мы — «дегенераты».

Наши паспортные данные и манифесты надо искать не в академическом столе, а в Институте психиатрии имени Сербского. Товарищи устроители забыли туда обратиться.

А наш архив там.

Леонид Талочкин разбился в лепешку, чтобы составить достоверный каталог выставки, но московские цензоры старались затереть одних и возвеличить других, подходящих к их шаблону. Собрать картины «предателей родины», живущих на Западе, оказалось чрезвычайно трудно. Их представили в самом уничижительном виде, без освещения и названия. Каталог выставки вышел в двух книжках и, как водится, с опозданием на полгода. В нем выделялся никому не известный самозванец Юрий Злотников, выдавший себя за теоретика и практика андеграунда, неуклюже

обобщая и проектируя «провалы и достижения другого искусства».

А мы не «другие», а настоящее и гонимое искусство.

Академики братья Никоновы загорали на римской даче, когда нас колотили лопатами на московском пустыре. Теперь эти жулики примазались между Мишкой Кулаковым и Оскаром Рабиным!

Счетовод Талочкин не обошел эмиграцию, как это сделали питерские организаторы, вымарав самого «главного», Михаила Шемякина.

«Вот держу каталог выставки “Искусство Петербурга 50—80-х”, и меня там просто не существует!» — с горечью изрек изгнанник.

Да, есть перекосы и легко придраться, но Леня Талочкин крепко держал штурвал в бушующем море интриг.

Смешно звучит в моем ракурсе, но лифтер Талочка — выдающийся деятель русской культуры, сравнить которого просто не с кем ни в прошлом, ни в настоящем, создатель первого в России музея современного русского искусства.

Я представлен у него одной незначительной натурной работой — портрет с Талочкина (1969), но это по моей вине. Я жил и живу по старой вере и даров не делаю, особенно музеям, где бы они ни находились.

Пещерное мировоззрение. В светлую память Павла Михайловича Третьякова, даром не принимавшего, а покупавшего даже у начинающих живописцев.

Официальная культура строится на известных явлениях, следовательно, извращена. Ведь никто не знает, что будет с ней завтра, если неизвестные обществу явления и лица меняют ее ориентиры.

Известность приносит достаток, что немало для человека.

Кто бы мог предсказать, что Казимир Малевич, умерший в 1935 году в полной неизвестности, сотрет с карты Евгения Кацмана, блиставшего орденами в официальной культуре.

Талочкин — уникал! Он собрал несколько тысяч картин, не заплатив ни одной копейки! Бесплатный музей никому не известной современной культуры!

Первая, московская часть апостольского периода подполья достоверно представлена и на выставке, и в каталоге.

Постоянный музей его имени, образованный в Историко-архивном институте (РГГУ), — достойный памятник недавно почившему (2 мая 2002 г.) московскому мосту искусств, Леониду Прохоровичу Талочкину.

* * *

В первой «Мулете» Толстого (1984) появилась проза Константина Кузьминского — сабельные удары по русской морфологии и орфографии. Летели головы у заглавных букв, гласные дергали как сорняк, а запятые и точки прыгали кувырком в особые места. До этого мне попадались едкие и точные комментарии Кузьминского к стихам его современников, а теперь рубил и кромсал прозаик, красиво и содержательно расправляясь с персонажами повести. Эпистолярное заключение издателя Толстого — «клеветник, интриган и подонок» (о Кузьминском) — меня не обескуражило, а наоборот, я проникся глубоким уважением к заокеанскому «клеветнику» Кузьминскому.

«Сидит в парижеве лимонов, а бродский у него в печенках» — такое сочиняет подлинный поэт.

В следующем номере «Мулеты» я рисовал картинки с уникальным рубакой русской словесности.

Кузьминского я никогда не видел в глаза, но со слов Хвоста и Нуссберга знал, что в Питере был один «локомотив» по имени «Кузьма».

Папа локомотива не отличался особым воображением, назвав сына в свою честь — Костя, и получился Константин Константинович Кузьминский. В короткой автобиографии, составленной в восьмидесятом, он пишет: «Положение: шизофреник, специальность: тунейдец».

Предки шизофреника в густом тумане разночинной и местечковой Малороссии. Казаки и кантонисты, народники и марксисты, затем строители коммунизма в одной, отдельно взятой стране.

Семья на окладе совслужащего, ну, а «Кузьма» в школе с английским языком, номер 213, на Фонтанке — «первая школа, организованная Сталиным в 1949-м, чтобы пополнить ряды выбитых дипломатов», разъясняет сам К.К.К. Его однокашник — Лешка Хвост, «сын английского шпиона, автора учебника англо-американской литературы для старших классов, Льва Васильевича Хвостенко по прозвищу “хаш-хаш”».

Дипломат из шизофреника не получился. Университет проспал и бросил. Недоучка напился и двинул по уху милиционеру. Сел в дурдом, но не разоружился. Начинаящий тунейдец трудится в зоопарке, воюя со злобным попугаем какаду.

Групповщина и отрыв от масс.

Литературный Ленинград «Кузьмы» начинается со стихов Николая Степановича Гумилева — строгий классицизм, авантюрный сюжет, затем пришла очередь футуристов, нелюбимых местными поэтами. «Кузьма» — разрушитель этих литературных школ.

Рассказывают, что в 1960-м он жрал не каждый день, а «ахматовский сирота» Оська (И.А. Бродский), которому родители оставляли обед, звонил ему. Кузьма приходил, и они съедали «бродский обед» на двоих.

У тунеядца Бродского Кузьма занимает особое положение первого издателя.

«Собранный полный бродский (работа за февраль—декабрь 1962 года наша с григорием леоновичем ковалем, слепым моим учителем, соавтором и составителем) был рассчитан в 3-х экз. боренькой тайгиным (издательство “Бэ-Та”), один из них был отправлен в декабре, с любовью в.я. ситникова, архитекторшей галей старицыной (подругой моей жены основной, которая и ныне), для передачи алику гинзбургу, и тот двинул ее на запад, где уже вышла во “струвовских” опечатках и превратностях».

«Кузьма» не числился среди «ахматовских сирот». В комаровскую будку, где окопались Найман, Бобышев и Бродский, он не ездил, у самовара отяжелевшей поэтессы Серебряного века не сидел. «Кузьма» издавал тунеядцев просто так, из любви к настоящей поэзии. Подпольного издателя кололи аминозином на «Пряжке». Ему шили нелегальную фарцовку, и пришлось месяц попариться среди настоящих сумасшедших. Редких иностранцев питерские тунеядцы встречали как посланцев иных планет. Мастерская «Мишули» Шемякина, строявшего свой мир барочной графики, была вроде нелегального «МИДа». Там пили, там любили, там встречали парижскую тетю Дину Верни, там паковали чемоданы на Запад.

«Рабочий Русского музея» Костя Кузьминский выдернул из «МИДа» Сюзанну Масси и с ней издал «Живое Зеркало» — 1972-й. Так что о Западе грамотный рабочий «знал почти все».

А тут подоспели «проводы».

1971-й — проводы Мишули Шемякина, 1972-й — проводы Оськи Бродского, 1973-й — проводы Анри Волохонского, 1974-й — проводы Вовика Марамзина...

«Кузьма» — человек игры. В начале 70-х жизнь тунеядца повисла на «проводах», как акробат на проволоке.

«Осенью 1974 года я открыл в параллель бульдозерной выставку 23 художников на площади 24 кв. м. 128 работ. херр нуссберг выслал впередсмотрящего своего мичмана глиничкова (итээренфюзист), после чего прибыли сами — с галкой битт (во Франции?), пашкой бурдуковым (убит в берлине), наташкой проскуровой — террористкой (в совке?), и учинил террор, перевернул все вверх ногами, устроил съемки, задружился с моими художниками — росс-захаров (в германии), путилин (в париже), заинтриговал и вывел всю группу из участия в выставке Газа (дек. 74), путем чего мне пришлось мирить “вышедших” с жарким (в париже) и оргкомитетом...»

Конечно, «Кузьма» перед отъездом (1975) хотел хлопнуть дверью погромче, заявить о себе, как заявили московские «Мухоморы» Комар и Меламид, и шумок, правда, вышел изрядный. Дров в огонь подбросил московский кинет Лев Нуссберг (тогда и не «фон» и без сдвоенного «с»).

И Нуссберга легко понять. Никому не известные чудаки Комар и Меламид тащили из-под ног славу первого авангардиста России. Нуссберг забил в барабан с большим опозданием, американский капитал уже был очарован творческим порывом московской пары:

Расчетливый Роман Фельдман, пораженный изобретательностью еврейского народа, решил выдернуть москвичей из русского дерьма и возвеличить их как полагается!

В год бесповоротной эмиграции (1975) — Вена, Париж, Гренобль — «Кузьма» написал прозаический шедевр «Пансионат Беттины Торончик» — вещь бальзаковского уровня. Подблюдный стиль. Яркий анекдот. Письмо особого слога.

Европа оказалась глуха и слепа к «Кузьме». Выбивать деньги — занятие творческое, но обязательно обзовут жуликом, хоть на стенку лезь.

Убежденный тунеядец, акробатически следуя линии футуриста Пацука, выбил деньги на десять томов русской поэзии.

Апофеоз пещерной шизофрении?

Почему знаток американской культуры, ценитель английской морфологии со школьной скамьи, на американской почве строит мост российских ценностей?

Доказать дикарям, что мы не лыком шиты?

Тут опять русская мистика и тютчевское «Умом Россию не понять...».

Согласно сообщению модных газет, в нью-йоркской банде Энди Уорхола кто-то обкурился, кто-то повесился, кто-то умер от СПИДа — все похоже на правду, богачи тоже люди, но ведь тошно жить и умирать без парной бани! Положи Энди на полку, его забьют березовыми вениками! А без парной бани жить тошно. Хочется прыгнуть на парную полку, да врачи и охрана не позволяют.

«Кузьма», несмотря на помпезный вид и вес, явился на американскую кафедру, да еще в Техасе, совершенно голым. В Совдепии за голый вид и сутану (что одно и то же, пример сутаны — Павел Флоренский) ссылали на холодные Соловки корчевать пни. В богатом и строгом Техасе «Кузьму» терпели год и лишили университетского заработка. Свобода свободой, но библейские принципы выше всего, нагота — общественный запрет со времен Ноя. Вместо денег и кафедры «Кузьма» выбрал парную баню и подвал в доме работяги Владимира Некрасова, делового сибиряка с глазами пресного Байкала. Там, на дне Бруклина сошлись корифеи, черноморец Сах, безработный «лорд» Генрих Худяков и «профессор всех профессоров» Васька-Фонарщик. Что может быть ярче и выше такого общества?

Всемирный подвал справедливости! Какой там Энди Уорхол с ублюдочной бандой наркоманов!

Единственная парная на американской территории, где «Кузьма» банщик!

Беспощадная война против мирового зла!

«Кузьма», или К.К.К., уцепился за «академию Васьки-Фонарщика», чтобы прославить ее на весь мир.

Американский мост не только мечтал о галушках в сметане, он вкалывал.

Воздушный, компьютерный и надежный.

Гипноз московского самоучки был так велик, что питерский локомотив стал верным адептом сумасшедшего старика, единственного перла американской жизни.

В легендарной тачанке «Кузьмы» рысаки меняются местами. Вместо коренной поэзии с колокольчиком он запрягает пристяжную изящных искусств. Он всегда, с питерской богемы, менял лошадей: то гид в Павловске и Алушке, то редактор манифестов, Мишули Шемякина, то шеф квартирных выставок.

В американском «подвале» коренным стал Васька-Фонарщик, безумный врачеватель психбольного искусства современности. «Кузьма» добился того, что московского инвалида сравнивали с Ван Гогом!

Политическая перестройка барака Шестой Части Света свалилась на человечество, как бревно с потолка. Суетливая демократия упразднила бездоходные тиражи «Блокнота Агитатора», но не копнула поглубже, в позор вечного барака. Выгодные тиражи порнографического чтива попали в руки заслуженных разбойников с партийными связями. При таком раскладе для моста Кузьминского не хватало бумаги.

В 1987 году награждение тунеядца и эмигранта Бродского Нобелевской премией в Советском Союзе восприняли с большим смущением. Воскресшие с гласностью либеральные газеты с восторгом приняли награждение земляка. Орденоносные двурушники (Евтушенко и К°) дружно выступили в защиту незаконно гонимого поэта.

Нобелевский лауреат капризно и достойно отвечал им:

«Там, где Евтушенко, меня нет!»

Адепты соленых грибов и Святой Руси честно долдонили свое:

«Бродский не член нашего Союза, следовательно, не поэт».

Жидомасонский заговор против русских боровиков и лисичек!

Кузьминский с большим достоинством вспомнил о питерских встречах с «нобелеяном», не опускаясь до унижительного восхваления своего подопечного.

В сущности, награду получили все тунеядцы России. Не эмиграция и не «ахматовские сироты» Ленинграда, а бесцензурное творчество русской словесности.

Медаль получили все творческие мосты, и Гробман, и Талочкин, и первый издатель, американский мост К.К. Кузьминский.

28 января 1996 года в Нью-Йорке на 56-м году жизни скончался русский поэт Иосиф Александрович Бродский.

Покойника хоронили очень долго. Шесть месяцев. В Нью-Йорке поэта отпевали по православному обряду (успел, блин, креститься раньше нас!). Пришел русский посол со свитой, что означало, что Кремль признает тунеядцев с деньгами. В отделе оглашенных прятались Евтушенко и Ко. Провожали люди со средствами. У «Кузьмы» не было денег купить билет на метро. Он смотрел на двурушников по телевизору.

Люди, презиравшие поэта, спешили пристроиться в первые ряды почитателей «нобелевского лауреата» (шутка ли сказать! А мой дурак 50 лет славил коммунизм, а теперь торгует матрешками на базаре!).

После кончины А.С. Пушкина в 1837 году вдова поэта дала официальное объявление о кончине «ка-

мер-юнкера Двора Его...», без упоминания о «закатившемся солнце русской поэзии».

Русские газеты единодушно перечислили заслуги покойника и назвали его «великим поэтом».

Новоявленным поклонникам Бродского показалось мало «пушкинского солнца». Дело дошло до того, что покойного тунейдца сравнили с «солнцем вселенной» — Галина Маневич и Эдик Штейнберг (Р.М. от 4 февраля 1996 г.).

«Солнце всех солнц!»

Такого подхалимажа мы еще не знали!

Первый издатель Бродского, К.К.К., благодушно и благородно промолчал.

Прах поэта долго морозили в Америке, а 21 июня, в субботу, «прах Бродского был предан земле» на Евангелическом кладбище Венеции. Белый крест без дат, но с надписью «Жозеф Бродски».

Знарок андеграунда парился в бане.

Верный человек Фаддей Булгарин писал:

«Гоголь — это враг России!»

Про Кузьминского Булгарин сказал бы то же самое.

А связал нас не «поток сознания» и не «рубка синтаксиса», а Васька-Фонарщик.

По просьбе брата покойного гения, Николая Яковлевича, забравшего останки В.Я. на московское кладбище, я сочинял «жизнеописание» соратника по подполью. «Кузьма», живший с ним бок о бок семь лет — парная баня «некрасовки», «подвал», бой с Глезером и Доджем, — мог дать исчерпывающие данные. «Поток сознания» — забубенная вещь, слабак сорвется и загремит, но не таков К.К.К.

Он был привязан к сюжету «Васька», как каторжник к ярму. Там он стал моим гидом, редактором и наставником по американскому дну В.Я. Ситникова. Его познания и восторг помогли мне разобраться в петливой судьбе первого московского художника и

опознать тупые происки его брата Н.Я., все тащившего в русский тупик, и безобразную и циничную суету его неверных учеников, занятых продажей «русского китча», выдаваемого за изобретение Ситникова. Мои розыски висели на трех мостах — Москва, Израиль, Нью-Йорк.

Мой сырой опыт Кузьминский принял с благодушной иронией. Он собрал «досье» на 500 страниц, в то время как я настрочил 20.

Есть чему завидовать.

Поэт. Прозаик. Собиратель. Организатор. Издатель. Живой артист. Русский мост в Америке.

Одним пострадавшим и потерпевшим крушение он выдает орден Сталина с красной подвязкой, а другим — автомат Гочкиса и сто пятьдесят семь патронов к нему.

Мне — мост искусств.

7. Тусовки на берегах Сены

Париж — прижимистый город, артистам не легко — и холод, и голод, и неизвестность. В дождливый, осенний день 1991 года три русских артиста: мастер абстрактной фотографии Валька Тиль, мастер портретного сходства Коля Любушкин и мастер масляной живописи Саша Путов — в отчаянии метались по арабскому кварталу в поисках пристанища. У большого висячего замка, рядом с величественным бункером ЦК французской компартии они распили бутылку водки, и опытный Тиль крикнул:

— Братцы, не бойся, кусай замок!

Путов и Любушкин срезали ржавый замок и вошли в пустующее помещение.

В час раздела чужого достояния пришли известные сочинитель берущих за сердце баллад и гимнов Алексей Хвостенко и укротитель Черного моря Олег Соханевич.

Тираны мира, трепещите!

Алексей Львович Хвостенко, в пластике «Хвост», — фигура легендарная. Он начинал питерский авангард с убедительно сделанной песни: «Я говорю вам: жизнь красна в стране больших бутылок. Здесь этикетки для вина — как выстрелы в затылок».

А.Д. Арефьев, Евгений Михнов, Леонид Ентин, Иосиф Бродский — вот кто был рядом, вот с кем Хвост из искры раздувал пламя свободного творчества.

«Скорпион» 14 ноября 1940 года родился на границе Европы и Азии, в рядах строителей коммунизма. Весна народов и ненормативная лексика блатного мира с пеленок.

1945 год — «Гитлер капут!», но Ленинград, потрепанный войной и голодом, имел жалкий вид. Он вошел в жизнь Хвоста не силуэтом Петра Первого, а пивными и задворками уголовного царства.

Песни Хвоста распевали в тайге и пустыне, однако он не числился «инженером человеческих душ» и, следовательно, считался не поэтом, а тунеядцем. На Западе, куда Хвост спустился «апатридом» русских песен, за исключением «калинки-малинки», никто не пел, а кушать хочется всем. Хвост увлекся изготовлением «ненужных вещей», находивших своих почитателей. Лучшего места для изготовления таких «объектов», чем парижский скват, придумать невозможно.

Легендарный черноморец Сах и прославленный бард Хвост сошлись в парижском сквате, как коса на камень.

На первой сходке у стола с самогоном авторитетный Хвост заявил:

— Слишком много русских!

Ночью на нарах храпели новые квартиранты. Пара многодетных африканцев без прописки и трое като-

ликов из Гданьска. В сквате появилась пахучая смесь африканских джунглей и квашеной капусты.

Художник Юрий Гуров показал абстрактные картины и скульптуры с явным намеком на мистику секса.

Тихий израильтянин Толя Басин с упоением рисовал бока безымянных красавиц, издавела похожих на таинственные музыкальные инструменты.

Русская девушка по фамилии Вальдрон с яростью разводила краску в помойных ведрах, бросая ее на поверхность мешков и рогож и создавая атмосферу заколдованного царства.

Анархист Рене Струбель, защитник всех скватов Парижа, из мусора лепил огромные распятия, заматывая их малярной краской.

Люди трудились, как муравьи. Одни рисовали, другие шили костюмы, третьи бегали в магазин за водкой.

Согласно теории Хвоста человечество делилось на две неравные части, на гениев и жлобов. «Я, например, гений, — добавляет он, — и не обязан давать отчет жлобам!»

Сочинитель песен и «ненужных вещей» берет в долг, чтобы не отдать. Надуть своего близкого, православного или католика, для Хвоста так же естественно, как обоссать два пальца. Занимать у жлобов с большими кулаками он опасается, предпочитая мало-мало сильных интеллигентов и влюбленных женщин.

Хвост сумел сколотить группу под названием «Тундра русских артистов», где почему-то состоял и француз Струбель и полячка Ванда Новак, и более двух лет собирал с тундряков членские взносы, ловко лавируя среди зависти и вражды.

У истоков этой ассоциации, зарегистрированной в полиции, стоял молодой питерский декоратор Владимир Чернышев, презиравший артистические скваты, но упорно продвигавший русскую банду в искусство.

Он потратил массу личных средств и нервов, развозя по Европе «русскую тундру», не имевшую успеха.

В парижских скватах удельный вес постоянно склоняется в пользу Африки, но каково же было мое удивление, когда в сквате «Жульет Доду» совершенно черный гражданин, гладивший приبلудную кошку, на чистом русском языке ответил мне: «Хвост дома!»

Артистическая тундра жила на русское авось.

Правда, буржуазные соблазны то и дело выводили из строя одного-двух скватеров, исчезающих в безумном мире, но основной состав непримиримых переносил все невзгоды погоды и угрозы полиции с большим терпением.

Жили весело и с музыкой.

Хвост, используя поэтические связи с Россией, приглашал в скват лучших поэтов и музыкантов страны: Генриха Сапгира, Вячеслава Лына, Константина Кедрова, сообщество «Митьки», ансамбль «Аукцион». К приему именитых гостей собирали настоящий «диссидентский стол» 60-х годов — корыто вареной картошки в мундирах и батарея парижского самогона с лимонными крошками.

Концертную программу сопровождала выставка художников, открывших свои норы для всех желающих поглазеть на секреты творческой лаборатории.

Отряд избранных!

Сах прилюдно крутил металлические трубы рычагом Архимеда.

Путов красил сразу десяток композиций.

Струбель угрожал народу распятием из технических отбросов.

Читали, пели и орали до утра. Швейцарские операторы, пораженные широтой русской природы, упали на пол мертвецки пьяные. Крепче всех держались католики из Польши и анархисты Рене Струбеля. Дикие птицы и кошки бесстыдно прыгали в корыте с

объедками, приезжие поэты храпели по углам, а слава о русском сквате росла не по дням, а по часам.

Об артистическом гараже «Жульет Доду» говорил «весь Париж». На поклонение таинственной русской тундре валили толпами. Коллекционеры современного искусства, пораженные дешевизной русских новаторов, скупали и вывозили на вес, с намерением нажиться как можно быстрее.

Голоса снобов: «Противно смотреть! Сплошная глупая мазня! Непролазная грязь! Художники воняют как козлы и мычат как пещерные дикари!» — тонули в море почитателей.

Адрес сквата продавали в Харькове, Гатчине и Бельцах.

Однажды ночью Сах, с черноморских времен страдающий бессонницей, снял с высокого забора шахтера Донбасса, приехавшего на заработки в Париж по адресу «Жульет Доду». Ему пытались втолковать без всякого успеха, что он лез в нелегальный скват, а не в отель с тремя звездами, но шахтер упрямо держался за нары, не желая покидать помещение. В конце концов Хвост взял его подсобным рабочим за ночевку под крышей.

Коллективные показы последних достижений «тундры» звались Дни открытых дверей — изобретение парижских скватеров, вышедшее в культурный обиход всех столичных художников, — когда ворота гаража распахивались настежь, картонные переборки мастерских раздвигались для публичного осмотра, — что рисует и что ест живой артист.

Люди приходили бесплатно посмотреть на дикое подполье Парижа. Полюбоваться на красочную богему планеты, на плохо стриженных, в засаленных штанах типов, не то творцов Божьей милостью, не то крикливых сумасбродов без царя в голове.

* * *

Выставки, ярмарки, торги — неотъемлемая, хотя и потускневшая часть парижского пейзажа. Все продается, но не все покупается. Шестьсот галерей и десяток многолюдных скватов с нетерпением поджидают денежного японца, но на всех его не хватает.

В осенний сезон Париж выбрасывает разнообразные продукты изящных искусств прошлого и настоящего, последний крик моды и лежалый товар.

У видавших виды парижских знатоков публичных торгов создается впечатление, что одна часть мира рисует, поет и танцует, а другая спит на деньгах.

В 1991 году неисправимые русские артисты возобновили свои фестивали с «триумфа Хвоста».

Старейшина растленной богемы Алексей Хвост (пластика), и он же Хвостенко (музыка и песня), выставил напоказ декоративную лепнину, сработанную из отбросов древесины.

Вечером 29 сентября маклак парижского дна Владимир Нечаев залез на колченогую лавку и громко выкрикнул:

— Я был на баррикадах Москвы, а вы, сволочи, отсыпались в Париже!

Шеренга приглашенных сволочей угрожающе заворчала на свидетеля русской революции и, как угорелая, кинулась в холодный буфет.

После первого стакана скват загудел, как пчелиный улей, люди расползлись по темным углам, составляя конспиративные группы.

Затем слово взял диссидентский поп Лев Конин. Он умолял присутствующих обняться и, не чокаясь, помянуть безымянных бойцов, преждевременно погибших на московских баррикадах. Пока группы готовились обниматься и поминать, поп проворно распахнул потертый портфель и выбросил оттуда в народ

пачку листовок под угрожающим заглавием «Люди, грядет Армагеддон!»

Не успели грамотные дочитать заглавие, как в просторное помещение с барабанным боем ворвались провокаторы и скандалисты из Лиги советских художников под водительством Грищука и Заславской.

— Долой советскую Лигу! — вспыхнул приезжий американец Лев Межберг. — Я вырос на Левитане, следовательно, я не советский, а русский художник!

Попытка раскольников из Л.С.Х. увести покупателей в свой клуб закончилась полным провалом. Они смиренно поджали хвост и пристроились к буфетной стойке.

Гении, жлобы, воры и шизофреники, мудаки и бляди с нетерпением ждали почетного скватера, и он появился. Опираясь на суковатый костыль, в лучах малосильной лампы стояли отяжелевший Оскар Яковлевич Рабин с супругой. Они не кинулись, как малохольные, к селедке и водке, а спокойно, с большим достоинством прошли вдоль черно-рыжих произведений Хвоста, вникая в глубокое содержание ненужных объектов.

— Скват — интересное учреждение, — сказал О.Я. Рабин, пристально изучая лица слушателей, — от хорошей жизни сюда не придешь!

Гитаристы ударили по струнам. Ряженные в рванину завертели в ритуальной пляске. Леха Хвост закрыл покрасневшие глаза и пронзительно завыл о незабываемых полустепях и полулюдях Евразии. В темноте кто-то зарыдал и с чувством разбил стакан.

Тусовка Хвоста кончилась без драки, а с утра 1 октября начались «гуровские дни».

Всем известно, как тернист путь художника и горька его чаша. Другой, менее пытливый почил бы на академических лаврах, но не таков Юрий Гуров. Питомец Ленинградской академии художеств собрал свое

творчество в багажник подержанного автомобиля и припарковался на берегу Сены, умело избегая прямой встречи с полицией. А поскольку деловой совок еще не стал почетным членом Жокей-клуба, то выставить привозной товар пришлось в нелегальном месте.

Как пятьсот лет назад Кристоф Колумб открыл Америку, так и отчаянный ленинградец, в проливной дождь и холод, открыл на суд зевак и алкоголиков ряд инсталляций и живописных полотен, где гвоздем было условное изображение славного барда русской эмиграции, мистера Флора Кеслера, гражданина Австралии и постоянного обитателя сквата.

— Портрет мистера Флора — это живописный шедевр! — авторитетно заявил упакованный в полосатый костюм деловой искусствовед Эстонии Влад Красновский, готовый вступить в любую масонскую ложу строгого подчинения.

С ним охотно согласились и выпили за здоровье плодovitого живописца.

Очень оригинальным оказался горячий буфет, собранный сестрами Ольгой и Маргаритой Лурье. На одном столе, задвинутом в дальний угол, пыхтел фаршированный пирог и ватрушки, а на другом, этак метров за сто, возвышались ядовитые алкогольные напитки. Такое странное разделение столов посетители относили к досадному промаху банкета. Поймите сами, ведь не всякий гость сумеет хлопнуть стакан водки в одном углу, а закусить в другом, на значительном отлете. Как и следовало ожидать, гости пили, падали на четвереньки и ползли к пирогам, где образовалась давка и гвалт. Конечно, времени на осмотр выставки было в обрез, но надо сказать откровенно, что духовное пространство Юрия Гурова, где постоянно пасутся еврей-татарин-славянин, полностью устраивало посетителей всех рангов, от капитана Лебядкина до генерала Рабина.

Никто не ждал, что великолепный вечер будет испорчен одним приبلудным предателем родины. Ровно в два часа ночи, когда почтенные посетители собрались разъезжаться по домам, грубиян высокого роста, качаясь, взошел на инсталляцию Гурова, замычал, как корова, и сооружение с грохотом развалилось. Гнусного провокатора стукнули в лоб и выбросили под дождь с помощью американского силача Олега Соханевича. Остатки инсталляции воротили сквата сгребли в одну кучу, издавелека напоминающую египетскую пирамиду.

Скватеры не строят пирамид и не пакуют мосты в целлофановые мешки.

Они живут по-своему и в условиях полной свободы. У них нет плана спасения человечества от духовной гибели, они не прочь хапнуть лишние деньги и спать на буржуазных перинах, пить лимонад на модном пляже и сидеть в международном жури, но они и пальцем не двинут, если в перинах появятся тараканы или утонет принцесса в море. Они не озабочены прошлым, настоящим и будущим буржуазных порядков. Они неисправимые идиоты и шизофреники.

Что заставляет этих придурков искусства собираться вместе? Бедность? Одиночество? Невежество?

— До зимних вакансов всем выметаться! — объявил авторитет безродных космополитов Леха Хвост.

Управлять хеврой скватеров гораздо сложнее, чем Ясону аргонавтами. Высокого авторитета Хвоста не хватало для решения острых финансовых вопросов. Например, как собрать деньги на транспорт.

Черноморец Сах категорически отказался от складчины, считая, что Хвост пропьет общак и получит бесплатный грузовик от строителей. На саховское «Пошел ты на хуй со своим грузовиком!» честолюбивый бард кинулся в рукопашный бой. Сах, не рассчитав силы, раскровянил нос Хвосту. Драчунов растащили,

но не сломали духовно. Они упорно держались своих жизненных принципов. Сах считал, что гений не обязан оплачивать общественные нужды жлобов. Хвост наивно полагал, что Сах ему должен за посвященную ему песню.

В разгар братоубийственной войны на моем чердаке появилось три велосипеда Соханевича, два английских галстука и десяток картин, о которых смущенный Эдик Штейнберг сказал:

— Это тебе не диалог с Малевичем, а вершина западной мысли.

8. «Искусство принадлежит народу» (В.И. Ленин)

В семейной, клановой традиции долговременное выживание реализма.

Русская изобразительная культура знает десятки фамилий, не выходящих из искусства двести лет подряд. Эта доходная и почетная традиция была подхвачена в эпоху победившего соцреализма, причем вожаками семейных кланов оказались необходимые советской власти питомцы Императорской Академии художеств с их прочной методикой академического рисования. Новаторский почин в эстетике оказался глуп и вреден, потому что вносил опасную неразбериху в стройные ряды доходного производства и расшатывал устои казенного мировоззрения.

Не волнуйтесь, если вам скажут, что соцреализм бессмертен!

Полистайте советские газеты. Там с гордостью пишут о том, что народы продолжают выводить целые «династии скульпторов», как продолжают выводить «династии сталеваров», «династии политиков»!

Вы считаете, что это пошло, стыдно, глупо! Но выпускнику художественного института, мечтающему через десять—двадцать лет занять теплое кресло

академика, и в голову не придет такой еретический вопрос. Он гордится собой и себе подобными, он кормилец и поилец, он профессионал вечного реализма. Ежегодно десятки художественных учреждений Евразии выпускают в свет сотни отличников семейного ремесла.

Парижский Дом общественных торгов, Отель Друо-Ришелье. У газетного киоска шикарно одетая молодая пара говорит по-русски. Спрашиваю, откуда и куда. Отвечают, поглядывая сверху вниз, хотя взаймы не прошу. Она, Анастасия Соколова, дочка московских художников, диплом академии, работает по контракту в Париже, ей 23 года. Он, Валерий Чернорицкий, сын художника, диплом академии, работает по контракту, ему 25 лет. Поднимаюсь в зал на выставку «шарм рюс». Они рисуют почти одинаково «мещанские сны» — веранда дачи, самовар, ваза с цветами, открытая книжка, красавица в качалке с обнаженным плечом и коленом, — сплошной экологический мир без намека на преступления цивилизации.

Я знаю, что их изображения идут нарасхват по 15—20 тысяч франков, месячная зарплата французского чиновника. Сегодня у них очередная, десятая по счету продажа «мещанских снов».

Вот главное из разговора.

— Нам никто не заказывал «квадраты», а на «обнаженку» есть заказчик. Мастерская в Париже, материалы, вкусный буфет, автомобиль, развлечения.

У советского профессионала, прямо скажем, нет выбора. Рисовать «под Малевича» и ждать с неба погоды или выдавать квадратные километры «обнаженки» с постоянным сбытом.

Нам же остается лишь пропеть славу «великим братьям» — Брюлловым, Ивановым, Васнецовым, Коринным, Ткачевым, Смолиным, Алимовым, их своякам и племянникам, — ведь это они создали спрос

на немеркнущую «обнаженку» и преемственность в семье профессионалов.

Судьба улыбнулась Западу. Ни лютых морозов, ни коммунизма, ни азиатской мистики, ни списков на краски, гвозди, кисти. Быт достают не в очереди, а берут с красивой витрины.

Гога и Магога соцреализма рвется на Запад.

Не забывайте при этом, что так называемые «свободные художники» считаются на спесивом Западе лишь подражанием западным шаблонам модернизма с отставанием лет на тридцать.

Среднеарифметическое кредо соцреалистов составлено из фарша в виде Коровина, Серова, Ренуара, Герасимова, разжевано для потребителя легковесной экологии и является «русской моделью» изящного творчества.

На парижских аукционах 60-х годов, до появления «третьей волны» русской эмиграции, продавались произведения русских классиков, главным образом давно осевших за границей. По рассказам старожилов, картинка Коровина, рисунок Гончаровой или акварель Бенуа стоили не дороже пары перчаток. В 80-е годы стали появляться диссидентские произведения советских подвалов, но по таким унижительным ценам, что приток их прекратился.

До перестройки «соцреализм» на аукционах не являлся.

В эмигрантских кружках на подражателей, скажем, Александра Герасимова смотрели бы как на тяжело больного шизофреника, однако вскорости они появились.

В Евразии все одинаково бесправны, от прославленного генерала до последнего дворника. В огромной стране гражданин не живет, а трясется как заяц в норке. Рано или поздно человек с воображением начинает мечтать о настоящей жизни и пакует чемодан на вольный Запад.

Нет ничего удивительного в том, что на Западе очутились такие выдающиеся соцреалисты, как Марк Клионский. Западный мир дал ему ту степень доверия, чего не давала Совдепия, несмотря на лучшие образцы «ленинианы», которые он выдавал для медитации. На удивление абстрактивистов, считавших западное искусство своей исторической родиной, уверенный успех академика Клионского высоко поднимал и концепцию «соцреализма».

Весной 1987 года, осматривая парижские галереи, советский академик Дмитрий Жилинский, идеолог «семейного реализма», возмущался беспомощным рисованием местных художников.

И он прав. С крушением академической школы западные артисты, в подавляющем составе «фигуративисты», и при большом желании не сумеют нарисовать так, как это делают Клионский, Жилинский, Заборов, закончившие советские академии.

— Нет, такое искусство на Западе не пройдет! — судачили недалёковидные эстеты беспредметных направлений.

Западный рынок пытался внести свою табель о рангах на торгах Сотбиса 1988 года, происходивших в Москве. Пять художников удалось выдернуть из анонимной гущи советского авангарда, но сама операция оказалась фальшивой. Модернистов никто не покупал.

— Настоящее лицо русской культуры — соцреализм! — постоянно повторял собиратель русских картин всех жанров Гариг Басмаджан.

На парижских торгах 1989 года появилась первая продажа «русского шарма». За ней стояла пробивная питерская ткачиха Наталья Варшакова, внесшая существенную поправку в торговлю картинами. Кто надоумил молодую, амбициозную, говорящую по-французски питерскую девицу собрать такой кулак и ударить, можно лишь гадать, но первая продажа оказалась очень обнадеживающей.

Парижские богачи нашли своих героев.

Ими оказались ленинградские профессионалы семейного ремесла, лепившие «обнаженку», как блины на Масленицу. Картин на всех не хватало, и вскорости образовалась давка желающих, вещь чрезвычайно редкая в разбалованном Париже.

Постепенно, от продажи к продаже, «эксперт» Варшакова производила беспощадный отсев актеров, оставляя самых мастеровитых «попников», набиравших коммерческие цены, — Филарет Пакун, Олег Ломакин, Борис Лавренко, Юрий Подляский, Николай Баскаков. Круг профессионалов победившего «соцреализма» виртуозно сокращался до одного-единственного шаблона, принятого покупателем.

Питомцы советских академий оказались непревзойденными акробатами. Ремесленники, неспособные к художественному творчеству, как пуля были там, где сыпалась валюта.

Кто спасет соцреализм от долгожданной кончины?

Приглядитесь к лицам покупателей. Это не авантюристы высокого полета, не агенты японских компаний, не частные музеи Америки. Они противники дегенеративного творчества. Лукавые помыслы сумасшедших им не нужны. У них есть валюта!

Питерская ткачиха, московский волокита и киевский фарцовщик делают бизнес на «соцреализме».

Варшакова выгоняет свою десятую продажу и две тысячи проданных картин. 11 декабря 1989 года появляется сто сорок картин «уральской школы», 15 декабря к делу подключатся торги Женевы. Они берутся продать четыреста картин «от Петербурга до Киева» на любой вкус и цвет советского академизма. Цены на передовиков перевалили за сотысячную планку, а это уже серьезное предупреждение!

А вдруг советская модель искусства доходчивой истины — лучший пример для будущего Европы?

Часть двенадцатая ФАЛЬШИВАЯ ГЕРАЛЬДИКА

О Русь, забудь былую славу —
Орел двуглавый сокрушен.

Вл. Соловьев, 1895

А этот чародей превращает снег в сырники.
Шолом-Алейхем, «Блуждающие звезды» (1910)

1. Судьбоносный город

Как-то у грамотного француза спросили, как выглядит герб России. Он, не моргнув глазом, ответил: «Урс пато!» («Косолапый медведь!»).

Француз ошибался, но выразил сущность проблемы. Начиная с первых европейских карикатур царская Россия изображалась в виде огромного и опасного медведя, подмявшего под себя необъятные территории Европы и Азии, от Варшавы до Порт-Артура.

Такой Россия видится и сейчас.

На летних Олимпийских играх 1980 года советская власть продавала сувениры с изображением симпатичного «мишки», ставшего эмблемой спортивных соревнований. Кто знает, возможно, пожилое правительство СССР думало сменить опостылевшие, чуждые «русскому духу» символы Коминтерна на полярного или бурого медведя. По правде говоря, такая замена была бы естественным отражением внешней и внутренней метафизики страны.

О смене государственной геральдики поговаривали давно. В эпоху бесчисленных митингов при-

блудные чудаки размахивали хоругвями всех цветов и направлений, но победил «триколор». В октябре 1991 года над зеленым куполом Большого Кремлевского дворца взвилось трехцветное прямоугольное полотнище, заменившее красный флаг с серпом и молотом и пятиконечной звездой над ними в левом углу.

Лица, захватившие власть, поспешно упаковали бронзовые, мраморные и гипсовые изваяния коммуниста Ленина в полосатые флаги русских капиталистов и помещиков.

Почему полосатый «триколор»?

В старинных учебниках русской геральдики мистика русского флага трактуется следующим образом: «цвет Белый — Белоруссия и Благодородство, цвет Синий — Малороссия и Честность, цвет Красный — Великороссия и Смелость». Такое объяснение Сената от 1883 года вряд ли устроит самостийников Украины и Беларуси образца 1994 года, но правительство Российской Федерации принимает его безоговорочно.

За сменой флагов последовала смена гербов.

Государственный герб — паспорт страны. В наглядной аллегорической форме выражается сущность режима.

Победитель конкурса на рисунок герба РФ, скульптор Владимир Похалецкий рассказывает так:

«Возмущало то обычное легкомыслие, с которым подобные задачи ставятся. Имперский орел превратился у нас в жалкую курицу».

Согласно замечанию рисовальщика, ответственные лица страны на поиски новых, невиданных символов режима не рискнули. Сначала демократического орла просто срисовали с герба Временного правительства 1917 года, хирургическим вмешательством Ивана Билибина лишённого всех царских регалий, но потом, сообразив, что Кремль — понятие постоянное, а не временное, от «жалкой курицы» вернулись к

классическому орлу XIX века с жезлом и державой, с тремя не имеющими теперь никакого смысла коронами над головами.

Теперь все спешат в Москву. Развалины коммунизма. Русская революция. Памятные снимки на фоне Кремля. Рукопожатия. Посвящения. Поучения.

В августе 1991 года революционную Москву осчастливил своим посещением мэр Парижа Жак Ширак. Обменялся подарками. Что подарил Москве вожак французских демократов, не показали, но подарок Президента РФ сняли крупным планом.

«Герб Божией милостью Державного Великого Государя, Царя и Великого Князя, всея Великие и Малые и Белые России Самодержца, Сибирские Земли Повелителя, Государя Ливонские Земли и иных многих».

Три короны, Держава, Скипетр, Святой Георгий в овале! — все как положено, все как бывало!

Восхитивший меня подарок — аккуратно окантованную под стекло фотографию московских баррикад и картину огромного Двуглавого Орла над ней — принимал сияющий от счастья француз от сияющего от счастья русского героя Бориса Ельцина.

В день большого праздника русской демократии, 22 августа, пестрая московская толпа тащила над собой длинный полосатый «триколор» — белое, синее, красное — знамя исторической России, символ народного возрождения. Могильщики коммунизма орали как оглашенные, ломали памятники палачам, а красные знамена рвали на портянки под дулом телекамер.

Решается и судьба главного символа советского государства — Красной Звезды. Могу представить себе лица прославленных генералов, освященных бесчисленными победами над «белогвардейскими бандами», «румынскими боярами», «финскими фа-

шистами», «японскими империалистами», не говоря уже о войне века с «гитлеровской чумой»!

Что думают на этот счет московские правители?

Однако вернемся к подарку Бориса Ельцина, попавшему в славный город Париж, и раскроем его паспортные данные.

Простодушные русские богатыри глубоко ошибаются, считая двуглавого орла, впрочем, как и порох и телефон, изобретением русского гения. Подобные символы широко распространены за пределами Шестой Части Света, начиная с мусульманской Албании и либеральной Австрии и кончая многочисленными потомками западных «крестоносцев». Во избежание кривотолков и смуты необходимо еще раз определить его происхождение.

«Царский Орел» придумали не думные бояре, а библейские люди. Почтенный символ, принятый русскими царями и московскими демократами, очень древнего языческого происхождения. Археологи обнаружили его начертание на стенах древних крепостей Малой Азии, Персии и Урарту, а если верить легенде, то военный наемник царя Давида (X в. до н.э.), генерал Урия Хеттеянин, ходил в походы под щитом, украшенным двуглавым орлом. Языческий символ кочевал по глухим углам Востока до тех пор, пока его не присвоили пришлые крестоносцы и местные деспоты Византии.

В XV веке владыка Коринфа Фома Палеолог проиграл войну с турками и, благоразумно прихватив мощи св. Андрея Первозванного, сбежал в христианский Рим. В поисках доходного места он наткнулся на глухую Московию, где овдовевший государь искал грамотную невесту. После короткого сговора обоз образованной дочке Палеолога с кардиналом для крещения москвитя (на Западе полагали, что Московия пребывает во тьме языческого невежества) доставил

приданое в виде Двуглавого Орла, сразу потеснившего неопределенную символику московского жениха.

Конечно, «жидомасоны», стоявшие за племянницей «Василевса», надули легковерного Ивана. Но кто знал о такой подлости в глухом, медвежьем краю?

Таким образом, начиная с XV века подарок Зои Фоминичны прижился в руках русских деспотов, год от года расправляя крылья, от пары коронованных голов до хвоста, покрываясь знаками завоеванных и добровольно присоединенных «царств», «ханств» и «земель», в жуткой ненависти освобожденных народов.

В горячее время Первой мировой войны геральдическая контора Временного правительства очистила главный символ страны от имперских и жандармских знаков власти — корон, скипетра, державы, эмблем, «победоносца», окрестив уродливое, оголенное изображение «российским гербом».

Борис Ельцин Двуглавого Орла оснастил по-царски. Видно по всему, что современный герб рисовали не чувствительные социалисты и ренегаты, лишенные исторического воображения, а хранители огня национальной, Святой Руси. Они рисовали жандарма, а не свободу.

Люди, посетившие московские баррикады, видели там множество хорошо тренированных штурмовиков с хоругвями и попами, ставшими народными депутатами. Давно известно, что у этих тертых калачей сундуки забиты древней геральдикой и сграфитикой. За ними «союзы благородных дворян», «товарищества русских художников», «союзы русских писателей», до зубов вооруженные генералы и претендент на русский престол.

Подарок Ельцина принял Ширак, но не башкиры.

В том же 1991 году в горячей точке страны, в Уральске, вспыхнул мусульманский бунт. Толпа башкир с криком: «Долой русских колонистов! Азалтык!

(Свобода!)» — забросали камнями охранные отряды, развернувшие трехцветный русский флаг.

«Ливонские Земли» отпустили на оброк. Остаются «иные многие».

О московском бунте 1993 года несли так много чепухи, сообщения очевидцев противостояния были самые пестрые и фантастические, когда дело касалось жертв, так что до сих пор толком никто не знает, что там произошло.

В январе 1994 года указом Президента РФ этот странный двуглавый орел был утвержден в качестве государственного герба первой в истории России демократической республики.

Самый ограниченный политик знает силу воздействия мистических символов на психику человека. Он ищет ярких, броских, выразительных средств и для привлечения сторонников, и для выражения великих идей. Герб РФ, лишенный пышности имперских украшений, выглядит если не «жалкой курицей», то пошлым китчем XIX века без идей.

Чем же объяснить геральдическое скудоумие Кремля?

Всем известно, что советская геральдика не отличалась особым разнообразием. Беглые каторжники, космополиты и инородцы, взявшие власть в 1917 году, предложили пятиконечную звезду и ограничились красным цветом. Правда, в отличие от современных владык Кремля они подключили к творческой деятельности передовых художников страны — Альтмана, Чехонина, Лисицкого — и в короткие сроки произвели гербовые печати, ордена, казначейские билеты и армейское обмундирование.

Несмотря на узость темы, футуристы 20-х годов создали ни с чем не сравнимые, неувыдаемые шедевры художественного творчества.

Красная Армия, украшенная красным «пентаклем», наголову разбила в Гражданской войне остатки Русской армии под национальным «триколором» и двуглавым орлом. В сознании миллионов граждан красная звезда остается победоносным знаком в отличие от царского орла, ставшего символом реакции, поражения, изгнания.

Российская глубинка, да и жилищные конторы столиц, благоговейно и расчетливо хранят метафизику советской власти: переходящие вымпелы ударников труда, знамена пионерских отрядов, портреты видных вождей коммунизма, тертые сухой кистью, изображения первых космонавтов. А вдруг завтра капиталисты и помещики сбегут в Израиль и над древним Кремлем взвьется красное, по-настоящему русское знамя!

Княжеский метафорический знак с изображением всадника, поражающего гидру зла, — грузины считают, и должно быть, с опорой на более древние источники, что настоящий воитель, св. Георгий Победоносец, принадлежит Грузии! — великодушно подарили городу Москве.

Мистическое сокровище в зависимости от моды и от эстетического воспитания монархов неоднократно менялось по форме и содержанию. Раздвигая территорию, Россия добавляла на крылья прожорливой птицы новые эмблемы. В 1883 году царский Сенат утвердил единый и неделимый «большой герб» для всех подданных Российской империи. На изменение композиции герба требовалось особое разрешение правительства. Это было пышное аллегорическое сочинение с извилистой порфирной мантией, парой ангелов-хранителей по бокам, кольцом территориальных эмблем на лавровых и дубовых ветвях, с сердцевинной, окруженной цепью ордена св. Андрея Первозванного, представляющей двуглавого орла с гербовым щитом Москвы на груди.

Мы живем в мире таинственных знаков.

Психбольные русские богатыри убеждены, что красный «пентакль», под которым они годами разоряли и усмиряли врагов мира и социализма, есть условное изображение самого Люцифера.

В особой кладовой Эрмитажа можно полюбоваться «пентаклем» червонного золота (прямо вешай на шею маршалу!), найденным в скифском кургане. В философской коммуне Пифагора этот четкий геометрический знак считался пропуском на собрания посвященных в тайны мира.

Бракуя сатанинский «пентакль», кремлевские богатыри вышли на ложный след «двуглавого орла».

Русский орел является не только символом желанного «православия, самодержавия и народности», но и важным эзотерическим знаком мирового «жидомасонства». Еще двести лет назад братство вольных каменщиков приспособило для своих тайных затей не только звезды, кресты и треугольники всех начертаний, но и древнюю птицу. Падкие на пышные титулы масоны украсили высшую, 33-ю степень Великого Державного Генерального Инспектора причудливым двуглавым орлом с пламенеющим мечом в косматых лапах. Пусть нерадивые двурушники и ренегаты, профаны и вульгарные безбожники, утонувшие во мраке невежества и порока, трясутся от страха! За ними денно и ночью следит всемогущий двуглавый инспектор с острым мечом возмездия!

Территория Российской Федерации в точности совпадает с границами РСФСР, нарисованными коммунистами. Спрашивается — на каком основании правительство РФ присвоило себе пусть неполную, ободранную, но геральдическую символику Российской империи с границами от Варшавы до Порт-Артура?

Современная кремлевская символика, раздевшая герб царской империи, выглядит фальшивой и пус-

той. Ее геральдический китч вызывает недоумение и протест.

2. «Тундра хрустального дворца»

Весной 1993 года я получил роскошный, цветной, на картоне, пригласительный билет из «Кристал Палас», Севастопольский бульвар, 43, в двух шагах от фонтана Шатле. Я никогда не слышал, что там есть «палас», но художник Вилька Бруй уточнил по телефону, что так называется бывший бордель, захваченный им для выставки. Сейчас там выставляются он и Хвост.

Я пришел туда днем, часа за три до вернисажа. У входной двери сидел Бруй, мирно беседуя с первыми гостями, поэтом Олегом Прокофьевым и танцовщиком Мишей Барышниковым. Они цедили белое вино между трепом о чепухе. В подвальном помещении необъятных размеров, похожем на танцевальный зал, висели работы художников, а в дальнем углу Хвост и приезжий живописец Лев Межберг играли в шахматы. Поднимаясь по внутренней, металлической лестнице былых времен, я обнаружил на стенах примитивные фрески с изображением цветов и садов Семирамиды и большой буфет, где метались знакомые силуэты постоянных скватеров, оформитель Савельев, портретист Любушкин, фотограф Тиль.

Вилька Бруй не скватер по фактуре. У него отличная мастерская от города с видом на Бобур и очень красивая жена-англичанка, служащая в «секс-шопе» живой моделью. У них дочка и заработки.

Питерский юноша выехал в Израиль, но выскочил оттуда, как ошпаренный, на ходу обрезая пейсы, запрещенные в СССР. Его артистическая карьера надломилась по неизвестным причинам в самом начале. Нищему артисту пришлось развестись с русской

женой Сильвой, матерью двух умных и красивых дочерей. С тех пор он жил вольным и богемным артистом. Учреждение, где выступала английская жена, прикрыли за неуплату налогов, и огромный, опустевший «Хрустальный дворец», оказался в руках Бруа. Он решил использовать его под выставки парижских художников, пока не явятся жандармы с каменщиками.

Я уже писал, что в дорогостоящем Париже возникли новые культурные очаги — «скват-театр», «скват-рок», «скват-арт».

Бездомные артисты, собираясь в банды, приступом брали пустующие здания и работали там до появления законных владельцев с бульдозерами и вышибалами.

Русские живописцы с особым наследством «обшаги» и пещерного невежества, открывая богемный Париж 70-х, охотно присоединялись к кочующим скватам, иногда побивая все возможные рекорды бродяжничества, как в случае с фотографом Тилем, стариком с тридцатилетним стажем кочевки.

Пасквильянты и завистники всех мастей распространяли слухи о быстрой гибели скватов, но кочующие артисты, потеряв одно помещение, передвигались в другое, из текстильной фабрики в гараж, оттуда в брошенный госпиталь или морозильник, без религиозных войн и перекройки границ.

Власти — здравоохранение, культура, полиция, финансы — пытались приручить текучее движение, посадить на якорь дешевых мастерских, но опыт не давался. Они прикрывали два-три опасных очага, а рядом возникало сразу шесть бесконтрольных коммун, изобретательных и дерзких.

Изобретательный и ловкий Ябон с кучкой сторонников захватил здание XVII века напротив музея имени Пикассо. В отличие от большинства скватеров, живущих закрытым способом, он настезь от-

крыл ворота сквата, перехватывая клиентуру знаменитого музея. Через полгода его скват занял третье место по посещаемости, после Лувра и Орсея!

Дирекция «Пикассо» забила в барабан. Полетели протесты в полицию. Скватеров выкурили, но они захватили пустующий магазин на рю де Риволи, главной торговой улице Парижа, с той же политикой открытых дверей, тревожившей официальные власти, и снова побили рекорды посещения столичных музеев.

Люди шли не смотреть «Джиоконду», а смотреть на живых, работающих артистов — живописцев, скульпторов, пластиков, видеоистов, инсталляторов. Я шел по следам «Ябона», поражаясь его изобретательной энергией. На мой взгляд, качество скватских художников в каждом отдельном случае уступало официально принятым образцам, но в общем котле созидательный порыв артистического муравейника давал сильный энергетический заряд. Там постоянно шныряли, прикрываясь черными очками и шляпами, крупные фигуры «артбизнеса», подзаряжая свои севшие творческие батарейки.

Скват — феномен нашего времени, и России от него не спрятаться.

В «Хрустальном дворце» творил Хвост, не располагавший постоянным помещением для творчества. Он занял все подземное пространство «дворца», разложив инструменты пыток. Из древних досок и обломков кораблей он лепил «объекты» в духе Курта Швитерса.

Атмосфера дурдома. Кочевое стойбище. По ту сторону быта. «У нас нынче суббота!»

Попробуй возрази!

В подручных Хвоста ходили питерский портной Матусов и основательно потрепанный жизнью оформитель Савельев. Они строгали, лепили, красили, и готовые «объекты» тут же вешали на стенки для всеобщего обозрения. Молчаливый созидатель свои по-

делки называл «ненужные вещи», предназначенные для украшения богатых квартир.

«Стенгазеты пожарного депо» (Хвост).

— Надо утопить Хвоста! — меланхолически сказал живой артист Толстый, его подельник и собутыльник. — Копать надо издавека, с уральских времен!

Топить нечего — вот беда!

Я знал, что Хвост надувает всех, и жлобов и гениев, но топить его не хотелось. Он вынес три операции на сгнившие потроха, с грехом пополам тянул «русский скват» на «Жульет Доду», потом, писал отличные песни, что немаловажно для человечества. Лежачих я не бил, и недовольный Толстый улетел в Питер читать французские стихи на лужайке Царского Села, как бывало во времена «сверчка» Пушкина.

Я проверил «досье» Хвоста. Безукоризненная биография гения. Одна капля дегтя от Аиды — «Сукин сын, ваш Хвост!» — не меняла моего благожелательного отношения к гению стиха и пластики. Я пришел на вернисаж. Много незнакомых рож солдатского типа. Один был вылитый Петька Чапаев. Тот же чуб и те же галифе. Знакомые самодуры средней руки. И вдруг вижу — стройная личность. Седой дядька в синем костюме. Вокруг шептались: «Смотри, идет русский посол, Юрий Алексеевич Рыжов!»

Поэта Алексея Хвостенко я знал с лета 1961 года. Эдик Штейнберг и я ладили выставку в Тарусе с видными толкачами: Пауст (К.Г. Паустовский), Боря Балтер (полковник кавалерии и литератор) и Фрида Вигдорова (педагог и просветитель народных масс). На мне лежала ответственная обязанность кладовщика. Я заведовал «катухом» при доме поэта А.А. Штейнберга, где, как солдаты, стояли картины участников. Там, в кладовке, где я спал, состоялось знакомство с парой питерских битников — Ленька Ентин, «Енот» (авторитет по блюзу), и Леха Хвостенко (гитара и

песни за выпивоном) плюс «чувихи», а значит, четверо без крыши над головой, и пешком из Питера на нашу выставку глазеть и петь. Я не знал, куда спрятать дорогих гостей, и выделил им стог сена, стоявший на лужайке.

Питерские артисты обиделись и на вернисаж не явились.

Позднее Хвост в потертых джинсах появился в подвале на улице Актера Михаила Щепкина, 4 и читал превосходные стихи о Гавриле Державине.

«Я собственный свой боб кладу в сугроб», «покуда жопа не идея», «отчасти пуд, отчасти уд», «привет, привет! — я говорю богине, укрывшей меня в своей корзине»!..

Великолепный «Рай» (1968) он сочинял вместе с Анри Волохонским (поэт и каббалист), по готовой итальянской мелодии. Воссоздан миф о «золотом городе». Законная романтика подполья на убогий быт страны больших бутылок.

Хвост — мне: «За мной — нельзя! Мой Бог — бег!»
«Хвост, ты наш баян!» — «Нет, я ваша гитара!»

Какой там Аполлон Шухт и Штеренфельд (московские звезды), форменный гений и факт на лицо. Своя муза, эпохальный ракурс!

Мой квартирант Холин знает мою слабость. Не даю займы и ненавижу пьяных. Легче взять Берлин, чем расколоть меня на пол-литру.

Романтический гений Хвоста петлял и брэнчал на гитаре вокруг да около. Уж слишком много он пил за чужой счет и не умел зарабатывать деньги, а я ценил это качество в то время.

В 1977 году из артистического подполья России его вынесла на Запад «еврейская волна». Он возился с журнальчиком «Эхо» (четыре номера), нехватка средств и надоело — очень бедствовал, а в 1988-м оказался с «ненужными вещами», находившими сбыт.

Ходили в обнимку, Толстый и Хвост. Иногда с Анри Волохонским.

Настоящего финансового подкрепления песнопевец Хвост не получал.

У Франции культ богемы.

Питерский битник быстро смекнул, что тунеядец здесь неприкасаем и скват — его родная стихия.

— Хвост — баловень судьбы! — говорил нищий эстет Сергей Есаян, знавший дорогу в скваты.

Любой «чингисхан» позавидует истребительному стилю русских скватеров. Покидая чужое помещение, остается не помойка съедобных отходов, а безжизненная пустыня, где самые хитрые крысы дохнут с голоду.

При дележке мировой славы русские не получают своего куска по достоинству. Я не слышал, чтобы известный Энди Уорхол из своего «Фонда помощи немущим художникам» отсыпал им на краски. Так и уходят в туман небытия незамеченными косяками, от Андрея Рублева до Казимира Малевича, а запоздалая и лукавая слава последнего ничего не меняет в негативном отношении Запада к русскому творчеству.

Дерзайте, кретины!

В «русской тундре», — организованная банда бродячих скватеров, — Хвост считался авторитетом.

Уроженец подмосковного Ногинска, ставший израильянином, Саша Путов, по расчетам биографа Басина, прямой потомок царя Соломона, давил мировое искусство неслыханным количеством произведений и считался главным мотором русских парижских скватов. Путов лепил по десятку картин в сутки, спал, не снимая грязных штанов, и ловко продавал работы по дешевке, набирая необходимые для существования суммы. Парижские коллеги дивились, откуда у мастера быстроходной живописи такая страсть к низким ценам.

— Путов, ты предаешь святое искусство! — бубнил сторонник высоких цен Олег Целков. — Искусство ты превратил в ларек ширпотреб!

— Вы все баловни судьбы, — московским говорком отбивался сторонник низких цен, — у вас французское пособие, парижская прописка, а у меня туристический паспорт. Задача израильского туриста быстро заработать любым способом!

Большой капитал обходил Путова стороной, но на смехотворно низкие цены клевали самые осторожные граждане, для украшения жизни покупавшие разве что столовые салфетки. В кратчайшие сроки Путов продал тысячу картин и приобрел загородный домик в два с половиной этажа.

На закрытии выставки «Бруй и Хвост» Путов громко заявил: «Надо поддержать «Хрустальный Дворец», я выставлю тысячу картин, а вы гоните покупателей».

— Я обязательно приду и куплю картину Путова! — сказал русский посол.

На моих глазах рушилась великая пролетарская цивилизация. Я впервые видел русского посла в парижском сквате, пившего «лехаим» с заросшим, упакованным в ватные штаны, с невымытыми руками, бродячим живописцем без прописки.

Путов, как обещал, повесил тысячу картин на трех этажах «Хрустального дворца». На вернисаж пришел русский посол и шайка наркоманов. Не здороваясь с людьми, бандиты опрокинули на буйную голову Путова ведро с вонючими помоями. Русский вышибала спрятался в сортире. Один храбрый гость заикнулся о свободе, равенстве и братстве. Ему быстро раскровенили нос тяжелой пепельницей. Посол сбежал. После унижительного допроса с пристрастием, Путов расплатился с насильниками, а назавтра снял выставку.

— Я думал, у гения нет врагов, — удивлялся я, разливая портвешок на посошок, — а выходит, и со святого искусства снимают налог.

В мае «Палас» запечатали. На спасение «русской тундры» бросились все благодетели Парижа, гении, жлобы и жулики. При облаве полиция нашла запас «травы» в мастерской Хвоста и ящик самогона. Задержали двух граждан Израиля, Сашу Путова и Толю Басина, нелегально ночевавших в здании. Вилька Бруй едва спас свои гравюры от уничтожения. Хвост потерял высокого качества древесину.

3. Сибирский гений Пролетцкого

— Спаси гения, — прозвучало совсем по-московски, хотя звонила малознакомая женщина из Питера, Лариса Густерина.

— Для гения есть скват, — отвечаю.

— Этот любит одиночество.

— А можно на него взглянуть издали?

— Можно, я звоню из кафе «Атлас».

Я гуманист, но не спасатель.

Со школьной скамьи кручусь среди гениев всех пород и не раз нарывался на грубость. Совсем недавно мне позвонил гений с вокзала и спросил, как проще ехать ко мне, на метро или на такси.

— У меня рекомендация от твоих коллег, братьев Сорочкиных. Ну, вот, я еду!

И едут, а я принимаю.

Над Парижем висел смог, от которого я задыхался на каждом шагу, но до «Атласа» доплелся и посмотрел. Они сидели на открытой террасе. пышная Густерина и сбоку шизофреник в коричневом пыльнике. Он то и дело дергался, разыскивая спички под столом. Лицо гения без этнической принадлежности, а ведь человек из Сибири. Я решил подсесть и послу-

шать. Этот петушиного типа гений сунул мне изящный альбом в ладонь величиной, до отказа набитый шедеврами тончайшей современной работы.

Сибирский гений по имени Андрей Пролетцкий говорил очень плохо, но много думал. Длинные, очень красивые пальцы рук. Весь в себе. Смотрит сквозь человека. Редких птиц выращивает наша Сибирь.

— Я лучший художник современности! — не моргнув глазом, представился сибиряк.

Я решил запустить его на чердак.

Как-то листая путеводитель по жизни Ф.М. Достоевского, я обнаружил, что писатель сменил девятнадцать квартир в одном Петербурге, по два-три года уживаясь в одной квартире. В доме Олонкина (1867) и в доме Струбинского (1875) им написаны главные вещи мировой литературы, а домовладельцы не оставили о знаменитом квартиранте ни одной строчки воспоминаний, а я решил оставить, потому что и пригреваю бездомных гениев, и есть что сказать о таком квартиранте.

Два года я работал в «квартале Гавроша», на пролетарских задворках Парижа, с соседом-носильщиком с вокзала. Теперь у меня был чердак в седьмом, дипломатическом квартале. Внизу гудит бульвар Распай, и номер дома «33» что-то значит в нашем деле. Дом стилистов, модистов и артистов высоких марок.

Беспокойный сибиряк перебрался на чердак. За двухмесячный приют он обещал мне картину.

В мою компетенцию не входит оценка «художественного веса» Пролетцкого, пусть об этом позаботятся профессионалы «славы и денег», но я считаю, что абсолютное видение и рука сибиряка превосходят по качеству искусства все мировые стандарты. Говорят, что русский гений с необычайной силой выступил в универсальном «конструктивизме», а то, что сделал на моих глазах Пролетцкий, — это строгая

геометрия европейского происхождения, от Мондриана, что ли?

Русских художников он не замечал и не ценил.

У меня он много курил и варил луковый суп, а 4 сентября 1994 года съехал, оставив мне черно-белую картину.

В сентябре он стал самым молодым домовладельцем в Париже. Он купил комнату на седьмом этаже, по соседству со мной. Он звонил мне два-три раза в день. Мы гуляли по набережной Сены. Он знал все архитектурные стили и любовался Парижем иначе, чем я. Этот провинциал понимал моду и безуспешно искал парижского покровителя. Город ему нравился, он собирался долго в нем жить.

Мы заходили в гости.

Юрка Купер босиком рисовал большую картину и был добродушно настроен. Думаю, дай стравлю таланты.

— Юра, ты русский художник? — спрашиваю.

— Валь, — отвечает работяга, искоса поглядывая на гостей, — а какой еще? Я человек русской культуры, значит, и русский художник. Мне нечего стыдиться немцев и прочих шведов!

— А ты, Пролетцкий?

— А я сибирский художник! В Красноярске я прописан до сих пор!

Купер длинный, нескладный, молчаливый, с блуждающей улыбкой на утомленном, благородном лице. Я его горячо и от чистого сердца поздравил с удачными картинами венецианской архитектуры дверей и окон. Он что-то промычал, не отрываясь от работы.

Московский художник со своим ходом в искусстве, со своей интонацией, которая далась не сразу, а в результате тяжелого, упорного труда, в условиях, немислимых западным профессионалам, не завял от нищеты. Работая особняком в Москве, Нью-Йорке,

Париже, он держался на поверхности, не утонул и шел на выигрыш.

Пролетцкий решил грубо атаковать живопись Купера, обвинив его в академизме. Купер, не желая допускать поливку красивого прошлого классицизма, решил подловить сибиряка на пошлости, но когда тот выдернул из кармана пыльника заветный альбом с криком «Осторожно, не запачкайте!», Юра притих и задумался.

Перед глазами стояли шедевры высокой классической работы, сделанные сибиряком пятнадцати лет отроду. Над рисунками витал гений Леонардо да Винчи.

— Да, а рисовать ты умеешь, сибиряк!
Мы все должны хвалить друг друга.

4. Встреча с русским послом

Посольство Советского Союза люди обходили стороной.

В начале 70-х по приказу Л.И. Брежнева на бульваре Ланн, рядом с Булонским лесом, выстроили квадратный бункер, глыбу без красоты, потолки до небес, на стенах позолоченные рамы.

В 1993-м советского боярина Рябова сменил первый посол России, Юрий Алексеевич Рыжов. Фамилии начинались на «р», и на этом сходство кончалось. Это были жители разных планет. Рябов был круглый, как паровой котел, а новый дипломат — элегантный, седовласый мужчина буржуазных правил. Интеллигент чеховской закваски, дамам целовавший ручку. Да он и был до посольства физиком, и не знал, почему его отфутболили с кафедры в Париж.

В сквате «Хрустального дворца» Юрий Коваленко, журналист «Известий», давно игравший с эмигрантами, шутя представил человека как посла России.

— Да, Коваленко не шутит, я самый настоящий посол и сам за рулем, — удивил меня человек с седыми кудрями.

С такими наша земля не пропадет. Сам будет жить и другим даст.

Я проникся глубоким почтением к стране, прославившей такого гражданина в парижский скват.

Ну а потом я пил с ним водку в таких дырках, куда посольская нога вообще не заходит. Его можно понять: каково физику и лирику смотреть на пьяные и тупые рожи профессиональных сотрудников, но и заходить так далеко послу великой, хоть и ободранной, державы не стоило. Юрий Алексеевич здесь был не дипломатом, а любопытным к острой новизне человеком и ученым.

Мы виделись в разных обстоятельствах, неожиданных и официальных, в соседстве с мэром Парижа Шираком на просмотре фильма Марины Голдовской «Соловки» и в югославских кабаре с русскими певицами.

Я думаю, что Юрий Алексеевич имел обо мне понятие, и личное и от поперечных лиц, связанных с искусством и бизнесом. Нюхом, с налету было трудно приезжому физику разобраться в заковыристых делах создателей и торгашей, где легко напороться на глупость и выглядеть дураком. Тогда я весь был в «македонском золоте» — солунские братья, апостол Павел, Мустафа Кемаль Ататюрк, но легко выходил из заколдованного круга, если дело было красивым.

Саша Глезер лет пять крутился за круглыми столами, организованными посольством. Наконец-то его впустили в непреступный бункер ночевать. Старика О.Я. Рабина пригласили с выставкой в Петербург. Я не рвался к послу. Он меня позвал сам. На юбилейное собрание, посвященное «бульдозерному погрому», я пришел с женой. Впервые за двадцать

лет. Юбилей был мой, а не посольский. Можно сказать без преувеличения, что все участники памятного перформанса 1974 года въезжали на белой лошади.

Может быть, мышеловка вместо праздника?

Так называемый «парад суверенитетов», легкомысленно объявленный Кремлем, обернулся невиданным хаосом в провинции и столицах, обреченных жить своим умом. Свои деньги ковала не только Чечня, но и Уральская Народная республика.

В фойе, как харьковский вокзал, на мраморном пьедестале стоял огромный бюст Ленина, прикрытый «триколором». Знал бы Владимир Ильич о таком надругательстве над пролетарской революцией. По бокам, широко расставив ноги в штатском, стояли могучие охранники, брезгливо, с ног до головы осматривая босяков гонимого искусства, мазавших своими копытами красные ковры коммунизма. Под ногами крутился переметчик Глезер, изображая из себя победителя. Вот по коврам поднимается старая, но гордая Мастеркова со своим сыном, за ней сразу трое потертых «лианозовцев»: пара Рабиных — лобастый отец и безучастный сынок — и тихая, как мышь, Валя Кропивницкая. А вот и ядовитый Воробьев с женой, а вот питерский барбос Жарких, с важным видом Леонов, а вот и свора свидетелей побоища, выдающих себя за участников, — Зеленины, Савельевы, Путилины, Хвостенко. Среди гостей любимцы капитализма — Булатовы, Штейнберги, Янкилевские, Лубенниковы, Андреевы, Сычевы, кто там еще?..

Банкетный зал разделен на две равные части, в одной висят картины «бульдозерников» и к ним примкнувшая шушера, в другой буфетный стол, заваленный закуской и выпивкой. У стола сам Юрий Алексеевич не устает жать руки гостям дорогим и желанным. Пир горой. Дым коромыслом. Заметной фигурой банкета примирения был московский диссидент Юрий Ва-

сильевич Титов, пожилой художник с выдающимся прошлым. Его крестный путь начался в глубоком подполье. Он был первым дипломированным академиком, рискнувшим изменить своему клубу и показать робкие «абстракции» у подножия «маяка» (статуя поэта Вл. Маяковского в Москве), где возникли стихийные митинги 50-х годов. Показы закончились приводом в милицию, но Титов и его энергичная супруга Елена Строева не сломались. Их квартира стала политическим клубом, где грызли коммунизм самые яркие лица столицы — Вольпин-Есенин, Вл. Буковский, Эд. Кузнецов, Илья Бокштейн, Вл. Осипов, Алик Гинзбург, А.И. Солженицын...

Лозунг советских диссидентов «Соблюдайте советскую конституцию!», написанный рукой Ю.В. Титова, не на шутку бесил власть имущих. Одних она бросала в тюрьму, других в психушку, а третьих выталкивала за границу. С семьей Титова жестоко расправились, уничтожив его картины на складе таможи, и прогнали в эмиграцию. Неукротимая, но легко ранимая Елена Строева покончила с собой в 1976 году в Париже, взрослая дочь тронулась умом. Нешуточный удар Юрий Титов не перенес и прекратил творчество. Первый патриарх «абстракции» слонялся по парижским скватам, ночуя с земляками под одной крышей, что доставляло ему известную радость общения на родном языке.

Видеть седого Титова в праздничной толпе посольства было особенно интересно и смешно до слез. О чем он говорил с послом, поблескивая стеклами тяжелых очков?

Личные друзья посла, первые апостолы «артклоша» — Павловский, Шурдер, Старк — за обильным русским столом уплетают икру ложками.

— А вот и дядя Валя! — любезно встретил меня посол.

Мы выпили за вечный мир и дружбу.

Назавтра посольские ворота закрыли наглухо. Картины развезли участникам. Дружба кончилась.

5. Советский мусор выше Лувра

Судьба Ильи Кабакова мистического происхождения.

Его выставка в «Бобуре» (1995) — Центр Жорж Помпиду, Париж — представляла грандиозное зрелище с «тотальной инсталляцией», которую сразу прозвали «Норильск» за барачные постройки жилых комнат и библиотеку, украшенных дидактическими картинками. На обсуждении, или «форуме», 17 мая, выступил сам автор и попросил улучшить жилищные условия своего ученика и зятя Паши Пепперштейна — «условия, в которых живет мой ученик Паша, действительно невыносимы».

В толпе не поняли и рассмеялись. Что это? Попытка решения жилищно-коммунального вопроса на «форуме» или элементарная нескромность?

Сам автор принимал гостей, стоя у ворот. На груди висела зеленая медаль французского ордена «заслуженного деятеля искусств». С одного боку, в черном, торжествующая Дина Верни, с другой, его супруга. Крепкое рукопожатие, дежурная улыбка дипломата, уставшего от постылого протокола.

Нет пророка в своем отечестве!

Большого художника мировых стандартов русская критика, изгаляясь вовсю, старательно, часто зло и немилосердно была, вместо того чтобы возвеличить восходящее «планетарное солнце».

Кабаков сказал:

— Куча советского мусора выше Лувра!

И доказал на практике. А критика трещала: «ничего нового», «метранпаж», «не художник», «море рас-

хожих трюизмов», «этакий Салтыков-Щедрин брежневской эпохи», «элементарная нескромность» (литературовед Александр Шадуро, Санкт-Петербург, 1 июня 1995 г.).

За Кабакова я обиделся и ответил этим критикам по-своему, очерком («Окна», 30.01.95, Израиль).

Привожу его целиком, потому что это дифирамб и мемуар одновременно.

* * *

Петербургский туняец Александр Пушкин, сосланный в Екатеринослав за сочинение возмутительной оды «Восстаньте, падшие рабы», купаясь в Днепре 10 июня 1820 года, жестоко простудился и надолго слег. Лечил его еврей с Мандрыковки лимонадным напитком.

Летом 1960 года московский художник Илья Кабаков, «умирая от тоски» в той же Мандрыковке, лечился лимонадом домашнего производства.

Лимонад Пушкина!

Лимонад Кабакова!

Соблазнительная, мистическая лимонадная связь двух гениев — поэта и художника — на берегах Днепра!

Что мы знаем о Екатеринославе и Мандрыковке, с 1926 года ставшими Днепропетровском?

Это первая «потемкинская деревня» в России, «тотальная инсталляция» XVIII века. Затем сплошные трубы и печи чугунолитейных, рельсопрокатных и ракетных заводов, «помойка-стройка» в кабаковском творчестве. Это родина и колыбель «днепропетровской мафии» — Цвигун, Цуканов, Блатов (самый главный мафиози подразумевается!), — надолго, на двадцать лет захватившей Московский Кремль.

30 сентября 1933 года в бывшей Мандрыковке родился Илья Иосифович Кабаков, будущий великий художник.

Отец — слесарь, мать — счетовод.

Бывший тунеядец Михаил Гробман, придающий особое значение этногенезу в культуре, безоговорочно заключает («Левиафан», 1981), что «Илья Кабаков — еврейский художник».

Сам художник, прошедший долголетнюю школу русского академизма и тридцать лет московской конспирации, возражает: «Я не могу связать то, что я делаю, с каким-то особым, дополнительным, еврейским компонентом».

Не вдаваясь в бесплодную полемику вокруг «этноса и культуры», мы полагаемся на забавное самоопределение Кабакова: «Я — советский художник!»

Со своей стороны, мы считаем Кабакова великим русским художником, какими были и остаются для нас Феофан Грек, Федор Бруни, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Лазарь Лисицкий...

...Сороковые годы... Маршруты беженцев... Днепрпетровск... Ростов... Махачкала... Кзыл-Орда... Самарканд... Ленинград... Пачкая страницы русского букваря Л.А. Карнинской, одобренного всесоюзной правительственной комиссией, сын слесаря лез в чужой огород. За рисунки получал затрешины и двойки. О будущем начинающего рисовальщика позаботилась мать, счетовод Бейся Юделевна Солодухина.

В Москву, в 1945 году, его привезли «Бог знает откуда», как выражался писатель Н.В. Гоголь, чтобы сделать художником. Чужака определили в общежитие художественной школы, или «попросту в детский дом», по словам самого Кабакова, откуда начинался самый длинный, извилистый и тернистый путь в искусство. Первую «пятилетку» постоянного недоедания, унижений и вшей подросток Кабаков с честью выдержал.

Во второй, академической «пятилетке», 1951—1956 годы, у приезжего отличника Кабакова появился мос-

ковский покровитель, богач Леонард Данильцев, с третьего курса ушедший в актеры, а позднее — в глубокое самогонное подполье.

По выходным дням студент Кабаков разглаживал суконные брюки, напяливал кепку и шел в гости, в генеральскую квартиру на Садовой-Кудринской. Гранитный подъезд, быстроходный лифт, проворный денщик, прислуга в белом переднике и полно картин, конфискованных в побежденной Германии. Там он отъедался такими разносолами, от которых голова кружилась тридцать лет спустя.

«Вот мне бы такой дом и таких родителей!»

...Рассольник с потрохами домашней птицы... Форшмак из сельди... Отбивные зразы... Чебуреки... Компот из персиков... Ватрушки, блинчики, коврижки...

Разумеется, все учебные задания закадычного друга Данильцева, хлеставшего водку из генеральского графина, выполнял отличник Кабаков.

Суровый 1953 год.

Да здравствует Иосиф Виссарионович Сталин!

Ура! Интернационал!

Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию!

В 20 лет Кабаков служил примером для подражания.

Но одно дело заехать в столицу и получить образование, а другое — добиться места в столичном искусстве, а не в техникуме города Пензы, куда обыкновенно загоняли детдомовцев.

Чтобы понять, что творилось в искусстве советской державы, объяснимся издалека.

Рабочий метод, социалистический реализм, с 1932 года объявленный единственным шаблоном творческой деятельности, сразу стал достоянием известных фамилий, свято хранивших академические традиции в семье. Кучка питерских и московских деятелей, с давних времен повязанных родством и круговой по-

рукой наподобие «коза ностра», беспощадно расправилась с приبلудными чужаками, рискнувшими приблизиться к жирной казенной кормушке. Попасть в неприступный заповедник вечного богатства и подчинения таким чужакам из «детдома», как Кабаков, все равно что верблюду залезть в иголку, но время от времени кланы обновлялись новичками безусловного реализма и браками по расчету.

Например, женитьба деревенского чужака Федора Решетникова («Сталин у окна», 1948) на дочке академика Исаака Бродского («Ленин в Смольном», 1939) была явлением чрезвычайным и доступным лишь беспринципным проходимцам.

Деятельный член московской «коза ностра», академик Дмитрий Жилинский, внук сестры академика Вал. Серова и двоюродный племянник академика В.А. Фаворского и Симонович-Ефимовой, невинно заявляет: «В “творческий союз” меня взяли со школьной скамьи, а в академики записали, не спросив».

Автор помнит (я помню!), как в деревянные бараки у Рижского вокзала, где располагалось студенческое общежитие с танцевальным залом, навевались шаловливые московские невесты на розыски талантливых женихов. Пышная и плотоядная Машка Дервиз, дочка известного мафиозника соцреализма, висела как хомут на шее дипломника Кабакова, божественно танцевавшего аргентинское танго. Заманчивая наружность иного бездомного художника привлекала отборных отпрысков великих фамилий — Соньку Зеленскую, Оксану Обрыньбу, Любку Решетникову.

Студент Кабаков пошел иным и темным путем. Красавец парень женился на бесприданнице, чем обрек себя, мать, семью на бесчисленные страдания в коммунальном аду Москвы, в густом мраке страха, склок, доносов, смерти.

Мать художника, прописанная в Бердянске без воды и дров, пятнадцать лет не снимала пальто, разыгрывая опоздавшую на поезд провинциалку. Все тряслись от стука в дверь и проверки паспортов!

Нечеловеческий быт Илья Кабаков принял как неизбежное зло и на жизнь зарабатывал поденной разгрузкой товарных вагонов.

Потом, вопреки здравому смыслу, выпускник советской академической школы, да еще имени Василия Ивановича Сурикова, выбрал подозрительный литературный материал для дипломного оформления, роман еврейского писателя Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды». Конечно, писатель критикует царские порядки, конечно, перевод прошел суровую цензуру, но стоит ли высокоодаренному, но еще не зрелому иллюстратору лезть в болото мелкобуржуазной и, прямо скажем, сионистской стихии? Утвердил ведущий академик Борис Дехтерев! А кто, собственно говоря, такой Дехтерев? Торчком подкрашенные усы, голубой бант через плечо, вызывающе пестрый пиджак и противоестественные связи! Он был на острове Капри у «самого Горького»! А не провокатор ли и мошенник ваш Максим Горький? Почему бы молодому Кабакову не взяться за оформление передового и революционного романа Николая Островского «Как закалялась сталь»? Там комсомол Украины не за страх, а за совесть строит новую жизнь, а не плюет с высокого этажа, как это делает местечковый прохиндей Шолом-Меир Муравчик. Там по-настоящему можно развить свое дарование. Вот отличный прыжок в «творческий союз», на дачу в Рим, на курорт в Абхазию! Нет, молодого человека сбили с панталыку, свели с бездомным эстонцем Соостером, безродным харьковчанином Брусилосским и запихнули в облезлый подвал прохвоста Юрия Соболева.

К 20-м годам академическая школа искусства на Западе вымерла, как вымерли допотопные животные. Художники не умели рисовать с натуры, компоновать фигуры и вещи, «привязать» голову к туловищу и туловище поставить на ноги. Художественное видение мира подменили общедоступным маньеризмом — приемчиком в две-три краски, процветающим до сих пор под названием «лирическая абстракция».

Последних мастодонтов суровой академической школы сохранила советская власть. Илья Кабаков стал в живых Кардовского, Кузьмина, Конашевича — людей, начинавших в XIX веке.

В совершенстве владея академической техникой, Илья Кабаков стал оформителем детской книги, где много рисовали и лучше платили.

Издательская деятельность художника еще ждет своего особого исследования, потому что русская книга той поры, а детская в особенности, достигла высочайших художественных качеств, неизвестных Западу.

Педагог, искусствовед, живописец Элий Михайлович Белютин, советский гражданин, чувствительный к европейской моде, с 1954 года вел «курсы повышения квалификации» начинающих и любопытных артистов, главным образом женского пола. В студии учились шпаклевать мастихином краску «относительной глубины» и проходили уроки хорошего тона.

Над модным дамским кружком, как муха над медом, кружилась элита московских гуляк: Слава Зайцев, Феликс Збарский, Марк Мечников, Боря Жутовский, Вова Галацкий, Эрик Неизвестный и глухонемой лауреат Сталинской премии за 1952 год («Поль Робсон поет»), симпатичный дядька Валька Поляков.

Профессор Белютин храбро выставлялся не только в дружественной Варшаве, но и в таинственном буржуазном Париже. До него в 1961 году никто из мос-

ковских модернистов не решался высунуть нос за пределы своей берлоги.

Итак, конспиративный ликбез!

Техникой мастихина Кабаков владел давно, кад-режка манекенщиц его не прельщала, но ближайшие единомышленники Юло Соостер и Юрий Соболев выставлялись с «белютинцами».

«Говно! Пидирасы! Расстрелять их!»

В шумной склоке, организованной провокаторами «коза ностра» 1 декабря 1962 года, стравившими несчастных «белютинцев» с верховной властью, Илья Кабаков — вопреки мнению некоторых искусствоведов — участия не принимал.

«После эпизода с Хрущевым, — вспоминает скульптор Эрик Неизвестный, — я на десять лет был выброшен из обращения как профессиональный художник». Дамские курсы Э.М. Белютина прикрыли. На отстрел художников не решились.

Первые конспиративные вещи Кабакова, сделанные в условиях коммунальных подвалов, восходят к конструктивной традиции русских футуристов, хорошо представленных в частном музее Георгия Костакиса.

Иностранных подданных, проникавших в безумие московского андеграунда, можно пересчитать подряд: Камилла Грей и Эрик Эсторик, Александр Маршак и Поль Чеклоха, Игорь Маркевич и Поль Торез, Арсен Погрибный и Иржи Халупецкий, Энрико Криспольти и Франко Миеле...

Итальянский аспирант Энрико Криспольти с удивлением обнаружил, что в Москве не продают, а дарят хорошие картины, причем чем больше хвалишь автора, тем туже набит чемодан подарками.

Московское подполье, разбитое на враждующие группы, понятия не имело, что такое настоящая выставка и продуктивная торговля искусством. Любое

начинание в этом направлении превращалось в давку и склоку без царя в голове и профессиональной гордости. Редкие авангардисты, забывая о грозной статье 88 УК РСФСР, от трех до восьми лет с конфискацией имущества решались драть с иностранца валюту.

Чешский студент и миланский фарцовщик, парижский славист и британский разведчик привозили пригоршню американской жвачки, а увозили багаж драгоценных вещей. В лучшем случае иностранный человек кочевал по Европе, реже — по Америке, под видом выставки, с каталогом, изданным на чешской оберточной бумаге.

В это двусмысленное время, осенью 1965 года, «советский художник» Илья Кабаков впервые засветился на Западе, на выставке подпольной графики, организованной Энрико Криспольти.

Выездной грек Г.Д. Костакис каркал по Москве: «Вы никому там не нужны!»

Правильно говорят: от судьбы не скроешься!

Почему в 1964 году победила не сибирская, не вологодская, а «днепропетровская мафия»?

Орденосец по ремонту паровозов Иосиф Бенционович Кабаков воспитал не одну плеяду толковых слесарей. Умные люди знали, что Семен Цвигун, Жора Цуканов и Толя Блатов, взявшие Кремль без единого выстрела, — его прилежные ученики.

По свидетельству редактора журнала «Малыш», Виталия Казимировича Стацинского, появление Ильи Кабакова в издательстве встречали шепотом: «Тише! Он видел Семена Цвигуна!» Ответственные люди, коммунисты, такие, как Юрий Поливанов, Сергей Алянский и тот же Виталий Стацинский, отлично знали, что такое землячество. Московская «коза ностра» ворчливо потеснилась, уступая место чужаку из «потемкинской деревни» — Днепропетровска.

В этот полный чудес год Илья Кабаков стал членом «творческого союза», побывал в спецпоселке Сенеж и получил приличные гонорары сразу в четырех издательствах, где платили по выбору.

Судьба Кабакова — мистического происхождения.

Завистникам художника и в голову не приходило, что за ним — десять лет иступленного творчества для «русского языка в картинках» и коммунальный сундук с пассажиром без московской прописки. Родиться в Днепропетровске стало таинственным и доходным промыслом!

Карнавальная игра с мертвыми душами!

Осенью 1966 года автор дифирамба (я, Валя Воробьев!) увидел торжествующего «Кабака» в Художественном фонде СССР, у начальника главной советской кормушки, товарища Льва Мазура.

«Я лезу на крышу!» — сказал он обалдевшим коллегам, потрясая бумагой с печатью.

Московский андеграунд стоял на «салонах», как земля на китах.

Вхутемасовка Мария Вячеславовна Рауде-Горчилина, крепкая старуха, рисовавшая чертей в огне, славилась «философским салоном». Верующий горбун Максим Архангельский из дырявых самоваров кроил металлические абстракции особого духовного напряжения. Древний дед Комиссаренко составлял доклад о философском наследии Михаила Бахтина. Бродячий мистик Юрий Мамлеев сочинял новеллы о русских кровопивцах. Постоянными членами кружка были сын «белого» генерала Алексей Быстренин и дочка «красного» генерала Елена Строева. Сейчас нет времени устанавливать, кто бегал за водкой и кто доносил в «органы», но философские слушания превращались в поголовное пьянство, как в «говорильне» мадам Фриде на Арбате, где пили отборный самогон, так и в подвалах «Смоленки», где в рекорд-

ные сроки людей превращали в законченных шизофреников.

Любого жулика из парижской подворотни «салоны» встречали как высшее существо с того света.

Чердак Кабакова и Соостера в доме номер 6 на Сретенском бульваре не избежал подпольного увлечения. По ночам велись «разговоры о разговорах», как заметил искусствовед Василий Ракитин, а еще точнее — «безумные сборища», согласно Кабакову.

«Вы читали “Собачье сердце” Михаила Булгакова? Почитайте — шедевр!..» «Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забивать досками и ходить кругом через черный двор?..» «Ты считаешь, что стоит довериться Дине Верни? Неважно, что распевает блатные песни, спроси у Тореза — у нее огромное собрание Майоля!..» «Вы слышали, евреи разбили арабов в пустыне? Сразу жить стало веселее!..» «Предлагают выставку в кафе «Синяя птица», но говорят, что там пьют водку из карманов, дерутся, на картины не смотрят!..» «Вы слышали? Какой-то чех сгорел на площади!.. Он что, буддист или протестант?..» «Слышали, Женька Бачурин влюбился в дочку министра и запел под гитару!..» «Кто бы мог подумать, что поэт Эдик Кузнецов угонит самолет в Израиль!..» «Говорят, Олег Кудряшев легально уехал на Запад?..» «Легально, но по «израильскому вызову», мой дорогой. Я тоже об этом думаю, но протестует жена!..» «Жаль Юло Соостера. Много курил, старые раны. По-настоящему и не пожил, царство ему небесное!..» «Вся Москва говорит — Гробман уезжает, и не в Прагу, а в Израиль, навсегда!» «Конечно, в Израиль! Я приглашен на проводы!..» «Говорят, “Кабак” заново перечитал Гоголя и открыл помещика Плюшкина с особой стороны! Интересно посмотреть — с какой!..»

«Я был наполнен ядом, и все мои работы носили черты критики и отрицания», — вспоминает Кабаков то время.

В 1971—1973 годах художник окончательно «засветился» как опасный саботажник советской культуры. Французский журнал «Арт виван» (Жанна Никольсен) дал исчерпывающую информацию о его творчестве с обозначением чердачного адреса. Парижская галерейщица Дина Верни достойно его показала — с приложением роскошного цветного каталога. В оккультных списках подполья Илья Кабаков, несмотря на протесты Костакиса, занял прочное, «генеральское» место.

От так называемой «бульдозерной выставки» под дождем 1974 года художник благоразумно уклонился, как и большинство почетных «генералов» андеграунда. На мокрый пустырь высыпало дерзкое поколение авантюристов, искавшее быстрой популярности и доходов.

Дилетантский блуд? Урок свободы? Смеховая культура?

В какой игровой зоне крутится Гариг Басмаджан, армянский вояжер из Парижа? Возможна ли «русская галерея» на Западе, как ее предлагает эмигрант Юрий Куперман? Серьезны ли успехи Миши Шемякина во Франции? Почему коллекционер Саша Глезер ломает в Европе дрова, как медведь в сибирской тайге? Чем объяснить интерес шоколадного короля Людвига к гнилой этнографии русского коммунизма?

Долгие годы общественного маразма живые вопросы оставались безответными.

Кремлевские макиавеллисты, крохоборы и валютчики, мастера потемкинских деревень и загребать жар чужими руками не отказались заработать на подполье.

Эмигрант Игорь Шелковский и группа близких Кабакову художников и публицистов были втянуты в

авантюрную затею с изданием русского иллюстрированного журнала за границей. Художник сразу раскусил секретные планы советских пропагандистов, подключивших к благородному делу фарцовщика Алика Сидорова и «швейцарского капиталиста» Бориса Кармашова под видом «романтического концептуализма»...

Однако выбраться из переплета нечистой кремлевской силы, куда попались москвичи, добровольно сочинявшие журнал «А—Я», было невозможно. К счастью, стареющие советские «органы» в отношениях с непослушными московскими смутьянами ограничились «дружеским собеседованием» в духе «Пушкин в гостях у Бенкендорфа», или «Кабаков в гостях у Семена Цвигуна».

До насильственной ссылки на берега древнего Днепра не дошло, но переполох и травля были нешуточные.

Пусть грамотные и добросовестные искусствоведы, лучше всего немцы, потому что русским доверять нельзя, разберут богатство творческих этапов Ильи Кабакова — от первых книжных обложек до «тотальных инсталляций». В концепцию дифирамба и спонтанной похвалы не входит подобная ученая задача. Нас волнует «мусорный человек» в личности Кабакова, зенит и сущность его неподражаемого творчества.

В «безумную пятилетку» 1981—1985 годов, когда казалось, что страна задыхается во лжи, когда режим корчился от старости и застоя, художник Кабаков чудесным образом превращает тоталитарную кучу мусора в энциклопедию высокого знания, в художественное произведение высокого класса.

«Я археолог советской жизни», — заявляет И.К.

Большой крючоктвор русской словесности Алексей Ремизов нас уверяет, что помещик Плюшкин из романа Н.В. Гоголя «Мертвые души» — «венец чело-

веческого хозяйства» («Огонь вещей», 1954, Париж). Художник Кабаков в блестящем литературном этюде под названием «Ноздрев и Плюшкин» доходит до восторженного преклонения перед гоголевским героем.

«Крыша как решето... бревна как фортепьянные клавиши... мусор и грязные разводы... всякие связки... копанье в чепухе... диалог между вещью и памятью... удушающее самопогружение... постоянный поток теплой, страшной и сладкой жизни», и вся эта чепуха — «не хуже Лувра!».

Решительное программное заявление! На такое русские художники еще не посягали!

Куча мусора из России — «не хуже любого Лувра»!

Не герой Павка Корчагин со своим «комсомолом Украины», не театральный режиссер Шолом-Меир Муравчик со своим «наплевать с этажа», а мусорщик и скопидом Степан Плюшкин стал верным путеводителем художника по бесконечным лабиринтам «тотальных инсталляций».

«Веревка жизни», «Коммунальная кухня», «Мусорные романы», «Пейзаж с кастрюлями», «Перемещенный человек», «Помойка-стройка» и т.д.

Подоспевшая перестройка внесла полезные поправки в «классический интроверт» Плюшкина и Кабакова.

Они выехали на Запад.

Осенью 1986 года мне довелось видеть инсталляцию Ильи Кабакова «Веревка жизни» в парижском Доме художника. Над усыпанным опилками паркетом висели старые бельевые веревки с множеством никому не нужного, но драгоценного «мусора». Неистощимое воображение артиста, граничащее с безумием, свело цвет, объем, графику, «русское слово» в одно гармоническое, глубоко одухотворенное, заповедное пространство русской жизни. «Веревка жизни» в постановке Кабакова вызывала безотчетный, дурацкий смех!

Веселое хождение по стране смерти.

В 1987 году раздался протест Ильи Кабакова, безукоризненно аргументированное выступление «известного художника»: «Нельзя замалчивать целое направление в искусстве!»

Перемена места — перемена счастья.

В Саратове нет гвоздей. В Рязани кончилось мыло. В Тарусе съели черный хлеб. Развалилась культура. Искусствоведения нет. Его заменяет припадочная публицистика с тяжелым и мутным смыслом, похожим на воровские директивы.

В современной России имя Кабакова — имя колкое.

Чем круче успех художника, чем ярче его мировая слава, тем озлобленней вой партийной прессы. Богатый официоз и бедная оппозиция упорно цепляются за голоса безмозглых масс. Журналисты всех направлений и уклонов не сказали ни одного ласкового слова в адрес художника, прославившего русскую культуру. Неистребимое раболепие публицистов не позволяет им громко и честно сказать о выдающемся вкладе Ильи Кабакова в мировое искусство. Триумфального шествия художника по Европе и Америке Россия просто не замечает.

Русские обожают памятники.

Писатель Ильф, посетивший Одессу в 1927 году, обнаружил там не три статуи, как было при Пушкине, а не «менее трехсот скульптурных украшений — мраморные девушки, медные львы, пастушки, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята», — о бюстах вождей писатель, во избежание неприятностей с цензурой, не упомянул.

Сегодня нищая Россия продолжает возводить бронзовые монументы святым, маршалам, космонавтам, афганцам.

В стране очень много денег, триллионы! Одной всероссийской лотереи достаточно, чтобы оплатить

сотню самых смелых «инсталляций», но Россия, как помещик Плюшкин, сгноит триллионы в навозе, а Кабакова не позовет!

Смеховая культура России!

Всемирно известный художник Илья Кабаков предлагает красивую победу над временем и пространством, и Россия обязана поставить ему роскошное, огромное, светлое здание, Музей Кабакова над Днепром, над Потомаком, над Иорданом, площадь имени Кабакова, улицу имени Кабакова, броненосец имени Кабакова!

Потемкин! Пушкин! Кабаков!

Какие славные, гармонически звучащие имена!

Ура великому художнику Кабакову!

Да здравствует Илья Иосифович Кабаков!

Все встают! Мощные, несмолкаемые аплодисменты, переходящие в продолжительную овацию!..

6. Американский вопрос

Америка сидела во мне с детства. Сначала как банка вкусной тушенки, могучий «студебекер», затем, как у всех: кино «Тарзан в Нью-Йорке», литература «Том Сойер» и «Последний из могикан», и после этого хрестоматийного набора выверт и многолетнее разложение — джаз и пиджаки американского покроя. Мое радио неизменно стояло на частотах «Войс оф Америка», и голос Билла Коновера был для меня голосом Америки.

«Хелло, голос!» — говорит Джерри Маллиган.
«Хелло, сакс!» — отвечает Коновер.

В Москве был кружок стилиг, живших общим преклонением перед «Штатами», но я оставался в сторонке по ряду бытовых причин. Посещение редких джазовых фестивалей считалось обязательным, а искусство Америки казалось чем-то грандиозным, судя по картинам Джексона Поллока, попавшим на

московские выставки, а люди — красивые, щедрые, бесстрашные ковбои с седлом на плече и сигаретой Мальборо во рту. Мой друг Рудольф Антонченко знал не только имена всех джазистов Америки, но их подробные биографии. Все американское, от жвачки и виски до архитектуры и живописи, я считал совершенством человеческих достижений. В середине 60-х мой американский пыл скис, и возраст — 30 лет, и другие ориентиры, и американский пиджак потерял магическое содержание, но не дотла. Я был убежден, что «звезды» искусства куются там и славу раздает капитал, прописанный в Америке.

Первый живой американец был не совсем Томас Сойер, а молодой человек турецкого происхождения. Союз американских демократов послал его на молодежный фестиваль (1957) в Москве. Он ошалел от горячего приема и решил остаться в стране с бесплатным обучением. Малограмотного парня взяли на подготовительные курсы ВГИКа — он решил стать постановщиком фильмов, но ему совсем не давался русский язык, да и английское правописание было очень недостаточным. Бездарный студент толкался в очередях за мылом и сахаром, осатанел и снова постучался домой. Я не раз с ним встречался в общаге и на московских перекрестках. Он оборвался и походил на попрошайку из Молдавии.

Вторым, и тоже не потомком «последнего из могокан», был американский журналист Роберт Коренгольд, потомок еврейских выходцев из России. Третьим был сенатор Александр Маршак, тоже потомок не «викингов», а русских евреев, бежавших в Америку от погромов.

Нью-Йорк стал кузницей мировых рекордов. Торговые дома «Сотбис», «Кристи», «Филипс» набивали головокружительные цены на производство живых деятелей поп-арта, превращая их в золотые пирамиды

официального творчества. Денежная буржуазия, покупавшая вещи классического стиля, разрывала на части поп-арт самого радикального крыла — грязные мешки Антонио Тапиеса, прессованные железяки Сезара, дырки Лючио Фонтана. Пройти американское чистилище стало обязательным для начинающего художника, как в старину Римскую академию. Все европейские галереи сразу открывали двери артистам с американской закалкой. По опыту земляков, освещавших там в начале 70-х — Гаранин, Григорович, Нежданов, — я знал, что мне ничего там не светит, и год или два американской обкатки не прибавят коммерческого успеха.

Оставалась Америка моих снов, Америка зеваки с пустым карманом.

В России большой опыт коллективного труда, от артелей иконников Средневековья до бригад «изофронта». С 20-х годов работали парами, втроем «Кукрыниксы» и многочисленными бригадами с мастером во главе. Запад с его персонализмом значительно уступал России в коллективном действе артиста.

На пару московских новаторов Виталия Комара и Александра Меламида я обратил внимание на собрания героев и заводил «бульдозерного перформанса». Они вели себя на всех сходках по-хозяйски, со знанием дела и точной целью, чего я не замечал у других заговорщиков. Хорошо было видно, что настоящие заправилы бунта — пара этих ребят, а не старый тюфяк Володя Немухин или сытый по горло заработками и славой Оскар Рабин.

Через два-три дня после побоища в «генштаб» завалился сияющий Френдли и развернул свой журнал «Ньюсуик», где красовались никому не известные Комар и Меламид на фоне своей картины «Лайка». Моя работа 1964 года из собрания редактора журнала Роберта Кристофера печаталась как «вещь анонимно-

го автора», и тут я смекнул, что в «бульдозерной» игре я статист, а Комар и Меламид тянут на себя все одеяло верного успеха. Всемогущая Америка вытерла моего собирателя Кристофера и ставит на одну избранную пару «Комар и Меламид».

Володя Немухин, принимавший участие в авантюре из солидарности с горячей супругой Лидией Мастерковой, лепившей себе красивую биографию для западной жизни, буквально позеленел от зависти.

Признаться, я по легкости характера пытался примазаться к молодой паре, в тот же день я заговорил с более податливым Сашкой Меламидом, но он хранил молчание и корчил из себя скромного молодого человека, и я отстал, чтобы не мучить его.

Пара русских новаторов отлично вписалась в международный эстетический контекст.

Немухин, руководивший всемогущим «профсоюзом», вывел их из состава выставок, что было вопиющей несправедливостью и откровенной и злобной завистью, но тем ярче был их успех на Западе. Их совместная работа «Стук в дверь» и множество других шли нарасхват у американских любителей. С самого начала пара эксплуатировала «советскую тему», называя свои смешные опыты «соцартом», а с крушением коммунизма, когда и тема потеряла свой злободневный смысл, они перешли на международные сюжеты. Тематическая выставка «Картина вашей мечты» прошла с огромным успехом по многим странам мира. Картина мечты, обобщенно можно сказать, равнялась размеру домашнего телевизионного экрана почти всех граждан многих стран. Вкусы турок и русских почти совпали. Картинка изображала женщину крупных форм с обнаженным плечом и ведром воды на фоне рощи. Картина рафинированных интеллигентов походила на геометрический ребус, где ничего не понятно и ничего не построено.

На мой вкус, картины мечты сделаны были качественно низко, ниже возможностей артистов, но публике нравилась такая игра.

Пара русских новаторов вписалась в мировое искусство, и в либеральной России смекнули, что разбрасываться такими людьми преступно. На одном из венецианских биеннале они достойно представляли Россию.

Пара крупных яиц — дар Божий!

В понедельник 5 октября 1998 года я полетел в Америку.

Бог мне порядочно надоел. Его собаки, книжки, люди, толчея. Хотелось подняться выше звезд и неба, но я был нужен внизу. Меня тащил в Америку «фон» Нуссберг выяснять отношения.

* * *

Европейская культура выросла на вечных камнях древних цивилизаций, прогретых ласковым солнцем Средиземноморья. Изящные искусства расположены исторически — изысканная Эллада и мужественный Рим, суровое Средневековье готики, теплое Возрождение, точные правила академий барокко и классицизма, наконец, после радикализма авангарда явился демократический плюрализм современности. Творца наших дней формирует не кардинал, не академия, а капитал. Человек, изучивший повадки капитала, после беспощадной конкуренции может попасть в элитарный клуб созидателей современных «измов».

России там нет. В России лютый холод, бездорожье и пьянство. Вместо латинского алфавита какая-то славянская глаголица. Народ в вечном рабстве. Царь — тиран или дурак, а генсеки еще хуже. То прорубают окно в Европу, то вешают на него железный намордник. В культуре враждуют противники Запада

и его сторонники. Русское искусство, от культовой иконы до современного академизма, не поддается модернизации. Единственным распорядителем огромных государственных средств остается Академия художеств, с подчиненными ей «союзами», «худфондами», издательствами, спецшколами, институтами, Домами творчества и выставочными помещениями. Русская Академия художеств — старомодное, реакционное и враждебное плюрализму и демократии учреждение, пережив все загибы и перегибы русской жизни, правит балом более двухсот лет, сохраняя на вооружении шаблон простонародного и наследственного реализма. Академики составляют мафиозный клан единомышленников со своими тайными связями, закрепленными временем. Вход туда чужакам с новыми и поэтому подозрительными эстетическими идеями категорически закрыт. Отдельных лиц и кружки, пытавшиеся реформировать академические методы и структуры, система беспощадно уничтожала или приручала, трансформируя в подчиненный вид. Искусство России обречено на длительный застой. Пока монопольная власть художественной мафии распоряжается духовным здоровьем обездоленного народа, пока столпы простодушного реализма семейно и единолично управляют учебным делом страны, пока в их руках будет находиться закупка и продажа произведений искусства, русское искусство не преобразится и не выйдет на мировую арену.

Американская демократия динамична, расторопна и прагматична.

Жадно жить и быстро делать деньги!

Американское начало Нуссберга, 1981—1983 годы, было пустым и даже суетливым. Доверчивый футуролог сразу спустился на русское дно Нью-Йорка с жалкими интригами вокруг «фонда Доджа», хитроумного чудака, собиравшего мусор советской культуры, спи-

сывая с налогов доходы, с грызней подпольных светил, с дурацкими выходками редактора десяти патетических томов русской поэзии Кости Кузьминского, перебросившего свой генштаб из питерской коммуналки в американское логово, с воровством в «еврейском фонде поощрения художеств», с изнурительным жлобством героев соцарта.

«Все выпендречно и страшно фрагментарно», — лаконично обобщил свое участие в русской суете Лев Нуссберг.

После европейского демарша с рядом заметных и успешных выставок (Дюссельдорф, Париж — 1976, Венеция, Голландия и Лондон — 1977, Бохум, Турин, Кассель, Нью-Йорк — 1978; опять Бохум, Висбаден — 1979, Берлин — 1980 год), после двух капитальных кинетических сооружений: семиметровый «кибер» для Италии в 1977-м и лабиринт «Космическая рыба — Ихтио» для Германии в 1979—1980-м, нам трудно объяснить его американское затишье, странные хождения новатора по эмигрантским кружкам и тусовкам.

Очередная перестройка России, к удивлению всего мира, открыла границы огромной, полвека закрытой страны. Оттуда повалил новый и веселый народ: воры в законе и вне закона, московские бляди, казнокрады братских компартий, торговцы водородным топливом и множество не очень талантливых, но напористых и алчных артистов... Наоборот, туда, в Россию долгожданного борделя, бешеных денег и разбоя, кинулись проворные и оборотистые эмигранты.

Главный русский кинетист и футуролог не дернулся.

Грузовик с выставкой капитулянта Игоря Захарова-Росса сожгли под Смоленском. Парижского собирателя русского искусства Басмаджана убили в неизвестном месте, а ценные картины растащили. Скульптора Неизвестного отправили в тундру, в Ма-

гадан, где вместо долгожданной славы его ждали комары, голод и безлюдье. Честолюбивый Шемякин выставлялся за свой счет и основательно разорился.

Убогие выставки на фоне заказных убийств, воровства и разбоя. И бюрократия, и мздоимство похлеще, чем в советские времена.

Русские собратья изящных искусств, ревниво оберегающие свои насиженные места, обдирали эмиграцию как могли, но дальше вокзала не пускали. До теплых отношений еще далеко!

А в «белом доме» опрятного городка Оранж в штате Коннектикут, в окружении пышных цветочных клумб весело живут, говорят и едят по-русски: папа Лев Вальдемарыч, мама Дика и четверо цветущих жизнью и талантами детей: Дмитрий, Иван, Наташа и Арина — цветоводы, художники, музыканты, спортсмены, компьютерщики.

И — «звуки ласковых зверей»!

«Я послал всех к ею-матери и ушел от современной суеты всех этих выставок, тусовок и грязных, циничных торговцев искусством, выламывающих руки и души», — говорит Нуссберг.

Почему программа Киберромантизма и великий план «ИБКС» (Игровая Бионико-Кибернетическая Среда) повисли в воздухе?

Почему разбрелось «Движение», а его создатель разводит розы? И где институт футурологии?.. Где рабочие модели «ИБКС»?..

Преуспевающие академики неистребимого реализма, трусливые эпигоны артефактов и прикладного кинетизма, бездарные завистники русской эмиграции, зашоренные спонсоры быстрой наживы, небрежно полистав заявку Нуссберга, пугают нас очередным «египетским рабством» концепции и плана Нуссберга, скрытым тоталитаризмом и даже гибелью демократии.

Правда, в объяснительных текстах наш футуролог наивно обходит подводные камни эстетизированного кибергорода. Нас настораживает безрассудная вера утописта в высший разум иных миров и галактик, в гармоническое будущее человечества, сегодня калечащего нашу планету. Чрезмерное его доверие к науке и техническому прогрессу — до сих пор не решившему проблемы голода, болезней и стихийных бедствий — нам кажется несколько поспешным и не продуманным до конца. А как быть с пиратами компьютерных игр, ворующими планы военных кампаний, и каннибалами Тасмании, живущими по законам неолита? Да и адепты академической серости или прошлого поп-арта добровольно не войдут в романтизм игрового и творческого Нуссбергленда. А куда сбыть пару британских нудистов Жильберта и Джорджа с их всемирной славой новаторов культуры?

Для русских олигархов, как и для советских идеологов, проект Нуссберга — обычная маниловщина, грандиозные и бесплодные мечты о красивом, гармоническом мире искусства, игры и знаний.

В 1991 году, в открытом письме, адресованном Вячеславу Колейчуку, прагматисту русской жизни и кинетисту, получившему доброжелательную прописку и поддержку в России, Лев Нуссберг эмоционально шутит:

«А ты, Слава, напейся холодной воды и начни читать мои тексты. Сперва пойдет туго, но потом будет легче».

Мы прочитали открытое письмо, где изложена футурологическая концепция. Добрый гений Нуссберга, заботливого семьянина, садовода и собачатника, предлагает не «бомбардировку Марса» и не египетское рабство, которыми нас пугают Колейчук, Инфанте, да и Захаров-Росс, его непримиримые и завистливые оппоненты, а необходимый землянам ве-

сельный и притягивающий художественный и игровой городок со множеством воспитательных и увлекательных мест гармоничной и красивой пластики в музыке, цвете, движении и фантастических образах.

В его литературном эскизе будущих игровых эстетизированных зон архитектура всего ансамбля рисуется в виде кружевного узорчатого разветвленного контура, где природный ландшафт органически переплетается с рукотворным творчеством, так что господа экологи могут спать спокойно — травить природу и зверей не будут; а внутри — веселые или опасные приключения, познавательные ситуации и овеществленный четырехмерный мир фантазии!

Мир очарования, знаний и просвещения!

В полемическом задоре наш футуролог отвергает современное искусство, целые коммерческие направления и «измы» с помойки в пользу кибернетизированного «общепланетарного пластического языка». А разве единообразие на протяжении двух тысяч лет и могущество стиля Древнего Египта не покоряют нас и сегодня?

Трагедия России — в культе державы, центра, академии. Там нет места проектам и планам чужаков и экспериментам маргиналов. Американская же демократия требует от любого проекта быстрой наживы. Заговор скептиков, карьеристов и спекулянтов всех уровней и положений плотной стеной непонимания и остракизма окружил творчество могучего художника, мыслителя и футуролога, но хоронить оригинальный проект рано — он нужен всем.

... Игровая Бионико-Кибернетическая Среда — в постоянной разработке!

... День за днем, год за годом...

«Следующий век — наш!» (1966 г.)

Поверим артисту на слово.

7. Райские «скорпионы» Парижа

Город Париж давно превратился в культурное захолустье — так утверждают знатоки вопроса, а товарищ В.И. Ленин раньше всех, еще в 1910 году, обнаружил, что «Париж — дыра скверная!», что, на мой взгляд, явно преувеличено для золотой эпохи города, однако аромат былого величия тянет иностранцев с четырех сторон света, как мух на помойку. Русских уроженцев в Париже довольно много, около тридцати тысяч, но еще никому не удавалось, со времен Васьки Тредьяковского (1703) до «олигарха» Тайванчика, создать русский клуб, как это делают все землячества мира.

Создавая русский клуб, Хвост знал, что он хочет.

Бесплатный вход для всех без исключения. Широкие люди с деньгами, естественно, получают первые места, но и голодных и жадных жлобов не гнать под дождик. Объяснить сущность «русского клуба» невозможно, это все равно что объяснить Федору Тютчеву, что можно понять Россию умом. Лучшее значение клуба определила литератор Кира Александровна Сапгир — «это место, где можно оттянуться». В транскрипции родной речи «оттянуться» — это значит плюнуть соседу в морду, а потом распить с ним бутылку водки, обливаясь слезами покаяния и космической радости.

Никто, в том числе и англичане, до такого еще не доросли.

В 1995 году появилась возможность русских сборищ, и бард Хвост решил тащить это дело.

— Тоже мне, клуб нашли, — ворчал провокатор Вовик Толстый, раздвигая паутину, нависшую над типографскими станками.

— А я сделаю! — расхрабрился Хвост. — Мы лучше всех!

Парижский меценат Милька Шволес, ценивший русский гений, сдал Хвосту подвальное помещение на рю Паради, 14 (Райская улица), во дворе под лестницу.

У тунеядца Хвоста был опыт работы с массажи — «гараж Жюльет Доду», «Крымский двор», «Хрустальный дворец» — там постоянно звучали голос его гитары и песни «Мы на работу не пойдем», «Над небом голубым», «Гражданин Сах». Типографский подвал Шволеса взяли на себя трое скватеров: Хвост, фотограф Тиль и закройщик Матусов. Хвост руководил строительством. Подвал поднимала артель украинских шахтеров в обмен на бесплатную ночевку.

Сообщник Хвоста питерский портной Матусов быстро сообразил, что в скватах не следует стесняться и строить из себя гуманиста. Новую западную жизнь он начал со сбора членских взносов со всех посетителей подвала, не приученных к активному сопротивлению злу и насилию. Он умудрился собрать грузовик вещественных товаров для «страдающих сиrot Ленинграда» и отправил их своей родне в Гатчину. Оборотистый и симпатичный портной легко и весело начал жить на горбу Французской республики, не забывая выколачивать денежки из наивных земляков. Он выписал из Гатчины жену и детей, получил от города квартиру и пособие. Портной сменил иглу на кисть и руководил «Тундрой русских артистов», в отсутствие Хвоста собирая поместный налог за выставки в парижском подвале. Такой проходимец был необходим авторитетному и трусливому вождю.

Исторической фигурой парижских скватов был фотограф Валька Смирнов, или Альт-Мария-Тиль-Грек. Убежденный саботажник советской культуры, бузотер и фарцовщик с Невского проспекта начал свой поход в мировое искусство в 1956 году, когда его ровесники дрожали от шороха в дверь.

Первоклассный мастер фотографии абстрактного ракурса и не менее передовой живописец «дриппинга» сохранил в Париже особый облик питерской богемы. О нем заботилась республика, но творить без постоянной кочевки и общения с народом он не мог. В буржуазный мир питерский смутьян ворвался как монгол на свежее пастбище: прихватить, слизнуть и смыться.

Скромным постником Тилья не назовешь.

Как всякий гений, фотограф невыносим в общении. Несмотря на его потертый вид провинциального декламатора — голубой берет набекрень, красное кашне через плечо, — он производил сильное впечатление на породистых женщин с опытом. Они чуяли в нем самца высокого напряжения, и Тиль охотно шел навстречу прозорливым поклонницам, назначая сентиментальные встречи в разных местах планеты.

Его интимные рандеву не обходились без неприятных сюрпризов.

На австрийской территории, в старинном замке, Тиль по обыкновению выдул бутылку чужого виски, снял берет и полез на горячую графиню. Сытая, дрессированная овчарка, давний владыка аристократических покоев, незамеченной вошла в спальню и схватила за ягодицу русского охотника, да так больно, что непрошенный соперник бросил сладкую работу и скрылся в ночное окно.

Может быть, австрийский урок образумил буйного артиста?

Конечно нет! Сегодня он ночует у вдовы люксембургского барона, а завтра у княгини баварской земли.

Участие Тилья в образовании «русского клуба» мне казалось делом случайным, потому что платить он не любил, а электричество жгли все, кому не лень. Воду, свет, огонь Тиль считал производными натурального вида, следовательно, бесплатными, а когда пришел

первый счет на аренду подвала, то вместо уплаты он позорно сбежал со своими инструментами в бесплатные места. Ноша налогов и счетов легла на плечи портного и барда, но и они не намеревались делиться с государством скудными доходами. Портной Матусов, предчувствуя финансовую катастрофу, сбежал в Испанию. Хвост не сдрейфил и нашел выход. Он сдал клуб бездомным ночлежникам Донбасса и Кузбасса. Для них выстроили нары в стене и брали поденно, опасаясь бегства нелегальных квартирантов.

И несмотря на финансовые затруднения, «русский клуб» гордо держался пять лет подряд. Ежедневно там пили бормотуху, дрались и ставили спектакли. У меня не хватит бумаги, чтобы перечислить артистов метрополии и зарубежья, отметивших своим вниманием «русский клуб» на Райской улице. Там прошли «Митьки» и барды, академики и воры, послы и жандармы, шахтеры и писатели, живописцы и закройщики.

14 ноября — день Ангела и «Скорпиона» Хвоста, а значит, годовой праздник клуба под названием «Симпозион». День особого колорита. Я их все прошел с 1996-го по 2001 год. По особому приглашению виновника сборища.

В суровом интерьере клуба, совершенно черном, постоянно висели деревянные «объекты». Приход первых агитаторов перестройки, скажем влиятельных «Митьков» (Питер) или «Мухоморов» (Москва), высоко поднял авторитет Хвоста в России; и как пластика, и как барда, и как гостеприимного хозяина Парижа.

Работали театр и буфет. Дешевая обжорка для голодных шахтеров Востока.

Не стыдно ли великой державе, если в подвале Хвоста ест похлебку официальный представитель Российской Федерации во Франции?

«На Райской улице, друзья, не пить и не дышать нельзя!» — ублажал гостей хозяин. Свечи ритуального

характера — явная работа знатока эзотерических учений. «Агапы» и литературные читки были самого лучшего уровня, и Хвоста необходимо посвятить в высшие градусы мудрости.

Свобода, ностальгия и романтика!

Что может быть краше такой «троицы»?

Русский «Симпозион» в Париже, на мой взгляд, стал высшим поэтическим достижением Хвоста и будет его нерукотворным памятником до Судного дня.

Райские «скорпионы» Хвоста навсегда вписались в парижский пейзаж. В клубном журнале «Райский четверг» ответственный за поэзию Митяй Голь, еще один подарок русской словесности, писал:

«Не мити кості всім довкола,
Чужих копійок не лічить...
Не вбить, не вкрасти, — ось як треба,
І більш нічого не кажіть...»

(1999)

Великий Н.А. Некрасов написал много плохой беллетристики — голод не тетка, да и в картишки резался! — канувшей в небытие.

В прозе гений Хвоста сильно спотыкается. Его пьеса «Робинзоны» (1982), поставленная в декорациях Сергея Есяяна в студенческом театре Стокгольма, провалилась. Иностраннный материал — британский подданный Робинзон Крузо и Пятница вроде Боба Марли. Стерильный язык, суконный стиль, русскоязычная абракадабра. У него Робинзон говорит: «Ведь вы-то лучше других знаете, что неожиданная радость может остановить биение сердца».

Или: «Подбадриваемый жестами», «набираем в легкие воздух», «исполнить свое намерение», «манить его по направлению».

На братской трапезе скорпионов я сказал Хвосту, что это не язык, а косноязычие.

— За каким чертом ты пишешь прозу?

Кажется, бросил. Пьеса «Пир» (2000) вышла в стихах, где Хвост был силен.

«Русский клуб» был, но его постигла та же участь, что и другие русские начинания, его прикрыли за неуплату налогов.

Француз хитер, расчетлив и богат.

Легенда о крохоборстве француза лишена фактических доказательств. Говорят, что Франция обокрала Италию, Грецию, Африку, Азию. Правда, страна собрала несметные культурные сокровища. Мир поклоняется Лувру, каждое «шато» — а их тысячи! — музей высокого класса, каждая квартира — антикварный салон.

А скажите, пожалуйста, кто вам мешает брать?

Пока Россия будет мозговать, кто русский, кто чеченский, кто еврейский художник, Франция хапнет все, не думая и бесплатно.

Парижские скваты, несомненно, станут частью французской и, следовательно, мировой культуры.

За это и любим парижское захолустье, товарищ Ленин.

* * *

Этих молодых людей я увидел в садике Дома писателей в 1992 году. Пригласил меня устроитель выставки, незнакомый поэт, посылавший книжки дочке Марфе. За буфетной стойкой маячил дежурный бармен, на стенах пустого помещения висели черно-белые фотографии московских дворишков, унылые и примитивные: кошка на лавке, старуха вяжет чулок, двое режутся в домино. Возможно, в этом унынии и был смысл картинок. Лишь за металлическим садо-

вым столиком, выкрашенным белилами, сидело трое модно подстриженных под «казачков», с постными и очень простыми лицами учеников «изотехникума» со Сретенки. Они цедили из соломинок коктейли, изредка перекидываясь словечками. Люди не обсуждали что-то важное, а позировали, то и дело меняя позы и повороты.

Я, единственный посетитель выставки, услышав русские фразы, подошел, полностью представился, чтобы не было лишних вопросов, и лишь одна женщина назвала свое имя, Катя Кузина, нехотя и отрывочно указав на соседей: это Молодкин, а это Беляев. Минут пять я пытался расшевелить группу на пустой разговор о выставке. Молодые люди смотрели на меня молча, как на чужака иного мира, старичка, говорящего по-русски. Лишь девица Кузина пыталась играть в приличие и сказать, что они проездом из Амстердама, где их приняли за пижонов и гнусно надули, не оплатив за обратный проезд в Москву. И, если я такой шустрый, не дам ли им денег на гостиницу и на дорогу!

Разговор принимал очень неприятный поворот в пользу «Армии Спасения» на фоне говенного буфета. Я сказал, что у меня нет денег, и народ отвернулся, сменив позы. Мне ничего не оставалось, как сказать «желаю успеха» и уйти по хрустящему гравию садика, проклиная поэта, выставку и наглых совков.

Прошло четыре года, и вдруг я получил приглашение от «коммерсанта» Натальи Селивановой, с которой обменялся адресами на «скорпионах» Хвоста. Я не знал, что эта шустрая женщина организует выставки.

В 1996 году она сняла помещение на рю Келлера у Бастилии и поселила туда бездомного артиста Гошу, мечтавшего о мировой славе рисовальщика. Не дожидаясь вернисажа, я позвонил этой Селивановой и договорился о встрече в ее галерее.

Молодая женщина европейского вида, в настоящих кожаных туфлях на каблуке, из чего я сделал заключение, что пешком она не ходит, представила мне заросшего до глаз Гошу и показала огромную инсталляцию в центре помещения. Говорила она толково и охотно, с высоким патриотическим накалом, что меня не раз поражало у такого рода модно одетых русских женщин.

— Я убеждена, что русское искусство заслуживает гораздо большего внимания, чем делается до сих пор!

Так могла говорить княгиня Мария Клавдиевна Тенишева в 1900 году министру просвещения Франции, но с тех пор прошло сто лет, мир поменялся, но не мозги этой образованной и красивой женщины. Она свято верила в державу, в могущество русской армии и русского искусства, где можно вырастить ихтиозавра и привезти его на выставку чешуйчатых животных.

В наше время, когда культуры всех народов сошлись вместе за одним столом, необходима безмятежность духа и личный ход в творчестве, чтобы оставить кирпич в мировой эстетике, но Наталья Селиванова жила под гипнозом «Святой Руси», несправедливо обиженной капиталом.

Семиметровое дубовое бревно с металлической болванкой упиралось в крышу галереи. Этот столб был обнесен свинцовыми щитами, раскрашенными синей краской, где то и дело мелькали крестообразные зигзаги. По углам помещения радиопередатчики выдавали григорианские распевы. Этот «фалл», названный артистами «Копье Вотана», напоминал зарвавшимся музейным работникам о существовании могучего нордического наследия России.

Такой наглядной и открытой пропаганды фашизма я еще не видел.

Авторы инсталляции — Молодкин и Беляев.

Я очень сомневаюсь, чтобы Селиванова заработала на показе «Копья Вотана», провоцирующего национальную паранойю красно-коричневых. На вернисаж я не пришел, постыдился. В прессе вышла статейка в модном журнале «Нова». Рецензия снабжалась кружочком, символом французских шовинистов «национального фронта». Эти сразу нашли друг друга.

Не надо было быть проницательным мудрецом, чтобы догадаться — большой капитал на выставку не придет.

Наталья Селиванова угробила большие деньги на установку «русского фалла». Сторож Гога сбежал в Москву. «Фалл» разобрали по частям и выбросили на помойку. Металлические росписи забрали Беляев и Молодкин. Галерею прикрыли на первом представлении. Культ «Вотана» не прижился в развращенной столице Франции. Слабосилие и духовная порча лезли из московских молодчиков, как ржавые гвозди из авоськи. Инсталляция нацистов походила на наглядное пособие для начинающих психиатров.

Апофеоз национальной шизофрении!

И — слабый член предложения.

* * *

Зачем я рисую? Тянет! На мрачные и веселые картинки.

«А у нас в Тарусе!..»

Дурак святого искусства. Особые принципы. Любительский русский кружок.

Мое прямое знакомство с западной культурой началось с удручающего открытия — в лучших музейных собраниях Европы я не обнаружил русского присутствия, ни достижений русской иконы, ни экспериментов нового времени. Царь Петр I прорубил окно в Европу, но не все поставил по своим местам. Если в

фойе музеев попадались географические карты, то все жилое, огромное пространство на восток от Дуная обозначалось белым пятном неизвестной и темной цивилизации, мертвой исторической зоной без признаков высокой культуры.

Русские артисты, независимо от их местожительства и этнической принадлежности, при дележке мировой славы не получили места по достоинству. Не ищите Дионисия или Прохора из Городца на стенах Лувра или Прадо. Иконников Запад не приобретал и искусством не считал. Может быть, «пившие из своего стакана» Суриков, Врубель, Филонов, Татлин, Родченко висят в западных музеях?

Их нигде нет!

Галереи, которые я считал «своими», как сверчок свой шесток, с поразительным легкомыслием гнали меня в шею, навязывая первый попавшийся на язык ярлык — «подражание Леже», хотя при самом беглом осмотре невозможно обнаружить следов этой знаменитости в моих работах.

Сделав не менее десяти заходов в «свои» магазины, когда служащие и хозяева охотно брали картины для просмотра, — в Америке, по словам Нуссберга, такой пещерный способ отношений давно ликвидирован, и посылается только «досье» по почте и с рекомендательным письмом! — я сделал решительное заключение — французом мне не быть! Если мне повезет, я могу стать богачом, но французом никогда!

Та же участь ждала и моих многочисленных земляков и коллег. Никто не смог навязать свое искусство западным музеям.

26 февраля 1998 года консервативная и прочная «Культура» опубликовала любопытный разговор арт-дилера А.Д. Глезера с художником О.Я. Рабиным, сознательно выделив в заголовок удобную ей фразу: «Демократия — зло для творчества», давая понять чи-

тателю, что империя и коммунизм были большим благом для творчества. Как будто Романовы покупали Кандинского, а товарищ Сталин — Казимира Малевича.

Скептическое настроение Оскара Рабина меня совсем не удивило.

Он не живописец современной американской школы, а «лианозовский» художник. («А у нас в Лианозово!» — О.Р.) Журналист искусства в традиции критического реализма прошлого века.

В советской России за анекдот сажали в тюрьму. Навязать Западу русский анекдот лианозовского производства ему не удалось. Постоянное повторение Рабина «а у нас в Лианозово!», конечно, ничего, кроме горькой усмешки, не вызывает.

Лианозово не составляло единой художественной школы. Там все рисовали, но кто в лес, кто по дрова. Основатель кружка, симпатичный старичок Е.Л. Кропивницкий, рисовал женские силуэты цветными карандашами, его супруга, библиотекарь О.А. Потапова, лепила абстрактные коврики, их сын Лева, инвалид войны и зек, каждый сезон менял манеру письма, так что определить его художественное лицо совершенно невозможно, дочь Валя рисовала симпатичных чертей на крыше, а зять, строительный десятник Оскар Рабин, писал маслом кривобокие бараки и помойки.

Любительский кружок, а не школа!

Рабин никогда не выходил из любимого барака, ни в Москве, ни в Париже, где обосновался в 50 лет отроду.

Рабин — это барак!

Барак как очаг сопротивления и защиты. Рабин верит в незыблемость и вечность барака.

Мы никогда не дружили в Советском Союзе. Сначала сказался возраст — он старше на десять лет — и существенная разница вкусов. Сходясь на случайных

выставках, мы лишь терпели друг друга, не доходя до мордобоя у жалкой кормушки «дипарта», где Оскар первенствовал с самого начала, на зависть подпольным коллегам.

На Западе, в том же Париже, хозяева порядочных галерей с доходными связями подбирают художников, как жеребцов для скачек, пять или десять лет выколачивая из них коммерческую выгоду. Людей, быстро переломавших ноги и мышцы, выбрасывают на помойку без всяких пенсий и премий.

Ни я, ни Оскар в отряд избранных жеребцов среди мерцающих звезд латинской цивилизации не попали.

Выставка, организованная А.Д. Глезером в Париже (1977), не принесла ему ни славы, ни желанной валюты. Сразу троих — его, жену и сына — оставили у бездоходных дел.

Запад — не судьба.

О.Р. написал воспоминания в соавторстве с парижской журналисткой Клод Дей, принесшие ему определенную известность. Ему дали хорошую мастерскую в центре Парижа, где было так же скучно и мрачно, как в лианозовском бараке. Не зная толком культуры Запада, не владея иностранными языками, Оскар, Валя Кропивницкая и вспыльчивый сын зарабатывали на хлеб насущный ностальгическими картинками московских дворов и бараков, населенных чертями и зловещими тенями. Во всех начинаниях русской эмиграции — «Союз русских художников», «Тундра русских артистов» — Чернышева, Хвоста и Нечаева — Рабин молча занимал место рядового участника и лишь чуть-чуть воспрянул духом с перестройкой, открывшей окна пошире для эмигрантов.

До знаменательной встречи в 1982-м я не слышал о художественных клубах в Париже, пусть скандальных и недоступных простому смертному, и вдруг мне сооб-

щили, что полуполегалная галерея «Бо Лезар» собирает молодежь для престижных выставок во Франции и за ее пределами. Меня и Игора, моего ученика, привела туда француженка, знавшая администрацию галереи.

Осенью 1982-го мы смогли показать свои вещи руководству галереи. Меня сразу отклонили по возрасту (старик, 44 года), но Игора в точности соответствовал их розыскам: яркий, красочный, карикатурный мир. Через месяц его оповестили по телефону, что он не попадет в списки экспонатов, но объяснить причину отказались. Так решило оккультное жюри видных стилистов, финансировавших операцию, однако на первый вернисаж мы охотно пошли. Уж очень хотелось посмотреть, что рисуют «ящурь» и как выглядит французская звезда в звездной атмосфере.

Галерея «Бо Лезар» располагалась во втором этаже, не с большой витриной на тротуар, как принято в Париже, а в американском стиле, с кнопкой у подъезда и едва заметной надписью «Галери Бо Лезар». Нас встретил сразу лакей в белом пиджаке и черной бабочке, с подносом отличного шампанского. Подошел знакомый компьютерщик, видевший наши работы. Мы выпили по глотку и осмотрели все три комнаты, увешанные картинами.

Вот эротический бред Комбаса, а вот гномы Ди Розы, сбежавшие из мультфильмов Диснея, а вот черные головастики Буарона, а вот трупоед Виллерса, ну весь парад парижского «трансавангарда».

Жидковато, сплошная муть, а не живопись.

Плохо рисуют электрики из Марселя!

Корявые звезды Запада!

Повторяю: я буду придирчив к Западу.

«Кого люблю, тех обличаю и наказываю», — как говорил Иоанн Богослов в «Откровении» (3, 17).

Ладно, мы «жрем ваш хлеб», но где же кузница мировых шедевров? Их нет!

Чтобы не морочить читателю голову искусствоведческой лабудой, рисование молодых французов можно сравнить с сатирическим журналом «Крокодил» эпохи «холодной войны». Если его увеличить до двух-трех метров и замазать небрежно краской, то получится новый «изм» 80-х годов под названием «трансавангард».

Посреди комнаты стояла кучка художников в помятых, навывпуск рубашках, стриженных под бокс, громко споривших о последнем футбольном матче. Они говорили на непонятном южном жаргоне. Пылкие болельщики футбольной команды Марсея «Олимпик-Марсей» готовы были кинуться в драку, если заикнешься в пользу парижского клуба «Пари — Сен-Жермен». Банда не скрывала своего южного шовинизма, брезгливо отзываясь о столичных мудаках — «иль сон тус кон!» — попутно задевая иностранцев, якобы наводнивших Францию. Нас компьютерщик представил стриженному парню с бокалом шампанского в руках, с открытым лицом, художнику Реми Бланшару.

— Ну, как там у вас? — начал он, улыбаясь.

Я сразу смекнул, что речь идет не о ГУЛАГе, а о футболе. Его познания о составе киевского «Динамо» и московского «Спартака» оказались гораздо шире наших. Я прекратил играть в футбол в пятнадцать лет, Игоря, очевидно, болел за свой ленинградский «Зенит», но за десять лет чужбины и невзгод забыл о его существовании. Он пытался перевести разговор на бегство с корабля, а наш собеседник разинул рот и смотрел на него не как на героя, прыгнувшего на свободу, а как на последнего мазохиста. Реми скис, потерял интерес к нам и улизнул к своим. Так не солоно хлебавши мы выстояли полчаса, глядя из окна на бушующий бульвар, и, как пробки, выскочили на парижский тротуар. Со стороны наше появление в обществе «ящуров» выглядело картинкой из «Крокоди-

ла». Старый дурак в вельветовом пиджаке и молодой Игоря в клетчатых штанах, смущенно крутивший остатки рыжих буклей на затылке.

В строжайшем секрете «Бо Лезар» приготовил выставку для Лувра. Туда нас уже не позвали. Никто не дал дельного совета. Нас аккуратно отмели в сторонку, или, как справедливо говорит Рабин, «тебя стремятся оставить на обочине», и «какие-то носы решают в искусстве, что хорошо и что плохо».

Вот тебе и веселый Монпарнас! Вот тебе и город-космополит!

Где же Пикассо, Шагал, Кандинский?

Русские цари, посылая учиться искусству в Европу под строгим надзором «политруков», все произведения своих питомцев считали принадлежностью России, царства! Все рекорды пребывания за границей побил пенсионер Александр Андреевич Иванов. Он двадцать пять лет тянул с возвращением в ледяную столицу на Неве. Стал ли он европейским художником?

Нет, конечно! Все работы, сделанные в Италии, принадлежали России.

В первые годы советской власти художников выпускали за границу, но многие стали невозвращенцами, и баловство прекратили. С 1914 года — начало мировой войны, прикрывшей границы, — Россия не знала традиционной закупки культурных ценностей на Западе.

Долой устаревшие чудачества царей, дворян и купцов, бросавших валюту на буржуазную культуру, к черту дурацкие покупки и благотворительность богачей!

Образовался не формальный — догнать и перегнать! — а глубинный разрыв по всем параметрам культуры. Полная и необратимая нестыковка двух разных моделей человеческой цивилизации.

Критикуя Запад и демократию — «тебя стремятся оставить на обочине», — Рабин выражает исторически наиболее у всех русских людей — за какие грехи обочина?

Разве наша вина, что мы родились в Лианозово, а не в Тулузе?

«Время, проведенное в эмиграции, кажется мне просто потерянным».

Потерялся не только Рабин, а лучшие бойцы за свободу творчества: В.Я. Ситников, Неизвестный, Лев Нуссберг, Александр Леонов, Алексей Хвостенко. Оказались не нужны ни капиталу, ни подчиненным ему «музейным носам».

Для меня остается загадкой, почему артисты русского авангарда 20-х годов — Филонов, Малевич, Татлин, Древин — считали свое буржуазное искусство по существу пролетарским?

Настоящий, кремлевский пролетариат очень быстро раскусил, что футуристы их водят за нос, пытаются выгрести Госбанк на свои дурацкие забавы. Их упразднили по-военному. Указом. Операцией по ликвидации футуризма руководили герои Гражданской войны, бывшие шахтеры Донбасса.

Более 50 лет мы не знали о существовании Ван Гога, Пикассо и Поллока. Шаблон художественного производства у нас был доходчивый метод семейного ремесла, представленного кучкой потомственных академистов. Славный и православный народ не нуждался в плюрализме сумасшедших маргиналов и недоучек. Музеи никто не строил, о коммерческих галереях мы не слышали.

В газете «Сегодня» появилась заметка, обойти которую невозможно:

«У нас нет денег для латания дыр в крыше Третьяковки, из которых льется вода в экспозиционные залы, а в Русском музее сыплется штукатурка на картины Врубеля!»

Строили пушки, ракеты, блиндажи. Какие там, к черту, музеи и крыши! Что построил купец П. М. Третьяков в 1870 году, то и стоит на всю Москву, на всю Россию. Прохудилась крыша, в залах лужи? — Подумаешь! Ну и что? Зато есть Святая Русь и — «у нас в Лианозово!».

Демократия растет на глазах. «Перестройка» шагает по планете, но что может предложить Россия, кроме кучки советского мусора?

Вот и везут на Запад областной фольклор — «шарм слав» Ивана Лубенникова, «гербы советских республик» Эрика Булатова, «коммунальный мусор» Ильи Кабакова.

Культурные люди говорят о «духовном прогрессе», «многообразии духовной жизни», «духовности культуры». Значительный пласт творцов связывает свое творчество с религией, верой в потусторонний мир, но духовный барак стоит и крыша протекает.

Патриоты барака ищут виновников на стороне — в данном случае в демократии, она все стерпит. Камни барачной выделки — «а у нас в Лианозово» — летят в адрес «музеев», «партий» и «носов». Они все вынесут и не дрогнут, как дрогнул Моссовет в 1974 году, под дождем, на пустыре.

Гений — невидимка! Он неопознаваем. Опознанный гений сразу попадает в тюрьму, как особо опасный преступник. Это отлично знали марксисты советской России, где гений всегда сидел в сумасшедшем доме. С некоторых пор буржуазный Запад пытается играть на территории гения, но дело всегда кончается жалким подражанием, копировкой и внешним декором. Знаменитые стилисты банкирам предлагают дорогие джинсы с дырками на заднице, рваные кеды и недельную щетину на подбородке, однако счет в банке остается не декоративным, а подлинным, в то время как у гения его нет.

Нам надо срочно чинить крыши, а не бросать камни в демократию.

Париж. 27 января 2004 года

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	
ОККУПАЦИОННАЯ ЗОНА	
1. Родной край	7
2. Царское время	11
3. Наши вояки	14
4. Шумел сурово брянский лес	36
5. Моя несчастная мать	44
6. Иностраннный учитель рисования	66
Часть вторая	
ОБЩАГА	
1. Натурщик	72
2. Хмырь болотный	79
3. Стиляги и гранит	96
4. Грехопадение	111
5. Средняя полоса России	122
6. Братья изящных искусств	129
7. Абрамов Двор	132
8. Институтская общага	138
9. Сто первый километр	145
10. Киношники и двурушники	155
Часть третья	
ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ	
1. Гарусская страница	181
2. Видные тунейдцы	182
3. Австрийская семья	203
4. «Чердак Поповой Любы»	211
5. Бунт в буфете	229
6. Загадочная смерть брата Шуры	241
Часть четвертая	
МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА	
1. Мои первые иностранцы	253
2. Вызов Феди Поленова	259
3. Кормящая мать Полянская	266

4. Заметный художник.....	276
5. Фаршированный карп.....	281
6. Подпольное дно Москвы.....	282

Часть пятая

ДОХОДНЫЙ ПОДВАЛ

1. Наши.....	299
2. Башня знаменитого металлурга.....	323
3. Поэт Холин земного шара.....	331
4. Кавказские лики.....	338
5. «Дипарт».....	348
6. Сухаревка.....	359

Часть шестая

НЕПОСЛУШНЫЕ РЕБЯТА

1. Попытка гнезда.....	370
2. Моя парижская невеста.....	377
3. Уголовное дело Мороза.....	392
4. Бульдозерный перформанс.....	398
5. Гонимое искусство.....	407

Часть седьмая

ПАРИЖСКАЯ АВОСЬКА

1. План порабощения Запада.....	425
2. Бежевый французский костюм.....	444
3. Зима без снега.....	464
4. Грабеж.....	469
5. В блокнот агитатора.....	478

Часть восьмая

ТРЕТЬЯ ВОЛНА ГОВНА

1. Первая парижская война.....	486
2. Флорентийская самоделка.....	507
3. Мой Брянский край.....	512
4. Картина московской работы (рассказ).....	520
5. Заложники капитала.....	525
6. Бохумская война.....	532
7. Неудачный буддист.....	546
8. Загадочный армянский магазин.....	558

Часть девятая

«АРТКЛОШИНТЕРН»

1. Красивая жизнь парижской богемы	563
2. Невозвращенец Павловский	568
3. Беглый матрос Игора	573
4. Жалобная книга	587
5. Разгром первого сквата	608

Часть десятая

ЛИДЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМОТРОВ

1. Входа нет	613
2. Тетка московского чердака	618
3. Вечерний звон	627
4. Васька-фонарщик	643
5. Выдвиженцы мистера Сотбиса	673

Часть одиннадцатая

ДРУГОЕ ИСКУССТВО

1. Личное дело дурака	683
2. Дети разных народов	691
3. Смерть дорогого тестя	696
4. Презерватив мира над Парижем	702
5. Черноморец Сах	709
6. Три моста искусств	716
7. Тусовки на берегах Сены	735
8. «Искусство принадлежит народу» (В.И. Ленин)	744

Часть двенадцатая

ФАЛЬШИВАЯ ГЕРАЛЬДИКА

1. Судьбоносный город	749
2. «Тундра хрустального дворца»	757
3. Сибирский гений Пролетцкого	764
4. Встреча с русским послом	767
5. Советский мусор выше Лувра	771
6. Американский вопрос	786
7. Райские «скорпионы» Парижа	796

Валентин Иванович Воробьев

Враг народа

Воспоминания художника

Дизайнер обложки

Т. Ларина

Редактор

В. Алексеев

Корректоры

Н. Смирнова, Э. Корчагина

Компьютерная верстка

С. Петров

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

129626, Москва, И-626, а/я 55

Тел.: (095) 976-47-88

факс: 977-08-28

e-mail: real@nlo.magazine.ru

<http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1
Гарнитура NewtonС. Тираж 2000. Печ. л. 25,5. Заказ № 2756
Отпечатано с готовых диалозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

Валентин
Воробьев



Мемуары художника Валентина Воробьева, активного участника «второго русского авангарда», охватывают полвека жизни в искусстве. Военное детство в глуши, учение, люди культуры 1950-х, бурная атмосфера московского артистического подполья 1960-х, паломничество богемной публики по мастерским художников-«нонконформистов»: поэты, дипломаты, фарцовщики, диссиденты, «бульдозерная» и «измайловская» выставки. Затем тридцать лет жизни во Франции, где оказались многие известные шестидесятники. Перед читателем воссоздается картина жизни целого поколения, талантливо и увлекательно написанная одним из его героев. Литературный дар Воробьева очевиден, документальное повествование читается как роман о русском Монпарнасе. Книга снабжена многочисленными иллюстрациями.

ISBN 5-86793-345-8



Валентин Воробьев
Враг народа

